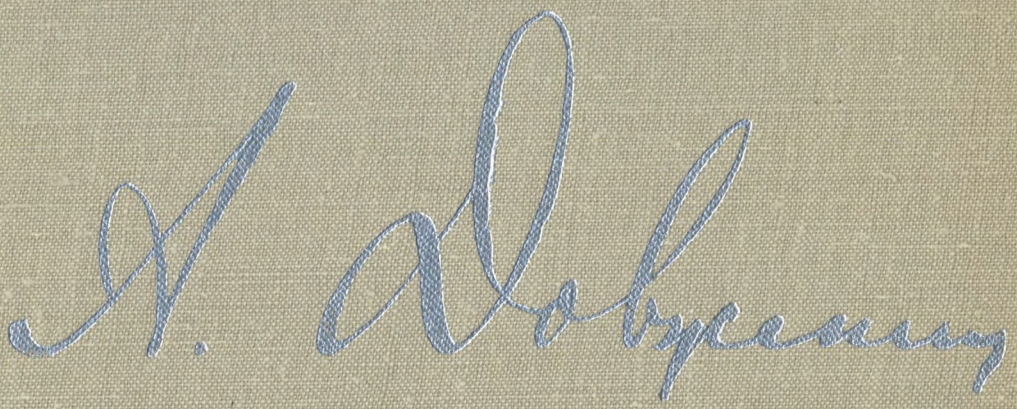

ДОВЖЕНКО



АЛЕКСАНДР

ДОВЖЕНКО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ 2

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО» МОСКВА 1967

778 С
Д 58

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ
СОЮЗ РАБОТНИКОВ КИНЕМАТОГРАФИИ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА СССР

Редколлегия

И. Л. АНДРОНИКОВ, Ю. Я. БАРАБАШ (главный редактор), С. А. ГЕРАСИМОВ, С. С. ГИНЗБУРГ, А. Т. ГОНЧАР, С. В. ДРОБАШЕНКО, Ю. С. КАЛАШНИКОВ, Ю. А. КРАСОВСКИЙ, Г. Л. РОШАЛЬ, Ю. И. СОЛНЦЕВА, Н. С. ТИХОНОВ.

Составитель

Ю. И. СОЛНЦЕВА

Редактор тома

С. В. ДРОБАШЕНКО

Художник

Р. Г. АЛЕЕВ

Ю. БАРАБАШ

В ТЕ ПЛАМЕННЫЕ ГОДЫ...

23 июня 1941 года в одесской газете «Большевистское знамя» появилась статья Александра Довженко «К оружию!». Первая его военная статья.

«В нынешнюю ночь переменился мир,— писал он.— 190 миллионов наших сердец задрожали от гнева и возмущения, загорелись взрывами ненависти к фашизму, к его позорным действиям и посягательствам, зажглись горячими чувствами мести за порабощение народов, за грабежи, за оскорбление национального достоинства народов, за дикий антисемитизм, за уничтожение культуры, за ненависть и рознь. за голод и нужду, за слезы и горе беженцев, за попрание элементарных народных прав и за руины на землях польских, французских, чешских, балканских, голландских, бельгийских и других — за весь позор, который несет с собой фашистский империализм первой половины двадцатого столетия.

Товарищи, к оружию!»

Так начался военный период в творчестве Довженко. Период, которому целиком посвящен данный том его собрания сочинений.

Оборонная тема прозвучала уже в некоторых довоенных произведениях Довженко.

Вспомним хотя бы довженковский «Аэроград» (1935), где так своевременно (события у озера Хасан и на реке Халхин-Гол вскоре подтвердили это) было сказано о военной грозе, собиравшейся у наших границ...

В 1939 году Довженко создает своего «Щорса», воскрешавшего славные страницы прошлого, героические, всегда живые традиции отцов. В том же идейном и эмоциональном ключе был написан сценарий «Тарас Бульба», законченный кинорежиссером в самый канун войны. И не случайно в статье «К оружию!» Довженко-публицист обращается к образам героев этих произведений: «К оружию, Советская Украина! Вылетайте, Бульбенки, Богуны, Щорсы и Боженки — один другого луч-

ше, один другого сильней. Вылетайте, достойные дети доброго народа, чтобы передавалась слава ваша — борцов за братство народов, из рода в род, на долгие века».

О том, насколько верно чувствовал Довженко предгрозовую атмосферу кануна войны, свидетельствует и одно из его выступлений 1940 года. На состоявшемся в феврале совещании, посвященном историческому и историко-революционному фильму, он с глубокой озабоченностью говорит о том, что вчерашний «единый», неделимый, «мирный мир» превратился «в мир воюющий». «Кончился мирный период нашей жизни, и мы как частица нашей воюющей планеты, хотя и занимающая в ней особое место, естественно, начинаем меняться в связи с меняющейся обстановкой». Именно в свете этих драматических изменений в мире Довженко говорит об особой ответственности художника, о том, что сейчас, как никогда, надо «думать о своем народе, о его судьбе, о его счастье, о его будущем, о судьбе его социалистических завоеваний» («Искусство кино», 1965, № 3, стр. 5).

...Но все-таки это была лишь прелюдия к грозной симфонии великой войны. 22 июня 1941 года стало началом нового этапа в творчестве Довженко.

Конечно, он встретил войну уже вполне сложившимся художником — кинорежиссером и писателем, автором «Звенигоры» и «Арсенала», «Земли» и «Щорса», где нашли яркое воплощение его идейно-эстетические принципы и неповторимые творческие особенности. Наследие Довженко военных лет органически вырастало из всего его предшествующего гражданского и художнического опыта. Показательно, например, что в одном из фронтовых блокнотов Довженко возвращается к словам, сказанным им задолго до того на обсуждении «Земли»: «Двое смотрят вниз. Один видит лужу, другой звезды. Что кому». В этих словах в образной, афористической форме выражена принципиальная эстетическая позиция художника, которую он утверждал в довоенном своем творчестве и которой не изменил в трудные годы войны. В героях военных произведений Довженко мы узнаем духовных преемников его прежних героев. Разве Иван Орлюк — не младший брат Тимоша Стояна и Василя Трубенко? Разве деды Платон и Савка (рассказ «Ночь перед боем») не заставляют нас вспомнить деда Семена из «Земли», а в чем-то и батька Боженко из «Щорса»? И в рассказах, и в публицистике, и в больших эпических полотнах о войне мы узнаем довженковскую «руку», его гражданский и художнический темперамент, его взгляд на окружающий мир и на человека, на красоту и смысл жизни.

И все же значение военного периода для понимания Довженко поистине трудно переоценить. Эти четыре «пламенных» года стали для художника годами высочайшей духовной интенсивности, годами, когда его гражданские и творческие горизонты необыкновенно расширились.

В эти годы Довженко-кинорежиссер как бы несколько отступает (он сделал лишь две документальные ленты). На первый план выходит Довженко-писатель, Довженко-публицист. Главным оружием художника становится слово — он выступает на митингах, пишет рассказы, статьи, листовки, активно печатается в газетах «Правда», «Известия», «Красная звезда», «Красная Армия», «За Радянську Україну», «Комуніст», «Литература и искусство», «Література і мистецтво», «Советский патриот», «Советская Украина», в журналах «Большевик», «Октябрь», «Новый мир», «Красноармеец». Ряд рассказов и очерков Довженко



1942 ГОД, СЕНТЯБРЬ. ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВТОРОМ АНТИФАШИСТСКОМ МИТИНГЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УКРАИНСКОГО НАРОДА

(«Отступник», «Ночь перед боем», «Мать», «На колючей проволоке» и др.) выходят отдельными изданиями на многих языках народов нашей страны.

Читатель найдет в данном томе впервые столь полно представленную военную публицистику Довженко. Здесь и многочисленные статьи-призывы, статьи-обращения («К оружию!», «Душа народная непобедима», «Украина в огне», «Письмо на Украину», «Великое товарищество» («Я вижу победу») и др.). К публицистическому наследию Довженко непосредственно примыкают дикторские тексты документальных фильмов «Битва за нашу Советскую Украину» и «Победа на Правобережной Украине и изгнание немецких захватчиков за пределы украинских советских земель», оказавших большое влияние на всю нашу военную кинопублицистику.

Интереснейшую часть литературного наследия Довженко военных лет представляют рассказы и очерки «Ночь перед боем», «Победа», «Воля к жизни». «На колючей проволоке», «Мать», «Стой, смерть, остановись!», «Отступник», «Тризна», «Незабываемое», «Федорченко», «Неизвестный» и др. Некоторые из них тесно связаны с большими произведениями писателя военного периода. Так, рассказ «Воля к жизни» лег в основу одного из эпизодов «Повести пламенных лет», а рассказы «На колючей проволоке», «Незабываемое», «Тризна», «Победа» органически вплетаются в киноповесть Довженко «Украина в огне».

Огромный интерес представляют вошедшие в том записные книжки и дневники Довженко, которые он вел на протяжении всех лет войны. Не говоря уже о том, что многие их страницы сами по себе — высокие образцы публицистики, трудно переоценить значение записных книжек и дневников Довженко для изучения творчества художника военного периода, для характеристики его идейных позиций и эстетических принципов.

Наследие Довженко военных лет и в тематическом и в жанровом отношении необычайно разнообразно. Однако при всем том в нем прощупывается несколько основных проблемных «узлов», имеющих принципиальное значение для понимания художника и его места в искусстве социалистического реализма. Вот на этих вопросах мы здесь в первую очередь и сосредоточим внимание.

«Война стала большой, как жизнь, как смерть. Воюет все человечество. Словно бы земной шар влетел в какую-то кровавую, безумную туманность. Война стала жизнью человечества. И тема войны, следовательно, на долгие годы будет основной темой искусства... Украина должна родить сильнейшие произведения о народе в войне, хотя бы одно произведение. Хватит ли силы у писателей? «Гей, хто в лузі, озовися!» — записывал Довженко в одном из своих военных блокнотов в марте 1942 года.

Так в сознании художника вырисовывается главная, стержневая тема произведений о войне, их идейная и эстетическая доминанта. Стремился ли Довженко, как, например, в «Повести пламенных лет», к созданию широкой, масштабной военной панорамы или рассказывал лишь об одном эпизоде войны, об одной ночи перед боем, обращал ли он свой взор к тому, что происходило «по ту сторону» фронта, где на захваченной гитлеровцами земле оставались наши люди, или заносил в свою фронтовую записную книжку разрозненные впечатления и мысли,— в любой теме, на любом литературном «плацдарме» художник видел перед собой главную свою цель: показать «народ в войне»... Именно эта тема, этот угол зрения определяли и выбор их объектов изображения, и оценку событий, и характер художественных средств.

Надо ли говорить, что такая постановка вопроса отнюдь не противоречила другой задаче — показать человека, советского человека на войне. Масштабность главной темы не исключала пристального внимания художника к индивидуальной судьбе. Но она определяла исходные позиции в художественном осмыслении этой судьбы, позволяла соотносить ее с судьбой народной. В «Повести пламенных лет» Иван Орлюк и Ульяна, как индивидуальности, ничуть не теряются в могучем, многоплановом эпическом потоке, их личные судьбы, их ратные пути, их любовь органически «вписываются» в картину общенародной борьбы. Подвиг летчика Виктора Гусарова в очерке «Стой, смерть, остановись!» осмысляется как частица великого всенародного подвига, как выражение русского советского характера. История так неожиданно и драматично возникшей любви Олеси и Василя в «Незабываемом» предстает перед нами как впечатляющее свидетельство вечной, неуничтожимой силы народной жизни.

И художественная практика, и творческие раздумья Довженко военных лет не оставляют сомнений в том, что раскрытие величия подвига советского народа в войне, создание образа «обыкновенного победителя»

было его главной и незыблемой творческой установкой. Показательна в этом отношении хотя бы такая дневниковая запись, сделанная в конце 1943 года: «Примусь я лучше писать новый сценарий про народ. И не буду я его писать ни о дважды героях, ни о трижды предателях. Ни о вождях, что самим своим присутствием уже приукрашивают произведение и возбуждают надежды постановщиков на безапелляционные путеводные сентенции, а напишу я сценарий о людях простых, обыкновенных, тех самых, что называются у нас «широкими массами», что понесли тягчайшие потери на войне, не имея ни чинов, ни орденов».

Тема «тягчайших потерь», тема войны как трагедии народа, величайшего народного бедствия становится одним из «нервов» творчества Довженко этого периода.

Высокая трагедийная нота пронизывает всю довженковскую публицистику. Вот характерное начало одной из его статей — «Украина в огне»:

«От Сана до Донца потянулись долгие, долгие дороги, города и села, и предместья, и всюду женский незабываемый плач. Плакала Украина:

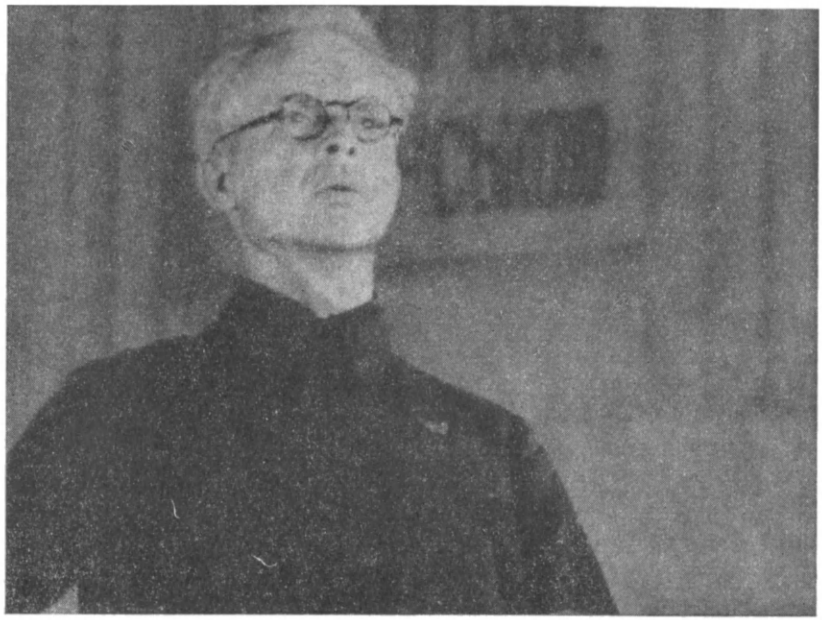
— Ой сыны мои, сыночки, дети мои, на кого вы меня покидаете?»

Великой болью и гражданским мужеством продиктованы эти суровые, пронзительные строки. Сердце художника плакало вместе с его родной землей, и холодное, «трезвое» равнодушие к народному горю было ему глубоко отвратительно. «Брешешь,— давал он в своем дневнике отповедь некоему Н., который, прочитав статью «Украина в огне», заметил, что, дескать, «никакого плача не было»,— Брешешь, слепой чиновник. Плакала она вся, обливала слезами твою дорогу, а ты смотрел на нее через свои очки и через стекло закрытой машины и ничего не видел, потому что не хотел видеть, слепец. Плакала, ой, как плакала! Ни одна страна на свете так не плакала. Даже старые деды плакали так, что глаза опухали от слез».

Довженковские записные книжки полны страшных картин народного горя и горьких раздумий художника о великих испытаниях, выпавших на долю его народа. Массовые убийства и насилия... Гибель детей.... Трагедия девчат, вывозимых на чужбину... Горящие хлеба, уничтоженные сады, разрушенные памятники культуры... «Смотрю я вокруг,— пишет Довженко в одном из фронтовых блокнотов.— Мучаются, бедствуют люди. Кровь и страдания. Смерть и геройство. Отчаяние и надежда. И все в невиданных масштабах. Война, война...»

Через много лет, в «Зачарованной Десне», вспоминая, как сгорело во время войны родное его село, Довженко так охарактеризует тогдашнее свое душевное состояние: «Горел и я тогда в том огне, погибал всеми смертями человеческими, звериными, растительными — пылал, как дерево или церковь, качался на виселицах, разлетался в прах и дым от катастрофических взрывов... Из мускулов моих и раздробленных костей варили мыло в Западной Европе в середине XX столетия. Кожа моя шла на переплеты и абажуры для ламп, валялась на дорогах войны грязная, потоптанная, выутюженная тяжелыми танками последней войны человечества».

Вот эта слиянность художника со своим народом, определявшая глубокую народность его творчества, была в данном случае и источником драматизма, трагедийной окрашенности его произведений военного периода, многие из которых — подлинные «крики боли», сгустки человеческого страдания.



1942 ГОД, НОЯБРЬ. ВЫСТУПЛЕНИЕ НА АНТИФАШИСТСКОМ МИТИНГЕ РАБОТНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Но здесь же и корни другой темы, определявшей звучание военных произведений Довженко,— темы героизма, темы народного бессмертия и народного подвига.

Едва ли не первым в нашей литературе Довженко в рассказе «Ночь перед боем» сказал суровые слова о начальном периоде войны (рассказ датирован маем 1942 года, а события, о которых повествует капитан Колодуб, относятся к осени 1941-го). Правда, в рассказе нет широкой картины тогдашнего положения на фронте, автор и не претендовал на это. Но и в одном-единственном эпизоде той горькой осени Довженко сумел немногими штрихами передать драматизм обстановки. «Мы отходили без связи,— вспоминает капитан Колодуб,— без артиллерии, мы отступали на восток день и ночь. Вражьи клещи вот-вот должны были сомкнуться перед нами. Мы несли на плечах своих раненых товарищей, падали с ними, проклинали все на свете и шли дальше. Правду сказать, были такие, что и стрелялись в отчаянии и гордости. Были такие, что бросали оружие и с горькой бранью ползли к своим хатам, не имея духу пройти мимо».

Эмоциональная напряженность повествования усиливается соответствующей окрашенности деталями, оттеняющими душевное состояние отступающих воинов: «тяжелые, темно-темно-синие, снизу совсем черные» тучи, зловещая крона над ними, как бы написанная «буйными кручеными кроваво-красными и желтыми мазками», «величественные немые молнии воробьиной ночи»...

И все же не эта впечатляюще мрачная по колориту, почти апокалиптическая картина определяет главную направленность авторской мысли в рассказе «Ночь перед боем». Довженко правдиво воссоздает обстановку тех месяцев. Но это оказывается лишь фоном, на котором разворачивается главная тема рассказа — тема народной несломленности, народного героизма. И свое решение тема эта находит через образы двух обыкновенных дедов-рыбаков, которые, по словам капитана Колодуба, перевернули ему тогда «всю душу».

Что же за сила такая была у дедов Платона и Савки? «Они были смелые, эти деды, суровые и не боялись смерти»,— вспоминает Колодуб. И еще давала им силу непоколебимая вера в победу над врагом («Это же все доведется забирать назад!» — со спокойной убежденностью замечает дед Савка), в то, что душа народная, «людская душа молодецкая сильнее всякой танкетки». Вот эта духовная несломленность и дает деду Платону и деду Савке моральное право бросить в лицо отступающим бойцам горькое: «Не умели биться. Вот тебе и отступление...»

Конечно, рассказ «Ночь перед боем» отмечен печатью своего времени. Сегодня, перечитывая его, невольно думаешь: по адресу ли направлены гневные упреки Платона и Савки? Там ли видят они подлинные причины наших неудач первых месяцев войны?..

Однако глубинный смысл рассказа Довженко вообще не в поисках виновников — в 1942 году сама постановка такой задачи была исключена, да вряд ли и полезна. Довженко думал в тот момент о другом: и горе, и страдание, и горечь были естественными, но нельзя было допустить, чтобы они подтачивали душу народа. Чувства эти нужно было переплавить в ненависть к врагу, в непреклонную решимость победить. И в глазах капитана Колодуба и его товарищей именно деды Платон и Савка стали символом, воплощением этой решимости. Их слова обжигающе обидны и, быть может, не во всем справедливы, но за ними стоит высшая народная правда — правда подвига, правда славной героической традиции прадедов-воинов, правда безоглядного самопожертвования во имя победы. «А ты прикуй себя от страха цепью к пулемету, да и клади врага молча до смерти,— строго объясняет дед Платон «нервному» Троянде.— А там уже когда-то живые разберут, какой ты был нервный».

Вспомним еще одну деталь из дневниковых записей Довженко: дед, не обращая ни малейшего внимания на артиллерийский обстрел, спокойно режет ботву. «Логика» старика — это логика умудренного жизнью труженика: «А ну их. Много их тут стреляет, а смерть одна. Да и некогда мне. Работы много».

Или вот Мария Стояниха из рассказа «Мать». Сколько естественности и простоты в подвиге этой женщины, подготовленном всей ее прекрасной трудовой жизнью, всем ее мироощущением и психологическим складом. С каким достоинством идет Мария на фашистскую виселицу: «Тогда она быстренько стала на пенечек и перекрестилась.— Не трогайте, недолюдки. Не прикасайтесь к моей шее... Сама надела. — Дети! — и отделилась от земли...»

Ставя перед собой задачу рассказать о «простых, обыкновенных» людях на войне, Довженко одновременно стремился раскрыть *величие* советского человека, его *героическую сущность*. Концепция «маленького» человека была органически чужда нравственным и эстетическим его принципам. «Было бы неплохо проникнуться убеждением,— замечал Довженко,— что тема о простых, обыкновенных людях

и обыкновенных происшествиях вовсе не обыкновенная, простая тема». Он считал, что война открыла перед всем миром «какие-то невероятные протуберанцы людских качеств», и эта глубокая убежденность не могла не найти своего выражения в творчестве художника.

Нетрудно заметить, что героическое у Довженко нередко проявляется как л е г е н д а р н о е. Поступки, действия большинства героев его военных произведений то и дело перерастают рамки обычного, достоверного в бытовом понимании этого слова, как бы выходят за пределы человеческих возможностей. Один из наиболее ярких примеров тому — случай, который лег в основу очерка «Стой, смерть, остановись!». Когда в неравном бою с фашистскими асами советскому летчику Виктору Гусарову пуля пробила навылет шею и Гусаров понял, «что он убит в бою, что умирает», в это неповторимое мгновение «откуда-то из глубины его души, от лесов и полей, от песен и широты русской натуры заговорил в нем голос жизни, всесокрушающая воля к победе. «Стой, смерть, остановись! Стой! Дай посадить машину на родную землю, а там уже черт с тобой!» — пожелал Гусаров. И смерть отступила от Гусарова». Не менее характерен и эпизод из «Повести пламенных лет» (на этой основе Довженко написал рассказ «Воля к жизни»), где Иван Орлюк, уже обреченный на смерть, фантастическим напряжением воли решает исход безнадежной операции, выигрывает, по словам изумленного хирурга, «генеральное сражение почти без всяких средств для победы». А Петро Чабан, герой рассказа «На колючей проволоке»? Брошенный фашистами после чудовищных пыток за колючую проволоку, он в глазах предателя Заброды увидел свою «близкую, лютую, неумолимую смерть», и в нем вдруг проснулась «нечеловеческая жажда жизни», «страсть борьбы и мести, вся воля, весь разум, все вспыхнуло в нем с такой страшной силой, что он в одно мгновение словно возвелся в какую-то необычайную степень, близкую к взрыву». Чабан как бы вобрал в себя всю неисчерпаемую силу своего народа. И в этом состоянии для него не было уже никаких преград, не было ничего невозможного...

Обычно, приводя эти и другие примеры подобного рода из произведений Довженко (а число их можно увеличить), говорят о гиперболе, о романтических элементах в его творчестве, о самобытности его художнического мировосприятия. Все это, несомненно, так. И все же прежде всего дело здесь, по-видимому, не столько в особенностях манеры, сколько в концепции человека, в подходе художника к проблеме героя. Все эти гиперболизированные приемы изображения, все эти фантастические ситуации и т. п. есть не что иное, как своеобразная, чисто довженковская (но имеющая, кстати говоря, глубокие корни в народной художественной традиции) форма проявления «невероятных протуберанцев людских качеств», форма выражения героической сущности народного характера, его величия и масштабности.

Проблема изображения человека именно здесь, в этом пункте теснейшим образом переплетается с проблемой правды — правды жизни и правды искусства. Довженко видел, разумеется, не только «звезды», но и «лужи» на дорогах войны, видел кровь и трупы, трусость, приспособленчество и дезертирство, слышал хриплые ругательства и крики отчаяния... Но он был бесконечно далек от того, чтобы составлять «сумасшедший прейскурант смертей». Не чувство ужаса стремился он пробудить у читателя, а ненависть к врагу и готовность к подвигу. Несомненно, этой цели служили — особенно в начальный период войны — и приводимые писателем многочисленные кровавые подробности.



1943 ГОД, ИЮНЬ. ШТАБ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА. СПРАВА НАЛЕВО: А. МАЛЫШКО, А. ДОВЖЕНКО, М. РЫЛЬСКИЙ И РАБОТНИК ВОЕННОГО СОВЕТА ФРОНТА ПОДПОЛКОВНИК П. ГАПОЧКА

от которых буквально «трещала», по выражению самого Довженко, его записная книжка. Однако характерно, что и в рассказах и в киноповестях», то есть там, где речь шла уже о более глубоком обобщении и осмыслении событий, Довженко проявляет куда большую сдержанность и чувство меры в обрисовке грязной и отвратительной изнанки войны. Она предстает как фон для увиденных писателем тут же, рядом с проявлениями бесчеловечности, высоких примеров героизма, мужества, человеческой красоты, которые, несмотря ни на что, оказываются сильнее смерти. В этом отборе жизненных явлений, в подходе художника к их оценке и осмыслению проявлялась его жизненная, идейно-эстетическая позиция.

Характерна в этом отношении статья Довженко «Смотрите, люди!» Рассказывая о нечеловеческих пытках и издевательствах, которым подвергли фашисты Зою Космодемьянскую, писатель затем рисует момент казни патриотки. Самые высокие, самые страстные слова, обращенные к советским людям, ко всему человечеству, к потомкам, слова великой любви и великой ненависти вкладывает Довженко в уста Зои, стоящей у виселицы. «Что точно сказала Зоя на эшафоте? — пишет Довженко.— Какими словами презрения и гнева заклеймила убийц, погубивших молодую жизнь ее и многих тысяч ее родных сестер? Какие слова пламенной веры в победу, в отмщение, в жизнь и честь великой нашей Отчизны выкрикнула она наспех, когда фашистская петля уже стяги-



1943 ГОД, ИЮЛЬ. ПОСЛЕ БИТВЫ НА КУРСКОЙ ДУГЕ. А. ДОВЖЕНКО НА ПОДБИТОМ ФАШИСТСКОМ ТАНКЕ «ТИГР»

вала ее красивую шею, когда ускользали из-под ног подмостки и родное русское село поплыло перед глазами,— мы не знаем». И, может быть, пораженные ужасом, согнанные к месту убийства, невольные свидетели злодеяния не смогут поручиться за точность ее слов. Но мы, говорит писатель, современники грозной эпохи, знаем, что Зоя в эту минуту обращалась ко всем живым и грядущим. «И ни один — ни поэт, ни историк — не ошибется, когда припишет Зое в высокую вдохновенную минуту творчества самые великие и чистые слова».

Надо ли говорить, что речь здесь идет не о приукрашивании, не о «придумывании» действительности, а об умении увидеть и осмыслить подлинную правду жизни, о необходимости писать портрет народа смелой и мудрой кистью, схватывающей самые характерные его черты. «О время! Великий, мудрый художник,— восклицает Довженко в «Украине в огне».— Ты несешь на своей палитре не только седину нашу, или поднятые носы, или близорукость нашу, или случайные подчас знаки наших геройств, но и что-то неизмеримо большее, глубокое и великое, что в синеве будущего создаст блистательной красоты трагический портрет бессмертного нашего народа».

Война, подвиг советского народа, его величайшая в истории победа — все это принесло Довженко ощущение того, что наш «простой человек» оказался в центре внимания всего благодарного и изумленного мира, предстал перед ним как впечатляющее воплощение силы, гуманизма, духовной красоты. «...Весь мир,— говорил Довженко в

1945 году на обсуждении журнала «Искусство кино» (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. I, ед. хр. 406) — заглядывает в его глаза; одна категория людей мира любуется и гордится им, другая бойтся его, третьи придумывают для него несовершенства, четвертые зарабатывают деньги, показывая, что он не так сморкается... Одни говорят, что победил, потому что он беден и ему не жалко умирать; другие говорят, что он вымуштрован и умирает потому, что он манекен... Но мы же знаем, почему он победил! Тема победы в искусстве и есть тема образа нашего человека... простого человека...».

Так решал Довженко — и теоретически и в своей художественной практике — проблему «обыкновенного» и «необыкновенного» героя, человека «простого» и «великого», проблему, вокруг которой и сегодня не утихают споры. В этих спорах довженковские военные страницы — живой и убедительный аргумент в пользу искусства героического, искусства большой правды о большом нашем человеке, о «народе в войне».

В упоминавшейся выше одной из самых впечатляющих своих статей военных лет «Украина в огне» Довженко писал, обращаясь к молодому советскому воину: «Ты вырос мужественным и добрым... Ты был весь в работе творческой, и вся земля твоя, твои необъятные поля уже начали петь песню твоему вдохновению, и твои старые родители радовались, глядя на тебя, и молодели душой». Самые светлые краски, самые высокие слова ищет Довженко-публицист, чтобы раскрыть гуманизм, доброту, душевную щедрость советского человека, показать величие и красоту добрых дел, которые он совершил и которые еще мог бы совершить на земле, если бы не война...

И вдруг этот возвышенный гимн доброте и гуманизму прерывается суровой, жесткой нотой:

«Юноша мой, товарищ, добрый, сердечный и мужественный, забудь доброту свою!

Ворвалась в нашу жизнь жестокая, лихая годпна.

Людоеды из-под Рейна завалпли нашу Украину, как обвалом.

Упало на нас фашистское зло.

Украина в огне! Украина в ярме!

Юноша, брат мой, спрячь доброту свою. Ожесточай свою душу, ненавидь врага-людоеда.

Пусть захлебнется он от ненависти твоей, пусть погибнет от твоего огня.

Будь бездонно щедрым в воздаянии за зло, содеянное тебе!»

Статья «Украина в огне» не составляла в этом отношении исключения. Из статьи в статью, из выступления в выступление Довженко в этот период не устает повторять призывы к священной ненависти, к беспощадности по отношению к врагу, который принес на нашу землю смерть и разрушение.

В настойчивом нагнетании мотивов ненависти и возмездия, переплетающихся в статьях Довженко начального периода войны с леденящими душу картинами фашистских зверств, помимо диктовавшегося требованиями момента мобилизующего, пропагандистского пафоса, нельзя не видеть и своеобразного выражения глубоко гуманистической сущности той борьбы, которую вел советский народ. И это вовсе не парадокс. Великая Отечественная война была войной не просто между двумя странами — это был поединок двух миров, двух идеологий.



1943 ГОД, АВГУСТ. ШТАБ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА, СПРАВА НАЛЕВО: ХУДОЖНИК А. ПЕТРИЦКИЙ, А. ДОВЖЕНКО И СЕКРЕТАРЬ ЦК ЛКСМУ В. КОСТЕНКО

двух моралей. Это была, как писал Довженко в статье «К оружию!», «война регресса против прогресса. Война насилия против дружбы. Война ненависти против братства и равенства народов». Отстаивая свою землю от оккупантов, советский народ вместе с тем спасал другие страны от «коричневой чумы», защищал мир от войны, культуру — от мракобесия, человечность — от апологии убийства. Вот почему еще в самый разгар войны Довженко с полным правом писал о «моральной победе советского народа», победе, которая «бездонна и неисчерпаема в своих последствиях» (статья «В грозный час»). Вот почему призывы к ненависти и беспощадности, с особой силой звучавшие в публицистике Довженко 1941—1942 годов, были тогда не только оправданы, так сказать, психологически — как выражение законного чувства возмездия, но и глубоко гуманны по своей сущности.

Другое дело, что нельзя, конечно, сводить все только к этому. Наш социалистический гуманизм, каким он предстает в произведениях Довженко военной поры,— понятие сложное, со множеством граней и оттенков, по-разному проявляющихся на разных этапах войны.

Чувство ненависти и мести чуждо природе советского человека. Оно разбужено войной, чудовищными преступлениями и зверствами фашистов — эту мысль Довженко акцентирует даже в тех своих пуб-

лицистических выступлениях, которые относятся к первым двум — самым тяжелым — годам войны. В одной из статей, например, писатель рассказывает о молодом учителе с Черниговщины, командире партизанской роты, который «в жизни мухи не обидел» а теперь, убивая фашистов, по его собственному признанию, «испытывал радость мщения». «Я смотрел на учителя с гордостью,— замечает Довженко,— словно передо мною был живой символ моего народа, доброго, мягкого, но беззаветно мужественного в борьбе с поработителями-фашистами». («Большевик», 1942, № 23—24, стр. 32—33).

Велик и праведен гнев советских людей, священна их ненависть к врагу. Однако война у Довженко предстает отнюдь не в романтической дымке. Это тяжелая, но необходимая работа, которая, не принося человеку радости, требует от него в то же время полной отдачи всех душевных и физических сил. «Рабочим», который «знал в совершенстве свое трудное боевое ремесло», называет Довженко летчика Гусарова, героя очерка «Стой, смерть, остановись!» Спокойно, как-то даже хозяйственно воюет Иван Кавун; «От суета... Ну, давайте»,— сказал он перед началом боя и плюнул в ладонь, как добрый плотник» («Победа»). Ивану Орлюку («Повесть пламенных лет») война иногда посылала «высокие мгновения», когда «у него словно вырастали крылья», но больше было все же «пота, лишений, повседневного изнурительного труда переходов», той страшной, кровавой работы, которая чужда его натуре сеятеля и хлебороба. Чувство страха не было знакомо Орлюку, воин, он знал даже упоение в бою; и все же, вернувшись с труднейшего боевого задания, весь «в липком зеленоватом поту и в крови», он не может сдержать дрожи отвращения. «Противно,— махнул рукой Орлюк... Выпив вина, он не захотел ничего закусывать и, чтоб никто не заметил, тихо затосковал в темноте, посылая всему проклятому миру горькие свои упреки и угрозы...»

Вот эти глубоко народные по своей природе нравственные оценки и определяют во многом характер гуманизма Довженко, его представлений о месте зла и добра, ненависти и любви в жизни человека.

Есть в дневниках Довженко, относящихся к апрелю 1942 года, такая весьма характерная запись. В разрушенном фашистами селе фотографируют трупы сожженных, порубанных и мерзлых детей и женщин. Вот как реагируют на это люди:

«— Может быть, не нужно? Может быть, забыть? Разве мертвых вернешь? А ведь жить нужно не воспоминаниями об ужасах. Забыть.

— Как?

— Потому что тогда — лучше умереть. Нужно жить чем-то хорошим. Вы нам о хорошем напишите да научите нас хорошему и красивому. Хочется радости, хоть капельку.

— Это лакировка.

— Не знаем. Пожалейте нас».

Писатель не просто записывает этот примечательный разговор, но и тут же комментирует его, и этот комментарий имеет принципиальное значение для понимания гуманистической позиции Довженко. «Народ не захочет бытово-описательного чтива о войне,— пишет Довженко, имея в виду те газетные очерки, которые были похожи друг на друга, «как крики человеческой боли или вопли отчаяния» — ...Народ надо возвеличить и успокоить, и воспитывать в добре, потому что зла выпало на его долю, на одно поколение, столько, что хватило бы и на десять колен. Чтобы упражнения в жестокости, в зле и горе не ожесточили его душу, не притупили ее...»

Так уже в первой половине 1942 года наряду с гневными призывами к ненависти и мести, на фоне «ужаса, страданий, гнева» возникает у Довженко тема добра, тема нашей человечности, противостоящей разрушительной, антигуманной силе фашизма. Тема эта в последующие два-три года занимает все большее место в творчестве художника. Гуманизм Довженко, каким он вырисовывается из его произведений и дневников, относящихся к 1943—1945 годам, становится многограннее, «объемнее», вбирает в себя новые — по сравнению с начальным периодом войны — аспекты.

Я хочу вновь подчеркнуть: разумеется, ни гражданская совесть, ни чувство патриотизма, ни художнический темперамент никогда не позволяли Довженко закрывать глаза на горе, жестокость, страдания, огненным валом прокатившиеся по родной земле, и голос его не дрогнул ни разу, когда надо было звать народ к возмездию. Но Довженко, чем дальше, тем яснее понимал и другое: столь необходимая и безусловно праведная по природе своей «наука ненависти» все же не исчерпывала нашего представления о гуманизме, который органически включает в себя такие понятия, как любовь к человеку, как тяга народа к добру, к мирному труду. И долг художника — поддержать эту тягу, показать народу «путь и перспективы», дать ему «радости, хоть капельку»... Еще в полном разгаре была жесточайшая в истории человечества война, кругом были пепелища, кровь, слезы и отчаяние, но Довженко все чаще и все настойчивее возвращается к мысли о том, как «много благородного труда, много ласки, добра и доброго согласия нужно принести в жизнь, чтобы как-то залечить душевные увечья и раны людей».

Вопрос о воспитании добром, о противопоставлении злу и жестокости фашизма нашей человечности, нашего гуманизма приобретал для Довженко особую остроту там, где речь шла о детях на войне. Тягчайшие физические и нравственные испытания, которые обрушила на детские плечи война, разрушительное воздействие на детскую душу картин жестокости, насилия, предательства,— это не давало писателю покоя. Довженко не может не думать с болью о том, как нелегко будет очищать души детей от коросты ожесточения, пробуждать в них «чувства добрые».

Большой горечью и драматизмом проникнута сцена из «Повести пламенных лет», где Ульяна, вернувшись в освобожденное от врага родное село, приходит в полупустую школу и начинает с детьми разговор о том, «что будем делать, когда вырастем». Болью сжимается сердце Ульяны, когда перед нею проходят опаленные войной, исковерканные детские судьбы. Вот Тарас Бовкун, убивший трех немцев («А!.. Фашисты были»,— деловито объясняет он) и собравший в своем тайнике целый арсенал — все, что принесли оккупанты, что отравило его маленькую душу. А вот Гупало, бедно одетый мальчик, который в оккупации начал курить, ругаться и даже уже самогон пил— «был гетрункен драй маль»... О чем мечтают дети, познавшие войну? Один — о хлебе, другой — о том, чтобы спать в хате, третий хочет убивать фашистов, когда вырастет, а Вася Ступак собирается жениться, потому что батька и мать убили, баба померла. «А у меня двое малых. И корова скоро отелится. И огород же надо обработать...» Сколько же нужно доброты, терпения, ласки, чтобы эти дети снова стали детьми, чтобы они забыли о войне, а думали о том, о чем и полагается думать в их возрасте,— о школе, о дружбе, о детских играх!..

Тема «воспитания в добре» самым тесным образом смыкается в творчестве Довженко военных лет с темой доверия к человеку. Худож-



1943 ГОД, АВГУСТ. СЕЛО АНТОНОВКА. ПОЛКОВНИК А. ДОВЖЕНКО И В. СТАРЧЕНКО

ника волновал, в частности, вопрос об отношении к честным советским людям, пережившим ужасы фашистской оккупации или угнанных в рабство. Чрезмерная подозрительность, недоверие, чванство, беспочвенные обвинения, неумение понять трагедию народа — все это вызывало у писателя чувство протеста. «Мы, освободители,— с горечью записывал Довженко в дневнике,— ...считаем их (освобожденных.— *Ю. Б.*) второразрядными, нечистыми, виноватыми перед нами, дезертиро-окруженцо-приспособленцами. Мы славные воины, но у нас не хватило обыкновенной человеческой доброты к своим родным людям».

Чаще всего это было следствием бездумности, отсутствия чуткости и душевной культуры. Таков, например, комбатареи Сироштан («Украина в огне»), «закаленный рубака», щеголяющий своей грубостью перед освобожденными им стариками и женщинами. Гордый своей силой победителя, он всех их подозревает чуть ли не в предательстве, в том числе и собственную жену, оставшуюся где-то в Виннице: «С немцами, видно, качается. Вот, ей-богу, заберем Винницу — голову отрубаю!» «Умел ли он жить?— пишет Довженко в авторском отступлении.— Думал ли о жизни, о родине, о семье в их единстве или только действовал, погруженный в ненависть к врагу, в труд и подавление страха сражений?.. Не упрощенно ли, механически выполнял он суровые повеления истории?»

Таков же и «горячий боец» из рассказа «Тризна», который, услышав о девушке Христе, не сумевшей устоять перед домогательствами немецкого солдата, бросает всердцах: «Пострелял бы я таких всех до ноги!» Но старый Демид Бесараб, только что потерявший в бою сына и знающий цену жизни и смерти, останавливает бойца: «Слишком легкий ты стал на стрельбу, я вижу... Сейчас нужно думать не про стрельбу. Стрельбы и разорения посеяли немцы у нас и так немало...» Нет, Демид не оправдывает Христю, но, умудренный жизнью и горьким опытом, понимает, что она — лишь глупая, запуганная жертва фашизма и войны...

Споря с такими, как Сироштан и безымянный «горячий боец», Довженко с особой непримиримостью относится к убежденным «рыцарям» подозрительности и недоверия, к тем, кто в каждом советском человеке готов был видеть потенциального врага и предателя. Об одном из таких «деятелей» с презрением рассказывает дед Платон в «Ночи перед боем»: «А недавно вот, перед вечером перевозил я с Митрофаном одну партию. Так одно, черты его батька бери, в очках... в новых ременьях, так еще револьвер вытянуло да кричит —вези, говорит, скорей, куркуль!» В рассказе «Тризна» мы вновь встречаемся с такой же мрачной фигурой — это Ефим Галай, «который во всяком спорном разговоре о действительности видел не обычное желание лучшего, а статью контрреволюции». И, наконец, в киноповести «Украина в огне» Довженко рисует образ Лиманчука, «человека с сонным, вялым сердцем», любителя «разных секретных бумаг, секретных дел, секретных инструкций», не теряющего «линии ни при каких обстоятельствах». Лиманчук воплощает равнодушие к человеку, косность и догматизм мышления, гипертрофированную подозрительность.

Когда Лиманчук узнал, что партизаны захватили Христю Хуторную — жену итальянского капитана Пальмы, он заочно присудил ее к расстрелу. Он не желает вникать в подробности падения Христи, его не интересует, как ее ловили, били, насиловали, как угоняли в рабство, от которого у нее было только одно спасение — выйти замуж за Пальму... И Христя была бы расстреляна даже без допроса, если бы не остановил холодную руку Лиманчука командир партизанского отряда. Этот немолодой уже человек не только понял Христю, не только поверил ей, но и нашел для ее ожесточившейся, омертвевшей души «живую воду». Такой «живой водой», единственным лекарством была для Христи месть. «Выпей, дочко. Оживешь, благодарить будешь». Это говорит человек, мечтающий о послевоенном «добре и согласии» («...будем добрыми, как были,— еще добрее станем...»). Вот как в народных представлениях о гуманизме, человеколюбии переплетаются добро и ненависть...

Иначе, чем у Христи Хуторной, но не менее трагично, сложилась судьба другой девушки-полонянки из киноповести «Украина в огне» — Олеси. Ей пришлось вынести и пережить столько, что привычные человеческие мерки и нравственные нормы здесь неприменимы. Через фашистское рабство, через «широкие просторы аморальности и упадка», «кровавыми путями и перепутанными тропами», на которых «много горя и грязи... прилипло к молодому ее телу и душе» и «кричала, терзалась, горела огнем ее девичья совесть под натиском мерзости и неумолимого насилия»,— через все это шла Олеся к встрече со своим Василем. «Не спрашивайте,— пишет Довженко,— какой ценой она добралась домой. Ибо тогда вы расстреляете ее за аморальность... Или упадете перед ней на колени и горячим своим участием всколыхнете яд вос-

поминаний. Ничто не изменится. Все было. И, может быть, самая большая мудрость в таких горьких событиях — следовать природе, пославшей человеку счастье забвения тяжелого в добром времени». У Василя Кравчины хватило этой мудрости,— испив до дна кровавую чашу войны, он, однако, не зачерствел душою, не ожесточился, а, напротив, «стал добрый», постиг цену страдания. И при встрече с Олесей на ее тревожный вопрос: «Что мы скажем друг другу, Василь?» — он отвечает: «Скажем: здравствуй, Олеся!»...

Обращаясь к тысячам таких, как Василь Кравчина, к тем, кого «крылья победы» несли через всю Украину, Довженко в статье «Слава нашему народу!» напоминал, «с какой тоской и слезами провожал вас при вашем отступлении честный украинский народ, ожидая в немом отчаянии прихода ненавистных гитлеровцев». Освободительная миссия — это миссия добра и сострадания. «А если кому из вас,— продолжал писатель,— государство поручило высокую миссию применения кодекса своих законов, не забывайте о всенародном бедствии, не предусмотренном никем из нас в благополучные времена. Не отгораживайтесь от суровости жизни статьями, параграфами, профессиональной холодностью и многозначительностью. Сорадуйтесь, сострадайте, вытирайте слезы народу, творите жизнь. Действуйте во имя жизни!» («Советская Украина», 1942, 25 декабря).

«Я бы хотел, чтобы судили меня по закону народного бедствия»,— говорит партизанам, собирающимся казнить его как немецкого старосту, старый Лаврин Запорожец («Украина в огне»). Совесть Лаврина чиста — он согласился стать старостой, чтобы хоть чем-то помочь своим односельчанам, и много вреда сумел причинить фашистам. Не своя судьба заботит его... У Лаврина не дрогнула рука, когда надо было задушить подлого предателя Заброду, но он понимает, что принцип «лишь бы линия была чиста» не имеет ничего общего с принципами социалистического гуманизма.

«По закону народного бедствия»... Разумеется, эта формула отмечена совершенно очевидной печатью «пламенных» и трагических лет войны. Ошибкой было бы придавать ей всеобщее значение, вольно или невольно как бы противопоставляя «закон народного бедствия» другим законам, на которых зиждется гуманизм социалистического общества. Точно так же, как неверно было бы не замечать и тех спорных моментов, отдельных полемических перехлестов, которые встречаются у Довженко. Когда, например, в «Тризне» Демид Бесараб говорит «горячему бойцу»: «Нужно было сразу крепче стрелять по врагу, когда война начиналась, а не бросать народ на произвол судьбы»,— нельзя, конечно же, принять такое толкование драматических событий начала войны. Когда в дневниковых набросках к «Украине в огне» Христя говорит следователям: «Не судить вам меня нужно, а просить прощения, что вынуждена я была спать с немцами... Вы виноваты, а не я»,— мы, сочувствуя Христе, отвергаем ее упрек, ибо не забываем, что кроме таких, как она, были у нас тысячи и тысячи девушек, которые нашли в себе силы избрать другой путь — путь борьбы с врагом...

Впрочем, и в том и в другом случае нельзя отождествлять авторскую позицию с позицией его персонажей, мы можем выразить претензии лишь по поводу того, что художник не расставил здесь с достаточной ясностью свои акценты.

Что же касается самого Довженко, то о его позиции, о его гуманизме следует говорить, исходя из творчества художника в целом, в данном случае — из всего его наследия военных лет. Только рассматривая

это наследие как единый идейно-художественный организм со всей его диалектической сложностью, мы сможем понять функции и значение каждой из частей этого организма. Тогда все краски довженковской палитры, все многоголосье его военных произведений — и гнев, и грозные призывы к ненависти и мести, пронизывающие его публицистику; и крики боли, потрясающие картины горя и отчаяния, которыми полны, например, его фронтовые записные книжки; и пафос народного подвига, определивший звучание «Повести пламенных лет»; и мотивы скорби и жалости, и мечты о добре и согласии, которые должны прийти на нашу землю после войны; и раздумья о бессмертии народа, о величии и щедрости его души — все, все это сольется в трагическую и вместе с тем оптимистическую, глубоко гуманистическую по своей сущности симфонию, посвященную подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне.

Шел август 1942 года.

Второе пламенное лето...

«Стою на митинге среди братьев, и великий гнев и боль разжигают мою душу. Стою лицом на запад, к моей пленной матери-Украине.

Стою в тревоге, скорбный, и перед моим духовным взором расстилается вся, как будто в огне, Украина.

Черная туча закрыла мне небо...» (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. I, ед. хр. 308).

Так говорил в эти дни Довженко на Втором антифашистском митинге представителей украинского народа в Саратове. Каждое слово этой речи было пронизано болью, и скорбью, и великой страстью. С берегов Волги, за тысячи километров, видели его глаза сожженную и разрушенную родную украинскую землю, туда, к берегам Днепра и Десны, Буга и Донца, рвалась его душа и летело его сыновнее слово: «Я стучу в каждое окно, в каждую убогую дверь, где живут наши родные...»

Если бы собрать под одной обложкой все, что в военные годы сказано было советскими писателями о Родине, о любви к своей земле, то, бесспорно, в числе самых ярких, самых волнующих глав этой необыкновенной антологии оказались бы пламенные довженковские страницы об Украине.

В чем секрет непреходящей силы этих произведений Довженко?

Я думаю, прежде всего в том, что тема Украины менее всего была для Довженко просто одной из публицистических тем. Она была его болью, его личной драмой, его надеждой; она не давала ему покоя, разжигала его воображение, бросала его то в глубины отчаяния, то к высотам веры и оптимизма. «Читал по радио свою статью,— записывает он во фронтовом дневнике 5 апреля 1942 года.— Видел всю несчастную Украину, и мать свою, и отца, прощался с ними и плакал, читаючи». Отсюда — те впечатляющие, от самого сердца идущие слова, которые находил Довженко-публицист, говоря о трагедии Украины, захваченной врагом.

Писатель стремится раскрыть перед читателем-фронтовиком — а именно к нему обращался он в первую очередь — чудовищную, но достоверную, оснащенную фактами, цифрами, даже свидетельствами гитлеровской печати картину того, что творили на Украине фашистские банды. «И начался беспощадный грабеж Украины. Независимо от того, что ее объедает огромная немецкая орда, немцы угоняют ежедневно из Украины в неметчину двадцать полных поездов с продуктами, и не

только с продуктами,— все, что можно забрать: забирается руда, металл, кожи, шерсть, шпалы, рельсы, трамвайные вагоны, забирается одежда у населения»,— пишет Довженко в статье «Не хозяйничать немцам на Украине!» («Большевик», 1942, № 23—24, стр. 31). Стон и плач стоят на Украине. Виселицы, расстрелы, зверства... Довженко приводит цифры о массовых убийствах, совершаемых гитлеровцами на славянских землях, в том числе на Украине: в первые же дни оккупации в Киеве убито 50 тысяч человек: в Днепропетровске 11 тысяч, в Одессе 25 тысяч (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. I, ед. хр. 413). В статье «В грозный час» писатель рассказывает о зверствах, учиненных «молодыми дикими зверями» Гитлера в селе Большая Березка Сумской области. «Они уничтожили во всех библиотеках Украины всю историческую литературу украинского народа,— пишет Довженко в статье «Слава народу-воину».—...Они разграбили музеи и книгохранилища в Киеве, Харькове, Одессе, Полтаве, Виннице, Львове, Чернигове».

Подлинной трагедией народа был массовый вывоз миллионов людей в рабство: мужчин, женщин, детей. Украинские девушки-полонянки, запуганные, избитые, часто изнасилованные, увозились в солдатские публичные дома, в прислуги, в няньки, в быдло... «Сколько душераздирающих песен пропето по дороге, сколько слез пролито, сколько похоронено надежд!» («Слава народу-воину»).

Украина, цветущая Советская Украина, благословенный край хлеба, меда, мяса, металла, песен, была превращена в «мрачную пустыню», в царство смерти и разрушения. В статье «Не хозяйничать немцам на Украине!» Довженко приводит характерное признание одной гитлеровской газеты: «Наш автобус едет по украинской территории,— пишет гитлеровский корреспондент.— Это поистине мертвая земля. Она лежит серо и неподвижно под восточным небом. Ни возле домов, ни в поле не видно людей. Везде необработанные поля...»

Вот почему столько горечи в дневниковых строках, рассказывающих о возвращении на Украину: «Я не упал на родную землю на колени, не заплакал, я молчал. Передо мною была родная моя земля, непаханная, засоренная, с разоренными селами».

Фашисты не только жгли, грабили и убивали, они пытались растлить души людей, «расправиться с народом его же собственными руками и тем ослабить сопротивление» («Не хозяйничать немцам на Украине!»). Обман, провокации, натравливание друг на друга, игра на самых низменных инстинктах, на пережитках собственнической психологии, подкуп, угрозы, пытки... Гитлеровцам хотелось, чтобы каждый человек, оказавшийся на захваченной ими земле, как-то запятнал свою совесть,— то ли дезертирством, то ли службой в так называемом «вольном казачестве» или в «охране порядка», то ли клочком земли, «дарованным» оккупантами...

В декабре 1942 года Довженко пишет «Письмо на Украину». «Слушай, прибитый бурею цвет пленной украинской земли!» — обращался писатель к молодежи оккупированной врагом Украины. Он обращался к тем, «кто живой, кто не хочет «гнилою колодою на світі валятись». Кто во время отступления «отбился было от родной Красной Армии». Кто был ранен, контужен, присыпан землей и оглушен. Кто не умел переплыть через речку, «а мосты были взорваны». Кто не мог покинуть «раненого брата на дороге». «Кто мимо батька, мимо матери не в силах был пройти», не смог переступить «через плачущих родных детей своих»... К девушке-украинке, к той, кого, быть может, враги заставили копать окопы, плести колючие заграды, печь хлеб, прислуживать

себе, к «славянке-рабыне», которую взял в «эрзац-жены» фашистский убийца, обращался Довженко. Как суровое отцовское предупреждение звучали его слова о времени, «когда никому ничто не прощается», о великой ответственности человека перед Родиной, перед народом.

«Счастлив тот, кто, оставшись в силу разных причин и обстоятельств на пленной своей земле, чувствует себя непокоренным воином украинской советской земли, как бы тяжело, как горько, как страшно порой ему ни приходилось... Но горе тому, кто по малодушию, по лености своего ума или ничтожеству своего сердца, или по обману и неведению не поймет или забудет, как необычайно важен каждый шаг сейчас, каждый поступок для жизни целого народа, и, сделавши неверный шаг, увязнет во вражеской трясине. Засосет она его и втянет с головой. Бесславная и позорная гибель!»

Так погиб дезертир и предатель Мефодий (рассказ «Отступник»). Так в киноповести «Украина в огне» гибнут те, кому «в грозный великий час жизни своего народа не хватило... ни разума, ни величия души»,— гибнут и на немецких виселицах и от справедливой карающей партизанской руки.

В «Украине в огне» эта тема стала одной из основных. И решается она художником как тема трагическая. Глубокую национальную трагедию видел Довженко в том, что некоторые малодушные, политически близорукие и духовно убогие людишки оказались в фашистской трясине.

Правда, попытки объяснить эту трагедию, вскрыть ее корни, предпринятые Довженко в «Украине в огне», далеко не во всем удовлетворяют. Если писатель ясно видит социальную, классовую природу смертельной схватки Лаврина Запорожца с бывшим кулаком, лютым врагом Советской власти Максимом Забродой («Долго говорили они у колючей проволоки. Говорили о власти, о земле... Говорили о кулаках, о ссылке... про голод, про смерть, про измену»), то в некоторых других случаях позиция его оказывается противоречивой. Нельзя сказать, что Довженко не прав, называя в числе факторов, определивших «духовную безоружность» таких людей, как Павло Хуторной, Иван Гаркавенко, Устим Товченик и другие, привычки их «к типичной безответственности», отсутствие «понимания хода истории», недостаточно развитое чувство национального достоинства, плохое знание истории родного народа. Здесь писатель говорит о реальных слабостях нашего воспитания, нашей пропаганды. В годы войны такие понятия, как Отечество, национальная гордость, славные традиции предков и т. п., для многих и многих, особенно для молодежи, открывались как бы по-новому. Довженко, уже в первых своих военных выступлениях обратившийся к высоким этическим примерам, к славным именам Наливайко и Сагайдачного, Хмельницкого и Железняка, Кривоноса и Богуна, Щорса и Боженко, к наследию Шевченко, Франко, Лысенко, к бессмертной украинской песне, не раз с горечью констатировал, что многие из имен, на которых надо воспитывать воинскую доблесть и чувство патриотизма, недостаточно знакомы широким массам.

Все это так. Но нам не следует закрывать глаза и на те полемические преувеличения, которые есть в трактовке этих вопросов в киноповести. Слова Эрнста фон Крауза о том, что у украинцев «нет государственного инстинкта», они не изучают «истории» и «у них от слова нация осталось только прилагательное», чем, дескать, и объясняется, что «среди них так много изменников»,— слова эти, опровергающиеся, по существу, всем п а ф о с о м «Украины в огне», всей ее идейной направ-

ленностью, вместе с тем неожиданно как бы «отдаются» в высказываниях некоторых персонажей, в отдельных недостаточно четких формулировках. Когда, например, старый Куприян Хуторной, потрясенный предательством сына, напоминает ему об Отечестве, Павло оправдывается: «Так про это ж разговор не был. Обучали классам». И эта реплика остается, к сожалению, без достойного ответа. Вообще понятие классовости в киноповести часто употребляется в таком контексте, когда оно воспринимается как нечто будто бы противостоящее таким понятиям, как народ, история, Отечество (так, двусмысленно могут быть истолкованы реплики Лаврина Запорожца, взятого в плен партизанами).

По-видимому, Довженко сам чувствовал эти уязвимые места своего произведения. В предисловии к киноповести он предупреждает: «Если в силу остроты переживаний, сомнений или заблуждений сердца какие-либо суждения мои окажутся несвоевременными или слишком горькими, или недостаточно уравновешенными другими суждениями, то это, возможно, так и есть. Тогда прошу читателя незлобиво поправить меня своим добрым советом».

Наследие Довженко военных лет, взятое во всем его тематическом разнообразии и во всей целостности, дает основания утверждать, что в этот период интернациональное начало, мотивы дружбы народов получили в его творчестве новое развитие.

Тема нерушимого единства и дружбы народов Советского Союза в борьбе против врага входит в публицистику Довженко как органическая составная часть. Нетрудно заметить, что трагедия украинского народа, его боли и беды, его борьба не отделяются писателем от того, чем жил в те годы весь наш народ. «Страдают Украина, Белоруссия, Прибалтика, страдают русские города и села»,— пишет Довженко в статье «В грозный час». Темной силе фашизма противостоит, по выражению Довженко, «великая советская нация», которая «среди хаоса разрушений, среди отчаянных стонов падающих государств, поверженных европейских народов, среди всеобщего смятения, вдруг, как чудо, стала на защиту своих прав и прав человечества». Именно в этом видит Довженко один из неиссякаемых животворных источников нашей силы. Фашистам удалось временно захватить наши земли, они убивали, жгли, разрушали, грабили. Но одного не в состоянии были они сделать, даже «хитрейшими мероприятиями обмана, лжи, подкупов и провокаций»,— убить «самое дорогое, созданное нами в советском человеке, чувство дружбы и братства народов»... Не могли они вытравить это чувство ни из миллионов сердец советских солдат, откуда бы родом каждый из них ни был, ни из сердца старенькой украинской матери, которая свое письмо детям на фронт (письмо это Довженко цитирует в статье «Украина в огне») заканчивает такими словами: «Жду я, мои деточки, вести от вас. что Гитлер повешен на суку украинского старого сухого дуба, что в Черном лесу. Я сама посадила его лет пятьдесят тому назад. Милая моя Украина, я знаю, Союз наш Советский непобедим».

На просторах Украины, Белоруссии, Прибалтики, на Дону и Кубани, где «славные казацкие земли» узнали тяжесть гусениц фашистских танков, под Москвой и в городах Кавказа решалась в кровавых боях судьба всей нашей необъятной Родины, всех советских народов. В этой невиданной еще в истории по жертвам и напряжению борьбе крепло великое фронтовое товарищество воинов всех национальностей. «Кто вы, идущие завтра в бой? — обращался к бойцам Довженко в одной из своих речей, опубликованной в газете «Красноармеец».— Что объединяет

вас, разнонациональных молодых советских людей? Одно горе, одна угроза нашему существованию и еще нечто великое и незабываемое — это товарищество, учение Ленина» (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. I, ед. хр. 406).

Одну из своих статей Довженко так и назвал — «Великое товарищество».

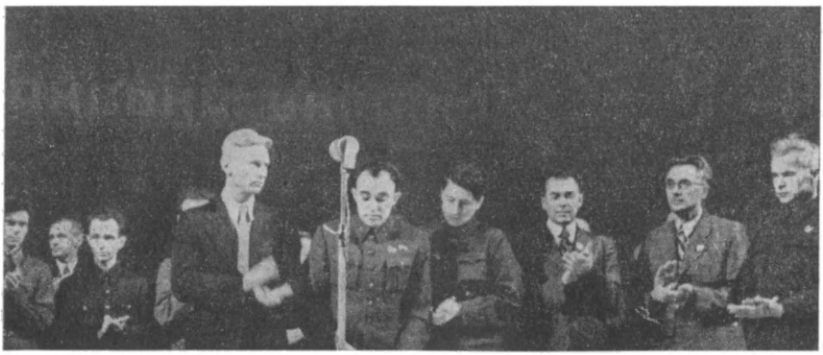
Статья начинается с рассказа о том, как казахское подразделение форсировало речку, «соединяющую русскую и украинскую землю», и как командир подразделения отдал команду всем стать на колени и сказал: «Здравствуй, братская украинская земля!» «...И волнение пробежало по рядам всех молодых казахов. Все как один припали они к украинской земле и поцеловали ее». Так сыны казахского народа окропили волю Украины «вражьей злою кровью» и своею богатырскою кровью. «Полегли в бою казахи-батыри. Освятили дружбу, разлили кровь и сами уснули на украинских ланах. И навсегда уже осталася неумирающая слава и благодарность и гордость седых казахских дедов и вдохновение лучших, быстрых юношей и всех казахов, какие будут жить после нас долгие столетия» («Известия», 1942, 4 августа).

В этом фронтовом эпизоде Довженко видит проявление той силы, «которой нету равной силы в мире»,— силы братства советских народов, силы великого товарищества, воспетого еще Гоголем.

Впечатляющие свидетельства этого великого товарищества мы во множестве находим и в других статьях Довженко, и в его рассказах, и в записных книжках. Вот, скажем, дневниковая запись, относящаяся к маю 1942 года: «Ну, как нравится на фронте? — А мы украинским братьям помогаем,— ответил армянин-боец. Таджики привезли подарки. «Помогаем украинским братьям». Там, на фронте, настоящее братство народов-бойцов. Все народы, все нации — все равны, у всех одинаковая любовь к Родине, к детям». Вот сцена из «Украины в огне». Лаврин Запорожец говорит пойманному партизанами фон Краузу: «Ты просмотрел самое важное, что вписали мы, большевики, в книгу борьбы—нерушимую дружбу народов!» «Лаврин оглянулся. Партизаны стояли вокруг него — украинские, русские, казахские, татарские, киргизские его сподвижники и братья». Вот рассказ «Тризна»: «Все выпили. А казахи встали и поклонились матери украинке до земли. Они сказали ей по-своему что-то такое дорогое, такие дорогие слова, что слезы выступили на их молодых очах, и все поняли их и прониклись к ним любовью, как к самым дорогим своим малым детям».

С особой силой звучит в произведениях Довженко военных лет мотив русско-украинской дружбы.

Подлинным гимном этой дружбе стал рассказ Довженко «Мать». «Не ради слез и горькой скорби и не во имя гневного проклятия», а «ради славы нашего рода» рассказывает писатель о подвиге простой украинской женщины Марии Стоян. О том, как однажды в полночь, в лютую пургу, в хату Марии, стоявшую на краю села, захваченного фашистами, постучались два русских раненых летчика. И как Стояниха выходила этих ребят с Урала, плача над ними и «вспоминая сыновей своих Ивана и Василия». И как обнаружили летчиков гитлеровцы и вывели всех троих — мать и новых ее детей — на площадь, и Стояниха умоляла людей признать в Степане Пшеницыне и Косте Рябове ее сыновей. И как все-таки расстреляли летчиков, а Марию Стоян повесили на груше, и «вся ее маленькая фигурка словно летела в холодной синеве, и седая голова ее, склонившаяся набок, касалась предвесенних туч...» Зерно, «посеянное великим сеятелем Лениным» в сердце



1942 ГОД, ОКТЯБРЬ. ПРЕЗИДИУМ ВЕЧЕРА УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В МОСКВЕ. СПРАВА НАЛЕВО: А. ДОВЖЕНКО, Ю. ЯНОВСКИЙ, П. ТЫЧИНА, В. ВАСИЛЕВСКАЯ, А. КОРНЕЙЧУК. А. ФАДЕЕВ, Н. РЫБАК, П. УСЕНКО

этой украинской крестьянки, проросло великим подвигом во имя жизни на земле, во имя братства народов. «Пусть же знает мир,— заканчивает рассказ писатель,— как висели вы, мамо, на старой груше за други своя в украинском кровавом селе на Украине кровавой».

Заметное место в военном наследии Довженко, особенно в его публицистике тех лет, занимает тема славянства, единения славянских народов. Это диктовалось самой жизнью, логикой борьбы против фашизма.

Известно, что славянство было для гитлеровцев одним из первоочередных объектов уничтожения. «Славянство стало поперек дороги озверелым фашистам,— говорилось в «Обращении Веславянского комитета ко всему человечеству».— На славян обрушился безумный их замысел с особенной ужасающей силой.

Двадцать миллионов «ненужных «новому порядку» смертников-славян прижаты к стенке по программе сеятеля смерти».

В этих условиях проблема объединения усилий всех славянских народов для борьбы с гитлеризмом приобретала актуальнейшее значение. И Довженко в своих статьях и выступлениях обращается к «братьям-славянам», к «братьям-украинцам, на Украине и вне Украины сущим» со страстным призывом: браться за оружие против общего врага — фашизма, не жалеть для победы ничего, не бояться никаких жертв, никаких потерь. «Будем живы — перепашем развалины, и хлеба наработаем, и села построим, веселые и обильные. Наша независимость и единство в дружбе и общей борьбе народов — русских, белоруссов, чехов, сербов. И победа наша в дружбе, и гордость, и честь».

Разумеется, нельзя не видеть, что отдельные высказывания и положения Довженко были продиктованы требованиями тогдашнего политического момента. Однако главный пафос выступлений писателя за единство славянских народов в борьбе против фашизма был и остается, безусловно, правильным.

Еще на одном моменте хочется остановиться, говоря об интернациональной теме в творчестве Довженко военных лет.

Вряд ли нуждаются в специальных объяснениях и комментариях ненависть и гнев, с которыми Довженко в своих произведениях военной поры говорит о фашизме, принесшем на его землю смерть и разрушение. Шла жесточайшая война «ради жизни на земле», и во имя победы в этой борьбе Довженко призывал советского воина ненавидеть врага. Не стоит удивляться тому, что при этом в качестве синонима к словам «фашист», «гитлеровец» Довженко (да и не только он) нередко употреблял слово «немец» — это была невольная дань историческим обстоятельствам, логике войны.

И все же Довженко никогда не ставил знак равенства между фашизмом и немецким народом! Показательна в этом отношении уже первая его военная статья — «К оружию!», опубликованная на второй день войны. Говоря о неисчислимых бедствиях, которые принес народам Европы «черный вожак мировой реакции Гитлер», призывая ответить на вероломный удар фашистов стократным ударом, писатель в то же время бесконечно далек от того, чтобы отождествлять гитлеризм с немецким народом, со всей Германией. Победа над фашизмом, когда само его существование останется «в сознании человечества лишь как тяжелое воспоминание», видится Довженко, в частности, и как освобождение немецкого народа от коричневой паутины нацизма, «чтобы обманутый Гитлером немецкий народ, талантливый и работящий, также забыл свой стыд и позор и зажил в семье свободных и равных народов Европы не как жандарм и тупоголовый грабитель, а как достойный сын коммунистического человечества».

Фашизм был трагедией всего человечества. Но он был и трагедией Германии. Одурманенные ядом гитлеровской пропаганды, многие и многие слепые сыны немецкой нации поняли это слишком поздно, когда под ударами Советской Армии фашистская военная машина уже покатилась на Запад, оставляя на «восточных просторах» тысячи трупов, и огонь войны перекинулся к границам самой Германии. «О дети Германии! — с горечью восклицает Довженко в «Повести пламенных лет», рисуя картину бесславного отступления гитлеровцев.— О сироты и вдовы великой страны!.. Сколько погибло умов. Сколько работящих рук в расцвете сил! Какие мастера-умельцы, какие таланты укрыли своими трупами землю на тысячи верст! Печальная слава... В середине двадцатого века, когда все уже есть, чтоб превратить всю землю в рай, в созвездие ее народов, больших и малых,— что сделали с Европой ваши павшие отцы, отравленные мертвой идеей фашизма?! Если прошлые мировые войны ничему не научили ваших отцов, прозрите хоть вы при свете горящих своих зданий: ничего, кроме горя и руин, не добыть ни вам и никому уже в Европе с помощью штыков и унтерофицеров».

В апреле 1942 года Довженко пишет «Письмо офицеру немецкой армии» — интереснейший публицистический и пропагандистский документ того времени.

В начале этого «письма врагу» Довженко вспоминает, как в 1930 году в Берлине демонстрировалась его «Земля» и он жил тогда в Берлине, имел среди немецких деятелей культуры много друзей, часто бывал у них в гостях...

«Теперь вы «мои гости»,— следует резкий публицистический переход.— Кто-то из вас спит на моей постели, обедает за моим столом, составляет планы порабощения моего народа в моем рабочем кабинете». Но, отмечает Довженко, тяжелое предчувствие неизбежного поражения и возмездия уже теперь томит завоевателей, их души разъ-

едает страх перед будущим. Каким же рисуется это будущее писателю? Гибель фашизма? Несомненно. Расплата «за зло, за гитлеризм, за ненужные «победы»? Да. Неизбежные страдания немецкого народа? К сожалению. Но еще и о другом думает Довженко — о будущем Германии, о том, что «в страданиях возродится новая, настоящая Германия — друг народов, а не палач».

Ясный ум и щедрую душу нужно было иметь, чтобы тогда, в тяжкие, кровавые дни 42-го писать: «Погибнет Гитлер. Вместе с ним погибнут те, кто унизил перед человечеством немецкий народ звериной бойней. А Германия будет жить. Возникнут в народных массах новые жизнеспособные формации и выведут народ на светлый путь братства, а гитлериаду забудут, как несчастную свою ошибку, как временный упадок и потерю человечности».

Годы войны необычайно обострили у советских людей национальное самосознание, чувство патриотизма, исторической преемственности, любви к родной земле. Вместе с тем как никогда укрепились в каждом из нас интернациональные чувства, ощущение ответственности за свободу и жизнь других народов, за судьбы всего мира. В творчестве Довженко той поры отразились эти приметы времени. Художник глубоко национальный по самой своей природе, отдавший родному народу все самое высокое и впечатляющее, что было рождено его талантом, горевший в огне вместе со своей землей, страдавший ее страданиями, воспевший ее подвиг, Довженко вместе с тем охватывал духовным взором горизонты всего человечества. Об этом сам писатель хорошо сказал в одной из своих дневниковых записей, относящейся к победному лету 1945 года: «Я принадлежу человечеству как художник и ему я служу. Искусство мое — искусство всемирное. Буду работать в нем, сколько достанет сил и таланта. Буду, хочу жить добротой и любовью к человечеству, к самому дорогому и великому, что создала жизнь,— к человеку, к Ленину».

Понимая, что в одной статье невозможно охватить все многообразие вопросов, связанных с творчеством Довженко военных лет, я не могу все же хотя бы кратко не остановиться еще на одном аспекте. Речь идет о некоторых особенностях литературного наследия Довженко того периода, о его работе как писателя.

И в первую очередь — о его публицистике. Будучи тесно связан с военной печатью, Довженко как публицист работал много и активно. Есть все основания поставить самобытную, страстную довженковскую публицистику в один ряд с лучшими публицистическими образцами тех лет, с выступлениями А. Толстого, М. Шолохова, Л. Леонова, Б. Горбатова, И. Эренбурга, М. Рыльского, Я. Галана, Ю. Яновского и других.

Две характерные и, как мне кажется, принципиально важные особенности довженковской публицистики хочется отметить. Первая из них связана с сильной лирической струей, пронизывающей публицистические выступления писателя и во многом определяющей их тональность, их эмоциональный накал. Интересно обратить в этой связи внимание хотя бы на такое обстоятельство: в публицистическом наследии Довженко военный поры много выступлений, написанных как бы от лица «лирического героя», в форме прямого обращения, письма, доверительной беседы. Таковы, например, «Письмо на Украину», адресованное молодежи захваченной врагом украинской

земли, «Письмо летчику», разбрасывающему советские листовки над оккупированной территорией, «Письмо офицеру немецкой армии» — суровый и прямой разговор с врагом. Таковы и многочисленные речи-обращения Довженко — по радио, перед солдатами, на митингах.

Разумеется, все эти формы сами по себе традиционны, их нередко использовали многие публицисты. Но для Довженко обращение к ним, причем обращение частое и настойчивое, имело особый смысл — эти формы отвечали особенностями его дарования, его творческой индивидуальности, по природе своей романтической, лирической. Писатель стремился к достижению высокого эмоционального накала, он хотел потрясать сердца, заставить человека вздрогнуть от горя и гнева.

И в этом ему очень помогала форма непосредственного обращения к слушателю, к читателю, когда последний вдруг начинает чувствовать, что писатель говорит именно с ним и именно о нем, о его собственной судьбе, о его семье, оставшейся «под немцем», о его разрушенном родном селе или городе, о его, лично его ответственности перед народом и всем миром...

Довженко прибегает к этому публицистическому приему отнюдь не только в «письмах». Прямые обращения сплошь и рядом встречаются и в других его статьях. «Смотрите, люди!» — так Довженко назвал статью о Зое Космодемьянской. И, право же, так назвать мог ее только он! «Смотрите, люди! — писал он.— Это Зоя Космодемьянская. Смотрите, девушки, воины, дети, смотрите, господа международные политики! Вот она идет на смерть, бессмертная среди фашистских мертвецов». Чье сердце не дрогнет, не обольется кровью от этих простых и таких пронзительных слов: «Смотрите, люди!»...

Есть, однако, в публицистике Довженко — и это другая ее особенность — наряду с эмоциональным, лирическим и начало эпическое. Вспомним, какими широкими, суровыми мазками рисует писатель драматическую картину нашего отступления с Украины. Интонации древнего эпоса слышатся в первых абзацах статьи «Украина в огне»: «Горели поля, пылали хлеба. Черный дым поднимался в небеса, как народный гнев, как гнев мужей-воинов, справа и слева, и позади, сколько око видит... Воют псы по ночам, вещают недолю, и невиданные птицы летают над ними ночью и вещают недолю, и ревут волы и и коровы и вещают недолю».

Романтическое мироощущение, романтическое восприятие событий и связанные с ними специфические публицистические средства — все это отнюдь не противоречит стремлению Довженко к эпической широте и масштабности. Такие статьи писателя, как «Украина в огне», «В грозный час», «Народные рыцари», «Слава нашему народу», «Слава народу-воину», взятые вместе, образуют своего рода публицистическую панораму Украины тех «пламенных лет» — с морями крови и реками слез, с плачем и невольничьими песнями, с гневом народных мстителей, с героизмом и неиссякаемой верой в победу... Возникает образ неповторимого времени: «Были времена кровавые, были мучительные, были роковые времена, были великие времена в нашей истории, но такого кровавого и такого великого времени, как наше время, такого времени не было» («Народные рыцари», «Известия», 1942, 25 июля).

Эпоха, время в публицистике Довженко предстает как бы в трех измерениях, в трех ипостасях — настоящее, прошлое и будущее, и очертания их вырисовываются из переплетения зримых картин действитель-

ности с мощными всплесками авторских философских обобщений, со смелыми историческими сопоставлениями и литературными реминисценциями.

Лирическая стихия, романтический пафос, высокая интеллектуальная насыщенность, та неподдельная страсть, которая держит читателя в эмоциональном напряжении, заставляет трепетать его сердце,— все это, сливаясь с мощным эпическим началом, образует тот особый художественный сплав, который делает публицистику Довженко самобытной и неповторимой.

Лиро-эпичны в своей основе военные рассказы Довженко, весьма близкие его публицистике и тематически и тонально. В подавляющем большинстве рассказов Довженко очень сильно публицистическое начало, чувствуется определенная агитационная «сверхзадача».

В иных из них это проявляется прямо и непосредственно. Так, рассказ «Воля к жизни», посвященный тому, как разведчик Иван Кармалюк, тяжело раненный в бою, своей силой воли и неистребимой жаждой жизни победил смерть, заканчивается таким авторским обращением: «Подумайте, браты мои, об этом, и если с кем в бою случится,— все бывает,— решайте тогда на койках победу каждый для себя. Вынимайте тогда из чудесной прадедовской шкатулки драгоценное зелье, корень жизни, и нюхайте его, и грызите, и жуйте его день и ночь — Волю!» В первых абзацах «Отступника» отчетливо улавливаются мотивы и интонации «Письма на Украину». Но и другие рассказы Довженко, где агитационное начало не выражено столь прямо, все же отмечены печатью публицистичности. В том числе и такой тонкий, проникновенно-лирический рассказ, как «Незабываемое».

В центре «Незабываемого» — судьба украинской девушки Олеси, ее удивительная любовь, на которую упал кровавый отсвет военного пожара... Снова писатель разворачивает перед нами картину отступления 41-го года: «В кровавом кураве, в дыму, словно навеки, заходит солнце. Горят жита на много километров, и яровые много дней уже топчутся машинами и миллионами бездомных коней и коров... Уходили на восток Украины сыны». На этом фоне, как прекрасный и трагический барельеф эпохи, вырисовывается фигура Олеси, застывшей у криницы. Охваченная горем и страхом, глядела девушка на проходящие войска. «Что ждет меня? Что ждет красу мою?» И решилась Олеся «на шаг неслыханный, невиданный ни в ее селе, ни во всем ее народе», на поступок «грозный, какой подсказало ей грозное и необычайное время». «Я дивчина,— тихо сказала Олеся одному из последних бойцов, танкисту Василю Нечаю.— Я знаю, придут немцы завтра или послезавтра, замучат меня, надругаются надо мной. Я так боюсь этого. Прошу тебя... пусть будешь ты... Переночуй со мной...»

И Василь остался. Эта ночь, первая ночь Олеси и Василя, под грохот орудий, рев чужих самолетов и человеческий плач, написана с проникновенным, очищающим душу целомудрием. Жажда любви, жившая в их молодых сердцах, и трепет нетронутости, и радость узнавания друг друга, и горечь скорой разлуки, и глубокая светлая печаль — все слилось воедино в эту ночь. «Словно сошлись столетия простой народной любви, что сеет детей на нашей плодородной земле. Сошлись столетия горьких прощаний украинской дивчины-жены, воспетой в горестных песнях народа».

На рассвете они расстались, повзрослевшие, духовно возмужавшие. К Василю пришло «новое ви́дение» и понимание вещей, и новые, «ясные и четкие» слова, «каких он никогда и не думал в себе найти». «Он

словно летел, не слыша под собой земли, созревший, готовый на подвиги величайшие. Он понял, что надо спешить, надо забыть об всем на свете во имя жизни, во имя родины, надо биться с врагом смертным боем». А Олеся, как Ярославна, «выплакала на перелазе свою многовековую песню и совершенно опустошенная пошла в хату». Она не ушла с Василем на восток. «Не было у нее ни чемоданов, ни компаса, ничего для дороги. У нее была хата родная, земля и цветы и дорогие могилы отцов...».

Органическая связь рассказов Довженко с его публицистикой и, с другой стороны, романтическая природа его художнического восприятия, его писательского дарования определяют, естественно, характер художественных средств Довженко-рассказчика, особенности сюжета и композиции его новелл.

Обращает, например, на себя внимание явное превалирование романтических красок на словесной палитре Довженко, высокая метафорическая насыщенность его повествования. Приводившиеся выше цитаты, мне кажется, убедительно свидетельствуют об этом. Остановлюсь еще только на одном примере. Рассказ «На колючей проволоке» начинается с того, что командир партизанского отряда Петро Чабан сидит, захваченный гитлеровцами, в темной камере. В его воображении рисуется огромная яма, в которой «уже гнила не одна сотня расстрелянных крестьян и раненых бойцов». «С каждым выстрелом он падал в эту яму, и каждый раз душа его возносилась из ямы вверх, как огненная птица — орел или голубь, которых видел он когда-то в церкви, золотых, на царских вратах. Птица пролетала над землей и разносила его гнев на все четыре стороны. Она стучалась крыльями в каждое окно, в каждую убогую дверь... Потом она подымалась еще выше, так высоко, что у него начинало звенеть в ушах, и тогда Чабан видел всю как будто землю.

Земля была больна. Она словно влетела в какую-то кровавую туманность и занемогла...».

От ужасающих в своей достоверности примет действительности (яма, наполненная сотнями трупов) до огромных по масштабу обобщений, до высоких взлетов мысли — такова «амплитуда» поэтического воображения Довженко.

Такова же по своей природе и окраске художественная деталь в рассказах писателя. В том же рассказе «На колючей проволоке» во время смертельной схватки Чабана с Максимом Забродой колючая проволока, как терновый венец, впивается в их лбы, «и кровь текла с них, и ненависть, и страсть». В «Тризне», когда гранатами разбили хату, в которой засели гитлеровцы, и весенним ветром развеяло пыль и дым,— «среди пепелища и окоченевших вражьих трупов как будто выросла из-под земли большая печь с разбитой трубой и побелела вся, точно застигнутая врасплох немолодая уже голая вдова. Удивленная и обиженная, она смотрела на мир своими темными унылыми печурками, где когда-то в детстве Лукьян сушил онучи».

Нетрудно заметить связь поэтики рассказов Довженко с народным творчеством, с приемами и интонациями украинской песни, думы. «Словно чайка об дорогу», бьется старая Стояниха, упрашивая односельчан признать в двух незнакомых летчиках ее сыновей («Мать»). Виктор Гусаров, смертельно раненный в воздушном бою, «оторвался... от шестерки, как лебедь от стаи» («Стой, смерть, остановись!»). Как величавая и суровая казацкая дума, по-гоголевски звучит финал «Победы»: «Пусть же все человечество знает, и пусть знают все Кравчины, все



1943 ГОД, 6 НОЯБРЯ. НА ДНЕПРЕ, ПО ПУТИ В ОСВОБОЖДЕННЫЙ КИЕВ

Гетманы и все, какие только будут жить, Нещадименки, Горобцы, Сироштаны, Борщи, Вернигоры, Телиги и Недригайленки,— пусть все знают, как умирали за Родину их далекие молодые прадеды в тысяча девятьсот сорок втором году». От фольклора, несомненно, идет и часто применяемый Довженко прием характеристики через отрицание. Например, в «Тризне»: «Не обомлела Лукьянова мать, услышав про смерть своего сына. Не разорвал на себе одежду батько героя старый Демид Бесараб, не закричал на все село, не проклял мир». Или — в «Матери»: «Вечная слава вашему имени, мамо Мария! Не было у вас дорогих одеяний, не душились вы парижскими духами, а душились полынью да коноплей. Не было ни шелков, ни кованых сундуков с медными замками».

Отмеченные здесь с вынужденной краткостью (вопрос о мастерстве Довженко — рассказчика и публициста заслуживает специального рассмотрения) некоторые художественные особенности «малой» прозы Довженко характерны в общем и для обоих его больших полотен, посвященных войне,— «Украина в огне» и «Повесть пламенных лет». По существу, и публицистика и рассказы писателя, при всей бесспорной идейной и художественной их самостоятельности, не говоря уже о фронтовых записных книжках и дневниках,— своего рода «заготовки» к этим двум большим вещам. Довженко здесь как бы внутренне готовится к тому, чтобы взяться за широкое эпическое полотно о трагедии и борьбе своего народа, копит силы, впечатления, мысли. Такими полотнами стали «Украина в огне» и «Повесть пламенных лет».

«Украину в огне» сам писатель называет в дневниках повестью. Вместе с тем в предисловии к произведению он говорит, что ее страницы несут «следы битвы режиссера с писателем». «Один,— пишет Довженко,— звал к строгому профессиональному чертежу сценария, другой, потрясаемый страданиями народа, все время порывался к расширению тем, к рассуждениям, лирическим отступлениям,— к авторскому участию в громаде великих событий».

Не будем брать на себя смелость определять, кто победил в этой «битве». Но несомненно одно: перед нами п р о з а — с густой словесной тканью, с развернутыми описаниями, с многочисленными лирическими, публицистическими отступлениями и другими сугубо литературными элементами.

Таковы, например, развернутые характеристики персонажей, которых автор как бы «рекомендует» читателю (вот Олеся: «Была Олеся тонкой, одаренной натурой, тактичной, доброй, работящей и безупречно воспитанной хорошим честным родом»; или, скажем, Людвиг Крауз: «Это был чистокровный гитлеровский пес последней формации, жестокий и алчный мерзавец...» и т. д.). Таковы писательские комментарии к тем или иным событиям — вспомним хотя бы то место из повести, где Довженко пытается осмыслить причины дезертирства и предательства, или горькие его раздумья по поводу «никчемных людей, лишенных понимания народной трагедии», которые во время отступления проносились мимо раненых «на государственных резиновых колесах».

Впрочем, все эти разнообразные формы «авторского участия в громаде событий» не представляли для Довженко чего-то принципиально нового. Начиная с «Арсенала», он сам писал сценарии всех своих фильмов, и в литературных вариантах этих сценариев «строгий профессиональный чертеж», как правило, всегда обрастал «мясом» прозы — вспомним «Землю», «Аэроград», «Щорса»... У «Украины в огне» такая же двойственная жанровая природа, причем обе стихии — кинематографическая и прозаическая — существуют здесь не параллельно, не обособленно друг от друга, а образуют единый художественный сплав.

Новый этап поисков художника в этом направлении знаменует «Повесть пламенных лет». Слово «повесть» в названии этого произведения вряд ли следует воспринимать как указание на его жанровую природу, автор употребляет его, скорее, по ассоциации с древней «Повестью временных лет» — поведанная история, летопись, эпос. Что же касается собственно жанровых признаков произведения, то, мне думается, есть все основания назвать «Повесть пламенных лет» к и н о р о м а н о м, к и н о э п о п е е й.

Судьба человеческая — судьба народная... Именно этот пушкинский принцип лежит в основе «Повести пламенных лет». Через образы ее героев, и в первую очередь через образ Ивана Орлюка, Довженко удалось раскрыть всенародный характер войны с фашизмом, показать весь масштаб и народной трагедии и народного подвига, осмыслить величайшее значение борьбы и победы советского народа для всего человечества. Иван Орлюк — «простой сержант», «колхозник с Приднепровья», стоящий у Бранденбургских ворот, «небритый, мокрый, покрытый копотью и прахом Берлина», вырастает в символическую фигуру «обыкновенного победителя в мировой войне», и, представляя всему миру его «вместе с... женой, с отцом и матерью, со всем, как говорится, домом», «со всем... родом и судьбой», художник «представляет» человечеству весь наш народ, вынесший на своих плечах основную тяжесть борьбы с гитлеризмом.

Дело не только во временны́х и географических рамках «Повести пламенных лет». Эпический размах здесь, по сравнению с «Украиной в огне», ощутимее во всем: и в многочисленных народных сценах, и в целой серии подлинно народных характеров, и в масштабных батальных эпизодах, где принимают участие массы людей... Если в «Украине в огне» литературное, прозаическое начало — это преимущественно лирико-публицистический «нерв», пронизывающий все произведение, то в «Повести пламенных лет» на первый план выходит элемент эпический. Лирическая нота здесь также достаточно сильна, в художественную ткань повествования то и дело вплетаются авторские отступления и комментарии (вспомним хотя бы сцену убийства Шредером директора школы Рясного: «Есть ли школа на нашей земле...», или произнесенный устами Орлюка взволнованный, полный любви и скорби гимн родной хате). Но основная тональность «Повести пламенных лет» в целом определяется все же широкими эпическими картинами народной жизни, изображением человеческих характеров, их движения и развития. Перед нами именно народный эпос, попытка синтетически охватить грандиозные события эпохи, осмыслить судьбы героев в их связи с судьбами народа, человечества, мира.

При этом эпическое начало вполне органично сочетается в «Повести пламенных лет» с элементами, идущими от кинематографической ее природы. Здесь этим элементам принадлежит даже бо́льшая роль, чем в «Украине в огне», и это объяснимо: такие приемы, как монтажные перебивки, частые переносы действия, наплывы и т. п., не разрушая цельности эпической ткани, напротив, помогают писателю в создании широкой панорамы эпохи, в достижении наибольшего охвата событий и явлений.

«В моем сознании,— писал Довженко в цитировавшемся уже предисловии к «Украине в огне»,— все, здесь написанное,— только прозрачная основа будущей книги борьбы моего народа за освобождение из ярма гитлеризма». Как видим, писатель не претендовал в этой киноповести на всеохватывающее изображение войны, чем, кстати говоря, объясняются многие ее особенности и что, к сожалению, в те годы не принималось во внимание ее недоброжелательными критиками. Рамки киноромана «Повесть пламенных лет» значительно шире. Довженко вплотную приблизился здесь к решению масштабной идейно-художественной задачи—созданию эпопеи о войне, той «книги борьбы моего народа», о которой мечтал.

И все же по-настоящему такой книгой стало его творчество военных лет в ц е л о м. «Повесть пламенных лет» и «Украина в огне», публицистика и рассказы, фронтовые записные книжки писателя — все это, взятое вместе, во всем своем многообразии и во всей цельности, предстает перед нами как величественная панорама народного подвига в войне.

На огромных пространствах земли еще лилась кровь и гремели орудия, еще в полном разгаре была война, сеявшая смерть и разрушение, а советские писатели уже думали о мире, о восстановительном труде. В фронтовых блокнотах Довженко все чаще появляются записи, отражающие именно это, «мирное» направление его мыслей: о том, что «война понижает трудовые навыки человека», о «новом послевоенном строительстве» и задачах наркомата гражданского жилищного строительства, который «должен строить города», о проблемах развития сельского хозяйства после войны, о «землепользовании в колхозах», и т. д.

Как гимн мирному труду звучат последние страницы «Повести пламенных лет». «Вышли в поле сеятели. Необычен был сев над Днепром

весной сорок четвертого. Не гудели машины в поле, не красовались свежей краской широкие сеялки. Война пожрала богатую колхозную технику, уничтожила и покалечила коней, засорила зерно». Но люди все же вышли в поле. Пахали коровами, копали лопатами, а сеяли «старинным способом из щедрых хлеборобских рук». Торжественно, цепью, «как воины», с непокрытыми седыми головами двигались по полю старики. Проходили жены и вдовы солдат, вынесшие в эту войну на своих плечах такое, что и не снилось никому. Весенний ветер развевал пустые рукава вчерашних воинов, сеющих одной рукой. И Иван Орлюк, которому суждено было пройти многотрудный путь от родного села до Бранденбургских ворот, вместе с Ульяной проходил «с полными дающими горстями по полю недавних битв».

Картина эта пронизана волнующим ощущением близкой победы, хотя она и рисуется на трагическом фоне войны, ибо «кровь павших еще не вошла целиком в землю, и раны на живых еще ныли на плохую погоду».

И вот она пришла, Победа. «Итак — мир»,— записывает в своем дневнике Довженко. Он хочет верить, что этот мир — надолго, навсегда. Он хочет работать. Работать во имя человека — строителя, мыслителя, защитника свободы и добра, во имя всех, кто сделает невозможной «мерзость войны»...

Но еще долго будут болеть раны народа и «будут женщины Украины плакать еще лет тридцать». И не раз, не два художник мысленно вернется к незабываемым «пламенным годам». С ними будут связаны послевоенные творческие планы Довженко, о чем свидетельствуют его записные книжки, наброски к эпопее «Золотые ворота», к новым рассказам и сценариям. Война властно ворвется в его воспоминания о далеком детстве, о красавице Десне. И в мажорной «Поэме о море» прозвучит трагическая нота — память о советском воине, бронзовым памятником застывшем в берлинском Трептов-парке.

Потому что забыть все это нельзя...

Рассказы, очерки

СТОЙ, СМЕРТЬ, ОСТАНОВИСЬ!

Встаньте, бойцы и командиры! Обнажите головы! Слушайте, как боролся со смертью изумительный русский летчик, капитан Виктор Гусаров, и как победил он смерть.

Сто раз он вылетал с родных аэродромов. Сто боевых вылетов! Сто ураганов в груди! Сто вулканов ненависти!

С каким волнением впивались в небеса его друзья, но всегда, из всех бурь, из дождей осколков и пуль приводил он, Гусаров, свою шестерку с победой и улыбался потом, как большое дитя.

Кто же он? Счастливчик, которому по теории вероятности выпало на долю такое везение? Удачник? Нет! Только за последние тринадцать вылетов собственноручно сбил он шесть самолетов: мастерство, помноженное на неукротимую ненависть к врагу, обеспечило эту победу.

Он был воин. Он был бесстрашен, смел и горячо любил свою Родину. Он был трудолюбив, как рабочий, и знал в совершенстве свое трудное боевое ремесло. Ориентироваться на чудовищных скоростях, когда обыкновенный людской ум уже не в состоянии постигать, где то, что называется верхом и низом, правым и левым, что впереди и что позади,— это огромное, исключительное искусство нового человека, нашего воина-рыцаря с новыми психотехническими качествами.

Он не был тщеславен, не скрывал своих боевых тактических секретов, приобретенных опытом борьбы. Он обучал своих товарищей тактике воздушного боя со всей страстью своей натуры. Ему хотелось раздвоиться, расшестериться, размножиться в своих истребителях, умножить свой гнев к врагу, свою страсть и ненависть и сокрушать его, проклятого, до края.

— Ну, братья,— говорил он недавно перед наступлением,— начинается наше время, теперь забудь обо всем на свете. Об одном помните: Победить! Запомните, друзья,— сколько бы их ни встретилось — бой принимаем! Понятно?

— Понятно, товарищ капитан! — отвечали его истребители, и гордое волнение вздымало их молодые сердца.

И пошли трудиться во славу Родины...

Заходили шестеркой и против девяток, бились 12 мая и с двадцаткой. Одиннадцать вражеских больших машин уничтожили они, потеряв одного человека.

«Сколько бы фашистов ни было, победителями выходим мы!» — гордо думали истребители.

Пятнадцатого мая Гусаров водил их в бой. Каждые сорок пять минут возвращались на аэродром для заправки и зарядки, каждые сорок пять минут на вражеские колонны, на окопы, на аэродромы низвергался ураган гусаровского огня. Еще, еще! Как их ждали на аэродроме в этот день! Скорей! Скорей! Давай!

Пошли... Вдавили в землю целый фашистский полк, сбили в воздухе одного фашиста и хотели уже заворачивать на заправку, как две стаи противника показались впереди и сбоку. Мгновение... другое... и загорелся смертный бой. Враги боялись грозной шестерки. Они уже знали ее по почерку давно и не подходили близко. Они кружили вокруг эскадрильи и поливали ее градом бронебойного свинца, чтобы выбить хотя бы одну машину из строя и тогда уж навалиться на отставшего, как акулы набрасываются в океане на одинокого пловца.

Но не дрогнули питомцы Гусарова, нет! Долго решетили они противника, забирая курс к аэродрому. Уже и патроны на исходе. Нет патронов больше у Виктора Гусарова! Смертельная вражеская пуля пробила ему шею насквозь. Сплюнул Гусаров кровью и закрыл рот, крепко-крепко сжал зубы. Тогда кровь хлынула из шеи направо и налево двумя струями, как дорогое красное вино из драгоценного сосуда.

И понял Гусаров, что он убит в бою, что он умирает. Ослабли руки, голова опустилась и не слушается, закрылись

очи, и мир завертелся, и полетело все куда-то в сверкающую бездну.

Оторвался он от шестерки, как лебедь от стаи, и пара врагов уже набросилась на него и кружится и поливает огнем. Десятки пробоин в машине, уже не служит шасси, не выходит. Смерть...

Гусаров открыл глаза, и вот откуда-то из глубины его души, от лесов и полей, от песен и широты русской натуры заговорил в нем голос жизни, всесокрушающая воля к победе.

«Стой, смерть, остановись! Стой! Дай посадить машину на родную землю, а там уж черт с тобой!» — пожелал Гусаров.

И смерть отступила от Гусарова.

Благородная воля напряглась в нем, как грозовой заряд необычайной силы, она заполнила все его существо и держала его нервы, как тетиву натянутого лука. Она была равна только его ненависти к врагу.

Капитан Гусаров выровнял машину.

— Нет, проклятые! Не возьмете, нет!.. Нет! Нет!

«Никогда, никогда, никогда!» — бушевал мотор истребителя.

— Не хватит у вас пороху тягаться с советским человеком!.. Что, взяли? — Задрожал от ненависти Виктор Гусаров и, глядя на пролетающего «хейнкеля», стиснул зубы, через которые просачивалась кровь.

Близко со страшным воем промчался мимо него фашист, и видна его подлая гримаса. Град пуль посыпался на Гусарова.

Черная пелена закрывала Гусарову глаза.

Поник Гусаров на руль и, напрягая остатки своей несокрушимой воли, ушел от неприятеля.

Родная земля. Аэродром... Бегут...

— Милые...

Шасси не работает? Не надо. Сядем на живот.

Истребитель тяжело приземлился без шасси, подняв облако пыли.

Бросились к нему товарищи.

Капитан Виктор Гусаров был мертв.

Воины великой советской земли, братья мои! Это был великий человек. Не плакать хочется над Гусаровым, хочется говорить о жизни, о ее удивительных откровениях и с благодарностью склонить головы перед героем, что понес труд боя и поднялся к бессмертию в смертном неравном бою.

Пусть же вечно красуется доблестью наша земля!

Слава победителю!

ОТСТУПНИК

Есть в жизни каждого народа времена, когда никому ничто не прощается, когда всякое добро или зло, содеянное человеком, падает на незримые чаши тончайших весов истории. Это тяжелые времена испытаний, когда народу угрожают разорение, рабство и смерть.

И счастлив тот, кто, перенеся народное горе и потрудившись немало и немало пролив крови на полях сражений, может потом уже сказать себе и миру, что в самую страшную годину не было у него зерна неправды за душой.

Но горе тому, кто по злобе, ничтожеству, по малости души своей поддается в роковую минуту слабодушия своим низменным инстинктам и бросит товарищей своих и народ свой во имя мнимого спасения личной жизни, во имя лживых обещаний врага.

Не один раз проклянет он в холодных объятиях врага свое слабодушие, но уже никогда не вернуть ему чистоты своей, не вернуть ему товарищей, не вернуть ему Родины.

Отвернется от него гневная Отчизна и забудет его и отряхнет его, как жалкий прах от своих ног. И погибнет отступник, оплакивая день и час своего позорного падения.

Забудет его мать, забудет отец. Переменят фамилию его братья и дети. И пропал человек, пропал бесследно и позорно для всего и всех на веки вечные.

Вот этого не знал боец Мефодий. Фамилии его мы не напишем. Назовем его Отступник.

«Довольно...» — мрачно подумал он как-то в заставе и оглянулся по сторонам.

— Что ж это я оглядываюсь, как вор. Я ведь еще ничего не подумал,— прошептал он тихо и прислушался. Черная мысль заползла в него, как гадина...

— Нет, я подумал. Я уже давно... Ну и что ж... Ну и уйду. Старики-то мои дома, у немцев остались, плачут по мне, а тут жизнь на волоске ежедневно... Довольно.

Мефодий еще раз оглянулся и украдкой прочитал немецкую листовку.

— Ну, конечно, ждут. Тут же ясно сказано... Ну а товарищи? А, черт их забери...

Винтовка брошена. Согнувшись в три погибели, побежал с оглядкой вора вперед. Руки вверх...

— Хальт!

— Я ваш. Не стреляйте, ваш. Вот пропуск...

Скомканная бумажка выпала из дрожащих рук Отступника в грязь.

На другой день избитый до полусмерти, с огромным синяком под правым глазом, Мефодий Отступник стоял перед немецким лейтенантом в гестапо.

— За что меня ваши солдаты били? За что? — спросил Мефодий и плюнул кровью.

— Солдат только отвечает на вопросы, а не спрашивает,— строго сказал лейтенант и стал рассматривать «личное дело» перебежчика Мефодия Отступника.

— Ты побит, по-видимому, первый раз в жизни, поэтому ты так возбужден. Ничего. У нас это пройдет скоро. Тебя били потому, что ты мало сообщил. А хорошее битье расслабляет. Понял? Мы тебя так били, чтобы ты был мягким и послушным. Ты будешь нашим маленьким шпионом, понял? Завтра ты отправишься...

Отступник понял, что он погиб.

— Я не хочу. Я не пойду. Убивайте меня,— закричал Мефодий и схватился за голову. Он решил, что фашисты собираются послать его шпионить в Красную Армию.

— Нет, пока не в армию, не бойся,— усмехнулся лейтенант, разгадав его мысли.

— Ты поедешь к себе домой, как сказано в листовке, к папе и матушке. Там ты отдохнешь от ужасов войны и будешь работать на нас. Узнаешь, где действуют местные партизаны,— выдашь их нам. Имей в виду, мы тебе не верим, так как ты предал своих. Ты предатель, значит, тебе придется много и долго стараться заработать наше доверие. Понял? Благодари. Можешь идти. Стой! Что нужно сказать? Хайль Гитлер. Ну! — Офицер встал.

— Хайль Гитлер,— пролепетал Отступник и, шатаясь, повернулся к двери.

— Хальт! Еще раз! — Офицер подошел к Отступнику и поднял кулаки.

— Хайль Гитлер! — крикнул Отступник.

— Кругом. Прямо. Я тебя научу ходить, скотина, русише швайн,— рассердился лейтенант.

Мефодий вышел в сени по всем правилам фашистской науки. В сенях стояла несчастная хозяйка хаты и смотрела на него с невыразимой укоризной. Ее измученные, скорбные глаза, казалось, говорили ему: «Чтоб тебя, проклятый, сыра земля не приняла».

Однако на другой день ему не удалось уехать в деревню к отцу и матери. Долго держали его враги в холодном карцере вместе с пятнадцатью пленными, где ему пришлось самому притвориться пленным, чтобы не быть разорванным бойцами. Долго еще водили его заполнять анкеты, фотографироваться, долго еще допрашивали. Выведали у него все, о чем говорили военнопленные бойцы, и расстреляли всех пятнадцать человек.

Наконец, в один из ясных весенних вечеров немецкие конвоиры выбросили его из теплушки на знакомой полуразрушенной станции. До родного местечка осталось совсем близко, километров двенадцать. «Ну, наконец-то я дома. Побили немного — забудется. А шпионаж? Какой там дома шпионаж! Разговоры одни. Такая глушь...» — успокаивал себя в сотый раз Отступник.

Все же беспокойство не покидало его. Наоборот, с каждым километром оно возрастало в нем и давило его днем и ночью. Многое увидел он уже из теплушки. В Германию уходили эшелоны с советскими людьми, с молодыми невольниками и невольницами. Не одну ночь слышал он душераздирающий плач в соседних эшелонах на разных станциях.

Вот еще один эшелон движется со станции. Крики и плач на путях... Вот разгоняют резиновыми палками бедных матерей. Отступник бросился к эшелону.

— Мефодий, Мефодий, спаси нас!..

Оглянулся — жена и сестра.

— Родные!

Отступник побежал за уходящим вагоном. Кто-то ударил его резиновой палкой по затылку. Поплыл эшелон перед глазами.

Уплыли на запад сестра и жена. Промелькнули и исчезли навсегда, словно приснились они ему.

Не кинулся за ними Отступник, не разгневалось его сердце, не вспыхнула в нем злоба к врагам. Битый, дал он часовым проверить документы и, получивши пару подзатыльников, молча, согнувшись, обошел станцию, вышел на дорогу и побежал домой, как проклятый.

— Я ошибся, я ошибся... Это не они, не они, не они... Не жена, не сестра,— стонал Отступник в такт своему бегу и оглядывался в жалком отчаянии на темные непаханные поля.

Настала ночь.

— Кто там? Кто стучит?

— Откройте... Я... Мефодий...

— Сынок! Боже мой! Значит, правда?

Мать не упала на грудь Отступника, не прижалась к нему. Она залилась горькими слезами, отвернувшись от сына.

— Откуда прибыл, защитник наш? Откуда прилетела единственная наша надежда? — послышался знакомый голос отца. Отец смотрел на вошедшего, грозный гнев обуял его старое, измученное сердце.

— Из армии,— сказал Отступник.— Здравствуй, отец.

— Подожди здороваться. Где армия?

Отступник оглядел комнату. В потемках он различил человек шесть знакомых. Они смотрели на него недобрыми глазами. Что ж это такое?

— Где Красная Армия? Скажи, защитник наш,— спросил отец.

— Там.

— Попался в плен?

— Да. Схватили в бою.

— Раненый? Где раны?

— Зажили.

— Врешь. Верные люди сказали мне все,— здесь уже наведены справки о перебежчике Мефодии. Уже две недели не выхожу я из дома от стыда. Все думаю, действительно ли породили мы Иуду,— сказал отец, и каждое слово его падало на Отступника камнем. Он молчал.

— Пойди сюда. Дай мне ближе увидеть твой позор.

Убежать... Нет... Дверь закрыта, и у двери уже двое. Отступник содрогнулся и обессилел. Воцарилась жуткая тишина. Журился сверчок под печкой да несчастливая мать тихо оплакивала в сенях своего старшего сына. «Все известно и все решено» — содрогнулся Отступник.

— Ну что ж, товарищи. Помогите совершить закон,— как бы в ответ мыслям Мефодия сказал отец, обращаясь к присутствующим, и тяжело вздохнул.— Говорить нечего, и время не ждет.

Отец поднялся и подошел к Отступнику.

— Проклинаю изменника и предателя Родины — моего сына Мефодия,— задрожал в темноте голос старика.

В сенях усилился скорбный материнский плач.

— Мать, прокляни своего сына! — сказал отец.

Голос его звучал в темноте глухо, как осенний гром. На мгновение стало тихо, как всегда перед чем-то необычайным и грозным.

Вдруг высокий материнский плач разодрал ночную тишину. Мать стояла на пороге. Ее голос, вся ее измученная материнская душа словно утопали в тоске и страдании. Но гнев поборол страдание.

— Проклинаю и отрекаюсь! — вырвались из плача материнские слова.— Унеси тебя из хаты дымом, со двора ветром, из души вечным проклятием!.. Простите, люди добрые!..

Мать открыла дверь настежь и застыла. Она стала каменной.

— Пора,— сказал отец,— сам ты предался врагу, сам и умри. На площади висят четыре партизана. Там и твой брат Никита... Никиту снимешь с петли и вешайся сам в присутствии народного суда. Пойдем...

Но не судился Отступнику такой скорый конец. В невыносимых душевных муках, ведомый под руки неумолимыми судьями, добрался он в темную ночь до виселицы. Уже снял он труп несчастного мальчика Никиты, уже поднялся он было к петле среди грозного молчания, но в самую последнюю секунду не выдержала его ничтожная душа, и вдруг все уснувшее порабощенное село огласилось его нечеловеческим криком.

Загремели выстрелы. Бросились к виселице оккупанты, ожидавшие событий в эту ночь. Они знали о приходе Отступника. Но не дрогнули партизаны. Долго и страшно бились они с поработителями, многих убили, остальных обратили в бегство.

Тут и попробовал было Отступник вырваться из отцовских объятий. Уже занес было над отцом свою предательскую руку, но сильный партизанский удар по затылку опрокинул его и лишил сознания.

Очнулся Отступник лишь утром в лесу, на горе, за яром. Оглянулся — партизаны. Отец и мать были тут же. Брат Никита лежал у дерева с широко раскрытыми серыми глазами, словно удивляясь своей ранней смерти. Страшный след фашистской петли застыл на его раскрытой шее.

— Встань! — приказал партизан.

Отступник встал.

Он смотрел на отца и мать и брата, и холодный, предсмертный пот покрыл его дрожащее тело.

Партизаны подняли оружие.

— Я сам...— Отец подошел к нему с немецкой винтовкой...

Отступник покатился в яр с пробитым черепом. Долго стоял отец в горестном раздумье. Потом похоронили Никиту.

— Прощайте, товарищи! Уходите из этого страшного места и будьте счастливы. И мы пойдем со старухой...

Ушли старики, унесли на старческих своих плечах огромное бремя печали.

Ушли и партизаны в леса. А в глубоком яру остался догнивать непринятый землей Отступник.

Всходило солнце...

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Историю эту хочется рассказать самыми драгоценными словами, что даются человеку, как отметины счастья, в редкие, неповторимые минуты.

Хочется каждое слово омыть в украинской кринице, где дивчина воду брала, и поставить слова чистыми рядами, чтоб незабываемое играло в них, как солнце в праздник, и радовало людские сердца в великое и трудное время.

Хотелось бы вышить слова, как червонные цветы на холодных рушниках, и развесить рушники в каждой хате, чтобы кто на них ни взглянул, с какой бы стороны ни подошел, чтобы они оставались всегда непорочными, как говорила когда-то о себе моя скорбная мать.

Где они?

Ой выйду я на высокую гору и погляжу на запад, на Украину. Посмотрю на рассеченное прожекторами небо, перечту знакомые звезды. Припомню годы молодые, когда не топтал я еще земли, а словно плавал над ней, когда думал осчастливить мир своими прекрасными делами, как и всякий юнак, и мечтал о своей любимой, слагая слова, а коснуться не смел.

Много ветров прошумело над головой. Уже и голова седая. И не летаю уже, и близко как будто земля, и видеть стал далеко.

Где ты, моя крылатая юность? Прилети ко мне хоть на час. Приплыви ко мне в гости весенней водой по Десне, принеси те слова. Дай расскажу я про дивчину Олесю, и только. И плыви тогда себе вслед за водою, плыви и не возвращайся уже никогда, а я порадуюсь за Олесю, а может, и заплачу.

Рвутся бомбы. Вечереет.

В кровавом куреве, в дыму, словно навеки, заходит солнце. Горят жита на много километров, и яровые много дней уже топчутся машинами и миллионами бездомных коней и коров. Громят бомбардировщики стада. Визжат высоким визгом раненые кони. Ревут быки от запахов кровавых и гибнут тысячами от ящура и сапа. Орденоноски гонят тяжелых племенных коров и плачутся над ними по дорогам с малыми детьми. Хромают овцы. Пыль до небес на сумрачных путях...

Уходили на восток Украины сыны.

Плыли убитые фашисты по Десне, без числа и краю падали в кусты парашютисты с неба. И всюду плач и расставание.

— Прощайте, мамо... прощайте!

— Прощайте!

— Счастливо... Ой, счастливо!

Возле холодной криницы на краю села, словно в пёсне, под вербою у старой хаты стояла дивчина Олеся, смутна и тиха, как и все дивчата. Она уже давно раздала бойцам, что было можно. А теперь весь день поила проходящих из ведра и уже не плакала. Недоставало слез. Повысыхали и посветлели очи, припухли губы, а под глазами легли смутные тени и преждевременная морщина меж бровей на челе.

«Что ждет меня? Что ждет красу мою?» — думала она уже вторую неделю, глядя на дорогу.

Сначала двигались запыленные грузовики с различными вещами. В грузовиках поверх вещей сидело множество молчаливых женщин из далеких мест. Тогда еще над ними все смеялись. Покойная Олесина мать еще ругалась и плевала им вслед — чтоб им добра не было. А потом загудели в небе страшные самолеты, и загремела, запылала вся Украина и двинулась на восток. Потом издалека, из-за Днепра, потянулись дорогами, житами, яриною огромные колхозные стада. И началось ревище.

Уже давно погнали из села мужчин и хлопцев. Уже некоторые вернулись по домам и пьют тайком горилку по коморам и плачутся и матюгают все на свете, кляня свою несчастную судьбу.

Страшно Олесе. Такого страха еще не знала она за все свои девятнадцать лет, такого еще не было никогда, с тех пор как мир стоит.

— Пропали мы, несчастные, пропали! Идет наша смерть,— плакала в голос тетка Мотря.— И ты пропадешь, сиротинка моя, и переведется навеки весь наш род.

Олеся в слезы. Но то, что случилось в последние три дня, совсем придавило ее: армия стала отходить по дороге, усталая, скорбная, молчаливая. Потом запылали поля. Над армией глумились бомбардировщики. Они падали стремглав из облаков и разгоняли людей, как птиц, и вдавливали их в землю на долгие часы.

Олесе казалось, что настал конец света, которым пугала ее в детстве покойная бабка.

Какие-то неведомые пастухи раздавали селянам овец. Продавали бойцам за бесценок сало и мясо, а то и так раздавали бабы и молодицы. Никто уже ничего не берег, и никому ничего не было жалко. Раздали колхозный инвентарь и зерно. Уже не было правления колхоза.

Все распадалось.

Разрывались как будто все связи жизни.

Люди перестали работать...

Олеся смотрела на дорогу. Она не была заурядной дивчиной. Она была красива и опрятна. Олесею гордилась вся округа. Бывало, после работы, вечерами она, как птица, ну так же много пела возле хаты на все село, так голосно и так прекрасно, как, верно, и не снилось ни одной припудренной артистке с орденами. А вышивки Олеси висели на стенах под стеклом в европейских музеях: в Лондоне, в музее Альберта и Виктории, в Париже, в Мюнхене и Нью-Йорке, хотя она об этом и не знала. Учила ее покойная мать всему. Была Олеся тонкой, одаренной натурой, тактичной, доброй, работящей и безупречно воспитанной хорошим честным родом. Легкомысленные хлопцы немного стеснялись Олеси, считая ее гордой и неприступной.

Пили бойцы воду и мрачно проходили дальше. Она уже ни о чем не спрашивала их. Она жадно вглядывалась в каждое лицо и в каждые глаза, читала печаль. Огромное, гораздо большее, чем может вместить людская душа, горе упало на народ, придушило его, погнало.

— Будь здорова, дивчина. Будь счастлива! — сказали ей трое усталых артиллеристов и пошли от криницы. На Олесю нахлынула вдруг волна такой острой, болезненной жалости к

себе, что у нее нестерпимо защемило в горле. Она оглянулась. Людей стало меньше... Лишь кое-где человек...

«Последние идут,—подумала Олеся.—Неужели последние?»

И решилась она на шаг неслыханный, невиданный ни в ее селе, ни во всем ее народе. На поступок необычайный, от одной мысли о котором у нее застыло и остановилось сердце. На поступок грозный, какой подсказало ей грозное и необычайное время. Что бросило ее на этот поступок? Что натолкнуло ее? Глубокий инстинкт рода, подсознательная мудрость, что приходит людям на помощь в роковые часы, когда разум холодеет и не успевает осознать опасность, и спросить некого, и грозный час летит лавиною с горы.

К Олесе подошел один из последних бойцов, танкист Василь Нечай, из-под самого Каменца, и жадно припал к ведру. Был он хороший кряжистый юнак. Одежда в пыли. На рукаве и на спине прогорела сорочка в пожарах. Темные здоровые руки, ручьями пот на шее и висках и та же, напряженная, на лбу не по летам морщина.

— Спасибо, дивчина. Прощай,— промолвил он, отрываясь от ведра.

— Счастливый путь!.. Постой! Слушай! — сказала Олеся тихо, смотря на танкиста глубокими печальными глазами.— Я тебя о чем-то попрошу...

— Меня? Что меня просить? — взглянул на нее танкист, и необычайный взгляд Олеси привлек его внимание.

— Слушай,— сказала Олеся.— Переночуй со мной. Уже наступает ночь... Если можно, слышишь?

Она поставила ведро и подошла к нему.

— Я дивчина. Я знаю, прийдут фашисты завтра или послезавтра, замучают меня, надругаются надо мной. Я так боюсь этого. Прошу тебя... Пусть будешь ты... Переночуй со мной...

С последними словами Олесин голос затрепетал и словно погас.

— Я не могу взять тебя,— сказал Нечай открыто и честно.— Я в танке горел под бомбами вчера. Я не герой.

— Ты наш...

— Я отступаю... Бегу... Я покидаю тебя. Пойми мой стыд. Я не герой.

— Ты несчастный... и я несчастная. Пойми ж и ты меня. Смотри, что делается. Я хочу вспоминать всю жизнь тебя, а не тех мертвяков, что уже плывут по Десне. Останься, правда.

Олеся смотрела на него с таким доверием, с такой болючей мольбой, что он умолк и не сводил с нее глаз. Он смотрел

на нее, чужую, неизвестную, случайную, чтобы никогда уже потом ни на одну минуту, нигде не забыть ее, чтобы понести ее, эту дивчину, в своем сердце через все бои, через все огни.

— Ну что же? Ну, добре...

— Вот моя хата.

— А где твои родные? — вдруг вспомнил он.

— Батька уже давно нет, а мать недавно, на той неделе, убита с самолета в огороде... и две сестры. Я одна осталась.

Они вошли в маленькую чистую хату, и, когда за ними закрылась дверь, он только тогда вдруг как-то почувствовал, что они одни, сами, только вдвоем, отделенные от всего мира. Это почувствовала и она. Какую-то минуту они стояли в полумраке хаты друг перед другом, молча, не зная, куда ступить. Они были невинные, нетронутые оба.

В хате пахло старыми образами, полынью, мятой, вялым лепехом и еще чем-то душистым и вкусным.

— Сядь, посиди за моим столом,— тихо сказала Олеся и взяла его обеими руками за руку.— Есть хочешь? Ну хоть немного, прошу тебя... Может, помоешься с дороги, помойся.

Василь скинул сорочку и стал мыться над корытом. Олеся поливала ему холодную воду на руки, потом на голову. Он закрыл глаза. Он чувствовал, как с него сплывала дорожная пыль и пот. Ему было приятно, а когда Олеся вылила кружку воды ему на спину, он чуть было не заржал от щекотки и радости, но застыдился.

Она подала ему чистое полотенце. Потом он разулся и, добре помыв ноги, присел на скамейку к столу. Какой-то волнующий стыд все же сковывал и не покидал его, а ее как будто бы и нет. Она и стыдилась и нет. Она ходила по хате, приносила ему на стол миски с едой. Она словно выполняла свой, одной лишь ей начертанный закон.

Они что-то ели вдвоем и избегали угадывать желание в глазах друг у друга. Да и было ли оно? Они говорили о том, о сем, стесняясь молчания. Изредка, когда обрывалась нить разговора, они встречались глазами и тогда они переставали дышать и жевать пищу. Они точно каменели оба, всматриваясь один в другого до дна. А когда вот так им стало нечем дышать, Олеся застонала вся и прижала ладони к груди.

— Ой боже мой!.. Что же это будет с нами?

Когда в хате стемнело совсем, она отважилась первая. Подошла к постели и долго-долго молча стлала ее. Она вынимала из материнского сундука чистые, новые рядна, наволочки

и полотенца. Положила две подушки рядом, задумавшись на миг, и принесла цветов и трав из огорода.

Не спевали дру́жки. Никто не сеял на Олесину постель ни жита, ни пшеницы. И не шумел в девичьей голове свадебный хмель, не пели веселые свахи лукавых своих сочинений. Сама себе готовила Олеся свадьбу.

Тихо было в хате. Только далеко где-то грохали тяжелые орудия да тарахтели в темных небесах чужие самолеты.

— Не гляди на меня,— попросила Олеся и, тяжко вздыхая, надела новую сорочку. Василь слышал, как стучало его сердце.

— Как у меня бьется сердце...

— И у меня,— сказала тихо Олеся.— Ой... Иди сюда.

Она стояла возле постели в длинной мереженой сорочке. Месяц освещал ее через окно.

— Как тебя зовут?

— Василь.

— А меня Олеся... Дай руку...

Она прижала его руку к своему сердцу.

— Я никогда тебя не забуду,— сказала она грустно и строго и поцеловала Василя в щеку коротким, холодным, словно детским поцелуем.— Скажи и ты эти слова.

Василь повторил слова и сам не узнал своего голоса, такой он стал низкий и необычный. Василь прозвучал весь, всем своим существом, как колокол.

Вдруг задребезжали стекла. Низко, над самой хатой, взревела страшным ревом большая стая вражьих самолетов. Загремели бомбы на дороге за селом.

— Прощайте! — доносился издалека голос парубка.

— Ой деточки мои, деточки...— жалобно голосила над шляхом разлука...

Они долго лежали молча, прислушиваясь невольно к ночным крикам. Потом Олеся рассказала Василю, что это плачет ее тетка Мотря, у которой взяли в армию уже четверых сыновей.

— А это уже пятый прощается, Иван,— последний.

— ...Так — вздохнул Василь.— Как ты хорошо пахнешь мятой.

— А ты, когда дышешь, пахнешь огуречным листом, огурцами.

— И ты...

— И ты... — прошептала Олеся.

Они всматривались один в другого широко раскрытыми глазами и за всю ночь так и не сомкнули их. Понемногу в

них улеглась несмелость. Они находили друг в друге что-то чудное и неожиданное, какие-то чарующие откровения. Прошла неуверенность и еще что-то неназываемое. Каждый из них чувствовал в себе радостную молодую силу, и гордость обладания, и благодарность.

Иногда им казалось, что они знают друг друга с самой детской поры, уже давно-давно, и счастливый покой охватывал их обоих. То какое-нибудь случайное движение внезапно напоминало им всю трагическую неожиданность встречи, и тогда новизна начинала снова волновать их груди среди ночного людского плача, рева быков и завывания псов.

— Так тебя зовут Василь?

— Так.

— Василь... Василек. А я Олеся. Поцелуй меня, Василику. Скажи мне еще раз, что я хороша. Я такая счастливая.

— А отчего ты плачешь?

— Нет, я не плачу. Мне уже не страшно. Мне так хорошо.

— Родная моя! Что ж ты плачешь?

— Это же ты плачешь, Василику. Ты не забудешь, меня?

— Милая моя!

— Милый мой!

— Хорошая моя!

— Хороший мой! Иди ко мне!

Она снова тихо смеялась от любовной утехи, и печали будто умолкли и заснули в темных углах хаты.

Они и верили и не верили, что они уже муж и жена.

— Знаешь, Василику,— шептала Олеся, наклоняясь над его лицом.— Если б мы жили, если бы случилось так, что мы будем жить вдвоем, мы никогда, во всю нашу жизнь, не скажем друг другу ни одного плохого слова. Правда?

— Правда.

— Мы никогда не подумаем злого. Правда?

— Правда.

— Правда?

— Правда.

— Мы будем так дружно жить, как никто на свете. Правда?

— Так.

— Ты не забудешь меня?

— Нет.

— Ты найдешь, отвоюешь меня?

— Найду, отвоюю тебя.

— Иди ко мне, иди.

Словно сошлись столетия простой народной любви, что сеет детей на нашей плодородной земле. Сошлись столетия горьких прощаний украинской дивчины-жены, воспетой в горестных песнях народа.

Начало светать. Помягчали тени в хате, и разлука уже протирала глаза где-то там, в сенях, за дверями.

— Говори мне, Василику, еще красивые слова, говори,— припадала Олеся к плечу Василя. — Уже кончается ночь. Уже скоро прощаться пора.

— Слушай, Олеся...

Долго говорили они на рассвете. Они повенчали свою простую любовь духовным единением необычайной силы и сами удивлялись ему. Они словно выросли оба за эту ночь, и души их поднялись впервые к высоким вершинам проникновенности и понимания. А неумолимая неизбежность разлуки освещала особым светом их чувства и придавала им особую красоту.

Перед ними в эту ночь будто раскрылось новое видение вещей, печальное, но ясное и отчетливое, и ясными и четкими были его, Василевы, слова, каких он никогда и не думал в себе найти.

— Нет, я не забуду тебя, Олеся, моя дорогая жена. Не забуду никогда ни тебя, ни твоей хаты, ни криницы под вербою, ни твоего села. Я покидаю тебя на нашей земле. Но что наша земля, что наша жизнь без тебя?

— Василь... — простонала Олеся.

— Прощай. Горит моя душа...

— Уже день наступает,— оглянулась Олеся в тревоге.

— Что ж ты будешь думать обо мне, Олеся?

— Я спасаю свой род. Я попросила тебя дать мне надежду. Я буду ждать... Не опоздай, Василь.

— Нет. Я вернусь к тебе. Я вернусь к тебе с армией, закаленный и верный. Я пробьюсь к тебе через все пожары, через все доты и мины, через все на свете. Какая бы ты ни была, я вернусь к тебе. Пусть будешь ты черная и больная, покалеченная врагом, пусть поседеешь ты от горя и слез и побелеет твоя коса, пусть будешь ты рыть против меня немецкие рвы и плести немецкую колючую проволоку против меня и сеять для врага хлеб под плетьми,— ты всегда останешься для меня прекрасной, как и сейчас прекрасна ты. И повысохнут руки и языки у всех, кто попробует думать про тебя недоброе!

Если же в отчаянии ты станешь проклинать меня и всех, что покинули тебя и мертвыми не пали у Днепра,— простил

я тебя заранее, такая наша доля, и ты меня прости,— сказал взволнованно Василь, удивляясь своим необычайным словам.

— Прощаю,— ответила Олеся.— Только найди меня.

— Найду,— сказал Василь, прижимая ее к себе своими сильными, большими руками.— Если ж так станется, что не найду, может, убьют меня, Олесю, или взорвусь я в своем танке где-нибудь на фугасах и разлечусь клочьями по полю, так что и костей моих не соберут для могилы, я все равно вернусь к тебе. Я памятником из бронзы, там вот, за окном стану в твоем селе! Я понял, Олеся: дорога назад к тебе одна, один только путь. Путь геройства. Нужно быть героем и ненавидеть врага. Олеся,— сказал Василь, немного подумав.— Какой же непотребно млявый вошел я вчера в твою хату!

— Я тебя простила.

— Вижу. По великости женской души своей. Ты, Олеся, открыла мне мир.

— Иди ко мне, бедненький, иди, иди...

Спали они или нет? Иногда они оба впадали в нечто похожее на сон, но то был не сон. Они не переставали ощущать один другого и словно летели в объятиях над синим морем и слышали звучания далеких звонов и весенних потоков.

Они разлучились рано-рано утром, до восхода солнца, в холодной росе, у перелаза за садом.

Не побежала Олеся за Василем в далекие края. Не было у нее ни чемоданов, ни компаса, ничего для дороги. У нее была хата родная, земля и цветы и дорогие могилы отцов.

Василь скоро исчез за горой в побитых хлебах.

Он шел быстро и легко, с ясной головой. Он словно летел, не слыша под собой земли, созревший, готовый на подвиги величайшие. Он понял, что надо спешить, надо забыть обо всем на свете во имя жизни, во имя Родины, надо биться с врагом смертным боем.

А Олеся-Ярославна выплакала на перелазе свою многовековую песню и совершенно опустошенная пошла в хату. И стала она каменной.

Не слышала она, как громили село из орудий, как с боем отходили последние бойцы и вползала в село фашистская неволя.

— У меня каменная душа. Со мной теперь можно делать что угодно,— сказала она тетке Мотре, которая пришла к ней утром потужить.

Олеся сидела неподвижно и смотрела на подушку, на след Василевой головы.

НОЧЬ ПЕРЕД БОЕМ

Товарищ командир! Завтра вы поведете нас в бой. Мы все вот тут — и старики, что по полгода уже на войне, и молодые, вроде Овчаренко, идущего в битву впервые,— все мы знаем, что завтра бой будет горячий и кое-кто из нас, конечно, погибнет. Правду я говорю?

Иван Дробот, молодой танкист с чрезвычайно приятным и скромным лицом, волновался.

— Правду,— ответил просто и спокойно Герой Советского Союза, знаменитый их командир Петро Колодуб.— Продолжайте, Дробот, что вы хотели сказать перед боем.

— Я хотел спросить вас, хотя о вас пишут во всех газетах и на собраниях говорят, как о человеке бесстрашном и неутомимом, хоть вы на вид, извините, такой маленький и не очень как будто здоровый, так вот, откуда оно у вас берется все это, что говорят и сами мы знаем, что вы из любого пекла выходите победителем: так вот, что вы за человек такой, скажите нам неофициально, как будто мы и не на войне совсем. Где ваш не боевой, а, как бы сказать, внутренний секрет? Может, я не так высказался, извините.

Дробот покраснел от своего долгого и путаного вопроса. Ему казалось, что он неясно выразился, и это его совсем расстроило.

— Нет, хорошо, Дробот. Вы прекрасно и тонко высказали свою мысль, и я с большой охотой вам отвечу, тем более что и секрет такой у меня действительно есть.

Все бойцы и командиры, а их было в землянке человек тридцать, задвигались и, расположившись для долгого и приятного слушания, притихли. Командир умел рассказывать. Они были добрые бойцы, и Петро Колодуб любил их. Отложив на походный столик трубку, он немного выждал, пока стало совсем тихо.

— Это было на Десне,— начал знаменитый капитан, улыбнувшись.— Да... Одним словом, самый обыкновенный наш украинский дед-рыбалка перевернул мне тогда всю душу. Кто из бойцов, познавших всю тяжесть прошлогоднего фашистского вторжения, забудет этого деда? Помните осень? Что ни река, то и драма, то и перевозчики-деды, словно добрые речные духи. Они были смелые, эти деды, суровые и не боялись смерти. Кое-кто сказал бы, что они не любили нас на переправах. Иной раз их нелюбовь к нам ну прямо-таки не знала границ. Было такое?

— Было,— вздохнули в землянке.

— Ну так вот, слушайте.

Капитан Колодуб подобрал под себя ноги — это была его любимая поза с пастушеского детства — и, упершись руками в колени, посмотрел на бойцов.

В землянке было накурено. Бойцы сидели в полутьме в самых разнообразных позах, прислонившись друг к другу. Все они были разные и все родные. Всех их объединяло чувство единой семьи, то незабываемое и неповторимое, что перед лицом ежедневных опасностей сближает на войне чистые сердца воинов, что остается потом у человека самым дорогим воспоминанием на всю его жизнь.

Пройдут года, заживут раны, запашутся вражьи могилы, застроятся пожарища, и многие события перепутаются в седых головах от частых воспоминаний и превратятся в рассказы, но одно останется неизменно верным и незабываемым — высокое и благородное чувство товарищества и братства всех бойцов, что уничтожили и стерли с лица земли фашистское безумие.

— Мы отходили без связи, без артиллерии, мы отступали на восток день и ночь. Вражьи клещи вот-вот должны были сомкнуться перед нами. Мы несли на плечах своих раненых товарищей, падали с ними, проклинали все на свете и шли дальше. Правду сказать, были такие, что и стрелялись в отчаянии и гордости. Были такие, что бросали оружие и с горь-

кой бранью ползли к своим хатам, не имея духу пройти мимо.

Колодуб замолк, задумавшись.

— Нас было немного, человек пятнадцать,— сказал он, погодя.— Было несколько танкистов из сожженных танков, были пулеметчики, политработники, два бортмеханика, радист и даже один полковник. Я был тогда еще командиром танка, брошенного на дороге с пробитым мотором. А до войны я был садовником, песни пел, дивчаток любил, да, кажется, и все.

Капитан Колодуб так тепло и вместе с тем с такой иронией усмехнулся, что за ним усмехнулась вся землянка.

— Мы выбились из сил. Ноги нас уже не несли, наступала ночь. Перед нами, за селом, большая река. Многие из нас не умели плавать. А враги были недалеко.

Нам указали хату перевозчика.

— Тикаете, бисовы сыны? — спросил нас дед Платон Пивторак, выходя из сеней с веслом, сетью и деревянным черпаком.— Богато я уже вас перевез. Ой, богато, да здоровые все, да молодые, да все — перевези, да перевези... Савка! — крикнул Платон в соседнюю хатку.— Пойдем, Савка. Надо перевозить — нехай уж тикают. Га?! Пойдем, пойдем! Это уже, мабуть, последние!

Савка вышел из своей хаты и смотрел на нас с притворным удивлением. Было ему лет семьдесят, если не больше. Был он маленький, с подстриженной бородкой, очень похожий на икону Николая Угодника, если бы безобразная, как коровий кизяк, кепка не лежала у него на ушах да землистого, так сказать, цвета свитер не висел на нем, как отцовский пиджак на подростке.

За дедом Савкой из сеней вышел здоровый хлопец с двумя веслами.

— Э-г-е-е! Что-то вы, хлопцы, не той, не как его, не туда, будто, идете,— сказал дед Савка и хитро посмотрел на нас.— Одежда вот на вас новая, да и торбочки и ремни, эге, и сами молодые, а заворачиваете неначе не туды, га?

— Пойдем уж, довольно,— сказал Платон.

Пошли.

— Успокойтесь, лодка есть и довольно порядочная,— прошептал я нашему спутнику Борису Троянде, который все время волновался больше всех. Он не умел плавать.

— Вы думаете, они нас перевезут? По-моему, надо быть очень осторожными,— сдерживая волнение, сказал Троянда.

— Не знаю, чего они так тикают? — сказал дед Платон, идя с Савкой к реке, как будто нас тут вовсе и не было.— Чего они так той смерти боятся? Раз уж война, так ее нечего бояться. Уж если сулилась она кому, так и не сбежишь от нее никуда.

— Эге! — согласился Савка.— Уж, как говорится, ни в танке не спрячешься, ни в печи не замажешься.

— Душа несерьезная, разбалованная,— сердился Платон.— Ты возьми моего Левка. Как он на Халхин-Голе тех самых как их, бил? Всех до одного вычистил! Читал письмо? Полковник Левко Пивторак — я понимаю! А это казна-що *, не люди.

Мы шли молча тропинкой в густом лозняке. Деды шли впереди с сетками и веслами, очень медленно, как на обычную рыбную ловлю, и, казалось, не обращали внимания ни на орудийную стрельбу, ни на рев вражеских самолетов,— словом, весь фашистский фейерверк, что так замучил нас за последние дни тяжелого отступления, для них вовсе не существовал.

— Слушай, старик, ты не можешь идти немножко быстрее? — обратился к Платону Троянда.

Платон не ответил.

— Слушайте, диду, вы не можете идти немножечко швидче? — сдерживая себя, спросил Троянда еще раз.

— Не могу,— ответил Платон.— Чего вы такой швидкий стали, кто вас знает? Стар я уже швидко ходить. Отходил свое.

— Скажите, а где речка? Далеко речка?

— А вот и речка.

Действительно, лозняк сразу кончился, и мы вышли на чистый песчаный плес.

Перед нами была тихая, широкая Десна. За рекой крутой берег, а далее, вправо,— снова пески и лозы. За ними темные леса, а над рекой и над лесами вечернее небо, какого я никогда в жизни таким не видел.

Солнце уже давно зашло. Но его лучи еще освещали из-за горизонта верхи исполинского нагромождения туч, что надвигались с запада на все небо. Тучи были тяжелые, темно-темно-синие, снизу совсем черные, а самый верх, самый венец их, почти над нашими головами написан был буйными кручеными кроваво-красными и желтыми мазками.

---

* Бог весть что *(укр. разговорн.)*.

Величественные немые молнии воробьиной ночи полыхали меж громадами туч, почти не угасая. И все это отражалось в воде. Казалось, что мы стояли не на земле, что реки нет, а есть межоблачный темный простор и мы, затерянные в этом просторе, как речные песчинки. Небо было необычайное. Природа была словно в заговоре с событиями и предупреждала нас своими грозными знаками.

Рыба боялась такой ночи и бросалась на отмели у берегов. Где-то за нами, под самыми тучами, взносились, как змеи, ракеты. Было светло. Светило желтоватым отблеском от зловещей короны туч. Далеко гремели орудия. Мы стояли неподвижно. Было что-то торжественное и грозное вокруг. Все приумолкли и растерялись, точно перед каким-то необыкновенным событием.

— Ну, сидайте, повезем. Чего стали? — сказал дед Платон. Он уже стоял с веслом возле челна.

— Повезем уже, а там — что бог даст. Не умели соблюсти себя, так уж повезем, тикайте, черт вашу душу бери... Куда ты шагаешь? Челна не видел, воин? — загремел дед на кого-то из нас. Мы молча уселись в лодку, и каждый стал думать свою невеселую думу.

— У тебя готово, Савка?

— Можно.

— А туч наперло. Ач, що робится! Страшный суд, что ли, начинается?

Дед Платон поглядел на небо и плюнул в ладонь. Потом он взял весло и сильным рывком оттолкнулся от берега. Савка с внуком налегли на боковые весла. Челн был большой и старый. Весь он был просмолен и иссечен временем.

Я сидел в челне вблизи деда Платона. Я смотрел на тихую реку, и на берега, и на сурового кормчего, что возвышался надо мной на фоне торжественного неба. Мне показалось, что меня перевозят на тот свет. Стыд и отчаяние, и невыразимая тоска, и множество других чувств охватили мою душу, скрутили ее и пригнули. Прощай, моя красавица Десна!

Меня вывел из задумчивости голос Платона. Он продолжал с Савкой свою беседу, оскорбительную и горькую для нас. Видно, его что-то мучало, что-то хотелось ему додумать до конца. Он словно думал вслух.

— Черт его знае, что оно такое началось. Сегодня утром заходит в хату какое-то дермо да все кругом в оружии, да в ременьях, да не в каких-либо ременьях, а в новых.

— Эге! — послышался сзади голос Савки.

— А это ж все гроши!

— Эге!

— Вставай,— говорит,— вези, довольно спать. А я три ночи не спал, возил.

Платон немного помолчал.

— А недавно вот, перед вечером перевозил я с Митрофаном одну партию. Так одно, черты его батька бери, в очках, вроде того, что возле тебя сидит, тоже в новых ременьях, так еще револьвер вытянуло, да кричит — вези, говорит, скорей, куркуль! Ей-богу, правда. А у самого руки дрожат и очи вытаращил, как ерш чи окунь, от страха. Вот творение, хай бог милует.

— А-а,— черт зна що.

— Эге. Так товарищи вступились, спасибо им. Что же ты, говорят, чертов сын, дида обижаешь? Да чуть не побили. Так притихло. Вот такая пустота, ну ты подумай... О, здорово! — прислушался Платон к орудийным выстрелам.— Скоро, мабуть, появится герман.

Прогремели выстрелы тяжелых орудий. Пролетели перепуганные утки.

— «Диду, перевези...» — сердился Платон.

— Эге! — подхватил Савка. — А не знают, трясця их матери, что уж кому на войне судилось помереть, так не выкрутишься, никакой челн тебя не спасет. Не догонит пуля, догонит воша, а война свое возьмет... Бери влево! Быстрина велика,— захлюпал Савка веслом.

— Беру. Коли б мой Левко со своим полком был тут, тот бы не отступил, нет. Тот бы этого челна повернул назад, да по шеям, по шеям! — рассердился Платон и налег на весло.— Тот не отступит, нет, черта с два!

— Эге! Вот такий и мой Демид. Его хоть огнем жги, хоть на шматки режь, ну не отступит. Куды твое дело! — сказал Савка и плюнул в ладони.

— А ци думают спастись, а оно, гляди, выйдет на то, что долго будут харкать кровью. Это же все доведется забирать назад!

— А доведется! — подхватил Платон и со всей силы гребнул веслом три раза. — Шутка сказать, сколько земли надо отбирать назад. А это же все кровь!

Я смотрел на деда Платона и с трепетом слушал каждое его слово. Дед верил в нашу победу. Он был для меня живым и грозным голосом нашего мужественного народа.

— Наша часть вынуждена была отступить, — сказал полковник.

— Балакай. Не умели биться. Вот тебе и отступление, — сказал Платон. — Что в войсковом уставе сказано про войну. Ну? Сказано — коли целишь в во́рога, возненавидь цель.

— А где ваша ненависть? — подхватил Савка.

— Эге! А умирать боитесь. Значит, нема у вас живой ненависти. Нема! — дед Платон даже крикнул и привстал на корме.

Мы не знали, что отвечать.

— О, плыве щось. Наш чи фашист? — сказал дед Платон и притянул веслом труп.

— Фашист... А, холера на твою голову. Уже плывешь. Ач, куда забрался. В Десну! Успел, нечистый. А вы все думаете да все страдаете. А страдать некогда!

— Я, диду, ненавижу фашизм, всей душой! — крикнул Троянда и даже привстал от волнения.

— Значит, душа у тебя мала, — сказал Платон. — Душа, хлопче, она бывает всякая. Одна глубока и быстра, как Днепро, другая — как Десна, вот третья — как лужица, а часом бывает так, что лужицы нет, а так что-то мокренькое, вроде, извините, бык покропил.

— Ну а если душа большая, а человек нервный? — обиделся Троянда и рассердился тут же на себя. Был он умный и находчивый человек, а тут вдруг вся находчивость словно испарилась.

— А ты прикуй себя от страха цепью к пулемету, да и клади врага молча до смерти, — сказал Платон. — А там уже когда-то живые разберут, какой ты был нервный. А то, выходит, ненависти в тебе много, а нервов и себялюбства еще больше. Вот и — перевезите, диду! А ненависть твоя потратится на что-либо другое. Какая же ей цена, когда умирать не умеешь?

— Ну это не всякий может, — пролепетал окончательно сбитый с толку Троянда.

— В том-то и беда. А надо, чтоб всякий мог, когда враг ломится. Хлеба ж кушать всякий требует. И языками галакать все научились.

— По-дай чо-го-го-го! Човен пода-а-ай! Ага-га-га! — донеслось с того берега.

— О, уже распинаются нервные души. А нема того, чтоб тихо подождать! — сказал Савка.

Проплыли немного молча. Платон начал сильно грести веслом. Видно, ему хотелось что-то еще сказать, чем-то перебить свое недовольство.

— Ты подумай себе, Савка, как народу смотреть на все это. Ведь все же надеялись на них, как я на своего Левка, а оно вот что выходит, — «диду, перевези!».

— Эге, — промолвил Савка. — Сколько лет их учили, ты подумай, Платон. А они убегают. Вот и сказать им теперь, что вы делаете? Стойте, не смейте тикать! Чем же дальше вы тикаете, тем больше крови прольется. Да не только вашей, солдатской, а и материнской и дитячей крови.

— Не знаю, как ты, Савка,— сказал Платон,— а меня бы с Днепра или с Десны не то что Гитлер, а сам нечистый не выгнал бы, не к ночи будь помянут, прости, господи.

— Легко сказать, дедушка. А вот посмотрели б вы на танкетки! — оправдывался лейтенант Сокол.

— Ну и что ж? — перебил его Платон, очевидно не имея никакого желания выслушивать нас.— Сколько она может убить вас, танкетка? Все равно вам же придется их разбивать, не мне. Я свое отвоевал. А вот Левко мой на Халхин-Голе, слыхали, что сделал с этими, как их?.. Танкетки!.. — разгневался дед. — Людская душа молодецкая сильнее всякой танкетки. Было, есть и будет! Как это в песне про Морозенко[1] поют! «Де проїхав Морозенко — кривавая річка» — вот!

Я не выдержал дедовых разговоров, так тяжело мне стало его слушать. В эту минуту он показался мне жестоким и несправедливым дедом.

— А разве вы думаете, диду, что нам не тяжело? Разве вы думаете, что боль и жалость не раздирают наши души, не мучают, не жгут наши сердца адским огнем?! — простонал я ему в самые очи.

— А что мне думать? — посмотрел на меня Платон.— Думайте вы. Жизнь ведь, она уже ваша, а не моя. А только я так скажу вам на прощанье: не с той чаши наливаете. Пьете вы, я вижу, горе и тоску. Зря пьете. Это, хлопцы, не ваши напитки. Это напитки бабские. А бойцу надо сегодня напиться крепкой лютости к врагу да злобы. Это ваше вино. А горе и жалость — не ваше занятие. Жалость подтачивает человека, как червь. Побеждают быстрые да сердитые, а не жалостливые! — сказал дед Платон и умолк. Он высказал, наконец, свою мысль. Это была его правда. Он возвышался на корме, суровый и красивый, и смотрел вперед поверх нас.

В это время недалеко от нас упал снаряд и поднял вверх огромный водяной столб.

— Ого!.. А что рыбы поглушит в речках!.. — послышался голос Савки.

— Теперь поглушит,— сказал Платон.— Позапрошлую зиму подохла от засухи, а теперь гранатами высадят дотла. Опустеют теперь и речки и все на свете. Приехали.

Челн мягко уткнулся в речной песок. Я вышел на берег совершенно опустошенный и вместе с тем какой-то совсем иной, новый. Как будто я утопил в Десне и свою печаль, и тоску, и отчаяние отступления. Я оглянулся. За Десной горело. И красное зарево пожара как-то по-новому осветило мою душу. Нестерпимый огонь прожег меня насквозь. На мгновение мне показалось, что кинься я сейчас назад, в Десну, и вода бы расступилась передо мной. Этого, хлопцы, я никогда не забуду.

Мы стали прощаться с дедами, спеша в кусты...

— Постойте трохи,— сказал Платон, опершись на весло.— Так что ж прикажете передать фашисту? Как встречать его, как в глаза смотреть?

— Передайте, что мы еще вернемся. Не дрейфьте, дед, вернемся,— попробовал подбодрить деда Троянда.

Дед посмотрел мимо планшеток Троянды и легонько сплюнул.

— По-дай чо-го-го-го-го! Ого-го-го! — донеслось с того берега.

— Прощайте, спасибо,— тихо говорили мои спутники, уходя в лозы.

— Идите себе...— равнодушно сказал дед Савка. Платон молчал.

Мы ушли в лозы.

Я шел последним и думал про деда Платона. «Спасибо ему,— думал я,— что не пожалел нас, не окропил нашу дорогу слезами, что высек из моего сердца огонь в ночи... Отчего ж ты, правда, так горька и солена подчас»,— подумал я и остановился. Потом я побежал назад, к Десне.

Я должен был что-то сказать на прощанье деду Платону. Я выбежал на берег.

Платон стоял у самой воды с веслом, как пророк, неподвижный, и, очевидно, глядел нам вслед.

— Прощайте, диду. Простите нас, что не уберегли вашу старость,— сказал я, задыхаясь.— Мы вас, диду, никогда...

— Иди, не крутись перед очами,— сказал Платон, даже не взглянув на меня. По сухому, темному его лицу текли слезы и падали в Десну.

— Вот, друзья мои, и все. Вот и весь секрет мой,— сказал капитан Колодуб и зажег трубку.

Все в землянке вздохнули.

— Сейчас я Герой Советского Союза. Много я уничтожил врага, что и говорить. Много пострелял в наступлении и гусеницами подавил немало. Бывало, поверите, тошнило от хруста фашистских костей. И сам попадал не раз в переплет. Но где б я ни был, как бы ни бушевали вокруг меня вражьи ветры, им никогда уж не погасить того огня, что зажег во мне когда-то в челне дед Платон... Что наша жизнь? Что наша кровь, когда страдает вся наша земля, весь народ? — Голос капитана зазвучал, как боевой сигнал.— Я, хлопцы, в бою сторукий, стократ помножен гнев во мне и ненависть! Так...— Капитан Колодуб усмехнулся.— А все-таки ничего в жизни я бы так не хотел, как после войны поехать на Десну к деду Платону и...

— И сказать ему, что он ошибался, товарищ Герой Советского Союза. Добрый вечер! Ну, как? — раздался у дверей бравый голос Бориса Троянды, что уже с полчаса как зашел в землянку.

— ...И поклониться деду Платону в ноги за науку,— сказал капитан, словно не слыша вошедшего.

Стало тихо. Никто не двигался, словно все танкисты мыслями были еще на Десне.

— Нет, товарищ капитан, не поклонитесь вы деду Платону,— вздохнул молодой танкист.

Все оглянулись. Это был Иван Дробот. Он стоял в дальнем углу землянки. Он был как-то особенно взволнован рассказом.

— Деда Платона, товарищ капитан, уже нет в живых,— сказал Дробот.— Как только вы ушли в лозы, а дед Платон и Савка вернулись на свой берег, сразу прибежали немцы. Долго били они стариков за перевоз, хотели было расстрелять, а потом прибыл приказ им немедленно переправиться на другой берег. Ну повезли. Насело их полным-полно. Выплыли на середину Десны, тогда дед Платон и говорит:

— Савка, прости меня!

— Бог простит.

В другой раз:

— Бог простит.

В третий раз...

— Бог простит.

Да за третьим разом как подняли они весла, да как бросились сразу на правый борт, так и перевернули челны. Все потонуло: и пулеметы, и немцы, и деды. Один только я выплыл на наш берег.

— А кто ж ты такой? — тихо спросил капитан Колодуб.

— Я внук деда Савки. Я сидел на втором весле.

— Встать! — скомандовал Колодуб.

Все встали. Долгую минуту стояла молча семья бойцов.

Капитан был бледен и торжествен. Он стоял с закрытыми глазами. Потом он опустился на одно колено, все последовали за его движением.

— Готовы к бою? — спросил капитан Колодуб и вырос перед бойцами, как дед Платон на Десне.

— Готовы на любой огонь!

Тихо стало в землянке.

Тихо и на позиции. Только далеко на горизонте качался в небе огненный знак прожектора.

НА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКЕ

Три дня и три ночи сидел Петро Чабан в темной каморе под замком, без пищи и без воды. Сидел и слушал, и казалось ему, что много раз как будто открывали двери и фашисты выводили его во двор и после жесточайших пыток бросали мертвого в яму.

В яме уже гнила не одна сотня расстрелянных крестьян и раненых бойцов, что не успели отойти с армией на восток. Яма была недалеко, и Чабан слышал все, что творилось около нее эти три дня.

С каждым выстрелом он падал в эту яму, и каждый раз душа его возносилась из ямы вверх, как огненная птица — орел или голубь, которых видел он когда-то в церкви, золотых, на царских вратах. Птица пролетала над землей и разносила его гнев на все четыре стороны. Она стучалась крыльями в каждое окно, в каждую убогую дверь, где надежда боролась с отчаянием в скорбных сердцах, где скреблись в двери голод и рабство и бесславное вымирание. Потом она подымалась еще выше, так высоко, что у него [1] начинало звенеть в ушах, и тогда Чабан видел всю как будто землю.

Земля была больна. Она словно влетела в какую-то кровавую туманность и занемогла. Размах смерти был такой исполинский, что Чабану на одно мгновение его собственная смерть, и пытки, и все, что делали с ним немцы, показалось таким маленьким и незначительным, что он даже улыбнулся

и открыл глаза. Кто-то постучал. Приоткрылась дверь. В камору хлынул поток такого свежего, теплого октябрьского воздуха, что у Чабана закружилась голова. Когда его выводили во двор, он споткнулся и чуть было не упал.

— Ты есть командир партизанского отряда, что начал действовать в этом районе? — спросил у него усталый немецкий офицер.— Ты уничтожил двести сорок наших офицеров и солдат?

— Да. Я сын украинского трудового народа, коммунист Петро Чабан, сорока двух лет, командир партизанского отряда. Уничтожение солдат и офицеров — это моя работа,— ответил Чабан и посмотрел вокруг. Как странно изменилось село. Как померкло оно, словно кто-то посыпал его серым пеплом. Словно отрава разлилась по нем и отравила все.

Невдалеке, на площади, Петро увидел виселицу. На ней висело четверо крестьян, и он сразу узнал их. Висели Ткач Василь, Нечипорук Оксентий, Сербин Левко и Куприян Шумило. Пятая петля была свободна. Возле виселицы полукругом стояли крестьяне, преимущественно женщины. Они стояли неподвижно, словно чаши, переполненные горем. Горя было гораздо больше, чем могли вместить в себя чаши. Горе разлилось везде по селу. Никто не плакал. Ни одна душа.

— Вот и все, что я решил сказать.

— Хорошо. Еще два коротеньких ответа, и ты свободен,— сказал усталый офицер, кивнув головой в сторону петли.— Итак, где скрываются твои партизаны и где закопано оружие красных?

— Не скажу.

Офицер встал и подошел к Чабану.

— Слушай. Я допускаю, что ты сильный человек. Я вижу в твоих глазах презрение к смерти. Но война есть война. В данной ситуации нет ничего в мире, что дало бы тебе хоть малейшее основание так отвечать. Ты не европеец. Ты меня понимаешь?

— Да.

— Не дразни меня. Скажи и умирай скорей.

— Не скажу.

— Слушай, я не хочу кричать на тебя или бить тебя сейчас, хотя это входит в мои обязанности. Я устал от этого сегодня. Как говорится, всякая работа имеет свою скуку. Я апеллирую к твоему рассудку.

— Петро!!! — раздался вдруг из толпы душераздирающий женский крик.

— Слышишь, даже люди просят,— покривился офицер.

Усмехнулся по-своему и Чабан. Они глядели друг другу в глаза, и каждый понял улыбку другого.

Нет, не просила Левчиха. Чабан сразу узнал ее голос. Она заклинала. В этот отчаянный жалобный крик, в одно слово, в один звук его имени, в этот извечный материнский стон вместилась, как в тесную клетку, вся ее женская доля.

«Терпи, не поддавайся. Перенеси все муки, что обрушились на тебя. Прими все страдания, как принимали в старину твои прадеды запорожцы, умирая на острых колах и смеясь врагу в лицо. Будь мужествен, чтоб не пренебрегли живые твоим именем, чтоб прославляли тебя, брата-товарища. Молчи, такая уже несчастливая земля наша».

Чабан не сводил с офицера очей.

— Я буду молчать.

— Я уже вижу,— сказал офицер тихим голосом.— Ну что ж. Тогда до завтра, до утра. Я должен отдохнуть и иметь свежий юмор. А завтра, как говорится в вашей пословице: «Ой хоть крикни — не докрикнешь, ой хоть свистни — не досвистнешь». Я недаром долго изучал твой язык.

— Ну это еще посмотрим,— сказал Чабан.

— Помолчи. Завтра я сам выколю тебе глаза и отрублю руки и ноги. Потом я отрежу тебе язык и вырежу большую звезду на груди.

— А зачем? Зачем вам моя звезда, и язык, и вырванные очи? Зачем они вам? Вам же нужна только моя смерть.

Чабан даже подался весь к офицеру. Он пристально вглядывался в серые водянистые глаза офицера, в морщины на лбу и губах. Он хотел проникнуть в его странную таинственную душу. Он никогда не думал, что на свете могут быть такие люди.

— Вам же нужна только моя смерть!

— Обыкновенная банальная смерть — это примитив,— сказал офицер и достал из кармана записную книжку. Он любил записывать мысли, казавшиеся ему достойными истории его отечества.

— Зачем? — продолжал офицер.— Я романтик войны. Ты этого не понимаешь. Собственно говоря, я сказал это совсем даже не тебе. Я записываю свои мысли вслух... Так... Сегодня, кто прошел по Европе, тот кое-что пережил, тот жил, понимаешь, жил!..— рука офицера быстро забегала по книге мемуаров.— Если под жизнью, конечно, разуметь фаустовский принцип — хотеть все знать, все пережить, все, что может

дать человеческая жизнь, короткая, как мгновение, в понятии великого или отвратительного, как эта яма и эта виселица, доброго или злого, высокого или мизерного... Впрочем, это философия,— закончил писать офицер и взглянул на Чабана.— Ты понимаешь?

— Пойди ты к такой матери, черт бы твою душу забрал,— сказал Чабан и отвернулся.

У виселицы стояли в ожидании его смертной казни несчастные его люди.

— Так,— сказал офицер, словно не слыша Чабана.— А перед тем я прикажу изнасиловать твою жену, чтобы ты увидел свой собственный позор. Я убью твоих детей, чтобы не осталось на земле твоего следа, так как эта земля уже наша. Потом тебя повесит твой бывший сосед. Он давно об этом мечтает, еще с Сибири.

Чабан оглянулся. За спиной у него стоял, как привидение, высланный кулак Максим Заброда. Откуда он появился? Чабану показалось, что он даже пошатнулся. На одно мгновение он увидел свой последний день. У него пересохло во рту, и он с трудом облизнул губы. Заброда тоже весь побледнел и тяжело дышал. Офицер был явно доволен встречей соседей. Он был опытный, утонченный специалист.

— Ты партизан. Я не должен обойтись с тобой просто. У меня есть свой престиж, а ты сильный клиент. О, я уже вижу тебя в процессе! — и офицер вдруг так сверкнул глазами, что Чабан даже вздрогнул.

— Сегодня он переночует в лагере за проволокой,— приказал он по-немецки своей команде.— Пусть немного ночью померзнет. Завтра ему будет жарко.

И офицер ушел.

— Стой, куда пошел! — сказал вдруг Чабан тоном приказа. Офицер остановился, невольно поддавшись его властному тону.

— То, что ты сказал, есть непотребство, недостойное человека. Нечеловеческая смерть — это единственное, что ты можешь мне учинить. Это твоя специальность. Но ведь душа моя свободна от тебя. Ее ты ничем не разрубишь и глаз ей не выколешь. Ты меня пугаешь моим «завтра». Так вот завтра, как и сегодня, запиши себе в книгу: «Ой хоть крикни — не докрикнешь, ой хоть свистни — не досвистнешь». Я смеюсь над тобой! — Последние слова Чабан прокричал громко, чтоб всем было слышно, чтоб хоть немного поддержать людей, стоявших у его петли.

— Прошу без агитации,— гадливо поморщился офицер и подошел близко к Чабану.— Напрасно просишься на пулю. Завтра умрешь, как сказал.

И ушел в хату.

У шоссейной дороги, за селом, там, где когда-то из-под обрыва брали песок, в провалье расположился лагерь пленных. Он был обнесен высокими свежими столбами и обмотан густой колючей проволокой. Над обрывом и по углам стояла сильная стража. Всякая попытка не то что бежать, а даже прикоснуться к проволоке, каралась верной смертью из автомата.

Тысячи людей, лишенных оружия и закона, умирали в этом лагере невольниками на своей растерзанной земле. Они были полуголые и босые и так истощены горем утрат, и холодом, и грязью, и вопиющим голодом, что уже и сами себе казались не людьми, а каким-то невиданным созданием больного воображения, каким-то символом недоли и горя. Они умирали день и ночь сотнями от голода и ран, передавая живым последние поклоны и прощания своими белыми губами, и мертвые лежали среди живых, и живые не плакали над мертвыми, так как хотели хлеба, хлеба, хлеба!

Трудно найти словесные краски, какими можно было бы написать картину этих лагерей, и прошумят, может быть, долгие годы, пока родится новый Данте и создаст своим гением, приумноженным неслыханным множеством людского горя, новую «Божественную комедию» для грядущих поколений, как величественное воспоминание про дорогую цену, что заплатил наш народ, когда на его широких кровавых полях решалась судьба человечества.

Сегодня Дантовому аду посчастливилось. Днем приезжали из Берлина кинооператоры. Пленным бросали с обрыва дохлых лошадей, и они разрывали их зубами на куски, и глотали, и грызли лошадиные кости,— так силен было голод в лагере. Операторы снимали это кормление привидений, чтобы весь немецкий мир видел, все немки и немчата, какие поганые и некрасивые люди, против которых империя подняла свой меч.

Вечерело. Невольники позалезали в норы и стучали зубами от холода. Под холодным осенним небом лагерь казался огромным кладбищем разрытых могил, где лежали на дне живые покойники.

Из одной могилы тихо возносилась вверх песня про горе, и не про людское, ну его, горькое да некрасивое, а про горе

чайки-горемыки, что давным-давно когда-то вывела было чайчат при широкой дороге. Про далекие чумацкие дороги и про беспечных чумаков, что все пели себе, за возами идучи, и согнали чайку и детей забрали. Как билась чайка о дорогу, как припадала она белой грудью до сырой земли, как жалобно молила певцов дорожных: «Ой, верніть мені чаєнята, я їх рідна мати» [2].

Гремели выстрелы часовых и раздирали песню автоматы. Над лагерем стоял сладковатый трупный смрад и тяжелая невыразимая печаль.

За колючей проволокой сидел Чабан и плакал.

Кто завтра крикнет ему: «Слышу?!» Кто поддержит его добрым словом, когда начнет ломаться его воля от хруста костей и сдирания кожи, когда боль выйдет из берегов, выльется лавой из вулкана и начнет заливать мир, когда начнет он падать духом, а надо будет крикнуть в последний раз на все село: «Не забудьте!»? Отпразднует ли он завтра достойно свой страшный праздник? Когда-то в детстве страшный суд представлялся ему тоже как праздник.

На темное небо повыходили звезды.

Чабан посмотрел вверх. Небо было огромное, торжественное, вечное. Далекие звезды освещали его холодным безразличным светом. Ощущение вечности и бесконечности мира опустошило его усталую душу и немного успокоило.

«Что смерть моя и смерть моих детей? — подумал Чабан.— И что мои мизерные муки, когда исчезают в небытие тысячи наших людей, гинут семьи, гинут целые роды без числа и края».

Чабан опустил голову и начал трогать и гладить свои руки и ноги.

«Какие у меня хорошие, сильные ноги и руки! Сколько хлеба напахали они, сколько сена накосили и собрали в стога, сколько людей накормили, сколько походов прошли...».

Он закрывал руками глаза и, глядя на звезды, снова раскрывал их — как они видят и как не видят. Как быть слепым. Он готовился к завтрашнему дню, словно борец к неслыханному состязанию.

— Не дождешься, офицер, услышать мой голос! Не дождешься...

Он так сжал челюсти, что у него затрещало в ушах и он с трудом разнял их.

«А может, выручат партизаны?» — подумал он и даже стал вглядываться за проволоку, в кусты, не идут ли его хлопцы.

Нет, не выручат его партизаны.

Далеко они за рекой, в лесах и оврагах. Много немцев ночует сегодня в селе.

Когда-нибудь ночью, где-нибудь в лозах расскажут им, как умирал их командир, как презрел он свою смерть, чтоб не забыли они его, пока живы будут, и отплатили врагу щедрой рукой.

Он был их предводителем еще с детства, когда они начинали пасти гусей, потом телят, потом перешли в конский класс и стали ходить на улицу, к девчатам.

Уже тогда все подчинялись его особенной натуре.

Он любил ловить с ними рыбу. Он стал вспоминать рыбную ловлю, и его вдруг затошнило. Голод снова набросился на него, словно дикий зверь, и впился ему в живот и в горло.

Как хочется есть, как хочется есть! Дайте хлеба. Принесите кто-нибудь хоть корочку...

— Петро... Петро...— как будто послышался издали женский клич.

Чабан поднялся и стал прислушиваться.

— Петро... это ты, Петро? Я принесла тебе поесть! Хлеба, картошки и груш...

Он узнал голос Левчихи. Она притаилась где-то в кустах и тихо-тихо звала.

— Я сейчас положу возле проволоки и убегу. А ты возьми и никому не давай, наедайся, слышишь? А утром доешь, крепче будешь. Слышишь?

— Слышу,— глухо ответил Петро.

— Гляди, я бегу,— тихо, шепотом простонала Левчиха и выбежала из кустов прямо к нему.

Прогремел выстрел — р-р-р...

— Ай! — испугалась Левчиха и тихонько упала мертвая на песок. Узелок с разгону пролетел немного вперед и упал возле проволоки. И дающая правая рука ее с разгону тоже протянулась вперед и поникла.

Чабан припал к земле и быстро приполз к проволоке. Изо всех сил он протянул руку к хлебу и... не достал.

— Тетушка,— прошептал он, хватая пальцами песок.

Левчиха не отзывалась. Она лежала маленькая, аккуратненькая, в праздничной одежде. На ней была чистая сорочка, которую она давно еще держала в сундуке на смерть, и старинная длинная безрукавка, и новая черная юбка в мелких синих цветочках. А на шее даже ниточка мелкого кораллового мониста с дукачом еще с девичьих лет. Она предвидела

свою смерть. Вечный покой уже разливался по ее челу. Оно словно светилось в сумерках.

Не вернемось, чайко, ти матінко наша.
З'їли твоїх чаєняток, добра була каша.

Разносился над лагерем из ямы тихий чумацкий реквием. Неумирающий голос седых столетий звучал в темноте над колючими проволоками. Уже ничего и не просил он, не упрекал, не проклинал. Была уже в нем одна примиренность с неумолимым бегом времени и очищенная, настоянная на сухих цветах давности, прозрачная печаль.

Над мертвой Левчихой стоял начальник службы порядка Максим Заброда с желто-голубой повязкой на руке. На груди, на ремне, блестел у него автомат. Чабан встал, и они сразу узнали друг друга.

— Хорошо поет недоля,— тихо сказал Заброда.

Он подошел к проволоке.

— Сегодня не мешало б и тебе затянуть что-нибудь, га? Я пришел послушать. Спой что-нибудь, слышишь?

Из-под нахмуренных густых бровей смотрели на Чабана тяжелые глаза Заброды. Они даже светились изнутри. Сквозь них словно пробивалось пламя разъяренной целой четвертью непринятого столетия темной Забродиной души.

— Подай хлеб! — приказал Чабан и сделал шаг вперед.

— Хальт!.. Покушать захотелось? Давно пора чего-нибудь там перед смертью.

— Ты убил? — глухо спросил Чабан.

— Кого? — Заброда оглянулся.— А, Левчиха... Да что там Левчиха! Мне вот тебя жаль. А придется завтра, как у вас говорят, выполнить офицерский план. Ой будет болеть, Петро! Сорвутся с твоего языка и партизаны, и оружие, да будет поздно. Жалко.

— Не нужна мне твоя жалость.

— Такая душа у меня. Ненависть у меня к тебе, Петро, старая, как застарелая болезнь, а вот пришел твой смертный час — жалко... Может, что-нибудь придумаем?.. Скажи, где партизаны и оружие. Может, придумаем, га? — Заброда близко-близко заглянул Чабану в глаза.

— Уйди от меня, сатана. Иди, погавкай офицеру, что на мне земли ты не заработаешь. Пойди, вот он стоит под деревом, я вижу.

— Ну что ж, вечная тебе память за такой характер. А я, глупый, подумал было...

— Что? Заработать на партизанах? Иуда!

— Эге. Христос нашелся. Я уже заработал и так немало в Соловках. Кто меня туда загнал со всей фамилией? Кто?

Заброда поднял кулаки.

— Сводил ты со мной счеты, Чабанюга, сводил. Теперь вот я с тобой сведу. Вот завтра будет мой кулацкий юбилей. Запьем советскую власть и Левчиху... Вишь, паскуда, нарядилась, словно на пасху!

— Не смей так говорить про нее, слышишь!— крикнул Чабан.— Не смей! Она святая!

— Кто? Ты думаешь, не знаю, где сын ее? В лозах у тебя.

Заброда бросил на песок автомат и подошел к проволоке.

— У... ты... Боишься?

— Кто-о?

Дальше они не выдержали и вцепились сквозь проволоку друг в друга.

— Тихо, храпишь? Тихо!

— Тихо! Слышишь?

Долго говорили они у колючей проволоки. Говорили о земле, про кулаков, про ссылку, про голод, про смерть, про измену.

Они плевали друг другу в глаза — один Сибирью, чужбиной и страданиями, другой — Гитлером, фашистскими погромами, и пожарами, и виселицами, и фашистским рабством, и ненавистью к Гитлеру всего мира. Ненависть разбушевалась в их пламенных душах и вырывалась страшными взрывами, одна против другой.

Они били друг друга тяжелыми ржавыми обломками своей тяжелой истории и оба стонали от ударов. Они шипели, как змеи, друг другу в раскрытые рты, про Богдана, про Мазепу, про царей, про Петлюру и Гитлера, и рвали, кто что ненавидел, и топтали ногами.

Они то отходили друг от друга, то снова сходились и снова схватывались, и вглядывались друг другу в темноте в сверкание глаз и зубов. Они душили друг друга и прижимали грудью к проволоке, и колючая проволока впивалась в их лбы, и кровь текла с них, и ненависть и страсть.

— Тихо, тихо...

Они не могли уже разойтись. Они мяли и ломали и шепотом ненавидели друг друга в осенней ночной тишине, чтобы не подошел кто-нибудь.

Они говорили то тихо и медленно, как бы нехотя, утомившись, и тогда слова вырывались из уст, как одинокие выстрелы, то внезапно, когда ненависть снова начинала раздирать их горячие души, они расстреливали друг друга в упор бешеными ураганами слов. Тогда слова вылетали из них с быстротой необычайной. Слова часто сталкивались на дороге, сбивались в кучу, ломали, уродовали друг друга и, разрываясь, разлетались в куски, в крик, в вопль, в храп, в стон. Тогда пена закипала у них на побледневших губах, и брызги вылетали изо рта и казались ночью искрами, как у разъяренных драконов.

— Пусти меня! Ай... Пусти!

— Ага, просишься, гад! Вот завтра вытянем из тебя жилы. Нарежем красных звезд из твоей проклятущей шкуры!

— Режьте, черт вашу душу бери!

— Сам буду резать. Слышишь? Упаду перед офицером на колени, выпрошу. Сам!

— Слушай, иуда, нечистая сила! Неужели тебя породила земля наша?

И Чабан оттолкнул Заброду.

Всего народила богатая украинская земля. Добро и щедро удобрена она с давних времен. Много рыцарей и сеятелей пахали ее копьями и оралами. Много нечисти засоряло ее мусором. Богата и трудна душа народная. А люди...

«Буде ж тепер їх по горах, по долинах, ой буде ж тепер їх по чужих по країнах» [3].

— Что ж вы натворили, фашистские предатели? — сказал Чабан, когда Заброда поднялся и снова подошел к нему.— Откуда налетели вы, черные вороны? Слышишь, темная сила? Все равно пропадет ваш Гитлер. Ничего, что я погиб. Не страшна мне смерть. Слышишь? Но страшно мне, когда подумаю, где ж погниют кости обездоленных Гитлером бедных наших людей? В каких Африках, в каких Скандинавиях? В каких песках и в чьих морях?

Заброда схватил Петра за руку.

— У... Пусти, не крути руку, фашистский раб!

— Кто раб? Я раб?

— Ты. А ты думал, кто ты?

— Я...

— Ага... Плачешь?

— Я не плачу. Сам ты плачешь, гад. Чего ты плачешь? Оплакиваешь долю, проклятый?

— Пусти меня. Я не хочу говорить с тобой,— сказал Чабан.— Оставь меня одного. Я хочу перед смертью немного по-

думать. Иди. Я хочу очиститься от твоего прикосновения. Я народный партизан. Слышишь? А ты... труп! Мертвый ты!

Чабан посмотрел на Левчиху.

— Подай мне хлеб, слышишь! Хлеб подай! Я не буду его есть. Я поцелую его!

— Не подам!!! — осатанел Заброда и начал бешено топтать узелок с черным хлебом и мертвую руку Левчихи.

Чабан словно окаменел. Он увидел свою смерть — вот она, совсем близко, лютая, неумолимая. И проснулась в Чабане нечеловеческая жажда жизни. Из широких украинских степей, из дебрей, из темных оврагов повеяло на него гарью истории, головнями, дымом и кровавым паром.

Страсть борьбы и мести, вся воля, весь разум, все вспыхнуло в нем с такою страшной силой, что он в одно мгновение словно возвелся в какую-то необычайную степень, близкую к взрыву.

— Стой, собака! — прохрипел он и страшно сверкнул глазами.

Заброда остановился.

— Га?.. Ага!..— как-то исступленно агакнул он, раскрывши рот, и повернулся к Чабану.

И бросились они на проволоку еще раз, уже молча, ударились грудью, обнялись, и тут только Заброда почувствовал, что он погиб.

Это был уже не тот Чабан. Словно железными клещами, впился он в Заброду, обхватил его, оторвал от земли, поднял, крякнул и, тяжело дыша, изо всех сил рванул его на себя и прижал горлом к проволоке.

Не выдержала проволока, порвалась. Тогда, схватив голой рукой проволоку, Чабан закрутил ее вокруг Забродьі и завязал на жилистой его шее смертельный узел.

Потом, разогнавшись, он бросился на проволоку, как лев. Железные колючки впились ему в босые ноги, в руки, в грудь. Они рвались и раздирали в куски его тело, но он уже ничего не замечал.

Он вырвался на волю.

— Хальт! — рявкнул из-под дерева офицер и, торопливо вытягивая из деревянной коробки маузер, бросился к Чабану. Он не ожидал такого поворота действий. Чабан вылез уже на ограду.— Хальт! — крикнул еще раз уже возле самой проволоки и прострелил лицо Чабана почти в упор. Стрелять второй раз ему уже не довелось. Молниеносным прыжком Чабан обрушился на него сверху, опрокинул и убил одним ударом ку-

лака в ухо. Удар был такой страшной силы, что офицер умер мгновенно. Но Чабан не мог уже остановиться. Выплюнув офицеру в лицо с десяток своих зубов, он бил его по голове так, что кости пальцев поломались в кулаке.

— Ой хоть крикни — не докрикнешь... Не докрикнешь...

Загремели выстрелы. Тогда Чабан схватил автомат Заброды и выпрямился, весь в крови, горячий и вдохновенный.

— Гей! Подымайтесь, кто сильный да дужий! Гей, кто хочет жить, вылезай из могилы! Вставайте, гей!

— Хальт! — кричали немцы, выскакивая из караульной.

— Разгибайте спины! Разрывайте проволоку!

— Хальт! Хальт!

— Ура-а-а! — загремело в лагере.

— Слушайте! Слушайте, кто презирает рабство!..

— Вперед, братцы! Ура-а-а!

И вылезло из могил, из пещер, из ям все, что было за проволокой. Все разогнулось, встало и бросилось на проволочный забор с такой силой, что он упал и в одну минуту погруз в песок под тысячами ног.

— Свобода!

Уже передние ряды достигли кустов. Уже кое-кто думал, что все спаслись, только ударили вдруг проклятые гитлеровцы из доброго десятка автоматов в самую людскую гущу. Множество людей покатилось на землю, застонало. Кое-кто в смятении остановился.

— Не останавливайтесь, не стойте, пропадете все! — гремел Чабан.— Слуша-а-ай!

Такого еще не видали ни украинская луна, ни звезды. Чабан был вдохновенный, как пророк. Его уже ничего не брало. Он один уничтожил добрую половину гитлеровских автоматчиков. Когда у него кончились патроны, он бил врагов автоматом, как булавой, и убивал с одного удара. Для него словно не существовала темнота. Он видел всех и все. Он выводил людей за Десну, туда, где было зарыто оружие.

— Не отступать! Вперед, за мной!

Устилая дорогу трупами, бросились за Чабаном через кусты в лозы окруженцы. Никто не отступил, ни одна душа. Так хотелось жить. Так хотелось жить, что вода закипела в Десне, когда бросились ее переплывать люди. Прыгали с обрыва в Десну даже те, кто сроду не плавал и, не умеючи плавать, переплывали, перелезали Десну, удивляясь своей необычайной власти над водой. Только некоторые, у кого от голода не хватало силы или страсти, или кто был ранен, те не смогли

победить своего неумения плавать. Они погибли в чистой Десне, не замечая, что они тонут. Но и в последнее роковое мгновение им еще казалось, будто они летят на свободу, и радость не покидала их до самой, до самой смерти.

И только кое-где показывалась из Десны трудовая рука, как бы посылая живым свой последний привет:

— Прощайте, товарищи! Выплывайте на берег! Выплывайте, браты, да добре отомстите за Украину! Да будьте счастливы, да непременно ж будьте счастливы!.. Потопаю...

И исчезала трудовая рука в седой воде, потопала.

А Петро Чабан с братами гуляет и поныне над Десной, живой и здоровый, и сеет смерть фашистским оккупантам щедрой украинской рукой.

ВОЛЯ К ЖИЗНИ

Скажи мне, друг,— спросил я армейского хирурга Миколу Дудко,— вот ты поработал на фронте полтора почти года. Ты резал сотни людей...

— Тысячи... — спокойно поправил меня хирург.

Тысячи... Я закрыл глаза, стараясь представить себе страдания, стоны тысяч людей, тысячи вопрошающих хирурга глаз,— о, скажите, доктор, скажите!..

— Какой огромный труд! Какое напряжение чувств! — подумал я вслух.

— Привычка.

— Да?.. Возможно. Но вот, купаясь ежедневно по привычке в открытом, так сказать, котле людских страданий, что ты нашел там в человеке? В этих количествах и разнообразиях людских увечий нашел ли ты что-нибудь неведомое, новое, какую-нибудь тайну в человеке на войне? Или ты дальше своего ножа не видел и ничего не нашел?

— Нашел! — сказал мой друг и заходил по комнате, очевидно, вспоминая, а я следил за ним глазами и, признаться, завидовал ему. Я втайне преклонялся перед его профессией. Спасение человеческих жизней и облегчение страданий всегда казались мне самыми высокими и благородными доблестями человека.

— Воля! — сказал хирург, остановившись и даже стукнув своим здоровым мужицким кулаком по столу.— Человек на

войне — это воля. Есть воля — есть человек! Нет воли — нет человека! Сколько воли, столько и человека! Вот что я нашел.

...Ах как не хотелось ему падать, как не хотелось бросать автомат! Но автомат уже выпал из рук и лежал на земле. И уже нечем было его поднять. Правую руку, правда, только слегка задело минной дробью. Но левая — боже ты мой! — впсела, как окровавленная плеть, и кровь лилась фонтаном из развороченного страшного плеча.

Что делать? Закрыть кровь! Чем? Не закрывается. Течет!

Тогда разведчик Иван Кармалюк бросился бежать. Мозг его заработал с бешеным жаром.

«Побегу, думает, пока не вышла кровь. Чтоб не упасть, чтоб только не упасть, нет! Приколют, проклятые! О, проклятые, проклятые, будь вы прокляты!..

Кармалюк бежал, дрожа от яростного гнева. Казалось, попадись по дороге враг,— зубами без рук разорвал бы на месте.

Выбежав из опасной зоны, он как-то вдруг потерял зло и остановился. Остановился, затосковал и растаял, словно воск на солнце. И упал.

И показалось вдруг Ивану, что упал он, по странной случайности, не на землю, а в какую-то словно воду, и вода понесла его быстро-быстро, кружа между деревьями, облаками и селами, и вдруг принесла его домой, как в сказке. Отец, мать, дед, баба, сестры... Да все такие добрые-добрые, любящие.

— Иван... Это ты, наш Иван?

И родная хата на краю села и стежка в саду возле хаты

А по стежке бежит она, самая дорогая — Галина.

Иван, Иван вернулся?! Иваночко!

— Галю!

Кармалюк открыл глаза.

— Теряю чувство,— прошептал он и испугался.

Иван Кармалюк был обыкновенным рядовым бойцом, и особенных геройств за ним не числилось, хотя он и убил уже старательно и точно с полдесятка врагов, не считая стрельбы по фашистам. Во внешности его тоже не было ничего героического.

Был он среднего роста, стройный, сероокий юноша, родом из прекрасной Подолии. Лет ему было двадцать пять. Он был родным сыном величественной эпохи — Великой Октябрьской

революции, эпохи Великих Работ и Великой Отечественной войны.

Он был одним из многих миллионов советских юношей, у которых за день до войны все помыслы лежали в мирном труде.

Он не состязался в силе и ловкости ни на стрельбищах, ни на боксерских рингах. Он состязался там, где доблестью труда добывали себе славу — на Сельскохозяйственной выставке в Москве, на прекраснейшей и самой возвышенной выставке человеческих достоинств. Там он получил золотую медаль. Он привел туда такого фантастического быка Мыну, какой еще не снился, сколько мир стоит, ни одной корове. Он был подольский колхозный пастух.

— Теряю чувство! — сказал он тревожно и громко, словно желая разбудить себя, остановить быстротечную реку.

Стой, стой! Не сдамся!

Кармалюк подполз к дереву и крепко притиснул рану к стволу. Зажав таким образом разорванную артерию, он так сцепил зубы, и так широко открыл глаза, и так пожелал не закрывать их, что санитары, подбирая утром павших бойцов, подумали, что перед ними труп с открытыми, застывшими очами.

— Живу...— прошептал Кармалюк.

В лице его не было уже ни кровинки.

Битва гремела день и ночь.

В обитой простынями сельской хате хирург Микола Дудко работал без перерыва вот уже несколько дней.

Хата содрогалась от грохота и взрывов бомб. У хаты лежали прямо на земле три очереди раненых. Они расположились по характеру ранений — головные, полостные и прочие.

Хирург устал. Для поддержания сил и экономии времени его кормили и поили тут же, у операционного стола. Он был очень здоровый от природы, но тут уже и у него не хватало сил. Он валился с ног от усталости и заскучал. Всякое дело имеет свою скуку. Ему не нравились раненые и не нравилось как раз то, чем он всегда восхищался:

«Черт возьми! Откуда столько терпенья? Четырнадцать месяцев режу, и хоть бы тебе один закричал, начал проклинать, ненавидеть смерть, ругать ее, суку! Нет! Молчат, покорные»,— думал он устало, в тысячный раз сшивая человека из рваного кровавого тряпья.

— Следующий!

Перед хирургом лежал Кармалюк.

С тех пор как его ранили, прошло три дня. И с каждым днем ему становилось все хуже. Жар в его лишенном крови теле перевалил давно уже за сорок первый градус. Страшная газовая гангрена поразила его руку. Рука лежала рядом с ним, распухшая до огромных размеров, темная, в багрово-синих пятнах и пузырях и нестерпимо смрадная. Три дня не сводил с нее глаз Кармалюк. Он смотрел на нее, как на смертельного врага. И молчал.

Хирург великолепно лечил газовую гангрену новым своим методом, но руку Кармалюка спасти было уже нельзя.

— Поздно,— сказал он устало своему помощнику.— Придется отрезать руку.

— Режьте! Отрезайте скорее! — решительно и быстро сказал вдруг Кармалюк.

Удивленный хирург повернул голову. На него глядели широко раскрытые серые Кармалюковы глаза.

— Режьте скорее! — приказал Кармалюк и даже мотнул головой, словно отбрасывая ненужную руку.

Но не помогла Кармалюку ампутация руки. Не помогла и противогангренозная сыворотка, введенная в организм по особому методу хирурга. Проба переливания крови тоже не помогла ему. Запустевшие его кровеносные сосуды сжались и сопротивлялись уже введению крови.

Газовая гангрена не проходила. От плечевого сустава она поползла уже через надплечье к шее. Распухшее плечо представляло собой картину грозную и непереносимую.

Когда его перевезли в госпиталь, он был уже совсем без пульса.

Он был безнадежен. Жизнь покидала его. Но он не сдавался. Сознание не оставляло его ни на минуту, и ни одна душа в палате не услышала ни одного его стона. Он молчал, и вся его воля ушла на это напряженное молчаливое сопротивление смерти.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил его прибывший на обход палаты хирург и взял его за руку. Пульса почти не было.

— Ничего... Хорошо... Скажите, доктор, жить буду? — прошептал Кармалюк, всматриваясь, казалось, доктору в самую душу.

— Жить? Обязательно, а как же! — сказал хирург свою обычную спасительную ложь и, видя, что Кармалюк уже умирает, что жизни осталось ему лишь несколько минут, отошел к другому раненому, не назначив ему ни перевязки, ни каких-либо иных процедур.

Кармалюк понял, что надежда уходит от него навсегда.

— Стойте... Доктор!

Хирург Дудко смущенно огляпулся. Кармалюк прочел все его мысли.

— А перевязка уже не нужна? Га? — спросил, он, пылая в огне своей гангрены и обжигая его незабываемым взглядом.

А что сказать хирургу? Что говорить ежедневно хирургам у постелей умирающих? Что?

— Нет, нет... Будешь жить....

И пошел хирург с врачами и милосердными сестрами в перевязочную, а Кармалюк откинулся на подушку и зарыдал.

Вспомнил он свою Подолию — золотую свою страну, свои широкие безмежные поля, сады, богатые стада, и своего владыку стад Мыну, и старую Буг-реку, и Галину — дорогую свою, с которой он хотел прожить над Бугом жизнь.

— Где ты, Галю, где ты? Подивись на своего Ивана!.. Видишь, где я?

Оглянулся Кармалюк. Кругом — одни только раненые.

— Вот где я! Как далеко... умираю...

Заметался Иван Кармалюк на своем смертном ложе, забился, как подбитая птица. Не умирать, мстить врагам хотелось Кармалюку. Жить!

— Проклятые, о проклятые! Нет! Понесу я месть на вашу голову хоть в одной руке! Понесу!

Застонал Кармалюк, заскрежетал зубами и умолк.

Обойдя все палаты, хирург зашел в перевязочную и, отдав распоряжение о порядке перевязок, присел у окна в ожидании начала работы.

Утро было облачное, серое. Микола Дудко опустил голову на руки и задремал.

Вдруг сильный стук в дверь заставил его вздрогнуть. Хирург оглянулся — Кармалюк! Он стоял в дверях в одном белье, забинтованный мокрыми от крови и гноя бинтами и весь в холодном поту.

— Перевязку!.. — застонал Кармалюк и, вытянув вперед правую руку, двинулся к столу.

— Жить хочу! Давайте мне перевязку и все, что полагается!..

Кармалюк шел к операционному столу, бросаясь по комнате, как по палубе корабля в ураганном море.

Пораженный небывалым зрелищем, хирург застыл. Страшен был Кармалюк и великолепен!

— Вы думали, я уже умер? Я живой! — зашатался Кармалюк, ища опоры здоровой рукой. — Я прошу мне перевязку... Перевязку! Дайте!.. Жить хочу!.. Что же вы стоите?!

И Кармалюк упал на руки подбежавшему хирургу.

Взволнованный хирург поднял его, как мальчика, и положил на стол.

— Вы думате, нам удастся его спасти? — спросил его вбежавший ассистент, подавая хирургу инструменты.

— Он уже сам себя спас, — сказал хирург звонким голосом. — Держите... Так... Ну, держите, черт возьми! Ну!

С хирургом произошло что-то удивительное. Он весь преобразился. Он начал работать весело, с необычайной энергией, и, работая, он любовался Кармалюком.

— Ах! Вы посмотрите, какой красивый! Какая грудная клетка! А плечо какое, а?! — восхищался хирург, обрабатывая страшную Кармалюкову рану перекисью водорода и накладывая на нее асептическую повязку.

— А ноги какие! А шея! А походка какая! Вы видели, как он вошел? Стройный, как бог. Камфору!.. Кофеин!.. Так... Прекрасно... Ах, какой юноша! Вы посмотрите, какие мускулы. Как он вошел!

— Но как же он вошел? Он был лежачий больной? — удивлялась сестра.

— А что вы в этом понимаете?

— Но откуда он извлек эти силы? У него же не было пульса? — говорила другая.

— У него была воля... Держите!..

— Вы думате, он будет жить?

— Он будет жить больше нас с вами! Держите... Так... Поверьте мне, он сделал для своей жизни уже во много раз больше, чем мы делаем сейчас... Бинт!

Хируг работал с необычайным вдохновением и любовью. Никогда еще не хотелось ему так страстно спасти человеческую жизнь, как сейчас. Иван лежал перед ним в глубоком обмороке, но его могучая воля к жизни передалась врачу и наполнила его. Он забыл свою усталось, свои бессонные ночи и работал, как после чудного сна и ванны, работал легко и радостно,

и солнце, заглянувшее на минуту из-за туч в операционную, словно улыбнулось ему, как обещание счастья. Так сила сопротивления смерти умирающего умножила силу врача, и эту силу врач возвращал больному. Вливши ему еще раз противогангренозную сыворотку и пол-литра крови, он велел дать ему теплого вина и горячего чаю и долго согревать его грелками в постели. Постепенно у него начал появляться пульс, порозовели щеки, и Кармалюк открыл глаза.

В серых глазах горел еще тот же вопрос.

Все четверо — и хирург, и ассистент, и сестры — кивнули ему головами и отвернулись в волнении.

Кармалюк посмотрел на хирурга и улыбнулся.

— Вы выиграли генеральное сражение почти без всяких средств для победы, — сказал взволнованно хирург. — Благодарю вас. Вы научили меня жить. Я преклоняюсь перед благородством вашей воли.

Когда Кармалюка вынесли из операционной на койку, ему аплодировала вся палата. Раненые с гордостью смотрели на своего товарища и радостно благодарили его. Им тоже передалась уже его воля к жизни.

Подумайте, браты мои, об этом, и если с кем в бою случится — все бывает, — решайте тогда на койках победу каждый для себя. Вынимайте тогда из чудесной прадедовской шкатулки драгоценное зелье, корень жизни, и нюхайте его, и грызите, и жуйте его день и ночь — Волю!

Обязательно поможет.

ПОБЕДА

Победа! Победа! Победа!

Стойте, хлопцы! Держитесь, крепче держитесь! Бейте! Еще удар, еще удар! Вот она! Хватайте!

Победа была уже совсем близко. Еще одно последнее усилие, еще несколько минут мужества и стойкости, и весь трехдневный ураган, разбившись о несокрушимую людскую волю. повернулся бы вспять, опрокинулся и залил бы врага его собственной перекипевшей кровью.

Победа была на волоске. Она была уже видна в пылающих танках, в горах трупов, в пьяной расхристанной немецкой контратаке, в грохоте, реве и ослепительном фейерверке огромных фосфорных мин.

Подобно раненому зверю, делающему в предсмертную минуту самые неожиданные, страшные прыжки перед тем, как распластаться и околеть, подобно этому, немцы выжимали из последних сил этот шальной бросок. Даже не бросок. Их просто гнали эсэсовцы пулеметами с тыла.

Победа висела на волоске. Уже рвался волосок. Подгоняемые сзади пулеметным огнем, ринулись немцы напропалую вперед, как отчаявшиеся самоубийцы. Уже не хватало у них пороху. Уже погнали в бой аэродромную прислугу, связистов, маскировщиков. Уже кто-то остановился среди ада огня и воющего железного черепья. Уже отчаявшиеся немецкие командиры колотили себя в штабах телефонными трубками по своим

собачьим лбам, покрытым холодной испариной. Уже засуетились было они бежать.

Победа! Вот она! Стойте, хлопцы! Бейте их проклятых! Не давайте, не давайте им опомниться! Еще удар, еще удар! Хватайте победу, обнимайте, держите, щупайте ее! Вот она, красивая! Слава, и честь, и гордое воспоминание на всю жизнь!

Но кто его знает, минута ль такая несчастливая подвернулась, случай ли такой необыкновенный, другое ли что, только не вышла у нас победа, вырвалась, как жар-птица, из самых рук, улетела...

Прощай, победа!.. Так уж, видно, создан наш человек. Всем наградила его природа. И силой, и смелостью, и добротой, и благородством души, но есть у него одна наследственная болезнь — не всегда хватает у него настойчивости, помогающей довести до конца начатое дело. Нет у него культуры, расчетливости, точности. Не любит он точности. Не любит секунды, сантиметры. От неограниченных, очевидно, возможностей не всегда у него исправны часы и колесо, как говорится, не всегда круглое.

А современная война требует точности. Из всех войн она наиболее точна, наиболее математична.

Словом, не вышло. Улетела победа.

Прямым виновником всего происшедшего был комиссар полка Лука Гетман. Храбрый был человек Гетман и умный, но мягкости и доброты необычайной, и эти домашние качества чуть не погубили полк, победу и доброе имя его. Ему нужно было давно уже пристрелить хотя бы Макара Деркача и Несвяченого, а разносчика патронов Сироту перевести в хозчасть, к которой тот имел большую склонность, но он не сделал этого по доброте своей.

Одним словом, в самую роковую секунду, когда Гетман, лежа в ямке возле убитого полковника Овчаренко, собирался уже дать сигнал к решающей атаке, Макару Деркачу показалось, что у него отказал автомат.

— Пропал... — как в кошмаре заметался Макар и начал дрожащими руками ковыряться в замке автомата. Вдруг бешеная воздушная волна подхватила его и, покрутив в воздухе, бросила в воронку прямо на лежащего Сироту.

— Макар, это ты? Ай! Макар! — простонал Сирота.

— Га?

— Это конец, я больше не могу... Надо немного отступить... Ой, смотри, танки!

— Иди ты к чертовой матери! — проскрежетал Деркач и заметался по воронке. — Где мой автомат? Убью! —кричал он, как в бреду.

Сирота выскочил из воронки.

Три аэробомбы почти одновременно разорвались у него перед глазами, как раз на том месте, где лежал комиссар, и, разнося в клочья нескольких бронебойщиков, опрокинули его снова в воронку.

— Макар, комиссар убит!

Макар оглянулся. На него смотрели обезумевшие, широко раскрытые, водянистые глаза Сироты, и чумная пыль его трусости сдувалась ветром на соседей.

— Комиссар убит!.. Несвяченый! Отступаем! Комиссар убит.

Но комиссар Лука Гетман не был убит. Он не был даже ранен. С большим трудом он выполз из завалившей его земли, напряженный до величайшего предела, уже готовый к броску. Вот он раскрыл глаза, привстал и внимательно посмотрел вперед.

— Пора!.. Ну, проклятые, держитесь!

Комиссар вдруг встал, выровнялся и повернул голову вправо.

— Товарищи!.. За...

То, что увидел Гетман вправо от себя, потрясло и ошеломило его. Гордые слова замерли у него на устах. Бойцы не поднялись за ним в контратаку. Их не было вблизи. Вблизи разверзались черные воронки, а подальше небольшая кучка истощенных бессонницей и долгим невыносимым напряжением бойцов поползла уже назад, увлекая за собой все, что было живого по пути. И когда самые крепкие недоуменно поднимались из своих ям, заметив странное движение, какая-то чумная волна нестойкости захлестывала их и расходилась дальше, растлевая и давя все на своем пути.

— Куда?! Куда? Стой, безумные! Стой! — разгневался Гетман и бросился к отходящим. — Несвяченый!.. Деркач!.. Сирота!.. Назад!.. Что вы делаете?!..

Вдруг близкий взрыв опрокинул Гетмана в воронку.

Кто-то оглянулся и, видя падающего комиссара, увлек с земли еще полсотни бойцов, а те еще и еще, и не прошло минуты, как чума, вырвавшаяся на свободу, сделала свое дело.

Словно ветром погнало полк назад. Каждый взвод, увидев вдруг отступающих, бегущих соседей своих, бросался в отход с особенной безудержностью.

— Стойте! Стойте! Что это мы делаем?

— Остановитесь!.. — кричали бойцы друг другу, отступая все быстрее и быстрее, и крики их тонули в грохоте моторов и в собственном страхе, который разливался в их жилах, как отрава, пронизывая холодом кишки и расслабляя конечности. и гнал через поле, через луг, через мост. Полетел в воздух. мост. Через речку — вброд, вплавь!

— Проклятая жизнь! На чертову мать я так дорожу тобой? Куда я бегу? Чего я боюсь, будь я проклят! Стой! Остановись!

Но клятый страх уже своротил кричащему лицо назад, и бежал боец по родной земле, бежал искать отсрочки у смерти. чтобы сражаться вновь километрах в полсотне позади и, может быть, еще в ужаснейших боях, но только не сегодня.

Что увлекало его назад, что гнало его? Какая тайная сила? Какие демоны пробуждались в нем? Откуда?

Гетман метался между бегущими, ища зачинщиков бегства, чтобы покарать их за слабодушие и хлипкость, но не нашел. Они все трое были первыми уничтожены вражескими минами.

Они лежали уже на земле и зияли в небеса разорванными своими спинами.

Уже топтались по их телам зеленоватые немцы, устанавливая свои собачьи минометы.

Только главный вдохновитель бегства Сирота лежал лицом вверх, широко раскрыв стеклянные свои на выкате очи, словно удивляясь этой несправедливости, словно вопрошая всех: «Что же это такое? Я же начал отходить, а они... Братцы, не делайте этого, не слушайте меня. Победа она там, впереди...»

Словно в последнее роковое мгновение, повергаясь уже на землю, чтобы никогда не подняться, увидел Сирота улетающую жар-птицу — победу. Понял все, прозрел, но было уже поздно. Улетела жизнь, и упал Сирота на землю уже мертвый. Пропали даром и боевые труды его, и долгие лишения, и честь. Задавил его страх, приподнял, повернул спиной и вдавил в землю.

Командир артиллерийского дивизиона капитан Василь Кравчина смотрел на отступление полка, и тяжелый гнев и горечь раздирали его душу.

Какие бежали люди! Какие люди бежали!

Увлекаемый толпой жаждущих отсрочки у смерти, бежал переяславский капитан Суховий Кирилло с двумя орденами Красного Боевого Знамени.

Бежал лейтенант Вовк Микита. Двести пятьдесят немецких, румынских, итальянских, венгерских, финских и прочих трупов зарублено и припечатано на боевом счету Вовка. Бежал.

Бежал, проклиная всех и вся на свете, знаменитый истребитель танков ружейник Левко Стоян, из-под Каменец-Подольска.

Бежали, как разъяренные львы среди потока буйволов, великолепные пулеметчики Гаркавенко Петро с Полтавщины. лейтенант Орлюк, Британ Лука и Вовкотрубенки — Роман. Устим и Андрей.

Какие были люди! Всю Украину прошли с тягчайшими боями, с трудом, с гневом, с незабываемыми разлуками, профессора боев, засад и страшных нападений. Какие были люди! Бежали.

Бежал Вернигора Остап, заслуженный тракторист республики и снайпер беспощадный.

Когда провожала Вернигору мать, она говорила ему, обливаясь слезами:

— Отверни, господи, от тебя руку смерти. Буду стоять я на зорях с молитвами вечерними и утренними на восход солнца, чтобы не брала тебя ни пуля, ни сабля. Вернись живой. вернись!

Бежал.

Какие бежали люди!

Капитан Кравчина не выдержал. Что делать? Срывается победа. А тут снарядов подвезли огромное количество. Только бы сражаться. Бегут! Он видел уже спины бегущих. Уже увлекали его бегущие. Уже узнал он, что нет в живых ни командира, ни комиссара, ни командиров многих рот, что передняя линия стерта с лица земли и танков немецких показалось видимо-невидимо.

— Остановитесь, сякие-такие! — закричал Кравчина и бросился с револьвером в толпу. — Приказываю, стой! Я принимаю на себя командование! Стой!

Но никто его не слышал, ни одна душа. Он стоял один, как в пустыне, и ураганом проносился мимо него человеческий песок.

Кравчина смотрел по сторонам, и скорбь и гнев душили его. Он отступал от самой границы. От самой границы он побеждал врага в боях и отступал, отступал, отступал.

Много раз накликал он на себя смерть. Много раз ночами посылал он в небеса свои упреки, проклятия, сам не зная кому.

Ненавидя отступление, он ненавидел отступающих и себя.

Оставляя противнику села и города, он проходил, как виноватый, как обманщик, унося свой срам мимо остающихся несчастных жителей. Он отворачивался от них, когда они смотрели на него с немым упреком и страхом перед неизвестным. Как ненавидел он все это! О, кто переживет все это!

— Товарищ капитан, отходим! — подбежал к нему сержант Швец.

— Капитан Кравчина! Не пускай артиллерию! Задержи артиллерию! — кричал комиссар Гетман, подбегая к нему.

Вместе с Гетманом Кравчина бросился к своей артиллерии. Поветрие отступления уже коснулось его артиллеристов. Он это заметил сразу. Он набросился на них с громкими нечеловеческими бранными словами. Артиллеристы сбились в кучу и попятились. Он бегал перед ними, как укротитель львов, тыча каждому под нос свой маузер:

— Назад! Назад! К орудиям!

— Приказываю стать к орудиям! — кричал Лука Гетман.

Вдруг из толпы выскочил с круглыми от крайней возбужденности глазами артиллерист Устим Синичка:

— Не мучайте нас! Не мучайте народ!

— Какой народ?

— Мы, мы, мы — народ!

— Врешь! Вы не народ!

— Что?!

— Вы армия! Народ в неволе, черт вашу душу бери, нехай! Стоять! — рассердился Кравчина.

— Пустите! — закричал Синичка, содрогаясь всем своим истерзанным существом.

Тогда Кравчина ткнул Синичке маузер в самый почти рот и принял грех на свою душу.

— Нас проклянут, если мы отступим, — сказал он тоном приказа после недолгой жуткой паузы.

Бойцы ощетинились. Страх и злоба и страдания, казалось, смели с них все человеческое, воинское. Казалось, малодушие и жажда спасения вот-вот бросят их на преступление. Они смотрели на труп Синички и на своего капитана с такой ненавистью, что волосы зашевелились бы у каждого храброго человека.

Неизвестно, чем бы кончился этот неравный поединок, может быть, и не удалось бы капитану Кравчине удержать смятенных своих бойцов, может быть, переступили бы они через него, чтобы всю жизнь потом терзаться в памяти своей бесчестным и низким поступком, но в это время добрые две дюжины

двухсотпятидесятикилограммовых аэропланных бомб прижали всех к земле.

— Стоять!.. Нас проклянут, если мы отступим, — повторил Кравчина спокойно, когда минут через пять все встали. — Понятно, кто нас проклянет?

— Понятно, товарищ, капитан, — сказали бойцы, оглядываясь и видя, какие тяжелые потери от бомб понесли только что отступившие.

— Боец Левко Гненный, скажи, кто нас проклянет?

— Народ! — ответил Левко, и слезы волнения подкатились к его глазам.

— К орудиям! — приказал спокойно Кравчина.

Расчеты стали у орудий, и всем вдруг стало ясно, что отступления не будет, что началась совсем другая жизнь. Все плохое, ничтожное, мелкое и незначительное словно ушло с отступившими. Самая трудная в жизни человека грань была перейдена.

Добрую минуту стояли артиллеристы в молчании, и каждый понял до конца свое место в жизни.

Кравчина почувствовал это и понял, что началась победа и биться можно до конца.

Когда бойцы стали у орудий, и пулеметчики заняли свои места, и бронебойщики вернулись на свои бронебойные заставы, Кравчина увидел, что не только никто из бойцов не вышел из боя, но многие из отступившего полка остались при нем. Остались Иван Лобода, Яремин Никита, Ковтун Данило — черниговские товарищи, Щасный Илья и Братов Демид — оба гордые и злые бронебойщики, и много других киевских, волынских, подольских, запорожских и прочих любителей сильных сражений осталось при артиллерии. Все уже позалезали в ямы и приготовили оружие. Только отчаянные их молодые головы показывались из земли, как у разбросанных пловцов на притихшем перед ураганом море.

Василь Кравчина понимал всю исключительность положения и всю свою ответственность за их жизнь. Никто из них не думал, к какому бою готовятся они. Эти думы они поручили ему. Он быстро перестроил свою артиллерию сообразно создавшемуся положению, создал новые бронебойные точки. Мысли бешено заработали в его голове.

— Так, все хорошо, все хорошо. Ну ладно... Гетман, скажи мне...

— Да.

— Теперь ты понял, что у меня за люди?

— Да.

— Могу ли я в это безвыходное время отрезать все пути к жизни этим замечательным людям? Ты видел, как они на меня смотрели? Какие люди!

— По-моему, нельзя.

— Нельзя, нельзя, Гетман! Люди, масса, она всегда может сражаться во имя победы.

— Да.

— Но не во имя смерти.

— Да, да.

— Гетман, прощай. Беги, догоняй полк. Не добежишь. ползи, лезь, катись, но догони и верни полк.

— Да.

— Не опоздай. Помни... Уже начинается.

— Прощай! — и Гетман бросился вдогонку полку.

— Прощай!

Как непросто, как трудно сегодня в бою. Какая работа для мозга, какое сопротивление чувств!

Вынести, не потеряв рассудка, один лишь ультразвук сражений, даже без угрозы для жизни, без созерцания даже смертей — уже подвиг. Величественные и грозные силы действуют сегодня в бою.

Отбежав целых шесть километров за реку, истощенные долгим отсутствием сна, бойцы упали, как убитые, кто на чем стоял, и мгновенно уснули всем полком. Не спали только командиры. Они стояли, блестя орденами и без орденов, опустивши в землю свои преждевременно поседевшие головы. Отсутствие усов делало их внешний вид незначительным и несоответствующим жестокости событий и мужеству их жизни.

Многие были в крови.

Перед командирами стоял грозный их генерал Макар Нечипорук.

— Изменники! Так вашу так, и так, и так! Предатели! Так вашу так, и так, и так! Шпионы! Так вашу так, и так, и так! Трусы! Так вашу так, и так, и так, и так!

Низко опустили головы командиры уснувшего полка, и тяжелые вздохи порой вырывались из их молодых грудей. Печаль и уныние охватили их сердца, и слезы подступали ко многим молодым очам, и сжимались кулаки от сложных и горьких чувств. Лейтенант Вовк Микита плакал.

— Под суд отдам! Так вашу так, и так, и так! Расстреляю! Так, разтак, трижды перетак, нехай!..

Еще ниже опустились командирские головы. Все уже было согласились с речью генерала. Все потупились и сокрушенно кивали головами, как бы отвечая генералу, — верно, мол, верно, золотые слова.

Не согласился только старший лейтенант Андрий Орлюк, человек умный и образованный, но заносчивый и всегда с чем-нибудь несогласный.

Он вдруг перебил генерала и начал говорить с такой дерзостью и заносчивостью, голос у него был, несмотря на маленький рост, такой громкий и пронзительный, и слова вылетали из него, как из пулемета, с такой молниеносной быстротой, и между словами у него были такие маленькие щели, что, как генерал ни старался прорваться в них со своими словами, генеральские слова отскакивали рикошетом от этой сплошной завесы словесного огня Андрия Орлюка.

— Нет, я не согласен с такой речью,— говорил Орлюк, выступив вперед и почтительно, но гордо вытягиваясь перед генералом. — Я кандидат наук, я пошел на Великую Отечественную войну добровольно. Клянусь своими ранами, мне безразлично, когда я буду убит. Я готов умереть хоть сегодня. Сейчас, сию минуту. Но в эту величайшую трагическую годину жизни нашей Родины, когда все физические и духовные силы людей должны быть мобилизованы для победы над фашизмом, я прошу иных генеральских напутственных слов. В это высокое и грозное время я хочу просить слов высоких и вдохновенных, а не этих низменных, нездоровых и застарелых слов из арсенала прошлых войн!

Боже мой, как рассердился генерал и стоявшие за его спиной военные специалисты без усов и орденов, но строгие и знающие, казалось, все, только молчащие.

— Как ты смеешь?! Мы тебя, изменника и труса, расстреляем за такие слова!

— Стреляйте! — закричал лейтенант Орлюк. — Лучше мне умереть сейчас, лишь бы не слышать таких слов. Не было у нас культуры быта, отношений, нет и культуры войны!

— Замолчать, беглец! Предатель! Трус! — разгневался ге-генерал Макар Нечипорук.

— Нет, я не трус, товарищ генерал! Не бежал я с поля боя, увлекли меня бегущие. Что смерть? Не смерть страшна, страшна малая цена смерти. И я пришел на войну не за смертью. Я пришел за победой! А ваша речь, хотя и имеет крепкую сло-

весную основу, влечет нас, однако, не к победе, а к скорейшей смерти, как к горькому хотя бы доказательству своей непричастности к трусости и предательству.

— Замолч...

— Умереть, это еще не значит обеспечить победу! Нам нужна победа! И жизнь! Извольте правильно вести войну!

— Замолч...

— Зачем вы довели нервы полка до полного истощения? Смотрите, полк спит!

— Замолчи, растрам, трам, трам — прорвался, наконец, генерал так громко, что полк проснулся и командиры заволновались.

Тогда комиссар Лука Гетман, только что прибежавший и слышавший речь лейтенанта Орлюка, взял себе слово и сказал.

— Ой, лейтенант Орлюк, неправильные твои слова! Образованный ты человек и храбрый, иначе бы у тебя не было двух орденов Красного Знамени, и Родину ты любишь, и крови за нее пролил немало, но говоришь ты неправильно. Неправильно! И никто в мире, ни один настоящий воин не поверит, чтобы генерал Красной Армии Макар Нечипорук мог так недостойно унизить честь своих командиров. Разве можно так грубо понимать слова генерала Макара Нечипорука в буквальном смысле? Конечно, нет. Нет, лейтенант Орлюк! Эти слова надо понимать иносказательно, как военную хитрость генерала Макара Нечипорука.

— Верно, — подтвердил тихо генерал Нечипорук и сам сокрушенно покивал головой, словно желая сказать: «О времена!»

— Ведь у нашего генерала бытовой стиль, а у тебя, Орлюк, героический. Поэтому ты, Орлюк, лишен правильного понимания своего прямого начальника. Ведь этими, как бы зашифрованными внешней грубостью словами генерал Макар Нечипорук что хотел сказать? Он хотел сказать: «Дорогие мои сыночки, как я жалею, что я не молодой лейтенант, не сержант, что не могу броситься вместе с вами в атаку на проклятого врага!..»

— Верно!

«Что лета мои и высокий пост не позволяют уже мне лично гнать его, рубя и ненавидя. Сегодня я уже только посылаю вас в бой... Дети мои, гордость моя и надежда! Как много требуется сегодня от вас! Как много возложила на вас история! Отечество в опасности! Слышите?»

— Слышим! — вздохнули командиры.

Воцарилась глубокая тишина. Только издали гремели батареи Кравчины.

— Родина зовет! — воскликнул Гетман.

— Полк, вста-ать! — раздалась команда.

Но полк уже стоял, разбуженный грозными словами. Бойцы оглядывались в недоумении, припоминая бегство, как дурной сон.

Гетман ступил три шага вперед.

«Что вы сделали? Зачем вы отступили? До каких пор скорбные отцы и матери будут смотреть в уходящие ваши спины глазами, полными укора и слез? Где они? Где ваши жены, дети?! Где могилы наших товарищей героев? Попираются вражеским сапогом! Где наша многострадальная Украина? Враг завалил Украину, как обвалом. Враг хочет жить и плодиться на ней... А вы что? Побежали отсыпаться? Страшно? А противнику не страшно? Противнику еще страшнее. Он на чужой земле. Полк заснул! А почему капитан Кравчина не заснул? Почему не заснула артиллерия? Слышите? Вот она гремит бессонная! Это Кравчина гремит! Это его орлы!»

Генерал Макар Нечипорук был глубоко взволнован и растроган, слушая свою речь. Многое припомнила она ему. Многие славные дела давно минувших дней воспрянули в его памяти.

Вспоминал он свою простую героическую молодость, не отягченную ни танками, ни радиоаппаратами, ни самолетами. Вспомнил он старую войну и величественную гражданскую эпопею, рубил он врагов в пешем и конном строю. А какие были товарищи! А какой он сам был товарищ! Лета, лета...

«Конечно,— продолжал Лука Гетман генеральскую речь,— отвратительно я поступил, старый хрен, черт бы мою душу побрал, что не прислал вам во время смену, что мерил я расход ваших сил старой меркой гражданской войны.

Но что же делать? Не был я, братцы мои, за границей, не досмотрел врага, не понял, какие чертовы силы таятся в его проклятой душе. Так что же прикажете делать? Отсыпаться за речкой да балакать и ждать, пока враг задавит артиллерию, а потом насядет на нас: «Рус сдавайся!»?

— Не сдадимся! Не бывать этому, нет! — закричали командиры.

Генерал Макар Нечипорук посмотрел на командиров.

— Какие люди, какие люди! И зачем же это я ругал их. не понимаю. Да, это не то. Нет. Брань — это дело кавалерий

ское, лошадиное. А тут другое. Тут нужны другие слова. Вот как Гетман меня объясняет...

Генерал посмотрел на Гетмана.

«Какой человек! И откуда он меня так хорошо знает?»

— ...Помните, дорогие товарищи, не только Родина, не только мир, грядущие столетия скрестили на вас свои взоры!

Гетман говорил все громче и громче. Все шире и шире расправлялись у командиров плечи, разгибались шеи, поднимались юные головы, и глаза снова заблистали гордым блеском.

— Так не спасайтесь же в бою, воины! Ну его к чертовой матери это спасение! Там, где спасаются, там не побеждают. Будьте горды, братья! — сказал Гетман еще громче.

Еще шире расправились плечи у командиров и бойцов, еще выше поднялись головы. Весь полк стал неузнаваем.

«Не ждите, воюйте каждый ежечасно, ежеминутно. Ищите врага! Изобретайте! Творите победу!» — вот что хотел сказать генерал!

Генерал Макар Нечипорук не выдержал. Он бросился к Гетману и громко поцеловал его при всех в обе щеки три раза, как на пасху. Потом поцеловал всех. Все были растроганы и глубоко взволнованы. Несогласный лейтенант Орлюк не знал, куда деваться от стыда, и попросил прощения у генерала, но Нечипорук поцеловал и его за самокритику, тут же прошептав ему на ухо: — Погоди. Я тебе пропишу героический стиль.

— Братцы мои! — воскликнул он. — Одна у нас семья, одна критика, одна беда и одна величайшая в мире задача — перемолоть врага. Подождите, скоро он нас почувствует не так. Горбом и пятками почувствует! Кровью! Загнем мы ему салазки до Берлина!

— Загнем, товарищ генерал!— крикнули бойцы.

— Но правильно я сказал, вот как говорит Гетман, победа сама не приходит. Творите ее, ищите, хотите ее, и тогда она наша! Будем же биться, растак-перетак, нехай!

— Будем, будем! — загремел весь полк.

Вдруг сильная артиллерийская и автоматная стрельба заставила всех повернуться к реке. Преследуемый доброй полсотней стреляющих немцев бежал к реке зигзагами, как молния, боец. Это был Левко Гненный.

— Стой, рус! Сдавайся! — кричали немцы, стреляя из своих автоматов наперерез бегущему.

— Чертового батька! — не сдавался Гненный и, будто раненый, кубарем покатился к реке. Кинулись было немцы к Левку наперерез, тогда Левко подпустил их на достаточное рас-

стояние и, перекалечив почти половину тремя своими гранатами, бросился в воду сторч * головой, только его и видели. Тут-то и подоспели однополчане. Отогнали они выстрелами дурных немцев, недоумевая, кого же это немцы убили на том берегу, как вдруг перед самым их носом у берега вынырнул Левко Гненный, злой, как дьявол.

— Откуда? — спросил его помощник генерала Макара Нечипорука, когда Гненный, весь в синяках и кровоподтеках. мокрый и поцарапанный разными случайностями, предстал перед командирами.

— Из немецкого окружения, — сказал один военнослужащий, присутствовавший при извлечении Левка из воды.

— Никто меня не окружал, — оправдывался Левко Гненный. — В голове у вас закружилось...

— А откуда же ты?

— Я с боя... Бой не закончен. Значит, рано меня окружением упрекать.

— Говори толком, откуда ты?

— От капитана Кравчины, — сказал Гненный.

— От Кравчины? Как Кравчина? Где записка? Что передал Кравчина? — заволновались командиры.

— Курить хочу, — сказал Гненный.

— Дайте ему папиросу, бюрократы! Ну! — приказал генерал. Дали папиросу.

— Где записка?

— Нема записки. Велел передать на словах, — сказал Гненный и затянулся дымом.

— Что передать? Говори скорей! Как дела?

— Сейчас.

— Ну?

— Фрица вытянул капитан из горящего танка. Сильно был поджаренный и пьяный. Так там такое говорит...

— Что?

— А! — махнул рукой Гненный, словно не желая и вспоминать ни о фрице, ни о его проклятых словах.

— Ну рассказывай, чертов сын! Не дразни нас! — закричал один военный.— Что говорил пленный?

— Да ничего такого хорошего, сказать бы, и не говорил. Ругался все. Дураки вы, говорит. На чертову мать вы отступали? Мы уже, говорит, совсем языки высунули от вашего огня и считали себя погибшими. Резервов нет, бензину в танках нет.

* Кувырком *(укр.)*.

артиллерия ваша дух забивает. Прямо капут. Вдруг, смотрим, побежали ваши дураки...

— Изменники! — закричал Макар Нечипорук и затопал ногами.

— Да. Так капитан Кравчина и говорит тогда: «Побеги, говорит, Гненный, и, если добежишь живой, передай всем, что все они там трусы и дураки!»

— Верно! — гаркнул Нечипорук.

— А если, говорит, увидишь там генерала Нечипорука Макара, так ты, говорит, скажи и ему...

— Подожди, подожди. Довольно. Все ясно! — пустился вдруг генерал Нечипорук на тонкую военную хитрость с явным расчетом решить две тактические задачи: во-первых, чтобы никто не узнал, какую именно военную тайну велел капитан передать лично ему, генералу Нечипоруку, во-вторых, поскорее двинуться на выручку Кравчине. Но как ни старался генерал, как ни торопил его Лука Гетман, двинуться на выручку сразу не удалось. Долго еще расспрашивали Левка Гненного разные военные специалисты, долго соображали, не германский ли он шпион, подосланный, чтобы заманить весь полк в ловушку.

Но Левко не сдавался. Он уже два раза был в настоящих окружениях и знал все их опасности, но ему удавалось счастливо выбираться из них без малейших последствий, хоть и с немалыми трудами.

Поэтому на все задаваемые ему военными специалистами тончайшие вопросы касательно причин и обстоятельств его появления, он в течение многих часов отвечал на все стороны с исключительным тактом и не менее тончайшим знанием дела, а где не знал, там молчал и при этом ни разу не ошибся. Точно.

Убедившись таким образом, что шпионажа нет, полк решил немедленно идти выручать артиллерию.

Скорей, скорей! Каждый залп, доносившийся со стороны артиллерии, словно разрывался в сердцах бойцов и командиров. Все были снова в величайшей боевой готовности и ждали с нетерпением генеральского слова. Но перед самым уже генеральским словом выступил еще с краткой напутственной речью фронтовой писатель, интендант Евген Тополя.

— ...Итак, братья и сестры! Я кончаю. В это великое время, когда наш бессмертный народ проливает моря своей благородной крови за правое дело, надо биться лучше. Сейчас не время плохо воевать. Надо командовать лучше и надо лучше сражаться. Лучше надо биться, лучше!.. — крикнул писатель изо всей силы. Ему показалось в это время, что речь его вдохновила

всех и увлекла в наступление. Голос его дрожал от глубочайшего волнения.

— А как же надо биться, поучите нас! — раздался из середины полка голос знаменитого бронебойщика Устима Вовкотрубенка.

— Как биться? — воскликнул писатель. — Я не военный специалист, но я знаю, как. Надо биться, как бился Богун [1], Кривонос [2], Сагайдачный [3], Байда-Вишневецкий [4], Данило Галицкий [5]!

— Не знаем таких! Из какой части?!

— Это не из части! Это исторические герои! Когда-то в истории бились.

— А вы почем знаете, что они лучше нас? Вы их видели тогда-то? — огорчились Вовкотрубенки.

— Написано!

— А, мало что написано! Может, тогда писатели были лучше! Очень просто! Вот и написали! — загомонили бойцы и командиры.

— Товарищи, я знаю Байду! — сказал кандидат химических наук лейтенант Орлюк. — Это командир танкового полка. Действительно прекрасный командир и хороший товарищ!

— Понятно! — сказал полк...

Нет, не поблек наш род! Не перевелись и рыцари на нашей земле. Жива душа народная. Есть! Есть кому стать с Богунами, и с Байдой есть кому стать!

Кто это? Чей сын? Откуда? Неизвестно. Кем был до войны? А кто его знает? Что любил — поля, сады, мосты, заводы? Никто не ведает. В штабах не знают мелочей. Простой потомок князя Святослава [6] капитан артиллерии Василь Кравчина с Днепропетровщины. Откуда? С Киевщины. Или с Черниговщины. И чуть ли не агроном райземотдела.

— Якимаха?

— Да!

— Выходи с батареей направо вперед!

— Есть!

— В ложбину выходи, в ложбину направо! — говорил Кравчина по телефону Якимахе. — На тебя сейчас пойдет из-за бугра танковый вал. Принимай хорошо!

— Есть!

Не отступать до смерти! Передай ружейникам — я при-

казал.

— Есть!
— Шинкаренко!
— Да!
— Смотри на Якимаху. Га?.. Ко мне!
— Товарищ капитан!..
— Дегтяренко?!
— Да!
— Ну?
— Нечем дышать! Сильно накрыло!
— Га?
— Прижало сильно!
— Чем?
— Бомбами!
— Бомбами?
— Да.
— Якими бомбами?
— Важкими!
— А ты яких хочешь? Легеньких? — рассердился Кравчина. — Ты где сидишь? Где ты сидишь, я тебя спрашиваю? На войне ты сидишь или нет? Говори, где ты сидишь?
— Да на войне. А где ж, по-вашему, на стадионе «Динамо» или на свадьбе? Чтоб она трижды сгорела, трясця ее матери с такою войной!
— Замолчать! В чем дело?
— Пораненый!
— Га?
— Руки нету! Ясно?.. И ноги... И людей поранено!
— Кавуна! Кавуна швидко!.. Кавун?
— Кавун!
— Батарея Дегтяренко вышла из строя... Приказываю спешно занять его позицию.
— Есть!
— Стоять насмерть!
— Стою!

Громадной силы аэропланная бомба обрушилась с невыносимым воем почти на самую землянку капитана, разорвалась, за ней другая, третья. Завалило землянку. Капитан Кравчина выполз из нее чудом, как из могилы.

— Кавун?!

Старший сержант Иван Кавун из Запорожья не был в мирной жизни ни профессором, ни доктором, ни инженером. Не был он, как уже можно догадаться по одному его чину и фамилии, ни судьей, ни следователем, ни заведующим магазином.

Он не годился на все эти высокие посты. Но, как и всякий человек, он имел свой талант и нашел себя в нем, исполнил и прославил в нем себя и свой род Кавунов из Запорожья. Он был воин. Он был такой великий воин, что его несколько раз выгоняли из запорожского комсомола и даже батько иногда остерегался его, зная по себе, какие силы могут таиться в тихом Кавуновом роду.

Но когда перед войной Ивана взяли в армию и матери всех дивчат вздохнули наконец спокойно, вдруг получилось письмо с извещением о решении его, Ивана Кавуна, посвятить всю свою жизнь обороне Родины от ярма капитализма и сделаться Героем Советского Союза. Это известие облетело мгновенно несколько улиц, и когда старый Кавун, придя с завода, также узнал об этом решении своего сына, он сказал:

— Ну что ж, если уж, как говорится, не годится наш Иван ни к какой работе, нехай уж хоть в герои выходит, что ли.

На войне Кавун жил одним желанием убить как можно больше врагов. Это желание никогда не покидало его. Он воевал не просто по приказу, он воевал ежечасно, ежеминутно. Он был творцом войны и ее хитроумнейшим изобретателем. Иногда он вдруг стрелял из пушки без командира. Это были самые разительные по результатам выстрелы. Он, так сказать, был орудийным снайпером. Один раз он отразил сам сильную немецкую атаку, уничтожив из своей пушки три танка и добрых полторы сотни чистокровных немцев. Слава про Кавуна разнеслась далеко по всем советским странам. Уральские рабочие прислали ему на фронт новую именную пушку с надписью: «Славному воину Герою Советского Союза Ивану Кавуну Запорожскому». Иван посмотрел на пушку хозяйским глазом, похлопал ее ладонью по телу и сказал:

— Добрая пушка. Теперь пускай фрицы стерегутся...

Но как говорится, даже на солнце бывают пятна. Было пятно и на Кавуне. У него не было ненависти к немцам. Он долго это скрывал, но когда эта тайна замучила его окончательно, когда он увидел в газетах, что такое священная ненависть, он не выдержал и признался капитану:

— У меня, товарищ капитан, нету священной ненависти к немцам, как это ни странно с моей стороны как Героя Советского Союза. Но, признаться по правде, я больше ненавижу своих, когда они где-нибудь отступают. То есть, ну, прямо брал бы на картечь, такая у меня тогда неприятность. А немцы что? Немцы как немцы. Бью даже с удовольствием. Но вот когда я немцев действительно не люблю и не уважаю, так это, когда

их гонят на меня в атаку в одних трусах и пьяных. Так мне тогда противно и отвратительно смотреть на это непотребство, ну прямо выхожу из себя. Так что мне делать, товарищ капитан, проинструктируйте?

— Ничего, Иван. Бей уж, как бил. Живы будем, разберемся.

Капитан Кравчина не был теоретиком войны. Он был ее практиком, выполнителем ненависти.

Поэтому ему понятна была и ненависть к своим за глупые распоряжения, за промахи и неорганизованность.

Он не просто ненавидел немцев, как это бывает у тыловых людей. Он нередко испытывал к ним острую, злобную зависть, как голодный к сытому. Он завидовал их успехам и слаженности их боевых действий. Артиллеристов же своих он обожал.

— Кавун?

— Да!

— Стоять насмерть!

— Да слышал уже! Стою! — сказал Кавун и тут же строго повелел своей батарее точно выполнять приказ командира. — Только прошу без суеты, — прибавил от себя Кавун, когда батарея под огнем стала на новой позиции. — Когда при мне суетятся, я тогда перестаю понимать противника. Я презираю такую войну. Понятно?

— Да.

— Да не да, а точно. Понятно?

— Точно.

— От суета... Ну давайте.

И Кавун плюнул в ладонь, как добрый плотник.

Трудно найти человека, от которого можно было бы услышать такие умные слова в такое время. Другой на его месте залепетал бы уже черт знает что, видя, как с бешеной скоростью неслась из-за бугра на батарею большая колонна танков. Они грозно вздымались, как корабли на волнах, стреляя на лету из орудий и пулеметов. За ними громыхали десантные прицепы, битком набитые пьяными автоматчиками. А на самих танках сидело множество зеленоватых фрицев, цепляясь друг за друга и за что попало, как паразиты. Грохот и гром потрясали все. Вся земля, все содрогалось под тяжестью железного потока. Страшны танки в наступлении!

Но Кавуну, казалось, только этого было и надо. Давно уже мечтал он именно о такой густой танковой атаке с такой богатой начинкой.

— Давай огонь!!! — крикнул он вдруг невероятно громким грубым голосом и весь преобразился.

Задрожали Кавуновы хлопцы от этого крика, бросились к орудиям. Через мгновение ничего уже не было слышно. Было ли страшно? Какой там страх, дышать было некогда, некогда оглянуться.

Время летело на танках, летела смерть на секундах и жизнь. Все сократилось, сжалось и напряглось до крайних пределов, все бытие. Орудийные расчеты метались, как львы, в бешеном ритме.

— Снаряд! Затвор! Прицел! Огонь! Снаряд! Затвор!

Танки лопались перед ними от прямых ударов, и опрокидывались, и бурно горели с прицепами, как на страшном суде Горело железо, горела сталь и рвалась все ближе и ближе.

— Спокойствие!

Орудия прыгали, как цепные собаки, и рявкали, и выли, и метались в безумном остервенении. У первого орудия работал сам Кавун, Овчаренко, Телига, Лев Пидтыченко, у второго — Самойло Косарик, Паляничка Трофим, Гавриш Иван, у третьего — Добробаба Петро, Жук Илья, Лымар Грицко, Затуливитер Андрий, у четвертого — Бесараб Карпо, Глебов Роман, Демид Торохтий, Вдовин Иван.

Бешеный накал гнева и страсти битвы придавал бойцам такую громадную силу, что тяжелые орудия вертелись у них в руках, как игрушки. С гигантским мускульным напряжением они откатывали их, поворачивали вправо, влево, подкатывали вперед. Они были мокрые, как в бане.

— Огонь! Огонь! Огонь!..

Вдруг по какой-то радиокоманде все танки мгновенно повернули вправо и, передавив немало своих автоматчиков, устремились на батарею Сироштана.

Тогда Кавун быстро подал особую короткую команду. Ударили тогда по танкам из всех орудий картечью и, как ветром, смели с них весь десант, до одного немца. Только его и видели. Один только немец и слетел с танка живым. Потеряв разум, он бросился вперед на батарею и подбежал к Кавуну с таким бессмысленным смехом, что Кавун испугался.

— Тю, черт тебя носит! Уберите эту паскуду!

— Победа! Победа! Ур-ра! — закричали Пидтыченко, Косарик и Торохтий.

Нет, это еще не была победа. С левой стороны через излучину реки заходили уже в обход артиллерии свежие немецкие силы.

Но не удалось немцам обмануть хитрым маневром доблестных артиллеристов. Отдав приказ главным батареям перенести огонь на переправу, сам Кравчина и минометчики Лобода Иван, Драгун Петро, Глек Опанас, Цимбал, Романченко, самые отчаянные пулеметчики и бомбометатели Таран, Головацкий, Муравин Степан, Чумаков Савка, Ковтун Данило и множество других, которых нельзя уже было разглядеть на лету, все что было самого быстрого, горячего и бесстрашного при артиллерии, все мгновенно устремилось к реке. Каждый понимал, что значила здесь секунда промедления. Немцы уже были в реке.

Какая была река! Какая была река! Прекраснейшая из всех текущих рек. Та самая, которую переходили вброд веселые дивчата с граблями и вилами, с сорочками над головами и восхитительными песнями и смехом!

Какая была любимая нетронутая река! Она стала неузнаваема! Она была поругана, растлена и обезображена врагом. Вода текла в ней мутная, кровавая, с дохлой рыбой, трупами и прочими остатками страданий. Снаряды ввергались в нее и рвались на дне, и из глубоких заводей и ям выворачивались желто-белыми чревами разорванные громадные сомы, сазаны, щуки и прочая рыбная погибшая жизнь. Валились столетние тенистые деревья и падали в реку корнями вверх.

Какая была река. И грязь, и муть, и кровь в реке, и смерть.

Это была уже не река, а сток нечистот.

Летали стаи перепуганных, обезумевших птиц над боем. В воздушных волнах, как в тайфуне, их кидало от взрывов из стороны в сторону, вперед — назад, вперед — назад! Они падали от страшных ударов на землю, ища защиты у чуждых и страшных людей.

Лисицы дрожали в вонючих норах. Волки в кустах, наевшись человечины, припадали пузами к земле и волочились, пачкая ее в отчаянном проклятом волчьем страхе. От ужаса у них поотнимались ноги и желудки и закорючились хвосты под животами. Они валялись по кустам, как дохлые, и ползали, не смея даже выть, и лязгали зубами.

Волчицы плакали.

Так страшен был мир в бою.

Один лишь человек мог перенести бой.

Тут бились бессмертие со смертью.

Воздушные волны и бешеные воздушные завихрения от пролетающих и рвущихся снарядов и мин срывали людей с

земли, кружили их в воздухе, как осенние листья, и бросали на землю.

Весь воздух пришел в яростное движение, весь он, вся атмосфера звучала, ревела, выла, взрывалась, крякала и гремела тысячами громов.

Взлетали мертвые, как в дьявольских безумных снах или в горячечном бреду. Мертвые по многу раз отрывались от земли, поднимались в черном куреве и летали в фонтанах глыб и вихрях и падали на развороченный, растленный земной шар. стучась в него, куда и как попало.

Воздух горел! На бойцах загорались сорочки. Горели спины у людей. Кричали: «Ай, горю!» — и падали на землю, и крутились на ней, туша друг друга ударами ладоней.

Горела краска на орудиях, вспыхивала. И тогда, казалось, стреляли из пылающих пушек и сами загорались от попаданий термитных снарядов и сгорали мгновенно. Пахло сгоревшими телами товарищей, и кости их, дымясь, валялись под ногами друзей — только что был, ненавидел, кричал и сражался! Неправда, этого быть не могло! Нет, правда! Это было!

Семь раз выходили бойцы в соприкосновение с противником. Семь тягчайших немецких атак отбили они в дым и прах. Двадцать шесть пылающих танков возносили уже в небе грозную их славу. Трупов лежало между танками множество.

— Кавун?

— Да!

— Как дела?

— Га?.. Добрые люди. Га?.. Ну поставили насмерть, ну и стою!.. Га?.. Не дразните меня, товарищ капитан, не люблю я по телефону балакать. Га?.. Не слышу... Не чую... От суета...

Ничего уже не слышал Кавун. Из ушей у него текла кровь. Добрых полтора десятка мелких минных осколков жгли его тело и злили, как тигра. Половина батареи уже не стояла на ногах. Сильно поредели орудийные расчеты и у Сироштана, и у Якимахи, и у всех других командиров батарей, пулеметного и минометного взводов.

Немцы пошли в атаку в восьмой раз, потом в девятый, в десятый, в одиннадцатый! Одиннадцать раз почти беспрерывно бросались немцы в атаку, и одиннадцать раз отбивал их Кравчина.

Тогда немцы пошли в двенадцатую атаку, танковую.

Новые танки прибыли прямо из Франции, где они целый год ожидали вторжения англичан,— чистенькие, без единой царапины, с новыми, одетыми во все новое, молодыми тан-

кистами, со свежими пушками, десантными экипажами и порнографическими фотографиями у замков. Как бешеные собаки неслись они прямо на центр артиллерии, против самого Кравчины, уверенные в полном его истощении.

Сначала Кравчина дал по ним бешеный огонь из всех батарей и пулеметов, а потом, когда десант слетел с танков, как стая подбитых воробьев, он вдруг прекратил огонь и велел спрятаться всем у орудий, и лишь когда танки были уже совсем близко, когда разгоряченные молчанием немецкие командиры танков высунули из башен свои маленькие головы, считая себя уже победителями, он внезапно повел огонь. Немногие немецкие командиры успели спрятать свои маленькие головы. Залпы следовали один за другим с невероятной скоростью. Бронебойщики, находившиеся в щелях, в непосредственной близости между танками, ударили на выбор каждый в несколько танков.

Как же забегали по танкам синие огоньки, как загорелись танки, да как начали рваться изнутри, да как стали выскакивать из них с криком и визгом свежие фашисты! Страшно расправились с ними артиллеристы.

— Бейте, бейте, хлопцы! Не жалейте ни одной твари! — кричал Кравчина, работая у батареи раненого Якимахи, как боец. Много танков разбили и сожгли товарищи в этой атаке, множество немцев убили совсем близко перед глазами, глаза в глаза, крик в крик — никого не пожалели. Все отличились до одного человека. Каждый проливал кровь врага, и танки жарко пылали перед трупами своих хозяев, как жертвенники. Немцы были потрясены и бежали.

Вдруг на бойцов посыпалась с неба громадная лавина разноцветной бумаги.

Ядовитые листовки с сильно действующим гадким содержанием для отравления воли и разума противника буквально укрыли всю землю, орудия, бойцов и убитых товарищей.

Воцарилась гробовая тишина. Немцы попрятались в свои логовища и следили в бинокли за отравляющим действием листовок.

Листовки были свежие, изготовленные в Берлине самыми тонкими составителями ядов. Подделка правды была в них взболтана в такой пропорции искусной, тонкой лжи, хитрости, угроз и обещаний, что получилась смесь, способная свалить с ног уставшего человека.

«За что воюете, за что умираете?» Этот священный вопрос, написанный рукой врага, приобретал какой-то порочный

смысл, и, падая на бойцов с неба в сотнях тысяч своих повторений, шуршал под ногами, и, казалось, шептал со всех сторон, как сатана: «За что, за что, за что?»

Чувства бойцов взбудоражились до крайнего напряжения.

Но никто не поднял листовок, ни один боец. Все отворачивались от них, как от мерзости, недостойной человеческого взгляда. Один только капитан Кравчина поднял листовку.

— Поднимите все, — сказал он бойцам.

— Нет, не годится нам это читать. Не хотим пачкать свои руки и души в такое время,— сказали бойцы и нехотя подняли бумажки.

— А теперь, братья мои,— сказал Кравчина, когда все прочли послание врага и бросили с презрением под ноги,— пока немцы думают, что мы заняты чтением, хочу я напомнить вам, перед самым решительным и, может быть, для многих из нас последним боем, хочу и я напомнить вам,за что мы бьемся, за что умираем. Идите сюда.

Бойцы подошли к командиру.

Их было уже немного. Они стояли перед ним, мокрые от тяжести трудов и черные от дыма и запекшейся крови.

Раненые стояли, опираясь на нераненых, и смотрели на Кравчину с непередаваемой нежностью. А у кого были перебиты ноги или спины, или кто не мог уже стоять по причине головокружения или слабости, те лежали поодаль, как подбитые журавли, и вытягивали шеи, чтобы тоже послушать своего командира. Из них шел пар и поднимался вверх.

Кравчина понял, что не обычных ответов, выражаемых в денежном или земельном исчислении, ждут от него бойцы. Высокие, необыденные мысли светились на их простых лицах. Перед ним стояли участники великих событий, живая грозная история, ее авторы и кровавые ее исполнители.

— За что мы бьемся? За что умираем? — Голос Кравчины дрогнул от охватившего его глубокого волнения, и волнение передалось бойцам.— Враги наши бьются за личные богатства, за власть над нашей землей. Друзья наши сражаются за мир и лад, за преимущества благополучной и счастливой жизни своих стран и спрашивают недоуменно друг у друга в кабинетах: за что сражается украинский советский селянин? За столько ли долларов или марок, как немецкий, или нет? За столько ли гектаров, как Гитлер обещает каждому солдату? Нет, не за столько, братья! Не за это. Мы бьемся за то, чему нет цены в мире — за Советскую землю!

За Родину,— тихо вздохнули бойцы.

— А то все, за что они бьются, не стоит и одного доброго слова человека.

— Не стоит оно и плевка доброй людыны,— сказал Горобец, Кавун и Якимаха. Они стояли обнявшись, раненые, и нежно поддерживали друг друга...

— У всех у них,— сказал Кравчина с горечью,— своя звериная правда. У нас своя, народная, усыпленная веками. Шесть веков учили нас по-разному молиться, двигаться и думать. Шесть столетий грели нас разные огни, освещали нас разным светом и сталкивали нас на полях сражений под разными знаменами — австрийскими, румынскими, венгерскими, польскими...

Не все бойцы понимали слова командира. Но верили они, что это их горькая правда, верили своему капитану, и перед ними впервые раскрылся родной их мир в мрачном своем величии и драматизме.

— Но жива душа народная. Прошумели столетия, и нашу народную правду, почти что мертвую от долгого сна, подняла из могилы Партия. Собрала она наши земли воедино и сказала: «Живите! Спасибо за верность мечу и за дружбу. Не забывайте дружбу народов никогда. Вся наша сила в дружбе!» И сошлись мы, братья, за шесть столетий раз, заплакали, обнялись...

— Мы там были! Мы были во Львове! В Буковине! — закричали раненые из своих кровавых луж.

— Это мы обнимались! Мы плакали там! — загомонили бойцы.

— Да, товарищи, это были мы,— сказал Кравчина.— Это было при нас, за шесть веков впервые. Кто это забудет? Разве незабываемое можно забыть?.. Это было... Но не успели мы удивиться, всмотреться брат в брата, не успели привыкнуть к различию своих морщин и рубцов, как уже снова разорвало, разнесло нашу Украину и залило кровью. Рассек ее немецкий фашистский палач, разбросал порубанное ее тело... Вот они! — показал Кравчина на немцев, и голос его был гневен, как голос народа.— Скажите же мне, братья, можем ли мы не биться?

— Нет, будем биться насмерть! — закричали артиллеристы и хотели было бежать уже к орудиям, но Кравчина остановил их одним движением руки.

— Не на смерть, а на жизнь! За великий Советский Союз народов и за всю Украину — от Закарпатской Руси до этого поля боя!

— Огонь! — закричал, не сдержавшись, Кавун.

Не выдержали народные сердца. Обняли бойцы друг друга, как стояли, и заплакали. Только самые сильнейшие стояли без движения, как завороженные, с трудом сдерживая гордые слезы.

— Помните! — голос Кравчины звенел, как набат, и разносился далеко по полю боя до самых, казалось, немецких логовищ.— На каких бы фронтах мы сегодня не бились, куда бы ни послала нас сегодня Партия — на север, на юг, на запад, на все четыре стороны света,— мы бьемся за Советскую Украину!

— За Отечество! За победу! — крикнули Вернигора, Лымарь, Кавун, Якимаха и Шумило. Крикнула за ними и вся артиллерия и вовремя рассыпалась по местам. На нее уже летела целая стая потрепанных немецких орлов, а вдалеке на горизонте каркали в ожидании поживы убогие вороны.

Немцы пошли в атаку в тринадцатый раз.

Капитану Кравчине донесли уже с бронебойных застав о странных приготовлениях в немецком лагере. Он быстро приказал всем батареям, минометчикам и бронебойщикам быть начеку. Не нравились ему ни видимость затишья, ни листовки, ни этот минный шквал. Чувство опытного воина подсказывало ему, что подошли самые решающие минуты боя.

В смутном беспокойстве оглянулся он несколько раз, не ведет ли Гетман подмогу... Нет, не ведет. Там все еще снимали мерку с Левка Гненного, все еще спорили...

Кравчина не ошибся в тяжелых своих предположениях. Потерпев двенадцать неудач, главный немецкий начальник понял, что он погиб. Тогда он решил произвести последнюю, психическую атаку на Кравчину.

Забросав артиллеристов листовками, он приказал всем своим солдатам снять штаны и сорочки и наступать в одних трусах со смехом и с пением устрашающих песен.

Покорные немецкие обыватели стали молча раздеваться, думая в ужасе о смерти, о пенсии для семьи и проклиная втихомолку свою судьбу. Тогда, заметив уныние в поредевших рядах, главный немецкий начальник пообещал солдатам прибавить по три гектара украинской земли на голову и велел им выпить водки с веселящим снадобьем. Когда снадобье подействовало и солдаты, потеряв разум, начали весело галдеть и подхихикивать, он погнал их в атаку под рев сирен, свист и треск автоматов.

— Айн, цвай, драй, фир... Наше сердце смеется в восторге!

Айн, цвай, драй, фир...

Хи-хи-хи... Ха-ха-ха! Свись-ись!

Вот что значит маршировать, когда нас ведет Гитлер!

Гав! Гав! Гав-гав-гав!

Если бы дети увидели своих ничтожных проклятых отцов в этом непристойном позорном виде! Если бы увидели своих сыновей немецкие матери! Но не увидать уж их им больше никогда...

— Товарищ старший сержант! Уже показались! Идут без штанов и гавкают! — доложил Кавуну младший сержант Василь Неборак.

Услышав это донесение, Кавун пришел в ярость. Злоба закипела в нем с такой силой, что некоторое время он сидел в неестественно застывшей позе. Потом ярость вспыхнула в нем так, что он вскочил как ужаленный и бросился к своему именному орудию, чтоб тут же, немедленно, не теряя ни одной секунды, открыть по наступающим огонь.

Но последовавший вдруг телефонный приказ командира охладил его. Кравчина сообщил ему, что снаряды уже на исходе, а Гетмана не слышно, уже девятый час как в воду канул, и остальные связисты тоже пропали без следу.

— Видите,— сердился Кавун на своих бойцов,— говорил я вам, берегите снаряды. Вот теперь смотрите на фрицев, да чухайте себе потылицы, пока не подойдут на сто метров.

— Ничего, товарищ сержант,— сказал Левко Пидтыченко, командир второго орудия.— Раз уж есть такое запрещение, мы подождем. Пускай подходят хоть на пятьдесят... О, смотрите!.. Тысяча чертей его матери!..

Из дымовой завесы, как из небытия, показались немцы.

Бойцы припали к орудиям, пулеметам, автоматам, ко всему, что могло стрелять, взрываться, уничтожать врага, и с удивлением всматривались в свою смерть.

Она приближалась к ним, кривляясь и оскорбляя их каждым своим шагом. Но Кавуновы хлопцы видели ее уже в разных видах. Видели грозную и зловещую среди бесчисленных пожаров, проклятий и слез, видели страшную в нестерпимом грохоте и разрывах металлов, видели неумолимую и жуткую в гадючьем движении танковых гусениц, видели жалкую, раздирающую душу на речных переправах и в трясинах болот, но такую бесстыдную многие из них видели впервые.

Немцы шли полуголые, грязные, с волосатыми грудями и животами и являли собой картину жалкую, омерзительную, как вырвавшийся на волю сумасшедший дом. Они хохотали,

свистели и выли, пританцовывая, и только застывшие в ужасе глаза их выдавали тупое страдание. В животном страхе они громко воняли на ходу. Это были словно не люди, а дурной сон, приснившийся больному.

Бойцы крепко держались за оружие. Однако по мере приближения немцев у многих забегали по спине мурашки, но тут их выручил природный спутник их жизни — смех.

— Гей, немцы! Штаны потеряли! — закричал наводчик Самойло Косарик.

— Нет, не потеряли! Послали Гитлеру в Берлин на просушку! — сказал Левко Пидтыченко. Все засмеялись.

— А сорочки сняли для чего?

— А то ж на них от лая шерсть выгнало, как на собаках. Чуешь, как гавкают? Давай, давай, скорей, психи! — кричал Пидтыченко, махая рукой.

Тут уже все развеселились и стали отпускать по адресу немцев любопытные замечания:

— Ото ж она и есть психическая атака, что гавкают как псы! — сказал Овчаренко.

— Эге! — сказал Кавун.— Вот сейчас они у меня погавкают! Сейчас полетит из них собачья шерсть. Спокойствие!

Когда все умолкли и немецкое приближение стало уже нестерпимым, когда, казалось, слышно было их зловонное дыхание, Кавун подал команду.

Все задрожало. Все, что двигалось в передних рядах, было разорвано и покалечено сокрушительным огнем, однако следующие ряды не повернули вспять. Голое немецкое мещанство лезло через трупы вперед и падало грудами на мины, на пулеметы. Рыжий ефрейтор Густав Шмуцке лез напролом, как завороженный. Был ли он храбр и отважен? Он не был ни храбр, ни отважен. Он выполнял высший закон своей жизни в войне — приказ. Он сходил с ума от ужаса. Но сзади были пулеметы. А впереди — земля, гектары! Как он хотел этой земли! Как он полюбил ее! Он хотел уничтожить на ней все живущее. Целый год он колупал ее пальцами, растирал на ладони, нюхал, брал ее в рот, чмокал губами, и водянистые глаза его блестели радостным блеском.

«О, моя земля, моя, моя!..» — думал он с жадной дрожью.

Пьяный автоматчик Шмуцке упал с разбегу в яму прямо на бронебойщика Ивана Лободу.

Долго боролись они в бронебойной яме. Но Иван задушил его и набил ему полный рот украинской землей. Потом, тяжело дыша, он поднялся и посмотрел в сторону батареи.

Ее уже не было видно. С левого фланга к ней уже двигались немецкие танки с огнеметами. Огнеметы метали огонь. Все потонуло в дыму.

Напрасно вызывал Кравчина батарею Кавуна. Никто ему не ответил. Выстреляли Кавуновы хлопцы все положенные им в жизни снаряды, добре потрудились и попадали спать на вечные времена.

Смерть не поскупилась на них, не пожалела на них ни красок, ни грима, ни зияющих ран, ни жесточайших нелюдских ожогов. Каждому отпустила она пудов по двести горячих осколков, и пуль, и огненных шаров температуры высочайшей.

Никто уже не узнал бы их — ни отцы, ни матери, ни жены. Да и сами они в последний час не узнавали друг друга, так изменили их страсти смертного боя.

Все отдали. Все до последней нитки. Рассчитались с жизнью, с войной, с врагами вовсю. Не мудрили, не прятались в резервах и тылах. Не обрастали родичами на простых своих артиллерийских постах. Не выдавливали из малых своих талантов большой корысти, пренебрегали талантом, не любили выставляться напоказ ни в целом виде, ни в раненом, ни в каких доблестях, мало дорожившие своим, неуважительные, насмешливые и небрежные — Овчаренко Гнат, Телига Захарко, Иван Гавриш, Паляничка Трохим, Косарик Самойло, Пидтыченко Левко, Неборак Мусий, Глебов Роман и Андрий Затуливитер. Остальные были в кустах,— где рука, где нога, а где голова. Не написали они перед смертью торжественных записок с просьбой, если буду убит, считайте меня коммунистом, не успели. Некогда было. Какие были, такие и кончились. Кто был коммунист — коммунистом, кто беспартийный, тот тоже полег достойно.

Не было у них ни ненависти к другим народам, ни зависти. Не бывали они ни в Америках, ни в Парижах, ни в Лондонах. Не видели они союзников своих в лицо, ни их союзных жен, ни благополучных их детей. Только злобные иностранные лики жестоких врагов и видели они при жизни в атаках.

А Кавун? Где Кавун? Где хоронить его, где ставить памятник? Нет Кавуна. Взорвался Кавун от прямого попадания в грудь целого термитного снаряда. Вспыхнул за Родину, как болид, и разнесло ветрами гневный его запорожский дым над всеми народами.

Вот какие были.

Прости же им, мир, их простоватость, неуважительность, незнание истории своей и небрежение своим родным языком и недостаточную склонность к дружбе от недостатка счастья и равенства в далеком минувшем.

Но где был нужен труд и пот, посевы, жатва, косовица, борьба за скорости и высоты, за изобилие, за хлеб для всех, там они были первые и несравненные с деда-прадеда. И никогда в кровавые часы не декламировали — мы жить хотим! А плевали ворогу в лицо по мере сил своих, твердя:

— Убивайте, черт вашу душу бери! Всех не перебьете!..

Все были перебиты, все до одного.

Танки пошли на батарею Сироштана. С мучительным трудом добрался Сироштан до телефона. Кровь заливала ему лицо. Он облизывал ее, соленую, и протирал липкой рукой окровавленные, вытекшие свои глаза. Кое-как нашел телефонную трубку. Мины крякали вокруг, словно гигантские жабы — ква, ква, ква, ррр!

— Товарищ капитан. Что делать? Закидает минами!

— Га?

— Минами закидает! — плевался кровью Сироштан.

— А ты что думал? Котлетами будут тебя немцы закидывать? Или, может быть, ты думаешь, Сироштан, они тебе вареников с вишнями закинут, га? Я знаю тебя, ты любишь вкусные блюда,— пробовал Кравчина поддержать дух командира бытовыми шутками.— Сироштан, алло!.. Га?.. Стоять на месте!.

— Да! — сказал Сироштан. А стоять уже было не с чем. Не было снарядов, и расчеты ранены. Вдруг мины умолкли. На батарею шел тяжелый вражеский танк. Слепой Сироштан бросил трубку и заметался по земле в поисках приготовленных мин.

— Не вижу я мин, где они? — шептал он, шаря вокруг окровавленными руками.— Покажите, где они?

— Вот они,— сказали раненые.

Тогда, надев на себя четыре диска, Сироштан выпрямился:

— Прощайте, браты! Хай живе наша маты Украина! Хай згине тьма! — И пошел навстречу фашистскому танку.

Он был слепой, но в эту минуту ему суждено было увидеть весь мир. Он вмещался в его молодом сердце. Под ногами его содрогалась земля. Молитесь, матери, молитесь!..

На третьей батарее Мусий Загнибеда, Борщ и Остап Горобец заряжали орудие втроем. У них было уже только три неполных руки, а Данило Ковтун лежал на спине с разорванными руками и ногой закрывал затвор, выгибаясь, как змей. Недригайло работал у орудия один. Прибежал капитан Кравчина и сам стал у третьего орудия.

Танки подходили на десять метров. Земля тряслась, как в лихорадке, и орудия дрожали мелкой дрожью от близости танков и стреляли танкам в лоб, и танки опрокидывались и лопались, как яйца, и разлетались от прямых ударов и внутренних взрывов. И тогда весь раненый орудийный расчет кричал ура, скользя в своей крови и падая, кричал: «Ура, ура, ура!»

С нестерпимым воем приближалась к Кравчине бомба. Среди многих тысяч снарядов и бомб эта была отдельная, его бомба. Среди многих сотен снарядов это был отдельный, его снаряд. В одно мгновение его вой заполнил все поле боя, весь мир. И вдруг Кравчина вспомнил о своей жене. Воспоминание пронеслось в его памяти с непостижимой быстротой в каких-то миллионных долях секунды. Да, у него была жена... Он спал с ней одну-единственную ночь, роковую ночь начала войны. Он попрощался с ней наспех, неловко, и скрылся вскоре за горой в потолоченных житах, ни разу не оглянувшись. Он словно бросился переплывать море. Он долго сочинял о ней песни, менял имена в старых песнях на ее дорогое имя, долго звал ее громко и тихо в ночной тишине и среди шума и грома сражений. Но все проходит. На тяжелых ли путях отступлений, от ежедневного ли рева орудий, от трудностей, невзгод, опасностей и грубостей житейских затерялось где-то дорогое имя, уменьшилось до предела и все реже и реже всплывало в памяти, словно угасало в нем стремление к ней. Война так жестоко и грубо вцепилась в него, что ничего не осталось в нем для любви. Он пугался уже своих воспоминаний, тревога наполняла его душу и смятение. И вдруг он увидел ее, как живую, всю, близко перед глазами.

«Смерть!» — блеснула мысль. Кравчина упал, обливаясь кровью. Его падения никто не заметил. Средь дыма, и огня, и земляного праха, и солнечных просветов меж дымами, средь мертвых, рваных тел окровавленные, как мясники или старинные хирурги, раненые расчеты третьей и четвертой батарей трудились в боевой страде, хрипя, стеная и плюясь, и поворачивали свои пушки с таким нечеловеческим трудом, какой не снился никому на этом свете.

Больше тысячи врагов уложили они уже перед собой. Смерть проделывала с людьми такие невероятные вещи, что все уже забыли о ней. Каждый боец подсознательно чувствовал, что он уже победил и свободен. Это чувство освобождения от смерти, редчайшее и неповторимое, делало последние минуты их необычайных жизней удивительными. Это было творчество и восторг воинов, недоступные никому, только избранным, прямым исполнителям победы.

Но вот кончились последние снаряды. Тогда воины бросились в щели с гранатами, с минами, кто с чем мог, и неприятельские танки стали над их головами.

— Рус, сдавайся!

— Нет, не сдадимся, не просите!

— Наш фюрер дарует вам жизнь! — громко читали немецкие танкисты слова из своих дурацких книжечек.

— Мы презираем вашу жизнь!

— Долой войну! Мы хотим уже мира!

— Не будет вам мира! Не уйдете живыми!

Тогда танки начали вертеться, как отравленные псы, на одном месте. Посыпалась земля. Тяжелые гусеницы заскрежетали по стальным каскам бойцов.

— Рус, сдавайся! Союзники обманули вас!

— Сами вы мошенники!

— Вы пленные! Вы наши!

— Враги, враги мы!

— Рабы!

— Никогда! Брешете, собаки!

— Мы сидим у вас на головах!

— Брешете! Вы сидите на минах! — крикнул Недригайло и высунул из-под танка руку с миной.— Три мины! — добавил Недригайло и пояснил немцам сказанное комбинацией из трех пальцев.

Забегали у немцев мурашки по спинам. Впились они в свою дурацкую книжечку. Но не было в книжечке нужных слов.

— Рус, не бойся! — лепетали немцы.

— Не боимся! Всех перебьем, как собак! Всех! — закричал из-под гусеницы раненый Якимаха.— Думаешь, танками задавить народ? Не помогут тебе танки! Нет! Украину пожелал? Пожелал рабов на казацкой земле? Выходи, выходи рабовладелец! — закричал Якимаха и выскочил с миной из-под танка, застучал в дверь.

— Выходи, Гитлер! Слышишь?!

Неизвестно, чем бы кончилась эта неравная борьба. Может

быть, и не хватило бы благородного человеческого духа против немецкого железа, но тут вдруг ударил по немцам подоспевший на выручку полк.

Заметались немцы, загалдели на своем неприятном немецком языке. Рванулись было все танки навстречу полку, но не посчастливилось ни одному из них. Всем им дали артиллеристы горючими бутылками по горячим ахиллесовым задам. Выскочили малоголовые танкисты из запылавших танков прямо под автоматы. Из-за обоих бугров несли уже огонь капитан Суховий, Вовк Микита, Труханов Данило, Чумаков Карпо, Британ, Вовкотрубенки все трое, Орлюк, Рубаненко, Гненный Левко — словом, весь полк с Лукой Гетманом во главе.

Сам генерал Макар Нечипорук рассердился и бросил на выручку Кравчине весь полк, пообещавши в случае неудачи содрать с Луки шкуру.

Бойцы и командиры обрадовались обещанию и, грянув своему родному генералу неописуемо отчаянное ура, бросились в воду.

Шесть километров бежали бойцы, неся на себе тяжелое и легкое вооружение и сметая по дороге все немецкие преграды. Они обрушились неожиданно на психическую немецкую атаку, как ураган.

Бой продолжался недолго, не больше получаса, но был он жесток и ужасен. Бойцы еще никогда не бились с таким гневом.

Истощенные атаками и большими потерями, немцы не выдержали бурного натиска полка. Кроме того, у них перестало действовать веселящее снадобье, и солдатство, ощутив сильный страх и головную боль, а также убожество своей обнаженности, вдруг пало духом и, забыв о надбавке гектаров, попятилось, согнулось и скатилось в реку, захлебываясь и топясь целыми кучами.

— Не давайте им останавливаться, не давайте! — кричал Лука Гетман Орлюку и Вовку Миките.

Забурлила вода в реке, забрызгала червонными брызгами, расступилась, и не успели немцы оглядеться, как уже Орлюк и Вовк Микита выскочили со своими батальонами на другой берег. Под ногами была родная украинская земля. Но некогда было приветствовать ее ни гордыми криками, ни слезами радости. Некогда было ни упасть на колени, ни целовать ее долгожданную, ни крикнуть ей дорогие слова, которые каждый пронес в сердце своем через все бои, огни, труды, лишения.

— Здравствуй, маты Украина, здравствуй!

Некогда было. Родная земля содрогалась от взрывов снарядов и бомб. Уже вкатывались в бой новые вражеские силы. Две дивизии отборных немецких войск навалились с ходу на полк Гетмана, и начался невиданный по страсти удара бой.

Какие бились люди! Словно целые столетия несокрушимого упорства и боевых щедрот раскрылись вдруг в Вернигорах, Трухановых, Вовках и Гненных. Родная земля их отцов и дедов умножила их гнев и силу боевых дерзаний. Они словно вросли в землю, и, когда немцы были совсем уже близко, они поднялись, как один, и пошли в атаку против самой середины грозного немецкого вала.

Рыжеголовый молодой немецкий генерал, прославленный своим бесстрашием и крайней жестокостью, пришел в ярость от этого удара. Он быстро велел зажать полк в железные тиски и уничтожить впрах, чтобы замучить и добить потом раненых, контуженных или схваченных руками. Для этой цели он имел даже специальных особых немцев, видевших наслаждение в человеческих страданиях. Это были мастера смерти, опытные изобретатели жутких увечий и пыток, перед которыми бледнели даже средние века.

Гетман понял маневр рыжеголового, но уже не было ни времени, ни возможностей от него уклониться, и он пошел на невозможное.

— Вперед! Только вперед! Дорожите каждой секундой! — кричал он командирам.— Пробивайтесь вперед и наседайте ему с правого фланга на потылицу!

Никто уже, казалось, не слышал приказа Луки Гетмана. Но, повинуясь ли инстинкту победы, или вдохновению военного своего таланта, или просто решив пролить свою кровь на родной земле за самую дорогую цену, бойцы сделали невозможное. Они пробили немецкий вал с быстротой, неслыханной в битвах, и, выскочив в тыл противника, появились вдруг перед самым штабом рыжеголового.

Это нарушение правил войны так поразило бесстрашного генерала, так грубо попутало все его параграфы и планы, и так напугало его, что он еле выскочил из штаба и помчался к первой своей дивизии. Но, как говорится, одна беда не приходит — уже отступала дивизия. Уже не было штаба в сосновой роще. Не у кого было спросить о происшедшем. Уже пятились из густых кустарников целые подразделения, и откуда-то с юго-запада с левого фланга, почти с тыла, надвигался орудийный ураган.

— Остановитесь! Хальт! — завыл генерал, побелев от ярости. Ему показалось на мгновение, что он сошел с ума, что мир сместился в его сознании и летит в пропасть.— Откуда огонь? Это фальшь! Хальт, мерзавцы! Хальт!

Никто не слушал бесстрашного генерала.

— Катюши! Катюши! Спасайтесь! Тод!!!

Обезумевшие солдаты бежали, прикрывая головы руками, как от извержения вулкана. Некоторые падали с разгону и лихорадочно ввинчивались в песок, крутясь, как змеи.

Вдруг леденящий душу гул потряс помутневший воздух. Огромные огненные струи приближались с молниеносной быстротой. Вспыхнула воздушная мгла, взметнулись сверкающие вихри, запылали, заклубились дымом. Не стало ни зарослей, ни дивизии, ни бесстрашного рыжеголового генерала. Все обуглилось и потонуло в черном дыму. Закуривал трубку генерал Макар Нечипорук.

Долго присматривался Нечипорук, долго примерялся, соображал, пока не навел его на мысль этот удивительный Кравчина.

— Храбрый-то храбрый у меня Кравчина, но и разумный же, чертов сын. Знал, где не отступить. Вот это воин! — сказал он своему штабу.— А ну, давай!

И, совершив быстрый рейд почти в тыл рыжеголовому, он обрушил внезапно свой тяжелый огненный кулак на самое немецкое темя и как раз вовремя. Множество немцев было перебито, много забрано в плен.

Как величали бойцы артиллеристов, этого рассказать невозможно. Они были ранены все, кроме Недригайло и Лободы, которым от этого было даже неловко, и они божились на все стороны, что им так на роду написано, по словам ворожек. Все им поверили. Все были так счастливы, что забыли о своих ранах. Товарищи бережно несли их на плечах и на руках на вершину холма, которую они завоевали.

Они восседали и возлежали на горячих мокрых плечах своих боевых братьев и на многочисленные приветливые их улыбки и вопросы отвечали достойно и скромно.

— А что, очень наседали на вас немцы?

— Да, добре наседали, черт бы насел на их маму, нехай!

— Трудно было?

— Да было и трудно.

— А много вы их тут набили?

— Да набили, как стерва. Гляньте, всюду валяются. Богато набили. Дайте покурить.

— Нате, курите на здоровье.

Пленных не трогали. Одного только пленного и хотел было тронуть Недригайло. Не застрелить и не повесить, а только тронуть. Сей военнопленный немец был низенький, двугорбый рахитик, как-то почти совсем без туловища, одни ноги, голова и горбы. Это так оскорбило Недригайло, что он затрясся весь от приступа ярости, обиды и еще чего-то необъяснимого, требовавшего себе немедленного ответа.

— А, сволочь проклятая! С горбами воевать пришел, разтаку твою мать, нехай! — закричал Недригайло, и слезы выступили у него на глазах.— Как ты смел сюда с горбами лезть?.. Товарищи, с кем мы воюем? С горбами! Убью!..

И Недригайло, сжав кулаки, бросился к горбатому.

— Да не пачкай себе рук,— остановил его снайпер Опанас Топчий.— Ты же воин. Пачкал бы я себе руку о такое паскудство.

— Нет, нет! Пускай хоть раз ударит по сучку. Посмотрим, как он себе пальцы обломает! — смеялись автоматчики.

— Брось, Петро!..

Тогда Недригайло плюнул и, подойдя к горбатому, выразил весь свой гнев особыми словами, подкрепив их такой грозной мимикой и топаньем ног, что горбатый оккупант подпрыгнул от ужаса и так заверещал, что все засмеялись, в том числе и сам Недригайло.

— Я вам покажу горбы, чертовы немцы! — кричал Недригайло под общий веселый смех товарищей.

Товарищи сидели после боя, удивленные и нежные, и нежно называли друг друга на вы и гладили друг друга по голове и по плечам, как в детстве после укуса пчелы или другой какой-либо обиды. Некоторые тут же падали и мгновенно засыпали, проваливаясь в сон, и, казалось, во сне еще доигрывали свою страшную игру, жестикулируя и содрогаясь, и глубоко припрятанное страдание вырывалось из их сонных грудей глухими стонами и полыхало на лицах, подобно зарницам не совсем отгремевшей грозы.

Вдруг дикий бешеный вой огласил чуть притихший воздух. На безоружных пленных немцев бросилась другая группа проходящих пленных. Это были пленные румыны. В первый раз за всю войну увидели они своих союзников и хозяев в равном положении. Затрепетали румыны. Словно пораженные безумием, бросились они на немцев, и началось побоище.

В одно мгновение вся небольшая лощина, в которой помещались пленные немцы, превратилась в дикую кучу, мерзкую

и недостойную описания. Пленные рвали, давили, кусались, резались перочинными ножами и проваливали друг другу черепа и носы булыжниками. Это была карикатура, омерзительная, уродливая гримаса, злобный шарж войны. Румыны побеждали. Они били немцев, жестикулируя и объясняя бойцам, что оно и к чему...

— Да перестаньте биться, не раздражайте нервов! — закричал трижды раненный Левко Гненный и завернул такое пышное ругательство, что изложить его в письменном виде отважился бы только великий писатель, да и то в нетрезвом виде, после чего Гненный пустил еще автоматную очередь над головами пленников, и только тогда они поняли истинное положение и успокоились.

Капитан Кравчина открыл глаза. Первое, что он увидел, было небо, как раз такое, какое он любил,— голубое с нежными кучерявыми хмариночками, домашнее.

А перед небом совсем близко — яблони в яблоках, груши и сливы и много-много пчел, которых он тоже любил. Они весело и быстро летали во всех направлениях и так приятно гудели — гуу... А еще ближе были мать и батько и сестры, которых он тоже любил, и они любили и баловали его. Он лежал в саду, возле старой клуни, в старом дедовском челне и слегка раскачивал челн, как большую люльку.

Пахло яблоками, гнилыми грушами, вощиной и медом, и батьковым старым тулупом. Прозрачная детская легкость во всем теле и тихая, уютная радость охватили его, и лодка поплыла по саду между яблонями, ульями, к самой смородине, тихо покачиваясь и кружась.

«Как хорошо»,— подумал Василь Кравчина и повернул голову.

— Ай!..

Острая боль пронзила вдруг его тело.

— Товарищ капитан, вы слышите, вы узнаете нас? — тихо, почти шепотом, спрашивали его артиллеристы, стараясь вложить в свои голоса, как можно больше нежности.— Победа, товарищ капитан, победа. Победили мы,— шептали они, склоняясь над ним.— Это все вы, товарищ капитан. Мы всё теперь поняли. Спасибо, спасибо за счастье.

Капитан Кравчина узнал всех — Якимаху, Гненного, Гловацкого, Романченка, Лободу и многих других. Они стояли вокруг него, все в красивых, чистых бинтах, и были все красивые, как на картине. А у кого, кроме головы, были побиты руки, те держали их перед ним, как большие свечи.

А некоторые держали свои сильно забинтованные раненые руки на груди, как новорожденных детей, осторожно поддерживая их здоровыми рабочими руками.

— Гетмана,— прошептал Кравчина тихо, словно боясь, чтоб не улетело мгновение.— Где Гетман?

Лука Гетман и Макар Нечипорук опустились на землю.

— Мы здесь. Спасибо тебе и прости нас, Кравчина,— сказали они, еле сдерживая слезы. Кравчина понял, что он умирает.

— Победа есть?

— Да.

— Где мы?

— На Украине.

— Прощаю. Всё прощаю,— сказал Кравчина. Потом он посмотрел на бойцов и улыбнулся.— Счастливый путь, товарищи. Спасибо. Останетесь живы, расскажите что-нибудь и про меня...

— Всё расскажем, всё до единого слова,— тихо прогудели бойцы.

— Брешете, забудете... Как и забывали всех...

— Не забудем...

— Ну спасибо. Положите меня лицом на запад... Нет, поставьте меня...

Когда его поставили, он глянул с высокого холма на дымный запад, на Украину, и вытянулся.

— Здравствуй, родная моя Украина-маты! Примы своего сына...

Кравчина притих. Что-то еще хотел он сказать. Но бледный холод уже сковал его губы. Высокое счастье и терпкая скорбь уже угасали в глазах. Жизнь покидала его.

И чтоб не забыли:

— Кравчиною звали меня, мамо! Капитаном Кравчиною!..— хотелось крикнуть ему в последнее мгновение, но он только уже прошептал эти слова и вдруг всхлипнул, как мальчик, и умер.

Постояв еще немного мертвый, он как-то нехотя, медленно опустился и лег на родную растерзанную землю.

Проходила на запад артиллерия генерала Макара Нечипорука. Пылал горизонт впереди, и несмолкаемый могучий гул орудий волновал надеждой миллионы исстрадавшихся сердец.

Многого не знал Кравчина в жизни. Не знал ни языков, ни заграницы и тоже не видел союзников в лицо. Видел лишь подернутые ужасом и злобой обличья врагов.

Многого и не умел он как будто. Не умел, как говорится, ни купить, ни продать, ни скрывать свои юные чувства, ни улыбаться всем и всегда очаровательной, холодной, дежурной улыбкой.

Был он суровый юноша, крепкий и сухой, как доброе зерно в недоброе время.

Но знал он, что не все продается на свете. Что есть в мире вещи драгоценнее самых лихих драгоценных камней — это Родина, народ и победа.

Пошли же судьба надежду и силу терпения невольникам и невольницам страшного двадцатого века!

Пошли гнев и ненависть, и гордость защитникам и освободителям нашей Родины!

И разнесите, времена, славу внуку князя Святослава, капитану артиллерии Василю Кравчине и его товарищам, поименованным в сем протоколе современника.

Пройдет тысяча, две, три тысячи лет. Пусть же все человечество знает, и пусть знают все Кравчины, все Гетманы и все, какие только будут жить, Нещадименки, Горобцы, Сироштаны, Борщи, Вернигоры, Телиги и Недригайленки,— пусть все знают, как умирали за Родину их далекие молодые прадеды в тысяча девятьсот сорок втором году.

Как оно будет умирать там человечество, кто его знает. Умрет, как заслужит. Но так умирать, как умер капитан Красной Армии Василь Кравчина, пошли судьба всякому доброму человеку.

Он умер стоя, в объятиях ее величества Победы.

[НЕДОЛЯ]

Еще когда провожали его на войну, верная жена говорила ему:

— Милый мой, как бы ни было тебе тяжело,— перенеси все. Как бы ты ни был изранен, искалечен,— не кручинься, вернись только живым!

— Отверни господи от тебя руку смерти,— говорила ему мать.— Буду стоять я на зорях с крестами и молитвами старыми всесильными, чтобы не брала тебя ни пуля, ни сабля, ни огонь, ни вода. Знайся, сынок, с храбрыми, бейся, сынок, с проклятыми, побеждай с завзятыми. Летаї, сынок, за облаками, возвращайся с громами.

А отец говорил:

— Возвращайся, сынок, пешком, да когда по селу будешь идти, правой рукой шапочку сними...

...А когда он диктовал родным письмо, горько-прегорько заплакал, приговаривал, чтобы не мешкали да поскорее ехали всем родом, ибо стал он очень славным и богатым.

— Вот мои богатства, дорогие тато и мамо! Вот слава моя, милая женушка! Богат я стал ранениями да страданиями,— сказал он своему роду необычным голосом, когда нашел его род в госпитале большого города безруким — свои руки он отморозил, лежа на поле боя без ног.

Не приняли его ни жена, ни отец, ни мать. Почему ж меня не убили? Почему тебя не убили? Зачем я кому нужен? Зачем ты кому нужен?..

Попрощались, поклонились ему до земли и, обливаясь неутешными слезами, понесли свою беду-кручину, головы не поднимая. А он остался по ту сторону света. Смерть не улыбнулась ему. Она прошла, не посмотрев на него своим неумолимым оком. Она лишь походя прикоснулась к нему, чтоб не забыл он ее никогда — ни на минуту, чтоб звал ее в отчаянье и горе и искал голодными глазами, чтоб стремился к ней всем своим молодым существом, как богатый душой юноша, которого судьба поразила любовью к неумолимой бессердечной красавице. И зовет он ее, и заклинает, и просит все отдать за одно лишь прикосновение, а ее нет и нет.

— Где ты, смерть? Где ты, моя красавица, ласточка моя? Пожалей меня хоть во сне. Где ты, моя чаровница с длинной косой? Приди. Я упал, чтобы не встать. Я лежу у ног твоих! Где ты?

— Не умоляй — не вернется. Гуляет с другими. Остались мы с тобой, ее сестры.

— Кто вы?

— Я милосердие,— сказала одна. Другая сказала:— А я — недоля.

НЕИЗВЕСТНЫЙ

Как же меня звали? Ну как же это меня звали? Тут, на берегу, у самой дороги, было же написано мое имя, такое простое украинское имя, карандашом на куске фанеры, к столбику прибитом. Да кто-то сломал и кинул на дорогу. Как жалко мне, что теперь уже никто меня и не вспомянет, никто не узнает, что это я спас тут свой батальон. Моя работа. Такой я был горячий и любезный человек. Ах, как же это меня звали? Так жалко мне. Может, новому мосту дали бы плотники мое имя. Может, веселые дивчата, проходя тем мостом с песнями, сложили бы песню и про меня.

Иль сиротина затужила бы на мосту, увидев могилу своего отца, что спас батальон в мировую войну.

ФЕДОРЧЕНКО

Федорченко звали меня, товарищи, Федорченко. Был я капитаном в начале мировой войны, и нельзя было, никак нельзя было мне отступать, такой я был гордый. Где я ни встречался с врагом, я побеждал его, потому что храбрее был и воевал я лучше. Да на флангах у меня, говорили, бегут: и справа бегут и слева. И я сгорал, отходя, от гнева и отчаянья. И стыд палил меня огнем и пригибал к земле, вот какой я был гордый. Федорченко звали меня, капитан Федорченко, что не мог уже больше по Украине брести на восток и под Каховкой, пулемет в руки взявши и связку гранат, пошел один по смерть назад в поле, чтоб не видела бесталанная вдова Украина затылка моего... Вперед, вперед, Федорченко!.. И я убил их, встретив целый полк один, сотен три, а то и четыреста, и сам упал на трупы открыто и умер от двадцати, а может, и более ран. Бился я часа четыре, был полон горьким счастьем боя в край. Всю свою жизнь, весь жар, весь гнев, любовь, надежды — все, что я в сердце нес своем, все расстрелял, все, что имел, до нитки. Федорченко звали меня, товарищи, капитан Федорченко Иван.

МАТЬ

Не ради слез и горькой скорби и не во имя гневного проклятия — фашизм и так уже проклят всем миром,— а ради славы нашего рода и во имя любви написано про эту высокую смерть.

И хоть много суждено нам незабываемых утрат, хоть легче было очам прочесть об отрадном в трудах и грохоте сражений,— прочитаем о Марии Стоян.

Кто среди вражеских трупов бежит по селу, а село догорает?

Кто стонет? Чье сердце трепещет в груди, словно выпрыгнуть хочет вперед?

То Василь с автоматом и бомбами, Марии Стоянихи сын.

Кто мертвый висит возле печи под небом?

Мать.

Бежит Василь, весь промокший от долгого боя, бежит взволнованный, тревожный.

Как он сражался перед родным селом! Разведчиком был, громил точки, разнес гранатой дзот, что был когда-то дядьковой хатой. Дрогнул враг, погнали.

Пробежал Василий все село, все то, что было недавно селом. Две сотни пожарищ, сожженные сады, черепье, ямы и множество застывшего врага в грязи и крови.

— Мамо, где вы? Это я, Василь, живой! Ивана убили, мамо, а я живой... Я убил их, мамо, сотни две... Где вы?

Подбежал Василь ко двору. Здесь был двор под самой горой.

Мамо, матушка моя, где вы? Родная моя, что ж не встречаете меня? Что не слышу я вашего тихого голоса? Где вы, голубка, мамонька моя седая?

Остановился Василь у хаты, а хаты нет. Василь во двор — нет двора. В сад — нет сада. Только одна старая груша, а на груше мать.

О, смутный час!..

Когда она была еще жива и хата была цела на краю села, зимой, в лютую пургу, однажды в полночь кто-то постучался в дверь.

— Кто здесь?

— Тетушка, пустите, погибаем!

— Кто вы, голубчики? Откуда вы, какие?

— Мы русские, тетушка. Свои мы. Летчики! Упали мы.

— Господи, сыночки! Идите скорей. Я дверь закрою... Не увидал бы кто? Немцев же полно.

Вошли обнявшись в хату двое калек. Упали на пол, заснули, словно провалившись в сон, и проспали больше суток. Думала, померли.

Уже и ноги обмывала им горячей водой и печку натопила, разогревала раза три еду — спят. И плакала ночью и днем, вспоминая сыновей своих Ивана и Василия. Кто их накормит, кто пригреет в лихую годину? Где они? Может, лежат уже где-то среди снежного поля, и метели шевелят их буйные чубы или висят на виселицах в фашистской неволе и вороны клюют им очи на морозе. И никто не взглянет, не спросит, не заплачет!.. Такое множество смертей вокруг. Дети, дети...

Степан Пшеницын и Костя Рябов были оба с Урала. Они принадлежали к той породе русского юношества, которая долгие годы будет предметом изучения и глубочайшего удивления историков великой человеческой драмы. Заросшие, опаленные холодными ветрами и невзгодами жизни, они грозно стонали во сне, тяжело дыша. Война волновала их спящие души, война... Они были простые уральские юноши, в меру грамотные, честные, работящие комсомольцы из хороших рабочих семей. К войне они не стремились, но, по доброму русскому обычаю, не плакали и не прятались от нее. Они пошли

на фронт добровольцами, чтобы скорее добраться до врага и уничтожить его.

Летчиками они стали быстро и так же просто и легко, как могли бы стать подводниками или снайперами. Природа наделила их всем в доброй мере. И сами они были добрыми.

— Сначала, матушка, мы долго гатили фрицев тяжелыми бомбами, а потом перешли на культурно-просветительную работу. Не хотелось нам, правда, да надо — приказ.

— А что ж это за работа такая? — спросила Стояниха, когда вечером как-то тихонько разговорились они в темной хате.

— Разбрасывали над Украиной листовки, матушка,— сказал Пшеницын.— Чтоб знали люди правду о войне.

— Так это вы?.. Ох, великое дело делаете, голубчики мои,— вздохнула Стояниха.— Великое дело — добрая весть в неволе. Такая тьма кругом, так забили головы людям лукавыми фашистскими брехнями, что жить невмоготу. Порой казалось — все уже кончено, подумайте...

И тут впервые, слушая простые материнские слова на обездоленной братской земле, почувствовали Рябов и Пшеницын, какая великая миссия им выпала в жизни.

В бедной старенькой хате, в сумерках, под завывание метели и грозный гул отдаленного фронта узнали они, как переписывали люди эти листовки от руки, как заучивали на память каждое слово и передавали из села в село, чтоб не погасла вера. Слова правды горели во тьме, как пожары в холодные долгие ночи. Тысячи людей, утративших веру, опутанных обманами в неволе, спасли листовки от поступков отчаянных и ужасных.

Долго сидели в раздумье Пшеницын и Рябов. Потом они рассказали Стоянихе, как упали, подбитые ночью, среди леса, как поломали себе руки и ребра и головы побили, как бежали они на восток лесами, ярами, как скрывались от врагов в провальях, сугробах, оврагах и, рассказывая, сами дивились необычайной своей силе и воле к жизни.

— Где ж это было, голубчики? — спросила Стояниха, горестно всплеснув руками.

— Далеко. Километров пятьсот.

— Давно?

— Да больше месяца. Уж и кости посрастались.

И показали они матери страшные свои увечья и шрамы.

— Ой спасите!..

— Ничего, родная. На живой кости нарастает. Мы такие люди, что все перенесем. Нам бы немножко еще полежать да

набраться силы, а там проберемся через фронт хоть под снегом,— утешали старую Марию Стояниху неугомонные дети.

— Ну что с вами сделаешь? Вот такие и мои...

Две недели прятала Мария гостей. Стерегла хату, кормила, когда все вышло, пошла по селу просить милостыню. И никто не отказывал ей и не спрашивал ни о чем, хотя каждый про себя догадывался: не пошла ж бы Стояниха просить для себя.

Но не судилось Марии уберечь детей. Однажды утром вдруг забушевал орудийный гул. Приближался фронт. В село вползали новые потрепанные части. Мария глянула и — в хату.

— Деточки! Идут!

Немцы на пороге.

— Что за люди?

— Сыны мои.

— Брешешь!

— Не брешу, клянусь!

— Обыскать хату!

— Не трогайте, они больные. Поломанные... Боже!

— Хальт! Ваша мать?

— Наша,— сказал Рябов.

— Врешь, комиссар! — Да за оружие.

Стала мать перед детьми. Обоих закрыла.

— Не дам! Бейте меня... Не дам, людоеды!.. Голубчики! Не волчица ж вас родила, а женщина, мать!.. Мои сыны!

— Зачем прятала?

— Боялась. Вы такие страшные! Ничего ведь нет на свете страшнее вас!

— Ха! Правда? Ты имеешь резон, старушка. Страшнее нет и быть не должно! — засмеялся сучий сын.

Через два часа фашисты согнали на площадь все село на очную ставку.

Поставили Пшеницына и Рябова перед народом! Глянули они на людей. Ни одного знакомого лица.

— Прощай, Урал...— прошептал Пшеницын, взглянув на друга.

— Прощай...

— Люди добрые, смотрите — вот же Иван и Василь! Разве не узнали? — билась Стояниха, словно чайка, об дорогу.— Скажите, что мои! Что ж вы молчите? Пожалейте, разве вам не жалко? Людоньки!..

Люди плакали и, не боясь угроз, признали. Даже староста и полицейские не посмели сказать «нет».

Одна только Палажка, вдова убитого партизанами начальника полиции, зловеще молчала.

— Палажка, скажи — сыны! Не то прокляну тебя на том и на этом свете,— шептала Мария Стояниха.— Помни, бог тебя спросит, Палазя...

Палажка молчала.

— Фрау Палажка, есть это сыны? — спросил немецкий комендант.

Все замерли и не сводили глаз с Палажки. Стало тихо-тихо.

Комендант побагровел. Толстая его шея раздулась, как у кобры. Он догадался про сговор.

— Ну?

— Сыны,— сказала Палажка и опустила глаза.

Тогда он ударил ее изо всей силы в правую и левую щеку. Она упала на землю, как сноп, не успев даже крикнуть, а он вдруг к летчикам.

— Ваша фамилия?

— Ой! — застонала Мария, словно ранили ее в самое сердце. Она не сказала им своей фамилии, а они не спросили ее по глупой своей невнимательности и небрежности.

Свалившись наземь от удара в темя, она не скоро поднялась. Но она слышала, будто сквозь сон, как звали ее Пшеницын и Рябов.

— Прощайте, матушка! Спасибо! С такой матерью и умереть не страшно!

Раздались выстрелы...

Они лежали на снегу обнявшись. А ее взяли под руки и повели, избивая по дороге чем попало. Разнесли гранатами хату и повели к груше. Закружилась перед глазами груша.

— Не вешайте, не срамите меня. Как же мне висеть? Я старая женщина. Дайте мне пулю, одну только пулечку, молю вас, умоляю!..

Не дали. Тогда она быстренько стала на пенечек, и перекрестилась.

— Не трогайте, недолюдки. Не прикасайтесь к моей шее... Сама надела.

— Дети!.. — и отделилась от земли.

Долго лежал Василь на снегу под грушей. Никто не слышал ни стонов его, ни жалоб, ни скрежета зубов. Под утро, когда от мороза окаменело его сердце и грозный орудийный

гул возвестил зорю, Василь притих, словно уснув от огромной усталости. Потом, поднявшись с земли, он поцеловал холодную материнскую руку.

— Прощайте, мамо... Всю свою доброту и кротость, что подарили вы мне, я оставлю с вами возле груши, мамо.

Потом он подошел к пожарищу, поднял горсть пепла и завернул в платочек.

— Вот это, мамо, я заберу с собой, чтоб не уставали ни ноги, ни руки, ни сердце.

Проходили дорогой на запад боевые отряды.

— Боец Стоян!

— Иду!

— Что за женщина висит?

— Мать.

— Мать?

— Мать, товарищи, родная моя мать...

— Рота, сто-о-ой! Шапки долой! Вперед, ма-а-арш!

Перед нею проходило войско без шапок. Величали дети материнство, направляясь в бой. Гремели орудия. Солнце снега червонило. От пушечного грома осыпался иней, и сверкающие снежинки падали с груши на материнские раскрытые очи.

Кто ж не поклонится неумирающей красоте Марии Стоянихи, матери, что просила милостыню для детей чужих? Смотрите, вот она висит перед нами, возносится над родной, замерзшей землей. Руки ее маленькие и нежные, с длинными красивыми пальцами, те самые трудовые руки, что так много сотворили хлеба, и пряжи, и семян, протянулись ладонями чуть вперед.

— Нет уже, деточки, ничего. Все отдала, будьте счастливы!

Вся ее маленькая фигурка словно летела в холодной синеве, и седая голова ее, склонившаяся набок, касалась предвесенних туч.

Вечная слава вашему имени, мамо Мария!

Не было у вас дорогих одеяний, не душились вы парижскими духами, а душились полынью да коноплей. Не было ни шелков, ни кованых сундуков с медными замками, чтоб бежать на восток страха ради.

Не разъезжали вы по свету, по заграницам. Вам было некогда. Вы, как пчелка, были заняты и от росы до росы носили

мед в советский улей, пока не отняли у вас жизнь фашистские изверги.

Но заграница еще приедет к вам, приедет поглядеть на вашу печь под небом, на сухую гвоздику от дурного глаза в печурке, на памятник ваш. Весь мир поклонится вашей красоте, дорогая наша мать, славянка — украинка дорогая.

Были вы коммунисткой или нет? Был ли у вас партийный билет? Наверное, не было. Но зерно, посеянное великим сеятелем Лениным, взошло и выросло в сердце вашем.

Пусть же знает мир, как висели вы, мамо, на старой груше за други своя в украинском кровавом селе на Украине кровавой.

ТРИЗНА

Стой, Лукьян! Берегись!

Не потакай горячему своему сердцу!

То не батько и не мать глядят на тебя из окна!

То вражьи пулеметы в твоей хате, и уже бегут к нам враги!

Они уже целятся в тебя, Лукьян!

Забирай влево эскадрон, влево принимай через соседний огород!

— За Украину!

Ах, Лукьян!..

Словно не на сельской площади в бою, а в сказке или в песне двенадцать пуль впились Лукьяну Бесарабу в грудь, тринадцатая — коню. Так и шарахнулись они оба на молодую траву и с ними товарищей добрых десятка два. Лукьян еще перевернулся раза четыре, выпустил саблю и сразу захрапел, как после доброго вина с музыкой, бубнами и молодецким танцем.

Курились кони, как догоравшие костры. Лилась на зеленое красная кровь. Крякали мины, и кони ползали, визжа и рвя подпруги, ломая хребты израненным и мертвым хозяевам своим. Неслись проклятья, хрип и стон, и рев аэропланов и высочайший тонкий визг погибающей конской души.

Бурей пронесся эскадрон на запад. Команду принял военный комиссар Пантелеймон Труба. Слетел с коня бомбомета-

тель Вернигора Трофим. Связкой гранат поднял на воздух Лукьянову хату вместе с немцами. Бой покатился дальше за село.

Развеяло весенним ветром пыль и дым, и среди пепелища и окоченевших вражьих трупов как-будто выросла из-под земли большая печь с разбитой трубой и побелела вся, точно застигнутая врасплох немолодая уже голая вдова. Удивленная и обиженная, она смотрела на мир своими темными унылыми печурками, где когда-то в детстве Лукьян сушил онучи.

Возле голой печи невероятно близко расцветали вишни. Из-под раскиданных грязных обломков, из черного погреба, вылезли на свет трое замученных долгой темью людей — Лукьянов батько, мать и маленький сын его Михайлик.

Весеннее солнце ослепило их сразу. Они подняли головы к солнцу в сторону печи и заплакали от счастья.

— Пошли вам, боже, счастья и здоровья, деточки наши, освободители,— плакала взволнованная до глубины души старая Татьяна Бесарабиха, обращаясь к бойцам.— Чую, что идете вы, а не вижу, ослепла от темноты. Не видела без вас тут ни весны, ни великой воды весенней. Зайдите же в хату, отдохните немножко,— показывала она в сторону разбитой хаты.

Бойцы пробегали или пролетали на разгоряченных конях мимо, не обращая внимания на Татьянины просьбы. Они еще не вышли из боя. Глаза их смотрели еще далеко вперед и горели лютым огнем. Все они еще были в том исступленном состоянии готовности ежесекундно убить врага или пасть мертвыми, когда человек еще не совсем в себе.

Но радость победы начала понемногу прояснять человеческие лица. Бойцы уже здоровались с народом и помогали вылезать из погребов и ям.

— Здравствуйте, мамаша! Ну как же вы тут? Живы?

— Здравствуйте! Христос воскрес! Спасители вы наши...

Из темных погребов и ям, из-под разрушенных печей выползали землистого цвета, черные, плохо одетые люди. Долго сидели они в погребах, в земле, долго жили по ту сторону дозволенного людскими законами.

Много видели они такого запрещенного для человеческих глаз, что не забудут уже и потомки в веках. Невыразимая печать ужаса, и скорби, и того, что лежит за гранью негодования и отчаяния, упала на них, запечатлелась и долго-долго не исчезнет уже, как проклятье судьбы, до самой их смерти.

Много благородного труда, много ласки, добра и доброго

согласия нужно вспомнить, найти и перенести в жизнь, чтобы как-то залечить душевные увечья и раны людей.

Люди оглядывались среди своих пожарищ, ища глазами хаты, и протирали очи, как во сне.

— Доброго здоровья! Что не радостно встречаете? — крикнул в толпу веселый конник Семен Щербина. У Семена была разбита голова и левую руку снова пробило ему, как он говорил, на старом месте, но он был уже перевязан и не переставал радовать мир своим присутствием.

— Здорово, дивчина! Чего приуныла?

У разбитой хаты под вербой стояла молча женщина одна. Не кинулась она со слезами радости к братьям. Не приветствовала спасителей. Она горестно смотрела на них, и на измученном худом нездоровом ее лице лежала печать чего-то такого, что не выскажешь никакими словами.

Это была опустошенная, замученная душа в растленном теле.

— С весной, дивчина! Что не рада стоишь?

— Нет у меня радости. Я горем полна... Пошли вам, боже, счастья,— сказала она и отвернулась.

А чуть подальше печальной кучкой стояли опозоренные девчатки, лет по четырнадцать, и тихо плакали, прижавшись друг к дружке.

Навстречу бежала пожилая женщина, Мотря Хуторная, и, заломивши руки, жалобно тужила:

— А, боже мой, боже мой! А, спасите меня, людоньки, спасите!

— Что такое, тетка? — спрашивали бойцы, остановившись.

— Дочку забрали. Повели. А зятя убили!

— Кто?

— Ваши.

— А кто ж такой зять?

— Немец.

— Немец?! — удивились бойцы и все, как один, засмеялись.— Как немец? Какой немец?

— Солдат проклятый. Да такой был, деточки мои, на все село! Все умел делать, за что ни возьмется. А колбас бывало как начинит каждый день, ну где он их только и брал! Как убили ваши, вот он лежит, а дочку забрали и повели. Уже кто-то доказал. Посоветуйте мне, сыночки мои, ну что мне делать? Где-то ж и мои сынки у вас, аж трое!

— Э, тетя, так вы, значит, немецкая теща, изменница Родины!

— Что говорите?

— Изменница вы!

— Эге ж... А четвертый, Омелько, бежал с немцами... Ой горенько мне...

— Чего ж он бежал, дурень?

— Боялся. Говорил, расстреляете. Сказывали немцы, будто у вас вышел такой закон...

— Какой закон?

— Что будто стреляете всех, кто не мог быстро тикать и отстал от вас. А он был на ноги плох, так насилу прилез домой через две, может, недели, как вы удрали. А тут уже немцы. Так он тогда в камору да давай горилку пить. Пьет бывало день и ночь, как гусак воду, да все ругается, да матерится, да проклинает все на свете. Пропал, говорит, я мамо! Так оно, может, и правда... и зять пропал, колбасник...

Бойцы рассмеялись. Даже соседи стали смеяться. Никто не хотел плакать.

Людям хотелось жить. Хотелось забыть о страшном по великому закону жизни и несокрушимой силе своего характера хлеборобов, привыкших тысячелетиями к сеянью и жизнеутверждению во всем, что может жить и расти.

Не догорели еще пожары, а люди бросились уже работать. Уже копались в огородах. Женщины доставали из припрятанных узелков разные семена и со страстью сажали их в землю. Какие-то семена мочили в воде, причитая шепотом полузабытые молитвы и заклинания на добрый урожай.

Убирали с поля боя павших всадников. И, подбирая, люди распознали Лукьяна.

Не обомлела Лукьянова мать, услышав про смерть своего сына. Не разорвал на себе одежду батько героя старый Демид Бесараб, не закричал на все село, не проклял мир.

Только быстро как-то подошли они оба к своему сыну и упали перед ним на колени. С невыразимой нежностью прикрывала мать раны на мертвом его челе и на груди восковой своей рукой и, наклонившись над дорогим лицом, обмывала его горькими слезами и жалобно тужила извечную материнскую тугу: «Ой синку мій, синочку, смутку мій...»

А батько посмотрел на людей, развел руками, бледный и тихий от горя, и, торжественно усмехнувшись, лучше б он заплакал, попросил дорогих гостей перенести молодого хозяина в хату.

Взяли тогда бойцы своего командира на руки и понесли его к родной печи, а соседи повели за ним мать. И так, обой-

дя вокруг пожарища и родной печи, через вишневый цветущий сад понесли его товарищи к братской могиле и похоронили рядом с убитой немцами молодой его женой.

Долго читал на могиле речь политрук Галай, однако почти никто внимательно не слушал. Старые не слушали от горя и скорби, молодые ж бойцы глядели с горы на весенние просторы, на небо, на вишни в цвету и, вдыхая запах цветов и тлена земли, думали свои молодецкие думы.

А маленький Михайлик, угадавший первым среди трупов молодого своего батька, забыл и сам все на свете: в большом его кармане лежал холодный отцовский парабеллум. Михайлик держал его за шероховатую колодку и чувствовал себя таким могучим и грозным, что перед ним дрожали все немцы, а он их расстреливал, расстреливал, расстреливал... Из-за проклятых немцев он так и не заметил похорон отца и потом уже заплакал, когда засыпали могилу.

За рекою ревели орудия.

Прошло два дня в печали и слезах. На третий день на проводы на Фоминой неделе Демид с Татьяной явились в штаб и пригласили Лукьяновых бойцов выполнить с ними поминальный чин.

На кладбище собралось все село. Народу было небогато. Главная часть общества лежала в свежих могилах, преимущественно в братских, целыми семьями, родами, улицами.

И тут только впервые, собравшись среди мертвых, почувствовали живые всю глубину пропасти немецких злодеяний.

— Садитесь, гости дорогие,— сказали Демид и Татьяна, когда политрук привел на поминки пятнадцать славных русских, украинских и казахских хлопцев.

Постлавши скатерти в один ряд, народы сели на траву.

Когда бойцы поналивали всем горилки, Демид и себе взял чарку. Много мыслей просилось на свет, в люди, но чарка дрожала в руке и жалобно хлюпала, словно не водка была в ней, а слезы.

— Будьте здоровы, дорогое человечество!..— голос Демида дрожал. Он обвел глазами всех живых и мертвых, волнуясь от непривычки к речам.— Вечная память всем, кто принял труд и страх сражения или горький срам виселицы от руки супостата. А нам всем желаю выполнить свою жизнь трудами и согласием и не убивать брата своего. Оно и простому глазу видно уже, как мало нашего, сказать бы, роду осталось в живых... Кушайте на здоровье...

Сразу же стали и кушать.

После долгих страданий и горя, опустошающих человека, натуры людские пробуждались к жизни с особенной силой.

Люди много ели. Испокон веков так уже ведется, что хорошие яства и напитки на могилах приобретают какой-то особенный вкус. Жизнь тогда прочно царит и властвует над небытием. Тут словно попирается сама смерть борщом, товчениками, сметаной и прочим печеным и вареным. Так ничего этого не было на обеде. Обобрали немцы село до нитки *.

---

* В сохранившихся русских вариантах рассказа отсутствует большой эпизод с коровой Манькой. Мы приводим его по тексту «Литературной России» в переводе Б. Бродовского:

Ели корову Маньку, и разговор начался воспоминаниями об этой славной коровушке.

...Перед войной на сельскохозяйственную выставку послали Маньку. Очень не хотела она ехать по скромности своей, как и надлежало тихой украинской корове. Упиралась, не желала входить в вагон.

— Не хочу, не поеду. Му-му... и не просите и не тащите меня!

Даже убежала было из вагона перед самым отходом поезда.

На выставке насмотрелась Манька много дива, не замечая, что сама была одним из наилучших див. Когда корову водили по дорожкам среди цветов гулять, тысячи людей смотрели на нее, приветливо улыбаясь.

— Как зовут?

— Манька.

— Манька? Так это она? Гляньте, Манька, Манька идет! Та самая, чптали?

— Как — она? Откуда?

— Му-у!

— Ну и красавица!

А каких бугаев насмотрелась Манька... Когда их приводили на длинных цепях, каждый окидывал ее таким опытным глазом, что она не знала, куда и отворачиваться.

Возвратилась Манька из Москвы совсем другой. Она была уже не простой, а заслуженной. Уже ни один пастух не мог крикнуть на нее: «А куда ты, чтоб ты сдохла пускай! Куда ты, нечистая сила?!»

Правда, у Маньки сразу появились недоброжелатели. Большей частью это были плохонькие коровы, дававшие мало молока, да и то жидкого, от никчемности своей породы. И почему-то так получалось: чем меньше и ленивее была коровенка, тем больше мычала она на Маньку, черт знает что. Председатель колхоза и заведующий фермами даже начали было верить коровьим поклепам и коситься на Маньку за гордость. Но за Маньку был весь народ, и факт — молоко лилось из нее, как из чистой криницы вода.

— Ну и что же? Так у нее ж харчи какие?! А ну дайте нам такие же харчи! Дайте, ну дайте хоть на неделю, мы вам покажем. Дайте!!

Дали. Поставили этих коровенок в специальные кошары, дали им и кормов и пойла вволю. Но ничего не вышло. Молока все равно не прибавилось. Лишь кошары долго очищали от кизяков.

Вначале беседа протекала не очень живо, но понемногу неловкость улеглась, утихла горечь от созерцания грозных могил. Все, что было положено в жизни выплакать, было выплакано, и люди тихо погрузились в воспоминания о павших.

По доброму обычаю, убитых вспоминали преимущественно со стороны их талантов и способностей: кто чем был славен в кузнечном или тракторном деле, кто отличался в пчеловодстве, плотничестве, кто на лугу с косой или с бригадой в поле.

А когда немного подпили, начали говорить о веселом: кто из покойников чем был смешон, кто немцев обидно и крепко ругал перед смертью.

Людям хотелось смеяться или хотя бы улыбаться — так долго не смеялись. С особенной теплотой вспоминали о смерти колхозного пасечника Данилы Годуна, у которого пчелы закусали насмерть трех немецких солдат.

Сам Гитлер, проезжая, остановился возле Даниловой виселицы и пожелал узнать, о чем думает в последний смертный миг этот седой славянин.

— Я думаю,— сказал Данило Годун, надевая петлю на шею, — что плохи ваши дела, раз уж вы боитесь таких, как я. Дело ваше проиграно.

— Как же оно проиграно, если я стою уже на твоей оккупированной территории,— говорит Гитлер.

— Глупости. Покрутишься да и побежишь, как собака.

— Не побегу.

— Побежишь,— говорит Данило.— Есть у меня еще одна примета насчет тебя, но не скажу.

— Скажи,— говорит Гитлер.— Скажи мне ту примету. Я дарую тебе жизнь и осыплю тебя золотом.

— Это у нас от нервности. Дайте нам еще две недели. Мы еще не раскачались!

Не дали. На том и закончилась склока.

Манька успокоилась. Все добрые женщины ее любили. Все приходили к ней, гладили ее, называли нежными своими человеческими именами, желали ей доброго здоровья, а старенькие бабуси даже втихомолку крестили ее и что-то там нашептывали, отгоняя от Маньки нечистую силу.

А когда в село ворвались враги и уничтожили многих людей и всех до одной коров, одну только Маньку и удалось сохранить. Ее спрятали в силосную башню и кормили тайком, как царевну в сказке, чтобы не увидели враги. И они действительно ее не заметили. Даже придурковатая Христя, что вышла за немца, и та не выдала. Увы, Манька не дождалась вольной жизни. Перед самым освобождением из неволи в силосную башню угодил снаряд, убивший корову.

— Иди, хай тебя болячками обсыплет,— сказал Данило.— Иди, не заслоняй мне села, глупак.

Так и не сказал. Долго что-то там делали ему немцы, ну не сказал. Так и умер, не сказавши. Вот какой был человек. «Иди,— говорит,— не заслоняй». Вот такая наша слава.

Весело шутили, вспоминая старого Сафрона Паляничку. Во время боя Сафрон вылез было с ведром и кропилом на крышу.

— Как только пуля или осколок в крышу, так он сейчас кропилом, кропилом, чтоб не загорелось,— рассказывал старый Андрон Завалий.

— Ты подумай!

— Эге. Вдруг большой бризантный снаряд как ударит в крышу! Смотрю, летит Сафронова свитка, а самого Сафрона нема. Неизвестно, куда и девался.

— Покропил чертового батька.

— А как же. Да еще молитвы шептал. Ну зато крыши умел крыть.

— Эге,— сказал пожилой человек, Лев Камчатый.— Уже было как выкладет кому, прямо не крыша, подсолнечник.

— О, великий мастер был, царство небесное. Хотя начальство страх как не любил. Все было гудит, как шершень.

— Ну как же ему было и не гудеть, вы подумайте,— сказал Лев.— Он же был кровельщик?

— Ну, кровельщик.

— А хат крыть нечем уже двенадцать лет. Куда ни повернись — ободраны хаты, тошно смотреть. А солома в скирдах молотилками побита. Вот он и сердился по специальности.

— Эге. Все бывало кричит: «Загадили государство драными крышами!»

— Ну, ничего. Крыши поправим... Будьте здоровы! — сказал Ефим Галай, поднявши чарку, с явным желанием переменить тему разговора.

— На здоровье... Эге. Куда говорит, ни глянь, везде стоят ободранные села, как сироты немытые.

— Какие сироты? — насторожился Галай, который во всяком спорном разговоре о действительности видел не обычное желание лучшего, а статью контрреволюции.

— Какие сироты? Кто вам сказал? Признавайтесь, кто вам сказал?

— Я вам говорю.

— А разве неправда? — сказала Олена Годунова, оглядываясь на свое пожарище.— Уже как крыша было драная, так

и стен мазать не хочется, все равно дождь обмоет. А уж если мазать не хочется, так и свет не мил, и одеваться не хочется.

— Да, крыша, говорил Сафрон, царство небесное, великое дело, чтоб вы знали. От драной, бывало говорит, крыши да разгороженного двора великая неаккуратность пошла по государству и большие убытки,— сказал Лев.

— Глупости! — возмутился Галай.

— Вам глупости, а людям противно. А кому уже не противно, тот, значит, сам уже вроде как бы поглупел,— сказал спокойно Лев, даже не глянув на Галая.— Я так думаю, вот начнем отстраиваться, так нужно будет написать правительству, чтоб издало специальный декрет про солому, если уж и этим приходится ему заниматься.— Дядько Лев обмакнул небольшой кусок хлеба в консервную банку и начал медленно жевать. Все притихли и смотрели Льву в рот, ожидая декрета.

— Приказываю всем колхозам,— сказал Лев и вытер усы ребром ладони,— ежегодно столько-то и столько-то урожая молотить цепами в околот, по-старому, чтоб была солома не только для промфинплана или скота, а и для людей, для аккуратности души. А которое село по лености или по дурости не захочет быть опрятным, тех начальников тянуть к суровой ответственности под суд, как врагов народа и дурней, вот!

Все засмеялись. Было действительно весело от такого удачного закона. Смеялись даже бойцы из далеких казахских земель, плохо понимавшие украинский язык.

Только одинокая Мотря Хуторная стояла на горе на крутом берегу и молча рвала на себе седые волосы. Она раскидывала вырванные клочья по ветру, словно хотела забросать ими весь свет. Она сошла с ума.

— Ишь убивается немецкая теща,— сказал Завалий, заметивши Мотрю,— теперь будет рвать на себе волосы, пока и жива будет.

Политрук стал доказывать, что Мотря и Христя изменницы Родины, но это как-то не доходило вполне до сознания людей.

— Да какая там она изменница? Глупая она была с малых лет,— сказал немолодой уже седой человек Грицко Глевкий.— Я еще ее дивчиной помню. Так бывало, поверите, только и знала, что смеяться да петь. Одним словом, несамостоятельная. Ну, правда, работящая была. Так вот и дочка, как вся фамилия. А отечества, сказать бы, они не понимают. Живут, как мужики, одним словом.

— Так что ж, по-вашему, не изменница она Родины? — добивался Ефим Галай.

— Так кто ж ее знает? Разве я знаю? Конечно, раз уже есть запрещение такое, так нужно было себя как-то соблюдать.

— Теперь насоблюдают,— сказал слепой Дмитро Горобец.— Пораспускались так, что смотреть противно. Когда-то оно не так было. Когда-то было не то что немец, свой парубок, и то сколько времени гуляет, пока не пришлет сватов, га?

— Пострелял бы я таких всех до ноги! — рассердился один горячий боец.

— Глупости вы говорите. И ты, Дмитро, и вы товарищ,— сказал неожиданно Демид Бесараб. Все обернулись к Демиду и притихли. Всех почему-то поразил его голос. С самого начала обеда он сидел молчаливый и задумчивый, глядя на людей, на могилы, на широкий торжественный простор и на весеннее небо. Он знал всю историю Христиного замужества. Он сам же и посоветовал ей не отказывать немцу, когда она, перепуганная, в слезах, прибежала к нему тайком за советом. Три брата в армии, да еще про одного слух пошел, что великий Герой Советского Союза на весь мир. Попробуй отказать — смерть. Отказалась невестка, Лукьянова жена,— убили! Горе, горе! В лихой неволе и красота — горе...

— Слишком легкий ты стал на стрельбу, я вижу,— сказал Демид, обращаясь к бойцу.— Нужно было сразу крепче стрелять по врагу, когда война начиналась, а не бросать народ на произвол судьбы. А сейчас нужно думать не про стрельбу. Стрельбы и разорения посеяли немцы у нас и так немало,— кивнул Демид головой в сторону могил. — Будем бедными и разоренными, — сказал Демид, словно не был он уже ни бедным, ни разоренным. — Теперь особенно нужно уважать друг друга и держаться коллектива, иначе пропадем, поверьте мне.

— А ваша ведь невестка отказалась? — возразил горячий молодец.

— Характер был твердый, вечная память. А твердости, я так полагаю, можно требовать от многих, да нельзя от всех... Думала разве Христя про такое, работая с нами в колхозе? Крепила оборону, как и мы все. Где же оно видано в нашем роде, чтоб дивчина пошла на такое? Значит, что-то тут да есть? Политика ихняя, вот что, а не замужество! Обкрутить, разделить да править недобитыми. Изучили, идолы, наш дурной характер: нас ведь хоть хлебом не корми, только дай не простить один одному да что-нибудь там доказать... Вот и вы-

ходит — врагу свадьба, а нам самогубство... Мотря! А ну иди сюда, будет тебе рвать волосы! — окликнул вдруг Демид Мотрю.

Все обернулись в сторону Мотри, проходившей кручей вдоль могил.

— Расскажи людям добрым про свою измену.

Мотря не слышала Демида. Она уже не замечала людей. Она шла мимо, глядя вверх, и, протягивая руки к пролетающим птицам, приговаривала: «Ой пташечки, голубоньки, візьміть мене на крилонька понесіть мене до батенька...»

Аисты в тревоге кружились над селом, принесли счастье из далекого края, да некуда было его положить.

Женщины узнавали своих аистов и плакали, словно на кобзах играли.

— Бідна моя пташиночко, ой нігде ж тобі сістоньки, нема в тебе кубелечка, нема вже і в нас. Куди ж ти тепер щастя понесеш?

— Да не плачьте. Назад не понесе, десь та притулить,— говорили чоловіки.

Все притихли и призадумались.

— Ну будет,— сказал вдруг Демид, словно пробудившись от глубокой задумчивости.— Что было, того не вернешь. Надо жить. Скажи, Михайлик, батьковым товарищам, что ты будешь делать, когда вырастешь? — спросил Демид подошедшего к нему Михайлика.

— Я буду расстреливать немцев, буду жечь их хаты,— ответил Михайлик, очевидно, хорошо обдумав свои житейские планы.

— Ну подумайте! Так же нельзя говорить. Ты ж еще маленький,— сказала старая Татьяна.— Ой боже мой. Попортили детей. Только и разговору, что убить да повесить. Нужно ж как-то забывать про злое, лихое. На добро надо направлять. а ты вот такое,— обратилась она укоризненно к Демиду.

— Какое теперь наше добро? Теперь наше добро — война да месть. Вот наше добро. Да чтоб злым был с малолетства к врагу,— рассердился Демид.— Чтоб не бежал от врага, чтоб сразу злился! Не слушай бабы, Михайлик. Надо биться, хлопчик, надо людей защищать... Наше добро это смелость, чтоб умирать за свой народ не боялся, как твой батько Лукьян. Признаюсь вам,— Демид Бесараб обвел весь круг своими старыми задумчивыми глазами,— день и ночь я думал про Лукьяна, как он там, где он, что он? Жив или нет? Стоял под виселицей, думал. Копал немецкие блиндажи, думал. Крутил колючую проволоку против Лукьяна, думал. Сидел в по-

гребе месяцами, думал, разве не правда, стара! И вот нет Лукьяна. Упал перед самым окном.— Старый Демид показал на развалины, и голос его задрожал такой глубокой скорбью и нерастраченной нежностью, что старая Бесарабиха не выдержала и тихо начала вытирать слезы.

— Признаюсь вам, и жалко мне как-будто и не жалко. Честно вам говорю. Такое великое время и так много вас гибнет... Святое дело воин в бою. Дай боже каждому доброму человеку умереть так, как наш сын, а ваш командир Лукьян...

— Да что ты говоришь? — тихо перебила его старая Бесарабиха.— Чтоб всех перебили, что ли?

— А, много вы, бабы, понимаете? Надо биться, хлопчику,— обратился Демид к внуку, с каким-то особенным светлым выражением. Михайлик еще никогда не видел деда таким. Своей хрустальной детской душой он чувствовал, что дед говорит ему что-то очень важное для всей его жизни.

— Раз уже тебя ударено, бей его десять раз. Сожгут тебе хату, а ты им улицу сожги, чтоб знали, как жечь! Вот так-то! — Демид взял Михайлика за рукав и подвел к себе.

— Будешь жечь?

— Буду, диду,— сказал Михайлик и вынул из кармана немецкую зажигалку.

— Поцелуй деду руку, что будешь?

Михайлик поцеловал дедову руку, как когда-то целовали присягая. Потом он вытащил из кармана отцовский немецкий револьвер и украдкой показал деду.

— Ах ты, сукин сын,— удивился Демид,— где ты взял?

— Демид, ну что ты делаешь? Уже и сам, как маленький. Вы посмотрите!

— Бей их, Михайлик, чтоб отцовское имя не забылось. На тебе за это чарку.

— Демид!

— Помолчи, стара! Пей, Михайлик. На батьковской могиле не грех выпить и малому.

Михайлик взял чарку и вдруг испугался. Все смотрели на него. Тогда он оглянулся в сторону своих ровесников, стоявших в отдалении на могилах. Дети смотрели на Михайлика с таким напряженным интересом, словно у него в руках была не чарка, а граната, которую он должен был бросить впервые.

— Пей, Мишко! — крикнули ему двое хлопчиков, у которых тоже было кое-что в карманах.

Тогда Михайлик хватил чарку и долго не мог закрыть обожженного рта.

— Ты посмотри! Вот это будет вояка!

— О, добрый будет воин! — сказали бойцы.

— Какой там воин! Учить его надо. В школу,— сказала бабка.

— А, не слушай бабы, Михайлик. Я тебя сам буду учить, чтобы знал, что к чему... На, закуси...

Дед обнял Михайлика своей большой жилистой рукой.

— Гости мои дорогие,— сказал он проникновенно и торжественно, обращаясь к бойцам.— Не знаю я, может, и недолго уже жить осталось после всего, что было. Может, тоска по Лукьяну еще придет и приберет меня, так об одном прошу вас, сынки: если кто останется жить, если кто будет пить чарку на победном великом пиру, скажите, что Лукьянов батько Бесараб просил...

— Ну, Демид, разве ж можно такое про себя говорить? Совсем упился старый,— перебила Бесарабиха.

— Ничего. Говорите, все передадим! — сказали бойцы достойно и твердо, и каждый почувствовал себя за будущим великим столом, где соберутся они со всех фронтов, и груди их будут сиять золотыми звездами.

— Так скажите ему, что Лукьянов батько сожалеет о малых летах своего внука, а то и его бы послал,— сказал Демид, и к старым очам откуда-то из глубины понесенных трудов и мудрых лет подвернулись на миг две крупные, крепкие, как огонь, слезы, но отхлынули назад, потонули.

— Добре, батько, уж если останется кто в живых, так непременно передадим! — ответили бойцы, подавшись на коленях к Демиду, и держа перед устами чарки с горилкой.

— Пусть же исполнится ваше желание, будьте здоровы! — сказал Демид.

— Будьте здоровы, родной наш отец! — сказали бойцы хором на всех языках и закинули свои молодые головы в небо. Потом они крякнули разом, обмакнули хлеб в растопленное сало и отправили его во рты, а губы вытерли краями ладоней, а ладони потом — об траву.

Долго поминали Лукьяна, и по мере воспоминаний исчезала куда-то жалость к нему, заслоняясь славными его живыми делами.

Люди вспоминали Лукьяна как доброго косаря, который, укосивши много травы, лег заснуть.

О немецких фашистах не говорили совсем, как о чем-то мерзком, недостойном упоминания за столом. Называли их «они», вроде нечистых, не в доме будь сказано.

А кричащие свежие могилы зияли вокруг, словно раны земли, и прикрывали страдание удивительного народа среди живой зелени весны.

— Пошли ж вам судьба счастья, сыночки мои,— сказала Татьяна, обращаясь к бойцам с убогой чарочкой в трепетной материнской руке... — Здоровья да согласия, да благослови, господи, на новое село. Чтоб было оно еще краше старого. Чтоб жила в добре земля наша радянськая и чтоб расцвела, как после дождя и грома, как молодая мать после болезни. Пошли ж ей здоровья, а нам силы в руки и ноги, кто жив остался, выполнить закон и долг перед миром...

Все выпили. А казахи встали и поклонились матери украинке до земли. Они сказали ей по-своему что-то такое дорогое, такие дорогие слова, что слезы выступили на их молодых очах, и все поняли их и прониклись к ним любовью, как к самым дорогим своим малым детям.

Было в этой тризне на могиле, на окровавленной земле, где только что пронесся ураган необычайной силы, на высокой горе, с которой виднелись далекие дымы и зарева пылающих пожаров, было в этом всем что-то величественное. Был бег времен и торжественный покой.

Бессмертие народа ощущалось тут на могилах, в непрерывной смене людских поколений. Тут сидела и лежала, казалось, сама история. На присыпанных свежей землей утратах, среди низеньких холмиков далеких седых прадедов, сидело три живых поколения — старое, молодое и малое.

Сидели, опираясь на сабли, иные гости и рассказывали старшим про свои дела. Они читали им величественные ненаписанные книги повествований о Сталинграде, каких еще никогда не знал мир и ни один великий писатель. Они рассказывали о событиях, участники и авторы событий.

События были так густо замешаны людским мясом, слезами, кровью, криком, стонами, проклятиями, невозвратными потерями, что никто уже ничему не удивлялся. Это был уже новый мир, новая действительность среди старой природы и развалин старых разрушенных хат, в старой землистой одежде, немытая.

Люди представляли собой словно какой-то геологический пласт. Гигантскими катастрофическими силами сдвинуло его со своего места, и неизвестно, остановился ли он на новой основе или двинется еще вперед. Все еще обсыпалось с него, падало. Вокруг было полно валунов, пыли, щебня, лому — следов катастрофы и запахов бешеных взрывов и трений.

Так из простых людских воспоминаний, как из печальной книги бытия, возникала невиданная картина нечеловеческого ужаса, скорби и невзгод и вырисовывалось лицо народа-мученика и воина, смотревшего на фашистских захватчиков как на что-то низкое, недостойное человеческого звания, бесстыдное, омерзительное и проклятое.

Упал на землю прозрачный вечер.

Долго еще текла беседа, пока не стихла. Понемногу разошлись незаметно и, где кто мог, уснули. И стало тихо-тихо. Только далеко где-то за речкой гудели орудия да одинокий Демид Бесараб глухо рыдал под вишнями о своем сыне, заглушая старой шапкой рыдания, чтоб не спугнуть соловья.

Щебетали соловьи в вишневых садах на все село.

Только села не было.

НЕ ПРИМИРИТЬ

Встретились брат с братом.
— Признавайся, брат!
— Ой, выйду я за ворота,—
Заплакала мать.
Вышла мать на улицу.
— Кто там в хате бьется?
— Сыны мои.— Вернулись?
— Сыны? Живы? Давайте разнимем!
— Что не поделили?
— Не трогайте, родимые,
Их не примирить уж.
Один немца бил три года,
Другой... — зарыдала...
В одной хате враги-братья
Не смогут ужиться...
— Я весь в ранах, вражья шкура!
— А я — в дряни, брат мой.
— Душа моя изболелась!
— А моя...
— Треклятый!
— Убей меня!
— Убью тебя!.. — звякнул орденами.
Слышит мать, стонет хата. Перед образами
Убивает брат-герой предателя-брата.

Сценарии

УКРАИНА В ОГНЕ

Здесь все следы битвы режиссера с писателем. Один звал к строгому профессиональному чертежу сценария, другой, потрясаемый страданиями народа, все время порывался к расширению темы, к рассуждениям, лирическим отступлениям,— к авторскому участию в громаде великих событий.

Пусть снисходительный читатель, мой современник и друг, не взыщет, если взращенное мною небольшое дерево не вполне ветвисто и стройно, если многие ветви только предугадываются, не успев еще вырасти среди невиданных пожаров и катастрофического грома орудий, потрясающих сегодня нашу землю.

В моем сознании все, здесь написанное, — только прозрачная основа будущей книги борьбы моего народа за освобождение из ярма гитлеризма.

Если в силу остроты переживаний, сомнений или заблуждений сердца какие-либо суждения мои окажутся несвоевременными или слишком горькими, или недостаточно уравновешенными другими суждениями, то это, возможно, так и есть.

Тогда прошу читателя незлобиво поправить меня своим добрым советом.

Киноповесть «Украина в огне» печатается с некоторыми сокращениями.

В тихий летний день, в саду возле хаты, среди цветов и пчел, сидела семья колхозника Лаврина Запорожца и тихо пела: «Ой, піду я до роду гуляти». Это песня матери, веселая и грустная, как и человеческая жизнь. Мать, Татьяна Запорожчиха, любила петь ее обычно два-три раза в году, когда после трудов и повседневных забот приходилось где-либо по достойному случаю пригублівать чарочку.

Шумит, гудит Тополевка.

К Лаврентию Запорожцу приехали гости.

«Ой, у мене увесь рід багатий. Ой, у мене увесь рід багатий. Сюди-туди, он куди, увесь рід багатий»,— пела Татьяна, растроганно покачивая головою в такт своей песне.

Один — Роман Запорожец.

«Сюди-туди, он куди, увесь рід багатий»,— поет молодой лейтенант пограничных войск, Роман, с орденами на груди.

Другой — Иван-воин.

«Буде мене часто частувати. Буде мене часто частувати»,— поет, прислонясь к материнскому плечу, артиллерист Иван.

Третий, славный черноморец,— Савка Запорожец.

«Сюди-туди, он куди, часто частувати»,— поет с батьком третий Запорожченко, Савка-черноморец. А над ним сияет белая борода деда Демида, что тоже был когда-то черноморцем, но уже не поет, а только покачивает головой и плачет от глубоких своих слабых лет.

Четвертый, Григорий,— мастер урожая.

Агроном Григорий Запорожец в хорошем штатском костюме. Очки на носу. Знак Почета на груди и колос в руке — знак власти над всем, что растет.

У пятого сына детишки зелены.

У Трохима Запорожца два хлопчика и одна девочка. Да у жены двое.

И дочка Олеся, всему роду радость.

Тихая, без единого облачка в лице, мастерица цветов и удивительных вышивок и песен. Все пели.

Много мыслей промелькнуло у матери. Вся жизнь словно проплыла перед глазами — и материнское горе, и радость, и волнения, и неустанный труд на многочисленную семью с маленькими детками, на общество, на государство. Но повырастали незаметно дети, разлетелись во все стороны, добрая слава пошла о сыновьях, показавших себя и в военном деле, и в науке, и в обычных трудах на земле.

И вот съехались они к родной хате, чтобы почтить ее старость — пятьдесят пять лет! Взволнованная и растроганная этим праздником, песней и всеми плодами своей простой трудовой жизни, взявши чарочку, слегка дрожавшую в ее маленькой сухой руке, посмотрела добрая мать на своих гостей.

— Спасибо вам, деточки, что увидела вас всех хоть раз за столько лет. Все некогда да некогда — широкий свет настал. Пошли вам, боже, счастливую долю да силы в руки, чтоб выполнить свой долг перед миром, чтоб возвеличить землю трудами, чтоб цвела она богатством и согласием...

— ...Сыночки мои, сыны! Деточки мои! Прощайте, прощайте, родные мои!..

Еще какие-то жалобные слова приговаривала Татьяна вслед сыновьям, но ее уже не слышно. Уже потонули слова ее в море людского плача и скорби, в разлуках, в реве моторов. Множество людей выходило из села на войну.

Оторвался Трохим Запорожец от жены. Плачет жена горькими слезами, плачут дети в ногах: «Ой, тату, тату!» Побежал Трохим за братьями. Повез старый Запорожец пятерых сыновей на войну.

Отъезжают на восток грузовики с множеством старых и молодых запыленных женщин, детей, ветхих дедов и баб, всевозможных тюков, чемоданов и прочих вещей и кое-каких военных или невоенных, кто их знает. Они оглядываются назад, на запад, в тревоге. Им хочется ехать все быстрее и быстрее.

— А куда ж они ото едут, бодай им добра не было! Чтоб они бежали и не переставали! Да зачем же везут их машинами? Может, машины на другое пригодились бы? Тьфу! — гневалась Мотря в огороде.

— Слушайте, почему они не уходят? Вы видите? Они не уходят?

— Ну ясно. Чего ж им бежать? Они ждут немцев.

— Ах! Ну мы еще вернемся! — негодовали на грузовиках уезжающие, глядя с негодованием на селян, связанных тысячелетними узами с землей.

Но вот начала проходить армия.

Возле холодной криницы под вербою на краю села стояла Олеся, печальная и тихая, как и все девушки в те времена

на нашей, на кровавой Украине. Пили бойцы воду из ведра и уходили на восток:

— Будь здорова, дивчина. Будь счастлива, дивчина... Будь здорова...

Ревут по дороге грузовики без конца и краю. В тяжелом унынии оглядываются усталые беженцы. Все, что не ехало с ними, начинало казаться им враждебным. И страх заполнял их души, и затаенное зло, и молчаливое отчаяние.

— А бодай же они ехали да не переставали! Да чтоб они катилися бубном! На кого ж вы нас, несчастных, покидаете? — перекликалась в огороде Татьяна Запорожчиха с Мотрей, сапая картошку, пока не прострочило Татьяну пулеметом с вражеского самолета.

Горят жита на много километров, горят и топчутся людьми, подводами.

И яровые много дней уже топчутся машинами и тысячами бездомных коней и коров.

Мчатся всадники, оглядываясь назад, на черное дымное небо. Ревут аэропланы. Мечут бомбы. Рассыпаются всадники по полю, словно птицы.

Пролетают над Олесей вражеские самолеты. Бомбят дорогу. Всадники шарахаются во все стороны. Крик, стон, высокий визг пораненных коней. Страшно Олесе.

Ревут быки и роют рогом землю возле разорванных напарников своих рогатых.

Вражеские самолеты бомбардируют мост. Огромные водяные столбы — один, другой, третий... Катастрофический свист. Попадание! Люди в клочья. Нет моста.

Остановил Запорожец коней. Бросились братья врассыпную, упали. Один Савка остался на подводе с батьком.

— Падай, Савка, ложись!.. Во-оздух!

— А чего бы я падал? Идем на войну, да будем от первой бомбы падать,— сказал веселый Савка и упал мертвым.

Братья к брату:

— Савка!

А батько:

— Прощайте, прощайте, чуете! Скорей плавом на тот берег. Во-оздух!..

Кинулись сыновья в Десну.

Ударил старый Запорожец по коням, выскочил в поле и понесся житами назад в родную свою Тополевку. Мчатся кони

житами. Припал Запорожец к мертвой сыновней груди и так затужил, что не помнил, как перехватили фашисты коней.

Выбросили Савку в жито. Дали Лаврину сигарету, сели на воз и поехали, напевая и посмеиваясь, в соседнее село.

Олеся смотрела на дорогу. Она не была заурядной дивчиной. Она была красива и опрятна. Олесею гордилась вся округа. Бывало, после работы, вечерами, она, как птица, ну так же много пела возле хаты на все село, так голосно и так прекрасно, как, вероятно, и не снилось многим припудренным артисткам с орденами. А вышивки Олеси висели на стенах европейских музеев: в Лондоне, в музее Альберта и Виктории, в Париже, в Мюнхене и Нью-Йорке, хотя она об этом и не знала. Учила ее мать всему. Была Олеся тонкой, одаренной натурой, тактичной, доброй, работящей и безупречно воспитанной хорошим честным родом. Легкомысленные хлопцы немного стеснялись Олеси, считая ее гордой и неприступной...

Пили бойцы воду и мрачно проходили дальше. Она уже ни о чем не спрашивала их. Она жадно вглядывалась в каждое лицо и в каждых глазах читала печаль. Огромное, гораздо большее, чем может вместить людская душа, горе упало на народ, придушило его, погнало.

— Будь здорова, дивчина! Будь счастлива! — сказали ей трое усталых артиллеристов и пошли от криницы. На Олесю нахлынула вдруг волна такой острой, болезненной жалости к себе, что у нее нестерпимо защемило в горле. Она оглянулась. Людей стало меньше...

«Последние идут,— подумала Олеся.— Неужели последние?»

И решилась она на шаг неслыханный, невиданный ни в ее селе, ни во всем народе. На поступок необычный, от одной мысли о котором у нее застыло и остановилось сердце. На поступок грозный, какой подсказало ей грозное и необычное время. Что бросило ее на этот поступок? Что натолкнуло ее? Глубокий инстинкт рода, что приходит людям на помощь в роковые часы, когда разум холодеет и не успевает осознать опасность, и спросить некого, и грозный час летит лавиной с горы.

К Олесе подошел один из последних бойцов, танкист Василь Кравчина, из-под самого Каменца, и жадно припал к ведру. Одежда в пыли. На рукаве и на спине пригорела со-

рочка в пожарах. Темные здоровые руки, ручьями пот на шее и висках, и та же напряженная на лбу не по летам морщина.

— Спасибо, дивчина. Прощай,— промолвил он, отрываясь от ведра.

— Счастливый путь... Постой... Слушай,— сказала Олеся тихо, смотря на танкиста глубокими печальными глазами.— Я тебя о чем-то попрошу...

— Что меня просить? — взглянул на нее танкист, и необычайный взгляд Олеси привлек его внимание.

— Слушай,— сказала Олеся,— переночуй со мной. Уже наступает ночь... Если можно, слышишь?

Она поставила ведро и подошла к нему.

— Я дивчина. Я знаю, придут немцы завтра или послезавтра, замучат меня, надругаются надо мной. Я так боюсь этого, прошу тебя... пусть будешь ты... Переночуй со мной...

С последними словами Олесин голос затрепетал и словно погас.

— Я не могу ночевать с тобой,— сказал Кравчина открыто и честно.— Я в танке горел вчера. И танк этот я бросил.

— Ты наш.

— Я отступаю... Бегу... Броня тонкая... Я покидаю тебя. Пойми мой стыд. Я не герой.

— Ты несчастный... и я несчастная... Пойми ж и ты меня. Смотри, что делается. Останься, правда... На память...

Олеся смотрела на него с таким доверием, с такой болючей мольбой, что он умолк и не сводил с нее глаз. Он смотрел на нее, чужую, неизвестную, случайную, чтобы никогда уже потом ни на одну минуту нигде не забыть ее, чтобы понести ее, эту дивчину, в своем сердце через все бои, через все огни.

— Ну что ж? Ну, добре...

— Вот моя хата.

— А где твой батько? — вдруг вспомнил он.

— Батько братьев повез, а мать ранена, в больнице. Я одна.

Какую-то минуту они стояли в полумраке хаты друг перед другом, молча, не зная куда ступить. Они были невинные, нетронутые оба.

— Сядь, посиди за моим столом,— тихо сказала Олеся и взяла его обеими руками за руку.— Съешь что-нибудь. Ну хоть немного, может, помоешься с дороги?

Она подала ему чистое полотенце. Василь скинул сорочку и стал мыться над корытом. Олеся поливала ему холодную воду на руки, потом на голову. Он закрыл глаза. Он чувст-

вовал, как с него сплывала дорожная пыль и пот. Потом он разулся и, хорошо помыв ноги, присел на лавку к столу. Какой-то волнующий стыд все же сковывал и не покидал его, а ее как будто бы и нет. Она и стыдилась и нет. Она приносила ему на стол тарелки с едой. Она словно выполняла свой, одной лишь ей начертанный закон.

Они что-то ели вдвоем и избегали угадывать желание в глазах друг у друга. Да и было ли оно? Они говорили о том, о сем, стесняясь молчания. Изредка, когда обрывалась нить разговора, они встречались глазами, и тогда они переставали дышать и жевать пищу. Они точно каменели оба, всматриваясь один в другого до дна. А когда вот так им стало нечем однажды дышать, Олеся застонала вся и прижала ладони к груди.

— Ой боже мой! Что ж это будет с нами?

Когда в хате стемнело совсем, она отважилась первая. Подошла к постели и долго-долго молча стлала ее. Она вынимала из материнского сундука чистые новые рядна, наволочки и полотенца. Положила две подушки рядом, задумавшись на миг, и принесла со двора цветы.

Тихо было в хате. Только далеко где-то грохали тяжелые орудия да изредка тарахтел в небе далекий чужой самолет.

— Не гляди на меня,— попросила Олеся и, тяжко вздыхая, надела новую сорочку.

Василь слышал, как стучало его сердце.

— Как у меня бьется сердце...

— И у меня,— тихо сказала Олеся.— Ой... Иди сюда.

Она стояла у постели в длинной мереженой сорочке.

Месяц освещал ее через окно.

— Как тебя зовут?

— Василь.

— А меня Олеся. Дай руку.

Она прижала его руку к своему сердцу.

— Я никогда тебя не забуду,— сказала она грустно и строго и поцеловала Василя в щеку коротким, холодным, словно детским поцелуем.— Скажи и ты эти слова...

Василь повторил слова и сам не узнал своего голоса, такой он стал низкий и необычный. Василь прозвучал весь, всем своим естеством, как звучание колокола.

Вдруг задребезжали стекла. Низко, над самой хатой, взревела страшным ревом большая стая вражеских самолетов. Загремели бомбы на дороге за селом.

— Прощайте! — доносился откуда-то издалека голос парубка.

— Ой деточки мои, деточки... — жалобно голосила над дорогой разлука...

Они долго лежали молча, прислушиваясь невольно к крикам. Потом Олеся рассказала Василю, что это плачет ее тетка Мотря, у которой взяли в армию уже четверых сыновей.

— А это уже пятый прощается, Иван,— последний.

— Так,— вздохнул Василь,— как хорошо ты пахнешь мятой.

— А ты, когда дышишь, пахнешь огурцами, огуречным листом.

— И ты...

— И ты... — прошептала Олеся.

Кто-то стучал в дверь соседней хаты.

— Кто там? — послышался глухой голос.

— Это мы, батько, мы! — стонут сыновья под деревьями.

Приоткрылась дверь. На пороге — пожилой человек, Куприян Хуторный.

— Защитники отечества?

— Все пропало, тато. Пустите!

— Не пущу! Я царя защищал, не отступал, а вы свою власть отстоять не можете.

— Броня тонка, тату!

— Брешете, дезертиры! — И Хуторный захлопнул дверь.

Упал один сын под окном и начал громко рыдать.

А другой:

— У нас, тату, генерал пропал! Застрелился, бодай его сыра земля не приняла! Растерялись мы.

— Идите к полковнику!

— Не знаем, где он, черт бы его душу забрал! Нехай!

— Идите, догоняйте.

— Мосты, тату, взорваны. Плавать не умеем.

Они всматривались друг в друга широко раскрытыми глазами:

— Так тебя зовут Василь?

— Так.

— Василь... Василик. А я Олеся. Поцелуй меня, Василик. Я так счастлива.

— А чего ты плачешь?
— Нет, я не плачу. Мне так хорошо.
— Родная моя, чего же ты плачешь?
— Это же ты плачешь, Василику. Ты не забудешь меня?

Пылали поля и села на темном небосклоне. Брели по темному полю бездомные стада. Какие-то всадники пролетали темными шляхами.

Проклятые люди падали на парашютах в рожь. Что-то кричало в житах. Да одинокая орденоноска плакала с детьми на дороге над убитой коровой.

Они верили и не верили, что они уже муж и жена.

— Знаешь, Василику,— шептала Олеся, наклоняясь над его лицом,— если бы мы жили, если бы случилось так, что мы будем жить вдвоем, мы никогда во всю нашу жизнь не скажем друг другу плохого слова. Правда?

— Правда.
— Мы даже не подумаем злого. Правда?
— Правда.
— Правда?
— Правда.
— Мы будем так дружно жить, как никто на свете. Правда?
— Так.
— Ты не забудешь меня?
— Нет.
— Ты найдешь, отвоюешь меня?
— Найду, отвоюю тебя.

Словно сошлись столетия простой народной любви, что сеет детей на нашей плодородной земле. Сошлись столетия горьких прощаний украинской дивчины-жены, воспетой в горестных песнях народа.

Начало светать. Помягчали тени в хате, и разлука уже протирала глаза где-то там, в сенях за дверьми.

— Говори мне, Василику, еще красивые слова, говори,— припадала Олеся к плечу Василя.— Уже кончается ночь. Уже скоро прощаться пора.

— Слушай, Олеся...

Долго говорили они на рассвете. Они словно выросли оба за эту ночь. А неумолимая неизбежность разлуки освещала

особенным светом их чувства. Перед ними в эту ночь будто раскрылось новое ви́дение вещей, печальное, но ясное и отчетливое, и ясными и четкими были его, Василевы, слова, каких он никогда и не думал в себе найти.

— Нет, я не забуду тебя, Олеся. Не забуду никогда ни тебя, ни твоей хаты, ни криницы под вербою... Какая бы ты ни была, я вернусь к тебе. Пусть будешь ты черная и больная, покалеченная врагом, пусть поседеешь ты от горя и слез и побелеет твоя коса, пусть будешь ты рыть против меня немецкие рвы и плести немецкую колючую проволоку против меня и сеять для врага хлеб под плетьми, ты всегда останешься для меня прекрасной, как и сейчас прекрасна ты. Если ж в отчаянии ты станешь проклинать меня и всех, что покинули тебя и мертвыми не пали у Днепра, простил я тебе заранее — такая наша доля,— и ты меня прости,— сказал взволнованно Василь, удивляясь своим необычайным словам.

— Прощаю,— сказала Олеся.— Только найди меня.

— Найду,— сказал Василь, прижимая ее к себе своими сильными, большими руками.— Если же так станется, что не найду, может, убьют меня, Олеся, или взорвусь я где-нибудь на фугасах и разлечусь клочьями по полю, так что и костей моих не соберут для могилы, я все равно вернусь к тебе. Я памятником стану в твоем селе из бронзы, там вот, за окном! Я понял — дорога к тебе одна, один только путь. Путь геройства. Нужно быть героем и ненавидеть врага.

— Олеся,— сказал Василь, немного подумав,— какой же непотребно млявый вошел я вчера в твою хату.

— Я тебя простила.

— Вижу. По великости женской души своей. Ты, Олеся, открыла мне мир.

Они разлучились рано-рано утром, до восхода солнца, в холодной росе, у перелаза за садом.

Немцы входили в село, въезжали на мотоциклах, автомобилях, на пушках, на танках, веселые и довольные. Обожженные солнцем, запыленные, мокрые от пота лица их блистали радостью и здоровьем. Играли на губных гармошках, окаринах и треугольничках что-то немецкое.

Немало солдат шло совсем без оружия, обнявшись парами, тройками, и весело посвистывали. Но большинство ело, что попало: огурцы, яблоки, груши, сливы, хлеб.

— Здравствуй, матка! Карашо! — кричал белокурый, увидев хозяйку в окне.

Люди смотрели в окна.

— Смотри, смеются! — показывала одна женщина другой.

— Глянь, какие приветливенькие! Смеются и здравствуйте кажут!.. Ай!..

Солдат распахнул дверь ударом сапога и вошел в хату:

— Здравствуй, матка! Молока, пожалуйста!

Режут свинью.

Другую.

Третью.— Хайль Гитлер!!!

Высаживают дверь в сенях.

Осторожно открывают дверь в хату.

— Позвольте. Ферцайен бите, можно?

Пьют молоко. Едят.

— Скажи, матка, ты за кого — за Гитлера или за Сталина? — спросил пожилую женщину солдат, оторвавшись от большого кувшина с молоком. Молодое лицо его было приветливым и кротким.

— Как хотите, голубчику, убейте меня, только мне Сталин лучше, — сказала простодушная женщина.

— Очень карош! — сказал, усмехаясь, немец. Допив молоко, он вынул из кармана револьвер и, между прочим, застрелил беднягу.

— Прошу помыть, — сказал веселый голый немец, бросая женщине свою одежду.

— Не буду мыть, пусть тебя несчастье обмоет, бесстыдный... Тьфу! — не выдержала оскорбленная женщина и схватила кочергу.

Бросил и другой немец одежду. А первый уже протянул руку к парабеллуму.

— Мамо, молчите, убьет, мамо! — бросился к матери сын ее, дезертир. — Простите, господа... Мойте, мамо!

— Ой, чтоб же я тебя, мой сыночку, да на лавке обмыла...— заголосила мать.

— Тату, корову повели со двора! — вбежала в хату дивчина Христя.

— Ну что ж, — сказал Куприян Хуторный. — Это вам не свои. Раз уж нас завоевали, их право. Еще не то будет, — глянул он в сторону сыновей. — Еще и вас погонят, как быков на бойню. Будете вы еще пороть один другого да стрелять, раз не умели уважать отечества. Будет еще вас и по неметчинах и по туретчинах.

— А, выдумывайте! — мотнул с досады головой дезертир Павло и выскочил из сеней.

Вдоль огорода переулком бежал перепуганный насмерть дезертир Гаркавенко Иван, а за Иваном немцы:

— Хальт! Хальт! — да давай стрелять.

Иван за угол. Из-за угла Павло.

— Куда?

— Тикай, убивают!

— Куда?

Поймали немцы обоих. Автоматы в живот да по мордам.

— Вы кто? Дезертиры?

— Дезертиры...

— Шпионы? Да?

— Да.

— Вы разведчики? Говорите, разведчики, да?

— Да!!! Нет... Разведчики... Да... — лепетали перепуганные хлопцы, повторяя окончание вопросов.

Наглые фашисты крепко набили их и поставили стеречь орудия, давши им винтовки.

Олеся сидела неподвижно и смотрела на подушку, на след Василевой головы. Она была каменной. Когда на пороге появился батько Лаврин Запорожец, она не услышала. И только когда он позвал ее, она очнулась и упала на пол.

— Тату!!!

В Киеве пировало офицерство Адольфа Гитлера. Сам гаулейтер Кох прилетел в столицу Украины для декларации имперских гордых целей в этой богатой и щедрой стране.

Свою речь новый черный атаман Украины Эрих Кох начал без вступления, с самой высокой ноты. Это была слава Гитлеру, слава нации, слава могучему фашистскому солдатству, несущему старую императрицу-смерть «вялому, никчемному славянству».

Смерть славянству, смерть большевизму, демократической распущенности претенциозных меньшинств. Смерть еврейству!

Офицерские души не выдержали пафоса тотальных призывов. Они взрывались в тевтонских грудях и раздирали горло грозными криками.

Крики доходили до стона и хрипа. Страстное немецкое воинство выгавкивало свой восторг в таком динамичном пароксизме,

что великий реконструктор Восточной Европы Эрих Кох утонул в крике. Его слов нельзя было уже разобрать.

— Хайль! Хайль! Хайль!

Еще минута, и Кох начал лаять.

Все радиостанции — Берлин, Киев, Братислава, Прага, Париж, Будапешт, Рим, Токио — разносили по всему миру немецкую речь Эриха Коха, чтобы знало все солдатство, все немцы, немецкие друзья, вассалы и рабы, какие перспективы открылись перед солдатством на Украине. Сорок пять гектаров на душу! Вот что значит идти вперед, когда тебя ведет Гитлер!

— На безграничных просторах Украины, которой я управляю по поручению фюрера, есть земля для всех солдат. Здесь, на Украине, есть место для каждого, кто пожелает! Вы знаете о неизмеримых богатствах этого края! Вы можете мне поверить, что я извлеку из этой страны все. Я вытяну из нее последнее, чтобы только обеспечить всех вас и ваших родных... Хайль Гитлер!

— Хайль! Хайль! Хайль! — раздается победный рев над памятником Владимира в Киеве, над Богданом Хмельницким, над виселицами у Днепра.

После речи Коха офицерство бросилось есть и пить.

— Эту землю можно есть! На! Я хочу смотреть на тебя, сын мой, как на символ своего бытия здесь!

Эрнст фон Крауз, старый полковник немецкой разведки, протянул своему сыну лейтенанту Людвигу Краузу горсть земли. Людвиг стиснул землю в кулаке и лизнул ее языком. Это был чистокровный гитлеровский пес последней формации, жестокий и алчный мерзавец, герой виселиц, массовых сожжений, насилий, рабства. Невежественный, темный, он приводил нередко в замешательство даже старого немецкого волка, отца, своей отчаянной решительностью и изобретательностью в расправах с врагом. Иногда старый фон Крауз ужасался своего отпрыска, но отцовская немецкая сентиментальность и давняя алчность мечтателя завоеваний успокаивали его и радовали. Он презирал Гитлера, но признавал его. Разве не Гитлер с миллионами этих белокурых сорванцов Людвигов привел его на Украину?

— Украина! Украина! — хрипел Людвиг, оглядываясь на все стороны. Глаза его светились восторгом.

Они стояли среди поля в побитой ржи. На дороге стояло их авто.

— О, страшная земля... — задумался вдруг старый Краузе.

— Фатер! — крикнул Людвиг.

— Не горячись! Ты думаешь, уже все кончено? Не так просто. Этот народ...

— Мы уничтожим его!

— Мой мальчик, я удирал от них в подштанниках в восемнадцатом году!

— Время другое, фатер!

— Время другое, а народ тот же. Я изучил его историю. Их жизнеспособность и пренебрежение к смерти безграничны.

— О!

Они шли по полю.

— Пусть наши идиоты врут в газетах какие угодно небылицы об их тупости и скотском отношении к смерти, мы с тобой должны знать правду.

— Хайль Гитлер!

— Людвиг, не выкрикивай эту глупость, хоть когда мы одни.

— Фатер, наш фюрер, наш нацизм учит нас...

— Мальчик, нацизм не имеет серьезного значения, поскольку у нацистов, знай это, нет фактически никаких идей. Это слепая сила, что-то вроде необычайной грозовой тучи. Это слепое чудо, неслыханный казус европейской глупой политики. Ты понимаешь? И для нас, разумных немцев, вся эта удивительная ситуация сводится фактически к умению использовать чудо. Франция, Бельгия, Голландия, все, что нацисты завоевали, — глупости, мыльные пузыри... Вот! — выкрикнул Крауз, ткнув пальцем вниз. — Вот наше! Здесь мы должны умереть, подохнуть, но...

— Хайль!

— Людвиг!

— Фатер!

— Ты думаешь, они уже уничтожены?

— Йа!

— О!.. Нет... Так не подчиняться и так умирать, как умирают они, украинцы, могут лишь люди высокой марки. Когда я смотрю на их смерть, я всегда дрожу от ужаса... Смотри, — сказал старый Крауз, оборачиваясь. Они проезжали через село, где на площади солдаты вешали людей.

— Хальт! — крикнул Эрнст фон Крауз. Машина стала. Палачи, тащившие на виселицу старого пасечника Запорожца, застыли перед фон Краузом, подошедшим к виселице.

— Хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер!

— Бандиты?

— Йаволь, гер полковник! Его пчелы закусали насмерть четырех наших солдат.

— Да? О, швайнерай! Смотри, Людвиг, он надевает на себя петлю, — сказал фон Крауз.

— Фатер... Дас ист унмёглих!

— А-а!.. Слушай... — обратился фон Крауз к старому Запорожцу. — Этот офицер хочет узнать, что ты думаешь перед смертью?

— Мир сдурел, так и пчелы подурели. Начали всякое дерьмо кусать, — сказал Демид. — А думаю я, что поганые ваши дела, раз вы уже боитесь таких, как я. Дело ваше пропграно.

— Но я стою на твоей территории и вешаю тебя, — сказал Крауз.

— Ну что ж, повесишь да и побежишь. Такая твоя слава!.. Знаю я про тебя одну примету...

— Ну?

— Ну не скажу.

— Скажи, я подарю тебе жизнь. Я осыплю тебя деньгами.

— Иди, хай тебя болячками обсыплет. Иди, не заслоняй мне села, глупак.

— Слышал? — обернулся побледневший фон Крауз к своему сыну.

— Фатер! Я начинаю тебя понимать. Это страшно, — прошептал Людвиг, болезненно улыбаясь.

— А, посіпаки*! Потянулись, чтоб вам добра не было! — закричал вдруг старый Демид Запорожец, увидев проходившую мимо него большую группу военнопленных окруженцев. — Не успела война начаться, уже сдались, побросали оружие! Уже ползете в неволю, а враг с бабами гуляет... Вешайте меня, душегубы! Чтоб хоть не видели мои старые очи...

— Фатер, что он говорит?

— Вешай, злодюга! Чего испугался?!

Эрнст фон Крауз махнул рукой и отвернулся. Людвиг смотрел на виселицу ошеломленный.

— О, фатер! — оглядывался Людвиг. Они снова ехали в машине.

— Их нельзя покорить. Их нужно уничтожить. «Не передушивши пчел — не есть меду», — сказал их король Данило в XIII столетии.

---

* Приспешники *(укр.)*.

— О!

— Но, Людвиг, ты должен знать, у этого народа есть ничем и никогда не прикрытая ахиллесова пята. Эти люди абсолютно лишены умения прощать друг другу разногласия, даже во имя интересов общих, высоких. У них нет государственного инстинкта... Ты знаешь, они не изучают истории. Удивительно. Они уже двадцать пять лет живут негативными лозунгами отрицания бога, собственности, семьи, дружбы! У них от слова нация осталось только прилагательное. У них нет вечных истин. Поэтому среди них так много изменников... Вот ключ к ларцу, где спрятана их гибель. Нам незачем уничтожать их всех. Ты знаешь, если мы с тобой будем умны, они сами уничтожат друг друга.

— Йа, фатер! Мы будем уничтожать их, лишь поскольку каждый солдат должен убить врага и лишить чести его жену. Я понял тебя. Дальше они сами будут уничтожать друг друга! Я разделю их, куплю, развращу!

— Я вижу, мальчик, тебя кое-чему научили. Их нужно разгромить, пока они не опомнились от своих ошибок. Но если не успеем — мы пропали.

— Фатер! Я их вооружу! Я дам одному брату оружие, другому нет. И вот они враги до смерти!

У колхозника Куприяна Хуторного в старой плетеной клуне собрались товарищи Куприяновых сыновей — Николая и Павла, соседи и прочий люд, не нашедший в себе силы пройти мимо родных хат. Бросив великое товарищество, они приплелись домой на горе отцам и себе. Клуня превратилась в своеобразный клуб загубленных душ. Тут пилась водка, игралось в карты, проклиналась судьба и все на свете. Но ничто уже никому не помогало. Тоска и мрачное отчаяние повисли над людьми в сумерках клуни.

— Ай-яй-яй, что ж это мы наделали, товарищи!

— Как же оно случилось, скажите мне?

— На, выпей!

— Не хочу. Оставь... Вернутся наши, постреляют, как собак.

— Э! Жди теперь наших.

— Куда там.

— А может?..

— Нет. Пропало все.

— Вернутся.

— Нет.

— Не вернутся?

— Не, куды твое дело. Глянь.

— Ну и что ж это будет? На!

— Не хочу. От пью и не пьянею. Закусываю, а все, как трава. Все одинаково. Все!

— Он, ползут. Ай-яй-яй! Он!

— Ты смотри... твою мать, нехай! Он!

— Рабы...

— Кто?

— Мы. Вот побьют в городах евреев, да и за нас возьмутся.

— О, будете еще вы сами один одного бить,— вмешался в разговор старый Куприян.

— Ну?

— Побачите.

— Я слышал, что земля будет индивидуальна, наша.

— Земля наша, да мы уже не наши.

— А чего? Говорят, теперь Украина будет самостоятельная.

— Украина какая-нибудь да будет, а вот вас не будет. Раздвоились дурноголовые. Узнаете теперь, — сказал Куприян.

— Так, что ж его делать?

— Догоняйте армию. Может, не поздно еще.

Вдруг открылись ворота и в клуню вбежала перепуганная Куприянова дочка Христя.

— Тато, Павло в полиции! Уже с винтовкою!

— Павло?

— Вон идет, смотрите!

Куприян Хуторной словно окаменел. Переполошились и остальные.

— Смотрите! Павло и Гаркавый Иван!

Павло с Иваном вошли с немецкими винтовками в руках.

— Здравствуй, полицейский! Мое почтение! — усмехнулся Куприян, словно выпив чарку горькой отравы.

— Я не полицейский. Я охрана порядка, — промолвил Павло новые, чужие слова.

— Порядка? Какого порядка? Кого охранять и от кого? Ты, сукин ты сын, нехай! Шут! — Куприян бросился к сыну с кулаками.

— Стойте! — закрылся немецкой винтовкой Павло.

— Тату! — кинулась к отцу Христя.

— Ну довольно, батько, — вмешался и старший сын Николай. Он был ранен в руку и очень страдал.

— Не прикасайтесь к этому оружию! — крикнул не своим голосом Павло, испуганный неожиданным поворотом дела.

Куприян всматривался в Павла, и тяжелый отцовский гнев поднимался в его душе.

— А-а! Священное оружие. Неприкосновенное. Гитлерово... А [...] где то оружие, на которое я тратил свой труд столько лет? Где, я тебя спрашиваю?

— Ну, тато, успокойтесь, тато! — снова кинулась к отцу Христя.

— Да не очень там разглагольствуйте, дядько! — гудели дезертиры.

— Подумаешь, воин!

— Броня тонка, дядько! Тонкая бронь!

— Пошел бы, попробовал!

— Пробовал. Царя защищал, не бежал! — вскочил Куприян. — Кому ты присягал? — обернулся он к Павлу.

— Теперь бога нет! — крикнул один дезертир.

— Брешете, есть! Отечество!

— Так про это ж разговор не был. Обучали классам. Опять же все побежали, — оправдывался Павло.

— А почему ж ты не побежал? Чего ты сюда приплелся, сукин ты сын, нехай! Охранять немцев от батька и брата? Николай! — обратился Куприян к старшему сыну. — Вот твой сторож. Берегись! Сторож — брат — это тебе не шутка.

— Я не хотел этого... — продолжал оправдываться Павло.

— Так зачем взял? — спросила Христя.

— Они силой дали мне, под страхом смерти.

— Морды понабивали! — поддержал Иван Гаркавенко.

— Ага, испугался. Под страхом смерти оружие кинул. Под страхом смерти за гитлерово взялся. Так!.. Вот обучили! Когда ж это видно, чтоб у Хуторных был страх смерти? Чтоб Хуторные боялись крови? Чтоб...

— Дайте мне сказать!

— Говори.

— Сначала у меня была думка отказаться и умереть.

— Ну?

— А потом я подумал: кто-то его да возьмет. Раз уж так случилось, раз уж свет переменился, кому-то ж, видно, надо это оружие брать, будь оно проклято, нехай!

— Так. Так ты первый за него вцепился? Первый полицай фашизма Павло Хуторный! О срамота!

— Не дразните меня, батько!

— Павло! Помни, сын, не пролил ты крови врага в грозную, лихую годину, прольешь батькову, и братову прольешь!

— Ну довольно, дядько!

— Куприян Михайлович!

— Да хватит вам. Как-то оно обойдется. Живут же люди... — утешали старика молодые.

— Бросай оружию! — вспыхнул Куприян и неожиданно схватил за ствол винтовки. Вдруг прогремел выстрел и смертельно раненный Куприян упал с тяжелым стоном на пол.

— Хальт! Руки вверх! Выходи! — крикнул немецкий ефрейтор, появившись на пороге как раз в момент выстрела.

— Тикай, Микола, тикай! — крикнул Куприян.

Христя бросилась к своему несчастному отцу.

— Доню... Дивчинка несчастна моя. Вот наша слава. Наша судьба...

Сбив с ног ефрейтора ударом кулака, Микола выскочил из клуни и бросился бежать огородами. За ним побежало трое дезертиров, сидевших отдельной компанией под клуней на колодках. Они слышали выстрел и крики и побежали за Миколой, не разобравшись хорошо, что случилось. Вслед им прозвучало несколько выстрелов.

Пробежав через огороды, гречку, поля подсолнечника к самому почти лесу за глубоким яром, беглецы стали, оглянулись.

— Что ж его нам теперь делать?

— Бежим в лес! Кажуть, там собираются партизаны!

— А может... Ай-ай-ай! Глянь...

— Он, уже бегут, гляньте! Он-он-он! Гонятся!

— Да нет?

— Они, ей-богу, они... Микола! Будь ты неладно!

— А, вернемся домой. Чего мы тут стоим, ей-богу?

— А что? Разве мы что? Ну, стоим.

— Да мы ж ничего.

— А чего бежал?

— Да кто его знает? Побежал, ну и побежал. А ты чего?

— Ну и я так... Микола!

Микола оглянулся. Товарищи стояли далеко позади в нерешительности.

— Гей, хлопцы! Не останавливайтесь!

— Га?

— Не останавливайтесь!

— Да мы, пожалуй, домой вернемся! Чего, правда, бегать?

— Разве мы что?

— Да мы ж ничего.

— Не стойте!

— Нет, Микола! Остаемся!.. А правда, ну куда его бежать?

— И чего, спрашивается?

— Га?.. Или, как вы, хлопцы?

— Да проживем как-нибудь!

— Поживем, увидим... поживем так!

— Не поживете! Не будет мира! — звал Микола хлопцев.— Будете плакать да в ярмах землю пахать! Погонят вас в неволю! Да постреляете один другого, как Павло батька! Товарищи!..

— Га?.. Пойдем, довольно...

— Мира захотели? Не будет вам мира. Не будет!

— Довольно пугать!.. Пошли?

— Подождите... Га!!!

— Ой, висеть вам на фашистских виселицах, да уже не вернется доля! Прощайте!

Долго смотрели хлопцы вслед Николаю. Кто его знает — идти или не идти. Задумались они, опустивши головы, и решили, очевидно, не идти.

В грозный великий час жизни своего народа не хватило у них ни разума, ни величия души. Под давлением тягчайших обстоятельств не отошли они на восток с великим своим товариществом, которому впоследствии было суждено удивить мир своими подвигами. Привыкшие к типичной безответственности, не ведающие торжественности запрета и призыва, вялые натуры их не поднялись к высотам понимания хода истории, призывающей их к гигантскому бою, к необычайному. И никто не стал им в пример — ни славные прадеды истории их, великие воины, ибо не учили их истории, ни близкие родные герои революции, ибо не умели чтить их память в селе. Среди первых ударов судьбы потеряли они присягу свою, так как слово священное не говорило им почти ничего. Они были духовно безоружными, наивными и близорукими. Суровая действительность скоро раскрыла им глаза. Широко в последний раз раскрылись они, все увидели, да было уже поздно. Повисли хлопцы на немецких виселицах рядышком, как стояли, на площади в своем обездоленном селе.

А вешатели с Людвигом Краузом, смеясь и шутя, готовили уже виселицу и для всей компании, присутствовавшей в клуне при убийстве Куприяна Хуторного.

Людвиг был счастлив. Он действовал.

Уже вели побитых дезертиров и окруженцев в синяках. Уже лупили их конвоиры по чем попало, на ходу.

— Ну, собака, пропадешь же и ты! Ай! Пропадешь, отцеубийца!

— Иди, иди! — огрызался Павло. Отцеубийца был уже в числе конвоиров.

— Ух ты, иуда!

— Я не убивал. Не мучайте меня. Они сами на пулю напоролись.

— Га! А мы сами на виселицу идем? Из-за тебя, сукин сын!

— Я не знаю. Я не судья вам. Я сторож, мне приказано. Что я буду делать?!

— Рус! Замолчать, свинья! — гаркнул немецкий ефрейтор и еще раз хватил беднягу по спине.

Лаврин Запорожец быстро вошел в хату.

— Тато, идите на собрание, они убьют вас! — промолвила Олеся.

— Оставь меня! — грозно приказал Запорожец.

Олеся закрыла дверь. Упавши на лежанку в сенях, она горько затужила.

Оставшись один, Запорожец снял со стены портрет Сталина.

— Прощайте, товарищ. Не думали мы с вами, что так выйдет, да вышло — не малою, большою кровью на [своей] территории, — тихо сказал он, обращаясь к портрету. — Что будет с народом нашим? Выживет он или сгинет, так что и следа не останется на земле? Разгонят его по каторгам, да по лесам, оврагам да гнилым болотам, как волков, сиромах, да натравят друг на друга так, что живые позавидуют мертвым. Горе нам... Народ бессмертен, говорили вы, товарищ мой. Ох, тяжелое наше бессмертие!

Кто-то постучался с улицы.

— Прощайте, идут. — Лаврин повоpотил портрет и поставил на пол.

— Иду!

Лаврин вышел в сени.

— Тато! — кинулась к нему Олеся.

— Прощай, доня, — тихо промолвил Лаврин и вышел.

— Что это за аморальная область? — блеснул хищным глазом полковник фон Крауз, глядя на селян, стоявших перед ним на площади. — Бегут старосты в партизанские банды. Бегут

начальники полиции. Тут банда дезертиров нападает на полицейского Павла Хуторного и тоже бежит в лес. Я честный немец, отец, вынужден банду вешать! Вас ист дас?

Лаврин слушал эту речь и внутренне готовился принять смерть достойно и просто, чтоб не просить ни о чем завоевателей. Смерть Савки и старого отца Демида и тяжелое ранение жены тяжело придавили Лаврина.

— Я знаю, ваши уши находятся в Лондоне, а сердце в Москве! — говорил фон Крауз. — Но не забывайте, что ваши спины находятся на Украине и ваши виселицы также. Я приказываю в последний раз выбрать старосту. Называйте кандидата. Ну, бите!

— Нет у нас такого!

— Фойеррр! — крикнул Людвиг Крауз.

Загрохотали пулеметы, засвистали пули над головами и вдруг стихли.

— Нема. Не годимся в старосты!

— Фойер! — еще раз скомандовал Людвиг.

Село стояло в воде под старой мельницей. Была ночь.

— Нема! Не можем выбрать! Нету!

Плакали женщины под вербами у берегов, над осокою. Плакали дети.

— Тато! Тато! — кричали.

— Говорите, тато, говорите!

Загорелось полдесятка хат. Осветило людей в воде.

Лаврин стоял по грудь в воде, опершись о гнилой столб от старого моста.

— Лаврин, прими грех на душу.

— Лаврин, у тебя сыны в армии. Что тебе? Прими, Лаврин Михайлович.

— Кому, как не тебе, Лаврин, — говорили в воде. Уже не было сил.

— Лаврин, спасай. Пропадем, к такой матери!

— Соглашайся. Да пойдем уже перекусим, — сказал посиневший от холода Мина Товченик — сосед Лаврина.

— Ну хай будет так, — сказал Запорожец после долгого тяжелого раздумья.

Утром фон Крауз, подобревший, выспавшийся, выкупавшийся, в одной полосатой пижаме подошел к мельнице.

— Гутен таг, украинише лёйте! Ви гейт эс инен? Их габе гехёрт дас зи волен нихт кандидатур староста каварить.

Дас зеер шаде, нихт? — насмехался старый Эрнст фон Крауз, вытирая шею мохнатым розовым полотенцем.— Абер унмёглих зо филь ин кальт вассер штеен, нихт вар? Бите, комен зи хир унд подумайте нох айн маль. Немножко. Ну, пожалуйства...

Селяне начали выходить из воды.

— Вер ду хаст гезахт?

— Запорожец Лаврин, — сказал Людвиг.

— Запорожец! О, дас файне наме! Хайль Гитлер! — крикнул вдруг Эрнст Крауз так громко, что даже кони и гуси перепугались.

— Позвольте, господин начальник, ваше высокоблагородие, — сказал пожилой какой-то человек и, снявши шапку, вышел немного вперед. Его не было между селянами. Он только что явился, он был отличный от всех. Тихий ропот прошел по толпе. Селяне узнали кулака Максима Заброду.

— Заброда!

— Как же это так, прошу почтения, ваше высокоблагородие. Я бежал сюда из северной Сибири через фронт, полз гадюкой, лез, катился бубном. Великую книгу можно написать о моих страданиях, и вот прибежал. Запорожец! Этот человек председатель колхоза, — грозно сказал Заброда. — Какой же он староста? Он меня в Сибирь выселял!

— Ну?

— У него пять сыновей в Красной Армии. И все коммунисты, как я слышал!

— Пять сыновей? — обратился Крауз к Запорожцу.

— Так точно, пять, — ответил Запорожец.

— Чудесно. Пять сыновей на войне, это... О, дас ист патриотизмус! Очень хороший староста!

— Ого. А вот куркуль Заброда думал, не его ли назначите? — сказал Мина Товченик, очевидно довольный поворотом дела.

— Заброда? Вер ист Заброда?

— Кулак. Из Сибири вернулся. Большой мироед!

— Заброда? Ком хер, мерзавец, ком хер! — рассердился фон Крауз.

Заброда подошел.

— Ты хочешь старостой быть, пес?

— Я думал...

— Ты думал, что вернулся капитализмус? Кайн капитализмус, зондерн дейче национал-социализмус! Ферштейст ду, хунд?

— Йаволь... — побледнел Заброда.

— Чем ты заслужил этот пост у народа?

— Да вы знаете, ваше высокоблагородие, что это за народ?

— Замолчи, зволоч! — Фон Крауз изо всей силы ударил Заброду по морде раза четыре.

— Фатер, идея! — сказал Людвиг. — Это чудесный начальник полиции!

— Полицай! Идея!.. Ага... Да... Альзо, будешь начальником полиции. Ду!

— Не хотим Забродьі! Не надо!

— Знаем мы Заброду!

— Господин начальник!

— Не надо!

— Ахтунг! Нас интересуют ваши позитивные мнения. А негативные нет. Вы испорчены критицизмом. Много политики. Не надо политики. Нужно пахать хлеб, масло, яйца, молиться богу... Это человек...

— Поганый человек!

— Дас шаде нихт! Начальник полиции не должен быть хорошим человеком. Начальник полиции — это курва-полицай, и он интересует нас именно с этих позиций. Это вам не советская анархия. Ферштеен зи?.. Плятц!

Заброда вытянулся и окаменел, как столб.

— Верно. Истинная правда! — сказал твердо и убедительно Мина Товченик. — Дозвольте?

Мина вышел немного вперед.

— Ну?

— Уже, сказать бы, если оно к тому пришло, что вместо милиции, вместо простака, сказать бы, нужно подлеца чи курву, так тут уже, товарищи, ошибки не будет. Верно вам говорю. Такого подлюки, как Заброда, не то что в районе... Куда там... Одним словом, переходное немецкое знамя может получить за подлость.

Все засмеялись. Засмеялся и сам Товченик.

— От времена...

— Чего они смеются, фатер? — спросил Людвиг Крауз. — Руэ!

— Руэ! Подайте друг другу руки. Ну! — покраснел от гнева Эрнст фон Крауз.

Два непримиримых классовых врага — Лаврин Запорожец и Максим Заброда подали друг другу руки, тут же расстреляв один другого глазами.

Пламенели дни и ночи в заревах пожаров. Кончилось лето. Мокрая осень. Разбухли холодные болота в мелких дождях. Горело. Над камышами стояли туманы и дым. Крякали мины в трясинах. Утопали юноши в зыбких болотах.

— Спасите! Ой, спаси...

— Тихо!

По шею, до рта в холодной воде брели болотами на восток многие тысячи беззаветных героев, словно раскиданные непогодой, разорванные ключи * перелетных птиц. Поднимали над мокрыми головами родное свое оружие, партийные билеты, все, что было дорогого, уносили веру в сердцах, и нечистая болотная гнилая вода нагревалась от горячей бессмертной веры в победу и от крови вечной светлой памяти героев.

Не раз и не два гомонили они с врагом в громких кровавых беседах. Множество вражьих кладбищ оставили за собой и сами полегли в великом числе, приняв честно труд и страх боев и смерть. По всем дорогам слышали люди ночами, как стонала от горя земля и плакали вдовы.

О, украинская земля, как окровавилась ты! Реки кровью налились, озера слезами и тоской. Яры и переправы — трупом и предсмертною блевотой. Степи гневом засеялись, проклятьями и стоном.

— Товарищи! Братики! Приймите раненых! Подвезите! — кричали раненые на горестных шляхах. Отступало войско. Пролетали грузовые машины разных снабов, военторгов, управлений. Холодные, злые шоферы, казалось, не видели ничего на дороге. Не видели и пассажиры. Много среди них было и никчемных людей, лишенных понимания народной трагедии. Недоразвитость обычных человеческих отношений, скука формализма, ведомственное безразличие или просто отсутствие человеческого воображения и тупой эгоизм проносили их мимо раненых на государственных резиновых колесах.

— Товарищи, пожалейте... — просили раненые.

— Стой, застрелю! — кричал раненый Роман Запорожец.— Стой!

— Ах, что ж это делается? Скажите мне, почему мы такие поганые? — плакался раненый юноша с перебитой ногой. — Товарищ командир, программа какая! Самая высшая в мире. А мы вот какие, гляньте! Подвезите раненых, растуды вашу мать! — и заплакал.

Пролетали машины, как осенний лист.

---

* Вереницы, стаи *(укр.)*.

Василь Кравчина, раненный в руку, отступал по дороге с группой хорошо вооруженных бойцов, и тяжелый гнев и стыд терзали его душу. Он чувствовал себя виноватым перед людьми, смотревшими на него из окон и тротуаров маленького городка. В их глазах он читал молчаливый горький укор, и смятение, и страх. То же самое ощущали и бойцы. Утомленные лица их были злы и хмуры. Долгое отступление, печаль и горести тяжелых утрат придавили их всех.

— Скажите мне, товарищ, почему мы такие, га? — обратился к Кравчине молодой боец.— Почему? Что это такое? Подвезите раненых, сволочи!

— Вперед! — весело махали руками военторговцы. Они были рады, что отъезжали на восток, еще за одну реку, что машина исправна, что шофер, лежавший недавно под машиной целых шесть часов, ковыряясь в ней, отчего все они чуть не посходили с ума, все ж таки машину оседлал. Души у людей были маленькие, карманные, портативные, совсем не приспособленные к большому горю. Они выросли в атмосфере легкого успеха и радостей. Суровая, мужественная эпоха необходимости давно уже казалась им законченной, пройденной, и они плавали уже несколько лет в царстве свободы, словно рыбки в тихой неглубокой речонке, где всегда было видно и дно, и небо, и тень, и омуток.

— Смотрите, катятся, сволочи! Раненых бросают!.. Что это?

— Не знаю. Я сам такая же сволочь,— сказал Кравчина.

— Га?

— Я жену бросил.

— Да? А я бросил деда, батька, мать и сестру Олесю.

— Олеся?

— Да, Олеся. Сестра моя, — сказал Иван Запорожец.

— Смотри. И жена моя Олеся, — ласково и горько улыбнулся Кравчина. — Олеся...

— Где?

— В этом, как его... Ай, забыл... Возле перелаза кинул... Ах, убить бы меня нужно!.. — вздохнул Кравчина.

— Не знаю я, товарищ командир, что оно и к чему, но чувствую тут, — Иван Запорожец ударил себя кулаком в грудь,— не умели мы жить, как следует, нет, нет...

В районном городке в суматохе и растерянности вбежали к председателю Н. Лиманчуку две красивые девушки.

— Что вам нужно?

— Скажите! — волновались они, задыхаясь.

— Что сказать? Что вам нужно? Что?

— Скажите нам...

— Что сказать, что, ну? Ну что, что ну? Алло, алло? — звонил председатель.

— Мы учительницы, комсомолки...

— Знаю. Все вы — комсомолки... Ну что?

— Мы боимся! Может, нам уйти бы...

— Га?

— Отдадут ли наш город врагу?

— Какой город? Как вы смеете? Кто вас прислал сюда? Пятая колонна?

— Так мы?..

— Панику сеять!.. Алло... алло!

— Мы...

— Выйдите сейчас же, чтоб я вас тут не видел! Этот город никогда...

Лиманчук метушился по кабинету, словно плохонький актер по провинциальной сцене.

— Идите.

— Ну, спасибо вам.

— Никогда, слышите?! Ни за что! Не выйдет!

— Неправда. Не слушайте его, товарищи,— сказал Василь Кравчина, войдя в кабинет. Он слышал лишь последние возгласы председателя, но ему сразу уже была ясна вся картина беседы этого отца города со своими несчастливыми горожанками.— Этот город мы оставляем. Уходите, девчата. Пока не поздно, уходите, или горе вам будет.

— Вы кто такой? Как вы смеете? Вы знаете, что за это? — хорохорился председатель, рвя на мелкие кусочки какие-то секретные бумаги. Он был большим любителем разных секретных бумаг, секретных дел, секретных инструкций, постановлений, решений. Это возвышало его в глазах граждан города и придавало ему долгие годы особую респектабельность. Он засекретил ими свою провинциальную глупость и глубокое равнодушие к человеку. Он был лишен воображения, как и всякий человек с сонным, вялым сердцем. Он привык к своему посту.

Ему ни разу не приходило в голову, что, по сути говоря, единственное, что он засекречивал, это была, таким образом, его собственная глупость.

— Что ты мелешь этим комсомолкам? Что ты врешь? Для чего? Во имя чего ты врешь, гад?

Василь Кравчина потемнел, как ночь. Неисправимый промах, даже не промах, а преступление, совершенное им по отношению к Олесе, которую нужно было силой увести с собой, мучил его и не давал ему покоя ни днем, ни ночью. Сбитый с толку и усыпленный такими вот молодцами, возглашавшими в каждом городе бодрые возгласы, вроде: «Никогда враг не пройдет!» — возгласы, на которые их никто не уполномачивал, он бросил свою Олесю, и только сейчас, на долгих тяжелых путях отступления, оглядываясь на всех перекрестках, не летит ли к нему сказочной птицей родная его доля, только сейчас почувствовал он полностью свое горе.

— Уходите, сестры мои, бегите! Придут немцы, покалечат вас, заразят болезнями, погонят в неволю, а этот несгораемый шкаф,— показал Василь на председателя,— собирающийся бежать, вернется потом и будет судить вас за распущенность.

— Я вас арестую! Алло, алло! — закричал Лиманчук, дергая телефонный шнур и продувая трубку, словно самоварную трубу.— Меня партия поставила!

— Товарищи, не могу, не могу, не могу, точно. Вам понятно?

Толстоватый человек с двумя шпалами доказывал спокойно и вежливо и даже с приятной усмешкой, словно опытный воспитатель непослушным детям, что он не может их взять в свой грузовик, потому что, хоть грузовик и полупустой, груз его секретный. Кроме того, вообще нельзя никого брать, так как это воспрещено приказом. Поэтому он советовал не стоять на дороге и не угрожать ему, а пропустить.

— Понятно?

— Товарищ, так возьмите девчаток этих и раненого,— проспл Кравчина.

— Товарищи, я везу военный груз, поймите.

— А я раненый, разве я не груз?!.. Твою мать, смотри! — и раненый Иван Запорожец начал быстро разбинтовывать свою ногу.

— Товарищи, вы мне этого не показывайте. Вы не угрожайте мне раной.

— Я не угрожаю.

— Я принципиально не могу.

— Что?

— Так объясните нам.

— Товарищи, дело не в ране. А в принципе, в приказе.

— Дело в страдании,— сказала девушка.

— Это не военный разговор. Вы знаете, какие были случаи? Вот так подвозили, а потом подвезенные бросались с ножами на спину.

— Товарищи, этот раненый член ЦК комсомола! Он не бросится.

— Не могу. Не мо-гу!

— Понял! Не берите ни девушек, ни меня,— сказал вдруг Иван.— Езжай немедленно, иначе брошусь на машину и задушим, как гадюку. Дайте ему дорогу. Катись!

— Давай!

— Товарищ командир, ну что вы скажете? — обратился Иван к Кравчине.

— Скажу, что война будет долгой. И крови нашей прольется намного больше, чем могло бы пролиться. И страданий.

Шли бойцы по грязной дороге, оглядываясь на запад, в тяжелом раздумье. И, проклиная свои недостатки, казавшиеся им истинной причиной отхода на восток, не знали они, как много величайших дел суждено им свершить, как много суждено пролить крови на необъятной своей земле, и какие холодные калькуляторы будут дозировать их кровь в заморских кабинетах.

Пахали землю в ярмах и шлеях. Шестеро в плуге, седьмой за плугом — Мина Товченик.

— Гей, гей! — погонял Мина дезертирство и окруженство.

— Да правь уж молча, не дразни! — сердился в ярме старый колхозник Левко Царь.

Товченик. Тяни, тяни, бугай!

Нехода. Ой, какая мука!

Журавель. Ах, если б я был в армии! Пусть бы меня ранили, контузили в боях хоть каждый день, как бы я счастлив был!

Товченик. Брось молоть черт знает что!

Царь. А чего бежал?

Журавель. Растерялся. Не мог понять сам себя. Броня тонка.

Чубенко. Эге. Кровп перепугался! [...]

Царь. Да не гарикай там!

Товченик. Но-о!

Царь. Не человек уж я. Конь... Позор, позор... О, позор!.. Дай отдохнуть. Падаю.

Товченик. Не дам. Он уже смотрят, гады, пристрелят, поди,— сказал Мина, оглянувшись.

Жандармы с автоматами следили за полем.

Нехода. Тяните, черти б вашего батька потянули!

Чубенко. Ой!

Царь. Эх, когда-то оно не так было. По-другому воспитывали.

Нехода. Лучше?

Царь. Лучше.

Нехода. Так чего ж вас так хорошо воспитали, а вы нас так погано? Да еще и ругаетесь? Ага, молчишь, старая собака!

Царь. А, глупак...

Нехода. Сам ты дурень!

Журавель. Ну довольно там!

Чубенко. Да, когда-то в истории, говорят, тоже запрягали нашего брата не раз [...].

Товченик. Но! Довольно историю толочь!

Царь. Я думаю, что такого ката, как наш староста Лаврин Запорожец, еще и история не знала.

Товченик. Сами выбирали.

Нехода. От Каин! Вот так людей замучить в ярмах.

Чубенко. Хуже Заброды. Камень — не человек.

Огромная стая воронья поднялась над подсолнечниками и закрыла небо [...] Слышалось — кра, кра, кра!

— Пожалейте людей, батько. Что вы делаете? — Олеся стояла перед отцом-старостой, решительная и очень взволнованная.

— Каких?

— Зачем вы людьми пашете?

— Они меня на это выбрали.

— Как — на это?

— Чего они хотят?

— Они не хотят в ярмах ходить.

— Пусть не ходят.

— Ну, тату!

— Я тебя спрашиваю, чего они хотят?

— Я не знаю.

— А ты узнай, заступница.

— Я уже не могу людям в глаза смотреть. Они нас ненавидят.

— А кого они любят?

— Тату, что с вами?

— Я тебя спрашиваю, что они любят? Заступница! Водку?

— Они в ярмах...

— Не хотели ярма, надо было биться за волю.

— Не могли все биться...

— Это правда. Но будут. А кто не будет — умрет.

— Они вас убьют.

— Знаю. Такая уж моя игра. Не они убьют, немцы убьют. Не убьют немцы, убьют наши, вернувшись. Немецкий прихвостень... Жалко людей... А мне себя жалко. На меня, проклятого, повесили все зло. Староста-собака, староста-злодей! А там, смотри, сыновья откажутся!

Кто-то постучал в дверь.

— Выйди из хаты.

Вошли в хату два незнакомых человека. Стемнело. Говорили шепотом.

В застенке истязали людей. Слышны были крики, стоны, выстрелы и глухие удары падений. Кого-то выносили и выбрасывали в яму.

Эрнст фон Крауз появился в дверях. Он был мокрый от возбуждения и тяжело дышал, словно не он истязал людей, а его самого жгли огнем и терзали. Глаза его горели, как у безумного, и тряслись побелевшие губы.

— Вассер!

Он начал мыться холодной водой, выкрикивая по-немецки какие-то грубые ругательства.

Полицейские стояли мокрые от ужаса. Фон Крауз упал на скамью и застонал, почти теряя сознание. У него сердечный припадок. Он приказал позвать Заброду. Вошел Заброда.

— Молчат?

— Да, господин полковник, ваше высокоблагородие. Клянусь вам каторгой, богом, что это все работа Запорожца.

— Что ты знаешь?

— Ничего не знаю.

— У!..— Крауз выстрелил в Заброду из пистолета, но выстрела не последовало, и он бросил в немой ярости разряженный пистолет прямо ему в лицо.

— Я не сплю ночами,— лепетал Заброда,— я загнал всю полицию. И хоть бы что-нибудь. Ничего. Пашут в ярмах, молотят, а хлеба нет, коровы пропадают. И все молчит и проклинает, будто, Запорожца, и что-то тут есть, вот-вот-вот!..

Фон Крауз снова вскипел и кинулся к Заброде.

— Я тебя повешу. Слышишь? За что я тебе дал землю? Завоеванную кровью моих солдат! Свинья! Чтоб тебя, паршивого кулака, даром кормить! Хунд!

И старый злодей Эрнст фон Крауз так застучал о стенку головой Заброды, что стена затряслась.

— Клянусь, Запорожец... Запорожец...— стонал Заброда.

Эрнст фон Крауз задыхался от ярости.

— Фатер, успокойся, что ты делаешь? — вбежал Людвиг. Отбросив Заброду, он обнял отца.

— О, мой мальчик, майн либе кинд,— размяк вдруг Крауз,— никто нас, немцев, не понимает, никто, ай...

Фон Крауз вошел к Лаврину Запорожцу, чистый, хорошо одетый, с пакетом.

К р а у з. Здравствуй, Лаврин! Как твое здоровье?

З а п о р о ж е ц. Здравствуйте, господин полковник.

К р а у з. Не господин, а по-украински — пане-полковник.

З а п о р о ж е ц. Извините, мы люди простые, к панству, так сказать, не того.

К р а у з. Как жена? Выздоравливает?

З а п о р о ж е ц. Помаленьку.

Т а т ь я н а *(из-за стены)*. Спасибо.

К р а у з. А, фрау Татьяна... Как дети?

Т а т ь я н а. Ох!

З а п о р о ж е ц. Да кто их знает? Где-то...

К р а у з. Бьются. Где-то уже на Урале.

З а п о р о ж е ц. На Урале?

К р а у з. Да. Жаль. Если бы...

З а п о р о ж е ц. О, если бы они были здесь, все было бы по-другому. Они всем бы показали дорогу.

К р а у з. Я слышал, один вернулся и прячется?

З а п о р о ж е ц. А, болтают.

К р а у з. Жаль... Хм... До чего народ испорчен. Все доносят. Клевещут друг на друга.

З а п о р о ж е ц. От глупости.

К р а у з. Да... Смотрю я на молодежь. Плохая молодежь

пошла. Легкомысленная. Это только мы с тобой понимаем, старики. А?

Запорожец. Да, такое что-то действительно.

Крауз. Полная распущенность! Ну, полная распущенность. Материалисты!

Запорожец. Эге.

Крауз. Ты поверишь, у нас уже есть офицеры, не умеющие грамотно писать. Единственный идеал — нажива.

Запорожец. Да у нас тоже чего-нибудь там такого, так не очень, сказать бы. Ну, известно, всякие.

Крауз. Да?

Запорожец. Один за другого не того.

Крауз. Не что?

Запорожец. Не думают про хорошее. Ну хоть плачь.

Крауз. Хлеб прячут. Заброда говорит...

Запорожец. Пустое.

Крауз. Уходят в лес?

Запорожец. Нет. Пока все дома.

Крауз. Боюсь, как бы чего не случилось.

Запорожец. А что?

Крауз. Сейчас в Германию набираем на оборонную работу.

Запорожец. Слышал.

Крауз. Ой, боюсь, Лаврин, что придется снова вешать. Закон!

Запорожец. Да, к этому оно идет.

Крауз. Да? Ты меня понимаешь, значит?

Запорожец. Я и сам вот думаю, что следовало бы спасти и послать в Германию сотню молодежи на работы.

Крауз. О, Лаврин, у тебя разум, как у немца.

Запорожец. А...

Крауз. О, ты у нас далеко пойдешь.

Запорожец. Вот составил список. Тут самые здоровые и красивые. Нате.

На другой день затужила вся улица. В село въехал Людвиг Крауз с большим отрядом жандармерии. Автомашины с пулеметами расположились на всех выездах из села. Люди в тревоге выглядывали в окна.

Христя вбежала в сени к Олесе вся в слезах:

— Тетушка! Тетушка Татьяна!

В дверях показалась Олеся.

— Олесю!
— Христя!
— Олесю, людей забирают в неметчину!
— Что ты?
— Батько твой. Слышала?
— Что?
— Список подал, и я в том списке!
— Кто тебе сказал?
— Павло.
— Брешет.
— А ему Заброда, начальник. Вот как! — Христя смотрела на Олесю с нескрываемой ненавистью.— Почему я в том списке? Га?
— Христя!
— Почему тебя нет? Людей продаете! Выслуживаетесь!
— Христя...

Заброда стоял перед фон Краузом и дрожал.
— Когда ты появился в первый раз возле речки, помнишь, я сразу увидел, что ты мерзавец,— назидательно говорил фон Крауз, рассматривая Заброду с некоторым удивлением, как не совсем понятный человеческий феномен.— Но я никогда не мог подумать, что твоя скотская, и даже не скотская, черт тебя знает, какая мерзость, ненависть и злоба, доходили до этого. Ты меня понимаешь?
— Никак нет!
— Фу... Зачем ты выслуживаешься передо мной? Почему ты с такой радостью доносишь на людей, выколупываешь их старые мизерные преступления, заблуждения, ошибки?
— Я ненавижу советскую власть.
— Но ведь ты же украинец?
— Так точно.
— Так как же ты?.. Мы же твои враги. Мы завоевали вас?!.. Помнишь, Людвиг, я тебе говорил... Вот чистый образец,— обратился Крауз к Людвигу.— Как ты можешь?..
— Клянусь честью!
— Молчать! Он будет говорить мне о чести! Зачем ты клевещешь на Запорожца? Молчать! На! Вот список всех людей, которых следует отправить в Германию на работы. Довольно баклуши бить! Знаешь, кто список подал? Запорожец. Единственный человек в селе! Сволочь!

— Дозвольте,— сказал Заброда, бегло проглянувши список.

— Ну?

— Казните, не верю Запорожцу. И вам не советую.

— Что ты знаешь?

— Пока ничего.

— Ты — дьявол!

— Ваше высокоблагородие,— встрепенулся вдруг Заброда. В мрачных глазах его загорелся какой-то замысел.— Вот если б он вошел сейчас в хату и вписал в список свою дочку, единственную дочь, тогда называйте меня дьяволом, сатаной, чем хотите. Но пока этого нет, позвольте мне думать...

— Интересно, га? — переглянулись немцы.

Тут Лаврин Запорожец не выдержал и постучался в дверь. Он слышал за дверью слова Забродыи.

— Что тебе? — нахмурился Крауз.

— Я пришел вам сказать про одну свою ошибку,— тихо промолвил Запорожец, подойдя вплотную к Краузу.— Народ волнуется, и это моя вина. Дочку-то свою я не внес в список. Признаться, пожалел. Отцовская слабость, простите...

— Ну что ты, Лаврин!

— Пишите дочку. Сила примера великое дело. Простите, что не вспомнил сразу.

— О, Лаврин, ты победил меня,— сказал взволнованный Крауз.— Я хотел спросить тебя о дочери.

Крауз посмотрел на Забродуи. Заброда побледнел и тяжело задышал.

— Тато?!

— Да.

— Скажите, что это неправда!

— Нет, доня, это правда. Собирайся в дорогу.

— Мама!

— Лаврин! Что ты делаешь? — Татьяна стояла в дверях худая-худая, желтая.

— Помолчи, Татьяна. Олеся поедет в неметчину.

— На погибель!

— Нет... Олеся, выйди в сени.

Олеся вышла, шатаясь.

— Когда отвезешь Олесю на станцию, не возвращайся в село. Все может быть.

— Что ты?

— И эта хата, может, скоро сгорит.

— Лаврин!

— Молчу.

— Я не поеду! — закричала Олеся в дверях.

В хату вошел Мина Товченик.

— Вот мир настал! За границу не хотят ехать. Там же моды какие да декалоны! Хотя мы уже, говорят, сами заграница. Гутен таг вам с маком!

— Мина, что ж это делается? — всплакнула Татьяна.

— Ну,— сказал Мина, подойдя к Запорожцу и словно закрывая его от Татьяны.

— На, спрячь,— тихо ответил Лаврин.— Не жалей ни коней, ничего, чуешь? Найди и передай, чтоб сразу выходили, как только прочитают.

— А куда выходить?

— Там все написано. Помни, Мина, в твоих руках судьба. Вот разрешение на выезд.

— Куда это ты? — спросила Татьяна.

— Не твое бабье дело. Ауфидерзеен,— сказал Мина и с таинственным видом вышел в сени.

Вернувшись домой, он повелел жене своей Одарке подавать обед, а сыну повелел спешно запрягать коня.

— А куда это вы, батько, едете? — спросил Мину из сеней молодой его сын, полицай Устим.

— А не твоего полицейского ума распоряжение,— ответил Мина, доедая свой обед.— Запрягай.

— А что это за бумага у тебя в шапке? — спросила старая Одарка Товчениха, готовя харчи на дорогу.

— Опять же не ваше дело,— ворчал Мина.

Устим молча ушел запрягать коня, а с ним вышел и его приятель полицай Павло Хуторной, унося незаметно письмо.

Бесконечными поездами увозили в Германию украинских людей. Горе разлилось по недобитым вокзалам и стоны разлук.

Олеся прижалась к матери и, целуя худую, восковую материнскую руку, говорила тихо, утопая в безысходной тоске:

— Прощайте, матинко моя родная, не забывайте меня. Не забудете? А когда вернутся наши с войны, передайте... Ой, не вернутся, мамо...

Олеся плакала. Она словно чувствовала своей чистой девичьей душой, что никогда уже не увидеть ей своей тихой доброй матери.

— Доченька моя, дивчинка, до последнего вздоха своего буду молиться я зорями вечерними и утренними, чтоб минуло тебя горе и злое поругание. Чтоб хватило сил в неволе, чтоб не покинула тебя надежда, голубонька моя... — тужила старая мать Татьяна Запорожчиха, прижимая к себе дочку в последний раз.

— Нет, не вернутся, мамо. Не увижу я уже ни Романа, ни Василя. Разнесет нас по всему свету. Кто соберет нас, матинка, кто? Кто нас покличет? Мама, мама!

— Соберет, верь, доченька моя. Как бы тебе ни было тяжело, верь, надейся, веруй, детонька моя!

— О, мама! Какие же мы несчастливые, какая несчастливая земля наша!

Плакали люди вокруг. Прощались матери с дочерями, сестрами, с братьями и малыми детьми.

Плакали покинутые дети, разлучались с матерями, пропадали, разносило их на все стороны, чтоб целый, может быть, век уже искать друг друга и не найти до смерти и следа не оставить никакого.

Одни лишь тупоголовые гитлеровские убийцы спокойно прохаживались среди несчастных и загоняли их в вагоны, как скот, да оркестр на вокзале заглушал страдание и плач.

Свисток. Последний взрыв крика в окне. Кто-то упал на рельсы. Двинулся поезд.

Три вдовы упали на пути, поднявши руки к небу. Поезд не остановился.

Да с полдесятка мужчин тут же расстреляли, между прочим, для порядка, чтоб не кричали, словно пьяные, с трясущимися белыми губами.

Поезд, переполненный невольницами, побитыми мужчинами, конями и быками, уходил на запад.

Проплывали серые непаханые украинские поля, побитые вокзалы, разрушенные города, трубы и черные окна сгоревших домов.

Татьяна стояла словно каменная, когда подошел к ней полицейский Иван Гаркавенко.

— Тикайте, Татьяна Остаповна. Дядька вашего арестовали.

Когда немецкие жандармы поставили перед фон Краузом Лаврина Запорожца, избитого, в порванной одежде и обессиленного неравной борьбой, Эрнст фон Крауз чуть не поме-

шался от бешенства. Однако он сдержал себя, чувствуя, что еще минута гнева, и он погубит себя. Тяжело дыша, бледный, он смотрел на Запорожца и долго не мог вымолвить ни одного слова.

— Ты собрал сотню юношей и девушек, чтобы отправить их в партизанский отряд? — спросил он неожиданно спокойным, обычным голосом.

— Да.

— Ты послал партизанам вот это?

— Да. Это письмо я послал партизанам, чтоб они уничтожили по дороге охрану и забрали к себе молодежь.

— И твою дочь?

— Да.

— Молодежь и дочь твоя отправлены в Германию, хата твоя сожжена, жена убита.

— Знаю.

— Ты страдаешь?

— Нет.

— Почему?

— Я тебя ненавижу.

— Слушай. Я не буду тебя бить сейчас. Я устал сегодня от битья,— сказал Эрнст фон Крауз. Он снова вдруг покрылся потом. Его душила жаба. Он задыхался.— Я апеллирую к твоему разуму.

— Я не скажу ни слова.

— В данной ситуации ты не имеешь права не отвечать. Война есть война. Скажи, где партизаны и кто здесь с ними связан. Тогда я тихо тебя повешу, ай... ухх!

— Я не скажу.

— Ай... Ну тогда до завтра. Завтра у меня будет свежий юмор.— Фон Крауз встал и медленно подошел к Запорожцу.— Завтра я сам выколю тебе глаза, отрублю руки и ноги и отрежу язык. Я не могу просто обойтись с тобой. Понял? Я имею свой престиж, а ты... О, ты не какой-нибудь клиент.

— Иди ты к чертовой матери, черт бы твою душу побрал, нехай!

— Ай, как я ненавижу тебя, славянская собака,— тяжело задышал фон Крауз.— О, скорей бы мне выбраться из этого проклятого края.

— Не выберешься!

— Помолчи. Все равно не застрелю. Будет завтра так, как я сказал. Посадить на ночь за проволоку! — приказал он жандармам.

По ночам зарева пожаров освещали поезд. Тогда ревели быки в вагонах, храпели кони, ржали и взвизгивали в тревоге.

И дивчина Христя, высунув голову из окна вагона, кричала в степь в отчаянии:

— Прощайте!..

Поезд пел недолю по степям, по горам, по долинам...

Усі гори зеленіють.
Тільки одна гора чорна,
Тільки одна гора чорна.
Там орала бідна вдова.
Чорна хмара наступала
Сестра з братом розмовляла.

В полутемных товарных вагонах девушки жались друг к дружке.

Ой, братику, голубоньку,
Прийми діток на зимоньку.

Пела Христя и думала горькую думу свою. Растерзанную ее душу мучили горе и зло на недолю, на весь проклятый мир.

— Так... Скажи мені, брате-герою. Скажи мені, сестро покритко! — промолвила она, словно слагая песню про себя.

— Ну довольно, Христя. Давай споем веселую. Все равно уж. Ну! — успокаивала ее Олеся и, чтоб развеять тоску, начала:

Летіла зозуля через мою хату,
Сіла на калині та й стала кувати.

Девушки подхватили. Вышло еще тоскливее.

— Рабы... Разгонят нас по чужим землям, словно чаек в бурю. Будет нас по горам, по долинам, по чужим украинам,— не утихала Христя.

— Христя, бежим! — твердо и решительно прошептала Олеся.

Вечерело. Невольники позалезали в норы и стучали зубами от холода. Под холодным осенним небом лагерь казался огромным кладбищем разрытых могил, где лежали на дне живые покойники.

Из одной могилы тихо возносилась вверх песня про горе чайки-горемыки, что давным-давно вывела было чайчат при широкой дороге. Про далекие чумацкие шляхи и про веселых беспечных чумаков, что все было пели, за волами идучи, и

согнали чайку, и детей забрали. Как билась чайка об дорогу, как припадала она белой грудью до сырой земли, как жалобно молила певцов дорожных: «Ой, верніть мені чаєнята, я їх рідна мати!»

Гремели выстрелы часовых и раздирали песню автоматы. Над лагерем смрад и тяжелая, невыразимая печаль.

За колючей проволокой сидел Лаврин Запорожец и плакал. На темное небо повыходили звезды.

Запорожец смотрел вверх. Небо было огромное, торжественное, вечное. Далекие звезды освещали его холодным безразличным светом. Ощущение вечности и бесконечности мира опустошило его усталую душу и немного успокоило.

«Что смерть моя и смерть моих детей? — подумал Запорожец,— и что мои мизерные муки, когда исчезают в небытие тысячи людей, гибнут семьи, гибнут целые роды без числа и края».

— Лаврин... Лаврин... — как будто послышался издалека женский клич.

— Запорожец поднялся и стал прислушиваться.

— Лаврин... Это ты, Лаврентий? Я принесла тебе поесть! Хлеба, картошки и груш...

Он узнал голос Мотри Левчихи. Она притаилась где-то в кустах и тихо-тихо звала.

— Я сейчас положу возле проволоки и убегу. А ты возьми и никому не давай, наедайся, слышишь? А утром доешь, крепче будешь. Слышишь?

— Слышу,— глухо ответил Лаврин.

— Гляди, я бегу,— тихо проговорила Левчиха.

И выбежала из кустов прямо к нему.

Прогремел выстрел — пррр...

— Ай! — словно испугалась Мотря и тихонько упала мертвая на песок. Узелок с размаху пролетел немного вперед и упал возле проволоки.

И дающая правая рука ее с разгона тоже протянулась вперед и поникла.

Запорожец припал к земле и быстро приполз к проволоке. Изо всех сил протянул он руку к хлебу и не достал.

— Тетушка,— прошептал он, хватая пальцами песок.

Не вернемось, чайко, ти матінко наша,
З'їли твоїх чаєняток, добра була каша.

Разносился над лагерем из ямы тихий чумацкий реквием. Неумирающий голос седых столетий звучал в темноте над

колючими проволоками. Уже ничего не просил он, не упрекал, не проклинал. Была уже в нем одна примиренность с неумолимым бегом времени, и очищенная, настоянная на сухих цветах давности прозрачная печаль.

Над мертвой Левчихой стоял Максим Заброда с желто-голубой повязкой на рукаве. На груди на ремне блестел у него автомат. Запорожец встал, и они сразу узнали друг друга.

— Добре спиває недоля,— тихо сказал Заброда.— По себе знаю. Я тоже вот пел по ночам в Сибири. Ох, как еще пел! Откуда только и голос брался. Бывало, все люди плачут...

Заброда переступил через труп Левчихи и подошел к проволоке.

— Сегодня не мешало б и тебе затянуть что-нибудь, а? Пришел послушать. Спой что-нибудь, слышишь?

— Это ты убил? — глухо спросил Запорожец.

— Кого? — Заброда оглянулся.— А, Левчиха... Да что там Левчиха? Мне вот тебя жаль. Ой, будет болеть, Лаврин! Сорвутся с твоего языка и партизаны, и оружие... Только будет уже поздно. Жалко.

— Не нужна мне твоя жалость.

— Такая душа у меня. Ненависть у меня к тебе, Лаврин, старая, как застарелая хвороба. А вот пришел твой смертный час — и жалко... Может, что-нибудь придумаем, га? Скажи, где партизаны и оружие?

Заброда близко-близко заглянул Запорожцу в глаза. Запорожец сжал зубы.

— Уйди от меня, сатана. Иди погавкай офицеру, что на мне земли ты не заработаешь. Иди!

— Ну что ж, вечная тебе память за твой характер, а я, дурной, думал было...

— Что? Заработать на партизанах? Иуда!

— Эге. Христос нашелся. Я уже заработал и так немало в Сибири. Кто меня туда загнал со всей семьей? Кто?

Заброда поднял кулак и весь задрожал. Тяжелая старая злоба поднялась в нем мутной волной из самых глубоких, темных пропастей несогласной его души. Голос его хрипел. Слова, казалось, вылетали из пылающей бездны.

— Сводил ты со мной счеты за столетия, по Марксу. Теперь вот я с тобой по Гитлеру сведу... Вот завтра будет мой юбилей. О, запьем советскую власть и Левчиху...

Левчиха лежала маленькая, аккуратненькая, в праздничной одежде. На ней была чистая сорочка, которую она давно еще держала в сундуке на смерть, и старинная длинная безрукавка,

и новая черная юбка в мелких синих цветочках. А на шее даже ниточка мелкого кораллового мониста с дукачом, еще с девичьих лет. Она словно предвидела свою смерть. Вечный покой уже разливался по ее челу. Оно словно светилось в сумерках.

— Ишь, паскуда, приоделась, как на пасху!

— Не смей так говорить про нее, слышишь! — разгневался Запорожец.— Не смей, она святая.

— Кто?

Заброда бросил автомат и подошел к самой проволоке.

— У... ты... боишься?

— Кто-о?..

Дальше они не выдержали и вцепились сквозь проволоку друг в друга. Они начали ломать друг другу руки и пальцы. Потом они обнялись и долго душили друг друга сквозь проволоку.

— Тихо, не храпи! Тихо...

— Тихо! Слышишь?..

Долго говорили они у колючей проволоки. Говорили о власти, о земле, о социализме. Говорили о кулаках, о ссылке, о страданиях на чужбине, говорили про голод, про смерть, про измены.

Они плевали друг другу в глаза Сибирью и страданьями, и голодом, и смертью. Они плевали друг другу в лицо Гитлером, немецкими погромами и пожарами, виселицами, рабством и бешеной ненавистью к Гитлеру всего мира. Ненависть разбушевалась в их пламенных душах и вырывалась из них страшными взрывами, одна против одной.

Они били друг друга тяжелыми ржавыми обломками своей тяжелой истории, и оба стонали от ударов.

Они то отходили один от другого, то снова сходились совсем близко, и проклинали, и снова хватали друг друга, и вглядывались один другому в блеск очей и зубов в темноте.

Они давили друг друга и прижимали груди и головы к проволоке. И колючая проволока впивалась в их лбы, и кровь стекала с них, и ненависть, и страсть.

— Тихо... тихо...

Они говорили про Москву, и когда Заброда сказал, что Москва уже пала, Запорожец со всей силой ударил Заброду кулаком в лоб, так что искры полетели из него, как из трубы.

— Врешь!

— Не вру... Сам слышал по радио... Пусти!

— Брешет ваше собачье радио!.. Слышишь, говори, что врешь. Говори! Или я тебе голову откушу!

— Пусти!.. Ай!..

— Не пущу! Подай мне хлеб! Подай мне хлеб, говорю тебе...— хрипел Запорожец.

— Не подам... Тихо...

Они говорили то тихо и медленно, как бы нехотя, утомившись, и тогда слова вырывались из уст, как одинокие выстрелы, то внезапно, когда острота ненависти снова начинала раздирать их горячие души, они расстреливали друг друга в упор бешеными ураганами словесного огня. Тогда пена закипала у них на побелевших губах, и брызги вылетали изо рта и казались иногда искрами, как у разъяренных драконов.

— Пусти меня!

— Пусти! Ай-ай-а-а-а-а!..

Иногда они с вершин своего поединка падали, очевидно, от большой усталости до обычных оскорблений.

— Пусти... твоей матери! Пусти, не души меня... Пусти, ну, жидовский батько! Злодей!

— А... немецкий пес. Подхалим немецкий... Ай, пусти!..

— Ага, просишь, гад?.. Вот завтра вытащим из тебя жилы, нарежем звезд из твоей проклятой шкуры.

— Режьте, черт вашу душу дери!

— Будут хрустеть кости. Сам буду ломать! Слышишь? Упаду перед офицером на колени, выпрошу... Сам!

— Слушай, враг. Ты же человек. Подумай...

— Эти же самые слова я тебе тоже когда-то говорил, когда ты выселял меня в Сибирь.

— То было наше внутреннее дело. А сейчас родина гибнет, Украина!

— А что мне родина?

— Все!

— Га? Все? Я все отдам, лишь бы отомстить тебе за свою обиду.

— О, самоубийца!

— Я жертва классовой борьбы. Я арестант.

— Если ты человек, а не дьявол, то должен знать, что узники и судьи бьются рядом, когда отчизна гинет!

— Хай гинет, хай!

— Слушай, нечистая сила, неужели тебя породила земля наша?

Запорожец оттолкнул Заброду. Заброда упал.

— Что же вы натворили, немецкие предатели? — сказал Запорожец, когда Заброда поднялся и снова подошел к нему.— Откуда вы налетели, черные вороны? Чуешь, темная сила? Все равно пропадет ваш Гитлер! Ничего, что я погибну. Не страшна мне смерть. Слышишь? Но страшно мне, когда подумаю, где ж погниют кости обманутых Гитлером бедных наших людей? В каких Африках, в каких Скандинавиях? В каких песках и в чьих морях?

— В Сибири,— глухо сказал Заброда и схватил Лаврина за руку.

— У!.. Пусти, не крути руку, немецкий раб!

— Кто раб? Я раб?

— Ты. А ты думал, кто ты?

— Я...

— Ага. Плачешь?

— Я не плачу. Сам ты плачешь, гад. Чего ты плачешь? Оплакиваешь долю, проклятый?

— Пусти меня! Я не хочу говорить с тобой,— сказал Запорожец.— Оставь меня одного. Я хочу перед смертью немного подумать. Иди... Я хочу очиститься от твоего прикосновения. Я народный партизан, чуешь? А ты... труп! Мертвый ты!

Лаврин Запорожец посмотрел на Левчиху, на ее узелок с хлебом.

— Подай мне хлеб, чуешь? Хлеб подай! Не буду его есть. Я поцелую его.

— Не подам!! — осатанел Заброда и начал бешено топтать узелок с черным хлебом и мертвую руку Левчихи.

Запорожец словно окаменел.

Он увидел свою смерть — вот она, совсем близко, лютая, неумолимая.

И проснулась у Запорожца нечеловеческая жажда жизни. Из широких украинских степей, из дебрей, из темных оврагов повеяло на него гарью истории, головнями, дымом и кровавым паром.

Страсть борьбы и мести, вся воля, весь разум, все вспыхнуло в нем с такой страшной силой, что он в одно мгновение словно возвелся в какую-то необычайную степень, близкую к взрыву.

— Стой, собака! Не смій топтати! — прохрипел он и страшно сверкнул глазами.

Заброда остановился.

— Га?.. Ага!..— как-то исступленно агакнул он, раскрывши рот, и повернулся к Запорожцу.

И бросились они на проволоку еще раз, уже молча ударились грудью, обнялись, и тут только Заброда почувствовал, что он погиб.

Это был уже не тот Запорожец. Словно железными клещами впился он в Заброду, обхватил его, оторвал от земли, поднял, крикнул и, тяжело дыша, изо всех сил рванул его на себя и прижал горлом к проволоке.

Не выдержала проволока, порвалась. Тогда, схватив порванную проволоку, Запорожец закрутил ее вокруг Заброды и завязал на его жилистой шее смертельный узел.

Потом он кинулся на проволоку. Железные колючки впились ему в босые ноги, в руки, в грудь. Они раздирали в куски его тело, но он уже не замечал. Он вырвался на волю.

— Хальт! — гаркнул из-под дерева Людвиг Крауз и, торопливо вытягивая из деревянной коробки маузер, бросился к Запорожцу. Он не ожидал такого поворота действия. Запорожец стоял уже на ограде.

— Хальт! — крикнул еще раз, уже возле самой ограды проволоки, и прострелил обе щеки Запорожца почти в упор, навылет. Стрелять вторично ему уже не довелось. Молниеносным прыжком Запорожец обрушился на него сверху, опрокинул и убил одним ударом кулака в ухо. Удар был такой силы, что офицер умер мгновенно.

Но Запорожец не мог уже остановиться. Выплюнув офицеру в лицо десяток своих зубов, он бил его по мертвой голове с нечеловеческой силой.

Загремели выстрелы. Тогда Запорожец схватил офицерский маузер и автомат Заброды и выпрямился.

— Поднимайтесь, гей! Кто хочет жить, вылезай из могил! Вставайте, люди!!

— Хальт! — кричали немцы, выскакивая из караульной.

— Не тикайте, дядько! Стреляю! Что вы делаете? Не тикайте, стрелять будем! — кричали полицаи.

— Разгибайте спины! Разрывайте проволоку!

— Не тикайте, а то пропали мы!

— Хальт!.. Хальт!..

— Ура-а-а!! — загремело в лагере.

— Вперед, браты! Ура-а-а!

И вылезло из могил, из пещер, из ям все, что было за проволокой,— все разогнулось, встало и бросилось на прово-

лочный забор с такой силой, что он упал в одну минуту и погруз в песок под тысячами ног.

— Свобода!

Уже передние ряды достигли кустов, только ударили вдруг из автоматов в самую людскую гущу. Множество людей покатилось со стоном на землю. Кое-кто в смятении остановился.

— Не останавливайтесь! Не стойте! Пропадете все!! — гремел Запорожец.— Слуша-а-ай!

Такого еще не видели ни украинская луна, ни звезды.

Запорожец один уничтожил половину немецких автоматчиков. Для него, словно не существовала темнота. Он видел всех и все.

Он выводил своих людей на волю, туда, где было зарыто оружие.

— Назад! Назад! Стреляем! Огонь!! — ревели полицаи.

Никто не отступил. Ни одна душа,— так хотелось жить. Прыгали с обрыва в Десну даже те, кто сроду не плавал, и, не умеючи, переплывали, перелазили Десну, удивляясь своей необычной власти над водой.

Только некоторые, у кого от голода не хватало сил или кто был ранен, те не смогли победить своего неумения плавать. Они погибли в помутневшей Десне, не замечая, что они тонут. До последнего мгновения казалось им еще, будто летят они на свободу, и радость не покидала их до самой смерти.

И только кое-где показывалась из Десны трудовая рука, как бы посылая живым свой последний привет:

— Прощайте... Потопаю...

Олеся и Христя метались по тесным местечковым проулкам возле станции. За ними гналась немецкая стража. Вот она загнала их в тупик и схватила.

— Вы почему не хотите ехать в Германию? — спросил станционный пристав, когда их привели в участок.

— Так теперь и здесь Германия,— сказала Христя.

— Да. Но вам здесь нечего делать. Здесь не будет ни фабрик, ни заводов. Все там. Нужно там работать, чтоб скорее победить врага.

— Какого?

— Красную Армию.

— Так они ж свои...

— Разденьте их и дайте по двадцати горячих.

Жандармы кинулись к девушкам.

Они снова спрыгнули с поезда, на ходу. Они долго бежали по полям, оврагам, долинам. За ними гнались. Они падали и снова бежали. По ним стреляли. Выбившись из сил, они стали, подняв руки вверх. Никто их не жалел.

Они снова двигались в поезде с другими девчатами, коровами, конями. Бесконечными поездами увозились на запад пленники украинской земли. Остановился эшелон на маленькой обгорелой станции рядом с другим длиннейшим эшелоном, что тоже тянулся на запад.

Из товарных вагонов выглядывали желтые, измученные люди, военнопленные из концентрационных лагерей, окруженцы, дезертиры и просто несчастные, лишенные свободы и закона, невольники тяжелых и опасных работ в Германии.

— Здорово, девчата! Откуда будете? Чьи? — спросил через окно молодой чубатый парень. Он не утратил еще молодецкого форсу. Любил он девчат да и песни знакомые. Вспомнилась ему улица, веселые ласковые девчата, песни на колядках в звездные ночи, ясные зори...

— Чьи будете?

— Немецкие! — сказала Христя.

— О?!

— А ты думал твои, сукин ты сын! Шут! Дезертир вонючий!

— У, подумаешь, немка! — обиделся парубок.— Да мы таких, как вы...

— Что? Хам ты проклятый!

— Вот то самое.

— Что? Побросали для немецких бардаков, сукин ты сын, раб!

— Иди ты, барахло... я пленный,— опешил «кавалер».

— Ух, ты! Пленный! А почему ты пленный? Крови спугался? Защитник родины! «Чьи вы, девчата?..» Кавалер! У, гадина! — Христя дрожала от ненависти.

Всю свою боль и протест против беспросветной действительности, в какую ее ввергли эти «пленные», беспечные бездельники, весь гнев своей горячей натуры обрушила она на невольников. У нее не было к ним ни жалости, ни сочувствия. Дурацкий вопрос и шутовской тон возмутили ее. Вагон стоял перед нею, как образ не только беды и несчастья, но и смутной какой-то, казалось ей, вины.

Немецкая стража с удовольствием слушала эту перебранку обездоленных людей и смотрела с презрением на оба вагона.

— Да брось, Христя, перестань,— сдерживали Христю подруги.— Эх, стыда у вас нет! — упрекали они мужчин.

— Дезертиры!! — кричала Христя.— Как вы смеете смотреть мне в глаза?!

— Иди ты! — огрызнулся кто-то из мужского вагона.

— К немцам еду в неволю, будьте вы прокляты, нехай! — кричала Христя уже на ходу поезда, высовываясь из окна вагона.

— Как я ненавижу их, Олеся,— сказала она, обернувшись к Олесе, и упала на нары.— Чтоб так опуститься!

— Христя...

— Зачем же они бежали, скажи мне? Зачем они бросили нас так легко на поругание врагу? Почему не умерли они в боях, чтоб я плакала и молилась за них?

— Так всюду говорят же, вся Европа сдалась,— сказала Олеся.

— Так то Европа, а то мы... Ай! Ну где их гордость? Где их мужество? Кто простит им это? Скажи мне?

— Это, говорят, отступление стратегическое.

— Куда? Пропали мы теперь, пропали! Что, неправда? Скажи мне, Олеся, правда, правда?..

Христя засыпала Олесю сотнями самых болючих вопросов, что не давали ни одной девушке покоя, что мучили их и доводили до поступков отчаянных и ужасных. Этими вопросами, словно отравленными стрелами, были ранены измученные их сердца и разум.

— Что ты сказал той дивчине, подлюга? — спросил «пленного кавалера» хмурый, высушенный мучительным внутренним огнем Степан Сорока.

— А пусть не...

Сорока ударил «пленного» изо всей силы в ухо так, что тот, как сноп, повалился на нары.

— За что ты бьешь человека? — разгневался один из невольников.

— Какого человека?

— Зачем человека ударил?

— Человека? Тут нет человеков. Тут рабы,— глухо проговорил Сорока.

— Какие рабы? А ты слышал, что она ему сказала? — возмутился другой гордый невольник.

— Для нас нет уже оскорблений... для вас и для меня...

— Олеся, я ненавижу их за поганую войну,— шептала Христя, прижавшись к Олесе.— Зачем они бросили нас?

— Христя...

— Что, неправда?

— Неправда... Правда, да не вся. Это только половина правды,— сказала Олеся.— Да и дело вовсе не в том, кто больше или меньше виноват.

— Ну а в чем же?

— В несчастье. В роду... — Олеся наклонилась к Христе и взяла ее за руку, как больную свою сестру.— В нашем роду. Мы женщины, Христя, мы матери нашего народа. Нужно все перенести, нужно родить детей, чтоб не перевелся народ. Посмотри, что делается. Множество миллионов гибнет. За это ж они умирают, наши, как бы там ни бились. Я верю, Христя, верю! Ни за что не будет по-немецки, ни за что!

Олеся почти выкрикнула последние слова. Глаза ее светились глубокой верой в жизнь, в торжество добра и победы.— Я верю! И ты верь, Христя. Они тебя душат, а ты верь! Они тебя бьют, а ты верь!

— Олеся, если у меня родится немецкое дитя, я его задушу! — вдруг сказала Христя, отвечая на свой нестерпимый вопрос.

— Христя, ты?..

Христя упала на нары.

— Германия! — кричала девушка в окно вагона.

— Последняя украинская станция,— сказал кто-то в приоткрытую дверь.

Заплакал, затужил вагон. Олеся и Христя взглянули друг на друга.

— Слышишь? Чужая земля...

— А, проклятые, проклятые!

Плакал вагон.

— Прощай, Христя! Прощай, я плавать не умею... Что ж делать, Христя? — тужила Олеся, заломивши руки, бегая вдоль берега речки в камышах.

Христя переплывала речку. Она была уже на середине.

— Они уже бегут ко мне, Христя! Я чую их свист! — кричала Олеся.— Мамо, матинко, Василь! — Олеся оглядывалась вокруг.

— Ага, вот она! Бежать?

Три немецких жандарма схватили ее и оторвали от земли.

Олеся вырвалась от них и припала к земле. Она хотела взять горсть земли. Они схватили ее за руки.

— Дайте мне хоть горсточку земли! Прошу вас!

— Чего?

— Родная земля моя!..

— Это наша земля, украинская дура,— процедил сквозь зубы жандарм и повалил Олесю.— Отойдите...

Страшно отомстил фон Крауз за смерть своего сына. Он собственноручно перестрелял всех полицейских, кроме двух — Ивана Гаркавенка и Устима Товченика, которым удалось спрятаться в кустах. Сожгли хату Запорожца, за ней хату сына, брата. Потом немецкие батраки, ремесленники и клерки бросились к хатам всех, кто был в партизанском реестре. Клали семьи на пол в ряд, от велика до мала, до грудных детей, и расстреливали, поджигая хаты. Вешали, рыча и смеясь от клинической страсти. Гонялись за женщинами, отнимали детей и бросали в огонь. И женщины, чтобы не жить уже на земле, не видеть, не проклинать, не плакать, прыгали в огонь вслед за детьми и сгорали в пламени страшного немецкого суда.

Высокое пламя полыхало в ночи, трещало, взрывалось глухими взрывами, и тогда огненные соломенные пластины, словно души погибших гневных матерей, уносились в темную пустоту небес. Повешенные смотрели ввысь со страшных своих виселиц, раскачиваясь на веревках и отбрасывая на землю незабываемо чудовищные тени. Горели улицы. Горело все село. Все, что не успело бежать в лес, в камыши, в потайные ямы,— все погибло.

Не стало прекрасного села. Не стало ни хат, ни садов, ни добрых ласковых людей. Одни только печи и печища белели среди пепла и угля, да кое-где висели обгорелые трупы на столбах или грушах. Некому было ни плакать, ни кричать, ни проклинать.

Светало. Тихо. Но вот промчались по мертвой улице два всадника туда и назад. В сгоревшее село въезжал небольшой конный партизанский отряд. Видно, издалека прибыли народные мстители. Кони были утомлены, в мыле. Только всадники не знали усталости, держа наготове оружие и зорко оглядываясь по сторонам. Стали. К одинокой кринице под вербой, где Олеся воду брала, подъехал Роман Запорожец, командир партизанского отряда.

Долго гулял Роман по Украине. Много мостов взорвал, поездов, военных складов. Тысячи оккупантов прокляли свою жизнь за одну-единственную краткую встречу с партизаном Запорожцем. Немногие бы тополевцы узнали в нем мягкого, веселого Романа: суровая борьба и невиданные бедствия народа и выполнение самых суровых повелений истории наложили на него свою жестокую печать. Это был воин, бесстрашный и суровый народный мститель, подобный прадедам своим, имя которых он носил. За его голову фашисты назначили высокую цену.

И вот, пробиваясь в глубоком рейде, заскочил Запорожец в родное село.

Родное село! Чье сердце сына или брата не бьется в груди! Не рвется вперед? Не млеет в тревоге — где вы, где вы?

— Гей! Кто живой? Отзовись! — глухо закричал Роман. Никто не отозвался.

— Гей, кто в поле, отзовитесь!

Не отозвалась ни одна душа в поле.

Только одна душа отозвалась. Когда подошел Роман к погребу и, открывши дверь, повторил свой клич в черную яму, отозвалась из ямы душа матери. Кинулся Роман в яму.

— Мамо!

Посветил фонариком и увидел среди трупов свою мать.

— Сыночку!.. — и умерла.

На утро поднялся весь район.

— Партизаны!

Фон Крауз схватился с кровати и задрожал от страха. Спрятаться? Куда? Задрожал дом от взрыва бомбы. Запорожец уже врывался в город.

Немцы бежали, отстреливаясь, куда попало.

Молодой народ шел в партизаны, в лес, и матери благословляли сынов своих на труд и грозные бои, на жизнь в лесах и болотах.

Бежали полицейские в тайные берлоги и овраги.

Вот так однажды где-то за селом, в ровчаке под лесом, пятеро полицейских пили водку.

— Ну, товарищи полицейские, курвы, пропали мы. Будьте здоровы!

— Да иди ты!

— Болячки наживешь, пропали к чертовой матери! Ну что его делать?

— Не знаю. Растерялся! Ну, будем живы! Закусывай... Проклятые фашисты, проклятые!

— В партизаны надо тикать...

— Эге. Пойди!

— И пойду!

— Ну и обсмалят, как кабана.

— Да ну? От жизнь, так его...

— А ты, Макар?

— Не хочу.

— Ты ж говорил, что пойдешь.

— Я раздумал. Где наша армия? Может, где-то на Урале еще. Шутка сказать, когда она вернется! Так я это, дурак, буду тебе таскаться по лесам в партизанах, как волк, а вы меня будете гонять.

— Кто?

— Подожди. На, выпей.

— Не хочу.

— Слышь?

— Стой!

— Та иди к чертям! Я думаю вот, в полицейких с полгода еще покручусь, а там убью десяток фрицев, да и в партизаны, когда армия будет подходить!

— От сволочь.

— А ты? Подумаешь, идейный.

— А я сейчас пойду.

— Ну иди, попробуй.

— Ну и попробую. Думаешь, тебя испугался?

— Ты смотри мне.

В кустах стояла партизанская застава.

— Стой!

— Ай!

— Тихо!

— Не пугай!

— Куда идете?

— До партизан. А не вы, это, будете?

— Ну?

— Сыночки мои! Примите моего хлопца к себе. Умоляю вас. Пропадет хлопец.

— Чего?

— В полиции служит... Голубчики...

— В полиции?

— Эге. От беда! Ну и что ж его делать? Я, говорит, мамо, пошел бы в партизаны, так боюсь. Так, говорит, я их боюсь! Зарежут или обсмалят, как кабана. Так я вот...

— А где он?

— А не тронете? — старая Одарка Товчениха пристально всматривалась в партизан.

— Да нет, если не провокатор, помилуем.

— Голубчики, сыночки мои, спасибо вам... Устим! Иди сюда!

Полицейский Устим Товченик осторожно вышел из кустов.

— Иди, говорю! Чтоб тебе ноги поотсыхали!

— Здравствуйте.

— Шапку сними, проклятый! Подожди, я тебе покажу полицию!

И Товчениха начала бить палкой своего ледащего полицая под веселый смех партизан.

— Ну, кажи!

— Простите, товарищи! Клянусь вам, что, где бы я только ни встретил фашиста чи националиста, на клочья буду рвать.

— Ну, ладно. Ради матери уже примем.

Полицейскому Ивану Гаркавенко, тоже перебежавшему к партизанам через несколько дней, не сразу повезло. Его не хотели принимать. Партизаны только что вышли из боя. И разведка принесла им горькие вести о немецких зверствах и грабежах. Обступив Гаркавенка, они смотрели на него грозно и враждебно. Они пронизывали его гневными своими очами и, казалось, расстреливали его каждым взглядом.

— К такой матери! Примете такого гада, товарищ командир, воевать не будем!

— Что за бардак!

— Всякую гадину, изменников принимать!

— Шпионы немецкие лезут в партизаны!

— Геть! Расстрелять сволочь!

— Повесить! — гудели партизаны.

— Помилуйте, братья!

— Какие мы тебе братья, полицейская сука?! — гневался новоиспеченный партизан Устим Товченик.

— Устим!

— Я тебя не знаю!

— Так это ж я, Устим!

— Не знаю!

— Товарищи, не будьте ж такие жестокие! Будьте ж люди!

— Ага! Людскости захотел. Мы уж не люди здесь! Мы бродим, как звери, в лесах и болотах и не знаем, где голову прислонить!

— Так и я не знаю.

— Молчать! В облавы ходите на нас! Отцов наших убили, матерей, жен, детей!

— Товарищи...

— Молчи... Где мои дети?

— Верни мне мать!

— Кто моего батька сжег?

— Товарищи, так и у меня сгорело все... Батька убили, жену погнали в неметчину. Кажут, плакала и проклинала меня и все на свете, товарищи. А я брожу зверюкою в лесах вторую неделю.

— Дослужился, полицейская собака!

— Помилуйте! Вы думаете, я продался?

— А что?

— Меня принудили! Разве я виноват, что я полицай?

— Мы тебя уничтожим не за то, что ты полицай.

— А за что?

— За то, что ты плохой полицай!

— За то, что ты, мерзавец, народ угнетал!

— Так, товарищи, нету ж хороших полицейских. Служба ж хамская! Я ж не хотел, ей-богу... Устим, скажи!

— Я тебя не знаю!

— Вот чтоб я проклят был! Чтоб я проклят!

— Брешешь, гад! — закричали партизаны и начали бить его.

— Ей-богу, правда! От ей же богу, правда! Устим, говори же, сукин сын, не бойся!

— Я не знаю тебя!

Когда перед ним взвели стволы винтовок, он упал перед ними на колени и, схватив горсть земли, заплакал:

— Клянусь святой, родной нашей землей! Вот чтоб я подавился ею, гляньте! — он начал есть землю, обливаясь слезами. — Тато, тато, голубчик мой сизый! — тужил он перед смертью.

— Подождите стрелять, стрельцы! — вдруг послышался голос из леса.

Партизаны оглянулись. К ним подходил в сопровождении двух партизан какой-то человек. У него были завязаны глаза.

— Шумят леса стрельбой, шумят,— сказал он, когда его поставили в партизанский круг.— Свет ты мой убогий. Где пролилось на тебе столько крови, как у нас на Украине? Где столько плача, криков, разлук?

— Снять повязку! — приказал командир отряда.

Сняли повязку — Лаврин Запорожец...

— Запорожец?! Товарищи, смотрите — тополевский староста! — закричал полицейский Иван Гаркавенко.— Людоед проклятый! Товарищи партизаны, это ж он людей в ярма запрягал!

— Ага, уже тут? Ну слава богу,— сказал Запорожец, взглянув на Ивана Гаркавенка.

— Мироед!

— Помолчи, дурак... Здравствуйте!

— Кто такой? — спросил комиссар.

— Да тот же мироед, что вам людей прислал... Что-то никого не вижу,— оглядывал Запорожец партизан.

— Каких людей?

— Брешет! В неметчину отправил полсела! Дочку свою продал в рабство! — закричал Гаркавенко.

— Постой, постой! — сказал комиссар отряда.— Запорожец? Людей твоих нет и дочки нет. Не знаем.

— Нет? Знаю, что нет...— Страшная правда схватила Запорожца за горло. Ему нечем стало дышать.

— Иуда!

— Как ты здесь очутился?

— Не понравилась служба. Подал в отставку. Вот сторож,— показал Запорожец на Гаркавенка.— Он вам расскажет.

— Людей в ярма запрягал?

— Запрягал.

— Зачем?

— Чтоб злее были.

— Что?!

— В неволе зло — великое дело.

— Каин!

— В немецкую неволю продавал?

— Продавал.

— Дочку продал?

— Продал.

— Довольно!

— Расстрелять пса!

— Напрасно. Я б не стрелял,— спокойно и даже равнодушно сказал Запорожец.

— Да? Так научи нас, палач, что с тобой делать? Повесить, сжечь, закопать в землю? Скажи, какой платы хочешь ты от нас за детей, за отцов наших?

— Говори! Выбирай кару, сукин ты сын!

— По какому закону судить тебя?

— Я бы хотел, чтобы судили меня по закону народного бедствия,— тихо и отчетливо промолвил Запорожец.

— Что?

— Много нарубаете дров, вижу по вас. Кто тут самый старший?

— Я,— сказал молодой командир партизанского отряда Грицко Гулак.

— Так вот что, хлопче...

— Помолчи! — разгневался Гулак.— Разговаривать мне будешь, гад!

— Народного закона захотел!

— Да!

— Творец народного горя хочет закона!

— Не творец, а жертва.

— Ловко, фашистский прихвостень! Полсела, дочку продал, кулак,— обратился Гулак к партизанам.— Вот оно пламя классовой борьбы в мировой войне!

— Иди ты к чертовой матери с такой борьбой,— глухо сказал Запорожец.

Он понял, что пришла его последняя минута. И оттого все стало для него уже непоправимым, недоказуемым, все чувства его пришли в смятение, все знания, все, чем он жил, гордился, что возвышало его сознание. Он был почти безумен.

— Он с ума сошел перед смертью, — сказал Гулак.

— А, по-моему, вы помешались! [...] Убивайте, прошу вас. Убивайте, ну! Доставьте радость полковнику Краузу. Соблюдайте чистоту линии! — Терпкая горечь и боль прозвучали в словах отца пяти сыновей.

— Что он мелет?

— Народные мстители! Разве то, что случилось со мной, с селом, не тяжелее смерти во сто крат? [...]

Партизаны задумались. Много глубоких мыслей, воспоминаний и чувств вызвала у них эта странная речь. Перед их духовными взорами возникла вдруг вся Украина в огне, во множестве своих страданий и тяжелых противоречивых трагических столкновений. Великая и несчастливая земля!

Вдруг послышались крики. Показались всадники, быстрые, как ветер с востока.

— Товарищ командир! Партизаны из-за Днепра!

— Ура-а-а!! — загремело по лесу.

К Гулаку подлетел на вороном коне Роман Запорожец.

— Здорово, товарищ! Что за Каин стоит под деревом?

— Батько твой, сынку! — крикнул Лаврин, увидев своего сына.— Немецкий прихвостень!

И Лаврин Запорожец упал на землю без сознания.

— Нумер цвай таузенд зекс хундерт ахтундфирциг! Форнаме Галька! Плятц! — выкрикивал военизированный фашист Курт Рихтер.

Это был толстый, розовый, свиноподобный немецкий человечек. Несмотря на полноту, он был юркий и живой. Вся его фигура, движения, льстивая усмешка и лексикон выдавали в нем мелкого лавочника или приказчика. Возле него стояла голодная и измученная горем украинская дивчина. Она смотрела на рабовладельцев, съехавшихся со всего Берлина и его окрестностей, на страшный этот рынок рабов, и ей казалось, что все это сон. А за ней стояли такие же обездоленные ее подруги, полураздетые и битые.

— Майне дамен унд херрен! — галдел Курт Рихтер скороговоркой лавочника.— Вен зи волен, дас ист бесте украинише медхен. Их хабе шон феркауфт хойте фир хундерт штук!

— Фон вельхе штат?

— Чернигов!

— Найн! Ес гейтс дас нихт! Дас шреклихе лёйте!

— Бите, польтавка!

— Нур польтавка!

— Бите, шён! Олеся! Ком хер! — суетился Рихтер.— Зо, бите. Форнаме Олеся, польтавка!

— О!

— Ах!

— Польтавка?

— Йа! Абер дас костет этвас тёйер! Дас ист прима квалите, бите шён, майне херрен. Зеен зи маль. Повернись... зо, бите шён! Дас ист райне славянише вайблихе шёнхайт, нихт вар? Мит файне бруст унд фигур, нихт! Мит... унд зо вайтер! Ха-ха-ха!.. Повернись! Так. Еще раз. Раскрой рот. Ну! Унд дан майне херрен, дас ист нох дивчина, ферштеен зи?

— Ах, ду бист нох дивчина?

— Нет, я не дивчина,— сказала Олеся.

— А, шаде!

— Я изнасилованная вашими солдатами жена...

— Ты не можешь жаловаться на наших солдат. Ты завоевана. Солдаты имеют свой интерес.

— Кто муж?

— Ваш враг. Боец Красной Армии.

— Армии? — смеялись рабовладельцы.— Армии?! Где она? Нет вашей армии. Капут. Все!

— Врете.

— Ну, большевистише сука!.. Что она может делать?

— Все,— сказала Олеся.

— Алес!

— О!

— Она поет. Майне херрен, она чудесно поет! Пой!

— Я не хочу петь.

— Почему она не хочет петь?

— Я хочу плакать.

— Она хочет плакать.

— А... Спой печальную.

— Нет.

— На, на, на! — одна немка ударила ее зонтиком.— Ну?

«Летіла зозуля через мою хату,
Сіла на калині та й стала кувати...»

Немцы и немки подходили к Олесе, трогали ее руками, поворачивали. Олеся, казалось, не замечала никого, словно ее не было здесь, на этом гнусном торжище невольников. Она была на Украине. Она улетела к отцу, к матери, к Василю, которые где-то далеко-далеко проливали свою кровь за родную землю. Она чувствовала, что эта ужасная действительность не может продолжаться долго, иначе мир должен угаснуть, но действительность наложила на нее жестокую свою руку.

— Дас майне!

— Фрау Крауз?! Бите шён, гнедике фрау!

Олеся взглянула на свою госпожу. Перед ней стояла жена полковника Крауза.

— Василь! — вскрикнула Олеся, словно проснувшись от жуткого сна.

— Как у меня бьется сердце... Как у меня бьется сердце... Олеся! Как у меня бьется сердце! Ай! — стонал Василь.

Он лежал в полевом госпитале на операционном столе. Сестра держала его голову. Над ним трудились хирурги. По-

звякивал хирургический инструмент. Где-то ревели орудия и стены госпиталя дрожали от взрывов бомб.

Василь выпустил автомат и со всего размаху упал на землю. Он попробовал было еще подняться, но его начало вдруг рвать и он потерял сознание.

Его положили на стол. Он слышал, как стонали вокруг раненые и кричали, вырываясь на страшных своих хирургических столах.

— Как бьется у меня сердце, Олеся... Как у меня бьется сердце... Олеся, ай-ай-ай! Как у меня бьется сердце...— кричал он в бреду.

Хирурги резали растерзанные его мускулы, соединяли кости, сшивали его, торопясь изо всех сил.

Они трудились над ним и над его товарищами день и ночь, окровавленные и серьезные.

Санитары подавали им раненых, сестры подносили хирургические инструменты. Кости раненых трещали под общеньками * хирургов.

Санитары поднимали его с хирургического стола.

Товарищи вытаскивали его из пылающего танка через люк. Рвались мины совсем недалеко. Земля тряслась от взрывов и лязга железа. Он был ранен снова. Его нельзя было узнать.

Глаза лезли у него из орбит от дыма и страданий. Он был обожжен. Пролетали мимо танки. Он был обожжен. Сжав зубы, он молчал, пока не крикнул: «Ай!»

Его положили на операционный стол. И снова трудились над ним лекари, бессонные и злые, словно лютые мясники. Они кричали на сестер милосердия и ругались скверными словами, проклиная инструмент, несправляющихся помощников и все на свете.

— Олеся, как у меня бьется сердце. Олеся, как у меня бьется сердце, Олеся, сердце... Ай, сердце... Вперед! За Родину! — кричал он в бреду под ножом.

---

* Клещами *(укр.)*.

— За Родину! Вперед! — махнул рукой Василь, высунувшись из танкового люка.

Ринулись танки в бой.

— Следующий! — кричал хирург.

Василя положили перед хирургом. На лбу знакомый шрам. Лицо замученное, но спокойное и даже усмехающееся. Он в глубоком сне. Над ним и вокруг него безумствовал гром канонады.

Прошло лето. Белый танк горел на снегу среди развалин. Василь лежал перед танком на снегу вдвоем с товарищем, поливая противника из автомата.

Вот он поднялся, бросил гранату и, подорванный взрывом вражеской гранаты, упал на снег.

Василь снова на столе. Снова та же картина. Снова хирурги. И раненых несут. Множество раненых.

Кипит работа у столов. Стекла дребезжат от взрывов, и слышны пулеметы. Упала сестра от усталости.

— Гей! Заберите сестру.

— Нет, черт меня побери, я хирург до границы, а там пулемет возьму, обвешаюсь бомбами! Бомбами! — кричал седой утомленный хирург.

Громадным взрывом разнесло окна. Все задрожало и сдвинулось с места. Воздушной волной бросило хирурга к стене.

— Как у меня бьется сердце, Олеся... Где ты?.. Где ты?..— стонал Василь на операционном столе.

Госпиталь шатался и весь трещал от тяжелого рева войны и стона раненых советских людей.

— Олесиа! — Фрау Крауз вошла к Олесе в комнату.

Олеся дремала на постели.

— Встань! Ты опять лежишь!

— Я больна.

— Ты написала домой письмо?

— Написала.

— Ты счастлива?

— Да.

— Ты написала, что ты счастлива?

— Да.
— Что у тебя отдельная комната?
— Да.
— Ты написала — жду ответа, как золовей лета?
— Да.
— Ну?
— Не отвечают.
— Расскажи мне о твоем селе... Эмма, ком хер!
Вошла Эмма, невестка фрау Крауз.
— Ну?
— Я уже рассказывала.
— Расскажи еще раз про гору и про речку. Ну! Ах, майн гот, когда уже кончится эта ужасная война? О, проклятые большевики, звери! Как наши мальчики страдают там! Как мне хочется уже поехать туда, в восточную Германию, Эмма. На горе над речкой будет наш дом. О, ты там будешь иметь работу, Олеся! Ну какая речка, скажи?
— Речка тихая-тихая! Много лилий. И вербы над водой. А село, как цветник, тоже тихое-тихое.
— Ох, вундербар!..
Олеся заплакала.
— Не надо плакать. Руэ! Ну, тихое-тихое! Ну, вайтер!
Вдруг послышался звонок. Фрау Крауз схватилась за сердце. Какое-то зловещее предчувствие проняло холодом ее злобную душу.
— Мама!
— Эмма?
— Ху! Как я боюсь! Ну, вайтер. Село тихое-тихое... Ну, говори...
— Мама! — Эмма распечатала письмо и начала читать.
— О? Руэ... Эмма... Руэ...
— Людвиг!
— А...
— Мама!
— А-а-а!.. Готес... Людвиг!..
И старая фрау Крауз выбежала вместе с Эммой из кухни.
Олеся испугалась. Она поняла, что случилось несчастье и что ей не миновать беды.
Немки ревели в спальне, словно помешанные. Но вот рев начал приближаться к кухне. Олеся бросилась к двери, но не хватило у нее сил бороться с двумя здоровыми немками. Ворвавшись в комнатушку, они бросились на нее, как звери, Олеся вырвалась и прыгнула в окно.

Олеся раскрыла глаза. Ей показалось на миг будто кто-то ее позвал. Она оглянулась. Никого. Тихо. Ясная ночь. Один лишь бурьян вокруг да убогие печища. Она стояла возле родной печи и нюхала пучочек сухих материнских гвоздик, найденных в печурке.

Так вот она, родная Тополевка. Вот вербы, криница под горелою вербою.

— Речка тихая-тихая. И село, как цветок, тоже тихое... «Вундербар!» — вспомнила она страшную немку.

Много времени прошло с тех пор, как бросилась Олеся через окно в грозный житейский омут. Много буйных, необычных ветров носило ее, словно песчинку в пустыне. Много горя и грязи с тяжелых кровавых путей и перепутанных троп прилипло к молодому ее телу и душе. Не раз и не два кричала, терзалась, горела огнем ее девичья совесть под натиском мерзости и неумолимого насилия на широком просторе аморальности и упадка.

Долгие блуждания на чужих дорогах приводили ее не раз в смутное отчаянье, повергали не раз ее в болото отупения, равнодушия и желания смерти.

— Зачем я Василю такая, зачем? Куда я иду? Чего я иду? Кто пожалеет меня? Кто я? Ни девушка, ни женщина, ни мать.

Она шла домой. Сила, что несла ее на восток, на Украину, была необычайная. Ее несла мудрая неумирающая воля к жизни рода, то великое и глубочайшее, что утверждает в народе его вечность.

Она была уже некрасива, немолода. У нее были седые волосы и грязные, измученные руки со всеми следами холода, голода, леса, оврагов, земляных ям и нужды.

Не спрашивайте, какой ценой она добралась домой. Ибо тогда вы расстреляете ее за аморальность. Думайте, что она жалостливыми выдумками прикрывает легкомыслие свое и распущенность, если вы сами привыкли к вранью. Тогда станет одной девушкой меньше.

Или упадете перед ней на колени и горячим своим участием всколыхнете яд воспоминаний.

Ничто не изменится. Все было. И, может быть, самая большая мудрость в таких горьких событиях — следовать природе, пославшей человеку счастье забвения тяжелого в добром времени.

О время! Великий, мудрый художник. Ты несешь на своей палитре не только седину нашу, или поднятые носы, или бли-

зорукость нашу, или случайные подчас знаки наших геройств, но и что-то неизмеримо большее, глубокое и великое, что в синеве будущего создаст блистательной красоты трагический портрет бессмертного нашего народа.

— Кто здесь?

— Я... Кто тут?

— Я...

— Кто я?

— Христя... Олеся?!

— Христя!.. Это ты, Христя?

— Олеся!

— Выходи!

— Выходи ты!

— Ты узнала мой голос?

— Да.

— Это ты?

— Да... Это ты?

Они упали друг дружке в объятия и громко заплакали в бурьяне посреди двора. Старая украинская луна освещала их безучастным своим светом.

— Откуда ты, сестра моя?

— Как ты, голубонька?

— Убежала?

Они всматривались одна в другую и гладили дрожащими руками руки, плечи, щеки.

— Ой!

— Как будто сон!

— Правда?

— Как я плакала по тебе!

— Где ты?

— Кто ты? Оружие!.. Христя! Ты партизанка?

— Нет, Олеся, не партизанка я. Я жена фашистского палача, — сказала Христя. — Итальянец он, капитан Пальма. Помнишь, как мы разлучились с тобой? Прости меня, сестра...

— Ну что ты, Христя...

— Я слышала твой плач. Мне хотелось тогда утопиться. Ну, как я забыла, что ты не плаваешь?

В тихой речке возле лилий плавала дивчинка лет семи. А другая сидела на берегу, Олеся. Они смеялись обе. Светлое воспоминание о далеком святом детстве промелькнуло перед ними ласточкой и исчезло.

Уже из другой, далекой незнакомой речки выходила невольница Христя в мокрой одежде. Упала на берег посиневшая. Ее рвало водой, пока не укрыла ее ночь, бессильную, полумертвую.

Она стояла на улице небольшого городка. Она была хорошо одета. Она была чем-то напугана. К ней подошла какая-то незнакомая женщина, гордая злая волчица-немка и с подчеркнутым презрением ударила ее по щеке. Потом она ударила офицера.

Полковник фон Крауз вошел в штаб карательного отряда, темный, как ночь.

Это было в небольшом местечке, когда-то красивом и тихом, славном своими садами и песнями.

Фон Крауз подошел к окну. Где-то горело. Пламя то взметалось огромными языками, то угасало, потопая в дыму, то рвалось от ветра во все стороны с глухим гудением, и офицерские тени метались по стенам хаты, как зловещие привидения. Казалось, зашатался весь мир. Звонили будто бы колокола, что-то кричало истошным криком и тарахтели автоматы.

— Пальму!

— Капитан Пальма!

Капитан итальянского карательного отряда Антонио Пальма быстро вошел и стал посреди штаба.

— Капитан Антонио Пальма!

Фон Крауз оглянулся и с омерзением смерил его глазами.

— Это вас ударила вчера по морде женщина на улице?

— Да, она меня ударила...

— По морде. Кто она?

— Немка. Туристка.

— С кем вы шли?

— Со своей женой.

— Неправда.

— Правда.

— Она ее тоже ударила по морде?

— Да.

— А вы что? Почему вы не застрелились? Почему вы... Кстати, кто ваша жена?

— Украинка.

— Имя?

— Христина.
— Вы ее любите?
— Нет.
— Зачем вы женились?
— Я должен иметь жену.
— Вам мало здесь всякой твари?
— Я так не могу. Свои отношения к женщине я люблю обставлять красиво.
— Вы мерзавец. Вы аморальное существо. Вы понимаете это?
— Да.
— Вы вешаете, расстреливаете, сжигаете их отцов, уничтожаете братьев, а эта аморальная сволочь, эти духовные проститутки, твари лезут к вам в кровать — убийце и злодею. И вы обнимаете эту сволочь? Мне противно на вас смотреть. Я оскорбил вас, вы слышите?
— Меня нельзя оскорбить.
— Что? Почему?
— Потом скажу. Продолжайте.
— Какая мерзость!
— Да, но вы же поощряете солдат жениться. Вы же разложили всю страну.
— Солдаты другое дело. Мы имеем здесь особый интерес.
— А офицеры? Я могу вам назвать... Это тоже?
— Да. Их потаскухи нам служат. А что делает в этом направлении ваша синьора? Ничего? То-то вы так часто удираете с вашим батальоном! Я должен допросить эту вашу жену. Приведите сюда фрау Пальма.
— Ее нет.
— Где она?
— Она исчезла этой ночью.
— При каких обстоятельствах?
— Когда мы бежали из города, она осталась.
— У партизан?
— Да.
Крауз засмеялся.
— О, теперь я, наконец, понял ваши слова. О, конечно, вашу итальянскую честь ничем уже нельзя унизить после того, как от вас, побитого офицера, убежала ваша синьора. Так я вас понял?
— Нет.
— Что?

— Меня невозможно оскорбить потому, что на земле умерла мораль.

— Как? Кто умер?

— В этой войне не будет победителей и побежденных, а будут погибшие и уцелевшие.

— Бите!

— В этой войне не будет победителей. Будут погибшие и уцелевшие, — повторил капитан Пальма.

— Так... все слышали? — обратился вдруг фон Крауз к присутствующим.

Стало тихо. Несколько офицеров стояло, словно окаменев. Страшная правда, давно уже не дававшая им покоя, была высказана. Досадно, что ее сказал итальянский офицер, которого все ненавидели, как и весь его отряд, за плохую войну с партизанами.

— Немен зи плятц, бите, — сказал полковник и сел.

Сел и Пальма.

— Умштайген!

Капитан Пальма встал и выпрямился. Длинная тень его метнулась по стенам и по потолку хаты.

— Что вы болтаете здесь? Если вы с вашей паршивой итальянской сволочью вынуждаете меня вот уже год бегать от партизан и прятаться от двух бандитов Запорожцев, я вас спрашиваю, что? Что дает вам основание преподносить мне вашу жалкую болтовню?

— Гер полковник!

— Я расстреляю вас!.. Как вы смеете? Какой провокатор, какой дурень вам это сказал? Га?

— Гер полковник, это сказал фюрер, — ответил Пальма.

— Фюрер?

— Хайль Гитлер! — вскрикнул горбатый гестаповец.

Все встали, кроме полковника Крауза. Он начал кашлять.

— Вот как.

— Лейзен зи маль, бите, — капитан Пальма подал фон Краузу газету.

— О... Дас хат гезагт фюрер?

— Йаволь!

— Зетцен зи.... Что вы думаете? — обратился фон Крауз к майору Штиглицу.

— Ферцайен бите, гер полковник,— вскочил майор Штиглиц.— Я не должен думать. Я солдат. Я существую здесь не для размышлений, а для действий. Дизе итальянише хунд может думать что-нибудь, пока я не повешу его...

— Капитан Пальма! — поправил Штиглица фон Крауз таким голосом, что Штиглиц онемел.

— Капитан Пальма... — пробормотал он и затих.

— Немен зи плятц, капитан Пальма, — сказал фон Крауз.

Пальма сел.

— Я считаю, что фюрер Гитлер говорит глупости, ферштеен зи? — сказал фон Крауз громко и выразительно, чтоб всем было слышно. — Нужно быть абсолютно аморальным и легкомысленным неучем, чтобы болтать подобное перед народом в тяжелую годину.

— Вы не имеет права так говорить о фюрере!—сказал гестаповец, двугорбый рахитик, фанатично влюбленный в Гитлера.

— Вы должны остерегаться так говорить, гер полковник! — заверещал он, оскалив зубы, словно хорек.

— Успокойтесь, господин нацист! Я не думаю, что я сегодня должен бояться фюрера за свои слова. Их бин уберхаупт дер дойчен кригер унд альте дойчен официр! Нихт! Если вы уж хотите знать, я не думаю, чтоб сегодня Гитлер... Это он мог позволить себе до Сталинграда, но после Сталинграда, где он погубил цвет нашей нации...

— Истинная правда. Теперь он там здорово хвоста поджал, собака! — послышался вдруг с печи голос Товченика.

Что дернуло Мину за язык, кто его знает. Он словно забыл на один миг, где он находится. Он был большим любителем бесед еще с давних молодых лет. Правда, он почти ничего не понял из всего, что немцы говорили в хате, но безудержное любопытство и фантазия Мины Товченика и страстное желание проникнуть в тайны разговора этих душегубов были так велики, что Мине поневоле начало казаться, будто он уже начал понимать все, что они говорили. Иногда он протирал пальцем ухо, словно оно мешало ему понять до конца этот язык.

И вот, наконец, он понял все. Он услышал в грозной интонации фон Крауза слова «фюрер» и «Сталинград», и ему сразу все стало ясно и так захотелось вставить в беседу умное слово, что он не сдержался и сказал.

Когда его стянули с печи и поставили перед полковником фон Краузом, который подумал вначале, что это сон или плод его больного, усталого воображения, Мина произнес:

— Я не великой науки человек, никого не убивал и не крал, но раз уже так сталось, что вы меня считаете почему-то партизанским шпионом, воля ваша. А в рассуждении текущего

момента я целиком присоединяюсь к вашей думке — хайль теперь Гитлер покрутится, собацюга!

— Замолчи!

— Молчу. Я что? Я ничего... Моя не понимала, что ваша балакала, ферштеен зи? — заговорил Мина «по-немецки». — Мое дело сторона. Ну что мне вот интересно — интересно мне вот что: чем оно все это кончится? Как оно будет после вас? Поумнеют ли хоть немного люди или так уж и спустеют в глупостях и зле, как вы.

— Где Запорожец?

— Га?

— Где Запорожец?

— Где куст, там и Запорожец, где лес, там и тысяча...

— А, хунд!

— Вот тебе и фунт! И может, он и здесь под хатой.

— Кто?

— Запорожец! Или в сенях!.. Или в коморе! Или в полицаях у тебя, дурного! Ага!

— Шмицдорф!

— Йаволь, гер полковник!

— Повесить на двадцать дней!

— А, все равно не поможет. Ауфидерзейн!.. — сказал Мина.

Двое жандармов схватили его под руки. Потащили.

Когда Мину вывели в темные сени, где было немало итальянских солдат с пулеметами и разной амуницией, он вдруг выпал из жандармских рук на пол, как мешок с просом. В этот же миг что-то так сильно укусило одного жандарма за поджилку, что он взвизгнул, словно ошпаренный, высоким, как у девки голосом и бросился на солдат. Произошла свалка. Кто-то выбежал из сеней в темноту. По ком-то стреляли. Кто-то открыл дверь.

— Руэ! Вер ист дорт?

— Бандит бежал!

— Как бежал?

Согнувшись в три погибели, Мина мигом прополз в хату и полез под печь, а оттуда особым ходом на печь, на старое свое место...

— Поймать! Слышите?! Поймать, мерзавцы! Расстреляю!..

— Расстреляю до ночи, сволочи! — неслись на печь грозные возгласы фон Крауза.

Мина лежал тихо, закрывши рот ладонью.

А два жандарма, бросившиеся вокруг хаты ловить Мину, застрелили друг друга в темноте с перепугу.

— Ах, мерзавцы! — бесился фон Крауз.— Вы знаете, кто это был? Это главный разведчик Запорожца, какой-нибудь дядюшка вашей жены. Фу! Он начинает мне уже сниться... Капитан Пальма, повторите еще раз, что сказал фюрер.

— Фюрер сказал, что в этой войне не будет победителей. Будут мертвые и уцелевшие.

— Да. В этой яме можно подумать, что угодно. Идите, — сказал фон Крауз, обращаясь к Пальме. — Стойте...

— Да, гер полковник.

— Что вы думаете?

— Я думаю, что мне нужно быть осторожным, — сказал Пальма. — Ваши офицеры ненавидят меня. Меня ненавидят мои солдаты. Пока еще свою ненависть ко мне и к вам они топят в украинской крови. Но дальше...

— Ну?

— Я устал.

— Я знаю, вас ненавидят наши офицеры-выскочки. Эта стая распущенных материалистов. Но нужно жить и бороться, во имя жизни хотя бы... Во всяком случае, если даже уже выйдет так, как сказал Гитлер, пусть сгорит вся эта страна, пусть сгниет — уцелеть должны мы!

— Э нет! — хотел сказать Мина, но на этот раз ему посчастливилось закрыть себе рот ладонью или, может быть, это так ему показалось. Во всяком случае, что-то не то зашелестело, не то икнуло или кашлянуло на печи, и так выразительно, что все немцы притаились, а Товченик с перепугу закрыл даже нос. Это была большая его ошибка. Перестав дышать, он от страха вдохнул много воздуха, который вскоре начал распирать ему грудь.

Долго сдерживал Мина неудачный свой вдох, посинел и весь скрючился, но чем дальше сдерживал он свою беду, тем больше вырастала она в груди, пищала, скреблась, щекотала в горле, и наконец, вырвалась наружу величайшим взрывом кашля:

— Кахи!!

Бросились немцы к печи. Но судьба усмехнулась Мине Товченику в последнее, казалось, мгновение. Вспомнил он вдруг слово, действовавшее на немцев, как имя Христово на чертей.

— Партизаны! — крикнул он что было силы.

И действительно, словно в старинном сказании: не успел Мина закрыть рот, как послышалась громкая пальба под самой хатой.

— Партизаны!! — загалдели в сенях оккупанты.

— Партизаны! Это ли не бич божий?! — патетично воскликнул фон Крауз и, забегав по хате, словно артист, вовремя выпрыгнул с офицерами в окно.

Через секунду штаб был взорван бомбой.

И когда рассеялся дым и прах жилища, Мина обстоятельно и серьезно, с тонким знанием обстановки, вооружения противника, его численности и морального состояния докладывал Лаврину Запорожцу и Роману о Краузе.

— Почему ж вы его не убили? — спросил не остывший от боя Роман.

— А, много ты понимаешь!.. Разговор не кончился!..

Когда прокурор партизанского отряда Н. Лиманчук узнал, что партизаны захватили в плен жену капитана Пальмы, он страшно обрадовался и сейчас же заочно присудил ее к расстрелу, как подлую изменницу родине. Он недавно прибыл в отряд с Большой земли с высокой миссией вершить в самом пекле борьбы справедливый суд над подлыми отступниками, изменниками, националистами-душегубами и прочим пропащим людом.

Он был человеком высокой кристальной честности и такого же душевного холода, помогавшего ему не терять, как он говорил, линии ни при каких обстоятельствах. [...]

Узнав, что командир отряда, немолодой уже хитрый человек не утвердил приговор и пожелал произвести допрос изменницы, Лиманчук, хоть и подчинился приказу, воспринял это как знак партизанской заносчивости. [...]

Когда ее вели на допрос, она еле-еле шла. Все ее молодое тело утратило свою силу и словно растаяло. Она словно падала с огромной высоты на землю в страшном сознании, что парашют за спиной не раскрылся, и уже теперь ей ни остановиться, ни крикнуть, ни позвать...

Земля неумолимо притягивала ее к себе, земля.

Сотни враждебных глаз пронзали ее с презрением и ненавистью. Оскорбительные, страшные слова глушили ее в голову, в спину, в грудь, путались под ногами.

— А, итальянская сука! Куда это ее ведут?

— В расход, гадину!

— О, проститутка, будь ты проклята, нехай!

— Гей, откуда ты, шмара?

— Националистка!

Она шла среди дорогих своих близких людей, чужая и враждебная. Она была уже обособленной от них. Их могучая ненависть к оккупантам и ко всему, что связано с их проклятым именем, опустошила ее. Она шаталась.

Взглянув на нее, прокурор Лиманчук сразу же раскусил ее всю. Он увидел в ее глазах зловещее пламя ненависти к Советской власти, какую-то скрытую тайну и темную замкнутую враждебность к себе.

— Националистка?

— Да... Нет.

— Да или нет?

— Я не знаю...

— Выкручиваешься. Не выкрутишься!

— А мне все равно.

— Ты жена итальянского палача Пальмы?

— Пальмы.

— За сколько плиток шоколада ты продалась?

— За одну.

— Дешево.

— Одна цена.

— Ты выродок.

— Нет, таких, как я, много.

— Каких?

— Изнасилованных.

— Тебя изнасиловал Пальма?

— Нет, не только он.

— Для чего ты вышла за него?

— Я не хотела ехать в Германию.

— Почему?

— Боялась смерти. Я бежала. Они меня ловили, били, насиловали.

— Пальма тебя спас?

— Да.

Она отвечала на все вопросы прокурора коротко и правдиво. Ее фатальная откровенность сбивала с толку прокурора и вызывала у него глубокую к ней антипатию. Каждый вопрос прокурора она воспринимала, как лопату сырой земли на грудь на дне могилы.

— Ты шпионка?

— Нет.

— Ты брешешь?

— Нет.

— Не бойся... Он истязал тебя, принуждал силой?

— Нет. Он любезный и мягкий.

— Мягкий. У, сволочь! — закричал один партизан. — Палач, сукин сын, вешатель, убийца наших людей! Детей жег на огне, на колы сажал, умывался кровью нашей!.. Мягкий!.. У, гадина!

— Проститутка!

— Да.

— Тихо, — сказал Лиманчук, удовлетворенно взглянув в сторону командира.

Командир смотрел на жену заклятого врага своего с необычайным любопытством и вниманием. Прокурор считал процедуру допроса законченной. Перед народным судом стояло аморальное существо, лишенное самых элементарных гражданских признаков.

— Ты полезла в кровать к врагу, к убийце твоего народа, к грабителю твоей земли. Вот я вижу его! — Лиманчук начал повышать голос. — Вот он свирепствует целый день! Вечереет... Он приходит домой, смывает кровь, душится одеколоном, и мягкий кавалер-любовник! Где твоя национальная гордость? — грозно спросил Лиманчук. — Где твое человеческое достоинство? Где твоя девичья честь в нашу великую эпоху борьбы святой отчизны? Где? Нет? Говори!

— Нет.

— Все!

— Нет! — повторила она.

И вдруг словно предсмертная молния осветила ее сознание. Вспомнила она эшелоны, бегство... Все, что видела она в огне пожаров, — всю Украину, сожженную, разрушенную, обездоленную.

— Слушайте, — сказала она тихо. — Я знаю, что мне не выйти отсюда живой. Что-то мне здесь, — она прижала руку к сердцу, — говорит, что пришла моя смерть, что совершила я что-то запретное, злое и незаконное, что нет у меня ни этой, что вы говорили, национальной гордости, ни чести, ни достоинства... Так скажите мне хоть перед смертью, почему этого нет у меня? А где же оно, людоньки? Род же наш честный.

— Довольно, проститутка!

— Какая я проститутка! Мученица я! Слезами провожала вас, слезами и встречаю. Товарищ мой, — сказала вдруг Христя совсем другим тоном, словно поняв в последнее мгновение самое главное, — я не признала вас своим судьей. Вы можете меня только уничтожить, как позорное, ненужное существо, каким я действительно являюсь. Но это не все...

— Что? — удивился Лиманчук.

— Если б вы были человеком старым, я о многом бы спросила вас. Почему я выросла не гордая, а недостойная и негодная? Почему в нашем районе до войны вы измеряли девичью нашу добродетель главным образом на трудодни и на центнеры? Националистка я? Какая?!

— Довольно!

— Заканчиваю... Но вы молоды. О чем вас спрашивать? Я помню вас. Вы прошмыгнули в начале войны через наше село. Я наливала вам воду в радиатор. Он очень протекал у вас, и вы ругались. Я плакала тогда, и спросила: будут ли немцы в нашем селе? Может быть, я бы убежала! Помните, что вы сказали мне? Вы назвали мой вопрос провокационным. И вот я осталась под немцами, проститутка и стерва. Вот вы чистый, а я нет. Вы презираете меня, угрожаете смертью. А я хочу умереть! Хочу! Мне противно. Чем вы можете наказать меня? Меня жизнь уже так покарала, что уже нет для меня кары.

— Товарищи, — сказал Лиманчук, покраснев от гнева и оскорбления.

— Постойте, голубчик, — сказал вдруг командир отряда.— Как тебя зовут? — обратился он к подсудимой.

— Христина.

— Фамилия?

— Хуторная.

— Из Тополевки?

— Да...

— Э, да это ж Куприянова дочка! Хуторного!

— Дяденька! — Христя бросилась к командиру и упала перед ним на колени, обливаясь слезами.

— Тополевская! Ну, смотрите! Нет уже, дивчинко, ни Тополевки твоей, ни Куприяна, ни братьев, — вздохнул командир.— Сожрало лихо... Подождите, я ее сам допрошу, — сказал он своим партизанам и повел Христю в лес.

— Ты не смотри, что они злые, как шершни. Ненавистью только и живем. На завтрак ненависть, на обед и ужин. Такая уж наша доля. Ничего, дивчинко... Все проходит. И это пройдет. Уничтожим врага, забудутся и ненависть, и горе, и снова расцветет земля наша в добре и согласии, и будем добрыми, как были, — еще добрее станем...

— Дядечка!

— Все вижу. Одно только скажи мне, как родному батьку, — шпионка ты или нет? Если шпионка, расстреляем ти-

хонько, чтоб не мучиться тебе всю жизнь, ибо это непростимый грех. Никто в мире тебя не простит. Не шпионка...

— Клянусь вам святою нашей землей!

— Нет? Ну слава богу. А то все обойдется, дивчина. Идем!

— Я не хочу жить, — жалобно затужила Христя.

— Понимаю. Есть и на это лекарство.

— Какое?

— Месть! Выпей, дочко. Оживешь, благодарить будешь. Мы еще у тебя на свадьбе погуляем.

И командир народных мстителей ласково по-отечески улыбнулся.

Светало. Зашла луна и звезды погасли давно. Между бурьянами, лободой и прочей дикой порослью бессмертные подсолнечники поворачивали к востоку свои ясные лики. Было тихо вокруг, так тихо-тихо, и только где-то далеко гудело тяжелым радостным грохотом.

— Вот и все. Я иду мстить, Олеся, — сказала Христя. Она была бледна от воспоминаний и торжественна. — Они вдохнули в мою душу месть, и я ожила. Он говорит, командир: «Упейся, дивчинка, местью. Вот единственная живая вода твоя». Правда, Олеся! Я иду уже второй день. По дороге, думаю, зайду попрощаться с родной хатой. И вдруг ты! Расскажи мне о себе.

— Когда-нибудь расскажу, если нельзя будет забыть.

— Понимаю. Куда ты?

— Я иду на восток.

— Куда?

— Туда. Я так завидую тебе.

— А я тебе.

— О, проклятые!

— У меня другая судьба, Христина. Я мягкая, не воинственная. Во мне зло не держится. Я забываю зло, как дурная. Все забываю. Жить же надо?

— Слышишь, гудит?.. Наши...

— Правда? Это Василь... Он...

— Старый сказал — не за горами суд!

Они прислушались. Где-то далеко на востоке разворачивался великий бой. Гремели орудия.

Немцы отступали через село, бросая на дорогах разбитые орудия, машины. Люди прятались в погреба.

Матери молились в ямах за сынов своих, освободителей.

— Помоги вам, господи!

— Ой, прилетайте, сыночки, прилетайте! Спасите нас!

Простирали из ям руки к небу. Материнские очи светились слезами надежды.

А кто не успел спрятаться, того немцы загоняли в грузовики и увозили или просто гнали, как стадо.

Уже поджигали хаты поджигатели.

В хатах-дзотах отстреливались пулеметчики и артиллеристы.

Смертники-немцы метались у орудий, сдерживая наступление, пока не смяли их вместе с хатами наши танки.

Войско входило, въезжало в село и мчалось дальше, вперед. Бойцы пролетали на танках, машинах или просто бежали, горячо и громко дыша. Они еще не вышли из боя. Глаза их смотрели далеко вперед и горели лютым огнем. Все они еще были в том исступленном состоянии готовности ежесекундно убить врага или пасть мертвыми, когда человек еще не совсем в себе. Они были словно в каком-то жару.

Но радость победы начала понемногу прояснять человеческие лица. Бойцы уже здоровались с народом и помогали вылезать из погребов и из ям. Словно мертвые воскресали, подымались из земли. Плакали командиры, не стесняясь своих слез. Плакал и Кравчина.

— Здравствуйте, мамаша! Ну как же вы тут? Живы?

— Здравствуйте! Христос воскресе! Спасители вы наши...

Из темных погребов и ям, из-под разрушенных печей выползали землистого цвета, черные, плохо одетые люди. Долго сидели они в погребах, в земле, долго жили по ту сторону дозволенного людскими законами.

Много видели они такого запрещенного для человеческих глаз, что не забудут уже и потомки в веках. Невыразимая печать ужаса и скорби, и того, что лежит за гранью негодования и отчаяния, упала на них, запечатлелась и долго-долго не исчезнет уже, как проклятие судьбы, до самой их смерти.

Много благородного труда, много ласки, добра и доброго согласия нужно принести в жизнь, чтобы как-то залечить душевные увечья и раны людей.

Люди оглядывались среди своих пожарищ, ища глазами хаты, и протирали очи, как во сне.

— Доброго здоровья!

Людям хотелось жить. Хотелось забыть о страшном, по великому закону жизни и несокрушимой силе своего характера хлеборобов, привыкших тысячелетиями к сеянию и жизнеутверждению во всем, что может жить и расти.

Не догорели еще пожары, а люди бросились уже работать. Уже копались в огородах. Женщины доставали из припрятанных узелков разные семена и со страстью сажали их в землю. Какие-то семена мочили в воде, причитая шепотом полузабытые молитвы и заклинания на добрый урожай.

— Будьте здоровы, дорогое человечество! — Голос пожилого уже человека, Демида Бесараба, дрожал от волнения.

У него в хате остановился штаб. Он угощал дорогих гостей. Чарка дрожала в его руке.

— Вечная память всем, кто принял труд и страх сражений или срам виселицы от руки супостата. А нам всем желаю выполнить жизнь свою трудами и победами на согласие и братство. Пусть же пойдет слава по всему миру про ваше щедрое сердце и богатую кровь, чтоб никто никогда не сказал, что пожалели вы чего-нибудь или испугались. Будьте счастливы, товарищи, хоть небогаты, хоть разорены, ограблены, без капитала, а часто и без крыши, так что негде будет и голову прислонить.

— Так что ж это, товарищи, снова невыдержка? — спросил Бесараб и поник в глубокой печали.

— Прощайте, батько!

— Прощайте!

— Мы вернемся!

Сыны и внуки прощались с Бесарабом. Прощались командиры. Спешили. Плач и отчаяние.

— Где сыновья?! — разъяренный Эрнст фон Крауз ударил Бесараба стеклом по голове раз десять. Никогда еще не приходил он в такое бешенство.— Где?!

— Пошли в Красную Армию,— сказал Бесараб.

— Повесить на двадцать дней!

— Вешай, катюга. Теперь уже не страшно. Все равно не выйдешь живым.

Эрнст фон Крауз задыхался от злобы. Он упал. Его подхватили два офицера. Когда Бесараба вывели, фон Крауз обратился к Штиглицу:

— Они уже всё знают.

— Что всё? — подхватил Штиглиц.

— Что?
— Я не понимаю.
— Они знают, что вы болван... Пальма?!
— Йаволь!
— Давайте диверсанта.
Ввели Мину Товченика.
— А! — схватился за сердце фон Крауз.
— Да не пугайся. [Чего] акаешь?
— Фу-у-хх! Ты прав. Я уже тебя боюсь.
— Я вижу.
— Кто ты?
— А ты кто?
— Я твоя смерть.
— А я — твоя.
— Ты взорвал мост?
— Я.
— Каким образом?
— Секрет.
— Я тебя повешу.
— Вешай.
— Думаешь, не повешу?
— Нет.
— Ты что-то придумал?
— Что-нибудь придумаю.
— Это феноменально! Фу-х!.. Неужели ты имеешь надежду?
— Да. Я бессмертный.
— Он помешался.— Фон Крауз посмотрел на своих офицеров.
— Но Запорожцы уже здесь. Ой ... присядь, мерзавец!
— Присел.
— Хм... Ну что мне делать?
— Могу сказать.
— Ну?
— А ты не нукай, дурачок. Ну... Украина, чтоб ты знал, эта ваша судьба. Пока горит как свечка — Гитлер дышит. Пожар кончится — вытянет Гитлер ножки и вы вместе с ним тоже...
— Гер полковник, что он говорит? — спросил горбатый.
— Он говорит то, что фюрер думает.
— Эге! Так что живы, пока воюете. И я, хотя простой человек, скажу вам — не кончайте своего блицкрига, боже сохрани!

Фон Крауз поднял нагайку.

— Запорожцы близко?

— Ну, ближе или дальше... теперь все равно.

— Где Запорожцы?

— Не спрашивай, не скажу. Хочешь, может, перед смертью побить? Бей, потешься, раз уж мера зла перейдена...

— Курить будешь?

— Давай.— Мина взял сигарету.— Запорожцы мне тоже недавно дали бомбу. Меньший, Роман... Ой, бедовый, сучий сын! Прямо орел! Ты почему, говорит, не убил Крауза с печи, если ты честный человек? А я, говорю, невооруженный. Обратно ж кажу, какой же б я был разведчик, чтоб сразу убивал, не узнав разговора противника?

— Ай, нитро... нитро... —застонал Крауз.

Дрожащими руками Штиглиц накапал в стакан с водой нитроглицерин и влил его Краузу в полураскрытый рот.

— Фу-хх! Данке... Ай...— присмирел Крауз, нагнувшись и тяжело дыша.— Штиглиц!

— Йаволь!

— Что вы стоите, черт вас возьми? Повесьте это чудовище!

Когда Мину поставили под виселицей на табурет и надели на шею петлю, он взглянул на Штиглица и на двух его палачей и вдруг начал петь фашистский гимн. Пел он громко и вдохновенно. Правда, у Мины был голос не очень красивый, слова он нередко перевирал, но мотив он усвоил неплохо. Капитан Штиглиц и солдаты застыли и протянули правые руки вперед, как лопаты.

— Генуг! Довольно петь! — сказал Штиглиц.

Но Мина не слушал. Он начал петь еще громче, всматриваясь жадными глазами в божий мир, в деревья, в хаты. Это было единственное его минутное спасение. Этим проклятым гимном он задерживал свою смерть, что легла уже веревкой ему на шею, сползая с виселицы, словно змея.

— Довольно петь, слышишь! — одурел Штиглиц и побежал к Краузу.— Гер оберст! Он поет!

— Что? Кто?

— Товченик.

Крауз выскочил во двор и бросился к виселице. Увидев Крауза, Мина почувствовал, как петля зашевелилась на его шее.

Холодный пот покрыл его чело. Тогда, собрав последние остатки сил, Мина так весело и громко грянул последний куп-

лет гимна, что даже Крауз застыл, протянув вперед злодейскую свою руку. Из глаз Мины текли слезы.

— Прощай, убогий мир! — казалось, кричал он не своим голосом. Но счастливая доля не изменила ему и в этот, казалось бы, последний раз. Уже когда вытягивал он последнюю ноту, когда Штиглиц начал поднимать руку, чтобы скомандовать палачам, вдруг затарахтели пулеметы, да так близко и громко, что немцы бросились, словно ошпаренные, куда попало.

— Партизаны!

— А, расстосукины сыны! — крикнул Мина вслед убегавшим и, снявши петлю, начал по-хозяйски складывать веревку.

Но не посчастливилось на этот раз старому немецкому волку бежать от Запорожцев. Уже не одним, а двумя отрядами преследовали фон Крауза Лаврин с Романом. И партизанские отряды были уже не те, что в начале войны. Все, что было в отрядах случайного, вялого, лишнего,— все было сметено с лица земли: изменники, лодыри, шкурники. Множество бесстрашных загинуло в битвах, замучено в плену. Но то, что выжило и действовало уже против Крауза, тревожило его все больше и больше и не давало покоя ни днем, ни ночью.

Это были люди, которых ничто в мире не могло уже остановить, ни обезоружить, ни утихомирить. Молодые юноши, подростки, и старые батьки, и даже девушки, которым в столетиях не снилась никогда такая жизнь, творили в отрядах суровую месть народа.

Уже не помогала Краузу полиция, на которую он так когда-то рассчитывал вместе с Людвигом, втягивая несчастных пленных, окруженцев и даже подростков в ее позорные ряды.

Уже полицейские бежали в партизаны. Сельские старосты тайно помогали мстителям народа, и куда б ни бросался уже Крауз, как ни жег он села, как ни мучил женщин и детей, ничто ему не помогало.

Пропали труды. Рушились грандиозные планы. Как все было красиво! Какие просторы, какая земля...

«Эту землю можно кушать!» — вспоминал он погибшего своего старшего сына. Это было так недавно, почти что вчера.

— О, мой мальчик! Мое нежное дитя! — скрипел фон Крауз зубами, оглядываясь на бесчисленные солдатские кладбища, заполнившие, казалось, всю страну.

Иногда по ночам он подолгу всматривался в портрет Гитлера, лаская уставшим своим взором дорогие черты его маниакального лица, вопрошая сотни раз судьбу фатерлянда. Ах!..

Обманул ли его фюрер, как писали об этом в проклятых большевистских листовках? Поверг ли он весь его род в пучину страданий, презрения, всемирной ненависти и отвращения людей к его имени? Нет! Великий фюрер не обманул его, фон Крауза, не спровоцировал, не затуманил, не вскружил ему голову. Фюрер — это он сам, Эрнст фон Крауз, его идеальное выражение.

Страстная немецкая душа его вздрагивала. Он вскакивал тогда и вытягивался перед портретом фюрера во фронт, копируя его движения, простирая перед ним громадную свою волосатую руку.

Он писал ему письма, проекты устройства Восточной Германии, расчеты поставок хлеба, сахара, масла, мяса, вырванной шерсти, содранной кожи, живого скота, и девушек, и подростков.

Один раз среди огня и дыма непокоренного украинского села его осенила мысль, которой суждено было увековечить Германию середины двадцатого века. Он предложил фюреру модернизировать уничтожение населения завоеванных провинций путем постройки на востоке заводов для планового сжигания людей на предмет добычи туков и специальных масел и жиров. Он собственноручно сделал чертежи этих предприятий и красочно описал технологию изобретенных им процессов. Он получил за это от фюрера рыцарский железный крест с дубовым венком и возлюбил его за это всем своим пламенным германским сердцем.

Он давно уже перестал заигрывать со старыми работящими украинскими селянами-старостами, вроде проклятого этого Запорожца, погубившего его маленького Людвига. Он творил зоны пустынь, лишенные жизни, беззвучные...

Но не помогли фон Краузу ни четыре построенных по его проекту завода, ни пожары. Это было ошибкой. Война приняла уже характер прямого массового преступления. Человечество стало ниже. И мертвые зоны тоже оказались ошибкой. Они не были мертвы. В них некому было плакать, просить, умолять или стонать. Но в них жила бессмертная ненависть народа. Она подстерегала фон Крауза на дорогах, в канавах, в лесах. Она проникала к нему в двери, в окна, в душу, с громом и кровью. Она пронизывала каждый его шаг неутомимой местью. Она была изобретательна и умна — и ничем нельзя было ее уничтожить. Ничем!

И вот понемногу, день за днем, село за селом, пожар за пожаром, смерть за смертью, пришел Крауз к последнему вы-

воду: конец... Конец Германии Гитлера и его, полковника Эрнста фон Крауза. Конец.

С момента, когда эта мысль овладела им окончательно, фон Крауз почувствовал, что ему резко начало изменять склеротическое сердце. Участились припадки жабы. Тогда, для сохранения душевного равновесия, он убрал из своих карательных отрядов итальянцев, словаков, чехов и мадьяр, укомплектовав свои силы только немцами и небольшой кучкой отпетых, испытанных предателей народа, погубивших навеки темные свои души множеством открытых злодеяний.

Но и это не помогало.

Запорожцы преследовали его по пятам. Они начали ему уже сниться. Один раз ему приснилось, как он, полковник Эрнст фон Крауз, стоял связанный по рукам и ногам перед Лавриком Запорожцем, окруженный страшными его партизанами, как повелел Запорожец выколоть ему глаза, отрезать язык, вырезать свастику на груди и на лбу, как простреливал он ему голову, живот, грудь и бросал в огонь горящей своей хаты.

С тяжким стоном Крауз вскочил с постели.

— А, украинская собака! Ты мне будешь сниться, будешь терзать мою душу во сне!

Заметался Крауз по хате, забегал, застучал. Сотни несчастных людей, расстрелянных, искалеченных, с вырезанными на груди и на лбу звездами, сгорели в ту ночь в селе, запертые в пылающих клунях и церквах. Расплатились за немецкий нездоровый сон тяжелыми муками в огне украинские дети.

Фон Крауз перестал уже действовать на Украине во имя жизни Германии. Он действовал именем ее смерти.

— Вы оглядываетесь на партизан! — кричал он крестьянам в одном селе.— Вы ждете нашего отступления! Ну, хорошо... Если уж так, мы уйдем отсюда. Но радоваться нашему уходу здесь будет некому... Огонь!

Так с огнем и мечом метался по украинским просторам фон Крауз, преследуя Запорожцев, спасаясь от Запорожцев, уходя от них, окружая и давя их, пока, наконец, сам, окруженный, не предстал перед Лавриком и Романом Запорожцами, шатаясь словно пьяный.

Его не держали ноги, распустились все мышцы живота и кишок. Кровь испарилась из его сосудов и бледные его губы дрожали от озноба. Он попал в плен. Это было не вполне похоже на сон. У него не были связаны руки и ноги, глаза его

не были выколоты. Он видел все и, если б страх смерти, поражающий палачей в последнюю минуту их жизни с особенной силой, не сковал все его чувства, он пожалел бы, что он не ослеп.

Бой продолжался недолго, не больше двух дней, но был он жесток и кровопролитен, как немногие бои в немецких тылах. Краузовы молодцы сражались с отчаянным мужеством, но когда мужество покинуло их, они вышли с поднятыми руками вперед, спотыкаясь среди трупов с остекленелыми глазами, с плачем и клятвами, падая перед партизанами на колени.

— Капут... Германия капут...— подобострастно улыбаясь, блеял Штиглиц, моля о пощаде.

— Их бин коммунист!

— Бите шён, ради бога... драй киндер!

— Товарищи, капут, Гитлер капут,— бормотали каратели.

— Это мы и без вас знаем, гады! — отвечали партизаны.— Предатели народа, выход в сторону!

Предатели народа стали отдельной кучкой и, оглядываясь с одинаковой ненавистью на партизан и на немцев, томительно и тяжело икали, жаждая скорейшей смерти.

Фон Крауз видел все. Величайшим усилием своей воли он на какое-то мгновение взлетел было над ничтожеством своего положения и погрузился в сферу высокого ощущения великой трагедии фатерлянда. Торжество смерти, призванной Гитлером для реконструкции Европы, он ощутил вдруг в предельной мере. Здесь все было предельно изуродованное — ожесточенные трупы и ползающие перед бандой Запорожцев железные его рыцари, словно падшие с высоты небес дьяволы, и сами Запорожцы. Да, и они, потрясшие его несокрушимостью своей воли и страсти. Смерть обжигала дыханием своим каждое лицо. Сам земной шар, казалось, вздулся над Краузом кровавым нарывом. Он постиг высоту непередаваемого и в непередаваемом волнении, тяжело дыша, оглядывался по сторонам. У него была рассечена щека, и зеленые мухи уже ползали по запекшейся его крови. Вот он — великий конец!

— Подсудимый Крауз Эрнст Фридрихович, житель города Бреслау, Бисмаркштрассе тридцать шесть, квартира четыре, три шага вперед! — послышался вдруг неторжественный и негромкий, но твердый голос партизана.

Услышав эти слова, фон Крауз вдруг, в одно мгновение, нехорошо себя повел.

Это было ужасно. Это было хуже пули, хуже петли. Это невозможно, боже мой! О! Уничтоженный, он не мог сдвинуть-

ся с места. Он не полковник новой империи, не гроза восточных областей с огнем и мечом. Он пойман с поличным! Он подсудимый с точным адресом. Названа его скромная квартира на Бисмаркштрассе. Ну, конечно, его... Нет, нет, нет! Ах...

— Подсудимый Крауз, можно опустить руки.

— Руки опусти, слышь сволочь?

— А?.. Что?.. Нет, я не могу опустить, простите, пожалуйста... Здравствуйте,— прошелестел фон Крауз высохшим своим языком, улыбаясь... улыбаясь...

Тогда старый Лаврин Запорожец с большим кричащим шрамом на лбу, вышел из партизанского круга.

— Нет, я не позволю тебе падать, сучий ты сын,— сказал он Краузу, когда тот, не выдержав взгляда, зашатался, готовый упасть.— Не отворачивал ты подлого своего взора перед страданиями и смертью людей наших, не отвернешься и от народного суда. Будешь стоять, пока не обломал я тебе ноги, будешь смотреть мне в лицо!

И, поставив перед собой фон Крауза, Запорожец размахнулся и ударил его по морде.

— Я оскорбляю тебя! Снять с него штаны!

От сильного удара фон Крауз немного пришел в себя. К великому ужасу ощутил он вдруг, что запорожская оплеуха выбила из него что-то самое важное, составлявшее главную его сущность.

— Лаврин, простите пожалуйста, это война. Я пленный... Я офицер,— попробовал он собрать свои силы.

— Нет, это не война! И не офицер ты, не пленный, — сказал Запорожец.

— Лаврин!

— Помолчи. Я не хочу говорить с тобой, будь ты проклят. Но перед тем как уничтожить тебя...

— Ты убил моего сына, Лаврин...

— Черт с ним! Помолчи, я не хочу говорить с тобой, я только скажу во имя закона, чтоб было написано в писании, как я тебя убивал. Понял? Не пленный ты, Крауз, не офицер и не человек. Нет! — повторил Запорожец громко и раздельно, словно речь его записывалась всеми летописцами мира.— То, что содеял ты на нашей земле,— не военное, не человеческое дело, и умрешь ты не военной, не человеческой смертью.

Фон Крауз содрогнулся. С острой прозорливостью, которую сообщает преступнику крайняя его низость или звериный эгоизм опытного убийцы, он сразу понял, что смерть пришла к

нему в необычайном наряде. Запорожцы... Как он ненавидел их за разбитые свои мечты! Но ненависть уже покинула его, мерзкий страх замораживал дыхание.

— Я прошу немножко пощады. Если пыл боевой страсти и безудержность может быть в каких-то жестокостях, присущих войне, пылкой молодости...

— Ага... Только мы с тобой, старики, знаем жизнь,— саркастически покивал головой Лаврин.— О, я хорошо понимаю все твои слова! Изменника думал ты найти в отце сыновей-коммунистов. Думал посеять вражду, поживиться на домашних наших промахах? На простоватости чиновников наших заработать хотел? Нет, подлая собака, никогда! Слышишь? Никогда! Плохие мы были историки? Прощать не умели друг другу? Национальная гордость не блистала в наших книгах классовой борьбы? Подожди, заблистает, да так заблистает на весь добрый человеческий мир, что ослепнут от зависти навеки все твои фашистские потомки. Это я говорю тебе, слышишь, твой враг, Запорожец Лаврин. Я презираю тебя, проклятый немецкий дурак! Ты просмотрел самое важное, что вписали мы, большевики, в книгу борьбы,— нерушимую дружбу народов!

Лаврин оглянулся. Партизаны стояли вокруг него — украинские, русские, казахские, татарские, киргизские его сподвижники и братья. Среди них выделялся один. Он стоял словно дерево после урагана. Не было на дереве ни цвета, ни листьев. Все сорвано и унесено бог весть куда. Серый пепел упал на партизанские волосы, и безмолвная пустыня застыла, казалось, навеки в неподвижных его глазах. Два года ходил он в бой в самые отчаянные засады, но смерть неизменно отступала перед ним. Четверо детей, жена, престарелая мать и отец, и все соседи его, раздетые догола, сгорели в старой деревянной церкви ночью, среди пылавшего села. Потрясшие всю его душу горестные крики их в огне никогда уже не дадут ему ни покоя, ни забвения. Тяжко раненный с обожженной головой и руками, чудом уполз он от немецкого костра к партизанам, и с тех пор уже ни пуля не брала его, ничто — так сильна была в нем жажда мести. К нему и обратился Лаврин:

— Тебе нечего уже терять на этом свете. Отведи убийцу в лес, чтобы никто не видел, как возвратил ты ему все, что принес он на нашу землю.

Так погиб Крауз.

Дымились горизонты. Огненные валы с громом и грохотом не один раз перекатывались с востока на запад и с запада

на восток. Мертвые танки чернели на полях грозными своими тушами, словно вымершие чудовища в пустыне. И куда ни поехать, куда ни пойти, всюду пахло непохороненным человеческим трупом. Минированные, неубранные поля были полны зловещих тайн.

Враг снова бежал.

Снова входили в село передовые отряды. Пролетали танки, артиллерия.

Снова выползали из могил и подвалов землистые люди.

— Здравствуйте! — взволнованно кричали бойцы.

— Да, здравствуйте! Довольно уж вам ездить,— вздыхали женщины.— То вперед, то назад, то сюда, то туда, то партизаны тебе, то полиция, то каратели, то немецкие вошепруды... Да злые поделались, ну прямо жизни нет!

— Не война — смертоубийство!

— А ты кто? Какого чина? Откуда? Где ранен? В каких боях?

— Вот! — показал Мина веревку с петлей.

— Кого победил? Перед кем не отступал? Кого защищал?— разгневался комбатареи Сироштан. Он был храбрый и сильный воин с двумя орденами Красного Знамени и четырьмя знаками ран и контузий.

— Я царя защищал, не отступал,— сказал старый седой как лунь глупый дедок.

— А, слышали мы эти балачки в начале войны! И плакали от стыда, сдуру... Царя... Европа на наших грудях! Вся, без второго фронта, черт бы его маму побрал! Два года. Весь металл, вся химия!

— Да и у нас тут тоже химия...

— Царя!.. Нет таких, как мы. Где они? Не было в истории мира, чтоб на одно государство падала такая тяжесть! Уже теперь многому научились...

— Да, балакаете, а потом снова побежите...

— Не побежим, не бойтесь!

— Да мы уже не боимся. Просмолены и прокопчены.

— Ну и мы тоже.

— Так воюйте, черты б вашого батька воевали! Довольно кататься!

— Как кататься?! Кто катается? Какое ты имеешь право так говорить? Кататься... А вы, чертовы лежебоки, будете тут с немцами землю делить да с бабами валяться?

— А вы не отступайте, так и не будем делить.

— Это примитивный ответ.

— Та мы ж такие. А какие ж мы?

— Жить-то ведь нужно,— сказала одна молодая женщина.

— Жить? — вспыхнул Сироштан, пронзив женщину разгневанным взглядом.— Жить? Тебе жить надо? Ага! Постой, я тебе поживу! Я кровь проливаю второй год, защищаю отечество, а ей жить нужно...

— А что ж ей делать? Плакать?

— Товарищ капитан,— обратился командир к Кравчине,— вы слышали? Вот такая и моя баба где-то в Виннице осталась. С немцами, видно, качается. Вот, ей-богу, заберем Винницу — голову отрубаю!

Все притихли. Все чувствовали, что Кравчина тут самый старший. Он все время молчал. Что-то он должен был ответить на эти слова.

— Так,— сказал Кравчина тихо,— так что выходит, что ты, Сироштан, уже воюешь за то, чтобы отрубить в Виннице голову своей жене, которую ты назвал бабой? Или как тебя следует понимать?

— Да как, разве?

— Постой, постой, постой! Ты командир, герой, у тебя два ордена и четыре раны. Неужели ты, проливая кровь свою, так и не понял до сих пор, кто мы и что мы? Что не обыватели, не свидетели истории мы, а герои великого грозного времени. Что хотя и не наживем ни капиталов, ни земель чужих не завоюем, ни людей не покорим, что, когда вернемся домой, на пожарища и руины, многим некуда будет и голову свою преклонить: ни дома, ни отца, ни матери, ни брата,— мы скажем: «Мы победили!» И это будет величайшая, самая гордая наша правда на множество столетий.

— Правда, сынку! — послышались голоса из толпы.— Хлеба напашем и хаты построим. Дело ведь в жизни и в чести народа.

— Правда, батьки! — сказал Кравчина.— А жизнь и честь в победе. Сегодня каждый из нас решает две победы. Победу над фашистами — отечественную, мировую, великую, общую победу. И победу личную — малую, частную, над множеством своих недостатков: над грубостью, дуростью, извини меня, Сироштан, над злом, неуважительностью и, кстати, плохим отношением к женщине.

— Сыночку! — послышался плач.

— Нас много. Нас миллионы, уже прошедших через огонь

страданий, прокуренных и просмоленных в боях и невзгодах. Я верю, что сумма этих личных наших частных побед будет необычайной, поразительной...

И, словно видя уже эту победу совсем близко перед собой, как дорогую свою возлюбленную, Кравчина улыбнулся ей. За ним улыбнулись и все присутствующие, все до единого. Это было абсолютное доверие и единство самых дорогих великих народных чаяний, осознанных, выстраданных в тяжелых, почти непереносимых невзгодах. Можно было не сказать больше ни слова и всем разойтись, чтоб не забыть никому и никогда этой улыбки и молчания, но все смотрели на Кравчину, и он, вспомнив весь пройденный тернистый путь, понял тут, среди родных своих людей, к которым так стремилась его душа, что отступления больше не будет — даже если бессмертие народа придется утверждать ценой собственной жизни, помноженной на жизнь всех его боевых товарищей и братьев.

— Помоги вам господи и пречиста мати божья,— сказала старая Бесарабиха.— Прощать надо один одному побольше да сочувствовать, — тихо обратилась она к Сироштану. [...]

Сироштан молчал. Он стоял перед понесшей огромное горе старой матерью, безоружный и маленький. На него глядели десятки глаз. Для спасения репутации закаленного рубаки ему хотелось сказать какую-нибудь грубую фразу или что-либо смешное, но он не находил в себе этих слов. Им овладело вдруг странное волнение. Умел ли он жить? Думал ли о жизни, о родине, о семье в их единстве или только действовал, погруженный в ненависть к врагу, в труд и подавление страха сражений? Творил ли он грозную историю своего народа и несчастной, затерянной в море бесправия и страшных случайностей молодой своей семьи? Не упрощенно ли, механически выполнял он суровые повеления истории?

Сироштан не мог оторвать глаз от Бесарабихи. Он словно впервые предстал перед народом, во имя жизни которого он нес в огонь свою жизнь тысячу раз.

— Вот так-то, Сироштан! — сказал улыбаясь Кравчина.— Слышал? Ну вот. А жене своей... как ее зовут?

— Мура.

— Сам ты мурый. По отечеству?

— Григорьевна.

— Дети?

— Трое.

— Как зовут?

— Джек, Рихард и Тимур.

— Глупости.

— Как собачата! — засмеялся кто-то.

— Тихо!

— Марии Григорьевне поклонись от меня, если меня убьют до Винницы и я не смогу сам поздравить их с освобождением как командир твой и друг. А вас, граждане и гражданки, поздравляю — и простите за опоздание. Трудно... Все. По местам!

Все разбежались. Остался один Кравчина. К нему прижалось не меньше двадцати женщин. И тут вдруг они так заплакали горьким плачем от пережитого, так заплакали!

Он смотрел на запад. Он был необычен.

Капитан Василь Кравчина стоял на холме и смотрел в бинокль. Когда недобитая немецкая пехота хлынула в образовавшуюся брешь, он стер ее с лица земли. Но бой прекратился ненадолго. Не успели артиллеристы перекурить, как уже холм задрожал под ними от тяжести вражеской артиллерии, задышал, заклубился, как огнедышащая гора. Заревели над головой самолеты, а вдалеке из-за холмов выползали уже танки. Кравчина бросился в блиндаж.

— Якимаха?!

— Да.

— Выходи с батареей направо вперед!

— Да!

— В ложбину выходи, в ложбину направо! — говорил Кравчина по телефону Якимахе.— На тебя сейчас пойдет из-за бугра танковый вал. Принимай хорошо!

— Да!

— Не отступать до смерти! Передавай ружейникам — я приказал.

— Да!

— Шинкаренко!

— Да!

— Смотри на Якимаху. Га?.. Ко мне...

— Товарищ капитан!

— Дегтяренко?!

— Да!

— Ну?

— Нечем дышать! Сильно накрыло!

— Га?

— Прижало сильно!

— Чем?

— Бомбами!
— Бомбами?
— Да!
— Якими бомбами?
— Важкими!
— А ты яких хочешь? Легеньких? — рассердился Кравчина.— Ты где сидишь? Где ты сидишь, я тебя спрашиваю? На войне ты сидишь или нет? Говори, где ты сидишь?
— Да, на войне. А где ж, по-вашему, на стадионе «Динамо» или на свадьбе, чтоб она трижды сгорела, трясця ее матери, с такой войной!
— Замолчать! В чем дело?
— Пораненный...
— Га?
— Руки нету. Ясно?! И ноги... И людей поранено.
— Запорожец! Давай Запорожца!
— Запорожец!
— Батарея Дегтяренко вышла из строя! Приказываю спешно занять его позицию.
— Да!
— Стоять насмерть!
— Стою!

Громадной силы тяжелый снаряд обрушился вдруг у самого блиндажа, за ним другой, третий. Завалило блиндаж. Капитан Кравчина выполз из него чудом, как из могилы.

— Запорожец?
— Да!
— Стоять насмерть!
— Да слышал уже. Стою! — сказал Запорожец. И тут же строго повелел своей батарее точно выполнять приказ командира.— Только прошу без суеты,— прибавил от себя Запорожец, когда батарея под огнем стала на новой позиции.— Когда при мне суетятся, я тогда перестаю понимать противника. Я презираю такую войну, понятно?
— Да.
— Да не да, а точно. Понятно?
— Точно!
— От суета... Ну, давайте!

И Запорожец плюнул в ладонь, как добрый плотник.

Трудно найти человека, от которого можно было бы услышать такие умные слова в такое время. Другой на его месте залепетал бы уже черт знает что, видя, как неслась из-за луга на батарею большая колонна танков. Они грозно поднимались,

как корабли на волнах, стреляя на лету из орудий и пулеметов. За ними громыхали десантные прицепы, битком набитые пьяными автоматчиками. А на самих танках сидело множество зеленоватых фрицев, цепляясь друг за друга, как паразиты.

Грохот и гром и гул потрясали все: вся земля содрогалась под тяжестью железного потока. Но Запорожцу, казалось, только этого было и надо.

— Давай огонь!! — крикнул он вдруг невероятно громким, грубым голосом и весь преобразился.

Задрожали Ивановы хлопцы от этого крика, бросились к орудиям. Через мгновение ничего уже не было слышно.

Орудийные расчеты метались, как львы, в бешеном ритме. Снаряд! Замок! Прицел! Огонь! Снаряд! Замок!.. Танки лопались перед ними от прямых бронебойных ударов и бурно горели с прицепами, как на страшном суде. Горело железо, десант, горела сталь и рвалась все ближе и ближе.

— Спокойствие!

Орудия прыгали, как цепные собаки, и рявкали, и выли, и метались в безумном остервенении.

Бешеный накал гнева и страсти битвы придавал бойцам такую громадную силу, что тяжелые орудия вертелись у них в руках, как игрушки. С гигантским мускульным напряжением они откатывали их, поворачивая вправо и влево, подкатывали вперед. Они были мокрые, как в бане.

— Огонь! Огонь! Огонь!

Вдруг по какой-то радиокоманде все немецкие танки мгновенно повернули вправо и, передавив немало слетевших своих автоматчиков, устремились на батарею Сироштана.

Тогда Иван быстро подал особую короткую команду. Ударили тогда по танкам из всех орудий шрапнелью, ударили все пулеметы и как ветром смели с них весь десант до одного немца. Только его и видели! Один только немец и слетел с танка живым. Потеряв разум, он бросился вперед на батарею и подбежал к Запорожцу с таким бессмысленным смехом, что тот испугался.

— Тю, черт тебя носит! Уберите эту паскуду!

— Победа! Победа! Ура-а-а! — закричали Пидтыченко, Косарик, Торохтий.

Нет, это еще не была победа. С левой стороны, у самого начала излучины реки, заходили уже вброд, в обход артиллерии свежие немецкие силы.

Но не удалось немцам обмануть хитрым маневром доблестных артиллеристов. Отдав приказ гаубичным батареям пере-

вести огонь на переправу, сам Кравчина и минометчики Лобода Иван, Драгун Петро, Романенко, Коноваленко, самые отчаянные пулеметчики и бомбометатели — Владимир Таранов, Гловацкий, Джума Урсулаев, Муравин Степан, Степан Чумаков, Ковтун Данило и множество других, которых уже нельзя было разглядеть на лету,— все что было самого быстрого, горячего и бесстрашного при артиллерии, все мгновенно устремилось к реке — все ездовые, шоферы, разведчики, связисты. Каждый понимал, что значила здесь секунда промедления. Немцы уже были в реке.

Какая была река! Какая была река! Прекраснейшая из всех текущих рек. Та самая, которую переходили вброд веселые дивчата с граблями и сорочками над головами и восхитительными песнями и смехом! Какая была любимая нетронутая река! Она стала неузнаваема. Она была поругана, растлена и обезображена врагами.

Вода текла в ней мутная, кровавая, с дохлой рыбой, трупами и прочими остатками страданий. Снаряды ввергались в нее и рвались на дне, и из глубоких заводей и ям выворачивались желто-белыми чревами разорванные громадные сомы, сазаны, щуки и прочая рыбная погибшая жизнь.

Валились столетние тенистые деревья и падали в реку корнями вверх.

Какая была река! И грязь, и муть, и кровь в реке, и смерть!

Это была уже не река, а сток нечистот.

Летали стаи перепуганных, обезумевших птиц над боем. В воздушных волнах, как в тайфуне, их кидало от взрывов из стороны в сторону, вперед — назад, вперед — назад! Они падали от грозных ударов на землю, ища защиты у чуждых и страшных людей.

Лисицы дрожали в вонючих лисьих норах. Волки в кустах, наевшись человечины, припадали пузами к земле и волочились, пачкая ее в отчаянном проклятом волчьем страхе. От ужаса у них поотнимались ноги, и желудки, и закарлючились хвосты под животами. Они валялись по кустам, как дохлые, и ползали, не смея даже выть, и лязгали зубами. Волчицы плакали.

Так страшен был мир в бою. Один лишь человек мог перенести бой.

Тут билось бессмертие со смертью.

Воздушные волны, могучие воздушные завихрения от пролетающих и рвущихся снарядов и мин срывали людей с земли, кружили их, как осенние листья, и бросали на землю.

Весь воздух пришел в яростное движение, весь он, вся атмосфера звучала, ревела, выла, взрывалась, крякала и гремела тысячами громов. Воздух горел! На бойцах загорались сорочки. Горели спины у людей. Кричали: «Ай, горю!» — и падали на землю, и крутились на ней, туша друг друга ударами ладоней.

Семь раз входили бойцы в соприкосновение с противником. Семь тягчайших немецких атак отбили они в дым и прах. Тридцать шесть пылающих танков возносили уже в небо грозную их славу. Трупов лежало между танками множество.

— Запорожец!

— Да!

— Как дела?

— Га? Добрые дела. Га?.. Ну, поставили насмерть, ну и стою! Га? Не дразните меня, товарищ капитан, не люблю я по телефону балакать.

— Резервы не подошли, гады! Но все равно отступать не будем! Га?

— Га? Не слышу... Не чую... От суета!..

Ничего уже не слышал Запорожец. Из ушей у него текла кровь. Полтора десятка мелких минных осколков жгли его тело и злили, как тигра. Половина батареи уже не стояла на ногах.

Немцы пошли в атаку в восьмой раз, потом в девятый, в десятый, в одиннадцатый! Одиннадцать раз почти беспрерывно бросались истомленные немцы в атаку, и одиннадцать раз отбивал их Кравчина. Тогда немцы пошли в двенадцатую атаку, танковую.

Новые танки прибыли прямо из Франции, где они целый год ожидали вторжения англичан. Чистенькие, без единой царапины, с новыми, одетыми во все новое молодыми танкистами, со свежими пушками, десантными экипажами и порнографическими фотографиями у замков. Как бешеные собаки, неслись они прямо в центр артиллерийских позиций против самого Кравчины, уверенные в полном его истощении.

Сначала Кравчина дал по ним бешеный огонь из всех орудий и пулеметов, а потом, когда десант слетел с танков, как стая подбитых воробьев, он вдруг прекратил огонь и велел спрятаться всем у орудий. И лишь когда танки были уже совсем близко, когда разгоряченные молчанием немецкие командиры танков высунули из башен свои маленькие головы, считая себя уже победителями, он внезапно повелел огонь. Немногие немецкие командиры успели спрятать свои головы.

Выстрелы следовали один за другим с невероятной скоростью. Бронебойщики, находившиеся в щелях, в непосредственной близости между танками, били на выбор направо и налево.

Как забегали по танкам синие огоньки, как загорелись танки да как начали рваться изнутри! Да как стали выскакивать из них с криком и визгом «свежие» фашисты!

Страшно расправились с ними артиллеристы.

— Бейте, бейте, хлопцы! Не жалейте ни одной твари! — кричал Кравчина, работая уже у батареи раненого Якимахи как боец.

Много танков разбили и сожгли товарищи в этой атаке, много немцев убили совсем близко перед глазами... Глаза в глаза, крик в крик — никого не пожалели. Все отличились до одного человека, каждый пролил кровь врага. И танки жарко пылали перед трупами своих хозяев высокими, уходящими в небо кострами. Немцы были потрясены и бежали.

Вдруг на бойцов посыпалась с неба громадная лавина разноцветной бумаги. Ядовитые листовки с сильнодействующим гадким содержанием для отравления воли и разума противника буквально укрыли всю землю, орудия, бойцов и убитых товарищей.

Воцарилась гробовая тишина. Немцы попрятались в свои логовища и следили в бинокли за отравляющим действием листовок.

Листовки были свежие, изготовленные в Берлине самыми тонкими составителями ядов. Подделка, правда, была в них взболтана в такой пропорции искусной тонкой лжи, хитрости, угроз и обещаний, что получилась смесь, способная свалить с ног уставшего человека.

«За что воюете? За что умираете?» Этот священный вопрос, написанный рукой врага, приобретал какой-то порочный смысл и, падая на бойцов с неба в сотнях тысяч своих повторений, шуршал под ногами. И, казалось, шептал со всех сторон, как сатана: «За что?.. За что?.. За что?..»

Чувства бойцов взбудоражились до крайнего напряжения. Но никто не поднял листовок. Ни один боец. Все отворачивались от них, как от мерзости, недостойной человеческого взгляда. Один только капитан Кравчина поднял листовку.

— Поднимите все,— сказал он бойцам.

— Нет, не годится нам это читать. Не хотим пачкать свои руки и души в такое время,— сказали бойцы и нехотя подняли бумажки.

— А теперь, братья мои,— сказал Кравчина,— пока немцы думают, что мы заняты чтением, хочу я напомнить вам перед самым решительным и для многих из нас, может быть, последним боем, за что мы бьемся, за что умираем... Идите сюда.

Бойцы подошли к командиру.

Их было уже немного. Они стояли перед ним мокрые от тяжести трудов и черные от дыма и запекшейся крови.

Раненые стояли, опираясь на нераненых, и смотрели на него с непередаваемой нежностью. А у кого были перебиты ноги или спины, или кто не мог уже стоять по причине головокружения или слабости, те лежали поодаль, как подбитые журавли, и вытягивали шеи, чтобы тоже послушать своего командира. От них шел пар и поднимался вверх.

Кравчина понял, что не обычных ответов, выражаемых в денежном или земельном исчислении, ждут от него бойцы. Высокие, необыденные мысли светились на их простых лицах. Перед ним стояли участники великих событий, живая грозная история, ее авторы и кровавые ее исполнители.

— За что мы бьемся? За что умираем? — Голос Кравчины вздрогнул от охватившего его глубокого волнения. И волнение это передавалось бойцам...

— Враги наши бьются за личное богатство, за власть над нашей землей. Друзья наши сражаются за мир и лад, за преимущества благополучной и счастливой жизни своих стран. И спрашивают недоуменно друг друга в кабинетах: за что сражается украинский советский селянин? За столько ль долларов или марок, как немецкий, или нет? За столько ли гектаров, как Гитлер обещает каждому солдату? Нет, не за столько, братья! Мы бьемся за то, чему нет цены в мире,— за Родину...

— За Родину... — тихо вздохнули бойцы. [...]

Кравчина вглядывался в лица изумительных своих воинов. Не простые люди стояли перед ним, нет. Прошедшие с трудами, гневом и тягчайшими боями всю Украину, Дон и волжские степи, с незабываемыми разлуками и встречами, удивившие весь мир под Сталинградом, видавшие сверхчеловеческие виды. Перед ним стояли профессоры боев, засад и грозных нападений [...]

— Вот они! — показал Кравчина на немцев, и голос его был гневен, как голос народа.— Скажите мне, братья, можем ли мы не биться?!

— Нет, будем биться насмерть! — закричали артиллеристы.

И хотели было бежать уже к орудиям, но Кравчина остановил их одним движением руки.

— Не на смерть, а на жизнь! За великий Советский Союз народов!.. и за наше украинское государство от Закарпатской Руси до этого поля боя!

— Огонь!! — закричал, не сдерживаясь, Иван Запорожец.

Не выдержали народные сердца. Обняли бойцы друг друга, как стояли, и заплакали. Только самые сильнейшие стояли без движения, как завороженные, сдерживая гордые слезы.

Немцы пошли в атаку в тринадцатый раз.

Потерпев двенадцать неудач, главный немецкий начальник понял, что он погиб. Тогда он решил произвести последнюю — психическую атаку на Кравчину.

Забросав артиллеристов листовками, он приказал своим солдатам снять штаны и сорочки и наступать в одних трусах, со смехом и пением устрашающих песен.

Покорные немецкие обыватели стали молча раздеваться, думая в ужасе о смерти, о пенсии для семьи и проклиная втихомолку свою судьбу. Тогда, заметив уныние в раздетых рядах, главный начальник пообещал солдатам прибавить по три гектара украинской земли на голову и велел им выпить водки с веселящим снадобьем. Когда снадобье подействовало и солдаты, потеряв разум, начали весело галдеть и подхихикивать, он погнал их в атаку под рев сирен, свист и треск автоматов.

— Айн, цвай, драй, фир!
Наше сердце смеется в восторге!
Айн, цвай, драй, фир...
Хи-хи-хи! Ха-ха-ха!
Свись!
Вот что значит маршировать,
Когда нас ведет Гитлер!
Гав-гав!!!

— Товарищ командир, уже показались. Идут без штанов и гавкают,— доложил Запорожцу младший сержант Неборак.

Услышав это сообщение, Иван Запорожец пришел в такую ярость, что некоторое время он сидел в неестественно застывшей позе. Потом он вскочил как ужаленный. Но последовавший вдруг телефонный приказ командира охладил его. Кравчина сообщил ему, что снаряды уже на исходе, что их почти уже нет.

— Видите,— сердился Запорожец на своих бойцов,— говорил я вам, берегите снаряды! Вот теперь смотрите на фрицев да чухайте себе потылицы, пока не подойдут на сто метров.

— Ничего, товарищ сержант,— сказал Пидтыченко, командир второго орудия.— Раз уже есть такое запрещение, мы подождем. Пускай подходят хоть на пятьдесят. О, смотрите! Тысяча чертей его матери!

Из дымовой завесы показались фашисты.

Бойцы припали к орудиям, пулеметам, автоматам, ко всему, что могло стрелять.

Враги шли полуголые, грязные, с волосатыми грудьми и животами и являли собой картину жалкую, омерзительную, как вырвавшийся на волю сумасшедший дом. Они хохотали, свистели и выли, пританцовывая. И только застывшие в ужасе глаза их выдавали тупое страдание. Это были словно не люди, а дурной сон, приснившийся больному.

Бойцы крепко держались за оружие. Однако по мере приближения немцев у многих забегали по спине мурашки. Но тут их выручил природный спутник их жизни — смех.

— Гей, немцы! Штаны потеряли! — закричал наводчик Самойло Косарик.

— Нет, не потеряли! Послали Гитлеру в Берлин на просушку! — сказал Муравин.

Все засмеялись.

— А сорочки сняли для чего?

— А то ж на них от лая шерсть выгнало, как на собаках! Чуешь, как гавкают? Давай, давай скорее, психи! — кричал Муравин, махая рукой.

Тут уже все развеселились и стали отпускать по адресу немцев замечания.

— Ото ж она и есть психическая атака, что гавкают, как псы! — сказал Овчаренко.

— Эге! — сказал Запорожец.— Вот сейчас они у меня погавкают! Сейчас полетит из них собачья шерсть. Спокойствие! Тихо!

Когда все умолкли и немецкое приближение стало уже нестерпимым, когда, казалось, слышно было их зловонное дыхание, Запорожец подал команду.

Все задрожало. Все, что двигалось в передних рядах, было разорвано и покалечено сокрушительным огнем. Однако следующие ряды не повернули вспять. Голое немецкое мещанство лезло через трупы вперед и падало грудами на мины, на пулеметы.

Рыжий ефрейтор Густав Шмуцке лез напролом, как завороженный. Был ли он храбр и отважен? Он выполнял высший закон своей жизни в войне — приказ! Он сходил с ума от ужа-

са. Но сзади были пулеметы, а впереди земля, гектары. Как он хотел земли! Как он добивался ее! Он хотел уничтожить на ней все живущее; целый год он колупал ее пальцами, растирал на ладони, нюхал, брал ее в рот, чмокал губами, и водянистые глаза его блестели радостным блеском.

«О, моя земля! Моя, моя, моя» — думал он с жадной дрожью.

Пьяный автоматчик Шмуцке упал с разбегу в яму, прямо на бронебойщика Ивана Лободу. Долго боролись они в бронебойной яме, но Иван задушил его и набил ему полный рот родной земли. Потом, тяжело дыша, он поднялся и посмотрел в сторону батареи.

Ее уже не было видно. С левого фланга к ней уже двигались немецкие танки с огнеметами. Огнеметы метали огонь... Все потонуло в дыму.

Напрасно вызывал Кравчина батарею Запорожца. Никто ему не ответил. Выстреляли запорожченковы хлопцы все положенные им в жизни снаряды, добре потрудились и попадали спать на вечные времена.

Смерть не поскупилась на них. Не пожалела ни красок, ни грима, ни зияющих ран, ни жесточайших нелюдских ожогов. Каждому отпустила она пудов по двести горячих осколков и пуль и огненных шаров температуры высочайшей.

Никто уже не узнал бы их — ни отцы, ни матери, ни жены. Да и сами они в последний час не узнавали друг друга. Так изменила их страсть смертного боя.

Все отдали. Все до последней нитки. Рассчитались с жизнью, с войной, с врагами вовсю. Не мудрили, не прятались в резервах и тылах, не обрастали родичами на простых своих артиллерийских постах. Не выдавливали из малых своих талантов большой корысти, пренебрегали талантом, не любили выставляться напоказ ни в целом виде, ни в раненом, ни в каких доблестях, мало дорожили своим — неуважительные, насмешливые и небрежные Овчаренко Гнат, Телига Захарко, Иван Гавриш, Степан Муравин, Паляничка Трохим, Косарик Самойло, Пидтыченко Левко, Неборак Мусий, Глебов Роман, Джума Галиев и Андрий Затуливитер. Остальные были в кустах — где рука, где нога, а где и голова.

Не было у них [ни] ненависти к другим народам, не зависти. Не бывали они ни в Америках, ни в Парижах, ни в Лондонах. Не видали они союзников своих в лицо, ни их союзных жен,

чи благополучных их детей. Только злобные лики жестоких, заклятых врагов и видели они при жизни в атаках. Вот какие были.

Танки пошли на батарею Сироштана. С мучительным трудом добрался Сироштан до телефона. Кровь заливала ему лицо. Он облизывал ее, соленую, и протирал липкой рукой окровавленные, вытекшие свои глаза. Кое-как нашел он телефонную трубку.

Мины крякали вокруг, словно гигантские жабы,— ква, ква, ква — ррр...

— Товарищ капитан! Что делать? Закидает минами!

— Га?

— Минами закидает! — плевался кровью Сироштан.

— А ты что думаешь, Сироштан? Варениковс вишнями закинут тебе немцы, га? Я знаю тебя, ты любишь вкусные блюда,— пробовал Кравчина поддержать дух командиров бытовыми шутками.— Сироштан! Алло! Га?.. Стоять!

— Да! — сказал Сироштан.

А стоять уже было не с чем. Не было снарядов, и расчеты ранены.

Вдруг мины умолкли. На батарею шел тяжелый вражий танк. Слепой Сироштан бросил трубку и заметался по земле в поисках приготовленных мин.

— Не вижу я мин... Где они? — шептал он, шаря вокруг окровавленными руками.— Покажите, где они?!

— Вот они,— сказали зрячие раненые.

Тогда, надев на себя два диска, Сироштан выпрямился.

— Прощайте, братцы! Хай живе наша маты Украина! Хай сгинет тьма! — И пошел навстречу фашистскому танку.

Он был слепой, но в эту минуту ему было суждено увидеть весь мир. Он вмещался в его молодом, горячем сердце. Под ногами его содрогнулась земля.

Молитесь, матери, молитесь...

На третьей батарее Мусий Загнибеда, Вдовин и Остап Горобец заряжали орудие втроем. У них было уже только три неполных руки. Недригайло работал у орудия один. Прибежал капитан Кравчина и сам стал у третьего орудия.

Танки подходили на десять метров. Земля тряслась как в лихорадке, и орудия дрожали мелкой дрожью от близости танков и стреляли танкам в лоб. И танки лопались, как яйца, и разлетались от прямых ударов и внутренних взрывов. И тогда весь орудийный расчет кричал ура, скользя в своей крови и падая, кричал: «Ура! Ура! Ура-а-а!!!»

Но вот кончились последние снаряды. Тогда воины бросились в щели с гранатами, с минами, кто с чем мог. И неприятельские танки стали над их головами.

— Рус, сдавайся!

— Нет, не сдадимся! Не просите!

— Наш фюрер дарует вам жизнь! — громко читали немецкие танкисты слова из своих дурацких книжечек.

— Мы презираем вашу жизнь!

— Долой войну! Мы хотим уже мира!

— Не будет вам мира! Не уйдете живыми!

Тогда танки начали вертеться, как отравленные псы, на одном месте. Посыпалась земля. Тяжелые гусеницы заскрежетали по стальным каскам бойцов.

— Рус, сдавайся! Союзники обманули вас!

— Сами вы мошенники!

— Вы пленные! Вы наши!

— Враги, враги мы!

— Рабы!

— Никогда! Брешете, собаки!

— Мы сидим у вас на головах!

— Брешете! Вы сидите на минах! — крикнул Запорожец и высунул из-под танка руку с миной.

— Три мины!

Забегали у немцев мурашки по спинам. Впились они в свою дурацкую книжечку. Но не было в этой книжечке необходимых слов.

— Рус, не бойся! — лепетали немцы.

— Не боимся! Всех перебьем, как собак! Всех! — закричал из-под гусеницы раненый Якимаха.— Думаешь, танками задавишь народ?! Не помогут тебе танки! Нет! Украину пожелал? Пожелал рабов на казацкой земле? Выходи! Выходи, рабовладелец! — закричал Якимаха и, выскочив с миной из-под танка, застучал по танку.— Выходи, Гитлер? Слышишь?

Неизвестно чем бы кончилась эта неравная борьба. Может быть, и не хватило бы благородного человеческого духа против немецкого железа, но тут вдруг ударил по немцам подоспевший на выручку полк. Заметались немцы, загалдели. [...]

Истощенные атаками и большими потерями, не выдержали они бурного натиска полка. Кроме того, у них перестало действовать веселящее снадобье, и солдатство, ощутив сильный страх и головную боль, а также убожество своей обнаженности, вдруг пало духом и, забыв о надбавке гектаров, попяти-

лось, согнулось и скатилось в реку, захлебываясь и топясь целыми кучами.

— Не давайте им остановиться! Не давайте! — кричал Кравчина Орлюку и Вовку Миките.

Забурлила вода в реке, забрызгала червонными брызгами, расступилась, и не успели немцы оглядеться, как уже Орлюк и Вовк Микита выскочили со своими батальонами на другой берег.

Родная земля содрогалась под ними от взрывов снарядов и бомб. Но уже вкатывались в бои новые вражеские силы. Два полка отборного немецкого войска навалилось с ходу на полк Запорожца. И начался невиданный по страсти удара новый бой.

Какие бились люди!

Словно целые столетия несокрушимого упорства и боевых щедрот раскрылись вдруг в Вернигорах, Трухановых, Вовках и Якимахах!

Родная земля их отцов и дедов умножила их гнев и силу боевых дерзаний. Они словно вросли в землю и, когда немцы были уже совсем близко, поднялись, как один, и пошли в атаку против самой середины грозного немецкого вала.

Рыжеголовый молодой немецкий генерал, прославленный своим бесстрашием и крайней жестокостью, пришел в ярость от этого удара. Он быстро повелел зажать полк в железные тиски и уничтожить в прах, чтобы замучить и добить потом раненых, контуженных или схваченных руками. Для этой цели он имел специальный отряд особых людей, видевших наслаждение в человеческих страданиях. Это были мастера смерти, опытные изобретатели жутких увечий и пыток, перед которыми бледнели жестокие средние века.

Кравчина понял маневр рыжеголового, но уже не было ни времени, ни возможностей от него уклониться. И он пошел на невозможное.

— Вперед! Только вперед! Дорожите каждой секундой! — кричал он командирам.— Пробивайтесь вперед и наседайте ему с правого фланга на потылицу!

Никто уже, казалось, не слышал приказа командира. Но, повинуясь ли инстинкту победы или вдохновению военного своего таланта, или просто решив пролить свою кровь на родной земле за самую дорогую цену,— бойцы сделали невозможное. Они пробили немецкий вал с быстротой, неслыханной в битвах, и, выскочив в тыл противника, появились вдруг перед самым штабом рыжеголового.

Это нарушение правил войны так поразило бесстрашного генерала, так грубо попутало все его параграфы и планы и так напугало его, что он еле выскочил из штаба и помчался к первому полку.

Но, как говорится, одна беда не приходит. Уже отступала дивизия. Уже не было штаба в сосновой роще. Не у кого было спросить о происшедшем. Уже пятились из густых кустарников целые подразделения. И откуда-то с юго-запада, с левого фланга, почти с тыла надвигался орудийный ураган.

— Остановитесь! Хальт! — завыл генерал, побледнев от ярости. Ему показалось на мгновение, что он сошел с ума, что мир сместился в его сознании и летит в пропасть.

— Откуда огонь?! Это фальшь! Хальт, мерзавцы! Хальт!

Но никто уже не слушал бесстрашного генерала.

— Катюши! Катюши! Спасайтесь! Тод!..

Обезумевшие солдаты бежали, прикрывая головы руками, как от извержения вулкана. Некоторые падали с разгона и лихорадочно ввинчивались в песок, как змеи. Вдруг леденящий душу исполинский свист и шипение потрясли помутневший воздух. Фантастический рой громадных оранжевых стрел приближался к роще с молниеносной быстротой. Вспыхнула воздушная мгла, взметнулся до неба сверкающий вихрь, запылал, заклубился и заполнил весь, казалось, мир неизмеримым катастрофическим звуком. Не стало ни сосновых зарослей, ни дивизий, ни бесстрашного рыжеголового генерала. Все сгорело. От генерала остался один железный крест.

Проходила на запад грозная артиллерия. А навстречу ей из порослей лесных мчались уже партизаны.

От тяжести трудов и радости победы и долгожданной встречи с родной армией им казалось в этот чудный ясный вечер, что война уже кончилась и они возвращаются домой навсегда, с победным оружием и гордыми шрамами Великой Отечественной войны.

Множество врагов уничтожили они в глубоких опасных тылах. Много незваных пришельцев нашло себе бесславную и страшную смерть от неумолимой партизанской руки. Но такую кровавую богатую жатву, как при бегстве фронтового врага, они жали впервые три дня и три ночи.

Роман Запорожец с батьком въезжали на родные пожарища. За ними тянулся обоз. Раненые кричали «ура» на подводах и плакали от радости. Радость возвращалась на землю.

Как величали бойцы артиллеристов Кравчины, этого рассказать невозможно. Они были ранены все, кроме Недригайло и Лободы, которым от этого было даже неловко, и они божились на все стороны, что им так на роду написано, по словам ворожек. Все им поверили. Все были так счастливы, что забыли о своих ранах. Товарищи бережно несли их на плечах или на руках, радуясь и трогательно улыбаясь.

Они восседали и возлежали на горячих мокрых плечах своих боевых братьев, и на многочисленные приветливые их улыбки и вопросы отвечали достойно и скромно.

— А что, очень наседали на вас немцы?

— Да добре наседали, черт бы насел на их маму!

— Трудно было?

— Да было и трудно.

— А много вы их тут набили?

— Да до черта набили. Гляньте, всюду валяются. Дайте покурить...

— Нате, курите на здоровье.

Вечерело. Бойцы расположились у села на горе над рекой, на старом сельском кладбище. С горы раскрывались далекие родные просторы.

Товарищи сидели после боя удивленные и нежные, и нежно называли друг друга на «вы» и гладили друг друга по голове и по плечам, рассказывая друг другу о далеких родных своих реках и храбрых героях. Некоторые тут же падали на заросшие дедовские могилы и мгновенно засыпали, проваливаясь в сон, и, казалось, во сне еще доигрывали свою страшную игру, жестикулируя и содрогаясь. И глубоко припрятанное страдание вырывалось из их сонных грудей глухими стонами и полыхало на лицах, подобно зарницам не совсем отгремевшей грозы.

Бессмертие народа ощущалось тут, на могилах, в непрерывной смене людских поколений. Тут сидела и лежала, казалось, сама история. На присыпанных свежей землей утратах, среди низеньких холмиков седых далеких прадедов, сидели, опираясь на автоматы, юные гости-герои и рассказывали освобожденным из неволи старшим людям про свои дела.

Они читали им величественные ненаписанные книги повествований, каких еще никогда не знал мир и ни один писатель. Они рассказывали о событиях — участники и авторы событий. События были так густо замешаны людским мясом, слезами, кровью, криком, стонами, проклятиями, невозвратными потерями, что никто уже ничему не удивлялся. Это был уже

новый мир, новая действительность среди старой природы и развалин старых, разрушенных хат, в старой, землистой одежде, немытая.

Люди представляли собой словно какой-то геологический пласт. Гигантскими катастрофическими силами сдвинуло его со своего места и неизвестно, остановился ли он на новой основе. Все еще обсыпалось с него, падало. Вокруг было полно валунов, пыли, щебня, лому — следов катастрофы и запахов бешеных взрывов и трений.

Олеся стояла возле криницы с ведром.

Войска проходили на запад. Пили воду совсем уже по-другому, весело.

— Спасибо, родная!

— Спасибо, серденько!

— Здравствуй, дивчина!

Благодарность, и привет, и обещание звучали в молодых голосах.

Проходили бойцы. Олеся смотрела вокруг с тревогой. Ей хотелось уже бросить криницу, бежать, искать, спрашивать: Но девичье предчувствие радости не пускало ее от криницы.

«Он придет! Придет Василь» — кричало все в ней.

И вот он пришел.

Сначала капитан Василь Кравчина подошел к перелазу. Потом быстро, через сад, через сгоревший двор он выбежал на улицу, к кринице. Его уже узнали бойцы. Они начали кричать ему «ура!».

Олеся оглянулась — Василь!

Это был он и не он. Он был другой. И не потому, что был он ранен в голову и руку. Что-то было в нем другое, что-то неизмеримое, непередаваемое.

Она испугалась. Потом она вдруг заплакала, как больная, и поцеловала его в раненую руку.

— Что мы скажем друг другу, Василь? — тихо-тихо промолвила Олеся.

— Скажем: здравствуй, Олеся! — сказал Василь, пораженный ее переменой.

— Здравствуй...

— Какая ты красивая,— сказал Василь тихо и ласково.— Смотри, седая... Ты стала еще красивее. Тебе, видно, горько жилось?

— Я верила. Помнишь? Иногда нет... А ты?

— И я.

— Ты много их убил?

— Множество.
— Я вижу. Ты стал добрый. Больно?
— Нет. Тебе?
— Нет.

Потом они обнялись. Он поцеловал ее руки и лицо. И она.

Потом все произошло, как в сказке. Пришли батько Лаврин, брат Роман, пришел Иван Запорожец, что тоже оказался братом. И хотя все они были ранены, а матери, деда Данилы, Савки и Григория совсем не было, и хата была сожжена,— стали вместе возле печища и в честь матери запели:

— Ой, піду я до роду гуляти...

Был вечер. И была ночь. А на утро, рано-рано Олеся снова провожала на войну весь свой род, дабы никогда не подумали лихие люди, что не был он щедрым на кровь и огонь, посланные ему позорной историей Европы.

ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ

— Кончилась мировая война! Стою с автоматом на пороге новой эпохи и думаю: какую могучую темную силу мы победили, будь она проклята!

Молодой солдат оглянулся на груды тлеющих руин и, словно пораженный вдруг громадностью пройденного пути, застыл, как памятник.

Это был крепкий и страстный солдат. Голова его была перевязана бинтом. Но он, казалось, не помнил о ране. Небритый, мокрый, покрытый копотью и прахом Берлина, он только что вышел из боя и весь еще курился на солнце у Бранденбургских ворот. Он говорил, улыбаясь, и думал вслух:

— Передо мной проходят войска — товарищи мои. Я пропускаю их, как командующий, хоть я и не генерал, конечно, и не маршал,— простой сержант Иван Орлюк, колхозник с Приднепровья, обыкновенный, так сказать, победитель в мировой войне.

Но, поскольку нашего брата полегло в боях за освобождение народов от фашизма, как никаких других солдат на свете, громадное, будем говорить, количество, и сам я лично пролил крови врага и труда понес немало, я, рожденный для добра человек, должен как-то представиться моим современникам, друзьям и врагам всего мира, вместе с моей женой, с отцом и матерью, со всем, как говорится, домом, с колодезем, из которого я пил когда-то воду, с садом, с огородом, где познал

первые мозоли на руках,— словом, со всем моим родом и судьбой.

В осеннюю ночь сорок первого года прощания шумели над Днепром.

Отцы и матери прощались с детьми, мужья — с женами, братья — с сестрами. Разлучалась любовь с любовью, надежда с надеждой, прощалось несбыточное замужество, неосуществленное материнство.

Был ветер в ту ночь. По небу проносились тревожные тучи с запада, с германской стороны, и пахло трупом и пожаром.

Прощались, торопясь, и, подавив тоску, уходили быстро, словно вдогонку за своими необычайными судьбами.

Никто не знал размеров грядущего в ту ночь. Не знал и герой нашей повести, красноармеец начала Отечественной войны Иван Орлюк.

Только чувствовал он, отходя на восток со своим полком, что наступило великое время, и, охваченный необычайностью чувства, молчал.

Упали мосты на Днепре. Тяжелый рокот и гул покатились по водным просторам. С высоких обрывов посыпалась земля.

На покинутом берегу, уже на той стороне, на самой крутизне стояла мать Ивана Орлюка — немолодая колхозница Татьяна.

— Отведи, господи, руку смерти от моего сына-воина! — торжественно приказывала она, и ветер уносил ее слова в темноту. Потом, взмахнув руками, словно птица крыльями, она встала на колени и, подавшись вперед, готовая, казалось, улететь за Днепр, затужила:

— Иваном зовут его, моя доля, Орлюком Иваном, а я его маты! Стою на зорях вечерних и утренних, заклинаю дороги. Стою в полуночи над бездною печали, абы не взял его ни меч, ни огонь, ни вода. Сын мой, защита моя!..

Земной шар вращался в межзвездном пространстве. Дымилась планета от Нордкапа до Черного моря, а над ее идеальной сферой носились самолеты, извергая из своих чрев тысячи бомб. И весь эфир звучал новой музыкой, которой еще не знала жизнь. Это не были ни гимны ее красоте, ни славословия ее гениям, ни реквиемы героям. В холодную бесконечность уносились свист и вой и визг радиошифров. В злобное урчание потерявшего свободу эфира врывались неуместные мелодии, яростные крики атакующих, призывы, приказы на

языках величайших народов. Но все, что звучало в мире, перекрывали катастрофические рокоты моторов эпохи.

Пылали города.

— Подсудимый Иван Орлюк, у вас при аресте нашли среди вещей вот это. Что это? — спросил военный юрист Величко, слушая показания подсудимого в военном трибунале.

Подсудимый тяжело вздохнул и покраснел.

— Отвечайте, что это?

— Земля... — сказал подсудимый и опустил глаза.

— Какая?

— Украинская.

— Так. Вы были комсомольцем?

— Да. Я и есть комсомолец.

— Допустим. А для чего это? — Военный юрист раскрыл на столе маленький узелок с землей.

— Это я взял на память, когда покидали Украину. Ночью. На заре одна женщина плакала и говорила, что это конец Украины, ну, граница, сказать бы, межа.

— Ну?

— Ну, так я тогда отошел в сторону, стал на колени и сказал: «Прощай, Украина».

— Еще что сказали?

— Больше ничего. Сейчас вспомню... Кажется, все.

— Так. Продолжайте. Можете продолжать биографию, только покороче.

— Да! — вдруг как-то встрепенулся Орлюк и улыбнулся одними губами. В глазах оставалось страдание.— Так вот я и говорю, что когда мы убирали сенокос, мы ходили вокруг стогов по семенам. Все свое детство я ходил по семенам. Они были у нас везде, куда ни повернись: в горшках, в узелочках, на жердях в сенях, в сарае под крышей, в бочках, в мешках.

Я часто спал в семенах — во ржи, в просе, в ячмене и горохе на печке. Я люблю запах семян. Я в семенах вырос. И мать меня родила тоже среди семян — в жниве под копной.

— Довольно.

— Но это же очень важно. Я сейчас объясню.

— Вы лучше сразу расскажите о своем преступлении,— сказал второй военюрист.— Как вы убили двух своих товарищей?

— ...Которые тоже, очевидно, выросли среди семян,— добавил Величко.

— Так я ж им сказал: нельзя, говорю, так подло рассуждать. То есть я так подумал.

— Что именно?

— Ну вот о том, что они говорили.

Но вы не имели права их расстреливать?

— Не имел.

— Значит, вы признаете себя виновным?

— Нет... Я ж вам объясняю... Я что говорю? Я...

— Отвечайте на вопросы точно. Вы убили...

— Я их расстрелял! Перед расстрелом я спросил разрешения...

— У кого?

— У капитана Кравчины.

— Капитан Кравчина не имел права разрешать.

— Он и не разрешил. Разорвалась мина, и он упал раненый. Тогда я сам уже расстрелял.

— Вас никто на это не уполномачивал. Почему вы не признаете себя виновным в убийстве двух товарищей?

— У меня сердце бешеное.

— Отвечайте — да или нет?

— Я... мне... я не могу этого сказать.

— Вы стоите перед военным трибуналом. Вы будете расстреляны!

— Скажу.

— Говорите.

— У меня у самого тогда тоже появилось немного их чувства. Оно как бы по воздуху перелетело на меня. И это меня так как-то обидело, и я рассердился. А думать уж было некогда, и потом земли, видите, сколько осталось... Я вас прошу, не сердитесь на меня за разговор о семенах. Я ведь на агронома учился, хотел прославить свою область, а теперь вот что осталось!

Дальше подсудимый не выдержал и, схватив со стола завернутую в платочек горсть земли, заплакал.

Окна дрожали от взрывов.

Это происходило так:

В безысходном горе плакала женщина у хаты. Было темно и не темно. Зловещие вспышки света полыхали вокруг, и такая была разлита в этом неверном свете тоска, такие недобрые звуки нарушали ночную тишину, что вся, казалось, земля глухо стонала от тяжелых предчувствий.

После долгих кровопролитных битв войска отходили, повинуясь стратегическому плану командования.

— Прощай, Украина...— сказал Орлюк, остановившись и повернувшись на запад, в сторону зарев. Голос его дрогнул от страдания. Потом он опустился на колени, а за ним товарищи.

Он говорил тихо, потеряв от тоски всю силу голоса. Говорил медленно, с паузами, вглядываясь вправо и влево, в ночные пожары. Потом взгляд его снова уходил далеко вперед — к самым берегам. Днепра, к Карпатским горам, которые он так недавно оставил.

— Прощай... Клянемся, где б мы ни были, пока мы живы, будешь жить и ты! И никогда не погибнешь, дорогая наша земля, пока держит оружие Родины хоть одна пара комсомольских рук! Никогда! Возьмем, товарищи, по горсти земли... — обратился Орлюк к товарищам.

И когда они взяли по горсти земли, Орлюк крикнул в темноту всеми силами своей души — всем гневом, обидой, горем:

— Смерть фашистским оккупантам!

— Тихо! Кто там орет? Отходим тихо... — раздался со стороны дороги командирский голос.

И тут Орлюк заметил, что двое из его товарищей бросили землю и глянули друг на друга мельком с какой-то недоброй почти незаметной улыбкой, и даже не улыбкой, а с каким-то другим решением.

— Так. Полыхали зловещие зарева,— рассеянно сказал судья, прислушиваясь к сигналам тревоги.— Вы остановились. Ну и что вы сказали?

— Я сказал: прощай, Украина, смерть фашистским оккупантам, еще там кое-какие слова.

— Потом?

— Потом мы взяли вот это. Потом я вижу, что они бросили это и так как-то... Я тогда им говорю, в общем, стали разговаривать, и я понял, что я или расстреляю этих гадов, или клятве моей грош цена, и домой я не вернусь. Потом, на другую ночь, когда фашисты прорвались, я вижу, они в сено. Так я тогда за автомат — стой, говорю, предатели и трусы?!!

Тут Иван Орлюк пришел в такое негодование, что стол, за которым сидели судьи, затрещал под ударом его кулака.

Громадная авиабомба разорвалась перед самым зданием суда. Промчались взбесившиеся кони, оборвали поводья. Началась бомбежка.

Орлюк сидел с судьями в бомбоубежище.

Судья Петр Самойлович Величко был недоволен.

— Дорогой мой, как защитник Родины и коммунист и как судья, я прошу как следует понять то, что я скажу: если бы вы были даже моим единственным сыном, все равно пойдете...

— В штрафную роту! — сказал Орлюк таким тоном, словно просился в Москву на сельскохозяйственную выставку.— Хоть три дня побьюсь! Пожалуйста!

— Три дня. А дальше хоть смерть?

— Будь ласка!

— Глупый вы человек. Фамилия орлиная, а голова дурная. Не далеко вы ушли от этих дураков, которых сами постреляли... Нет, дорогой мой...

— Товарищ...

— Подождите.

— Товарищ судья!

— Внимание! Воздух! — послышались крики откуда-то сверху. Воцарилась гробовая тишина, после которой начался грохот и такое содрогание земли, что все забыли о суде. Потом внезапно стало тихо.

— А про семена вы очень хорошо говорили,— сказал Величко, следя за уходящими вражескими бомбардировщиками.— И я верю, что рано или поздно, но вы, Орлюк, еще будете сеять над Днепром, эти семена... Запомните мои слова.

— Так вы за семена не обиделись?

— За семена — нет.

— Я так люблю сеять! — вздохнул Орлюк, стараясь все время забыть, что он подсудимый.— Люблю пахать, косить, молотить. Но больше всего люблю сеять, сажать, выращивать, чтоб произрастало. Тогда я сторукий, и рука у меня, товарищи судьи, ну такая легкая, нигде так не родило, как там, где я. Медаль получил на выставке. Во!.. Пошли, пошли, пошли!..— Орлюк увидел вдруг эскадрилью наших истребителей и оживился.— Как я завидую летчикам. Не попал я в летчики...

Штрафная или не штрафная рота? Всем одинаково трудно. Все должны когда-то привести к торжеству.

— Огонь на меня! Огонь на меня! Противник близко! Я — «Ласточка»! Огонь на меня! Фашисты рядом! Я — «Ласточка»!.. «Ласточка»!..

Орлюк сидел в гнезде наводчика и кричал в телефонную трубку. И потому ли, что никто ему уже не отвечал, или что он

оглох от взрывов, или что враги были действительно близко, на лице его изобразилось страдание. Потом он перестал дышать и весь побагровел: рядом с ним лежали разбухшие гитлеровцы — и не уйти от них, не спрятаться от невыносимого смрада.

— Огонь на меня!..

Ему хотелось уже хоть разорваться на собственных минах, лишь бы не дышать этим смрадом.

— Я — «Ласточка»... Давай! А, будь ты проклято!

Но артиллерии было уже не до «Ласточки». Битва гремела пятые сутки. Подходили резервы на машинах. Бойцы оглядывались на встречный поток раненых и проносились вперед, думая свои трудные думы.

Выходили раненые из боя. Под тяжелыми ударами бомб содрогалась земля. Враги не жалели ничего. Они бросались в беспрерывные атаки и докатились до артиллерии.

Когда на старшего лейтенанта Пахомова обрушился вражеский вал, артиллеристы заработали в предельном темпе. Пал тяжело раненный Пахомов. Тогда с фланга ударил пулеметчик Гарковенко. Но и он упал, раненный многими пулями. Раненого Гаркавенко сразу же заменил его напарник Грачев. Но недолго работал Грачев, одну лишь минуту. Не стало Грачева. Тогда Попельнюк залег между ранеными и уложил всю фашистскую цепь с близкого расстояния.

— Огонь на меня!..— кричал Орлюк, чуя уже, как дрожала земля под тяжестью вражеских танков. На этот раз Орлюк был услышан.

— Даем!.. Удирай, пока целый! — закричал в телефон заменивший раненого Пахомова старший сержант, сибиряк Дубровин. Это был веселый крепкий парень, никогда не терявший присутствия духа. Он давно уже носил в кармане письмо к родным, в котором заботливо извещал их о своей смерти в бою, чтобы знали они все и вся Сибирь, как погиб он на поле боя.

— Огонь!

Орлюк выбрался из огневого котла каким-то чудом. Когда он оглянулся, уже несколько вражеских танков пылали, а один, самый близкий к нему, взорвался от прямого удара и вспыхнул таким бурным багрово-черным огненным шаром, что у него сердце чуть не лопнуло от трепета, и горячая волна обдала его жаром.

Пользуясь минутным замешательством врага, Дубровин выкатил батарею на открытую позицию. И хоть немало бойцов тут же пало от танкового огня и сам Дубровин был ранен, артиллеристы уничтожили еще шесть танков и этим спасли фланг. Но

их тоже хватило ненадолго. На них двигались новые волны автоматчиков, и, хотя они вскоре все до одного были убиты или ранены, никто не отступил. Бой был выигран.

— Танки! Дубровин! Наши танки! — закричал Орлюк, оглянувшись назад. Танки генерала Глазунова шли в атаку. Орлюку показалось, что он крикнул «ура», но он только прошептал это слово. Он был ранен дважды.

В пылу битвы он не замечал ни боли, ни кровотечений. Страсть его была накалена до такого высокого градуса, что, только потеряв почти всю кровь, он как-то вдруг утратил зло, остановился, затосковал и, растаяв словно воск на солнце, упал.

И показалось вдруг Ивану Орлюку, что упал он по странной случайности не на землю среди вздувшихся коней и невыносимо смердевших фашистов, а в старую дедовскую ладью, и вешние воды вдруг подхватили его и понесли быстро-быстро, кружа между осокорями, вербами, дубами, через чудесные заросли лоз и кустов. Распускались почки на затопленных деревьях, шевелились нежные кисти соцветий. Потом ладья поплыла средь водяных цветов, минуя села, хутора, а в весеннем небе кружились изумительные нежные облака. Потом вода исчезла, и старая просмоленная дедовская ладья поплыла по траве, по цветущему саду, кружась среди кустов смородины, крыжовника, мимо пасеки и омшаника, и приплыла, как в сказке, к самой родной хате.

— Иван! Это ты, наш Иван? — бежали к нему отец, мать, дед, баба, сестры. А он лежал в ладье не раненый, а совершенно здоровый и радостный, только ему нельзя было встать.

— Иван! Иваночко! — бежала к нему по стежке она, самая дорогая, его Ульяна.— Иваночко, вернулся!

Они наклонились над ним, все добрые, любящие, только он не мог встать.

— Иваночко, ну скажи ж нам что-нибудь! Отчего на тебе да такая белая сорочка?

— А я сегодня переходил во второй класс,— сказал Орлюк, счастливо улыбаясь.

— Но там же война, где ты был? — спросила мать.

— Война, мамо. Там все. Весь мир. А видно!..

— Горит?

— Горит!.. И видно, мамо, на сто лет вперед.

— Ну когда же оно кончится?

— А приказ же был.

— Какой приказ?

— А шукай мене, моя маты. Шукай мене, моя маты, в степях у дорогах. Там я буду, моя маты, трычи зымуваты, своим чубом кучерявым степы устылаты, своим тилом комсомольськым орлив годуваты, своей кровью горячею рички доповняты, людство вызволяты.

— Так это ж песня?

— Нет. Споем другое. Вот песня,— улыбнулся Орлюк и тихо запел: — «Дивчыно Уляно, збуды мене рано, та так збуды рано, а щоб и не свiтало. Щоб у барабаны та не выбывалы, золотiї трубы та не выгравалы»...

Ульяна не выдержала песни и тихо затужила.

— Ну, а что это за покойники? — спросил дед, показывая на убитых фашистов, лежавших на дне ладьи у ног Орлюка.

— Это враги,— сказал Орлюк.— Я был наводчиком. Кричу: «Огонь на меня! Огонь на меня!..» Они ко мне: «Вер ист дорт?» А я: «Смерть!» Ай!..

Гитлеровцы держали его за ноги окостенелыми своими руками.

— Теряю чувство! — сказал Орлюк тревожно и громко, словно желая разбудить себя, остановить быстротечную реку.

Он лежал на поле битвы в грязи и в крови, угоревший от трупного смрада. Его начало рвать.

Потом, теряя сознание, он снова унесся домой, но уже не мог приблизиться.

— Гей, гей!.. Уляно!..— крикнул он, протягивая руки к своим родным, но они быстро удалялись. Что-то уносило неудержимо его из родного сада.

К орлюковской хате подходили фашисты.

Они вошли в село под барабанный бой и музыку губных гармошек. Они стучали в каждую дверь, в каждое окно. Они почти все что-то ели, жевали, некоторые казались пьяными. В водянистых глазах оккупантов зияла духовная нищета.

Шла война и в эфире. Сражались радиостанции. Радиостанции Берлина, Киева, Братиславы, Праги, Парижа, Будапешта, Рима разносили по всему миру речь «фюрера» Украины Эриха Коха:

— На безграничных просторах Украины есть земля для всех солдат. Солдаты, вы мне можете поверить, что я вытяну из этой страны последнее, чтобы обеспечить вас. Сорок пять гектаров на солдата! Вот что значит воевать, когда тебя ведет Гитлер!!!

— Хайль! Хайль! Хайль! — хрипел мировой эфир.

— Говорит радиостанция имени Тараса Шевченко! Дорогие товарищи, рабочие, колхозники и трудовая интеллигенция Украины! Гитлер и его банды стремятся завоевать мир и создать мировую рабовладельческую империю...

— Говорит Будапешт! Хайль! Хайль! Хайль!

— Говорит Берлин! Солдаты! Сбывается вековая наша мечта — соединение Балтийского и Черного морей под скипетром фюрера! Хайль! Хайль! Хайль!

— Говорит Москва! ...что стало бы с человечеством, не будь нас, Советского Союза? Где почерпнули бы народы силу и мужество в борьбе с фашистским гигантом? Куда покатился бы мир? В какую пропасть?..

— Говорит Берлин! ...Убивайте, убивайте, убивайте беспощадно! Партизан и всех, действующих вместе с ними, приказываю в плен не брать и не расстреливать, но исключительно вешать.

— Говорит Москва! Братья и сестры! В этой гигантской борьбе двух миров решается судьба Советского Союза, а с ним Советской Украины. Решается вопрос, будем ли мы жить. Будет ли развиваться наша культура или погибнет вместе с нами? Будет ли Украина свободной Советской Республикой или исчезнет и превратится навеки в гитлеровскую колонию?..

Тонет обращение правительства к народу в хрипе и вое немецких радиостанций.

— Хайль, хайль, хайль!!! — выкрикивали продажные дикторы всей Европы, а вслед за ними надрывали голоса и незадачливые украинско-немецкие националисты.

Но вот радиостанция имени Тараса Шевченко снова овладела эфиром:

— К оружию, народ-воин, к оружию! Уничтожайте, громите фашистского зверя! Вздымайте до неба священный огонь ненависти к оккупантам! Слава крови нашей и бесстрашию! Смерть немецким оккупантам!

Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва!

— Живу! — прошептал Орлюк подбежавшему к нему сержанту Дубровину. На лице его не было уже ни кровинки. Дубровин сам был ранен в голову, но у него хватило силы поднять Орлюка.

— Живем. Обыкновенная рана... Ага, две. Ух ты!.. Держи кровь! Зажимай!

— Не оставляй меня, Степан.

— Не слышу! Глухой!

— Не давай мне лечь на землю! Держи на ногах!

— Ага! — советовал Дубровин.— А ты сопротивляйся, топчи ее!

— Топчу...

— Топчи, не давайся!

— О Степа! — заскрежетал зубами Орлюк.— Топчу...

— Топчи-и! Мы еще себя покажем! — Дубровин оглянулся на запад и взвалил на плечи Орлюка.

Раненые выходили из боя, поддерживая друг друга. Многих уносили санитары, увозили грузовики. На встречных грузовиках подходили резервы. Кипела работа в хирургической. Окна звенели от взрывов. Порой был слышен рокот крупнокалиберных пулеметов. Одна сестра упала в обморок.

— Гей, заберите сестру!

Хирургу, доктору Богдановскому, вкладывали в рот бутерброды. Его резиновый передник был в крови и халат в крови. Усталое немолодое лицо было в поту, глаза воспалены. Руки в резиновых перчатках были подняты вверх.

— Вина!

В хирурга вливали вино.

Крупная бомба разорвалась невдалеке. Посыпались стекла от могучего взрыва, штукатурка, щебень. Все затрепетало и сорвалось с места. Воздушной волной ударило хирурга о стенку и бросило на пол.

— Уляно, Уляно! — кричал сержант Орлюк, лежа на операционном столе. Он уже без памяти доигрывал страшную свою игру, жестикулируя и содрогаясь.

— Огонь на меня! Огонь на меня! Я — «Ласточка». Фашисты рядом! «Ласточка»!.. На меня!.. Я — «Ласточка»!.. Уляна!.. «Ласточка»!..

Госпиталь шатался и трещал от могучего рева войны.

В это время далеко за Днепром, в родном Ивановом селе, зловещий рев войны врывался в школу.

— Ульяна, спокойствие. Идут... Самое главное — спокойствие... Прошу тебя...

— Ахтунг!

— Встать! Встать!

Сопровождаемый переводчиком и парой вооруженных автоматами солдат, гитлеровский комиссар Курт Шредер быстро прошел по всем классам Старопавловской десятилетки. Ученики и учителя вставали в гробовом молчании. У выходов школы и в передней стояли полицаи.

Директор школы Василий Маркович Рясный был взволнован до крайности. Он очень боялся, что кто-либо из учеников не встанет или непочтительно ответит на возможный какой-либо вопрос комиссара. Он знал, как ненавидят его питомцы фашистов, как ненавидят их учителя. Ему было известно, что комсомольская группа учителей и учеников собиралась уже формировать подпольную боевую дружину, чтобы при первой возможности организованно уйти в партизаны. Он сочувствовал им всем сердцем и сам несомненно вступил бы в дружину, если б не давали себя знать немолодые годы. Он не был простым учителем. Просвещение народа было потомственной деятельностью в его роду. Учителями были его отец и дед, и дети его также были учителями — два сына, ушедшие в Красную Армию, и дочка Ульяна, только что окончившая педагогический институт в Нежине. Портреты Чернышевского, Писарева, Добролюбова, Ушинского, Шевченко, на которых воспитывались целые поколения народного учительства, чтились в его доме наряду с портретами Маркса и Ленина. Василия Марковича уважала вся округа, и сейчас, когда власть и партийный актив ушли на восток, оставив в подполье только отдельные группы организаторов Сопротивления, он остался временно в селе почти единственным авторитетом. Он знал это, и это пугало его.

Предчувствие грозы томило его вот уже несколько месяцев. Тяжелые тучи заволокли все небо почти без просвета.

Комиссар остановился в седьмом классе. Воцарилась зловещая тишина. Перед комиссаром у кафедры стояла дочь дирек-

тора — молодая учительница истории Ульяна Васильевна. Глянув на Ульяну, Василий Маркович почувствовал, что сейчас произойдет то страшное, роковое, чего нельзя уже ничем ни предупредить, ни исправить. То, что было спрятано у него на сердце, он увидел на лице своей дочери. Гордая молодость не могла таить своих чувств. Ульяна глядела на комиссара Шредера с нескрываемым презрением.

— Это моя дочь. Прошу вас в следующий класс,— сказал Василий Маркович.

— Очень хорошо,— улыбнулся Шредер.— Разрешите? — обратился он к Ульяне и, не дождавшись ответа, сел, положив на кафедру стек и фуражку.

— Продолжайте. Скажите ей, пусть продолжает.

— Продолжайте. Господин комиссар хочет послушать вашу лекцию,— сказал по-украински офицер-переводчик. Это был среднего роста, неопределенных лет, весь какой-то выцветший субъект. Звали его Грибовский.

Изгнанный в числе гетманских недобитков [1] из Украины в восемнадцатом году, неудачный сын волынского попа, Евген Грибовский прожил за границей двадцать пять лет. Четверть столетия носило его по Германии, Канаде, Бразилии, Аргентине, Южной Африке, Франции, Балканам.

За долгие годы блужданий, изведав приключений, которых хватило бы на добрый десяток бульварных романов, он стал известен многим контрразведкам. Не один тайный сейф хранил его фотографии, доносы и клятвы в верности. «Коммивояжер террора», как звали его в соответствующих кругах, имел подданство Чехословакии, Франции, Германии, Болгарии, Аргентины. Был агентом многих держав. Любил красивых женщин, вино, питал страсть к драгоценным камням и изысканно красивым костюмам авантюриста. Занимался всем, ничего не умея делать, не имея ни одной человеческой специальности.

Блуждая долго по чужбине, сеял ненависть к правительству своего народа, маниакально мечтая о походе на Украину уже лишь как о возможности мщения.

Но прошумели жалкие годы в ресторанах, второстепенных гостиницах, в купе вагонов. Минула молодость в химерной авантюристической метушне. В усталом больном воображении перепутались все пути, дороги всего мира, и родные люди где-то затерялись и давно позабылись, и даже отец позабылся в селе, ничтожный неразумный попик.

Это был уже минус-человек. Используя его для захватнических целей, немецкие фашисты не верили ни одному его сло-

ву и презирали его как человеческий сор, который всегда валяется под ногами на путях международной политики.

Таков был Грибовский. Война Германии с Советским Союзом застала его черт знает где, в Италии, Тунисе или Мадриде. Через несколько дней он уже был в немецко-фашистской форме. Грозным потоком понесло его вместе с фашистской армией на Украину.

— Продолжайте! — приказал он учительнице.

— ...Летописец говорит: князь Святослав ходил легко, как барс,— сказала Ульяна, обращаясь к ученикам.— Он никогда не брал в походы возов, ни мяса не варил, но, изрезав конину, или зверину, или говядину, пек на углях. Ни шатра не имел, ни постели и никогда не нападал на врагов своих без оглашения войны. Благородный и прямой славянин, он всегда предупреждал о своем походе: «Хочу идти на вы». Он вырос тут же, где и мы. Вон там, за горой, в Вышгороде жила его мать Ольга [2]. Тут вот, за окном, где стоит Троянова хата, паслись его кони и кони его отца и дедов...

Ульяна сделала небольшую паузу, сдерживая волнение. Класс не сводил с нее очей. Было так тихо, что, казалось, слышалось движение крови в сердцах.

Казалось, никакая речь не могла всколыхнуть юные натуры учеников более высоким волнением, чем эти простые слова. В устах молодой учительницы голос народа прозвенел неумирающим тысячелетним звоном, словно откуда-то издалека протрубили над Днепром прадедовские трубы, заржали кони на степных холмах, запахло потом и кровью древних сеч, и могучий лязг старых мечей поднялся над грохотом недавно прогремевших родных орудий и танков. Все было понято до конца. Все звало на подвиги.

Комиссар Шредер не сводил с Ульяны водянистых глаз. Грибовский шептал ему на ухо перевод и также пожирал ее взглядом.

Ульяна чувствовала на себе взгляды врагов. Ей было страшно, как страшно бывает в первом бою молодому неопытному воину, когда с фланга начинают обжигать его беспрерывным губительным огнем. Но вот под натиском благородной воли к победе улегает волна страха. Освобожденный от житейских пут, устремляется воин вперед с удесятеренной страстью, и тогда особую меткость приобретают его удары по врагу и особой властной силой звучит его боевой клич.

Голос Ульяны окреп. В какое-то мгновение он словно по-

 старел на несколько лет. В нем звучал уже прямой призыв.

«...Когда в девятьсот семьдесят втором году печенежские орды, направленные византийцами, окружили князя-витязя у Днепровских порогов и он увидел, что выхода как будто нет, он все же нашел для себя и для дружины выход. Когда все были ранены, и мечи притупились, и печаль уже звала к побегу с поля битвы, он сказал: «Воины, не посрамим земли русской, ляжем здесь костьми. Мертвые сраму не имут».

Тогда ему ответила дружина: «Князь, где ты свою голову сложишь...»

— Там и мы свои сложим! — загомонил вдруг весь класс и умолк.

Воцарилась зловещая тишина. Шредер встал.

— Смерть немецким оккупантам? Очень хорошо! — Недобрый багрянец разлился по его лицу. Он был взбешен этой сценой.

— Встать! — крикнул Грибовский.

Ученики встали.

— Ахтунг! — раздалась команда.

В дверях появились вооруженные солдаты.

— Господин комиссар, ведь это урок,— заволновался Василий Маркович.— Это только урок нашей древней истории!..

— Вы получите здесь урок новой истории,— сказал Шредер.

Грибовский переводил. Шредер с ненавистью смотрел на Ульяну.

— Я привык уважать женственность, даже если я встречаю ее в лице, достойном не уважения, а, допустим, пули или веревки по имперским законам.

— Господин комиссар!..

— Тихо!

— Я прощаю фрейлейн Ульяну...

— Я не нуждаюсь в вашем прощении! — сказала Ульяна.

— Я это принял к сведению,— сказал Шредер и, повелев жестом увести Ульяну, посмотрел на учителей.— Я должен взять школу под защиту от ее неразумного влияния. Она, как мне известно, комсомолка.

— Здесь все комсомольцы,— сказал молодой учитель Сергей Гомон, когда полицаи уводили учительницу.

— Неправда, я не комсомолец! Вы не смеете так говорить! — заволновался учитель младших классов Гордей Мандрыка.— Ульяна Васильевна, скажите, что я не комсомолец!

— Вы? Конечно, нет,— сказала Ульяна, оглядываясь на Мандрыку.— Нет-нет, какой же вы комсомолец!

— В конце концов, мне все равно, комсомольцы вы или нет,— сказал Шредер.— Я хочу, чтобы все вы, учителя и ученики старших классов, одинаково хорошо вспоминали меня в Германии, куда вы поедете сегодня же.

— Позвольте!

— Здесь вам больше делать нечего. Поняли?

— Но ведь мы учимся! — послышался ученический девичий голос.

— Вы не будете учиться. Вы будете работать. Глупо учиться в селе. Вы есть земледельцы. Этим сказано все!

— Это невозможно! Это ошибка! Я не верю! — вспылил Василий Маркович.— Германия Гёте, Шиллера!..

— Помолчите! Это бестактно,— сказал Грибовский.— Останется три группы младших и учитель Мандрыка.

— Мандрыка? Подождите! Переведите ему! Простите, господин комиссар, вас неверно информировали о состоянии нашего села.— Василий Маркович побежал за комиссаром в следующий класс.

— ...Ведь наше село не то, что вы думаете. За годы Советской власти в нем выросло много интеллигенции — врачей, инженеров, педагогов. Есть уже ученые, агрономы, химики... Ведь у нас...

— У нас, у нас! — рассердился Шредер.— Не забывайте, что сегодня здесь уже не мы у вас, а вы у нас!

— Вы не знаете, что вы говорите. Дурак вы! — вскипел вдруг Василий Маркович.

— Не говорите этих слов,— прошипел Грибовский.

— Что он сказал?

— Он с ума сошел.

— Что он сказал?

— Я сказал, что они не поедут в Германию.

Грибовский перевел.

— Они вам это говорили? — Шредер побледнел.

— Я им говорил,— сказал тихо, но твердо Василий Маркович.

— Неправда! Василий Маркович этого нам не говорил! — послышался взволнованный голос молодой учительницы.— Он клевещет на себя.

— Передайте этому большевику, что он может считать себя повешенным!

— Слушайте, поймите же, что вас завоевали,— сказал учителю Грибовский, сцепив зубы.— Комиссар говорил, чтоб вы были более осторожным в выражениях. Вас могут покарать...

— Брешете! — сказал вдруг Шредер по-украински.—Я сказал, что он может считать себя уже повешенным, а вы — пониженным в чине. Курбацкий!

Начальник полиции Федор Курбацкий в три прыжка очутился перед Шредером. Это был молодой дезертир, жестокий и слабовольный, бандит и грабитель, неоднократно сидевший в тюрьме, отбывая ничтожно легкие наказания за свои преступления. Начальником полиции он сделался с первого дня нашествия и с первого дня стал наводить ужас на весь район. От руки этого подлого выполнителя гитлеровских приказов поплатились жизнью десятки людей, проклявших перед смертью свое глупое благодушие, когда, имея в свое время власть и обязанность уничтожить преступника, жалели его глупую мать или ничтожного сквалыгу отца.

— Бей! — приказал комиссар.

Курбацкий оглянулся и оцепенел. Перед ним стоял старый директор школы.

— Не трогай! — загудел класс.

Курбацкий растерялся. Даже у него не хватило дерзости поднять руку на Василия Марковича.

Тогда Шредер, видя, что дело приобретает неожиданный оборот, ударил Курбацкого стеком изо всей силы — раз, два, три! — и тогда бандит, хрипя от боли, как цепной пес, бросился на директора.

— Товарищи! Бежим! — заволновались ученики и в соседних классах.

— Слышите? Куда же бежать!

— Они оцепили здание!

— Все равно, надо прорываться!

Ученики и ученицы восьмого и девятого классов стояли за партами, глядя в окна. К школе подъехали грузовые машины с солдатами. Из седьмого класса доносились крики.

— Подожди бить, Каин! — сказал Василий Маркович, найдя в себе силы оттолкнуть Курбацкого и двинуться к Шредеру.— Дай поблагодарить палача за веревку. Не бойся, не ударю,— глухо сказал он, когда Шредер вдруг отступил перед ним на два шага.

— Не подходи ко мне! Слушай!

— Нет, ты послушай! — выпрямился директор Рясный. Он знал уже, что погиб, что ему не выйти из этого класса. Но ни страха, ни сожалений не было в его душе. В последние минуты честно прожитой жизни ему на помощь пришел гнев.— Послушай и запомни, куда ты пришел.

— Я завоевал...

— Нет! Все это кажется тебе!

— Ты смешон.

— Я свободен. Переведите ему точно, мерзавец!.. Я свободен. Я и мой народ.

— Я уничтожу половину твоего народа!

— Другая половина уничтожит тебя.

— Я убью тебя!

— Вижу. И сам здесь умрешь. Но перед тем как умереть, ты проклянешь того, кто поставил тебя на путь смерти.

Тогда Шредер ударил его кулаком.

— Не трудись,— сказал старый учитель.— Ты не можешь меня оскорбить. Я слишком тебя презираю. И чтобы это показать, я плюю тебе в лицо при детях.

— Я тебя повешу!... Нет! На кол!!! — осатанел Шредер, вытирая плевок.

— Ну что ж, прославь меня ужасом. Это старая украинская смерть. Дрожишь? Сажай на кол! Высоко подыми, чтоб видели все потомки, как презираю я твои дела.

Эти слова слышала вся школа, и вдруг...

Есть ли школа на нашей земле, что, услышав подобные слова учителя, не бросилась бы на врага, как бы ни был жесток и беспощаден враг? Есть ли такие дети?

Нет.

Василий Маркович не был повешен. Он лежал среди класса с простреленной Шредером грудью, окруженный распростертыми телами героев, которыми всегда славилась наша земля.

Разгромленная десятилетка была угнана со всеми учителями в Германию в рабство. Осталось только три первых класса да тихий боящийся собственной тени учитель Мандрыка.

Ульяна исчезла неизвестно куда. Говорили потом, что, когда ее привели в комендатуру на допрос, она, словно повинуясь вдохновению, посещающему человека раз в жизни, в самую главную неповторимую секунду, вдруг сразу, от порога подошла к столу и, внезапно взяв лежавший маузер, застрелила двух офицеров гестапо и двух солдат. Затем, выйдя в сени, убила наповал еще одного солдата и одного во дворе. Все это произошло в течение нескольких секунд.

Говорили еще, будто она спряталась у доктора Вирского, проживавшего в хате Орлюка, и будто бы доктор обезобразил ее лицо до неузнаваемости чудовищными лишаями, а руки покрыл чесоткой, чтобы никто не мог ни узнать ее, ни схватить ее за руку.

Доктор был почти убит за это, но отрицал молву и остался жив чудом, по причине гигантского здоровья.

Ульяны и след простыл.

Прогремели осень и зима.

Пронеслось второе пламенное лето.

У Ивана Орлюка было множество новых друзей. Боевая дружба зарождалась и крепла изумительно быстро, как быстро зачастую и кончалась в силу быстротечности жизни. Все здесь было по-другому.

Думы проносились одна другой выше и значительней. Понимание товарищества стало осердеченным и ясным, как никогда ни дома, ни в школе.

Только заграничных друзей не понимал Орлюк, так же как и все его фронтовые товарищи. Заграничную их колбасу он поедал с неудовольствием, особенно после горячих дел, когда нередко и поедать ее было некому.

Тут сказывалась его молодость. Кроме того, пониманию иностранной души мешали ему некоторые черты воспитания и характера, некоторая прямолинейность.

Ему хотелось в войне сразу же все делить с союзниками поровну — и кровь, и труд, и лишения. Он не был дипломатичен в самой необходимой житейской мере. Он был горд и чувствителен. О нем правильно писал один иностранный дружественный писатель: у Ивана было драматическое мироощущение. Действительно, злодеяния фашизма не давали ему покоя ни днем, ни ночью. Он проливал кровь.

Он весь был во власти великого. Он действовал у самого кратера вулкана, освещенный его извержениями и готовый ежеминутно исчезнуть, как пыль.

Иногда ему приходилось на долгие часы влипать в дрожавшую землю. Тогда он казался себе жалким, как червь, и тоска томила его до седьмого пота.

Иногда, наоборот, он ощущал себя заколдованным от смерти и сверхсильным. Тогда командиры могли посылать его на какие угодно дела. У него словно вырастали крылья, и воображение загоралось с такой силой, что победа, которую самые великие маршалы видели в подзорную трубу где-то далеко впереди, казалась ему такой близкой, что он чувствовал ее дыхание.

Но эти высокие мгновения война посылала Орлюку далеко не так часто. А чего было много? Было много пота, лишений,

повседневного изнурительного труда переходов. И было предельное напряжение всех чувств.

Бросаясь в атаки, он кричал нечеловеческим голосом. Такими же голосами кричали рядом его товарищи, и только после боя, да и то не сразу, когда лихорадка переставала трясти их тела, говорилось уже и писалось и читалось в армейских газетах, что в самую грозную секунду устремлялись они на врага с громкими возвышенными словами на устах,— и это было правильно, ибо только эти слова и мог исторгать из напряженной до предела души комсомолец Орлюк.

Словно миллионы голосов срывались одновременно с Ивановых уст, сливаясь в непередаваемый хрип и рев, и несли его, доброго советского юношу, навстречу врагу, и смерть отступала перед ним, подставляя порой на пути костлявую свою ногу, и тогда он падал раненый.

Одно ранение было минными осколками в спину и в бок. Раздетый до пояса, он стоял в саду в медсанбате перед сестрой и, подняв руки на голову, медленно поворачивался, наматываясь таким образом на бинт. Подошедший военный корреспондент смотрел на него с затаенным восторгом. Он сам был отважный человек, видавший виды и никогда не терявший приветливой улыбки.

Впрочем, Орлюк не особенно любил военных корреспондентов. Их фронтовые очерки казались ему сплошь неправильными и вызывали у него смех или иронию.

— Орлюк?! Привет! Мать честная!

— Да. Разделали, гады. Кровь, понимаешь, лилась, как с кабана.

— Ой-ой-ой! Я писал о вас, что вы первый подняли в атаку всю роту,— сказал корреспондент.

— Кто? Я?

— Да! Получился великолепный очерк. Красота!

— Глупости,— тихо сказал Орлюк и улыбнулся.— Вы видели эту красоту?

— Позвольте!

— Вот пошел бы хоть раз в атаку, понял бы, что за красота,— простонал лежачий раненый.

— Признаюсь, не ходил.

— А-а! Попробовал бы, где раки зимуют, писарь! — сказал один немолодой уже раненый, держа на груди забинтованную руку, как ребенка в белоснежных пеленках.

Раненые заулыбались. Но многим было не до улыбок. Они еще словно пребывали «там» и после тяжких трудов своих ле-

жали жалкие, запыленные, уменьшившиеся, как поломанные игрушки. Один пожелтевший от боли солдат простонал:

— Какая там к черту красота? Пишут глупости. Ай!..

— Да,— сказал корреспондент.— Но я ведь о другом. Ведь встать под огнем во весь рост — это бесстрашие... Это...

— Какое бесстрашие? А ну пойди встань без страха!

— Конечно! Я ведь и пишу, что это подвиг. И в этом красота! — улыбнулся корреспондент.— Весь мир потрясен! Только вы этого не можете понять. Вы не можете уже на себя смотреть со стороны.

— Говори-и.

— Ну хорошо,— сказал раненый с белоснежным ребенком. Не могу смотреть на себя. Ну вот я их вижу, они такие же, как я. Что вы увидели на них красивого? Ну покажите мне хоть одного красивого! Разве может быть красота в убийстве людей?

— Черт его знает,— сказал Орлюк, наматываясь на белоснежный бинт.— Я про себя могу сказать только одно: сколько ни хожу в контратаки, кроме раздражения и зла ничего не чувствую. Волосы замерзают на голове.— Орлюк повернулся к журналисту: — Я понимаю, почему некоторые даже седеют. Замерзают волосы, язык не слушается, каменные бабы вдавливают вас в землю, а земля дрожит и ворошится вокруг и тянет тебя, тянет. Так как же подняться с нее, если ты при уме! Тогда приходит такая секунда, что один уже из роты, не знаю, он там или я, выскакивает в проклятие всему миру...

— Точно.

— Гитлеру собаке!

— А-а-а!..

— И уже не «ура» получается, а непонятно что. Ревище!

— Точно.

— А позади вся Россия грозно тебе: «Вперед! Чего прилип! Вставай!!! Не теряй секунды! Секунды не теряй!..» Вот картина. Что, неправда?

— Правда, Орлюче, истинная правда,— загудел медсанбат.

Орлюк стоял перед журналистом с поднятыми на голову руками, с забинтованным голым торсом на фоне заходящего багрового солнца. Жизнедеятельность его была столь велика, что, даже будучи тяжело раненным и потеряв почти половину крови, он не впал в беспамятство, и только в самые критические моменты обморок все же одолевал его, но и тогда, вырвавшись на свободу из-под ига воли, мозг продолжал бешено работать, унося его бог знает куда, словно сорвавшийся с ар-

кана степной конь. Это было при третьем ранении под Сталинградом.

Он упал с разбегу на земной шар, и хотя шар ускользал из-под ног, он все же поднялся с окровавленным лицом, но больше держаться на ногах не мог и снова упал, на этот раз на большой покрытый красным сукном стол, за которым толпились представители дружеских стран всего мира. Не скрывая своего восхищения, они сразу начали громко аплодировать ему. Но он не понял их. Он не пришел еще в себя от оглушительного боевого грома и не разобрался, что это были за люди — то ли журналисты, то ли писатели, то ли продавцы, то ли другие персонажи мировой истории. Их было много. Они были очень разные, но все в одинаковой мере деликатные и исключительно учтивые.

Некоторые из них, судя по погонам, были переодеты в изысканные военные кофточки, что придавало им, однако, не только воинственный, но даже, наоборот, какой-то, скорее, женственный вид.

Их выразительные ласковые глаза были полны ума и любопытства, а свежевыбритые щеки сверкали таким благодушным румянцем, что Орлюк, отличавшийся некоторой, как уже говорилось, прямолинейностью и вспыльчивым характером даже в нормальном виде, вдруг пришел в бешенство.

Раздираемый нестерпимой болью, окровавленный и грязный, он закричал, и тяжело, и громко, и зло застонал, и заговорил черт знает что, а они аплодировали ему и наперебой записывали каждый его стон. Один из них знал русский язык и переводил всю его фонограмму на их непонятный язык:

— Джентльмены, он просто кричит. У него кончился шок.

— Но что он кричит?

— Он кричит: «Мама, уберите от меня мясо».

— Мясо?

— Какое мясо? Спросите?

— Что он имеет в виду?

— Ему не нравятся консервы?

— Он ругается, он выкрикивает грубые ругательства.

— Ай! Ай! Ай!!!

— Какой бравый малый!

— Ай, ай! Уберите банки! — кричал Орлюк, плюясь кровью.

— Господин Иван, вы не кричите,— ласково сказал по-русски дружественный представитель.— Джентльмены не должны кричать. В этом есть известная доля хвастовства. Вы можете быть смешным.

— Выходи на войну!..
— Мистер Иван, вы не должны так говорить.
— Что он говорит?
— Он говорит нехорошие вещи. Он уже упрекает нас.
— Но?!
— О! Он, несомненно, очень прямолинеен.
— Выходи на войну!!! Растуды-перетуды!
— Мистер Иван, ваши слова слишком декларативны,— сказал переводчик таким приятным и правильным русским языком, словно он родился в старом Петербурге или в Одессе.— Вы не должны этого говорить. Я хочу думать, что вы не остыли еще от убийства этих фашистских молодцов и поэтому так возбуждены. О, как вы должны их там молотить!
— Молочу, черт бы молотил вашу маму. Ай!..— задыхался Орлюк.— Чего ты улыбаешься? Я не понимаю тебя!
— Позвольте, мистер Иван, кто вас научил относиться к нам с таким предубеждением? Ведь мы ваши союзники. Мы уважаем вас. Наше правительство уважает вас.
— Наше правительство тоже уважает вас!
— А вы?
— А я нет.
— Как — нет? Почему? Может быть, вы не поняли вопроса? У вас сознание работает хорошо?
— Да.
— Так почему вы это говорите?
— Меня часто ранят... Ай... Я говорю, что говорят все наши солдаты, живые! Ай!.. Ай!..— застонал Орлюк на своем окровавленном ложе.— Я знаю, что вы думаете!
— Что он сказал?
— Он говорит, что знает наши мысли.
— Слушайте, прекратите разговор! Он устал.
— Позвольте...
— Вы думаете, пусть течет на всякий случай, признавайтесь!
— Что течет?
— Кровь моя!!
— Мистер Иван, вы не должны так думать.
— Мне больно!!!
— Но мы за это любим вас. Мы любим вас за жертвы. Мы восхищаемся вашим героизмусом. У нас каждый ребенок восхищается! Только помните, мистер Иван, нацисты столь же жестоки, сколь и коварны. Они внушают вам уже антипатию к нам за то, что якобы мы щадим свою кровь, не жалея вашей...

— А разве не правда?! — крикнул Иван.

— Конечно, нет. Ведь они обманывают некоторых и наших джентльменов. Они внушают им, что вы якобы хотите завоевать Европу. Это неправда, конечно. Но вы поймите, как враг хитер.

— Хитер? — застонал Орлюк.— А почему вы не воюете?

— Это военная тайна. Он спрашивает, почему мы не воюем. Мы не можем вам на это ответить.

— Почему?

— Мы хотим ввести противника в заблуждение.

— Неправда! Где ваши солдаты? Подать мне ваших солдат!!!

Джентльмены исчезли.

На их месте появился хирург и положил ему на лицо белую марлевую маску.

— Ай!.. Ай!.. Ай!.. Выходи на войну! — заплакал Орлюк и сорвал маску...

Потом поднялся со стола. И тут он заметил, что огромен, метров двадцати, если не больше высотой. Он стоял окровавленный на пьедестале, как памятник, освещенный прожекторами. На нем была красноармейская шинель. Голова его почти касалась потолка обширного зала.

Весь зал был переполнен хорошо одетыми крошечными незнакомыми людьми.

Они глядели на него с умилением и бесстрастно пели знакомый дорогой мотив.

Вдруг он покинул зал. Он сделал это одним каким-то движением. Он унесся в облака. Потом он плыл по морю или не плыл, а, вернее, летел над морем без самолета, просто, как птица, и море клубилось под ним, словно огромная жемчужная ваза, и звучала удивительная музыка, а над морем клубились такие же сказочные облака. И все звучало восторгом безбрежности, бесконечности.

Потом он опустился на воду, и его начало кружить с невероятной быстротой и вдруг потянуло вниз, в бездонную водяную воронку.

— Иваночко! Иваночко! — послышались откуда-то издалека сквозь музыку родные голоса.

— Иваночко! — кричали на берегу его батько, мать, дед, сестры и Ульяна.

Тогда, собрав последние силы, он вынырнул из воронки на поверхность и закричал:

— Я здесь! Живу-у!..

— Молодец. Вот это боец, я понимаю! Живет! Под хлороформом из-под ножа подает сигналы! — говорил хирург, обрабатывая раненого Орлюка, которому мерещилось все это в бреду.

— Живи, дорогой мой! Живи хоть до ста лет... Бинт!

— Принимаю командование! — воскликнул Орлюк, вынырнув на секунду в бытие и снова теряя сознание.

— Нет, извините. Здесь уж командую я! Так. Держите! Так...— ворчал хирург.— Следующий!

— Принимаю командование! За мной, вперед! — Орлюк увлекал в атаку солдат.

Окапывался под пулями, работая лопатой, со скрежетом зубов, до седьмого пота.

Перебегал из воронки в воронку, в пыли, в грязи, в снегу. Переносил через реки раненых товарищей вброд, сам чуть не топясь.

Бросался в атаки, крича «ура», «ура», «ура»!

Брел с товарищами по глубокой осенней грязи, перенося тяжелые мокрые бревна для переправ.

Вытаскивал орудия из рытвин и ям, забуксовавшие машины, легко при этом улыбаясь и шутя, потому что в конце концов наше ведь дело правое, мы победим.

Наводил переправы по горло в воде, под дьявольским обстрелом, среди битого льда.

Спал мертвым сном при двадцатиградусном морозе на снегу, когда санитары, положив раненых на носилки, стали подбирать и его.

— Сплю, куда тянете! Живой! — кричал, проснувшись, санитарам.— Клади назад! — И снова задавал храпака. Может быть, снились ему в это время мать и отец где-то за далеким Днепром. Сколько боев впереди!..

Они лежали на печи, Демид и Татьяна Орлюки, и хоть были они в сапогах и овчинных тулупах, им было холодно. Старая печь уже не грела. Она стояла белая, прямо под звездным

зимним небом, словно во сне, а вокруг чуть дымились, дотлевая, остатки пожара. Хата сгорела, а старого Демида жестоко побили. Не жить уж Демиду на белом свете, так он весь посинел и распух, так болели у него руки, болели ноги и голова, и никто уже не принимал в хату переночевать: все село до самой реки выжжено, а на Заречье полно в хатах оккупантов.

И нигде не пели колядок, хоть и был Новый год. Только издали из-за реки доносился подчас пьяный фашистский рев да одинокая женская душа звала в отчаянии на помощь:

— Спаси-и-те!..

Был сильный мороз. Холодные звезды мерцали в темном небе, и безначальный Млечный Путь простирался в вечность двумя исполинскими кривыми колеями.

Прислонившись к холодной трубе, Демид тихо стонал:

— Ой... Затопи, Татьяна, печь. Что-то мне холодно. И выгони вон этих, как их, ну коней, что ли... Хай не гудуть мені... Видишь, снова повна хата...

— Ладно, выгоню. Киш!..— сказала Орлючиха и махнула рукой на пожарище.— Уже нема. И вже тоби тепло, правда?

— А вірно, що правда. Ой...

Демид притих, и на измученном его лице промелькнула еле заметная улыбка. Он улыбался всю жизнь, в радости и в горести, в веселье и в труде, и в незлобивой насмешке над людьми и над самим собой.

— Уже мы немцы теперь, Татьяна, вот как. И дети наши тоже пропали. Будут бродить по чужим государствам.

— Да что ты, Демид. Все будут дома. И никакой тут Германии не будет.

— Правда? Ну, спасибо.

— Все пройдет. Прошумит, как пурга,— сказала Татьяна.

Но пурга не проходила. Снова потемнело небо, в мутных тучах утонули зори, повеяло ветром, и снегом помело по руинам.

— Спасите!..— донеслось из метели.

— Это ты, Татьяна? — сказал Демид, словно просыпаясь ото сна или возвратясь домой с далекой дороги.

— Я, Демид, Татьяна. Тебе плохо?

— Заспивай мне, Татьяна, колядку [3].

— Колядку?

— Эге. Может, я умираю. Так хочется спать. А тут же рождество. Гости придут. Иван с дивчатами. А? Иван!.. Заспивай про нашего Ивана.

— Про Ивана? Добре, Демид.

И понеслась в темную метель старинная колядка Орлюковой матери:

Молодець Іваночко та вибив ворота[4],—
Святий вечір!

Пу-гу-у! — завывала метель, занесла всю страну снегами, заметала бездомных, разоренных, ушедших в леса и болота.

Ой вибив ворота у чужі города́,—
Святий вечір!
Та назбирав війська аж землі важко,—
Святий вечір!

А молодец Иваночко в это время был вызван в штаб дивизии, куда приехал командующий армией генерал Глазунов.

— Орлюка!

— Старший сержант Орлюк явился по вашему распоряжению!

Сержант Орлюк стоял в землянке перед генералом Глазуновым в полной готовности. Это было ночью, в донецких степях.

— Задание получили?

— Так точно, товарищ генерал армии!

— Это задание, Орлюк, имеет исключительное значение. Его успех — это не только наша победа, это сохранение тысяч людей. Завтра мы потеряем приблизительно... ну, не буду предрекать. В общем, многое будет зависеть от успеха вашей разведки. Поняли? Я никогда не преувеличиваю. Поняли?

— Так точно, товарищ генерал армии!

— Я ее поручил вам.

— Будет...

— Подождите. Первое условие — вы это сделаете со своим отделением сейчас же. Действуйте ножом, штыком, чем хотите. Но ни единого выстрела, ни крика. Полнейшая, так сказать, химическая тишина. Поняли? Языка приведите.

— Есть!

— И еще. Приказываю лично вернуться живым.

— Есть, выполнить тихо и привести языка.

— Всё.

— Разрешите выполнять задание?

— Идите...

Орлюк отдал честь и, круто повернувшись, вышел.

— Сержант Орлюк! — услышал он голос генерала, уже закрыв дверь.

— Сержант Орлюк! Орлюк!

— Есть сержант Орлюк!

Генерал Глазунов подошел к возвратившемуся сержанту.

— Вы меня помните? — спросил он совершенно другим, тихим голосом.

— Так точно.

— И сразу узнали?

— Так точно.

— Почему вы мне не сказали?

— Виноват, товарищ генерал.

— Нехорошо. Но все же?

— Я тогда сильно вас ругал.

— Материл?

— Было всяко,— сознался Орлюк и покраснел.

— Хорош.— Генерал Глазунов обратился к присутствующим офицерам штаба.— Несет раненого командира дивизии и ругает его по матушке пять километров.

— Виноват, товарищ генерал армии. Я не знал тогда, кто вы. Вижу — кадр.

— Ну вот. Хорошо, что я был без памяти почти все время и ничего не слышал.

— А внешность у вас, товарищ генерал, крупная, пудов шесть, и кругом все ранены, ну, хоть плачь, а тут противник жмет, а тут река. Переправа разбита...

— Так ты ругать?

— Нет. Вы сами стали кричать и лаяться. Так я тогда бачу, что вы меня утопите в нервном состоянии.

— Ну?

— Ударил... по голове, чтоб уснули.

— Чем ударил?

— Кулаком... Чем же?

— И я уснул?

— Так точно.

— Хорош. Вплавь тащил?

— Точно. Потом на себе. За рекой уже вдвоем тащили. Этот раненый парень, который потом мне помогал, лейтенант, говорил, что он ваш сын.

— Виталий?

— Точно.

— Нет уже Виталия, Орлюк... Ну ладно. Вечное спасибо тебе, брат. Как говорится, гора с горой не сходится...

— А человек с человеком сходится, товарищ генерал армии,— сказал Орлюк.— Разрешите выполнять задание!

Генерал Глазунов какое-то мгновение помолчал. Он глядел на сержанта отеческим взглядом. Был слегка печален и тревожен.

— Иди, солдат. Выполняй свой долг,— сказал он тихо, как родному сыну.

Не наше дело описывать подробно, где это было и перед каким наступлением. Это и подобное этому творится везде, где защищают жизнь и честь Родины обыкновенные советские люди, воспитанные для мирного труда...

Сержант Орлюк полз по снегу в белом халате, а за ним еле заметными белыми комьями медленно двигались его гвардейцы. Буря шла с востока.

Первый гвардеец. Крышка мне сейчас или нет? Крышка мне сейчас или нет? Нет? Я очень молод, и мне свойственно больше думать о смерти врага. Вообще я могу думать только о хорошем, и сон мне приснился хороший... Ага, правее. Есть, правее, так... Только о хорошем... Я убиваю их — это да. Это я представляю себе точно... Смотрю на часы: двенадцать ноль-ноль. С Новым годом, граждане всего мира! С новым счастьем *.

Второй гвардеец. Я не доползу, конечно, до Берлина, братья и сестры. Это очень далеко. Где я, где Берлин, посмотрите на глобус. Ну, да черт с ним. Я не об этом думаю, не о смерти миллионов моих братьев и врагов. Берлина нет для меня. Есть вот этот населенный пункт... Вот он сейчас...

Буря шла с востока. Снежная хуртовина разгулялась по всему, казалось, миру. Все живое залегло, спряталось в землю, в берлоги, в жилища.

Третий гвардеец. Страшно мне. В голове ни мыслей, ни чувств. Я словно растаял, и холод ползет по моим кишкам. Но я превозмогаю страх, потому что я храбрый человек. И сержант у меня впереди храбрый душегуб, Орлюк, чума б его забрала. Нет, я превозмогу все на свете клятвой своей. Все равно. Прощайте, братья и сестры, буду действовать. В случае гибели сержанта принимаю командование.

---

* Это мысли гвардейцев. Они будут выражены при помощи дикторов. Сами же гвардейцы на экране будут полати молча.— *А. Д.*

Четвертый гвардеец. Пишут. Написать можно все: счастье умереть в бою. Какое счастье! Не надо мне такого счастья! Ты мне махорки дай, сколько душа моя требует. Без махорки я не воин, растуды твою Гитлера, Геринга, Геббельса, Риббентропа и весь мировой фашизм... Или водку дают — сто граммов! Разве это дело! Ты мне дай ее раз в три дня, но чтоб я почувствовал и познал самого себя... А тут метет, прости господи. Хотя б уже ранили или чертяка его маму знает. Ну де ж ты тут, фашистская наволочь, де?

Орлюк. Ветер, ветер, солдатское счастье, заслони меня от врага метелью! Труден и страшен, ползу я к ненавистной цели, да или нет, да или нет, да или нет? Да! Движусь точно. И вообще да. Ни пера ни пуху!.. Приготовсь! *(Шепотом.)* За Родину!.. Благословите, мамо... Тихо...

Бросился Орлюк на часового фашиста и беззвучно всадил ему нож меж лопаток. Взметнулись гвардейцы во мгле и скрылись во вражеских землянках.

Завыла метель.

А його матінка випроводжала[4],
Випроводжала, научала;
Ой ти мій синку, мій Іваночку,
Поперед війська не вихвачуйся,
Позаду війська не зоставайся.
Держися війська та все середнього,
Та за товариша за сердешного.
А Іван матінки не послухався,—

плакала в метель Татьяна.

— И добре зробив,— усмехнулся своим мыслям Демид: — Воевать — кровь проливать.

Поперед війська мечем махає,
Мечем махає, січе, рубає!..

— Вот. «А позад війська п'є та гуляє!» — прошептал Демид, увидя в снежном урагане всю пропетую картину.

— Разрешите доложить, товарищ генерал армии! — сказал Орлюк, появившись из темноты перед генералом Глазуновым.— Приказ выполнен!

— Добро. Ага, добро... А где Орлюк? — спросил генерал Глазунов, не сразу узнав Орлюка.— Ах, это ты, Орлюк?. Дайте ему вина!

Орлюк действительно был неузнаваем. Лицо его было бледно, все в липком зеленоватом поту и в крови, порванное, словно когтями хищных птиц или зверя. Темно-лиловая ссадина над заплывшим красным глазом в крови, изодранный мокрый халат в крови. От него шел пар. Он шатался.

— Тишина полная, товарищ генерал,— сказал он шепотом и вдруг задрожал от озноба.

Генерал быстро подошел к нему и по-отечески обнял его за плечи.

— Ух ты, боже мой. Ну что ты? Что с тобой? Ранен?

— Нет. Противно,— махнул рукой Орлюк и, горько улыбнувшись, посмотрел на генерала.

Выпив вина, он не захотел ничего закусывать и, чтоб никто не заметил, тихо затосковал в темноте, посылая всему проклятому миру горькие свои упреки и угрозы, пока не одолел его пушистый мягкий сон.

А король не знає, війська питає,—
Ой коли б же я знав, чий то син воював,
Я ж би за нього свою дочку дав,—
Святий вечір,—

пела Татьяна.

Демид улыбнулся и посмотрел на Татьяну последним взглядом. Снежная белизна покрыла его лицо. Иней, лежавший на бороде, усах и на больших пушистых бровях, начал покрывать веки.

— Зови, Татьяна, мороза, да давай вечерять. Садись, Иван. Садитесь, дочки,— еле шелестели старые Демидовы уста.— Мороз, мороз, иди кутью исты! Мороз, мороз, иди...

И вот мороз пришел есть кутью. Демиду стало тепло. И мороз оказался не морозом, а его дедом, покойным Самийлом, а сам Демид стал маленьким мальчиком и как-то вдруг легко и свободно как бы улетел в праздник. И уже не Татьяна, а его молодая красавица мать пела ему чарующие песни-колядки, каких никто уже и не знает сегодня. Она пела про диво дивное, чудо чудное, как у них на Петра да Дунай замерзал, а кто не поверит,— Демид сам там бывал — святый вечер! Демид сам там был — святый вечер! — саблей лед рубил — святый вечер! — саблей лед рубил и коня поил. Добрый вечер!..

Бушевала метель.

И рай далекого младенчества резвился перед ними червонными маками, розовым цветом и васильками. Они видели его и в нем уснули оба, прислонясь друг к другу.

На устах у них была тихая улыбка всему миру. Постепенно их замело снегом. И так их и не нашел никто до самой весны. А весной возле печи зацвели вишни и груши, и тлен погибших отцов слился с благоуханием вишневого сада.

Удивительные вещи творились на земле.

Прошла весна. Прошли лето и зима. Пронеслось третье пламенное лето. Украина горела от Дона до Днепра. Разбитые в жестоких боях, откатывались за Днепр громадные гитлеровские полчища. Под сокрушительным натиском грозного советского оружия отступала гитлеровская Германия со всеми своими сателлитами. Взрывались мосты на Днепре. Высокие пожары долго освещали Днепр от Полесских верховьев до самого Запорожского низа.

Четыре украинских фронта двигались на запад четырьмя железными потоками. Во всеоружии военного опыта, добытого под Сталинградом, Воронежем, Белгородом, Харьковом, на Дону и в множестве других сражений, вышли советские армии на Днепр.

Две древнейшие столицы — Киев и Вышгород — показались вдали на холмах. Тысячелетие славянства на Днепре благословляло подвиги потомков, и увидавшие впервые страшный суд святые киевской разрушенной Печерской лавры [5] глядели со своих золоченых обломков на темную воду великой славянской реки.

— Днепр! Это я здесь купался! Это моя река, братцы! — Сержант Орлюк стоял по колени в воде, а на берегу, на мокром холодном песке, стояли его боевые друзья.

— Это мой берег, смотрите! Вот там, напротив, как раз на горе, вы видите, груши и вишни? То мои! А за вишнями хата моя...

Но товарищи не видели ни вишен, ни груш. Видал их один лишь счастливец Орлюк: они расцвели этой осенью в его сердце.

Была темная ночь, одна из многих осенних ночей, полных военных чудес и грозного солдатского счастья. Дул сильный ветер.

Днепр беспокойно шумел и метался во мгле. Черные тучи закрыли вселенную, и мгла стала стеной от земли до неба глухого, беззвездного. Шел дождь.

Вдруг засверкал, заполыхал огнями весь правый берег — от Киева до Вышгорода и Межгорья, и стали видны горы за

Днепром, и Днепр, и левобережные пески. За песками в прибрежных лозах и дальше, за лозами, в лесах, во тьме, разрываемой множеством взрывов, кипела работа.

Рубились мачтовые сосны и вековые дубы, пилились доски, строгались бревна, сваи для мостов, крепились понтоны, плоты. Тысячи всевозможнейших средств переправы — баркасов, челнов-душегубок, плотов, бочек, дощатых ворот и всего, за что только мог ухватиться человек, чтобы не утонуть,— все двигалось на людских плечах через заросли к Днепру.

Тяжелые бревна и мокрые, скользящие доски рвались из рук, падали в колдобины вместе с людьми, но десятки тысяч плотников, саперов, понтонеров, мостовиков не замечали ни заноз, ни ссадин, ни сорванной порой кожи на окровавленных мозолистых своих руках и спинах, забывали, что не спали уже двое суток и почти не ели, потому что некогда было есть, и пища стынула у поваров. Впереди был Днепр, и каждый — от генерала до солдата — понимал, что надо спешить на правый берег, пока не пришли в себя немцы, разбитые в левобережных битвах.

Подтягивалась громадная артиллерия, а от Переяслава-Хмельницкого уже подкатывались к Десне танки знаменитого Кравченко, но, не дожидаясь полного состава подкреплений, командование фронта повелело солдатам и офицерам армии Глазунова перейти Днепр.

— Все... Начинаем! — сказал генерал армии Глазунов и, посмотрев на часы, поднялся над картами. Поднялись и все генералы, полковники, командиры и политработники. Военный Совет был закончен.

— Остался один час.— Генерал Глазунов обвел глазами всех присутствующих и сказал очень тихо: — Забудьте на это время приказы, трудности, всю суету, прозу, весь механизм войны. Идите к солдатам и скажите им самое главное. А самое главное сейчас — это доброе слово. Скажите им самое лучшее, что только подсказывает вам эта ночь. Я знаю, их не нужно ни убеждать, ни заставлять: перед ними Киев. Но Днепр от этого не мельче и враг не слабее. Это великая ночь. Поэтому не бойтесь великих слов. Скажите им, что сегодня в мире нет людей ни прекраснее, ни чище, чем они. Меряйте жизнь и смерть большой мерой. Скажите самому простому рядовому советскому человеку-солдату, тому, которого деды и прадеды вымаливали себе у бога за копеечную свечку крупицу бессмертия, скажите ему, что вечность сама стучится к нему в грудь в эту ночь. Идите.

— Солдаты великого Советского Союза! Форсируем Днепр!..

Полковники Рябов, Зарубин, Федорченко и другие полковники и подполковники разъясняли солдатам приказ командования. Полки стояли во мгле. Приказ был точен, и каждый давно уже знал свой маневр и передумал множество дум, готовясь к переправе.

— Тысячу лет тому назад здесь принимали крещение наши предки. Сегодня в эту священную реку погружаемся мы! — Полковник Федорченко, не привыкший к высоким словам, сделал паузу, словно удивляясь самому себе. Он никогда еще так не говорил, но чувствовал, что генерал был прав, что именно эти слова нужны были солдатам сейчас. И сам он был полон благородного чувства истории. Голос его был ясен и глубоко человечен:

— Пусть же каждый из вас подумает, зачем он родился на свет в это грозное время? Чего ждут от него народы? Какого подвига? Осмотритесь. Прислушайтесь каждый к голосу своей души. Свободна ли она от тяжести личных вещей, воспоминаний, желаний?!..

— Смерть фашистским оккупантам! — глухо ответил полк из туманной мглы.

— Это великая река,— говорил майор Подсекайло своему батальону уже у самого берега.— И хоть мосты все взорваны, мы будем, однако, на том берегу. Так повелела нам Родина.

Майор Подсекайло посмотрел в сторону вздувшейся от осенних ветров реки и грозно нахмурился. Дождь хлестал его на ветру, но не о дожде думал командир батальона.

— Чего же нам пожелать в эту ночь и что завещать нашим потомкам, если судить по всем данным, что многих из нас тронет, так сказать, снарядом или захлестнет волна? Завещаем им, братья...— Подсекайло еще раз грозно глянул в сторону киевских высот.— То есть я хочу сказать, что если наше время пришло, значит, завещаем бессмертие.

Б а т а л ь о н. Смерть фашистским захватчикам!

М а й о р П о д с е к а й л о. Значит, разъясню: перед нами не просто тот берег Днепра. Перед нами, так сказать, тот берег судьбы. Все! Первую ладью ведет сержант Орлюк.

С е р ж а н т О р л ю к. Не оглядываться — раз! Полная тишина — два! Смотри в оба — три! Давай!

Так началась эта битва. Вначале их пошло немного, всего лишь полдесятка утлых челноков. Волны швыряли их в раз-

ные стороны и разносили, заливая брызгами. Не видно было ни зги. Но когда на полпути вспыхнул вдруг с правого берега вражеский огненный вал и все осветилось феерическим светом, увидел Орлюк, как грозен был Днепр перед его хатой. Вода клокотала и пенилась от пуль. Освещенные взрывами водяные смерчи от мин и снарядов разрывали тьму и обрушивались на плывущих и тонущих тяжелыми студеными потоками.

И вся река, куда ни хватал глаз, направо и налево, была усеяна бойцами. Они плыли, устремляясь вперед, к смертоносным огням, на рыбацких лодках, на плотах, на бочках, на сорванных с петель воротах, вооруженные одним лишь легким оружием и мужеством духа.

Они переплыли реку. Батальоны Подсекайло, Саввы, Нефедова, Чупая первые устремились на правый берег, показав примеры отваги. Имена первых из первых покорителей Днепра — Конака, Сокольникова, Третьякова и Трофименко — стали историческими. Скончался только Баряк Евген уже на самом берегу, у них на руках, да сержанта Орлюка не стало.

Когда его ладью опрокинуло и бросило вверх взрывом большого снаряда, он, раненый, вылетел из нее далеко в воду, и холодная быстрина понесла его вниз по течению вместе с тысячами его современников. Промелькнули в глазах берег, вишня, хата, и ничего не стало.

Страшен был Днепр, потемневший от крови. Мутна была волна.

— Следующий!

Перед хирургом лежал Орлюк.

С тех пор как чьи-то добрые руки вытащили его из воды, прошло несколько дней. И с каждым днем ему становилось все хуже. Жар в его лишенном крови теле перевалил за сорок первый градус. Страшная газовая гангрена поразила его руку. Рука лежала рядом с ним, распухшая до огромных размеров, темная, в багрово-синих пятнах и пузырях и нестерпимо смрадная. Три дня не сводил с нее глаз Орлюк. Он смотрел на нее, как на смертельного врага. И молчал.

Руку Орлюка спасти было уже нельзя.

— Поздно,— сказал хирург своему помощнику,— придется отрезать руку.

— Режьте! Отрезайте скорее! — решительно и быстро сказал вдруг Орлюк.

Удивленный хирург повернул голову. На него глядели широко раскрытые серые Орлюковы очи.

— Режьте скорее! — приказал Орлюк и даже мотнул головой, словно отбрасывая ненужную руку.

Не помогли Орлюку ни противогангренозная сыворотка, ни переливание крови. Запустевшие его кровеносные сосуды сжались и сопротивлялись уже введению крови. От плечевого сустава гангрена поползла уже через надплечье к шее. Распухшее плечо представляло картину грозную и непереносимую.

Когда его перевезли далеко в тыловой госпиталь, он был уже без пульса. Он был безнадежен. Жизнь покидала Орлюка. Но он не сдавался. Сознание не оставляло его ни на минуту, и ни одна душа в палате не слышала ни одного его стона. Он молчал, и вся его воля ушла на это напряженное молчаливое сопротивление смерти.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил его прибывший на обход хирург и взял его за руку. Пульса почти не было.

— Ничего... Хорошо... Скажите, доктор, жить буду? — прошептал Орлюк, всматриваясь доктору, казалось, в самую душу.

— Жить? Обязательно, а как же! — сказал хирург свою обычную спасительную ложь и, видя, что Орлюк уже умирает, что жизни осталось ему лишь несколько минут, отошел к другому раненому, не назначив ему даже перевязки.

Орлюк понял, что надежда уходит от него навсегда.

— Стойте!.. Доктор!..

Хирург смущенно оглянулся. Орлюк прочел все его мысли.

— А перевязка уже не нужна? Га? — спросил он, пылая в огне своей гангрены и обжигая его горящим взглядом.

А что сказать хирургу? Что говорить хирургам ежедневно у постели умирающих?

И пошел хирург с врачами и милосердными сестрами в перевязочную, а Орлюк откинулся на подушки и зарыдал.

Вспомнил он свою Киевщину, золотую свою страну, свои широкие поля, сады. Старый Днепр засверкал в его памяти своим вечным праздничным простором. Вспомнил Ульяну, с которой мечтал прожить жизнь над чудной своей рекой.

— Где ты, Уля? Посмотри на своего Ивана! Видишь?..

Заметался сержант на своем смертном ложе. Забился, словно подбитая птица. Не умирать хотелось Орлюку. Жить!

Вдруг появилась Ульяна или что-то другое привиделось ему.

— Ай! — застонал Орлюк и оглянул палату, а в палате одни только раненые на белых койках.

— Вот где я...

И вдруг он встал.

Обойдя все палаты, хирург Богдановский зашел в перевязочную и, отдав распоряжение о порядке перевязок, присел у окна в ожидании начала работы.

Утро было облачное, серое. Богдановский опустил голову на руки и задумался.

Вдруг сильный стук в дверь заставил его вздрогнуть. Хирург оглянулся — Орлюк!

Он стоял в дверях в одном белье, в мокрых от крови и гноя бинтах и весь в холодном поту.

— Перевязку! — застонал Орлюк и, вытянув вперед правую руку, двинулся к столу.— Жить хочу! Давайте перевязку и все, что там полагается!..

Сержант Орлюк шел к операционному столу, шатаясь по комнате, как по палубе корабля в ураганном море.

Пораженный небывалым зрелищем, хирург застыл. Страшен был Орлюк и великолепен.

— Вы думали, я уже умер?! — заметался Орлюк, ища опоры здоровой рукой.— Перевязку! Перевязку дайте... Жить хочу!

И Орлюк упал на руки подбежавшему хирургу. Взволнованный хирург поднял его, как мальчика, и положил на стол.

— Вы думаете, нам удастся его спасти? — спросил его вбежавший ассистент, подавая с привычной точностью и быстротой инструменты.

— Он уже сам себя спас,— сказал хирург звонким голосом.— Держите. Так... Ну держите, черт возьми!.. Ну!

С хирургом произошло что-то удивительное. Он весь преобразился. Он начал работать с необычайной энергией и, работая, любовался сержантом.

— Ах, вы посмотрите, какой красавец! Какая грудная клетка! А плечо какое, а? — восхищался хирург, обрабатывая страшную Орликову рану перекисью водорода и накладывая на нее асептическую повязку.

— А ноги какие! А шея! А походка какая! Вы видели, как он вошел? Стройный, как бог. Камфору!.. Так... Прекрасно. Ах какой юноша! Вы посмотрите, какие мускулы. Как он вошел!

— Но как же он вошел? Он был лежачий больной! — удивилась медсестра.

— А что вы в этом понимаете! Курица!

— Не смейте меня оскорблять.

— Простите...

— Но откуда он извлек эти силы? У него же не было пульса...— сказала другая сестра.

— У него была воля... Держите!

— Вы думаете, он будет жить?

— Он будет жить больше нас с вами! Держите!.. Так... Поверьте мне, он сделал для своей жизни уже больше, чем мы делаем сейчас... Бинт!

Хирург работал с необычайным вдохновением. Никогда еще не хотелось ему так страстно спасти человеческую жизнь, как сейчас. Иван лежал перед ним в глубоком обмороке, но его могучая воля к жизни передалась хирургу и наполнила его. Он забыл свою усталость, свои бессонные ночи и работал, как после чудного сна и ванны, работал легко и радостно, и солнце, заглянувшее на минуту из-за туч в операционную, словно улыбнулось ему, как обещание счастья. Так сила сопротивления смерти умирающего умножила силу воли врача, и эту силу врач возвращал больному сторицей. Влив ему еще раз противогангренозную сыворотку и пол-литра крови, он велел дать ему теплого вина и горячего чаю и долго согревать его грелками. Постепенно у него начал появляться пульс, порозовели щеки, и Орлюк открыл глаза.

В серых глазах горел еще тот же вопрос.

Все четверо — хирург, ассистенты и сестры — кивнули ему головами и отвернулись от сложного наплыва чувств.

Орлюк посмотрел на хирурга и улыбнулся.

— Вы выиграли генеральное сражение почти без всяких средств для победы,— сказал взволнованно хирург.— Благодарю вас. Вы научили меня жить. Я преклоняюсь перед благородством вашей воли.

Когда Орлюка везли из операционной на койку, ему аплодировала вся палата. Раненые с гордостью смотрели на своего товарища и кричали ему «ура», и койки дрожали от благородного их возбуждения. Это была великая минута согласия, единства, счастья. Все улыбались Орлюку — все люди, стены госпиталя, небо. Раскрылась белая дверь.

— Товарищи раненые, освобожден Киев! — послышался высокий, чистый голос вошедшей сестры.

Громкое ура подхватило Орлюка, подняло его силы, и он увидел свой Киев — Золотые Ворота[6]. Правда, он увидел его не сразу. Прошло больше месяца, прежде чем избавился он от своих ран и уехал из госпиталя на поправку домой, в родное свое село.

Пройдет еще полгода, может быть, год. После невиданных пожаров наших городов запылают до неба немецкие города. Падет Берлин. Гитлер исчезнет, умрут его други, вкусивши яду из стеклянных ампул. Дантовыми вереницами побредут пленники по разоренным улицам, среди щебня и тлена развалин, повесив головы, не узнавая, не понимая, ужасаясь. Стреляться начнут вдохновители бессмысленных походов на Восток и будут вешаться на шелковых шнурах с детьми, овчарками и волкодавами среди вещей, которым принадлежали их алчные души.

Памятники императоров и их кони из бронзы и их орлы и львы с яростно разверзнутыми пастями падут, разбитые, под ноги, и будут брошены наземь их знамена — эти трагические символы величайших заблуждений немецких диктаторов, тщетно искавших счастья с помощью штыка почти сто лет...

Ничего не найдено, кроме разорений и гибели цвета людского.

Но все проходит.

Новые знамена — и не вражды уже, а согласия и дружбы — заполыхают над раскрепощенными столицами, и целые нации станут рукоплескать им со слезами восторга, станут обнимать на площадях серую советскую шинель сержанта Орлюка, будут спрашивать, откуда она, как сшита, кем заколдована, много ль раз прострелена, потом умолкнут постепенно многие, ибо все проходит — и восторг, и благодарность, и неполное просветление... И, подчиняясь злобе дня, житейской пошлости и застарелой инерции пропаганды, начнут, быть может, поносить шинель за несовершенство покроя и беспокойный некомфортабельный запах чужих далеких равнин.

Но господь уже с ними, со столицами, с восторгами и с чужим комфортом.

— Домой!

— Пускай воюют дипломаты! Пусть журналисты проливают чернила! Остановись, кровь! Приди скорее, мир!

— Да здравствует победа!

— Да здравствуем мы!

— Да здравствую немножко и я, Иван Орлюк, сержант. Вот она, моя станция. Будьте здоровы, товарищи мои!

— Будь здоров, Орлюче! Кланяйся от нас своему дому и всей фамилии. Не засиживайся!

Товарищи выпили еще раз на прощанье, и получивший отпуск для поправки Орлюк вылез из вагона.

Поезд ушел на фронт.

Орлюк оглянулся — станции нет. Тишина. Такая тишина, что у него зазвенело в ушах. Он даже пошатнулся. Время, мчавшееся три года со скоростью снаряда, вдруг остановилось. Как странно все.

Где же люди? Где знамена, плакаты? Тихо. Родина не вышла встречать своего сына. Не вышли ни отец, ни мать, ни сестры, ни она.

Не было ни знамен, ни привета. Радиоволны не всколыхнули еще атмосферу благовестью Победы. Не было народа. Не было ничего, о чем мечтали защитники Родины, стуча зубами и оружием своим так долго. Все это будет при втором возвращении.

А сейчас Орлюк стоял на своей растерзанной земле, на свежих следах недавних битв. Перед ним простирались родные руины. Это были мертвые преддверия Киева — стертые с земли Бровары, Дарница, Слободка, Выгуровщина, выжженный Труханов остров. Изуродованные устои взорванных днепровских мостов подымались над разливом безобразными голыми остовами. И всюду, куда ни глядел Орлюк, следы лома и беспощадных сожжений. Только трупами уже не пахло. Их уже прибрала земля. Жизнь побеждала. Уже зеленели тополя, вербы. Начиналась весна.

Пройдя через Киев, Подол, мимо Вышгорода, по дороге войны, весенним вечером сержант Иван Орлюк пришел в свое село и остановился у родной хаты.

Хаты не было. Была одна только печь с высокой трубой среди развалин возле груши. Вначале ему показалось, что он ошибся, что это не его хата, то есть не его печь. Он начал оглядываться, чтобы хоть по соседним строениям убедиться в своей ошибке. Но было пусто и незнакомо вокруг. Лишь кое-где виднелись такие же печища, и только под горой ютилось несколько хат, да и то без крыш.

Дома он или нет?

Дома.

Орлюк узнал это по груше.

Кто не узнает своей старой груши, этого дерева познания добра своего детства?

Да, дома Орлюк.

Вот она, его хата, белая, с теплой соломенной крышей, поросшей зеленым бархатным мхом, архитектурная прамать пристанища людского. Незамкнутая, вечно открытая для всех, без стука в дверь, без «можно?» и без «войдите!» — жилье простое, как доброе слово, и законное, словно сотворили

его не человеческие руки, а сама природа, словно выросла она, как плод среди зелени и цветов.

Не было в ней ни гостиной, ни спален, где долго спят, не было места для лени. Не было на белых ее стенах ни фамильных портретов, ни кованых сундуков в углу, ни панцирей предков, так как рубились предки в старину с непокрытой грудью. Были сеятели — отец и мать, творившие всю жизнь хлеб и мед для людей.

Где они? Куда исчезли из этой прекрасной хаты? Где похоронены? Какие проклятия прошептали перед смертью? Почему так тяжело и так мало счастья? И время так летит, и история так быстро стареет, словно хата исчезла давным уже давно! Только печаль осталась на печи, щемящая разлука и еще что-то.

Орлюк плакал. В эту минуту он любил свою хату больше всего на свете, больше самых дорогих дворцов и храмов, какие ни есть на земле. Сколько он мечтал о ней в грязи, в ямах, в воде и в огне. Сколько думал, как боялся ее не увидеть! Сколько надежд, расставаний, безутешных разлук и несбывшихся ожиданий ушло из этой хаты с огнем и дымом!

Когда она была еще жива, и кусты пшеницы прорастали на ее зеленой старой крыше, и вокруг было множество семян, и была она приветлива, как мать, все же испокон веков покидали ее, и кто покидал — редко возвращался. Носило его ветрами повсюду или сам он уже бегал до самой смерти, как собака за случайным возом, и только изредка лишь вспоминал ее, как счастливое детство, как юность загубленную свою и свой язык полузабытый, и обычаи, и верования, и красоту неба и земли.

«Я не славословлю тебя, моя старая хата,— казалось, причитал Орлюк весь во власти неудержимого потока тяжелейших чувств.— Уж если нет в живых ни отца моего, ни матери, ни тихих моих сестер и никого, и тебя самой уже нет, что мне гордиться, что мне любоваться твоей несуществующей старой дырявой крышей. Я даже не помню, была ль возле тебя клуня с черногузом, или это мне снилось. Никто не упрекнет меня, что я превозносил тебя или оплакиваю сверх меры, или прославляю тебя своим оружием и ранами. Я прощаюсь с тобой. Я говорил еще перед великой войной, когда мне было весело и я многого хотел: исчезни с моей земли! Пусть тебя не будет. Превратись в хоромы, покройся железом, вырасти, поднимись над садами, раздайся вверх и вширь.

Пусть бегают по твоим просторным комнатам веселые дети, пусть отдыхают и нежатся в довольстве и счастье досуга твои люди. Пусть это будешь не ты, лишь бы исчезли печаль и забота из твоих темных углов и холодных твоих сеней...

Прощай.

Тебя нет. Я страдаю. Мне жаль. В тебе так хорошо пахло стариной и покоем, холодной мятой и сухой гвоздикой. И добрая, щедрая твоя печь пахла борщом и свежим хлебом, печеными и сушеными яблоками, семенами, травами, кореньем. А в сенях твоих пахло маком, гнилыми грушами и хомутом. Нет тебя, и некуда мне прислонить свою голову. В твои маленькие окна так ласково заглядывало солнце с подсолнечниками и всякими цветами и душистым всяким зельем. А в красном углу, над белой скатертью стола, и темный белобородый бог в серебряной ризе, и Шевченко, и Ворошилов, и казак Мамай[7], и Буденный, и Георгий Победоносец[8] на белом коне, и еще какие-то добрые люди и боги смотрели со стены на печь, и на порог, и на всякого доброго человека, что появлялся, скинув шапку, в дверях, смотрели ласково и мирно, словно прекратив труднейшее свое состязание, и проживали в мирном товариществе и согласии, разговаривая, когда не было никого в хате, с домовым, который жил за камином в трубе, и с тихим, совсем уже одряхлевшим украинским чертом, и снились все разом дремавшей бабусе, пока не крестилась бабуся во сне, бормоча с перепугу: «Омяца и сына».

Долго стоял Орлюк в тяжелом оцепенении. По дороге войны проплывали на запад громадные, словно корабли по морю, многотонные машины с народом. В весеннем небе рокотали самолеты.

Вечерело.

Погруженный в тысячи воспоминаний, в созерцание картин бесчисленных пожаров, среди которых его хата была одной лишь искоркой в степи, Орлюк не заметил, как невдалеке от него остановился сошедший с проезжавшего грузовика молодой солдат в серой шинели, в больших сапогах и в ушанке.

Орлюку было не до солдата. Судьба отцов, стертых, казалось, с земли, заслонила перед ним весь мир. Между тем солдат медленно подошел к груше и вдруг, обняв ее, как-то горестно к ней прислонился. Казалось, он плакал, погрузившись в свое одиночество, не замечая ничего кругом. Заметили

они друг друга не сразу и, даже увидев, не сразу бросились навстречу, так все было непохоже на ту давно прошедшую действительность.

— Неужели это ты?

— Иван?!

— Ульяна?! Уля!

Они и не они! Все те же и не те. Почти совсем непохожи. Нет, похожи! Но почему все стало иным? Почему весь мир так непохож?

— Ты ли это?

— Иван!

От этого они заплакали оба, а тут еще двое раненых прошли, обнявшись, в помятых землистых шинелях, по-видимому, тоже сойдя с машины, проходившей по дороге жизни и смерти. И так эти забинтованные солдаты прошли куда-то к своим пепелищам и так пели «Забіліли сніги»[9], что не только живые, мертвые бы не удержались от слез... Так велика была власть песни там, где она всегда рождается.

Ой і заболіло тіло,
козацькеє, біле,
ще й голівонька...

Сотни вопросов друг другу, сотни прикосновений. Вопросы сталкивались один с другим на близком, тесном расстоянии, нагромождались, рассыпались, сбивались, и все казалось не то, не самое главное. Но любовь умна и прозорлива. То улыбаясь, то всматриваясь друг в друга с глубоким вниманием, они почти сразу почувствовали, что они победили, что никакое ни зло ни ошибка, ни несчастье не стало между ними, и перед ними открылась радость жизни.

— Сколько раз мне казалось, что я выносила из боя тебя. Сотни раз сдавалось мне, что это ты, что я тебя несу, тебя, Иваночко! — говорила Ульяна, ощупывая грудь и руки Орлюка и не сводя с него глаз как зачарованная. В какие-то мгновения в ее глазах среди лучей радости мелькали еще старые страхи, так много знала она о смерти и увечьях.

— Как же ты остался жив?

— Не знаю. Как ты?

— Не знаю.

— Где ты была?

Она была там же, где и он. Она добралась туда почти чудом. И когда, сбиваясь и волнуясь, она раскрыла перед ним сотую лишь долю пройденных путей, названий мест, со-

бытий, отходов, маршей и побед и знакомых имен, Орлюк понял, что та легендарная медсестра Ульяна, о которой вспоминали раненые во множестве походных госпиталей, которую с восхищением и благодарностью описывали не раз Орлюку, которая нередко была рядом с ним в соседних частях,— это и была она.

Поселились Орлюк и Ульяна у Орлюковой тетки Антонины. От нее уже узнали о гибели своих отцов и матерей и многих соседей.

Во всякое иное время и при иных обстоятельствах, очевидно, долго оплакивали бы они потерю своего рода, но война властно продиктовала им свои законы. Иван и Ульяна решили стать мужем и женой.

К великой радости Орлюка, в селе стоял еще штаб его подразделения, а в соседнем — штаб армии. Они явились к генералу Глазунову уже как местные жители просить, чтоб он их повенчал.

— Что?! Вот этого еще командующему не хватало! — возмутился дежурный офицер, когда Орлюк доложил ему свою просьбу.— Там разрабатывается план наступления, а ему здесь загс устраивать! Кто его пустил сюда? Фамилия?

Орлюк отрапортовал.

— А!.. Орлюк?! — Командующий вдруг появился в дверях и приветливо улыбнулся сержанту.— Ну как, жив-здоров?

— На родине, товарищ командующий.— Орлюк доложил генералу о своей невесте, о смерти родных и о цели прихода.

— Я прошу вас, товарищ генерал, сделать нам эту честь, да так, чтобы всю жизнь мы вспоминали этот день, как праздник.

— Понимаю, понимаю. Вот только не знаю, как это делается. Не приходилось,— сказал генерал.— Но что вы примерно хотели бы?

— Я не знаю, товарищ генерал, но что-нибудь не такое, как было до войны.

— Мы хотели что-нибудь красивое и немножко торжественное,— добавила Ульяна.

— Совершенно верно, немножко торжества применительно к условиям местности,— сказал Орлюк.

— Хорошо, постараюсь. Только дайте мне немножко подумать,— сказал серьезно генерал Глазунов и, глянув строго мимо близ стоявших генералов и полковников, приказал адъютанту приготовить черную штатскую пару. А когда адъ-

ютант слегка, одними только глазами улыбнулся, он сделал ему тут же строгий выговор и чуть ли не впервые за всю войну рассердился.

Ульяна стояла одна в скромной хате тетки Антонины и снимала с себя обычную солдатскую одежду: сняла шапку-ушанку, серую шинель, гимнастерку, юбку, разула тяжелые, грубые сапоги, к которым привыкла с немалым трудом. Потом, помывшись холодной водой, она стала медленно одеваться перед зеркалом в давно, казалось, позабытую девичью одежду.

Тут небольшое зеркало сразу начало показывать Ульяне такие трогательные превращения, что она начала волноваться, еле сдерживая слезы.

«Я ли это? Неужели это я? Как хорошо! Как же это славно, что я такая! Какое счастье, что не гнию в яме, не томлюсь в рабстве. Что я жива и такая вот. Ой!» — удивлялась Ульяна, касаясь легонько своих бровей, лица, груди.

Она увидела, что у нее красивая нежная шея и плечи, что в больших ее темных очах сверкали искры нерастраченной нежности и юного вдохновения, что вся она легка и стройна.

Она удивлялась своей красоте.

Перед зеркалом в полуразрушенной недогоревшей хате из тяжелой серой солдатской шинели воина Великой Отечественной войны возникла, как таинство, девушка-невеста.

Материнский подвенечный убор — белая сорочка, вышитая крупными красными цветами, темно-красная шелковая юбка тоже в цветах, веселое коралловое ожерелье и многоцветные ленты — все так хорошо пахло домом и давностью безоблачного детства, что Ульяна, переполненная глубоким очарованием, на минуту забыла обо всем на свете. Потом, уже совсем одевшись, она как-то глянула на свою серенькую шинельку и вдруг заплакала. Кинулась Ульяна к шинели, прижала ее к своему сердцу.

Заскрипела дверь, вошла Антонина.

— Город какой-то забрали, да не расслышала.

— Какой?

— На базаре была.

— Какой город? Кто говорил?

— Да продала ж рассаду.

— Город какой? Что забрали?

— Эге. Да купила вот гвоздики да маку.

— Коломыю? Черновицы?

— Да барвинку, да мальвы.

— Да вы оглохли, тетя? Глухая?

— Эге. Хай, думаю, цветет. Так я люблю, когда в огороде цветет. Помню, говорила моя маты: «Цей світ, як маків цвіт. Зранку цвіте, до вечора опаде!» Отак и все...

Антонина разложила на окне семена и начала хлопотать у большой уютной печи, не переставая рассказывать Ульяне:

— Вот то ж, как стала Германия, так они что? В партизаны, да давай фашистов стрелять, твои уже эти Орлюченки. А они тогда зашли да полсела и спалили. Так дивчат в Германию погнали, а нас захватили по самый яр да чисто всех и перестреляли в яру.

— Ох, звери!

— Эге. А я ж их возила в челне биться.

— Фашистов?

— Партизан уже этих! Так везу я их, а они, идолы, как начали стрелять, фашисты уже, чтоб им добра не было. Так я тогда кричу этим уже партизанам: «Не шатайте човна, потонете. Стреляйте тихо. Уж что будет, то будет». Так не судилось им на сей раз добраться до берега: прострочили пулеметами всех до единого. Одна только я и осталась жива. Да сразу не вижу, что они мертвые, и говорю еще им несчастным: «Тихо, сыночки, не шатайте човна».— Антонина всплакнула и подошла к Ульяне.

Так и возникли партизаны перед глазами Ульяны, как рассказывала Антонина. Одни лежали, запрокинув к небу бледные свои лица, и звезды погасли в их мертвых очах. Другие поникли головами за борт и видели звезды далеко внизу, под собой, и казалось им в последний смертный миг, что плывут они в надзвездную сверкающую даль.

— Ох не шатайте човника, сыночки, не шатайте!..

Антонина гребла, выбиваясь из сил, но воды набрался уже полон челн. Потонули партизаны перед глазами, как лежали, а ее схватили подъехавшие полицейские хищники и поставили перед эсэсовским офицером на допрос, мокрую, битую.

— Не спрашивайте меня. Ничего не скажу, так вы мне противны и отвратительны, убивайте. Все равно детей моих убили, чтоб вы бились о дорогу, чтоб вас сыра земля не приняла...

Тогда гестаповец ударил ее в ухо. Она упала. Ее бросили в яму, наполненную трупами. Потом в нее выстрелили и яму засыпали землей. А ночью начала шевелиться земля; Антони-

на вылезла из могилы, как праведная душа на старинной картине страшного суда. И вылезли еще раненые Демид Сорока и Роман Клунный, которые тоже пришли в сознание в могиле.

— Вот так-то голубонько, чтоб ты знала, — сказала Антонина Ульяне после долгой паузы.— С той поры я стала глуха. Да глупые ж такие, дураки, ну что ни говори, ничего по-нашему не понимают, ну дерево или скотина, одним словом, да все горилку пьют, да все по-своему — гала, гала. А гнали в Германию коров, свиней, коней, всякого добра!.. А людей тысячи тысяч. Дивчат, хлопчиков, да так же жалостно! Ой господи!.. Ну заговорилась. Пойду огород копать. Давай шинель вынесу.— Антонина взялась за рукав шинели.

— Не дам!

— Ну зачем она тебе, я спрашиваю? Ты посмотри на себя, бо-оже мой, молода да хороша, как цветок, ей-богу, правда. Давай!

— Эта шинель для меня дороже всего в жизни,— сказала Ульяна, не выпуская шинели.— Я ее, тетя, в сундук замкну, чтоб дети мои и внуки смотрели...

— Так оно же некрасивое, что они там увидят? Дырки разве.

— О, многое увидят!

— А, выдумывай. Старая шинель, пробитая пулями, тоже мне хвастощи, да грязная,— кто на нее посмотрит? Такое болтаешь, а еще учителька.

— Вот поэтому и говорю.

— А!.. Забыть надо, чтоб не отравляло души. Геройство! Не геройство, а напасть, горе наше. Давай!.. Выкинь с головы да думай о красивом да хорошем. Вот уже едут!.. А, ратуйте мою душу...

Действительно, несколько машин подъехало к хате. На пороге появился Орлюк с боевыми товарищами. Увидев Ульяну в подвенечном платье, Орлюк остановился в восторге и даже отступил на шаг назад.

— Ульяна?!.. Товарищи, вы посмотрите! Нет, вы только посмотрите! Картина возрождения!

— Поехали!

— Уже? Дайте же благословить сирот — заволновалась Антонина.— Ни батька у них, ни матери. Одни как былинки...

— Нет, не одни, тетушка,— заговорили бойцы-танкисты.— Такого товарищества пожелать бы всякому.

Тут танкисты и дивчата окружили молодых. Какие слова говорила им Антонина, толком не было слышно. Она вдруг

расплакалась. Но перед тем как благословить молодых, она все же успела отнять у невесты шинель со словами:

— Давай, говорю тебе, не срами меня!

Машины остановились у подъезда сельскохозяйственного института, единственного большого здания, которое фашисты, ограбив дочиста, не успели взорвать.

В раскрытых дверях молодых встретил генерал Григорий Григорьевич Глазунов. Он был в штатском, делавшем его похожим на ученого. Только боевые ордена, блестевшие на груди, и особый повелительный взгляд обличали в нем полководца.

Зачем он это сделал, никто никого не спрашивал. Но все, кто был при этом неожиданном появлении генерала в штатском — военные, невоенные, молодые и старые,— все сразу поняли особую значительность момента и отношение генерала к войне и миру, к жизни, и все прониклись к нему особым теплым чувством благодарности и любви.

Взяв Ивана и Ульяну за руки, генерал Глазунов повел их в зал. В ограбленном зале не было ни картин, ни статуй, ни дорогих старинных люстр. Но та живая картина, которая открылась вдруг перед молодыми, поразила их.

Триста товарищей стояли в зале плечом к плечу, триста танкистов, артиллеристов, десантников, офицеров и политработников, а больше простого сержантского и рядового люду.

Освещенные светом электрических походных ламп и свечей, груди их сверкали орденами. Отдельно стояли девушки-воины и обыкновенные девушки и девчонки с цветами, одетые в обычные одежды. А одна группа, человек в тридцать, была вся в белых повязках. Это раненые из госпиталя пришли приветствовать победу жизни.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война!

Все пели, весь зал. Могучая песня Отечественной войны грянула сразу при появлении молодых с такой силой, что Иван и Ульяна на мгновение остановились.

Не пела только небольшая группа пожилых женщин. Это были матери угнанных в фашистскую неволю дочерей и разбросанных судьбой по всем фронтам сыновей... Ни слуху о них

третье лето, ни звону. Тревожные сны иссушили материнские души, и денно-нощные битвы веры с отчаянием не угасали в их скорбных очах.

Они смотрели на торжество с жалостливыми улыбками и тихо плакали от сорадования и примысливания к счастью молодых и себя и дорогих своих детей, и от созерцания красоты и торжественности, которую так любит народ в неповторимые часы.

Орлюк и Ульяна остановились перед небольшим столом. На столе на расшитом шелком красном знамени лежал большой венок из колосьев, а посреди, в круге венка, книга — Конституция СССР. Хор умолк.

— Прошу повторять за мной,— тихо сказал генерал молодым и, повернувшись к столу, на мгновение застыл.

— Перед лицом закона,— послышался в наступившей вдруг тишине голос генерала,— Союза Советских Социалистических Республик мы, Иван Демидович Орлюк и Ульяна Васильевна Рясная, изъявляем свою волю на совместную жизнь...

— ...Волю на совместную жизнь... — повторили молодые.

— Как муж и жена...

— ...Муж и жена,— сказали Иван и Ульяна.

— Основатели семьи и продолжатели рода своего,— говорил генерал Глазунов,— в исполнение закона жизни...

— ...Закона жизни,— повторили молодые, ощущая огромность своей роли на земле.

— Во имя блага нашего государства, бессмертия народа и личного блага.

— ...Бессмертия народа и личного блага,— сказали Иван и Ульяна, мысленно обращаясь к миру и своей совести.

Им подали книгу, и они расписались. Потом, когда расписались свидетели, генерал Глазунов оглянул всех присутствующих и проникновенно сказал:

— Именем закона Союза Советских Социалистических Республик утверждаю обоюдное волеизъявление граждан Ивана Демидовича Орлюка и Ульяны Васильевны Рясной на совместную жизнь мужа и жены, отца и матери детей своих, основателей семьи и продолжателей рода во имя блага государства и личного блага и бессмертия народа.

Потом он велел подать им бокалы вина и велел поцеловаться. Молодые поцеловались и выпили вино.

— Я не знал ваших родителей, Иван и Ульяна.

— Они были мученики! Они были герои! — сказали свидетели-колхозники.

— Они были советские люди,— сказал генерал,— и я, родившийся на Волге, преклоняюсь перед их красотой, ибо только красивые люди могли воспитать на Днепре таких детей.

Потом, обернувшись к молодым, он сказал:

— В великое время подали вы друг другу руки, Иван и Ульяна. Мы побеждаем самую великую и самую темную силу — фашизм. Весь мир с удивлением смотрит на нас. Кто мы? Где оно в нас — это главное, несокрушимое? Чем победили? Храбростью, щедростью? Гением? Трудом?

Знаю, долго будут народы щупать наше оружие, считать наши раны, сиять от благодарности или коченеть от ненависти. Гордиться будут нами, бояться будут нас, пугать нами друг друга, зарабатывать капитал на наших несовершенствах и преуменьшать нашу победу и кровь.

Творите детей, молодые. Постигли вы грозное искусство войны, постигайте искусство жизни, будьте щедры на любовь. на крики рождений.

Творите детей, рожайте смело и много. Наполняйте прекрасную нашу землю.

Но помни, Ульяна, что и волчица рождает детей своих и вырастают они волками на земле. Великое дело матери родить человека, но величайшее дело родить и воспитать не волка, а друга, не хищника, а брата. Кто, как не мы, познали это, совершая свой исторический поход и видя на каждом шагу, как жестоко обидела война советскую мать. Сколько сыновей, дочерей погубили враги, сколько неосуществленных зачатий иссушили материнские сердца!

Тихо всплакнули матери, вспомнив погибших своих детей, а молодые девушки-воины широко раскрыли глаза. На глазах Ульяны выступили слезы.

Генерал заметил это и обратился к девушкам-воинам, стоявшим справа:

— Не в солдатских чоботах и не в серых шинелях являлись вы, девушки, в мечтах наших юношей.

— Верно,— послышались глухие голоса солдат и офицеров.

— Лучшие уборы и лучшие цветы представлялись юным очам, только история судила иначе. Она одела на ваши девичьи плечи жесткую одежду воинов. Не музыку послала вам, а гром орудий, и не цветы, а пламя пожаров и трупный смрад вместо парижских духов! — сказал генерал с глубоким чувством. Видно, вспомнил он что-то дорогое в своей жизни — честную ли молодость свою, героическую ли смерть своего сына лейтенанта Виталия, сгоревшего в танке под Сталинградом.

Таким еще никто не видел генерала. Все перестали, казалось, дышать и на какое-то мгновение словно отделились от земли.

— Возлюбим же нашу русскую шинель,— улыбнулся вдруг генерал,— самую честную из всех одежд на свете. И никогда не забудем, как проходили мы в ней по дорогам войны.

На этом и закончилось венчание.

Когда молодые выходили к машинам, раздался вдруг громовой салют из девяти танков, вызвавший веселый перепуг и радостный смех. Тетка Антонина осыпала молодых зерном и, крестясь, шептала приличествующие моменту старинные добрые слова. Старые народные обряды перекликались с звучанием бурного времени и сами обновлялись, приобретая иной уже смысл и придавая новому мягкость и в то же время прочность временных основ.

Свадебный поезд двинулся домой. Учтивые девчатки начали петь старые свадебные песни.

Водители оглядывались на своих пассажиров и радостно улыбались. Услышав же, что песня относится непосредственно к ним, они начали поддавать такого газу, что никто не успел опомниться, как «виллисы» были уже в селе.

А вот и родное пепелище. Тут же, на ходу, сочиняется новое продолжение старой свадебной песни:

Повернулись додому,
Повернулись додому,
Після довгого грому,
Як фашистів побили,
Весь світ звеселили!
Стріляли з гармати,—
Ніде й ночувати!

Эти слова девушки пели уже возле хаты, садясь за стол. Перед ними сидели в ряд три Героя Советского Союза, звезда в звезду, а справа и слева просто герои — лейтенанты, сержанты и множество другого люду разных степеней и рангов.

Пока девушки пели свадебную песню, лейтенанты Моргун и Волошин успели сочинить ответ и тут же пропели:

Не жалійте, дівчата,
Шо розвалена хата,
Погуляєм до ранку,
Ляжем спать у танку.
А як нігде у танку спати,
Будем далі стріляти.

Громкий смех прокатился по всем столам. Столы были поставлены в один ряд у разбитой хаты прямо в саду, уходя своим концом в огород, к самому почти днепровскому обрыву.

И тут, на древней, подмытой водами горе пошли воспоминания, рассказы. По всесильному закону жизни и крепости народного духа говорили и пели о веселом и радостном и о самом сильном, что так щедро проявлялось в советском человеке в эти пламенные годы.

Приехал партизанский генерал Рябошапка. Спросил, кто здесь Антонина Троян. Когда генералу указали на тетку Антонину, он подошел к ней и под гром аплодисментов поцеловал ей руку.

— Ой! Пусти! Не пугай... чего тебе? — сказала Антонина. Тогда генерал произнес длинную речь, из которой все присутствующие гости поняли, кто была Антонина, и прониклись к ней глубочайшим уважением. И как было не проникнуться, если она, немолодая, немощная женщина, десятки раз перевозила через Днепр родных партизан, спасала от преследований попавших в окружение военнопленных, была пытаема в гестапо, вследствие чего он, генерал Рябошапка, и приехал, чтоб лично вручить ей медаль за боевые отличия.

— Медаль? Не хочу,— воспротивилась Антонина.— Кто на меня будет смотреть! Скажут: «Стара баба с медалью!» — да на смех подымут.

— Этого быть не может! — сказал генерал и хотел было грозно нахмуриться.

— Вот увидите. Не знаете вы наших людей: все завистливые да языкастые. Ты мне, голубчик, уж если хочешь, так я тебя попрошу, не рассердишься?

— Говорите! — приказал генерал Рябошапка.

— Купи мне золотые сережки,— сказала Антонина, потрогав пальцем ухо.— От, бачите, уже смеются,— укоризненно покачала она головой, видя, как многие действительно засмеялись.— Сережки у меня были золотые, материнские, так разве не вырвали из ушей проклятые гитлеры! А я теперь без сережек глухая, ну ничего не слышу, гуде в голови.

Генерал почесал затылок и глубоко задумался. Он был простой человек и такой доброты, что даже грозные золотые погоны ему мало помогали. Он казался переодетым колхозником средних лет, хотя высококалорийный харч и регулярность потребления некоторых напитков слегка нарушили ему талию.

— Как вы? — спросил он неуверенно старого колхозника Максима Трояна, мужа Антонины.

— Надо подумать,— рассудительно сказал Максим.— Вообще, конечно, она всегда была у меня бедовая женщина, ну в рассуждении, сказать бы, медали, воля ваша, конечно, но

я б не давал. Почему? Во-первых, у сыновей же будут ордена, если вернутся, а кто-то вернуться же должен, да четыре внука в армии, да там не внуки, а прямо, я не знаю, уж если до сих пор не пропали, так уж все груди в медалях — огонь, а не хлопцы. Так что надо соблюдать уже, сказать бы вам, возраст, чтоб не было мороки: медаль — это дело молодое. Одним словом, чтоб не обидно было юношеству, давайте сережки, да на этом пускай и обойдется.

— Нет! — категорически возразил генерал Рябошапка.— Не согласен. Сережки — это разговор отдельный. Это не политическое дело.

— Правильно! — сказали хором боевые гости.

— Сережки, мамаша, твои мы разыщем в Берлине,— сказал сибиряк артиллерист Дубровин.— Уж как-нибудь не сомневайся. Уж поверь моему русскому слову.

Гром аплодисментов покрыл слова лейтенанта Дубровина.

— А пока что, мамаша, получай по заслугам без всякого сопротивления и не серди генерала.

Под новый гром аплодисментов генерал Рябошапка вручил героине медаль. Антонина заплакала, но тем не менее не удержалась, чтоб не сказать, глянув на мужа:

— Чего ты очи вытаращил? Завидно?

— Ну теперь будет,— подумал вслух Максим Троян и, глянув с укоризной на генерала, недовольно махнул рукой.

Все засмеялись.

— Напрасно обижаетесь и смеетесь напрасно,— сказал поучающим тоном пожилой уже подвыпивший колхозник Богдан Шамрило, надевший по случаю торжества свои старые георгиевские кресты.— На все надо иметь наблюдение. Баба с медалью — война на благополучном исходе. Примечайте наблюдение.

— Интересный прогноз! — заметил один танкист.

— А не верите в приметы? А почему вот сейчас — где́ вы еще были, а по фашистам уже нужда полезла? Чтоб вы знали, тоже предвещение — печаль. Я примечаю, объявляю народу, говорю,— Гитлеру могила. Так разве не смеялись тогда надо мной, а через неделю листовки начали бросать, ваши уже, или, сказать бы, наши.

— Товарищи, заберем моего хозяина в штаб разведки и военных предвидений,— сказал капитан Нетудыхата и засмеялся, пожалуй, немного громче и раньше, чем полагалось.

— Смейтесь, а примета — большое дело,— сказал Шамрило, как бы не слыша шутки капитана.— Вот, скажем, приме-

чаю, входит ко мне в хату капитан. Шапки не снимает, не здоровается, окурок на пол — сразу три приметы. А что такое? Не знаете, так я скажу: командир полка поганый.— Шамрило посмотрел на капитана Нетудыхату с таким видом, словно его речь никакого решительно отношения к капитану не имела.

— Неправда! Наш командир полка — Герой Советского Союза! — сказал капитан Нетудыхата и густо покраснел.

— Так я не про вашего говорю,— сказал Шамрило,— а если и про вашего, так он же Герой Советского Союза, чтоб вы знали, на врага. А на друга, на своего, сказать бы, человека нужно кроме геройства еще и обходительность, приятность и прочие приметы. Ну да слава богу и за то, что есть. Будьте здоровы! — Тут дважды крестоносец старый драгун Богдан Шамрило поднял чарку и как-то вдруг, словно переменившись, сказал с отцовской глубокой сдержанной нежностью, как будто напутствовал родных своих детей: — Чтоб же исполнилось ваше желание!

— Спасибо! — сказали все.

— Выпьем за ваши самые лучшие приметы — за доблесть вашу, и за труд, и за непобедимость нашей Советской земли.

— Спасибо!

— Пусть благословит ваш путь вся Европа и пусть полюбит вас человечество! Чтоб ваши пушки были страшны, а голоса ваши всегда человечны!

Когда все выпили, сразу встал Орлюк.

— Благодарим за хорошие наши приметы и выпьем, товарищи, за самую благородную примету дядька Богдана Шамрило! Какая же эта примета? А та примета, что за нашу Родину четверо сыновей рядовых коммунистов полегло еще в первых боях — Петро, Семен, Владимир и Павел Шамриловы. За эту главную примету не стыдно снять шапки в дядьковых сенях всем капитанам и генералам!

Все встали и протянули чарки к старому осиротевшему отцу.

— Спасибо,— сказал он, улыбнувшись вдруг, и положил на сердце руку. Голос его дрогнул.— Сегодня не поминание у нас, а свадьба. Значит, будем о жизни и радости думать, откуда она приходит к человеку. А приходит! Обязательно!.. Есть у меня одна такая примета, что должен же хоть один да вернуться...

— Товарищ генерал армии, разрешите приветствовать отца! — звонко сказал вдруг молодой офицер, появившись, как в сказке, с фронтовой дороги.

— Шамрило, глянь — Владимир!

— Здравствуйте, тату!

Обнял старый Шамрило своего Владимира, обнял Владимир отца, один за всех братьев, крепко-крепко. Потом он оторвался от него, как бы желая снова увидеть перед собой, и, не стесняясь выступивших слез, снова обнял его с радостным вздохом:

— Ах, батько! Боже ж ты мой!

Потом он взял его ширококостную руку и долго тряс молодыми своими руками, глядя в глаза без слов. Потом он звучно поцеловал отцовскую руку, как маленький, хоть и было у него шесть боевых орденов.

Так пришла радость.

Возвеличенный жертвами и любовью, стоял перед сыном отец. В левой руке его дрожала невыпитая чарка, и прозрачные капли проливались на землю, сверкая на солнце. И, так как за ним в это мгновение незримо стояли другие отцы, многие при виде этой простой сцены призадумались на короткий какой-то миг. Придет ли счастливая встреча и далеко ль она впереди? Принесет ли воин радость дому? Или только одна слава озарит его род холодным, небудничным светом, а сам он обратится в пепел в стальном своем пылающем танке где-нибудь под Бреславлем, Будапештом — сколько городов, сколько битв впереди! Антонина, почувствовав, по-видимому, все это, даже всплеснула руками.

— Да перестань же ты... Чего б я тут плакал! — сказал ее муж, Максим Троян, глядя с нескрываемым недовольством на такую слабость.— Медаль и слезы — все в одну кучу!

— Так жалостно, Каин ты нечувствительный! — сказала Антонина, любившая поплакать при всяком прощанье, равно как и при встрече.— Кто нас теперь пожалеет?

— А чего нас жалеть? — сказал Максим.— Теперь не жалеть, а бояться нас будут.

В другом конце стола, там, куда, покинув молодых, подсел генерал Глазунов, предметы бесед были другие, только куда именно шла речь по чрезвычайно извилистой тропинке, он долго не мог сообразить.

Говорили очень тихо и сдержанно три немного подвыпивших колхозника, мешая, как всегда бывает в таких случаях, друг другу.

— Позвольте, позвольте! Ну что ты мне говоришь?

— А что я говорю? — сказал колхозный бригадир Роман Клунный.— Я сказал что-нибудь?

— По-моему, нет.

— Дурака нашел. Надо думать, что к чему, когда и как. А не так вот — сказал да сказал.

— Так об этом же и речь идет.

— Конечно, надо иметь соображение. А как же!

— Именно.

«Хитрая дядьковня!» — подумал Глазунов и незаметно придвинулся к говорившим.

— Я что говорю? — обратился Клунный к генералу.— Я говорю, что разорение действительно большое, нечистый его забери, того Гитлера, но уж я не знаю, как оно там вышло по совокупности многих причин и обстоятельств, что, с одной стороны, это, с другой же стороны, обратно, я говорю, будь ты неладно, что, может быть, то есть я не говорю, что может именно быть, я этого не говорю, но только я так думаю, да даже, если уж совсем правду говорить, так и не думаю вовсе, а вроде как бы спрашиваю, что, может быть, и так вот можно думать или нет, товарищ генерал, вам же виднее, или как вы?.. Фома?!

— Да мы, что мы. Мы, как все,— сказал Фома и вопросительно посмотрел на генерала.— Это очень деликатное дело.

— А ты, Сильвестр?

— Я тоже так.

— И я говорю, что так,— сказал Клунный.— Разве я что говорю?

— Как что? Ты что говорил?

— А что я говорил?

— Ты сказал...

— Да я же ничего не сказал.— Клунный повернулся к генералу.— Товарищ генерал, что я сказал? Я сказал, как люди, так и я, что там говорить. Я свое дело знаю.

— Э, Роман!.. — сказал Фома, по-видимому, решив поймать его на каком-то слове.

— А ты не экай мне перед генералом. Сегодня с ними гуляю, а завтра они меня в атаку должны посылать, так ты им про меня будешь экать. Тебе который, пятьдесят пятый?

— Пятьдесят шесть.

— Ну вот видишь. А я призванный.— Клунный вынул из кармана призывную повестку.— Вот! Ты про меня экаешь, а я завтра подвиг совершу! Вот возьму и совершу.

— Совершай,— сказал Фома,— только не надо ж так неполитично разговаривать.

Роман оскорбился.

— Ну вы подумайте... Товарищ генерал, что вы скажете?

— Не понимаю, о чем разговор,— сказал генерал, окончательно заинтересованный этим дипломатическим разговором.

— А о том разговор,— Роман решительно махнул рукой,— что я хочу вас спросить, как родного, извините, брата, так вот рот затыкают.

— Кто?

— Никто не затыкает. А только мы его знаем: за минуту может наговорить такого, что за пять лет потом не открутишься.

— Глупости!

— Пожалуйста, пускай будут глупости, спрашивай, только нас не вмешивай,— сказал Фома.— Мы на эти разговоры не пристаем.

— А в чем дело? — спросил генерал.

— А в том, что страшные дела сотворены.— Генерал заметил, что Роман был явно выпивши и что его мучит какая-то навязчивая мысль.— Уж этого лому, разорения, огня от сотворения мира не видано. Верно я говорю?

— Ну допустим.

— Так вот поймал я себя на мысли.

— Ну помолчи, Роман, довольно.

— Мне не жалко! — выпалил Роман, ударив себя кулаком в грудь и вглядываясь в лицо генерала.

— Чего именно?

— Ничего решительно! Пускай горит и пускай оно прахом идет! Все к лучшему, вот заметьте мое слово!

— Роман, ты одурел или пьян?

— Я не пьян.

— Ну довольно, будет уже. Кузнецу Сильвестру было крайне неприятно.— Извините, товарищ генерал.

— Не перебивай. Дай проверить душу на умном человеке. Я трезвый. Я такой трезвый, товарищ командующий,— обратился Роман к генералу,— что меня уже ничем не напоишь... Нету жалости. Была — и нету. Вот так вот! Понятно? И вот я думаю — почему? Что я за человек?

— Совести у тебя нет,— сказал укоризненно Фома.

— Нет, есть. А у вас нет интеллигентности никакой! — рассердился Роман.— Оскорбительно мне, да! Приходят двое гитлеровцев, один даже по-нашему разговаривает, очевидно, из колонистов: у вас, говорит, все плохое, а сами завидущие,

жадные, аж колотятся. Ах ты ж, говорю, растуды твою, грабитель! Вон, говорю, злыдни! Выпивши был.

— Ну и что?

— Расстреляли, суки́ны сыны. Вот видите, дырка. Вот сюда вошла, сюда вышла. Вот вторая. Чуть не пропал. А это,— Роман махнул в сторону сгоревшей улицы,— все тлен, ветошь. Разве это... не век же под соломенными стрехами, разве это жилища?

— Роман!

— Так раз уже никакого устройства нету, а верх в войне уже, стало быть, наш, и лучшее, значит, должно теперь ускориться, душа с нас долой! Как вы думаете, должен я жалеть обо всем этом? — Роман ударил себя кулаком в грудь и впился глазами в генерала.

Все притихли.

— Какого года? — спросил генерал улыбаясь.

— Пятьдесят,— ответил Роман.

— Ровесники. Вопрос интересный. Пусть ответят молодые. Воюют, в общем, ведь они. Орлюк!

— Есть!

Орлюк встал.

— Народ интересуется, как воевали, как проливали кровь. Что принесли домой, чего жаль, чего не жаль, какие мысли? Какие желания?

— Желаю победы! — сказал Орлюк.

— Нет, ты лично скажи! — перебил Роман.

— Говори лично!

— Лично я, безусловно, воевал, так сказать, почти три года. У меня действительно есть ранения...

— Это не ответ, это все факты, у меня тоже они есть!

— Говорите совершенно лично...

— Лично я не из Америки прибыл, а с фронта,— сказал Орлюк, обращаясь к Роману,— и совершенно не понимаю, где начинается этот ваш вопрос. Если я скажу, что желаю роскошную хату на месте вот этих руин, или детей в этом саду, или богатый урожай пшеницы, меда, или красивую одежду, или картину,— разве это совершенно личное... Разрешите, товарищ генерал?

— Говорите, говорите.

— Никогда в боях, или когда лежал раненый, или увидел разваленную хату, где на печи замерзли отец мой и мать и исчезли сестры, никогда не хотел так нашей победы, как сегодня, когда стоял с Ульяной перед законом. Когда вы говорили

о продолжении рода во имя блага государства, я вдруг на мгновение увидел как бы всех убитых товарищей, всех! И я понял сегодня жизнь.— Орлюк оглянул своих гостей, соседние руины и величественные дали Заднепровья.— Да! Мне очень жаль! Жаль мне убитых, замученных, жаль каждой вдовы, сироты, жаль каждую хатку, каждую потоптанную ниву, каждого изуродованного города... Ненавижу и презираю фашизм, желаю добра народам, поэтому лично биться хочу, желаю победы и больше пока ничего не желаю!

Генерал посмотрел на Романа. Бригадир колхоза стоял перед Орлюком взволнованный до глубины души. Он почувствовал бесплодность своей догадки. Нельзя отделять пожары, руины, страдания людей и величайшее напряжение их сил в огне и буре, нельзя отделять всего этого от желаний и предвидений лучшего. Неверная мысль родилась у него от одиночества, в котором задыхалась его страстная натура больше двух лет. Он глядел на Орлюченка и не узнавал его. Черты сурового мужества наложила Отечественная война на его молодое доброе лицо. Это был зрелый офицер-солдат, выполнитель победы. Роман впервые за пятьдесят лет до конца понял, что в победе сегодня заключен весь решающий жизнь смысл. Сжав кулаки и челюсти, он весь задрожал от напора воли. Ему захотелось подвига, захотелось побрататься с победой.

— Мы молодые,— продолжал Орлюк, обняв здоровой рукой Ульяну,— но, поскольку погибли отцы и матери наши и нет никого у нас, кроме товарищества, и мы с Ульяной начинаем род сначала, говорю, как старый, от имени отца и матери и всех предков и потомков наших: никогда, ни перед кем не отступит мой род с этого днепровского берега, с этих колхозных полей. Никогда!

В это время генералу Глазунову подали пакет. Воцарилась тишина. Через несколько мгновений генерал встал. В глубокой тишине встали все командиры и бойцы. Это был уже другой генерал и другие бойцы и командиры.

Был вечер. Уходили танки на Запад, тяжело громыхая и визжа. У содрогавшихся хат прощались танкисты с дивчатами. Гудела земля. С запада нескончаемым потоком двигались встречные машины со множеством следов войны на забрызганных кузовах. На машинах громоздились искалеченные машины, разбитые, иссеченные пулями самолеты, забинтованные солдаты.

Беженцы катили на двуколках убогий свой скарб. Освобожденные из концлагерей, измученные, усталые люди тревожно оглядывались по сторонам, словно не веря еще в свое спасение.

Герои войны, инвалиды возвращались с Востока в свои отвоеванные села, удивленные и взволнованные.

Встречи. Слезы. Вопросы. Обнималась радость с бедой на дороге войны, в немазаной хате: сын возвратился в старой потертой шинели на новых костылях.

— Инвалид я, батько!

Отец. Вижу. И это дело надо обсудить.

Сын. Какое?

Отец. Действительно, ты, сынку, инвалид. Теперь уж ты не просто человек, ты человек безногий.

Сын. Точно.

Отец. А безногость — это очень деликатная и непростая штука.

Мать. Несчастная калека!

Сын. Вы мне, батько, лекций не читайте!

Отец. Я не читаю. Сам вижу, что одной ноги нема. Болит?

Сын. По ночам. Проснуся, хвать! Пусто... А-ай!

Мать. Ой горенько!

Отец. Не плачь, наплачешься.

Мать. Камень!

Отец. Помолчи! Инвалиды, сынку, разные, как и все на свете. Одни от геройства, другие от случая, третьи от неаккуратности. На то война. Есть даже инвалидство от трусости и от горилки есть.

Сын. Не злите меня, батько. Я в атаку шел! Понятно?

Отец. Теперь уж все равно — в атаку, не в атаку. Война кончается.

Сын. Это Белгородская дуга[10]! Понял? *(Стучит по костылю.)*

Отец. Хай буде дуга. Только ты ее поменьше выставляй, чтоб людям не было стеснительно на тебя глядеть.

Сын. То есть как это так?

Отец. Так, что не утруждай людей. Людям и без твоей дуги трудно, сынку.

Сын. Ну спасибо! Вот какие люди!

Отец. Люди как люди. У всякого своя беда. Так что поблагодари еще судьбу да кульгай * себе деликатно, не пьянствуй, не кричи и воздерживайся от сочинительства. Почему?

---

* Хромай; иногда употребляется также в смысле — страдай *(укр.)*.

Потому что от ранения до брехни — раз плюнуть, по себе знаю. А балакать уже начнешь лет через десять, как оно там уже было не было. И будет тебе уважение и почтение... Конечно, горе, что тут говорить.

Мать. Какое горе? Живой вернулся. Счастье.

Отец. Молчи уж со своим счастьем. Счастье, счастье! Отечество чуть не погибло, надо же кровь проливать!

К маленькой подслеповатой хатке на краю села подъезжают на «виллисе» генерал и два полковника. С удивлением оглядываясь вокруг, заходят в хату.

Дед. Это ты, Опанас?

Генерал. Я, дед.

Дед. А это?

Полковник авиации. А это мы — Владимир и Максим. Ужели не узнал?

Генерал. Какая маленькая хата. Странно!

Полковник Владимир. Странно. Помнишь?

Полковник Максим. Да, она ведь была большая.

Дед. Га? Расскажите же, внуки, откуда вы? Живые или убитые? Или сам я умер? И уже душа моя говорит с вами. Или как уже мне думать, прости господи?

Генерал. Живые, дед!

Полковник. Мы авиация. Тяжелые бомбардировщики. Пролетом.

Дед. Так-так. Тяжело, кажете.

Полковник. Не тяжело — летаем с тяжелыми бомбами.

Дед. Где?

Полковник. Над всей землей. Были над Халхин-Голом.

Дед. Чего?

Полковник. Над Мадридом! В Америке перегоняли самолеты. Над Берлином, Плоешти! И вообще облетали, диду, почти всю планету.

Дед. Планеты не знаю. Слыхал, но видать не приходилось. Комету бачив. Пролетала когда-то вон там, за хлевом, с великим хвостом. Японскую войну предвещала. А вот германец приходил два раза уже без кометы.

Полковник. Уже он, диду, без кометы и без хвоста.

Дед. Вот как. Ну, расскажите мне, каков же тот свет, что вы его облетали?

Полковник. Свет? Вот вопрос.

Полковник. В самом деле!

Генерал. Свет, диду, маленький.

Дед. Маленький, кажете?

Полковник. Не велик он, диду. Совсем не велик.

Дед. Хм... Ай-ай-ай, жалко мне вас, что так уже свет ваш высох и поменьшал. Когда-то свет великий был. Бывало, выедем из Полтавы на Кременчуг, давно еще когда-то хлопцами чумаковали, так выедем, бывало, в степ, а степ широкий-широ-о-окий-широкий! А там шляхи на Николаев, Молдавию... Великий свет да веселый... Так, говорите, поменьшал? Ну что ж, така уж ваша доля.

Генерал. А что скажете, диду... что маты наша говорила перед смертью?

Дед. Маты? Что-то говорила, да забыл.

Генерал вынул из маленькой печурки пучок сухой гвоздики. понюхал и чуть не заплакал. Бывает и такая гвоздика.

А на другом краю села, под горой, откуда так далеко видно Заднепровье, мать и дочь встречаются в хатыне. Невесело и смутно. В темных углах сеней притаилась печаль. И мать поникла вся и очень постарела.

Мария. Мама!

Ганна. Доченька! Мария!

Мария. Мамочка!

Ганна. Жива? Или я сплю, Мария?

Мария. Я, мама, матушка моя!

Ганна. Вернулась... Люди!

Мария. Здравствуйте, мама.... А Павло? Не слышали Павла? Не вернулся Павел?

Ганна. Дома.

Мария. Павел! Дома? Где он? Павел!..

Ганна. Стоит на площади.

Мария. На площади? Чего?

Ганна. Тебя ожидает. Ужель не встречала?

Мария. Не видела. Я шла низом. Боже! Ну как же он? Не раненый?

Ганна. Целый.

Мария. На войне был?

Ганна. Бился много.

Мария. Кем был?

Ганна. Капитаном.

Мария. Капитаном? Что ты, мама?

Ганна. Или героем. Уж не помню. Что-то говорили.

Мария. Побежала!

Гапна. Иди тихо.

Мария. Не пугайте! Мама?!

Ганна. Тихо иди, доню. Набирайся сил.

Мария. Ну что вы, мама? Я иду. Как бьется сердце! Страшно мне, матуся!

Не чуя под собой земли, не замечая ничего вокруг, не видя и не слыша, пошла, почти побежала на сельскую площадь, спотыкаясь и тяжело и тревожно вздыхая в ночи:

— «Ой, піду я не берегом-лугом [11]. Ой, піду я не берегом-лугом. Может быть, я вернусь с несуженым другом... Здоров, здоров, муже, несуджений друже...» Нет, не так... Что это я? Нет!.. «Ой, піду я молода не берегом-лугом...» Нет... «Іду, я, молода, берегом-лугом...» Нет, не берегом-лугом — низом-долиною... «Ой, іду я, молода, низом-долиною, может, повстречаюсь с мужем-дружиною! Здоров, здоров, муже, несуджений друже!..» Спасите,— что я говорю... Это же песня. Это песня. Зачем? Я скажу свои слова. Таких слов, как у меня, нет ни в одной песне. Всего нельзя сказать, я знаю, но я соберу все силы, всю печаль, всю муку... Скажу — здоров, здоров, друже!.. Павло!.. Где же это он? Почему я не вижу его? Павел, отзовись! Это пришла из неволи твоя несчастная Мария-полонянка, жена. Принесла тебе срам свой и муку — дитя неизвестного отца. Убей нас обоих или пожалей, коли ты герой. Где ты, Павел? Отчего так темно? Что со мной? Где я? Павел!

Не отозвался Павел, хотя и был близко.

Это был памятник из бронзы. Он принадлежал уже не ей, а всему миру, этот Павел.

Она положила у подножия дитя, а сама обняла его, припала к бронзовой груди и застыла, как бронза.

— Где ты, смерть? Где ты, красавица, ласточка моя? Пожалей меня. Где ты бродишь, гуляешь с другими, черная моя сестра? Приди, усмехнись мне... Не хочу я жить! Павел, Павел! Что мне осталось на свете?..

— Утешься, женщина. Пока есть молодость, исполни свой закон. Пусть плачет надо мной материна старость.

— В чем мой закон, в чем утешусь?

— В трудах, в любви, в детях.

— Где я найду?

— В добром течении добрых времен.

— А если нет их там для меня? Ведь нас такое множество!

— Тогда возвеличь себя в страдании.

— Нет, не могу. Не хочу. Не сумею. Я немощна и мала для страдания. Я не умею думать о великом. Я рождена для обыкновенной жизни. Помоги, скажи мне, как побороть страдание? Каким оружием?

— Трудами.

— Еще чем?

— Других путей не знаю. Их, пожалуй, нет.

— Ты правду говоришь, великий мой герой?

— Я не великий и не герой, хотя товарищи меня и уверяли. Но я трудился для Родины в великое время с великими людьми и часть их великости принял на себя, и вот я, бронзовый, стою на страже поколений. Ты помнишь, сам я мало думал о великом и говорил я некрасиво и шутил иногда не умно.

— Ты всегда над всем смеялся.

— Я действовал, я был все время занят. Было мне некогда до самого конца. Мало любил тебя, хоть и рожден был для любви и мира.

— Прощаю.

— Мало ласкал...

— Да.

— Порой забывал совсем. В походах пил и жалость гнал. Был я суров и часто даже груб, чтоб не расслаблять себя среди проклятий, криков о пощаде, трудностей и прочего. Клятвенное было мое время, и я выполнял свою клятву среди грохота и скрежета железа, пока однажды не разлетелся в кровавые клочья.

— Мученик!..

— Нет. Мое страдание было мгновенным. Я наступал тогда, и враг бежал передо мной. Так и передай своим детям: бежал мой враг передо мной, бежал.

Долго смотрели Орлюк и Ульяна вслед удалявшимся танкам. И только когда последние машины скрылись в темноте за холмом и гул моторов и лязг железа слились вдалеке в знакомую музыку походных ночей, Орлюк взглянул на молодую жену.

— Ну, Уля, пошли.

— Пойдем. Даже не верится...— тихо вздохнула Ульяна, отвечая на какой-то свой вопрос.

— Да, понимаю.

— Остались вдвоем, и я вот как будто с тобой и не с тобой. Половина с тобой, счастливая, половины нет. Ушла с ними и не может вернуться.

— И я тоже.

— Мне так грустно.

— И мне.

— Правда?

— Да. Я о тебе ведь порой совсем забывала.

— И я.

— Правда?

— Ну куда ж там не забыть...

Они поняли, что еще не вышли из войны. Подобно пылающим зданиям огромного пожара, они еще принадлежали огню. Перед ними в темноте возникали зловещие зарева трех пламенных лет.

Они вспомнили, как гнев погибших товарищей усиливал их отвагу. Как, забывая друг о друге на нескончаемых трудных дорогах войны, они часть своей любви переносили на товарищей по оружию. Как любили они их, словно частицу самих себя, своего гнева, и чем дальше, тем сильнее, и эта любовь возвышала их дух и привела домой. Смерть долго ловила их и не поймала. Они подошли к своей хате.

— Кто здесь? — послышался незнакомый голос часового.

— Свои.

— Здесь занято.

Оказалось, их хата была уже занята. Не меньше двадцати фронтовиков спало на полу, на кровати, на лавках. Один раненый казах лежал даже на столе и тихо стонал.

Они ушли к Антонине. Там было то же. Тогда Антонина постлала им брачную постель в саду, на старых санях. Они были счастливы под открытым звездным небом.

— Какое небо! Иван, смотри... Кончилась наша война.

— Нет. О нет!

— Какая громадная, невероятная жизнь! Какая война!

— Да.

— Мы нигде об этом не читали.

— Да. Не читали, не думали. И никто не думал.

— Мне все это кажется сном.

— И мне. Мы словно прожили столетие.

— Да. Ты заметил, все-все стало другим. Все переменилось.

— Да. И я?

— Да.

— А ты?

— И я.

— Но ты весь уже со мной?

— А ты?

— Мне кажется, да. А ты?

— Я? Помнишь, я говорил тебе не раз перед войной о своей жажде жизни.

— Да.

— Мне всегда хотелось как бы раздвоиться, размножиться, разорваться на сто частей и чтобы каждая моя часть жила и творила и познавала разное хорошее и чтобы все это был я.

— Помню.

— Тебе не жалко ничего уже там?

— Нет.

— Ты любишь меня?

— Я люблю тебя.

— Я люблю тебя.

— Я люблю в тебе все — люблю землю, по которой ты так много прошла. Люблю небо и воздух, которым ты дышишь.

— Милый мой.

— Милая моя. Я люблю тебя, как хлеб и мед и как воду. Люблю этот сад, и этот берег, и Днепр, в котором ты купалась маленькая рыбка, и пила из него, и смеялась на его песчаных берегах.

— Я закрываю очи. Говори.

— Я много... убил.

— Не надо.

— Не буду. Я сам ведь тоже весь в ранениях...

— Нет. Нет. Говори, что ты думал.

— Я думаю, вот мы снова стали с тобой у самых основ жизни. Весь самый главный труд у нас, что бы кто ни говорил. Вся красота, какую ищут художники, поэты, все пейзажи, все восходы и заходы солнца, все травы, цветы, плоды, семена, все жатвы все времена года — все, что дорого и мило живому человеку,— все это наше. Роса вечерняя и утренняя роса...

— Роса! Иваночко, как я люблю утреннюю росу!

— Многие люди не знают росы.

— Ничтожные.

— Им не нужна роса. У них другое счастье. Восход солнца им тоже не нужен.

— Да. Они никогда не ступали по росе босыми ногами.

— У них тонкие злые подошвы.

— Я бы заставила всех ходить по росе.

— Это невозможно пока.

— Почему?

— Это очень дорого. Но это будет. Человек возвратится на утреннюю росу. Вокруг него будут цвести сады. А в цветущем саду уже невозможно не только убить, но даже браниться.

— Правда. Я помню...

— А сейчас не роса человеку, а крыша нужна.

— Не надо мне крыши. Я хочу спать с тобой под небом и видеть зори.

Так началась их новая жизнь.

По дороге войны двигались вдалеке силуэты машин и орудий. До них доносилась ночная музыка тайных передвижений или так им казалось, пока они уснули.

На высоком днепровском берегу белели руины. У руин расцветала первая молодая вишня. А за вишней, в прозрачной синеве ночи. далеко внизу мерцал, уходя в темноту, могучий днепровский разлив.

И вот к Ульяне пришел сон.

— Кто тут?

— Киевляне,— сказал подошедший.— Князь Святослав и воины. Мы — сон.

— Нет, нет...— прошептала Ульяна.— Разве может присниться человек человеку через тысячу лет?

— На этом месте — да,— сказал Святослав.— Это старый берег. Вон там стояли мои челны.

— Но прошли какие годы! Столетия прошли...

— Они сошлись ныне у твоей постели, звенья минувших времен и грядущие годы.

— Не понимаю. Не могу понять. Иван, ты спишь? Иван...

— Какая древняя трава,— сказал Святослав и взял пучок травы.— И так же пахнет. И те же зори. И Днепр был стар тогда, когда я уносился мыслью на Дунай.

— Но почему в эту ночь... Товарищ генерал? Вы хотите крестить моих детей?.. Иваночко, это ты?

— Что ты!

— Ты спал?

— Нет.

— Нет?

— Я думал о Дунае.

— Ой, когда? Скажи, когда это было?

— Га? Не знаю. Я сплю, я сплю.

— А что ты сказал? Иваночко, что это было?

— Что было?

— Ты сказал о Дунае. Ты сказал, что все столетия сошлись. Что ты еще сказал. ну, вспомни?

— Это тебе приснилось.

— Мне страшно. Это такая старина... Ты понял, что это?

— Это было чувство. Или это сон.

— Но разве может двум присниться один сон? Обними меня, обними меня. Боже, как хорошо! Какие зори. Какие мы счастливые. Ну, нельзя же быть такими счастливыми!

Он обнял ее своими сильными круглыми руками.

Она глядела на звездное небо, и драгоценная тайна счастливого будущего засветилась в ее очах.

Светало.

Скоро все днепровское правобережье пришло в движение. Все четыре украинских фронта, от полесских болот до самого Черного моря, снялись по мановению единой руки и устремились на Запад.

Но, когда неожиданно вскрылись реки и древний бог весенних грязей раскрыл свои ресурсы и ни конному, ни пешему не стало проходу, загудели моторизованные армии, забуксовали, заругались на всех языках водители машин и стали.

Тогда четыре украинских фронта отделились от своей техники и с одним лишь легким оружием пошли наперекор стихиям и военным доктринам громить врага и гнать его так, как не гнал еще никто и никогда.

Много будет написано книг об этой удивительной весне, много сложится песен, научных трудов и удивительных воспоминаний.

Ненависть воюющих была так велика, убитых было такое множество, что смерть порой как бы отказывалась принимать погибавших, и тогда они проламывали утлую ладью жизни и, казалось, силой погружались в небытие бесконечными Дантовыми вереницами. Иные же выходили живыми из самых глубин ада и, оглядываясь в наивном изумлении на смертный свой путь, поражали окружающих беспримерной силой и крепостью своих натур.

Никогда, пожалуй, история не сжималась в такой чудовищный ком, никогда сердца миллионов не бились в таком сверхнапряжении, никогда не проявлялось в человеке столько благородной силы и величия духа, сколько проявила в мировой войне неизмеримая советская душа.

Освобождались города. Освобождались тысячи сел. Выходили партизаны из лесов. Миллионы правобережных чоловиков и парубков влились в долгожданную Красную Армию. Какие встречи, какие прощания шумели за Днепром и Бугом!

Отцы и матери с детьми, и деды с внуками, и мужья с женами, и братья с сестрами, и хозяева с героями-гостями, пришедшие, уходящие,— и плачут, и рыдают, и крестят, и благодарят, и благословляют стежки и дороги на Запад.

— Здравствуйте!
— Прощайте!
— Не забывайте!
— Спасайте!
— Освобождайте!
— Найдите!
— Верните!
— Отомстите!
— Ждите!

Прощались, торопясь, как попало, наспех, и уходили быстро, словно вдогонку за своими судьбами, и только на последних пригорках, за которыми надолго или навеки уже скрывались родные хаты, оглядывались и, подавив мгновенную тоску неповторимым движением руки, ускоряли шаг.

Многим никогда уже не вернуться к родным хатам, не увидеть ни рода своего, ни неба, ни красивой земли. Пронесут они славу Отечества по многим городам и полягут навеки: кто под Львовом, кто под Сандомиром или Варшавой, кто под Будапештом, а кто под самым Берлином. Кого похоронят товарищи в братских могилах, кого птицы поклюют в чужих болотах, кто разлетится в прах на гигантских фугасах, словно и не было его вовсе на свете, и только гневный его дым понесут над землей восточные ветры да безутешная мать до конца своих дней будет спрашивать о нем.

Но об этом никто не думал. Уже было некогда. Шли в атаки, форсировали реки средь битого льда.

Исчезали в весенних метелицах. Проваливались в воду. Червонели мутные воды, размывали берега. Отступающие фашистские захватчики метались громадными стаями.

Цепи брели по колена в грязи, в дождь, в снег.

Уже виллисы застряли в размоинах, и генералы давно уже спешились и брели по непролазным шляхам. Генерал Глазунов рассматривал географическую карту на ходу.

Дождь, снег, ветер.

Вытягивали орудия из рытвин и болот.

Снег.

Наводили мосты по шею в воде, среди битого льда.

Тронулись реки.

Стреляется гитлеровское офицерство в больших и малых окружениях.

Дождь.

Вереницы автомашин в непроходимых лужах.

— Воздух!

Генералы, офицеры, гаулейтеры, продажные женщины выскакивают из машин и валятся, живые и мертвые, в болото.

— Во-оздух!

Вторая волна «илов». Третья. Четвертая.

— Хальт! Куда?

— Я? Я туда...

— Бежать? Старая украинская собака! — Грязный офицер подполз к Грибовскому.

— Вы мой приказ получили?

— Нет, господин полковник,— побледнел Грибовский, узнав по голосу Шредера и чувствуя, что он попался.

— Проверю... Только напрасно вы стараетесь улизнуть из ваших болот.

— Я...

— Вы пойдете в тыл для диверсий.

— Я потерял всех людей.

— Врете! Вы всегда врете, черт вас побери! Имейте в виду, выхода у вас нет. О переходе к большевикам можете не думать. Все равно вам там веревка. Но здесь берегитесь! Поняли? Не забывайте, что я вас уже раз расстрелял. Значит, вы стрелянный, то есть наказанный, то есть виноватый, поняли? Черт вас возьми со всем вашим народом.

— Господин полковник!

— Все вы нас ненавидите! Раскусил я вас, проклятые... О, будь проклят навеки тот день и час!..— вспомнил фон Шредер старого учителя Рясного, его пророческие слова перед расстрелом.

— Ложи-и-ись!

Все упало в грязь.

Командующий фронтом генерал фон Бреннер сидел в безнадежно увязшем посреди дороги «оппель-адмирале».

Вокруг него по колена в жидкой грязи стояла группа штабных офицеров.

Офицеры едва держались на ногах. Много дней отступали они под могучим натиском Советской Армии. Оглядываясь на восток, на черные поля и размытые дороги, где осталась вся их техника, они не раз падали плашмя куда попало, спасаясь от авиации. Обуреваемые психозом окружения, они бросались во все стороны и, проклиная судьбу, брели, еле волоча ноги.

Это так изменило их внешность, что никто почти уже никого не узнавал. Многие были пьяны или казались пьяными.

Генерал фон Бреннер сошел с ума. Это произошло с ним еще позавчера, но об этом не смели говорить или просто всем было не до этого: все уползало к пограничной реке, задыхаясь от усталости.

— Майне дамен унд херрен, прошу налить бокалы! - сказал фон Бреннер с безмятежной улыбкой. Офицеры застыли в недоумении. Генеральские слова еще не дошли до их сознания. Но землистая желтизна лица, и сухой отсутствующий взгляд, и тихая блуждающая улыбка генерала поразили многих из них больше, чем гибель полков и гордых увлекательных иллюзий.

— О, готтес вилле! — глухо застонал один немолодой уже грязный полковник и оглянулся на запад.

— Господа, прошу садиться,— улыбнулся фон Бреннер. При этом генерал сделал такое изысканное движение рукой, что послушные штабисты даже оглянулись на воображаемые кресла, но, увидя под собой жидкий земной покров, воздержались.

— Ложи-и-ись! — раздался хриплый крик. Офицеры упали, рассмешив генерала фон Бреннера до слез. Посыпались бомбы. Однако поблизости никто не был убит, и через минуту офицеры встали.

— Сегодня ночью, господа, мне пришла в голову одна счастливая мысль,— сказал фон Бреннер.— Я начал замечать, что маршалы Жуков, Конев и Ватутин совершенно игнорируют военную мысль, вследствие чего целые танковые армии остались в грязи, неиспользованные! Мы с женой сразу обратили на это внимание... Я ведь, господа, женат, вы знаете. Я женился на Гитлере. Вам, надеюсь, известно, что наш фюрер — женщина, если не считать усов и восточного жизненного пространства. Айн, цвай, драй, фир! Айн, цвай, драй, фир!!!

Офицеры содрогнулись. У полковника Тицца, находившегося в состоянии крайнего нервного напряжения, явилось желание застрелить генерала, но маузер был весь в грязи, скользкие руки в грязи, и движение так и осталось незаконченным.

и Тицц, сцепивши зубы, вдруг начал дрожать от крайнего мускульного пароксизма.

— Кстати, кто выдумал это восточное жизненное пространство? — спросил вдруг генерал фон Бреннер.— И почему оно жизненное, а не смертное? Отвечайте! Генерал Гиммельшток!

— Я не генерал Гиммельшток!

— А где генерал Гиммельшток?

— Он убит.

— А я что сказал?

— Вы сказали — генерал Гиммельшток!

— Неправда. Я не мог этого сказать. Я хотел сказать что-то другое. Убит ведь полковник Гаусс, нет?

— Убиты Гаусс, Шмидт, фон Редигер, Ратценау, фельдмаршал Манштейн.

— Позвольте, разве вы не фельдмаршал Манштейн?

— Нет. Я капитан Шульц,— сказал грязный капитан, немея от страха.

Генерал фон Бреннер встал и вытянулся перед ним, как перед маршалом, и Шульц от этого чуть не сошел с ума.

— Ведь вы же были убиты, господин фельдмаршал! Нет?

— Нет! — пролепетал Шульц.

— Я видел вас лично перед смертью, господин фельдмаршал!

— Я не фельдмаршал, вы ошиблись!

— Вы бежали с маршальским жезлом по этому жизненному пространству, потом вы упали, и у меня так заболела голова, а-ай!!

— Я капитан Шульц!

— Ложи-и-ись!

Прошла еще одна волна истребителей.

О дети Германии! О сироты и вдовы великой страны! Генерал фон Бреннер стоит по колена в грязи. Водянистые глаза его, лишенные проблеска мысли, устремлены назад, на пройденный кровавый путь до самой Волги.

Сколько погибло умов.

Сколько работящих рук в расцвете сил!

Какие мастера-умельцы, какие таланты укрыли своими трупами землю на тысячи верст! Печальная слава... В середине двадцатого века, когда все уже есть, чтоб превратить всю землю в рай, в созвездие ее народов, больших и малых,— что сделали с Европой ваши павшие отцы, отравленные мертвой идеей фашизма?! Если прошлые мировые войны ничему не

научили ваших отцов, прозрите хоть вы при свете горящих своих зданий: ничего, кроме горя и руин, не добыть ни вам и никому уже в Европе с помощью штыков и унтер-офицеров.

Фон Бреннер стоял в болоте у самой румынской границы. В глазах его сверкало безумие. Справа и слева показались грозные цепи маршала Жукова.

Офицеры подняли руки.

Потянулись длинные вереницы пленных. Выпав из орбиты общего планового движения, они брели медленно и бесцельно, словно не повинуясь больше законам, и казались невесомыми. Это двигалась уже человеческая опустошенность. И встречные потоки советских солдат смотрели на них равнодушно, без злобы и ненависти, как в пустоту. Устремляясь на запад, все думали свои думы.

В сельских школах началась новая жизнь. Ульяна пришла в свою школу с мужем.

Ульяна. Знакомы? Учитель Мандрыка, Гордей Павлович.

Мандрыка. Простите, мы знакомы. Вы как будто, хм...

Орлюк. Ну да!

Мандрыка. Не то, я ошибаюсь?

Орлюк. Нет. Орлюк.

Мандрыка. Ага! Ка-хи... Простите, я, кажется, на вас дыхнул?

Орлюк. Что? Нет, что вы!

Мандрыка. Не дыхнул? Ну, простите. Мне показалось, что дыхнул. Простите, пожалуйста.

Орлюк. Прошу.

Мандрыка. Так не дыхнул?

Орлюк. Нет, нет.

Мандрыка. Ну простите, хм... Нет, так вы тот, вы простите, хм... Как же это, хм... Ульяна Васильевна! Ой! Ушла. Куда это она?

Орлюк. Ушла в класс.

Мандрыка. Так, так.

Орлюк. Как все изменилось.

Мандрыка. Ага. Так вот, вы знаете, я очень рад. Я хотел это сразу сказать Ульяне Васильевне и вам, что я очень рад, что могу честно смотреть вам в глаза.

Орлюк. Трудно вам было?

Мандрыка. И не тот... Позвольте пожать вашу руку. Ой, я, кажется, снова дыхнул?

Орлюк. Пустяк. Ну что вы, право!

Мандрыка. Спасибо вам за освобождение из-под немецко-фашистского ярма. Тут такое творилось! Ужас! Где же это Ульяна Васильевна?

Ульяна стояла посреди класса. Перед ней в тишине сидели дети. Половина класса пуста.

— Что же это вас так мало, дети?

— Нету больше.

Ульяна вошла в другой класс — то же; в третий, в четвертый — та же картина. В седьмом классе было совершенно пусто. Разбитые парты, грязные, голые стены.

— А!..

— ...а-а-а...— прозвучало печальное эхо.

Тогда она села за запыленный стол и поникла. Минувшее всплыло перед ней: тридцать шесть опрятных мальчиков и девочек заполнили скамьи. На стенах появились портреты великих деятелей человечества. На столе цветы. Школьники красивые, рослые, с добрыми глазами. У девочек прекрасные голоса. Вспомнился урок пения. Тихо пели веснянку.

Поставлю свічу
Проти місяця.—
Тихо йду, тихо йду,
Та вода по каменю,
Та вода по білому.
Тихо йду [12].

Потом перед очами Ульяны класс начал меняться. Ученики словно исчезли и потом снова вернулись со всех сторон — худые, заморенные девочки из фашистской неволи, герои фронта, повешенные молодые партизаны с веревками на шеях, раненые, живые из концлагерей, переодетые в чужую одежду.

Тихо йду, тихо йду,
Та вода по каменю,
Та вода по білому,
Тихо йду.

— Ульяна Васильевна! — послышался в тишине тоненький детский голос. Ульяна подняла голову. В дверях стояла девочка Настя Гулакова, с серыми глазами, полными любопытства.

— Вы убивали немцев?

Ульяна вздрогнула и подняла голову. Она оглянула еще раз пустой класс и возвратилась в учительскую.

Мандрыка. Ульяна Васильевна. Позвольте поблагодарить вас за освобождение из-под немецко-фашистского ярма.

Ульяна. Скажите, это вы замазали в учебниках портреты?

Мандрыка. Я должен был. Тут ужас что делалось. Сначала я думал...

Ульяна. Что?

Мандрыка. Честное слово, ничего, клянусь честью. Тот, как его... это же... поверьте, я чуть было не сбежал к партизанам.

Ульяна. И что вам помешало?

Мандрыка. Ну как-то сразу ведь не тот, не убежишь. Вы не знаете немцев-фашистов. Это такие ужасные враги человечества. Я плакал.

Ульяна. Я понимаю слезы вдов, детей и матерей.

Мандрыка. Я проклинал их!

Ульяна. Правда?

Мандрыка. Я их ненавидел!

Ульяна. Саботировали? Чинили вооруженное сопротивление? Учили стойкости учеников и родителей?

Мандрыка. Я? Да, безусловно.

Ульяна. Сеяли веру в нашу победу? Ждали нас?

Мандрыка. Вас? Вы еще спрашиваете!.. О!

Ульяна. Не надо.

Мандрыка. О!.. Ага, ой...

Ульяна. Скажите, что говорил мой отец перед смертью? Как погибли Сотник, Гомон, Гнатюк? Где ученики?

Мандрыка. Какие?

Ульяна. Где девочки, где будущие матери нашего народа?

Мандрыка. Не знаю. Там, у них.

Ульяна. Что вы сказали им на дорогу? Какую дали заповедь?

Мандрыка. Это что, суд?

Ульяна. Нет. Учителя спрашивает учитель среди живых и мертвых миллионов. Вы испугались?

Мандрыка. Нет... я...

Ульяна. Не бойтесь. Сегодня судится весь мир, все народы, вся философия, история, политика. Судится настоящее с минувшим, человеческое и геройское с ничтожным и преступным.

Мандрыка. Так... тот... Позвольте.

Ульяна. Кто вы? Для чего вы живете на свете? Ска-

жите, что вынесли вы из страшного смысла войны? Что вы делали здесь?

Мандрыка. Но вы не знаете, что тут делалось. В мире творится что-то такое!

Ульяна. Я спрашиваю вас о маленьком: что делали вы?

Мандрыка. Я страдал. Тут такое творилось...

Ульяна. То, что здесь творилось, не повторится никогда. Это было время героев и мучеников. Как жалко мне, что не стали вы ни тем, ни другим. Всю жизнь вы проходили на цыпочках,— сказала Ульяна и ушла к детям.

— Ульяна Васильевна, вы убивали фашистов? — снова спросила Настя Гулакова.

— Нет, дети, нет. Не убивала. Я только спасала наших солдат от смерти.

— А как вы спасали их?

— Я выносила из огня раненых. Я перевязывала их раны, давала им свою кровь.

— И много вы крови отдали?

— Много.

— Еще расскажите.

— Я улыбалась им, говорила приветливые слова.

— А вы не видали моего отца? Вы не спасли его?

— Нет, твоего отца я не видела.

Ульяна решила переменить тему разговора.

— Слушайте, дети, сегодня великий день. Наши войска очистили Родину и бьют врага на его территории. Сегодня мы не будем заниматься. Мы поговорим о том, что будем делать, когда вырастем.

— Тарас тоже убил двух, — сказала Настя.

— Трех.

— Какой Тарас?

— Бовкун! — оживились школьники, показывая крепкого, как орех, мальчишку Тараса Бовкуна.

— Тарас, ты убил трех немцев?

— А!.. Фашисты были, — деловито сказал Тарас.

— Они убили нашего отца и его отца, и деда, и Гальку, а Тарас убил их, — сказала Настя. — Я теперь, когда вырасту, буду Тарасова.

— Вот не видал, — махнул рукой Тарас и отвернулся.

— А я, когда вырасту, тоже буду убивать фашистов, если полезут, — сказал совсем маленький школяр.

— Так. А ты чего хочешь? — спросила Ульяна девочку.
— Я хочу спасать раненых. Я милосердная сестра.
— А я хочу хлеба.
— Так. Ты?
— И я хлеба.
— Ты?
— Я хочу автомат.
— А я плакать хочу и хочу кушать.
— А ты?
— А я хочу, чтоб батько мой и дед вернулись с войны с орденами. И хочу я спать в хате.
— А ты, Гупало?
— Я? Мне лишь бы скорей вырасти — я им тогда покажу,— сказал плохо одетый мальчик и гадко выругался.
— Не смей ругаться. Это стыдно и мерзко.
— Он самогон пил.
— Он уже был пьяный. И курил сигареты.
— Ты был пьяный?
— Был гетрункен драй маль.
— Больше не будешь?
— Не буду. Мне лишь бы вырасти.
— Я знаю, чтоб скорее вырасти, надо спать. Мне сказала баба, что я расту во сне. Это правда? — спросила неугомонная Настя.
— Правда.
— А Вася Ступак будет жениться.
— Я сам скажу.
— Ты хочешь жениться, Ступак?
— Думаю жениться, — тихо сказал Василь Ступак и посмотрел на учительницу. Было что-то трогательное и неповторимое в особом выражении его не по-детски вдумчивых темно-серых очей.
— Сколько вот живу на свете, никогда не думал, но сейчас думаю.
— Но ты ведь маленький. Сколько тебе лет?
— Тринадцатый. Полицаи батька убили. А мать повесили потом. Так баба с перепугу померла, а дивчата — одна в Германии, другая неизвестно. А у меня двое малых. И корова скоро отелится. И огород же надо обрабатывать. Так я вот думаю — возьму себе сироту и начну жить. Я, конечно, понимаю, что я еще не вырос, но не пропадать же детям. Или уже подождать, не знаю? Теперь колхоз ведь не позволит мне пропасть с детьми? Как вы?

— Никогда. Колхоз никому не позволит погибнуть! — сказала Ульяна убежденно, словно отвечая на какой-то более общий вопрос. — Колхоз не дал погибнуть государству, Ступак, а уж тебе тем более не даст. Мы придем к тебе сегодня же домой и все устроим.

— Так что не жениться?

— Не надо жениться. Учиться будешь. Ты хочешь учиться?

— Нет, не дуже.

— Почему?

— Так.

— Но ты выучишься и можешь стать великим человеком.

— А батько мой ученый не был, а был великий человек, — сказал Тарас подумав.

— Я знаю. Батько твой был великий человек. Он был организатор и голова колхоза, и он был партизан и великий коммунист, но если бы он был ученый...

— Немцы! — закричал вдруг один школьник, увидев в окно вереницу пленных. Дети перепугались — бросились кто куда. Девочки начали плакать. Все они были явно травмированы войной. Один лишь Тарас Бовкун не потерял присутствия духа. Увидев пленных, он сразу взвесил ситуацию и мгновенно куда-то исчез.

По дороге к землянке, вырытой невдалеке от сгоревшей хаты, он заметил еще одну группу пленных, входивших в село другой дорогой.

Это были мадьяры.

Увидя длинную немецкую вереницу, они начали волноваться. Засуетились конвоиры.

— Куда? Куда побежал?

— Гаття назад?! Назад! Куда?

— Гей!! Забирай пленных! Не пускай к немцам!

Немецкие фашисты уже выходили на сельскую площадь. Из другой улицы показались мадьяры. Немцы чуяли угрозу. Шум среди мадьяр нарастал.

— Задержи колонну! Останови, говорю тебе! — кричал конвоир венгерской группы.

— А ты не кричи, — ответил старший по немецкому конвою.

— Так я за своих мадьяр не ручаюсь, понял?!

И действительно, мадьяры не выдержали и бросились вдруг на немцев.

— Ну что, говорил я тебе?!

— Стой, злодюги! Стреляю! — закричал начальник над мадьярами и поднял автомат...

— Ну ты, осторожно. Смотри своих фашистов. Понял?!

— А ты не пугай, не испугаешь!

— Я не пугаю!

— И не пугай!

— А что?

— А то, что от твоих мадьяр может тоже одна квитанция остаться! Хлопцы! У меня эсэсовцы, не видишь? — Конвоир угрожающе махнул автоматом.

— Да не гневайтесь, черт их не возьмет. Здравствуйте, — сказал старый колхозник Митро Клунный.

— И я так думаю, товарищи, пускай побьются. Здравствуйте, — согласился председатель колхоза Демид Сорока.—Пускай уж хоть на кулаках отведут душу, не трогайте...

Действительно, пленные являли картину, недостойную доброго слова. Если бы могли только видеть дети, до какого падения дошли их отравленные ядом расизма отцы. Они давили друг друга, кусали, резались перочинными ножиками, проваливали один другому носы чем попало.

На старых колхозников эта картина особого впечатления не произвела. Людям хотелось жить, то есть творить, работать. Хотелось забыть о преступном и бессмысленном по всесильному закону бытия и непреодолимой силе характера хлеборобов, привыкших тысячелетиями к сеянию, к жизнеутверждению.

Хозяйки копались в огородах, доставали из разных узелков семена и со страстью сажали в пригретую весенним солнцем землю. На побоище военнопленных никто даже не глянул.

— Эге, — говорила Антонина своей соседке, сеючи мак. — Приходит ко мне генерал. Генерал! Пьет молоко и спрашивает: «Скажите, тетушка, когда эта проклятая война кончится?» Ну вы подумайте, уж сами генералы не знают. А я-то, говорю, откуда знаю? Одно — бьются да бьются, да лезут на смерть.

— Ой правда, — сказала соседка, не разгибаясь. — Да, здоровые поделались на свежем воздухе, а харч какой! Ты бачила, харч какой? Теперь уже которого так и домой не загонишь.

— Да. Вот такое. Так он это, генерал уже мой, молоко себе выпил да еще там что-то, да и заснул, а вокруг него женский пол, аж две с опалетами и телефонами: «Товарищ генерал, товарищ генерал!» Какой, говорю, он вам товарищ, бесстыдницы! Он же, говорю, в отцы вам годится, вишь, позакручивали кудри! Ей-богу, правда. А он спит, бедненький, опалетики блестят, ну,

так мне его жалко стало... Сколько он людей на смерть посылал! — Тут Антонина разогнулась и чуть не заплакала.

— Эге. Так за мак дорого заплатила? — спросила соседка.

— А как же! У него ведь где-то жена и дети страдают, а они крутятся, крутятся, вот, чтоб я вечера не дождала. И колы эта война кончится, не знаю... Так уж в него на сердце погано. Господи!.. Куда тебя черти несут?! — крикнула вдруг Антонина, увидя, как один сильно побитый немецкий офицер, перепрыгнув через плетень, бежал к ней по огороду. Это был Грибовский, но Антонина не успела его разглядеть.

Сильный пулеметный огонь внезапно прекратил драку.

— Господи! Уже стреляют!

— Кто там стреляет?

— Прекратите огонь!

— Кто стреляет? Какая сторона?

Пулеметный огонь утих и вдруг начался снова. Пленные попадали, где кто стоял. Конвоиры бросились к стоявшей посреди огорода развалленной печи, откуда шла стрельба.

— Не подходи! — раздался отчаянный крик из-под печи, вслед за чем снова застрочил пулемет.

Бойцы залегли. Два автоматчика побежали, нагнувшись в обход противника.

— Куда вы? Стойте! Он же вас убьет, голубчики мои! — Старая Бовкуниха чуть не упала, спеша навстречу бойцам.

— Кто стреляет?

— Извините, голубчики, это мой. Ну что мне делать? Уже два автомата отобрала, патроны, бомбы. И снова где-то выкопал, чтоб ему добра не было!..

— Мамо, тикайте, не мешайте, мамо!

— Подожди, я тебе постреляю!.. Я тебе... Осторожно, деточки, прячьтесь за меня! — И Бовкуниха, а за ней два автоматчика начали приближаться к печке.

Тарас понял, что сражение проиграно, и начал громко плакать. Его воинственная маленькая душа чувствовала, что пришло время расстаться с удивительными игрушками, посланными ему судьбой. Чего только не было в Тарасовом дзоте — два автомата, которые он стащил у немцев, парабеллум, три десятка мин, патроны, простые и трассирующие, которыми он стрелял по ночам в небеса, неизвестные бутылки, банки, диски, жестянки, порох орудийный и минометный — все, что принесли оккупанты, что отравило его маленькую душу.

— Не подходи, стреляю! — заревел он на мать угрожающим детским басом и залился слезами.

— Кинь, говорю тебе. Голубчики, не выглядывайте! Пропали! Кинь!

Однако автоматчики бросились на Тараса в атаку, и после небольшой рукопашной схватки Тарас сдался, пребольно укусив за руку одного автоматчика.

— Пусти!

— Вот клоп, смотри!

— Клоп? Это тигр, а не клоп. Он же хату мне развалил. Вот это вот, смотрите, это ж его работа. Ах, несчастье мое! — сказала Бовкуниха, когда обезоруженный Тарас стоял перед начальником конвоя.

— Как? Развалил хату? Этот мальчуган?

— Зимой. Пришло четверо офицеров, поужинали, сели играть в карты, напились. Так он оружие у них отобрал да бомбу с печи прямо под иконы! Это же слава богу, что выгнали меня из хаты. Говорили, что воздух мой им не нравится. Пропала б, вот крест меня побей... Говори, кто хату развалил?

— Она сама развалилась.

— Вот дитя, нехай бог милует! — послышался голос подошедшей Антонины. — И в кого оно пошло, лиха година его знает! Солдатики! Освободите наше село. Заберите с собой этого забияку! Из него такой великий генерал выйдет, что не то что Гитлер — сам нечистый против него не выстоит. Вот увидите!

Все засмеялись.

Пробежав мимо Антонины, Грибовский шмыгнул за угол хлева, потом через сад мимо сгоревших тягачей и быстро вскочил с черного хода в школу.

Мандрыка! Единственная случайная надежда. Тончайшая соломинка, за которую, быть может, можно ухватиться, попросить, напугать, угрожать. Вот она, дверь его квартиры. Какое счастье: коридор пуст! Вперед, вперед, Грибовский!

Вдруг на пороге показался Мандрыка.

— Гордей Иванович!.. Павлович...

Узнав скорее по голосу, чем по виду, Грибовского, перепуганный Мандрыка быстро захлопнул дверь перед самым носом бандита.

— Откройте!

— Пропал! Боже мой..— ужаснулся Мандрыка.— Э-э.. Я вас не знаю!

— Гордей Степанович, ради бога!

— Я не знаю вас!

— Это я!

— Э-э... Не знаю!

— Грибовский!

— Не знаю. Я с вами незнаком! Это провокация! Слушайте, я занят!

— Откройте дверь! Слышь?! Дверь открой, убью! — зашипел вдруг Грибовский и, рванув изо всей силы, открыл дверь. От сильного рывка Мандрыка, державшийся за ручку, вылетел в коридор. Но не удалось Грибовскому вскочить в комнату.

— Гражданин, остановитесь,—послышался спокойный женский голос. Грибовский оглянулся — Ульяна.

Тогда, собрав всю силу воли, все притворство, приобретенное за долгие годы скитаний, он вдруг выпрямился и, как бы мгновенно успокоившись, учтиво поклонился, сказав при этом по-французски:

— Простите, пожалуйста, мадемуазель, я не понимаю, что вы говорите. Я не знаю вашего языка. Вы меня поняли?

Потом он прибавил несколько слов на ломаном русском языке:

— Же сюи франсе... Я Франция... Де Голль, де Голль. Битте, немножко вода, пожалюста.

Это было сказано с такой артистической убедительностью, что не только Ульяна, но даже Мандрыка вдруг усомнился, что перед ним стоял фашистский агент, назвавший только что его по имени. Ему показалось, что он ослышался. Грибовский заметил удачу и мгновенно поверил в спасительную ложь. Перед учителями стоял немолодой уже француз в немецкой форме, «жертва фашизма» с разбитой заросшей физиономией, заплывшим глазом, совершенно неузнаваемый. Он был очень счастлив. Он готов завтра же воевать в рядах борющейся Франции... Ах эти немцы, эти дикие фашисты! Да он!..

— Нечиста сила! Да это же он и есть!

Вошедшая Антонина сразу узнала Грибовского.

Суд над предателями Родины и палачами народа происходил в здании этой же школы. Была тщательно осмотрена вся немецкая группа военнопленных.

Среди них были опознаны Курбацкий, еще один бандит и даже комиссар фон Шредер, наводивший ужас на всю округу.

Председательствовал на суде военюрист первого ранга Петр Самойлович Величко. Главным обвинителем от народа был назначен Иван Демидович Орлюк. На отказ Орлюка выступать

в столь ответственной роли ввиду молодости и отсутствия жизненного опыта председатель райсовета Демид Сорока заявил на общем собрании:

— Товарищи, в наше село пришла слава. Славу эту принес нам известный всему Советскому Союзу Иван Орлюк. Теперь мы не простые люди. Теперь уже если где-либо кто спросит, а где это Старая Павловка, то уже всякий скажет: а это же там, где родился тот самый Орлюк, что принял на войне двенадцать ранений.

— Шесть, — поправил Орлюк.

— Шесть для тебя, а для нас и для потомства мы согласны прибавить. Кому же, спрашивается, как не тебе, обвинять врага нашего? Кровь проливать ты не был молодым?

Орлюк согласился, но жене своей категорически запретил посещать заседание суда. Когда она совсем уже собралась, взволнованная тяжелыми воспоминаниями, он обнял ее и тихонько прижал к груди.

— Ты не пойдешь на суд.

Ульяна. Как — не пойду? Почему?

Орлюк. Я не хочу, чтоб ты была на суде. Не хочу, чтоб ты обвиняла...

Ульяна. Иван, они убили...

Орлюк. Наших отцов и матерей... И именно поэтому я хочу уберечь тебя.

Ульяна. Я прошу тебя.

Орлюк. Нет, я прошу тебя. То, что ты вынуждена была сделать на войне, уже слишком много для женщины.

Ульяна. Нет.

Орлюк. Я прошу тебя, поняла? Я не хочу, чтобы ты снова вдыхала этот смрад жестокостей и преступлений. Иди в школу, учи детей добру. Там твое царство.

Ульяна. Я буду на суде. Я хочу их видеть!

Орлюк. Зачем? Ты будешь плакать там и содрогаться от проклятий.

Ульяна. Не буду.

Орлюк. Будешь.

Ульяна. Я растерзаю их!

Орлюк. Вот видишь. Ты уже плачешь. Ты не пойдешь туда.

Ульяна. Прошу тебя, Иван! Я пострадавший человек. Я имею право!

Орлюк. Я такой же человек. Но я должен мыслить и действовать сообразно силе вещей. Когда я отступал до Волги,

я ненавидел весь мир и самого себя. Когда меня ранили, ты тащила меня с поля боя, грязная, испачканная моей кровью. Сказал я тебе хоть раз: не надрывайся, не изнуряй себя, береги свою красоту? Нет. Мы тогда спасали государство.

Ульяна. А сейчас довольно?

Орлюк. Я не сказал довольно вообще. Но там, где уже можно,— довольно. Ты привыкла, Уля. Ты сама уже себя плохо видишь. Тебе хочется лично уничтожать человеческую мразь, а она недостойна твоего взгляда. Зачем тебе это? Я убью их и без тебя.

Ульяна. Ты думаешь запереть меня в клетку?

Орлюк. Да. Я хотел бы запереть тебя в золотую клетку, чтоб никакое зло не достигло тебя.

Ульяна. Как тебе не стыдно? Что ты говоришь?

Орлюк. Тебе не нравится? Жалуйся на меня. Хоть в ЦК партии.

Ульяна. И пожалуюсь. Какой эгоист.

Орлюк. Пожалуйста! Я скажу откровенно, что без тебя нет ни счастья мне, ни радости ни в чем на свете. Нет жизни без тебя.

Ульяна. Ну и выгонят из партии.

Орлюк. Не выгонят. Будь здорова. Я все тебе расскажу своими словами.

Зал был переполнен. Раскрыли окна и все двери, чтоб было слышно всем, даже стоящим на площади у школы, что говорилось на суде. Многие пришли из соседних сел, немало было и разных горожан, бросивших далекие свои города для спасения жизни.

Если бы несчастья могли украшать человека, если бы слезы обладали свойствами не ядов, а столетних благородных вин, веселящих душу человека, если б размах смертей, разорений, фашистских провокаций, грабежа и обмана блистал на людских лицах ясными улыбками, не было бы в мире народа лучезарнее, чем тот, что пришел на этот суд.

Тут собралась как бы вся Украина. Было много осиротевших матерей и много вдов. Были вдовы, видевшие смерть своих мужей-воинов. Были калеки-инвалиды. Были сироты, видевшие отцов и матерей своих на немецких виселицах. Были девушки с фантастическими биографиями, бежавшие из фашистской неволи, были выброшенные из Германии за ненужностью увечные девушки. Были выгнанные нуждой и страхом из горо-

дов потерявшие семьи и кров и работу печальные люди. Были битые, стреляные. Были неизвестные растерянные люди, поверившие на какие-то роковые мгновения в реальность «новый эры» и теперь скрывавшие это и проклинавшие фашистов и свой позор и все на свете, мучимые втайне слабодушием своим. Но больше всего было крепкого старого люду, видавшего на своем веку столько событий, что, казалось, затруби внезапно ангелы на страшный суд, никто бы уже бровью не повел, так примелькалась им людская суета.

Все смотрели на Орлюка. Орлюк смотрел на народ. Потом он перевел взгляд на подсудимых.

Волнение охватило его, как перед боем, даже, может быть, еще более высокое. Он почувствовал свою принадлежность народу как выразитель его воли. Обращенные к нему взоры народа словно подымали его. Председатель суда Величко улыбнулся ему понимающим отеческим взглядом и кивнул головой.

Орлюк начал суд.

— Подсудимый Грибовский!

Грибовский молчал. Он осматривал ссадину на грязной своей руке, казалось, не слыша, что ему приказывают встать перед судом.

— Подсудимый Грибовский!

Грибовский не отзывался. И только когда его поставили перед Орлюком, он в недоумении посмотрел на Величко и Орлюка.

— Отвечайте!

— Их вайс нихт, вас заген зи. Их бин кайн Грибовский... Же сюи Леон Жерар...

Орлюк. Подсудимый Шредер, вы узнаете этого человека?

Шредер. Нет.

Орлюк. Не признаете, что это украинский националист, агент фашистской разведки Грибовский?

Шредер. Нет.

Орлюк. Подсудимый Курбацкий!

Курбацкий. Не знаю. Не видал никогда...

Орлюк. Свидетель Мандрыка!

Мандрыка. Я... тот, как его...

Орлюк. Имя, отчество?

Мандрыка. Гордий Павлович. Мое... Мое?

Орлюк. Да. Год рождения?

Мандрыка. Так позвольте... Тысяча девятьсот десятый.

Орлюк. Профессия?

Мандрыка. Учитель... Разве же...

Орлюк. Где были при немцах?

Мандрыка. Клянусь, нигде! Здесь... Иван Демидович, разве я?..

Орлюк. Не работали на оккупантов?

Мандрыка. Нет. То есть как?

Орлюк. Вы остались один в школе?

Мандрыка. Да. Всех же...

Орлюк. Что сказали вам товарищи перед смертью?

Мандрыка. Не помню! Тут такое творилось...

Орлюк. Признаете ли вы в подсудимом, который врывался к вам в квартиру, украинского националиста Грибовского, который вместе с палачами уничтожил треть нашего села, нашу школу, директора?..

Мандрыка. Э-э...

Орлюк. Узнаете?

Мандрыка. Так это... как его? Ну да, как будто бы он и не он. Очень трудно сказать сразу, так вот — да или нет. Вы спросите, людям же виднее, потом уже я... Э-э... надо же присмотреться.

Сорока. Вот выплетает мережу!

Орлюк. Свидетель Вирский Павел Данилович!

Вирский. Я.

Орлюк. Лет?

Вирский. Пятьдесят.

Орлюк. Профессия?

Вирский. Врач.

Орлюк. Родились?

Вирский. В Дубно.

Орлюк. Беженец?

Вирский. Да.

Орлюк. На фашистских захватчиков работали?

Вирский. Нет.

Орлюк. Не теряли надежды на наше возвращение?

Вирский. Нет.

Орлюк. Не впадали в отчаяние?

Вирский. Впадал.

Орлюк. В неверие?

Вирский. Впадал... Нет... Впадал!

Орлюк. Не предавали народа?

Вирский. Нет.

Орлюк. Ненавидели врага, его злобу?..

Вирский. Злобу, жестокость, жадность...

Орлюк. Потеряли дом?

Вирский. Да.

Орлюк. Одежду?

Вирский. Одежду... Книги...

Орлюк. Семью?

Вирский. Семью — отца, жену, детей.

Голоса с мест. Все потерял!

Орлюк. Вы бежали из концлагеря?

Вирский. Да.

Орлюк. Прятались?

Вирский. Да. В лесах, в оврагах.

Орлюк. Как вы попали сюда?

Вирский. Набрел. Свет за очи.

Орлюк. У кого жили?

Вирский.. У вашего покойного отца... Сначала. Потом... Ох, мерзавцы!

Орлюк. Вы заражали в нашем селе людей чесоткой?

Вирский. Да. Чесоткой, лишаями, трахомой....

Голос из публики. Он спасал нас от неволи! Он дал мне коросту!

Орлюк. Что вы думали? Видя весь этот ужас, жестокость, грабеж, что вы думали?

Вирский. Я не думал. Были времена, когда я совсем не думал.

Орлюк. То есть?

Вирский. Этого было так много, что я больше чувствовал, чем думал.

Орлюк. Чего — «этого»?

Вирский. Страдания.

Орлюк. Эти страдания и потери и созерцание ужасающего — облагородили ли они вашу душу, очистили?

Вирский. От чего?

Орлюк. Отвечайте на вопросы.

Вирский. Не понимаю вопроса. Когда погибли ваши отец, и мать, и все родные вашей жены...

Орлюк. Я не спрашиваю вас о гибели моего рода. Я прокурор и прошу вас отвечать на вопросы. Я повторяю — лишения, упавшие на вашу голову, украсили, облагородили вашу душу, как об этом пишут в книгах вот уже несколько столетий?

Вирский. Нет.

Орлюк. Они унизили, прибили вас?

Вирский. Да. Я полагаю, да. Человек рожден для радости, труда, для братства. Они унизили в моем сознании вы-

сокое имя человека. Я перестал ощущать себя венцом творения.

Орлюк. Вы можете об этом сказать подробнее?

Вирский. Не хочу. Я могу лишь прибавить, что они дали мне много оснований быть недобрым, жестоким и мстительным ненавистником человечества.

Орлюк. Но вы советский человек. Вы не можете не любить человечество и плохо о нем думать.

Вирский. Благодарю вас. Конечно. Но сейчас я вообще не могу о нем думать. Пусть оно само подумает, глядя на меня. Я прошу не задавать мне этих вопросов.

Орлюк. Вам тяжело?

Вирский. Не спрашивайте много. Можно умереть от воспоминаний.

Орлюк. Успокойтесь. Вы на трибуне свидетелей.

Вирский. Я не свидетель. Мир, о котором вы спрашиваете,— он свидетель...

Величко. Товарищ прокурор, конкретнее.

Орлюк. Вы узнаете этого человека? Кто этот человек?

Вирский *(всматриваясь в Грибовского)*. Это не человек.

Орлюк. Грибовский?

Грибовский. Найн, их бин кайн Грибовский. Их бин Леон Жерар фон Эльзас-Лотарингия.

Вирский. Позвольте, где же я его видел?

Орлюк *(Грибовскому)*. Может быть, вам страшно говорить на родном языке? Страшно вымолвить слова — тато, мама, брат, сестра, люди, я убил, обесчестил, отдал в неволю?

Грибовский. Их ферштее нихт.

Вирский. Позвольте, позвольте, позовите сюда расстрелянных.

Орлюк. Введите расстрелянных!

Открылась дверь. Пятеро расстрелянных подошли к столу — Антонина, Демид Сорока, Олена Ступакова, Подорожный и Глеб Бовкун. Грибовский глянул на них и содрогнулся. Содрогнулись Курбацкий и Шредер.

Орлюк. Олена Ступакова?

Ступакова. Я.

Орлюк. Лет?

Ступакова. Двадцать четыре. Ровесники.

Орлюк. Вдова?

Ступакова. Убили ж Андрея. Партизан был. И детей двоих убили, и батька Андрея, и моего. Вдова и сирота. Кругом вдова.

Орлюк. Вы были расстреляны?

Ступакова. Была. Я? Была.

Орлюк. Почему вы все время усмехаетесь?

Ступакова. Не обращайте внимания. Я не владею этой усмешкой. И голос, говорят, переменился с той поры.

Орлюк. Вам не смешно сейчас, гражданка Ступакова?

Ступакова *(смеется)*. Нет.

Орлюк. Вам хочется плакать?

Ступакова. Робить чего-либо хочется. Работать.

Орлюк. Ничего. Мы еще с вами поработаем. На удивление всему миру. Только не надо смеяться. Прошу вас, не смейтесь.

Ступакова. Я не смеюсь, Ваня. Я плачу, как и ты.

Из глаз Орлюка текли слезы гнева. Но он не плакал. Мир отражался в нем. И этого не выдержал один из преступников.

— Допросите меня! Все скажу! — застонал Курбацкий и ударился головой о скамью.

Величко. Минутку!

Орлюк. Прошу.

Величко. Подсудимый Шредер, встаньте здесь. Подсудимый Шредер, скажите, входило ли в планы вашего правительства уничтожение всех сепаратистски настроенных украинцев?

Шредер. Да.

Грибовский. Я — Грибовский!

Мандрыка. Это он! Ох и хитрый же! То-то я смотрю — как будто он. Это же такой плохой человек!.. Ужас!...

Была уже полночь. По темным дорогам тянулись из германской неволи с запада освобожденные советские люди. Несли остатки скарба, гнев и горе и страшные вести о кровавых расправах.

— А кто там? Кто едет?

Ожидавшие возвращения близких стояли у хат и на дорогах и кричали в темноту.

— Кто там? Какие? Не свои ли?

Нет, не свои. Шли полтавские, донские, воронежские.

— А не видали ль, не встречали наших?

— Нет, не встречали, не бачили. Нема.

И снова скрипели двери. И снова взывала в темноту надежда.

— Ой, кто там, кто? А чи не бачили, а чи не чули?

— Не бачили, не чули! Пустите переночевать!

— Ночуйте.

На другой день суда Грибовский отвечал на все вопросы прокурора с особенно жадной поспешностью. Отвечал откровенно, точно. В каждом вопросе он видел продление жизни. Он жаждал вопросов.

Иногда вопросы раздирали его, выворачивали, четвертовали, и тогда он отвечал в изнеможении краткими: «да», «было», «да». Постепенно из него вынули всю его биографию, все скитания, предательства, всю аморальность.

— Что вы думали? Как вы могли? Ужели вас не ужаснул размах смертей и разорений? Сколько миллионов несчастных угнано в рабство? Скажите, скажите, скажите!

— Скажу, все скажу.

Орлюк. Где находится ваш напарник?

Грибовский. Сейчас? Расстрелян.

Орлюк. Кем?

Грибовский. Шредером.

Орлюк. Подсудимый Шредер, вы расстреляли агента Сайгака?

Шредер. Да.

Орлюк. За что?

Шредер. За непонимание отведенного ему места в Третей империи.

Орлюк. То есть?

Шредер. Он вообразил, что фюрер создаст для него на Украине протекторат.

Голос из публики. Говорили же, что он и его расстрелял, Грибовского?

Орлюк. Подсудимый Грибовский, вы были расстреляны?

Грибовский. Да.

Орлюк. Подсудимый Шредер, где и когда вы расстреляли Грибовского?

Шредер. В Иванковцах, в сорок втором году.

Орлюк. За что?

Шредер. За то же.

Грибовский. Простите! Это не совсем так. У меня с Сайгаком были расхождения в деталях.

Орлюк. Замолчать, выродок! Перед кем ты извиняешься?

Величко. Товарищ прокурор, призываю к спокойствию.

Орлюк. Прошу прощения. Мне показалось вдруг, что у меня открылись раны. Подсудимый Грибовский, как вы остались живы?

Грибовский. Я был тяжело ранен. Я ночью вылез из ямы.

Орлюк. Кто вас отходил?

Грибовский. Одна старушка.

Орлюк. Вы признались ей, кто вы?

Грибовский. Нет.

Орлюк. В каких иностранных разведках вы состоите на службе?

Грибовский. В немецкой, французской, польской...

Величко. Подсудимый, подайте названия разведок на записке.

Орлюк. Как вы снова встретились с Шредером?

Грибовский. Я не встречался с ним. Я работал в организованном немцами якобы партизанском отряде, который боролся с вашими партизанами.

Орлюк. Потом?

Грибовский. Потом мы были разбиты, и я бежал вместе с немцами. На пути бегства я встретился с Шредером, тут же мы попали в плен.

Орлюк. Какое было ваше последнее задание?

Грибовский. Организовать в тылу диверсионную группу.

Орлюк. От кого вы получили задание?

Грибовский. От Шредера.

Орлюк. Подсудимый Шредер, вы подтверждаете?

Шредер. Нет... Впрочем, да.

Орлюк. Почему «впрочем»?

Шредер. При виде этого субъекта мне хотелось бы отрицать все решительно.

Антонина. Иван, скажи ему, чтоб был он проклят! *(Шредеру.)* Убийца ты, жестокосердный изверг, как носит тебя несчастная земля...

Орлюк. Эта женщина проклинает вас. Она считает вас бессердечным извергом.

Антонина. Изверг ты и кат, хуже зверя кусачего.

Орлюк. Вы унизили звание человека.

Шредер. Я персонально не принижал.

Орлюк. Вы лжете. Вы вели себя на нашей земле не как офицер оккупационных войск, а как убийца.

Шредер. Это вопрос политики. А политика свободна от морали. Это война, и все мы действуем в ее орбите, а Гегель сказал: «Война вечна и нравственна».

Орлюк. Нет, она не вечна и не нравственна. Она исчезнет вместе с вашей темной силой. Вы смеете здесь отрицать свои злодеяния?..

Шредер. Нет, я только хотел сказать, что я действовал не только в силу присяги, но и на основе учения великих умов: Гегеля, Ницше, Фихте. Фихте говорит: «В отношениях между государствами нет иного права, кроме права сильного». Это учение Гитлер модернизировал. Но когда мы поняли в прошлом году, что война проиграна и мы погибли, вы должны представить, как возросло, естественно, наше ожесточение.

Орлюк. Подсудимый Грибовский! На основе какого учения вы действовали? Во имя чего вы лгали, провоцировали на измены, на продажу Украины, нашей нации в рабство, на погибель?

Грибовский. Подождите, я сейчас все объясню. Когда я пришел на Украину с ними, я понял, что я здесь чужой. Я действовал во имя страха смерти, злобы, мести. Я сейчас все скажу. Все! — Грибовский трагически взмахнул руками и повернулся к народу. Он что-то хотел сказать. Но в это время над самой школой прогремел самолет и забросал листовками все хаты, огороды, площадь.

— Листовки бросают! — крикнул в окно Тарас Бовкун.

— Какие?

— Про дядька Романа! Шесть танков разбил!

— Кто?

— Дядька Роман!

— Батько танки побил! — закричали в окно два белоголовых мальчика и бросились бегом по улице.

Народ повалил из школы.

— Послушайте! — ужаснулся Грибовский, но его никто уже не слушал.

— Надоело слушать всякое падло, довольно. Работа стоит! — С этими словами ушли из зала суда последние свидетели — Сильвестр Волощук и Платон Злотаренко.

— Народ не интересуют ваши признания. Народ занят,— сказал подсудимому председатель суда.

Тем временем босоногие гонцы прибежали с листовками домой.

Старый Семен Клунный копался в саду.

— Дед! Батько немцев побил! — закричали они, задыхаясь от бега, и начали быстро читать старику листовку: «Уважаемый Семен Власович!..»

— Идите, нечистый вас носит! Не дразните меня! — рассердился дед.

— Дед, правда!.. «Радостную весть сообщаем вам! Сын ваш Роман Семенович удостоен высшей... Героя Советского Союза! — читали мальчики приветствие Военного совета.— Вы по праву можете гордиться...».

В это время из хаты вышла мать.

— Мама! — бросились дети к матери.— Мама, наш батько Герой!

Когда через полчаса Грибовского и Курбацкого уводили за село в провалье, никто на них даже не посмотрел. Народ уже был у Романовой хаты.

Перед Семеном Клунным собралось полсела.

Старый кузнец не был грамотным, и листовку о сыне ему громко читал немолодой уже колхозный счетовод Макар Падалка:

— «Шесть немецких танков уничтожил ваш сын в неравном бою на границе...».

— Шесть танков!

— Тихо!

— «...Только лучшие сыны нашего народа, для которых нет ничего в мире выше защиты Отечества, только такие люди способны творить такие чудеса доблести...» Прочтите кто-нибудь. Что-то у меня буквы бегают...

С этими словами растроганный Макар передал листовку Подорожному.

Но не успел Подорожный всмотреться в листовку, как не менее десятка голосов громко подхватили текст:

— «...Недалеко время, когда враг будет разгромлен!»

Потом вдруг все умолкли. Один только голос молодой учительницы продолжал звучать среди народа:

— «...И тогда сын ваш вернется домой к вам, к жене, к детям, вернется с победой, и слава о нем будет жить и греметь в веках! Спасибо вам, отец Героя. Военный совет фронта».

Воцарилась торжественная пауза. Все смотрели с уважением на старика и ждали его слова.

— Вот вам и Роман! — послышался чей-то голос.— Что вы скажете, Семен Власович?

Но Семен и здесь в самый торжественный момент жизни остался верен себе.

Суровый скепсис оберегал его гордую душу от тщеславия и суеты.

— Не знаю,— сказал он, глядя с видимым спокойствием куда-то вдаль и прислушиваясь к каждому людскому слову, чет ли у кого сомнения, неверия или зависти, чтоб не пока-

заться смешным или не вполне достойным сурового своего времени, и добавил равнодушно:

— По-моему, это или агитация какая-то или брехня. Как же это так, чтоб так вот шесть танков? Что это вам, крыжаки в болоте? Да на кой же хрен тогда их ковать, эти танки, портить железо, если так вот?..

— Это уже не нашего ума распоряжение,— заметил Фома Чепурной.— Выходит, так!

— Ну, если так, тогда так. Пускай уж будет. Я доволен,— сдался старый кузнец, утвердительно махнув рукой.

И тут из-за поворота вдруг появился на «виллисе» — кто бы мог думать? — Роман!

Сначала его никто не узнал. Он был без бороды и весь в пыли. Одни только светлые, как колосья ячменя, усы выдавали в нем. Романа. Легкая гимнастерка, погоны, пилотка и пребывание в походах омолодили его лет на десять. Через плечо винтовка. На груди Золотая Звезда. За «виллисом» громыхала пара трофейных тягачей. Это генерал Глазунов прислал на посевную обещанную помощь.

Окруженный народом «виллис» остановился у самой хаты.

— Роман Семенович!

Посыпались вопросы, радостные восклицания, смех и снова вопросы.

— А как тот? А как другие? А жив ли такой-то? А далеко ли? А как воюет Павло Горобец?

— Ничего сражается. Погнали Гитлера уже к чертовой матери, аж в Румынию.

— А как Лобода, как Бухало?

— И Лобода, и Бухало, и Гаркавенки — батько и сыны,— докладывал Роман.

— А моего Опанаса не видел? — с тревогой спросила одна мать.

— Опанаса вашего, извините, тетушка, уже нет,— тихо сказал Роман и снял пилотку.— Нет Опанаса и Левка Чепурного нема.

— Ну, а правда, что ты сам побил там что-то,— осторожно спросил Семен, когда Опанасова и Левкова матери побежали тужить в одиночестве.

— Шесть танков! — подтвердили товарищи Романа, что сидели в «виллисе».

— Чем?

— Бутылками,— сказал Роман.— Дай, думаю, попробую, что за бутылки. Кидаю — горит!

— Кто?

— Танк. Прорвались же к окопам. Так я тогда вторую! Горит. Я бегом по окопу, бегу, бегу — третий уже через окоп.— Я — р-р-раз! Горит, аж гуде! Так я тогда бегом к товарищам, а они — давай меня целовать. Стойте, говорю, дураки, не целуйте, давайте, говорю, скорей бутылки! Да за бутылки, да туда, огонь его забери!..

— Не брешешь?

— Чего брехать? На людских же очах все происходило.

— А может, вам там с перепугу очи заслепило?

— Пожди. Не перебивай! Ну?

— Да. А они уже на окопах! Один — ну прямо на голову. Ой! Поверите, аж жар по спине. Нагибаюсь — прошел! Так я тогда подымаюсь да в гуз четвертому! Да потом пятому! Шестому!.. Вот бутылки!

— Вот это выработал! Это ж, говорят, по пятьсот за танк платят.

— Ну?

— А ты думал!

— Ну а как же ты их там бросал уже?

— Как командир учил. Прямо на зад, на гуз.

— Слабенький гуз, что ли?

— А сатана его знает... Да! Забыл же: вот чего мне жалко, прах его возьми, пиджак потерял.

— Пиджак?!

— Да.

— Где?

— Да там же. Пришлось снять для размаха руки. Так разве не унесло куда-то огнем или гусеницами. Вот досада!

— Говорил я тебе, не бери пиджака, не бери пиджака,— сказал с укоризной Семен.— Вот теперь покрутишься без пиджака, вояка.

— Ну, батько, на то война. Народное дело. Так же нельзя. Тут уж кому какое счастье.

— Лиха година! Такой пиджак погубить,— сказал Семен.— Ну, надо радоваться, бог с ним! Пожалуйте обедать.

Есть местности веселые, радостные, есть тревожные, недобрые места. Есть благодатные долины и овеянные печалью горы.

И названия есть веселые, вроде Ворсклы и Десны, и тихие, мечтательные, вроде Сейма или Дона. И есть зловещие,

трагические звучания имен, как Горынь-река на Волыни. Каждая местность имеет свою душу.

Старая Павловка имела душу торжественную, древнюю. Она раскинулась на горе и под горой, в живописных долинах. Приветливые хаты белели среди садов и огородов. От широкого шляха, что простирался через село, разбегались живописные улички и стежки к разбросанным дворам и хатам. На огородах и за селом возвышались старинные бесплодные бугры, казавшиеся, особенно по вечерам, то ли останками давно разрушенных, покрытых прахом сооружений, то ли могилами безвестных великанов.

В селе жили красивые задумчивые люди, и была тут у женщин своя старая мода — вышивать рукава сорочек пышными червонными цветами, так что и одежда людей была похожа на сады и огороды.

И кто ни проходил, кто ни проезжал через Старую Павловку, летом ли, весной, днем или вечером, тот никогда уже не забывал ее. В человеческой памяти, нет-нет да и возникало и село, и цветы, и особенно поле, что начиналось сразу, как выйти на гору, за просторным колхозным двором.

Тут уже, кто бы ни шел по шляху, в каком бы душевном состоянии ни пребывал, всяк должен был остановиться.

«Стой, человек! Вот твой мир, вечный и прекрасный, и ты в нем живешь короткий свой миг,— звучало в торжественном покое.— Радуйся, добрый. Отдохни от повседневного, обыденного, мелкого. Смотри».

Перед человеком далеко, сколько охватывал глаз, простирались черниговские и полтавские земли — зеленые сенокосы, озера, села на буграх, поля и дремучие сизые боры. А между борами там и сям блестели белые пятна древних песков.

Вдоль зеленых гор по лугам протянулся старый Днепр в серебряных берегах. По горам, вдоль крутых обрывов, мимо Вышгорода проходил шлях на Киев.

На вышгородском холме цвели вишни, и прошумевший многие века одинокий прадуб наклонился к Днепру уже почти без ветвей. Было что-то эпическое, праздничное в старопавловском поле. Был бег времени и величавый покой...

Когда-то здесь паслись кони Святослава. Сероглазый князь ночевал на траве над Днепром и, глядя на звезды, мечтал о Дунае. И так даже пахло чебрецом и полынью. Только Днепр был шире, травы гуще и Дунай далече.

На небе и в Днепре гремели исполинские битвы между весенними тучами, а над заднепровским низом одна богатейшая

грозовая туча заполнила почти полмира и где-то далеко за Остром и Козельцом, почти над самым Черниговом, сливалась с землею синими потоками дождя.

Вышли в поле сеятели. Необычен был сев над Днепром весной сорок четвертого. Не гудели машины в поле, не красовались свежей краской широкие сеялки. Война пожрала богатую колхозную технику, уничтожила и покалечила коней, засорила зерно.

Пахали тракторами, но пахали и коровами и копали лопатами. Сеяли старинным способом из щедрых хлеборобских рук.

Старые колхозники шли цепью, как воины, медленно, с непокрытыми головами.

Далее шли сеятельницы — жены и вдовы солдат во главе с Василиной Бовкуновой. Сеял доктор Вирский, а за ним народный судья Иван Орлюк с Ульяной и немало других, старых и малых, а еще меньшие бегали босиком за боронами или играли в войну вокруг мертвых «тигров».

У некоторых на груди поблескивали боевые ордена.

Весенний ветер развевал порожние рукава у Платона Вернигоры и Юрия Тырсы. Сеятели проходили с полными дающими горстями по полю недавних битв и, поглядывая на широкие заднепровские просторы, вспоминали храбрых товарищей своих и командиров.

И так как кровь павших еще не вошла целиком в землю, и раны на живых еще ныли на плохую погоду, и пустоты болели по ночам на месте оторванных рук, воспоминания, как волны, перекатывались через старое поле, картины боя над Днепром возникали в памяти людей с безудержной силой.

Тогда воздух разрывало лязгом и грохотом. Поле дрожало под тяжестью танков, орудий и прочего подвижного кричащего железа. Ревели самолеты. Стремглавые бомбы освистывали человеческую жизнь катастрофическим свистом.

На вышгородских холмах, на старом кладбище горели танки. Черные столбы дыма над Днепром вещали Гитлеру погибель.

Горело село. Тысячи орудий били по врагу беспрерывно, и беспрерывно гром гремел, и люди метались в куреве, в дыму, в сверкании орудий, как призраки эпохи.

Земной шар вращался в пустоте *(мультипликация)*. Огромная полоса пожаров над Россией, Белоруссией и Украиной окутывала его дымом.

Самолеты творили свое опустошительное дело, и, казалось, слышно было, как стонала земля. *(Найти выражение в музыке.)*

Но вот постепенно из радиосвиста, и визга, и стука радиошифров, и злобного урчания эфира вырвался человеческий голос:

«Нет! Не прекратится бытие, лучшая из планет, наша Родина — Мать-Земля! Исчезнем мы, сменяясь на твоем лоне поколение за поколением, как волны в океане. Но, исчезая, всегда будем говорить: «Слава тебе! Слава твоему хлебу, винограду и вину, слава приходу и уходу, весне и осени, дням и ночам, росе вечерней и утренней росе, любви, и труду, и драгоценной крови, пролитой во имя свободы и братства народов, во имя постижения главной тайны жизни на тебе — тайны нашей человеческой всеобщности. Мы твои дети, и мы твоя мера: ты прекрасна!»

Тихо в поле. Поникли орудия. Ржавые танки зияли чернорыжими пробоинами. Ни на что уже не нужные, развороченные гусеницы блестели стальной чешуей, словно побитые гигантские змеи. Ямы, патроны, гильзы, рвань и лом и много убитых.

Иван и Ульяна остановились на холме. Перед ними простиралось Заднепровье.

— Какая красота!

— О чем ты думаешь? Скажи... Ты хотел бы жить здесь не теперь? При княгине Ольге, при Ярославе [13], при Хмельницком [14]? Или через сто лет?

— Теперь.

— И я.

— Ведь мы, по существу, отстояли все прошлые столетия,— сказал Орлюк, глядя на вечный праздник Заднепровья.— Всю нашу историю, минувшую и будущую.

— Ты счастлив?

Да! Я счастлив тем, что не стал злым, что буду жить без ненависти и страха, что понял свое место на земле. В этой горстке колхозного зерна,— Орлюк раскрыл перед Ульяной широкую ладонь с семенами пшеницы,— в этом вот, право, больше смысла, чем во всей фашистской истории. Ты заметила, как сеют?

— Заметила.

Орлюк глянул на сеятелей.

— Вот он идет «над войной наш народ». Это бессмертные слова твоего отца. Какая битва может сравниться с этой картиной!

Старые сеятели, женщины, подростки и фронтовая бригада Романа двигались цепью и, засевая поле боя зерном, говорили про свое.

— Ну рука уж, хрен ее бери. Мне не жалко,— говорил Платон Вернигора, сеючи правой.

— Чего жалеть? — отозвался Сорока.

— Да. Но, вот чего мне жалко — жалко, что не стал я героем. Не вышел!

— Боялся, что ль? — спросил Роман.

— Раз, что боялся, во-вторых, и главным образом, не везло как-то. Бывало, иногда подвернется, ну явно геройский результат, уже начнешь было такое, что потом подумать страшно. Вдруг — брик! Проснулся — госпиталь. С глаз долой из сердца вон: режут.

— Точно.

— Потом вернешься в часть, никто заслуг признать не желает. Все новые. Нет справедливости!

— Точно.

За сеятелями проходили с боронами инвалиды и школьники-подростки. За ними спешили еле видные из борозды босые светлоголовые герои, а уже за этими героями в самом конце трудового шествия суетились галки и грачи.

Вдруг отчаянный крик заставил всех оглянуться.

— А боже мой! Брось, чтоб ты лопнул! Ой, спасите!...— Антонина бежала за своим пятилетним внуком Василиком.

Застигнутый криком, Василик сразу бросился бежать от бабушки. Большая отцовская шапка насунулась ему на самый нос и мешала видеть. Но Василик не падал и бежал быстро, придерживая левой рукой штаны. В правой руке у него была крупная граната, которую он нашел в борозде.

— Кидай, кидай, чтоб тебя на землю кинуло!

— Не кидай!

— Кидай!

— Не кидай! Убьешься! — крикнул Орлюк и побежал вдогонку за мальчишкой.

— Перенимайте его!

— Ах сучий сын! Убьется к черту! Антонина! Тикай, не

подходи к нему! — кричали сеятели, спеша наперерез и вдогонку бомбометателю.

Василик перепугался.

Такая сила грозных криков окончательно сбила его с толку. Он бежал во весь свой детский дух, но гранаты не бросил. Выпрыгнув из борозды, он помчался прямо через поле, к «тиграм», где играли дети.

— Стой! Не пускайте его к детям!

Ульяна не сразу поняла, что произошло с мальчиком. Потом она увидела в его руке гранату и, ужаснувшись, с криком бросилась вдогонку Орлюку.

— Иван, Иван, вернись! Не подходи!.. Иван!

Василик бежал как раз против Орлюка. Но, услышав перед собой крик учительницы, он вдруг повернул назад и попал в плен к бабушке.

Антонина сразу же бросила вон гранату. Когда граната взорвалась, развеселив все поле, Антонина начала усердно бить Василика по соответствующему месту. Обиженный Василик заплакал крупными детскими слезами.

Плакала и Ульяна. Ей хотелось прижаться к Ивановой груди, но она стыдилась людей.

— Уля, что с тобой? — удивился Орлюк.— Ты же в бои ходила.

— Иваночко, то совсем другое,— улыбнулась Ульяна сквозь слезы.— То война, а это жизнь.

Вскоре Орлюк попрощался с селом и с молодой женой. Целый год жизнь и смерть раскрывались еще перед ним в таких битвах, перед которыми меркли все битвы, на какие когда-либо был способен человек. И человек победил.

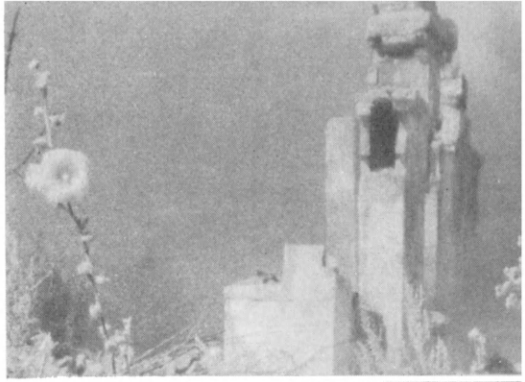
Он стоял у Бранденбургских ворот. Перед ним проходили бесчисленные ряды его товарищей, и он видел над их головами сияние материнских благословений Родины.

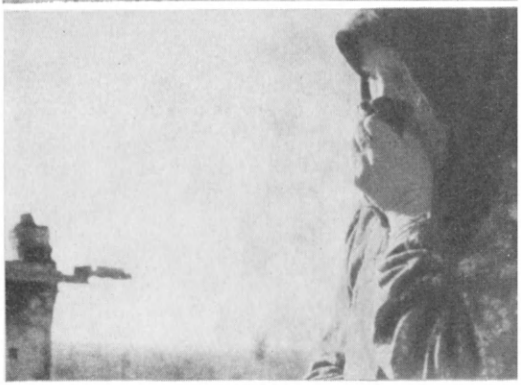
Дикторские тексты

БИТВА ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ УКРАИНУ

Незабываемые грозные годы... Тысяча девятьсот сорок первый, сорок второй и третий Великой Отечественной войны...
Историческая хроника бессмертной памяти славных воинов и братьев оружных украинского народа, что понесли великий труд боев и пролили свою кровь за его жизнь и свободу... И в знак славы воинов наших, несущих под знаменем Ленина суровую месть фашистским захватчикам...

Когда утихнет гром последних орудий и аэропланы начертают в небесах слово «мир» на всех языках, когда не вернется домой такое множество дорогих и любимых, когда миллионы людей возвратятся не в дома, а на пепелища и, оглядываясь, не узнаю ни улиц, ни сел, ни городов своих и не найдут уже никогда тех, к кому стремились их сердца,— тогда только увидит человечество, какой страшный путь оно прошло, в какую бездну неописуемых страданий, нищеты, горя и безвозвратных потерь ввергнул его подлый атаман немецкого воинствующего империализма — Гитлер.
И, оглядываясь по сторонам, среди развалин, крови, дыма и бесчисленных потерь, вспомнят народы, как распадались демократия, культура, как ужас и мрак отчаяния парализовали Европу, как проходили по ней ...голубоглазые двуногие скоты из гитлеровской неметчины.





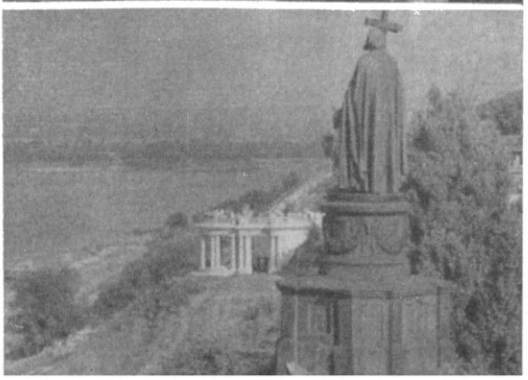












Содрогались города, народы: Германия фашистских мерзавцев стала железным сапогом действительно «юбер аллес».

Плач, крики, причитания. Это плачет освобожденный из немецкой неволи город Купянск, оплакивает жертвы фашистских зверств. Сколько таких городов, сколько страшных ям на обездоленной украинской земле.

Вот освобожденный Донбасс. Обнажите головы, современники великих битв. Это наши дети и жены, отцы и матери. Их убили фашисты.

Вот они — гитлеровские мерзавцы. Вот он, позор человечества. Смотрите, ненавидьте, презирайте проклятых убийц наших детей, растлителей наших сестер. Не забывайте и не прощайте ни одной материнской слезы.

В огне Украина, в огне!

Благословен той день і час [1],
Коли прослалась килимами
Земля, яку сходив Тарас
Малими босими ногами.
Земля, яку скропив Тарас
Дрібними росами-сльозами.
Благословенна в болях ран
Степів широчина, бездонна,
Що, як зелений океан,
Тече круг білого Херсона,
Що свій дівочий гнучий стан
До Дніпрового тулить лона.
Благославенна ти в віках,
Як сонце наше благовісне,
Як віщий білокрилий птах —
Печаль і радість наша — пісне,
Печаль і радість наша — пісня,
Що мужність будиш у серцях,
Коли над краєм хмара висне.

Несказанно прекрасной была Украина перед войной, и никогда, сколько свет стоит, не была она такой богатой и пышной, такой невиданно прекрасной, как в то лето.

Кто забудет удивительные жита наши, наши пшеницы, все наши колхозные широкие просторы, зреющие богатейшими плодами труда работающих людей наших? Все, что было с такой любовью и талантом посеяно, посажено, полито, все, что могло расти, цвести, плодоносить и радовать человеческую душу, все пело славу народа — и запорожские степи, и Карпатские горы, и Днепр, и Буг, и Днестр, и тихий Дунай.

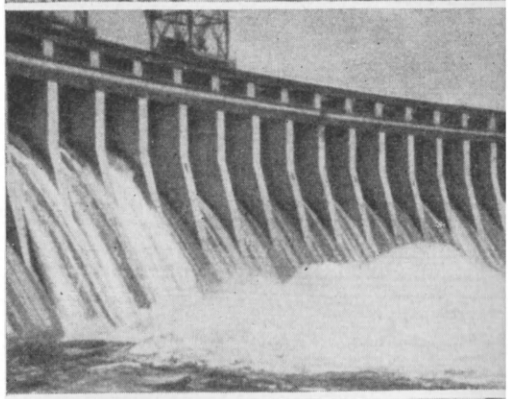
За годы Советской власти Украина из страны натурального сельского хозяйства превратилась в передовую страну хлебных культур и могущественной передовой индустрии. Один только украинский завод имени Дзержинского выплавил стали и чугуна в год больше, чем все заводы Польши. Три пятилетки, как три славные исторические победы, выдвинули из народных масс, выростали многочисленные кадры передовых людей во всех решительно областях народного хозяйства.

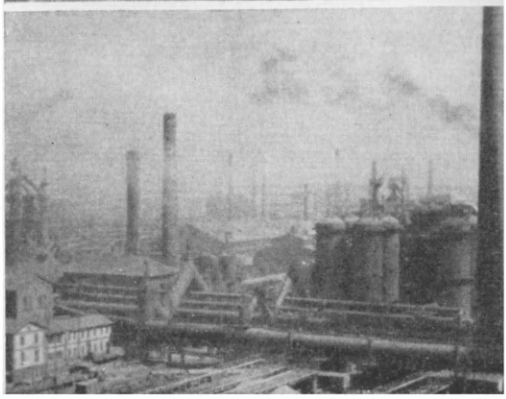
Молодая Советская Украина шла вперед как победительница в самом благородном состязании — в социалистическом труде [...]

Следующая пятилетка подняла бы экономическую и духовную мощь страны до высоты необычайной. Украина была любимой сестрой братских республик. Весь советский народ распевал ее прекрасные песни, и называли ее люди цветущей, солнечной Украиной.

















Старый Львов.

За годы Советской власти произошло величайшее событие в жизни украинского народа. Впервые за всю свою историю воссоединился он в единой державе. Долгие столетия жил украинский народ в Европе расщепленный и раздавленный в силу различных международных конъюнктур. Шесть веков сталкивали его на полях сражений под разными знаменами — австрийскими, венгерскими, польскими...

Но жива душа народная; прошумели столетия, и нашу народную правду подняла наша партия. Исполнилась многовековая мечта украинского народа. Кто это забудет? Разве незабываемое можно забыть? Нет, не забудем никогда.

Вот родной наш Киев. Тысячелетний памятник нашего бытия. Много сложных чувств и воспоминаний в самом дорогом, что только есть у человека — о сердце родины, о жизни и бессмертии народа,— возникают в наших сердцах. Древний Киев стоит перед нами, как клич истории, зовущий сынов своих на подвиги необычайные.

Не для вражды, не для убийств и разорений растила вас партия, дорогие юноши и девушки. Она готовила из вас строителей великой социалистической державы, участников прекрасной эпохи великих работ. Вы росли мужественными и добрыми от своей доброй, украинской, мягкой природы. Вы были в творческой работе, и все ваши необъятные поля уже начали петь песню вашему вдохновению. Но недолго улыбалась вам история.

Где вы сейчас? Сколько вас в фашистской неволе оплакивает судьбу свою? Сколько погибло? Лет через пятнадцать вы неузнаваемо преобразили бы свою землю, посадили бы сто миллионов фруктовых деревьев, преобразили бы пейзаж и даже климат, и жили бы в саду, прославленные своими художниками, воспетые поэтами.

Нам все жити, жити, не вмирати.
Зерно сеять, зацвітати знов.
Добре щастя нам дано багате —
То велике щастя наше, мати,
То вітчизна, як свята любов.

Как рассказать об этом? Где взять слова, чтобы выразить ненависть нашу к фашизму? Фашизм обрушился на нас с чудовищной силой и жестокостью, которой нет ни меры, ни названия. Все бледнеет перед происшедшим — все сравнения, аналогии, все гиперболы.

Украина в огне!

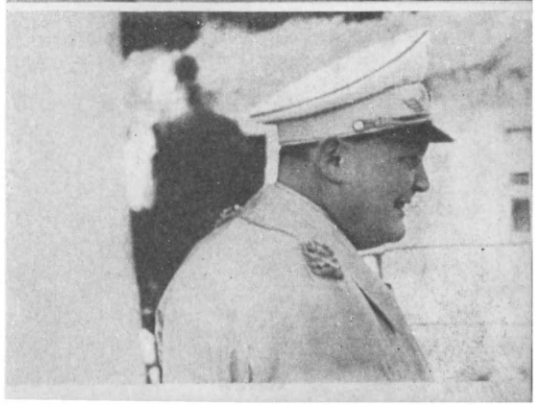
На широких просторах запылали наши города и села, словно невиданные жертвенники, освещающие великую трагедию современности. Черный дым поднялся над нашей землей к самому небу, как грозный клич к мести,— кто его забудет? Кто забудет, как горели наши поля, как разрывались люди железом и как трупный смрад повис над нашей землей.

Вот они, мертвецы, ползают по нашей земле, стучатся в двери, в окна, в душу. Сам обер-бандит Геринг бродит по Украине, ищет счастья на нашей земле. Вот он лезет в хату. Влез.

















Уходили на Восток украинские люди. Угоняли стада. Увозили машины, взрывали электростанции, мосты и заводы, фабрики.

Героически защищались города: Киев, Харьков, Одесса. Чуть не половина всей румынской армии нашла свою гибель под Одессой, но под давлением вражеских сил мы отступили. Отступление прикрывал крейсер «Червона Україна».

С тяжелым чувством отходили защитники Родины, уносили на Восток самое дорогое — оружие и веру в победу.

Упала осень. Пошли дожди. Степи гневом засеялись, проклятьями и стонами. И слышали люди по ночам, как стонала от горя земля и плакали вдовы.

Не по гитлеровскому закону суждено управлять жизнью народов. На защиту прав человечества поднялся весь вооруженный многонациональный советский народ. Ничего не пожалел для победы — ни богатств, ни трудов, ни страданий, ни дорогих человеческих жизней. Выдержала нерушимая дружба советских народов, выдержал подлинно народный характер советского строя и беспредельная любовь народа к своей партии Ленина.

Вот Урал — арсенал победы. Подлинное чудо современности. Здесь все основные технические силы Страны Советов. Сюда, к русским братьям, пришло всё, что было лучшего, могучего на Украине, всё ушло сюда со своими заводами. Подлинные чудеса героизма, мужества и преданности Родине ждут еще своих поэтов и историков.

Рабочие, инженеры, академики. Герой Социалистического Труда академик Патон[2]. В каждом сердце одна-единственная страсть: «Никогда не жить гитлеровцам на Украине, никогда!»

За Родину!

Этот грозный всенародный клич, сопровождаемый невиданной силой жесточайшего огня, металла, исполинских взрывов гнева и ненависти, несокрушимой воли народа к победе, труда, упорства, безотказной щедрости к трудностям, невзгодам, лишениям, ранам и крови, долго будут помнить враги человечества. Не забыть уже никогда ни русских степей, ни заснеженных кладбищ своих, ни трупов своих в Сталинграде [...]

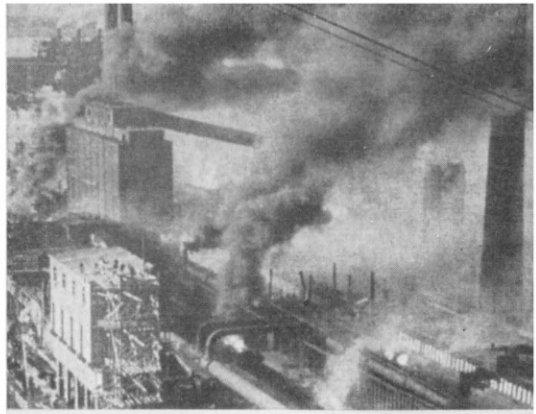
Долгая суровая была зима, но тронулся лед, забушевали весенние потоки.

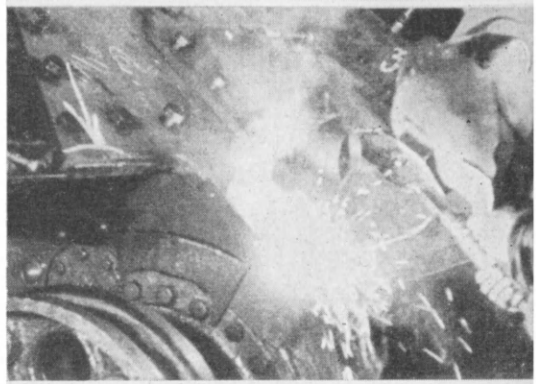
Красная Армия прогнала врага на Запад и вступила снова на родную Украину.

Ворошиловоградская область.

Отшумели радостные встречи.

Поплакали люди над дорогими утратами, и по всесильному закону бытия привязанные тысячелетиями к земле своей вышли в поле сеятели и начали сеять без веселых, правда, тракторов и тракторных могучих плугов, без коней... Одними коровками взялись под грохот орудий за родную землю, политую кровью, среди вражеских танков, кладбищ и ям.

















Летом тысяча девятьсот сорок третьего года двинулся весь украинский Восток. Закаленные в исторических битвах, доблестные войска Юго-Западного, Южного, Воронежского и Степного фронтов двинулись в наступление на Донбасс, Харьковщину, Сумщину. Родная украинская земля словно умножила гнев и силу боевого натиска сынов и братьев своих.

Благословленные и приветствуемые освобожденным народом, гвардейцы словно забыли пройденные просторы, усталость, жертвы и бросались в танковые атаки с яростью львов, и никогда, может быть, бессмертие народа не ощущалось в жизни с такой силой, как среди этого грома пожаров и множества свежих могил. Тут гремела, падала и плакала сама, казалось, история, густо замешанная кровью, слезами, проклятиями и безвозвратными потерями.

«Нашла я его на третий день в бурьяне. Я не видела, как его убили, только искала три дня его. Нашла. И голова разбита, и спина разбита, и бок разбит. Не дали, проклятые, век дожить нам. Я его взяла, попросила людей, кое-как привезли его на кладбище. Это и все. Домой не взяли, потому что он замерз».

«Взяли проклятые моего сыночка Ваню. Они в него стреляли: и в глаза и в бок — две дырки, грудь разрезали. За что же они, проклятые, так издевались над ним?»

«Шел мой сыночек с той стороны по дороге. Шел проклятый фашист и поразил его в голову, ударил его в голову. Он два раза пошатнулся и упал. Я тогда подошла к нему, хотела его поднять, не могла — у меня, значить, не хватило нервов его взять домой. Пошла попросила соседку: «Идем, моего сыночку поднимем, который пропал через фашиста проклятого». И принесли его домой, посмотрела на него, хотела поднять его, взяла — он в крови большой — и думаю, за что ребенок пострадал, мой дорогой сыночек, за что ты пострадал от врага. Разве ты заслужил? За что ты погиб?».

«У меня проклятый немец око правое выбил. Теперь я не вижу. Из-за чего я страдаю? Из-за проклятого немца я страдаю».

Много кровавых драм творилось за этими подсолнечниками и маками. Но не успели догореть пожары, не успели люди, казалось, выплакать свои слезы, как уже все, что было живого и здорового, все вышло в поля.

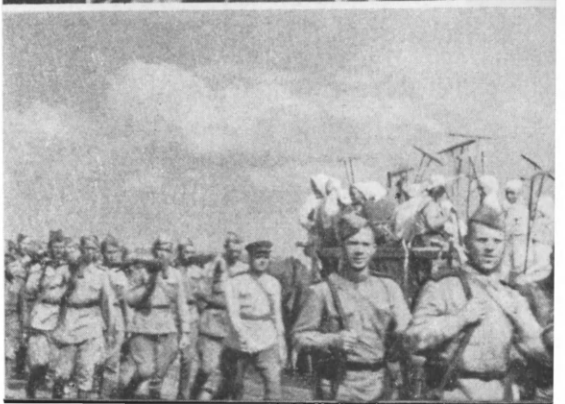
Пройдут годы. Забудется фашистская мерзость, сравняются с землей и зарастут проклятые их собачьи могилы. Много будет жнив, много песен на этих полях, но таких жнив, как в лето сорок третьего года не будет никогда. Они останутся только в песнях и думах народа.

Перенесемся на правый берег Днепра, на Волынь.

















Вот живые символы народного бедствия. Это не похоже на действительность, но это правда. Это жители села Рудни Хечинской в поте лица тянут борону по обездоленной земле своей.

Вот пахарь, отброшенный фашизмом на целое столетие назад, ползает по нивке с убогим лукошком. Вот его дети в лесах. Вот жена.

Вот его братья — защитники и мстители, украинские партизаны.

Много бесстрашных, беззаветных героев видели правобережные леса, но самым знаменитым из всех считается Сидор Артемьевич Ковпак [3] — старый партизан с восемнадцатого года. Тысячи оккупантов прокляли свою жизнь за одну-единственную встречу с Ковпаком. Добрая слава про старого пошла по всей Украине, партизаны сходятся к нему из всех лесов.

Вот уже не просто Ковпак, а Герой Советского Союза генерал Сидор Артемьевич Ковпак объясняет план операций на партизанском съезде [4].

Вот Федоров — Орленко-Черниговский [5]. Вот любимый всеми славный партизан Руднев [6], начальник штаба Ковпака, народный герой.

Вот Демьян Коротченко [7], второй секретарь ЦК партии Украины.

Разошлись партизанские отряды по всему Правобережью. Увозили раненых в боях, строили переправы, переходили реки, болота.

Если останутся живы — немногих узнают знакомые и родные. Черты сурового мужества наложила история на добрые народные лица. Закалились характеры, ожесточились души от созерцания народного горя [...]

Смерть за смерть! Кровь за кровь! За кандалы, за слезы, за унижение, за страдания народа!

Вот два колхозника, спасенные партизанами из немецкого застенка.

Чехословацкие офицеры переходят на сторону партизан. Солдаты уже перешли. Сейчас они встретятся. Командир партизанского отряда Герой Советского Союза генерал Сабуров [8] принимает офицеров.

Нет, не нашли себе счастья на Украине фашистские выродки. Не хлеб, а граната, не песня, а грозный клич борьбы не на жизнь, а на смерть, не покорность, а всенародная неугасимая ненависть...

«Десятки тысяч трупов, вагонов оружия, снаряжения... Множество мостов, складов уничтожили партизаны Украины. Мы, потомки славных запорожских казаков, никогда, никогда и ни за что не сложим оружия перед подлым презренным врагом»,— говорит на Всеславянском митинге знаменитый партизан-диверсант, герой Яремчук [9].

«Горит, пылает украинская земля под ногами гитлеровских бандитов. Только фашистской кровью погасим мы этот огонь, чтобы на веки вечные очистилась наша земля от фашистской погани. Смерть немецким оккупантам!»

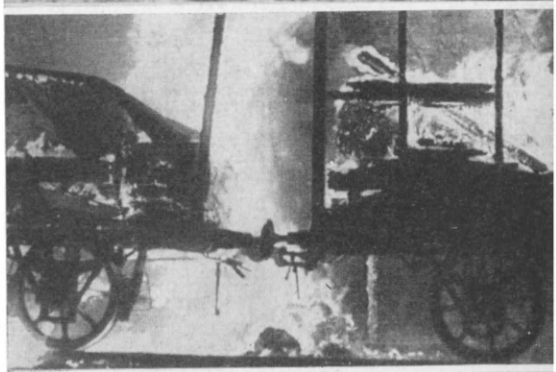
Уходили партизаны в путь-дорогу.

Вспоминали боевые свои дела и славных товарищей своих, погибших за освобождение.

Ушли партизаны навстречу родной своей армии, и одинокая луна освещала притихшие хаты, и лес, и широко раскрытую алчную пасть тупого немецкого фашиста.

















Перед началом своего летнего наступления на Белгородско-Курском направлении немцы сосредоточили в этом районе восемнадцать отборных дивизий. Наступление началось пятого июня. Бросая войска в новую авантюру, Гитлер уверял их, что это последнее сражение [...]

Ценой огромных потерь в живой силе и технике противнику за двенадцать дней наступления удалось лишь немного вклиниться в нашу оборону. Но каждый километр, пройденный врагом, был завален трупами его солдат и офицеров и трудами разбитой техники.

Тогда, сколотив сильную танковую группу, враг бросил ее в направлении Прохоровки. Разыгралась крупнейшая в истории войн битва.

Гитлеровцы снова были разбиты. Войска Воронежского фронта под командованием генерала армии Ватутина к 23 июля полностью восстановили положение, занимаемое ими до начала немецкого наступления, и третьего августа сами перешли в наступление. Прорвав сильно укрепленную оборонительную полосу врага, войска Воронежского и Степного фронтов с боями заняли Ахтырку, Богодухов, Золочев, Чугуев, Змиев и подошли к Харькову. Немцы оказывали бешеное сопротивление. Но двадцать второго августа войска Степного фронта при активном содействии войск Воронежского фронта после многодневных боев прорвали фронт обороны врага в направлении Люботин — Коротич — Тарановка и зажали Харьков в железное полукольцо. Началась битва за Харьков.

Первым ворвался на окраину города отважный командир гвардейского полка 93-й дивизии майор Григорий Рудик. Обнажите головы, современники эпохи! Разнесите по всему миру славу сына украинского народа! Пусть все человечество знает и пусть знают все, какие только будут жить в поколениях Рудики, как умирал их молодой прапрадед в тысяча девятьсот сорок третьем году.

Прощайте, воин! Примите нашу любовь и дружбу на вечные времена! По противнику огонь!

Когда после долгих жестоких боев войска Степного фронта штурмом ворвались на окраины города, враг не выдержал натиска.

Вечерело. К городу подходили новые силы. Перекликались гвардейские полки.

— Щорс?

— Щорс погиб за освобождение Украины.

— Богун?

— Погиб за освобождение Украины.

— Гайдамак?

— Я.

— Кравченко?

— Я.

— Доценко?

— Я.

— Яковенко?

— Я.

— Базанов?

— Я.

— Руданин?

— Я.

— Васиков?

— Я.

— Смирно! Командиры взводов, развести взводы по местам.

















Тяжелая картина раскрылась перед освободителями Харькова. Мертвые улицы с мертвыми домами. Обуглившиеся стены, зияющие дыры сгоревших окон и дверей. Убитые люди. Разграбленные, сгоревшие музеи. На месте гигантских заводов — руины и пожарища.

Сколько преступлений совершили гитлеровцы в этом городе, и каких преступлений, этого рассказать невозможно.

Вот Харьковский университет.

Это не нищие бродяги среди руин. Это профессор университета и его ассистент среди научных своих работ, преданных огню. Здесь были расстреляны доктор математических наук Эфрос, научный сотрудник обсерватории Страшный, доктор Рахманинов с женой... Умерли от голода профессора Павлов, Раздольский, Лукьянович, Елиневский.

Вот жилище умершего от голода профессора Дыбского.

Вот его дочь и студенты, которым посчастливилось уцелеть.

«Я, профессор Харьковского университета Лев Петрович Николаев — доктор медицинских наук, действительный член нескольких научных, иностранных и советских обществ. С осени 1941 года на протяжении двадцати двух месяцев я находился в плену у фашистских захватчиков. В апреле 1943 года эсэсовцы жестоко били меня и однажды, в парке имени Шевченко, они заставили меня копать могилу. В это время в Харькове был жестокий голод. По моему истощенному виду вы видите, какие муки голода я выдержал.

Я заснят на фоне химического корпуса медицинского института, прекрасного дома, который гитлеровцы взорвали. Вот какое было отношение фашистов к науке и к ученым на Украине».

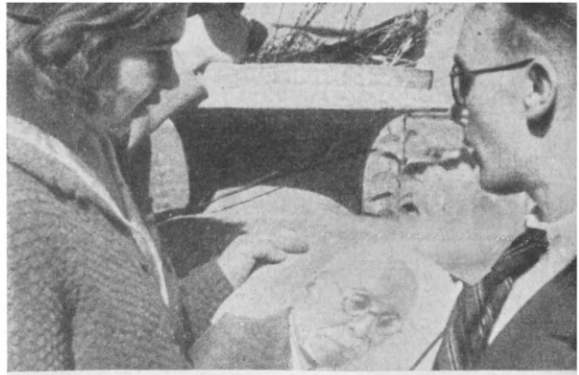
Вот руины военного госпиталя. Здесь фашисты расстреляли и сожгли более четырехсот раненых наших бойцов и командиров, оставленных при отступлении.

«Я, доктор Шингеладзе, хочу, чтобы все человечество, весь мир, знали бы о том страшном преступлении, которое совершили здесь гитлеровские злодеи 13 марта 1943 года. На месте этих сгоревших руин стоял двухэтажный корпус 1-го армейского госпиталя, в котором находилось около четырехсот тяжелораненых бойцов и командиров Красной Армии».

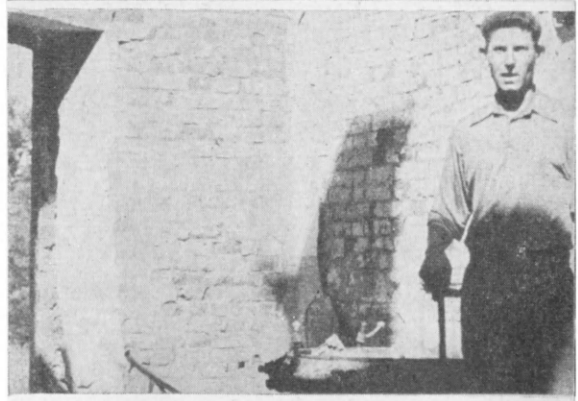
«Я, гвардии старший сержант Коровкин Павел Андреевич, раненый, лежал в этом корпусе. Вот моя койка, где я лежал. Меня спасла Лидия Петровна Демочкина, а остальные товарищи, командиры и бойцы, которые со мной лежали,— вот перед моими глазами лежат обгоревшие трупы».

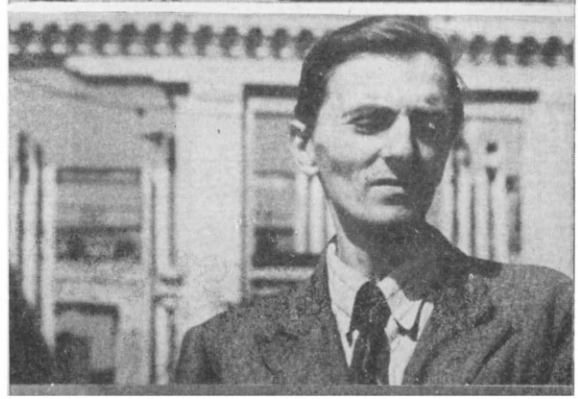
«Вот братская могила. Здесь расстреляли фашисты четырнадцать тысяч граждан города. Смотрите, живые, не отворачивайтесь от страшных наших ям. Нас нельзя ни забыть, ни замолчать. Нас много. Нас великое множество на Украине! Не забудьте нас! Отомстите [...] за наши муки!

На этих балконах висели мы неделями в грозную зиму сорок второго года. Вот наши виселицы» [...]

















«Вот он пылает, родной наш Харьков,— свидетельствует комсомолка Мария Пидченко.— Здесь я сидела в гестапо. Сильно меня били, выбили зубы, рвали волосы.

Страшно вспомнить. Угрожали повесить. Тот, кто видел, сколько нас висело в Харькове повешенных, сколько было расстреляно, сколько замучено, перемерло от голода молодых, старых и малых детей,— тот никогда не забудет и не простит трижды проклятым палачам Германии. Чтоб они пропали вместе со своими палачами.

Скоро час расплаты».

Но миновало горе, и все, что осталось живого, здорового, способного жить и бороться, все вышло на улицу со знаменами и портретами дорогих людей, на радостную встречу своей родной Красной Армии.

Много отважных сынов украинского народа прославили свою землю на всех фронтах: Степан Супрун, Кольчак, Тимофей Шашло, Бринько, Гуманенко, Харченко, Платон Ткаченко, Перепелица, Ридный, Мотуз Иван, Демченко, Середа, Дранко, Рощенко, Иван Козий, Харченко, Витрук, Кадученко, Коваленко, Заболотный, Пидтыканный, Молодчий, генерал Кириченко, Бондаренко, Григорий Куропятников, Федор Поночевный, Борис Лях.

Генерал Руденко.

Знаменитые братья Глинки — Дмитрий и Борис.

Генерал Кравченко — герой Сталинграда.

Подопригора — артиллерист и громовержец, и множество других чудесных наших людей.

И Герой Советского Союза Билик, так восхитивший дядька Шамриху, что он забыл, казалось, все на свете. И, принимая дорогих гостей своих, героев — защитников Родины, вспомнил и свою молодость, когда он, артиллерист Олексий Манилович Шамриха, грозный враг врагов Отечества, уничтожал проклятых и в четвертом, и в пятнадцатом и в шестнадцатом годах.

А какие были боевые товарищи! А какой он сам был товарищ! Словом, падали враги за каждой чаркой десятками, сотнями.

С жестокими боями ворвались войска генерала Рокоссовского на Черниговщину, заняли Глухов, старую гетманскую столицу. Пришел и на нашу улицу праздник. С журбою радость обнялась!

Глуховские партизаны, народ, армия.

Конотоп на Черниговщине. Тихий чудесный городок! Смотрите — весь в садах, в хлебах, с хорошими, ласковыми людьми. Где они? Почему их не видно? Сколько их погибло в Конотопе, в Сумах, в Новгороде-Северском, Кременчуге, на руинах Чернигова. Не осталось ни одного целого города, ни одной станции.

Вот Артемовск на Донбассе. Он похож на все другие города. Бесконечные кладбища фашистской падшей солдатни, и всюду горящий наш хлеб.

Краматорск. Город знаменитых заводов. Здесь фашисты мучили наших рабочих и сами пропали в огромном количестве, оставив в назидание потомкам целые поля кладбищ.

















Генерал Толбухин и генерал Гуров принимают «парад» немецких войск. Да здравствует Победа! [...]

Вот Барвенково, знаменитое кровопролитными боями. Страшные злодеяния творились на широких барвенковских просторах.

Шахта Серго. Здесь палачи Гитлера погубили много молодых рабочих. Подстреленных бросали в глухую шахту. Но мертвые подымаются уже из страшных своих ям.

Какими придут народы к торжественному столу победы, трудно судить. Много еще боев впереди, много пожаров. Но одно уже ясно. Украинский народ придет со следами тягчайших лишений [...]

Эта хроника — одна лишь страница великой трагической книги народа. Но и в века уже мы, обагренные кровью, завещаем то, что несем в сердцах своих сегодня,— ненависть, презрение, беспощадную месть проклятым врагам, разорителям нашей страны, чтобы не осталось неотомщенной ни одна материнская слеза, чтобы на тысячу лет прокляли враги день, когда посягнули они на жизнь и свободу наших народов.

Бейтесь же, воины великой Советской земли! Сокрушайте врага, уничтожайте, гоните его!

Здравствуй, Днепр! Великая славянская река! Много слез и крови отнес ты в Черное море детей наших. Мутная твоя вода!..

Вперед, Украины сыны и братья-воины! Слава вам!

Мы существуем уже как победители в этой гигантской борьбе.

Это наша история.

Наша жизнь и бессмертие.

ПОБЕДА НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ И ИЗГНАНИЕ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНСКИХ СОВЕТСКИХ ЗЕМЕЛЬ

Историческая хроника великих пламенных лет Красной Армии тысяча девятьсот сорок третьего и сорок четвертого, показавших миру в беспримерных битвах мужество воинов, военный гений полководцев и неисчерпаемую волю советских народов к победе над фашизмом во имя свободы человечества.

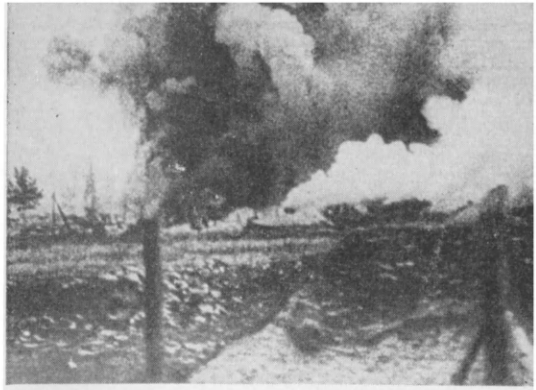
Воздержимся от показа ужасающего в этой картине.

Не будем отягчать свою душу созерцанием смерти. Помолчим о фашистских бесчисленных и беспримерных зверствах, о скорби матерей, о вопиющих ранах замученных советских детей, об угнанных в неволю миллионах, о каждой четвертой украинской опаленной хате и о бесчисленных руинах городов.

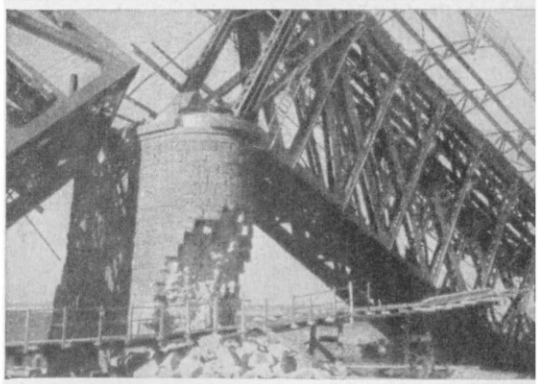
Предоставим человечеству одну только ничтожнейшую долю запечатленных злодеяний.

Пусть увидят потомки, если дойдет до них эта пленка через столетия, как презирали фашисты в середине двадцатого века человеческий труд, как ненавидели они благополучие, достоинство и честь нашего народа. Это снимали не мы. Это кинооператоры-враги увековечили злодеяния своего озверевшего поколения на нашей многострадальной земле.

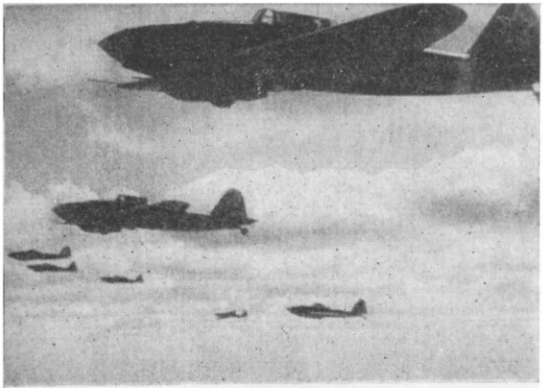
Вот они уползают за Днепр — нищие духом гитлеровские нибелунги.

















Взрывают заводы, кварталы, станции. Уничтожают, рвут окрестности Киева. Горит разбитая Дарница, разгромленная бомбами Никольская слободка, Труханов остров [...]

Битый Гитлер вопит о «линии Днепра». Преступнику страшно. Потеря Днепра — потеря Украины! Потеря Украины — гибель Германии! Он приказывает любой ценой удержать Правобережье. Они перебрасывают на Днепр дивизии из Франции. Он уже «спасает европейскую цивилизацию», а не просто спасается.

Алярм! Красная Армия у Днепра! Грозный враг врагов человечества — Красная Армия приближалась к Днепру. Осенью тысяча девятьсот сорок третьего года все днепровское побережье пришло в движение.

По приказу Верховного Главнокомандования Красной Армии все четыре украинских фронта — от самого Полесья до Запорожских плавней — неудержимым железным потоком устремились на Запад. Во всеоружии военного опыта, отточенного под Воронежем, Белгородом, Харьковом, на Дону и множеством других блистательных сражений, вышли советские армии на Днепр и с поразительной быстротой и внезапностью форсировали его в районах у Переяслава-Хмельницкого, юго-восточнее Кременчуга и севернее Киева, под Вышгородом.

Разгорелась великая битва за Днепр — битва, которая войдет в историю войн, как событие исключительное, как чудо на Днепре. Тут проявили себя во всей силе единства и мудрая мысль полководцев, и доблесть солдат.

Тысячелетие славянство на Днепре благословляло подвиги потомков, и увидевшие впервые страшный суд святые Киевской разрушенной фашистами Печерской лавры глядели со своих золотых обломков на темную воду великой славянской реки. Были темные героические ночи, полные военных чудес [...]

Ненависть воюющих была так велика, огромные массы воинов так страстно жаждали гибели врага, освободителям Родины так хотелось победы, что смерть порой как бы отказывалась принимать погибавших, и тогда бойцы выходили живыми из самых, казалось, глубин ада и, оглядываясь в изумлении на смертные свои пути, поражали окружающих беспримерной своей силой.

Первые бои на правом берегу Днепра начались за расширение Букринского плацдарма против города Переяслава-Хмельницкого. Здесь генерал армии Ватутин впервые переправил через Днепр крупные танковые соединения генералов Рыбалко и Кравченко.

Под прикрытием нескольких тысяч орудий всех калибров обрушились они на главные вражеские силы.

Но немцы спешно подтянули из районов Киева и Знаменки крупные соединения танков и пехоты. Завязались ожесточенные бои с переменным успехом.

В это время войска Второго Украинского фронта под командованием генерала армии Конева нанесли могучий удар по врагу в направлении Кривого Рога и овладели крупным железнодорожным узлом Пятихатка.

















Вслед за этим войска Третьего фронта под командованием генерала Малиновского освободили мощные города Приднепровья — Днепродзержинск и Днепропетровск.

Это была первая крупная победа наших войск в битве за Днепр, и хотя горели города, хотя были уничтожены врагом заводы-гиганты, и мосты были взорваны, и немцы бросались здесь в жесточайшие контратаки из районов Знаменки и Кривого Рога, и даже добились временного равновесия,— плацдарм был завоеван. Словно гигантский меч он рассек пополам немецкую оборону на Правобережье [...]

В самый разгар криворожских сражений генерал Толбухин поднял весь украинский юг. Двинув Четвертый свой фронт в наступление, он к третьему ноября отрезал Крым. Между тем командование Первого фронта, видя, что бои за расширение Букринского плацдарма особенного успеха не имеют, скрытно перебрасывает основные танковые силы под Вышгород, где происходило накапливание сил и строились понтонные мосты и переправы.

Пройдя незаметно для врага больше ста километров, танковая гвардия генералов Кравченко и Рыбалко внезапно появляется под Вышгородом. Третьего ноября войска Ватутина переходят в наступление в обход Киева, на Фастов. На немецкие укрепления обрушился артиллерийский вал такой ураганной силы, которого враги, по собственному признанию, еще не знали. Сокрушительная огневая мощь буквально вдавила противника в землю.

В образовавшуюся пробоину хлынули танки генералов Рыбалко и Кравченко, а за ними пехота Москаленко и Черняховского.

На рассвете шестого ноября, в канун великого праздника, древний Киев, город — символ нерасторжимого нашего единства — предстал перед бойцами в трагической грозной своей славе.

Бегут стаи палачей и поджигателей. Исчезает фашистская чума.

Вот уже первые спасители врываются в город. Первые вестники освобождения.

Но почему нет встреч? Где народ? Где радостные толпы веселых киевлян? Нет киевлян. Горький чад пожаров носится вихрями по пустынным улицам и площадям.

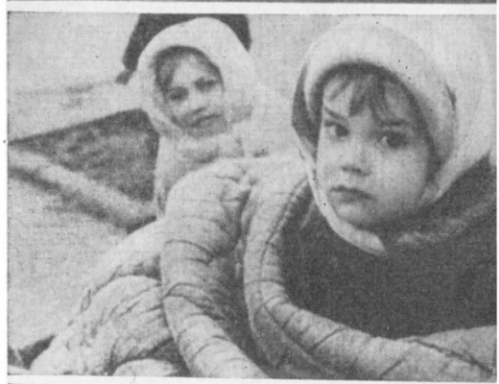
На историческом костре Богдан взметнул высоко булавою [1]. Поспешайте, потомки! Народ в плену! Догоняйте врага! Мстите! И вражью злою кровью волю окропите [2]!

Но вот загремели по бульвару Шевченко танкисты Кравченко.

Вот и киевляне. Какие непышные встречи в дыму. Как во сне. Как мало их. Как неторжественны они. Никто не узнавал киевлян в этот день, да и сами они перестали себя узнавать, так изменило их лихолетье. Два года фашистской неволи, как два столетия прожитых за пределами человеческого, в ограбленном городе наложили тяжелую печать на их души.

Двести тысяч граждан города расстреляно, замучено, повешено, отравлено в душегубках. Двести тытяч. Остальные увезены, угнаны, прячутся в лесах [...]

















В одном только Бабьем Яру[3] палачи расстреляли свыше ста тысяч несчастных граждан. Грудных детей закапывали живыми в землю с убитыми матерями, и видно было, как шевелилась земля, как содрогалась она от движения живых людей.

Здесь плакали, кричали, проклинали, прощались навеки.

Здесь малые дети видели такие картины, каких не знало воображение великого Данте, написавшего «Ад».

Пусть никогда не забудет Киев этих юношей—героев Днепра! Пусть в добром течении добрых времен пропоют им поэты славу в столетия, как поднимались они со всех концов Советского Союза на Владимира холм, как червонили кровью белые пески древних родных берегов!

«От красноармейцев, офицеров, генералов частей Красной Армии передаю Вам пламенный привет и сердечные поздравления, товарищи! С историческим разгромом немецких оккупантов в районе Киева и с освобождением столицы Украины — города Киева. Такое поражение, которое немцы потерпели в районе города Киева, они, товарищи, никогда не ожидали. Пусть враги помнят и никогда не забывают, что наш великий советский народ сейчас сплотился на борьбу, как никогда! Мы будем бить противника до тех пор, пока не добьемся окончательной победы. Пусть, товарищи, здравствует наш советский народ. Слава! Слава нашему советскому народу!» *

---

* Митинг в освобожденном Киеве. Говорит маршал Г. К. Жуков.

«Многим дивизиям и полкам, освободившим город Киев, присвоено славное имя Киевских. Великая честь и слава освободителям города Киева, Киевским полкам и дивизиям! Позвольте, мне, товарищи, как командующему фронтом, заверить вас, что славные Киевские дивизии и полки достойно понесут это почетное имя вперед, на запад, до полного разгрома врага!» *

Разбитые под Киевом немцы бегут, боясь окружения.

Войска генерала Ватутина развивают удар на Фастов.

К этому времени немцы перебросили с юга восемь танковых дивизий и двенадцатого ноября ринулись в контрнаступление на Фастов.

Однако наши войска отбили удар и заняли Житомир и Коростень.

Над всеми фашистскими силами правого берега нависла угроза. Гитлеровское командование стремится любой ценой вернуть Житомир и Коростень. Оно бросает в контратаки крупные резервные силы. Ценой больших потерь им удается снова занять Житомир и Коростень и подойти к Брусилову.

Но дальше они продвинуться уже не могли. В бой вступили танковые армии генералов Рыбалко и Богданова. Как о железную стену разбились о них нападавшие. Истощив врага, двадцать четвертого декабря армии сами перешли в наступление. Битва за Днепр была выиграна.

---

* Митинг в освобожденном Киеве. Говорит генерал Н. Ф. Ватутин.

















Была пробита громадная брешь во всей немецкой обороне на Правобережной Украине. Красная Армия расколола немецкую стену и грозно повисла над немецкими силами южного участка фронта. Здесь было девятнадцать одних только танковых дивизиий из двадцати шести всех танковых сил врага на Восточном фронте. Наступило решающее время. В конце декабря разворачиваются действия всех украинских фронтов.

Первыми наносят основной удар на Казатин — Винницу войска Ватутина и на Кировоград — войска Конева [...]

Во время этих боев левое крыло Первого Украинского фронта во взаимодействии с правым крылом Второго, окружили крупную группировку врага в районе Корсунь-Шевченковский.

Видно, здорово не хотелось гитлеровцам отрываться от Днепра. Несмотря на безнадежную обстановку, немецкое командование не оставляло надежды вернуть себе Правобережную Украину и выйти снова к Днепру.

Создав мощную цепь оборонительных сооружений, десять дивизий противника вкапываются в землю. Вкопались. По особому приказу Гитлера откармливаются на убой. Мясо, сало, яйца, бутерброды, по три порции шнапса на покойника. Восемьдесят тысяч ртов чавкали вовсю. Через неделю, когда половина их будет убита, Гитлер прикажет живым добивать и жечь своих раненых и самим стреляться, и они будут стреляться от ужаса [...]

В надежде на помощь гитлеровцы сражались с железным упорством. И помощь действительно шла. Прекратив атаки восточнее Винницы, фашисты бросили под Звенигородкой и Лысянкой пятьсот танков на прорыв к окруженным.

Но генерал Конев отбил атаки, уничтожив двадцать семь тысяч фашистских солдат и офицеров.

Напрасно Гитлер угрожал своим генералам. Напрасно приказывал по радио всем попавшим в котел стреляться. Напрасно выдавал окруженным по три порции шнапса. Ничто не спасло окруженных. Как бешеные звери метались они в стальном заднепровском кольце.

За несколько дней до финала загулял над полями побоищ буран. Замело овраги, степи, дороги. Всю ночь слышался в метели грохот орудий у села Шандеровки...

А на пятнадцатое утро, когда буран вдруг утих и замолкли орудия, вышли из хаты, надо полагать, после хорошей беседы, любимые всем народом маршал Жуков, генералы Ватутин, Конев, Москаленко, Трофименко, Рыбалко, Ротмистров — весь славный штаб организаторов и выполнителей великой заднепровской победы [...]

И перед ними в полной тишине, под белым саваном восточного жизненного пространства лежало семьдесят девять тысяч мертвых врагов [...] Лежал на снегу и их генерал Штеммерман... Да, восемнадцать тысяч оглушенных пленных лепетали заученную стереотипную истину — Гитлер капут, Гитлер, капут, Гитлер капут!











В начале марта началось знаменитое весеннее наступление трех украинских фронтов [...]

Главные силы Первого Украинского фронта были переброшены из района Казатин в район Шепетовки. Отсюда четвертого марта последовал удар строго на юг, на главную железнодорожную коммуникацию немцев Тарнополь — Проскуров.

Шестого числа последовал колоссальной силы удар маршала Конева на Умань. Здесь немцы хотели приостановить наше движение.

Но танкисты маршала Ротмистрова обрушились на Умань с такой стремительной силой, что смятые, ошеломленные враги бросили всю свою технику и в панике ринулись бежать. Двадцать тысяч врагов усеяли трупами уманские степи. Весь фашистский зверинец — пантеры, тигры, пятьсот танков, множество орудий остались на уманских шляхах.

Разгромив оборону врага, Второй Украинский фронт двинулся к румынской границе, на Прут. Видя угрозу нового котла, враг бежит из района Винницы в направлении Каменец-Подольск — Ярмолинцы.

Тогда основные силы Первого фронта прорывают оборону врага между Тернополем и Волочиском и, двигаясь прямо на юг, захватывают Залещики, Черновицы, Каменец-Подольск. Путь на запад всей проскуровской группировке немцев отрезан.

В это время части Второго фронта, наступавшие вдоль Днестра на Хотин, отрезали пути в Румынию и сомкнули кольцо.

Четырнадцать фашистских дивизий разгромлено в этом кольце и только незначительным остаткам удалось ускользнуть, бросив на месте разгрома всю технику.

Второй Украинский фронт вышел на Прут, на границы Румынии.

Шестого марта Третий Украинский фронт под командованием генерала армии Малиновского нанес противнику удар в направлении на Новый Буг и прорвал оборону. В прорыв пошла конница Плиева. Освободив Новый Буг, конница и танковые соединения двинулись на Николаев.

Вслед за этим облетает весть о новой победе.

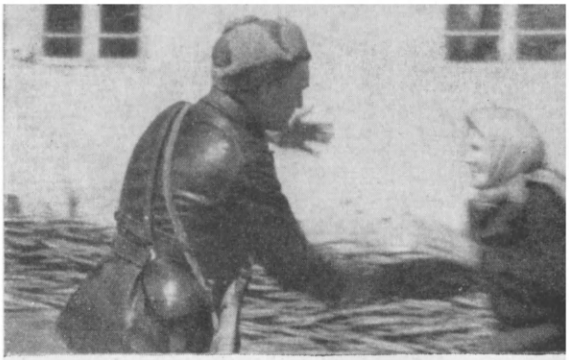
Руководимые указаниями уполномоченного Ставки Верховного Главнокомандования маршала Василевского, войска генерала Малиновского окружили основные силы шестой армии немцев юго-восточнее Нового Буга и разгромили их.

Только четырнадцать тысяч недобитых врагов остались в плену. Освободившись в панике от бремени подлого своего оружия, они потеряли заводную прусскую походку на чужом черноземе и плелись кое-как и заговорили что-то по-другому и даже руки подняли по-новому. Смерть Гитлеру!

Тринадцатого апреля — праздник освобождения пришел на улицы Одессы.

Вышли непокоренные советские люди из темноты одесских катакомб. Слава! Слава освободителям Родины! Слава героической Красной Армии! — долго гремело на площадях Одессы.

Это произошло весной 1944 года.

















Если окинуть глазом весь непередаваемый никакой картиной простор титанических сражений в эту весну, если глянуть на эти дороги, где творилось непостижимой трудности дело победы над врагами человечества, и если счесть все непоправимые потери врага в эту весну,— вывод незыблемый и ясный: Красная Армия одержала здесь победы всемирно-исторического и вечного значения [...]

Ничто, ни огромные силы и упорство врагов, ни стихия не остановили ее. Весна была неслыханная. Природа словно сама вступила в мировую войну. Бушевали запоздалые снежные бураны. Ломался лед. Проливные дожди воевали со снегом. Степи и дороги превращались в топкие и вязкие болота. И снова снег и метель, и снова заносы, немыслимые ни для каких наступлений,— все вынесли. Там, где не брали моторы, выносили советские руки, выносили плечи, выносил народный гнев.

Из этих политых дождями, потом и кровью колхозных полей прогремели раскаты исторических громов на весь мир. Здесь было бито «сезонное» военное искусство фашистов всесильным искусством советских полководцев.

Здесь вливались в Красную Армию миллионы освобожденных украинских братьев. Прощались, торопясь, с детьми, оплакивали замученных Гитлером сестер, клялись слезами матерей, смертными муками отцов и, приняв оружие Родины, ускоряли шаг — киевские, волынские, подольские, николаевские.

Весна победы на колхозных полях Украины была необычайна и трудна, как и сама победа. Она словно обнажила все раны земли. Не шумели тракторы, не красовались веселые сеялки.

Изрытые траншеями, воронками, усеянные минами, стальными черепами, поля великих битв являли картину суровую, драматическую. Братские республики помогали Украине стадами, машинами. Помогли восстановить тысячу двести машинно-тракторных станций. Но как ни велика была помощь, пахали все же больше конями и коровами, а где не хватало коров, копали лопатами, боронили граблями.

Старые деды обучали серьезных своих внуков благородному ремеслу мастеров земли.

На борьбу за урожай вышли все живые поколения.

Вышел и этот белоголовый, самый любимый и главный, за счастье которого сражаются миллионы отцов. Возвращались из далеких походов украинские партизаны, приносили гордые радостные вести.

Здравствуй, вечно тревожная украинская мать! Принимай дорогих сынов своих!

Здравствуй, батько! Как счастливы мы, что в это великое время шагаем с тобой по земному шару, что отстояли мы нашу советскую землю под знаменем Ленина.

Жизненная сила нашего народа безмерна. Безграничен его оптимизм, трудолюбие и воля к жизни. Одна только Полтавщина строит в этом году пятьдесят тысяч жилищ, тысячи клубов и школ.

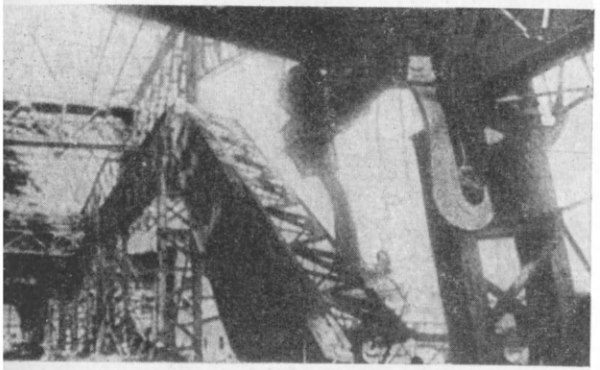


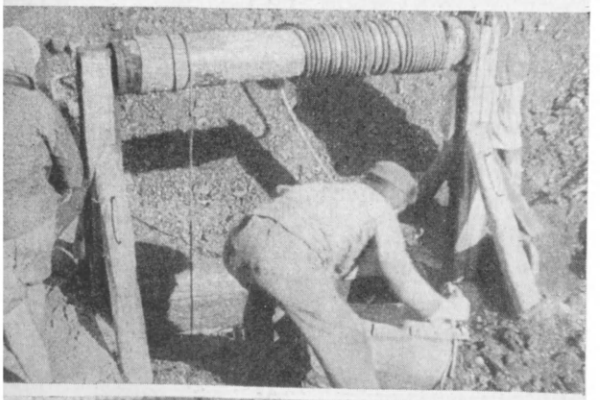














У наших матерей и сестер золотые руки. Пройдет немного лет. Забелеют среди садов тысячи новых приветливых сел.

Исчезнут грандиозные руины израненных наших городов. Восстанет из мертвых Крещатик[4], еще более красивый и пышный. Возведутся мосты на Днепре. Памятники великих людей эпохи станут на площадях и высоких днепровских холмах, держа оружие в бронзовых своих руках и глядя в грядущие века.

Лежали в руинах электростанции, заводы Енакиева, Донецка, Константиновский, Ворошиловский, Днепропетровский, Краматорский, Мариупольский. Разрушен Макеевский металлургический завод-гигант, выплавлявший столько металла, сколько Италия и Польша вместе взятые. Нагромождение взорванного железобетона, горы бесформенного металлошлака, кирпича, куда ни глянет глаз. Казалось, легче построить Донбасс заново, чем залечивать его зияющие раны.

Механизация, которой славился Донбасс, уничтожена врагом. Труд нашего шахтера оказался отброшенным назад на целое полстолетие. Первые бригады восстановителей приносили из дому ведра, веревки, кайла.

Тяжелы были первые ведра угля. Однако люди нашли в себе мужество. В самый разгар жесточайших боев на фронтах, впрягались в самодельные допотопные вóроты. Не пренебрегали ничем — ни воротом, ни ведром, ни даже телегой.

Берегите уголь, граждане!

Советское государство нашло в себе силы для возрождения южной металлургии.

Криворожские рудники, Донбасс, заводы Харькова, Приднепровья, Запорожские, Днепропетровский, Мариупольский — весь огромный фронт индустрии, сбросив фашистское иго, сразу же двинулся в поход.

Трудно найти примеры такого стремления скорее залечить свои раны, каким были охвачены все.

И здесь наша женщина — героиня труда, наша мать, сестра, подруга. Их даже больше, чем мужчин. Они везде. В восстановлении Донбасса, Приднепровья, как и на колхозных полях, на всех решающих участках работы им принадлежит неизмеримая роль. Никогда женщина не входила в историю с такой заслуженной славой, как вошла в нее наша героическая советская женщина.

Все требовало исключительных сил. И горняки Донбасса нашли в себе эту силу. Опираясь на помощь партии и правительства, в невиданно короткий срок развернули работу, достойную своей эпохи.

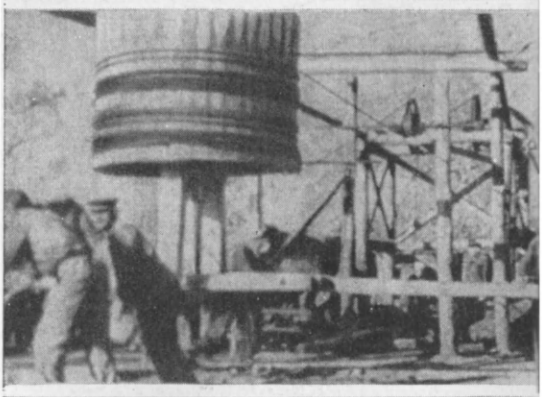
Уголь и кокс пошли по кузницам победы.

Забушевали огни в оживших доменных печах, заискрился металл и не было большей радости, чем радость авторов огня, творцов первых потоков чугуна и стали.

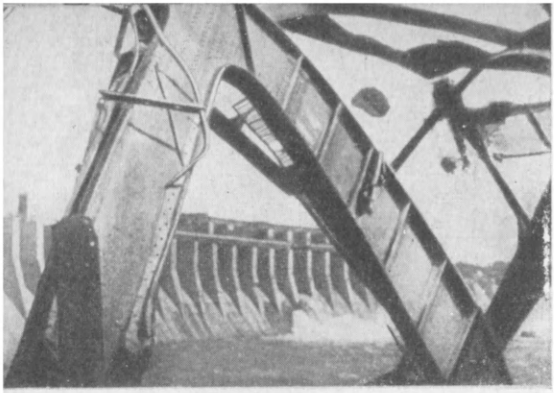
Вот уже движется она на восток, на уральские оборонные заводы. Уже сверкает южная сталь, плавится, куется, отливается в грозные формы орудий и танков, и как закаленная воля народа стремится на запад добивать врага.

















Это время войдет в историю побед, как героическое время, ибо нет ни одного завода, где рабочие и инженеры не творили бы каждый день героические дела. Шаг за шагом, метр за метром отвоевывает народ-победитель заводские площади, отодвигает зону руин [...]

Перед нами гордость первой пятилетки. Любимец всей страны, воздвигнутый на тысячу лет,— Днепрогэс.

Есть ли воин в походе, пахарь, в поле, шахтер в забое, сирота в неволе, есть ли на свете человеческая живая душа, что не пожалела бы в справедливом гневе своем замостить эти пропасти фашистскими костями?

Летом сорок четвертого года Красная Армия была уже далеко за Днестром. Нет, не в безбрежных восточных пространствах подтаял фашизм, не суровые русские зимы согнули его. Сила одолела силу, одолела его, выбила из него дух могучая советская семья народов. Побили его наши воины в прямых гигантских битвах превосходством родного оружия и моральным превосходством.

Вот они движутся по пятам врага: московские, сталинградские, новосибирские, полтавские, запорожские, алма-атинские, черниговские, минские профессора боев и страшных нападений [...]

Пройден гигантский путь, понесены великие труды и раны.

Мы уходим на время от шума сражений и следуем за ранеными в тыл. Порадуемся работе ученых Украины.

Заглянем к академику Филатову[5]. Этот всемирно известный ученый возвращает зрение многим ослепшим в боях. На хирургическом столе лейтенант Аксенов. Увидит ли он отвоеванный мир?

Лейтенанту Аксенову снимают повязку.

Пожелаем чуда!

Тихо, как перед грозою в фронтовых и армейских штабах.

Командующие армиями готовились к прорыву на Львов.

Проверял последние приказы генерал Москаленко.

Беседовал с танкистами неутомимый Рыбалко.

Командующий авиацией генерал Красовский.

Совещались у генерала Баранова в штабе конной группы.

Генерал Катуков собирался в Карпаты.

Маршалы Малиновский и Толбухин готовились к удару на Румынию.

Четырнадцатого июля по приказу Верховного Главнокомандования войска Первого Украинского фронта перешли в наступление на Львовском направлении. В три дня прорвали они оборону врага охватывающими ударами из районов северо-западнее и южнее Броды.

За месяц кровавых трудов нам суждено было во Львовской битве уничтожить двести сорок тысяч врагов и тридцать две тысячи взять в плен. Тут были бои. Под одними только этими Бродами, мы, бойцы Первого Украинского фронта, убили их тридцать проклятых тысяч.

Тридцать тысяч убили, чтоб знали вы все, кто смотрит на наши раны.

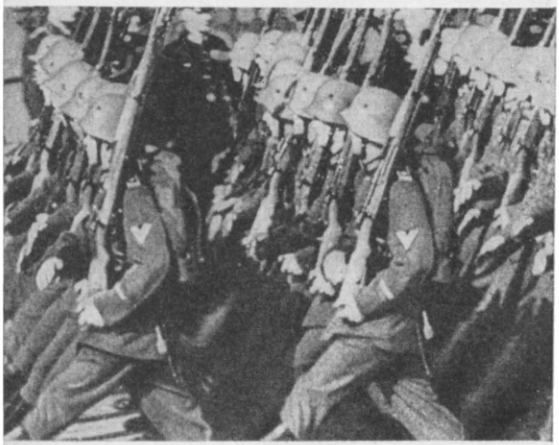




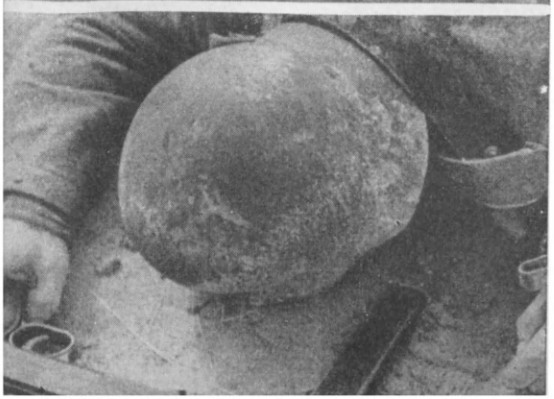












Для освобождения не жалели мы здесь ни гнева, ни труда, ни собственной крови. Что здесь было? Все пройдено туда и обратно. Какой величественный простор!

Какие были мастера войны! Какая походка!

Как маршировали по Европе! Сколько выпито вина всех европейских марок!

Сколько съедено, ограблено, унижено и убито!

Какие пожары освещали их «Дранг нах остен»!

Но возвратился ветер на круги своя. Потерян прусский дух на советских полях. И дерзких молодцов уже нет. В плену сидят уже третьи сорта сверхчеловеков.

Растаяла офицерская спесь, угасла вера. Потеряны безвозвратно все стратегические планы, надежды, головы потеряны, и страшный кровавый опыт ничего не обещает впереди, ничего.

Восточнее жизненное пространство пройдено вперед и назад. Близится час. Сорвут и попрячут все до одного железные кресты. И раны на лицах попрячут, как прячет преступник клеймо.

И останется слово «фашист» в словарях человечества как криминальное, бранное слово.

В самый разгар бродского боя генерал армии Рыбалко двинулся из района Золочев в прорыв на Львов. Сюда, через Буг, устремилась и конница генерала Баранова.

Вслед за этим, громя отступающего врага, в прорыв двинулись танковые соединения генерала Лелюшенко.

За Лелюшенко пошла авиация генерала Красовского.

Враг бежит.

Внезапным штурмовым ударом ворвались танки Лелюшенко на окраину Львова с юго-востока. Зажатый в тиски враг был уничтожен в два дня, и утром 27 июля в освобожденный древний украинский город Львов приветствуемая народом, прошедшая гигантский путь, входила армия свободы.

В эти же славные дни встречали ее в Перемышле, Станиславе, в городах Белоруссии и многих других городах освобожденных советских республик.

Это не были уже добродушные мирные юноши сорок первого года. Суровая школа войны наложила особую печать на вооруженный советский народ [...]

Завершилось освобождение всей украинской земли. Армия поднялась на Карпаты.

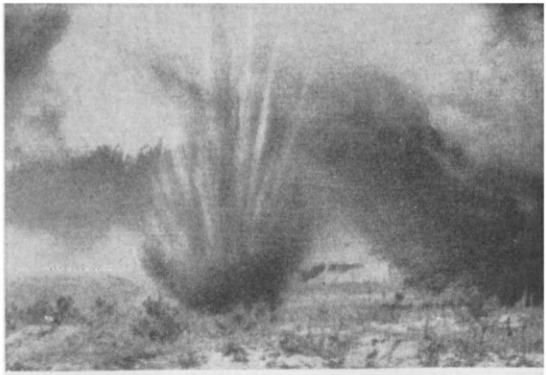
Когда битвы гремели еще в Приднепровье, здесь проходили с боями украинские партизаны народного героя Ковпака.

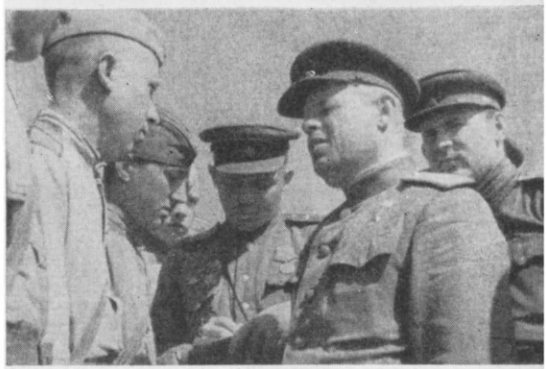
Их не было много. Но они были страшны для врагов, как пророки, как предтечи победы. Их много погибло в боях.

Погиб здесь и красивый русский человек — генерал Руднев. Но как прекрасны горные вершины!

Отсюда идут обходные пути Красной Армии на Берлин — через Польшу, Чехословакию, Венгрию [...]

Освободился от фашистского ига весь собранный в едином Советском государстве украинский народ.





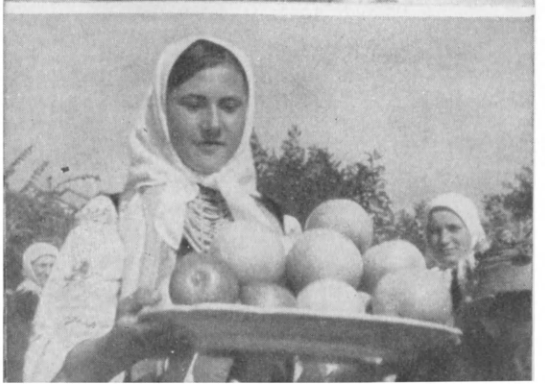












От Карпат до Дуная, через былинный Днепр, где зачиналась в глубоких веках наша юность, и далеко на восток пламенеет на украинских землях светлое знамя великого Ленина.

Минуя пожары и хаос разгромов, мы заходим с героями в украинский сад. Это похоже на праздник, но праздник еще впереди. Предстоит еще много боев.

И заходят герои к родным и любимым лишь на самое малое время, чтоб ярче приснился сынишка на вражеской пушке, родной огород, улыбка жены за работой, родная улица, где пролетело детство.

Три года воевал на Прибалтийском фронте черниговский лейтенант Иван Нога.

Но вот исполнилось желание — родная улица, жена. Словно крылья несут ее к дорогому Ивану. Позабыв обо всем на свете, остались они перед аппаратом, как счатливые знаки надежды для тех, кто в бою.

Половина Харькова еще похожа на Помпею, но уже на харьковской площади, как и в ряде других городов, украинский народ демонстрирует перед самим собой творческую созидающую свою силу.

На родине Богдана Хмельницкого, под Переяславом, на праздник урожая съезжаются колхозы.

Народный пир открывает председатель колхоза партизан Михайло Гром. Да здравствует дорогое человечество, да здравствует жизнь!

По всесильному закону бытия жизнь побеждает смерть, как свет побеждает тьму, как разум побеждает безумие.

И мерой жизни остается добро, а не вло, и любовь, а не звериная ненависть, иначе не существовало бы уже человечество.

Превосходство нашего воина над фашистским — это моральное превосходство нашего народа, нашего строя. Наши солдаты храбрее и культурнее солдат врага.

Наши офицеры, наши генералы талантливее и глубже в искусстве войны.

Самоотверженны наши работницы, рабочие, колхозники и матери наших детей.

Освобожденный украинский народ вместе с правительством советской Украины благодарит великий русский народ и все братские народы Советского Союза за помощь и спасение своей государственности, за победу, за утверждение своего бытия в первых рядах человечества. Украинский народ-герой приветствует свою Красную Армию за подвиги и на миллионах митингов победы славит торжественным клятвенным словом великую партию Ленина.











1943 ГОД. АВГУСТ. А. П. ДОВЖЕНКО В СЕЛЕ АНТОНОВКА

Статьи и выступления

К ОРУЖИЮ!

К оружию, братья-товарищи, к оружию! Наша социалистическая Родина в опасности. В опасности наша дружная прекрасная семья народов. В опасности самые ценные достижения передового человечества — Союза Советских Социалистических Республик, взлелеянные и построенные в больших трудах великими гениями человечества Марксом — Энгельсом — Лениным и всеми нами. В опасности самая большая надежда всего мира, порабощенных и обкраденных народов.

К оружию! Черный вожак мировой реакции Гитлер, проклятый народами, проклятый сотнями миллионов, обокрал обездоленных и голодных жителей, разоренных, угнетенных, бросил на нас своих мастеров смерти и руин, бросил, как и подобает вору, ночью, без предупреждения и без каких-либо оснований с нашей стороны. Не хотели мы войны, не хотело ее и наше правительство. Всеми открытыми, законными, честными средствами наш Советский Союз не принимал участия в позорной мировой войне и бессмысленном уничтожении народных богатств. Вооруженный духом высокого учения Ленина, он нес вперед волнующие красные знамена гуманизма, братства, честного труда и пел, наш многонациональный молодой советский народ, свои веселые рабочие песни... К оружию, товарищи! К оружию все, кто жив духом! В благодарность за наш нейтралитет и за соседский хлеб Гитлер пытается принести нам смерть. Видно, невеселы его дела. Видно, нечем уже дальше обманывать обездоленный народ и кормить нечем. Видно, устарелая ненависть к Советскому Союзу, к братству народов не выдержала и прорвалась в нашем враге, как гнойник. Видно, предчувствие близкого краха

и гибели лишило его последней капли ума, уже не говоря о совести, и бросило его на нас, как бешеного пса. Сегодня Гитлер своим злодейским нападением начал против нас войну. Сегодня Советское правительство ответило объявлением священной Отечественной войны против Гитлера и его разбойников.

В нынешнюю ночь переменился мир. Сто девяносто миллионов наших сердец задрожали от гнева и возмущения, загорелись взрывами ненависти к фашизму, к его позорным действиям и посягательствам, зажглись горячими чувствами мести за порабощение народов, за грабежи, за оскорбление национального достоинства народов, за дикий антисемитизм, за уничтожение культуры, за ненависть и рознь, за голод и нужду, за слезы и горе беженцев, за попрание элементарных народных прав и за руины на землях польских, французских, чешских, балканских, голландских, бельгийских и других — за весь позор, который несет с собой фашистский империализм первой половины двадцатого столетия.

Товарищи, к оружию!

Мировая война вступила в фазу необычайную. В грозном пламени и дыму мировой схватки вырисовываются контуры классовой войны. Рукой Гитлера поднят фашизм против коммунизма. Началась самая грандиозная битва в истории народов. Война регресса против прогресса. Война насилия против дружбы. Война ненависти против братства и равности народов.

Ответим же на удар стократным ударом, чтобы Гитлер не победил ни в коем случае! Эра принадлежит нам. Чтобы исчез фашизм-гитлеризм и его существование осталось в сознании человечества как тяжелое воспоминание, чтобы обманутый Гитлером немецкий народ, талантливый и работящий, также забыл свой стыд и позор и зажил в семье свободных и равных народов Европы не как жандарм и тупоголовый грабитель, а как достойный сын коммунистического человечества.

К оружию, Советская Украина! Вылетайте, Бульбенки[1], Богуны, Щорсы и Боженки[2] — один другого лучше, один другого сильней. Вылетайте, достойные дети доброго народа, чтобы передавалась слава ваша — борцов за братство народов из рода в род, на долгие века.

К оружию! К работе! К самоотверженности!

К оружию, дорогие мои товарищи по Отечеству!

К победе, к коммунизму!

1941 г.

ДУША НАРОДНАЯ НЕПОБЕДИМА!

Украина-Родина! Великая земля наша, почитаемая, прекрасная мать, ты в огне. Ты завалена фашистскими мертвецами. Окровянили они тебя своей постыдной сукровицей, засеяли своими проклятыми кладбищами, валяются, как мусор, на твоих полях, раздерганные и мерзлые.

А те мертвецы, что еще живы, мучают тебя в предсмертном остервенении, жгут тебя огнем, грабят, разоряют красоту твою и богатства, добытые честным трудом сынов и дочерей твоих.

Матерь наша родная, велико твое несчастье, но велики и люди твои, твои дети.

Велик и несокрушим народ твой, народ-труженик, народ-воин, народ-рыцарь. Не покорился он мертвецам. Жива душа народная, жива, непобедима!

Живут в народной душе великие имена Наливайко, Богдана Хмельницкого, Богуна, Кривоноса, Трясило [1], Кармалюка [2] и зовут в бой за свободу, за жизнь Украины, за славу.

Сожгли проклятые гитлеровские изверги Чернигов, сравняли с землей, но не сожгли славных имен Щорса, Боженко. И запылала древняя Черниговщина священным пламенем гнева и ненависти к мертвецам-оккупантам.

«Смерть фашистским оккупантам!» — прокатывается партизанское эхо по всей Украине. Сорок миллионов украинских

сердец, гневных, возмущенных, вдохновленных ненавистью, готовят могилу гитлеровским мертвецам-угнетателям.

Безумствуйте, фашисты! Беснуйтесь, свирепствуйте, мертвецы! Все равно не одолеть вам Украины, не жить на ней вам, а тлеть...

Скоро, скоро.

...на оновленій землі[3]
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.

Это завещал нам ясный гений славянства, наш поэт, художник и борец Тарас Шевченко. Великий человек, которым гордится наш народ и наши братские народы. Великий патриот украинского народа, батько его поэзии, его добрый гений, дорогой и близкий каждому, кто любит свою Родину, кто не предает ее и не продает, кто борется за ее жизнь и счастье. Наш великий бессмертный Кобзарь, чью могилу над Днепром осквернили фашистские мертвецы.

Не забудем и не простим!

Кобзарь наш великий[4]! Украинский народ чтит сегодня Вашу дорогую память в условиях беспощадного смертного боя с лютым врагом человечества, с насильниками и угнетателями, которых Вы когда-то так ненавидели.

Народ чтит Вашу память и славит Ваше имя «в сім'ї вольній, новій»[5], в семье советской, на всех фронтах, сильный духом, многочисленный и вооруженный. Славит Вас, великого врага врагов наших, на исполинских снежных полях боев, в партизанских лесах, с оружием в руках, омытый кровью и потом труда неслыханных битв.

Славит на фабриках и заводах, где куется наше оружие.

Славит и в обездоленных, попавших в неволю хатах, и в лагерях, где мучаются в плену наши люди, где сердца бьются надеждой на освобождение, на победу.

Жива Советская Украина!

Разносится по ней голос великого поэта:

Поховайте та вставайте[6],
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.

Жив поэт! Живут его слова. Живут лозунги Советской Украины, которая никогда не будет немецкой рабыней.

Из украинского города Ворошиловграда, где начиналась наша победа над немцами в 18-м году, мы, свободные сыны украинского народа, провозглашаем:

Мы здесь! Мы на Родине! На Родине!

Мы начали наступление! Крепче оружие!

Нет на свете силы, которая одолела бы нашу силу!

Вперед, к победе! Слава великому Кобзарю!

Слава украинскому народу-бойцу!

Слава вооруженным сынам его, бойцам-героям Красной Армии!

Слава партизанам! Слава бесстрашным партизанам Украины, детям Шевченко!

Пусть же расцветает и сияет наша слава долгие века, пусть передается и песней звучит из рода в род и украшает нашу честную украинскую землю и из далеких будущих советских времен освещает чистым светом труд ваш боевой в эту великую эпоху и ваши бессмертные имена!

1942 г.

УКРАИНСКАЯ ПЕСНЯ

Украинская песня. Кто не был очарован ею, кто не вспоминает ее, как свое чистое, прозрачное детство, свою гордую юность, свое желание быть красивым и нежным, сильным и храбрым?

Какой художник не был вдохновлен ее богатейшими мелодиями, беспредельной широтой и красотой ее образов, ее волшебной способностью вызывать в человеческой душе самые сложнейшие, самые тончайшие, самые глубокие ассоциации, чувства, мысли и устремления ко всему, что есть лучшего в человеке, что поднимает его к вершинам человеческого достоинства, к человечности, к творчеству?

Какой боец не находил для себя в украинской песне силу и упорство, боевую щедрость, любовь к народу, презрение к врагу и смерти?

Возникают из глубины веков и гордой поступью проходят перед нашими воинами славные прадеды — Байда-Вишневецкий, Сагайдачный, Дорошенко [1], Нечай [2], Богун, и Богдан, и славный Морозенко, и казаки Швачка [3] и Голота [4] — и зовут в бой за Родину. И Щорс, и богунцы [5].

Какой работник — ой у лузі та ще й при березі, или у полі на роздоллі, или серед степу широкого, или серед моря глибокого, или у шахті під землею, или в заводі за верстаком — не испытывал легкости и бодрости от ее гениального ритма?

Какая мать не пела этих легких, как сон, песен над колыбелью дорогих детей своих?

Какая девичья весна не приносила любви на ее крыльях?

Украинская песня — это гениальная поэтическая биография украинского народа. Это история украинского народа, народа-труженика, народа-воина, народа, который целые века сражался, как лев, за свою свободу, целые века расходовал всю свою силу, свою кровь, свою жизнь, как говорил великий Шевченко, «без золота, без каменю, без хитрої мови» [6] на выковывание в борьбе свободы, права на полноценную жизнь, на проявление в жизни всех своих способностей...

Тяжкой была история. Кровавой, пусть она никогда не вернется. И народ, лишенный многих возможностей, в кровавой борьбе вылил свою душу, свой поэтический гений в единственное, во что мог,— в песню, в бессмертную украинскую народную песню. Украинская песня — это бездонная душа украинского народа, это его слава.

Наша дума, наша пісня [6]
Не вмре, не загине,
От де, люди, наша слава
Слава Україні.

Напрасно пробуют гитлеровцы задушить наш народ. Живет народ, живет его душа! Звучит украинская песня от Белого моря до Черного. На всех фронтах поют ее лучшие сыны Украины — большевики, идя в бой против пса Гитлера, идя на смертный бой с оружием в руках, плечом к плечу с народами-братьями, с гордыми прадедовскими именами в горячих, гневных сердцах и песнях.

Честь и вечная слава и добрая память достойному сыну украинского народа композитору Миколе Лысенко, который в мрачнейшие царские времена народной темноты не бросил народ свой, а целую жизнь свою посвятил собиранию украинской народной песни, который учился у народа, как он сам говорил, «учился на серой свитке, на грубой сорочке, на дегтярных сапогах — там душа божья сидит», который весь свой талант и многолетний труд положил на то, чтобы найти и сберечь жемчужины народного творчества, обработать их и возвратить народу, возвратить нам, очищенные и любовно отточенные, как скромный дар достойного сына и ученика своему отцу — народу-учителю.

1942 г.

УКРАИНА В ОГНЕ

От Сана до Донца потянулись долгие, долгие дороги, города и села, и предместья, и всюду женский незабываемый плач. Плакала Украина.

— Ой сыны мои, сыночки, дети мои, на кого вы меня покидаете?

Оглянитесь. Есть ли на свете еще такие поля, такие пшеницы, сады, такое небо?

Горели поля, пылали хлеба. Черный дым поднимался в небеса, как народный гнев, как гнев мужей-воинов, справа и слева, и позади, сколько око видит...

Воют псы по ночам, вещают недолю, и невиданные птицы летают над нами ночью и вещают недолю, и ревут волы и коровы и вещают недолю.

Земля наша украинская, мученица наша, в огне ты, в огне!

— Дети наши!

— Брат мой, муж мой любимый!

— Батько наш молодой, зарежет нас фашист! Выпьет нашу детскую кровь, заморит нас вшами да голодом. Батько наш красивый...

Прощайте, мои нежные цветы, прощайте, мы вернемся!

Мы вернемся!

Не плакали девчата. Поили холодной водой и молча всматривались в очи широко открытыми очами и молча вопрошали смутную судьбу свою:

— Что ждет меня? Что ждет красу мою девичью, мою молодость?

В девичьих очах была невыразимая печаль и тяжелое предчувствие недоли.

Замерли сердца девичьи в немой тоске.

Миллионы лучших сынов Украины уходили на восток, оставляя за собой невиданное фашистское кладбище.

Как рассказать об этом? Когда мы сжигали свои хаты вместе с гитлеровцами и убегали в леса и овраги, оглядываясь на свое горе.

— Прощайте, дети наши и жены наши!

За ваши муки не пожалеем ни железа, ни крови, ни пота, ни труда, ни самой заклятой горячей ненависти, ни жизни своей. Чтоб вечно жила земля наша украинская, чтоб никогда народ наш не стал фашистским рабом, никогда и ни за что.

Никогда, сколько свет стоит, не была Украина такой богатой и пышной, такой невиданно прекрасной, как в то лето. Кто прошел по ней — не забудет вовек.

И никогда над светлой и радостной красотой не нависали такие темные тучи.

Никогда еще красота не была так исполосована рубцами злодейств, как злодейство врагов наших — фашистов.

И стоит Украина перед нашим духовным взором в огне, как неопалимая купина.

Горит и будет гореть до смерти в наших сердцах безграничная любовь к великой нашей матери.

Не померкла для нас красота ее. Печать трагедии сделала ее еще более прекрасной, еще более дорогой нам.

Не померкнут и богатства ее, пока живы будут ее дети, сыны и дочери, всегда любящие труд, все хорошее, все красивое. Пока живы будут ее сыны-воины под красными знаменами партии, с твердой рукой и щедрым сердцем.

Сын, брат мой дорогой, товарищ мой! Не жалей ничего для победы, освободитель и мститель, закаленный в боях, слава тебе!

Ты был щедрым на жертвы! Со страшным громом и скрежетом зубовным взрывал ты воплощенную мечту свою — заводы и фабрики.

Ты не пожалел своего первенца — бесценную днепровскую плотину — Днепрогэс, величественное творение твоего гения. Миллионы кубометров бетона замесил было ты своими молодыми ногами, распевая новые песни среди дорогих запорожских могил.

Прощай, Днепрострой! Укоротили мы твой век — так нужно. Не суждено тебе светить нам — не свети же и гитлеровскому кату.

Подымайтесь, ревите, пороги! Разливайся, Днепр, разнеси по всем морям безудержный гнев наш, нашу бессмертную волю! Не за горами наша победа. Замесим еще новый бетон и возведем тебя, Днепрострой. Еще более могучий и прекрасный, засветишь ты тогда добрым людям уже на вечные времена.

Так жертвовать мог только народ, вдохновленный учением гения Ленина, народ советский, богатырь-воин!

Не пропадут напрасно эти жертвы, не исчезнут из людской памяти невиданные пожары и гневная сила народных жертв. Черный дым, что поднялся над нашей истерзанной землей к самому небу как суровый и грозный завет, как грозный клич к мести,— кто его забудет? Кто забудет удивительные жита наши, наши пшеницы, сады наши, все наши колхозные широкие просторы, зреющие такими плодами, такой красотой, такой любовью и гордостью трудов людей наших, каких нигде не видел мир? Кто забудет, как горели они? Как разрывались и раздирались они огнем и железом?

Никто и никогда! Наша жертва будет жить вечно. Долгие века будут светить огни наших жертвенных пожаров в сердцах грядущих поколений, всех славян и всех народов, как гигантский и величественный знак нашего могущества и величия в роковую годину, когда решалась на наших колхозных полях судьба человечества.

Так за Днепр, славные рыцари, за сады, за фабрики наши по волкам фашистским, по гаду Гитлеру — жестокий огонь! В самые волчьи морды, чтоб ослепли они и сгинули в тартарары!

Юноша-воин! Тебя растила и воспитывала великая партия! Она готовила из тебя строителя великой социалистической державы, участника прекрасной эпохи великих работ.

Ты вырос мужественным и добрым от доброй, мягкой украинской природы. Ты был весь в работе творческой, и вся земля твоя, твои необъятные поля уже начали петь песню твоему вдохновению, и твои старые родители радовались, глядя на тебя, и молодели душой.

Лет через пятнадцать, во цвете лет твоих, ты неузнаваемо преобразил бы свою землю. Ты посадил бы сто миллионов фруктовых деревьев на Украине, ты преобразовал бы ее пейзаж и даже климат и жил бы в саду своем, воспетый своими поэтами, прославленный своими художниками.

И я, художник твой, поставивший целью своей жизни возвеличивание твоего имени и твоей эпохи, умер бы тогда счастливый твоим счастьем и счастьем и красотой детей твоих и твоих братьев — советских народов.

Юноша мой, товарищ, добрый, сердечный и мужественный, забудь доброту свою!

Ворвалась в нашу жизнь жестокая, лихая година.

Людоеды из-под Рейна завалили нашу Украину, как обвалом.

Упало на нас фашистское зло.

Украина в огне! Украина в ярме!

Юноша, брат мой, спрячь доброту свою.

Ожесточай свою душу, ненавидь врага-людоеда.

Пусть захлебнется он от ненависти твоей, пусть погибнет от твоего огня.

Будь бездонно щедрым в воздаянии за зло, содеянное тебе!

Ничего не забудьте, ни одной слезы!

Целься, снайпер, сокол!

Целься, партизан!

Смотри, на твоей мушке не человек. Это мерзавец, изломавший твою жизнь, ворвавшийся на твою честную землю и сказавший:

«Я пришел уничтожить твой род. Я уничтожу твоих маленьких сынов, чтобы не было у тебя рода.

Я изнасилую и оскверню твою жену, твою невесту, чтобы не было у тебя рода.

Я изморю голодом твоих родителей, чтобы не было у тебя имени.

Я сожгу твои старинные города, чтобы не было у тебя истории.

Я уничтожу памятники твоей культуры, чтобы не было у тебя души.

А народ твой я замучу тифозной вшой и каторжным трудом, чтоб осталась от него лишь кучка рабов, батраков моих...»

Довольно! Генух!

И потекла кровь.

Вся тупость, вся жестокость, все безумие ницшеанствующих ефрейторов, моральных и физических дегенератов — все обрушилось на нас.

Земля моя украинская, какая погань ползет по тебе!

Садисты, предающие огню тысячи живых людей наших, закапывающие живых в землю, мучающие пленных, прикры-

вающиеся в боях за спиной женщин наших! Палачи, соорудившие тысячи виселиц по всей Украине.

Будет суд. Он не за горами. Будет судиться настоящее с прошедшим, будет судиться свет со тьмой.

Со всех концов мира миллионы истерзанных, задавленных, повешенных, сожженных, утопленных, отравленных, замученных, расстрелянных, зарезанных, заколотых, разорванных мужчин, женщин и детей — жертв безумной гитлериады — встанут из окровавленной земли и протянут свои страшные руки.

Товарищи мои, сыны мои! За нашу украинскую советскую культуру — огонь! Бейте фашистов сильно, по-запорожски!

Весна идет. Идет наша большевистская весна, наша победа.

Зорко смотрите вперед. Вот они идут в психическую атаку, пьяные убийцы ваших добрых, приветливых матерей. Вот они, мерзавцы-дикари из джунглей фашистской Германии, кровавое пятно позора и упадок человечества — фашисты, гитлеровская банда.

Скорбными и полными надежды глазами всматриваются на восток наши родные и шлют нам из своих истерзанных горем сердец свои благословения, свои надежды, свои призывы. Огненными птицами летят их призывы и кружатся над нами.

«Дети мои,— пишет одна мать,— желаю вам скоро победить и возвратиться домой к своим семьям, к своим детям, к своим родителям, а особенно к матери, у которой сердце обливается кровью от злости на врага. И приходит та секунда — чувствуешь слабость своего здоровья, но думаешь, пустили бы на фронт, то, кажется, одна уничтожила бы целые гитлеровские дивизии, а Гитлера разорвала бы на куски, а его паскудное мясо повесила бы на сухое дерево, чтобы черные птицы клевали очи, не осквернив его поганым телом недр нашей земли.

Жду я, мои деточки, вести от вас, что Гитлер повешен на суку украинского старого сухого дуба, что в Черном лесу. Я сама посадила его лет пятьдесят тому назад. Милая моя Украина, я знаю, Союз наш Советский непобедим».

Так за матерей наших, за наших дорогих — огонь! Огонь до самого неба, хлопцы! Чтоб не пролилось даром ни одной материнской слезы, чтоб сверкала она, как капля священного, дорогого огня, чтоб освещала она ваши рыцарские сердца и поднимала дух ваш до величайших вершин благородного гнева и ненависти, до величайшей готовности на бессмертные подвиги и на самую смерть, кому придется умереть. И если

умереть, так уж так, как умеют умирать только герои-большевики, молодые веком и великие душой товарищи наши.

Ничего, ничего, не пожалеть: ни труда, ни ненависти, ни тягости боя, ни страха боя, ни вдохновения боя, ни самой жизни!

Все, все отдать, все исчерпать, коли уж на то пошло. Всю свою бездонную славянскую украинскую душу, чтобы тысячи лет ваши бессмертные имена читались стоя и гремели дни громами.

Будьте же бесстрашны и щедры! Не бойтесь героической смерти! Не бойтесь!

Боец, сын мой дорогой! Огонь за Ленина, за великого Ленина, который поставил тебя первым под свое красное знамя, просветил тебя и вывел в первые ряды достойных народов человечества.

Брат мой дорогой, колхозник, шахтер, агроном, учитель, инженер, студент.

Жестокий огонь по врагу культуры Советской Украины, по убийцам и душителям украинского, белорусского, еврейского, русского народов, по обманщикам, по предателям и продажным душам, торгующим народом Украины!

Невиданный огонь за Украину, за Советскую Украину! За Советский великий Союз и за все славянство!

Огонь за урожай на земле нашей, политой кровью нашей и славных прадедов наших — запорожцев!

За чистосортные семена, за племенных коров и коней, за лучшие в мире, прекрасные колхозные сады, за пасеки, за цветы, за все, что цветет!

За колхозные наши, родные, вечные, необъятные народные украинские поля, лучше которых нет ничего в мире, радостнее которых нет ничего и нигде в мире!

Огонь!

За все выстраданное и завоеванное дедами и прадедами нашими, за все построенное нашими благородными, честными руками — огонь, родные мои, огонь!

Презирайте гитлеровское рабство, как смерть!

Любите Советский Союз, как жизнь!

Жизнь побеждает, жизнь победит!

Пусть же здравствует и красуется земля наша украинская, советская!

Пусть живет и здравствует великий Советский Союз!

И пусть бессмертными станут ваши дорогие имена!

1942 г.

ПИСЬМО ЛЕТЧИКУ

Дорогой мой сокол, мой крылатый друг!

Если бы я был птицей и имел надежные крылья и дальнозоркое око, я изо дня в день летал бы над нашей Украиной. Я бился бы крыльями в каждое окно, где ждут, высматривают нас наши родные люди, где плачут по ночам наши вдовы, наши сестры, где прячутся братья наши и наши отцы от хищного глаза. Я пролетел бы над пожарищами, над развалинами и над погребами-землянками, откуда, смотря на небо, все глаза проглядели наши матери — не летим ли мы?

Я разносил бы нашим людям правду. Я говорил бы им, что мы сильны, как никогда, не упали, а выросли мы духом и оружием, что наша Украина не будет фашистской, потому что нет уже ничего на свете, что спасло бы Гитлера и его презренную компанию от гибели. Я говорил бы, что скоро мы через фашистские кладбища вернемся к родным, что обнимем их и поплачем от разлуки и потерь и от радости победы.

Сокол мой дорогой, у тебя есть крылья. Ты быстрее орла и ветра. Полети же, сокол мой любимый, на Украину. Разнеси мои призывы и советы над всеми нашими землями. Посей мои слова. Развей их своей смелой рукой над всеми селами и городами. Пусть падают они с твоего самолета, как зерна, на нашу скорбящую землю.

Пусть собирают их пастушки в поле, бездомные на дороге, заключенные за колючей проволокой, женщины в селах, партизаны в лесах и оврагах и нищие под заборами...

Хорошо выбирай почву для посева, сокол. Чтобы не пропало понапрасну ни одно слово, ни одно зерно. Чтобы все взошло. Чтобы поддержать человеческий дух в неволе, чтобы сберечь людей.

Передай, мой крылатый воин, всем, всем — пусть не верят, что бы они ни говорили. Врут они, людоеды, от начала и до конца, это мы здесь хорошо знаем. Спасения Гитлеру нет никакого, поверьте мне. Потому-то и разыгрывает он сейчас «психическую атаку», похваляясь то бешеным весенним наступлением, то как будто уже летним. Потому-то и надевает он зеленые котелки на всех калек и подростков, на воришек, которых он подбирает по всей Европе, лишь бы хоть как-нибудь запугать мир и подбодрить себя.

Напрасная игра! Не слушайте фашистов, не слушайте тех, кто продался фашистам, петлюровских подвирал. Плюйте им в глаза. Наступать весной будем мы, и Гитлеру ничто не поможет. Наши армии огромны, и наше оружие преогромно!

Сын мой крылатый, наш народ должен это знать! Трудно сейчас народу — помоги же ему верно разобраться в событиях, ведь его разум хотят затуманить подлейшим враньем.

Лети же, мой сын, на Украину! Будь быстрым, как ветер. Будь старательным, как сеятель. Будь счастлив, как надежда, и весел, как победа. Я смотрю на небо и слышу твой сердитый мотор.

Счастливый путь! Счастливый путь!

1942 г.

ПИСЬМО ОФИЦЕРУ НЕМЕЦКОЙ АРМИИ

(ПИСЬМО ВРАГУ)

Офицер!

Кто вы в прошлом — инженер, агроном или кандидат наук? Архитектор вы, художник, клерк или, может быть, профессионал войны? Мне все равно. Сегодня мы стоим друг против друга на моей разоренной украинской земле, а между нами — вырытая могила.

Я — сын украинского народа. Мне сорок девять лет. По профессии я кинорежиссер и кинодраматург. Мои фильмы демонстрировались у вас в Германии. В 1930 году в Берлине, на Курфюстендамм и на Унтер-ден-Линден в кинотеатре «Камера» долго демонстрировался мой фильм «Земля». Я жил тогда в Берлине, среди работников немецкой культуры у меня были друзья, и я не раз бывал у них в гостях.

Теперь вы «мои гости». Кто-то из вас спит на моей постели, обедает за моим столом, составляет планы порабощения моего народа в моем рабочем кабинете. Вы — завоеватели. И когда я вспоминаю обо всем этом — мне становится смешно.

Чем вы думаете и что вы делаете? Вы — завоеватели народов в середине XX столетия?!

Я немало прожил на свете, немало видел, много думал. Я вас спрашиваю, разве сегодня можно завоевывать? Ведь этот способ разрешения международных отношений человечество давно уже пережило. Это анахронизм, самый чудовищный в

нашей современности, нелепый и смешной, если бы не был он таким неслыханно ужасным. Не способами тотальных дикарских войн должны сегодня люди завоевывать себе счастье. Тем более не немецкий народ, названный мною когда-то золоторуким. А сейчас на золотых руках у вас выросли звериные когти — хайль Гитлер!

Боже мой, какой колоссальный, невиданный абсурд!

«Но мы завоевали почти всю Европу,— скажете вы.— Наполеон не сделал того, что достигли мы с Гитлером».

Хорошо. Я не буду напоминать вам, чем кончил Наполеон. Напомню лишь, что против Наполеона боролись немецкие партизаны! [1]. Боролись за свою свободу, и ваш орден «Железный крест» [2] родился в этой освободительной войне, вы же теперь зарабатываете его на чужих пожарах.

Вы завоевали Европу? Прекрасно. Но скажите мне, скажите вашим солдатам, где же ваше счастье?

Почему нет радости победы ни у вас, ни у вашего народа, ни у ваших солдат?

Почему тревога все больше и больше охватывает ваши души?

Почему тоска, неудовлетворенность и грозные предчувствия грызут ваши сердца?

Не потому ли, что вы пролили много человеческой крови и обездолили десятки миллионов людей?

Да, потому! Жизнь не прощает убийц независимо от общественных законов.

Быть может, потому еще, что вас ненавидит весь мир?

Да, и потому. Ибо двигателем и мерой жизни является добро, а не зло, дружба, а не ненависть, не порабощение.

А главное, мой нежданный кровавый гость, потому, что неслыханное недоброе дело, в которое поверг вас ницшеанствующий маньяк Гитлер не может окончиться вашей победой. Ни за что. И вы либо уже знаете это и боитесь себе в этом признаться, вытесняя это в подсознательное, или только смутно чувствуете, и вам от этого тяжело и смутно, как проклятому или осужденному.

Вот почему ваша интеллигентность так часто впадает в жесточайшую грубость, и тогда вы со своими солдатами творите омерзительные злодеяния, вызывающие в нашем народе законные чувства ненависти к вам, и гнева, и желания сражаться с вами до последней капли крови.

Мы немало труда затратили сейчас, чтобы научить наш народ отличать слово «немец» от слов «Гитлер» или «фашист»,

ибо надо же подумать и о жизни, а не только о вашей смерти, правда? Ведь народы бессмертны, правда?

Ведь это правители приходят и уходят, а народы вечны, правда?

Мне приятно думать, враг мой, что вы читаете мое письмо. Значит, вы еще живы. Вы еще имеете отсрочку у смерти. У ваших детей где-то горят глазки, как свечечки, от трогательных молитв за вашу жизнь.

Где они? Увидите ль вы их? Или, может быть, сгниют и ваши кости в степях Украины среди миллионов костей ваших несчастных солдат?

«Я не желаю думать об этом. Я ни о чем не хочу думать! Я солдат, исполнитель! За всех нас подумает Гитлер!» — скажете вы сами себе.

Ой, неправда! Думайте! Приближается время великих событий и неслыханных трудностей. Приближается время расплаты за зло, за гитлеризм, за ненужные «победы», приближаются страдания. А в страданих рождаются мысли. В страданиях возродится новая, настоящая Германия — друг народов, а не палач.

Скоро ваши солдаты спросят вас — что же ты думал, начальник наш? К чему ты с Гитлером привел нас, несчастных? Мы погибнем здесь со всей нашей нацией! Как смел ты, сын немецкого народа, обмануть нас?

Что вы, мой враг, скажете тогда своим измученным войной солдатам?

Вы скажете: дело уже не в Гитлере и не в фашизме. Дело в несчастной судьбе Германии. Теперь Германии смерть. А раз Германии смерть, то и мне, как верному ее сыну, жить нечего, и я лучше с честью умру в бою.

И, подняв гордо голову, поведете вы, «мой гость», своих послушных солдат прямо на нас в психическую атаку, и либо мы вас убьем, либо убьют вас, наконец, пулей в затылок ваши же солдаты.

«За что погиб наш папа на кровавых полях Украины?» — будут спрашивать когда-нибудь после войны ваши сироты.

«За то, что не умел думать, деточки. Был ученый, а мыслить не умел. Гитлер отнял у него мозг. Он забыл, что Германии нужна его жизнь, а не смерть»,— скажут им люди.

Победит ли гитлеровская Германия в войне?

Не победит! Нет! Недолго вам гостить в моей киевской квартире, извините за напоминание.

Погибнет ли Германия как государство, как народ после поражения? Не погибнет. Не может погибнуть великий германский народ — народ Кранаха, Дюрера, Бетховена, Вагнера, Гёте, Шиллера, Лейбница, Канта, Гегеля, Гельмгольца.

Погибнет Гитлер. Вместе с ним погибнут те, кто унизил перед человечеством немецкий народ звериной бойней. А Германия будет жить. Возникнут в народных массах новые жизнеспособные формации и выведут народ на светлый путь братства, а гитлериаду забудут, как несчастную свою ошибку, как временный упадок и потерю человечности.

И если у вас, офицер, есть хоть капля любви к своему народу, если вы не Пилат [3], гордо умывающий руки перед народом, а сын народа, если вы думаете о жизни народа, а не о его страдании и смерти — боритесь против войны, боритесь против Гитлера!

Не отождествляйте гитлеризм с немецким народом! Не отождествляйте скорую бесславную гибель гитлеризма с судьбой Германии!

Над вырытой вашей могилой я призываю вас и ваших солдат к жизни! Переходите к нам! Этим вы принесете немецкому народу пользу, а не зло. Увидите!

За здравствует жизнь, да здравствует братство народов!

Да развеется тьма!

1942 г.

НАРОДНЫЕ РЫЦАРИ

Никогда, сколько существует человеческая история, размах смерти не достигал таких исполинских размеров, как в наше время. Никогда на истребление народа не бросались такие чудовищные средства. И никогда подлость и низость врагов человечества и человеческой личности не проявлялась с такой отвратительной жестокой мерзостью, с таким цинизмом, как проявила себя низость в воинствующем фашизме-гитлеризме, выросшем среди немецкого народа. Сегодня война стала бытием всего человечества. Гитлер вверг в войну весь мир.

Истекает кровью вся наша планета.

Но нигде ни на одном кровавом поле не сталкивалась с такой силой тьма со светом, подлость с правдой, мракобесие с разумом и порабощение со свободой, как на наших советских украинских полях.

Кровавое, великое время!

Были времена кровавые, были мучительные, были роковые времена, были великие времена в нашей истории, но такого кровавого и такого великого времени, как наше время, такого времени не было.

Моря крови, разлившиеся потоки слез и человеческих страданий, и ужасающие лишения десятков миллионов наших людей, и огромные, невиданные полыхающие пожары освещают всю нашу землю, весь мир своим величественным жертвенным светом, и из глубины исторических давностей, из седин народ-

ных потрясений вырастают в этом свете перед нами и проходят перед нашим духовным взором славные имена лучших сынов народа, положивших труд и жизнь за народ и принявших смерть в грозные его времена. Трагические наши деды Наливайко и Байда, порубанный в боях Сагайдачный, великий Хмельницкий, славные Богун и Кривонос, и великан Кармалюк, и Зализняк [1], и пламенный Щорс, и Пархоменко [2], и Боженко.

Они незримо присутствуют среди нас. Они — наши защитники в прошлом. Они бессмертны. Они — сердца и мечи нашей истории.

Сегодня они спрашивают нас, спрашивают каждого бойца:

— Недаром ли мы жили? Недаром ли потрудились над нашей землей? Недаром ли погибали в походах, в сечах, на кострах и на плахах? Есть ли, дорогие наши правнуки и товарищи, у вас порох в пороховницах? Не погнулась ли воля? Есть ли товарищество? Крепко ли братство народное?

— Нет! Не согнуть врагу нашей воли к победе. Победа будет за нами! — гремит советская артиллерия.

— Живет нерушимо товарищество! — грохочут летчики, сметая с лица земли множество врагов.

— Нерушимо держится братство народов! — ревут и громыхают танкисты.

— Больно, что Украина еще у врага, больно и мучительно. Но что бы то ни было, каких бы трудов, жертв и страданий это ни стоило, мы примем труды, жертвы и страдания, и как бы мы ни погибали и сколько б нас ни погибло, не быть Украине фашистской рабой! Никогда! Мы помним ваш завет — лучше смерть в бою, чем жизнь в рабстве! — отвечают сегодня внуки-автоматчики.

Много юношей пало в боях, много внуков достойно приняли смерть за бессмертие Украины и сами стали бессмертными. Погибли капитан Запорожец, капитан Колодий, комиссар Герасименко. Погибли танкисты Кучмистый Михайло и Михайло Лисянский. Пал Мирошниченко, уничтоживший восемнадцать танков противника. Полегли навеки Михайло Михляев и Григорий Петров, отбивши пять бешеных вражеских атак. Добре погуляли они на великом смертном пиру: горы фашистского трупа уложили они.

Погибли двадцать восемь легендарных героев под Москвой. Погиб трижды раненный славный капитан Руденко. Семь пуль впилось ему в грудь. Тогда взяли его на руки товарищи и мертвого понесли, как знамя, на гору в атаку и взяли ту гору

у немцев и похоронили его. Погиб Герой Арсен Шевчук, врезавшись своим огненным самолетом в немецкую артиллерию. Погиб герой Удовиченко, врезавшись с неба, как огненный метеор, в немецкую переправу. Сгорел в воздухе командир эскадрильи Петро Окара и упал огнем на вражеские головы. Погиб герой гражданской войны Свирид Тайна, уничтоживши пулеметом целую немецкую часть. А боец Петро Скидан прямо навалился животом на жерло немецкой пушки, залил ее своей кровью и дал товарищам ворваться к немцам и щедро отомстить за свою молодую смерть. И много иных молодых годами и славных делами сынов нашей Родины полегли в боях. Много сделали они, много врагов истребили, пока не расстреляли все положенные им в жизни патроны. Поклонимся их отцам и матерям и напишем их имена на память поколениям.

Пройдут года. Прошумят столетия. Высохнет кровь, забудутся раны, уляжется гнев, исчезнут пожарища, и только кое-где сохранятся, как памятники, величественные руины для назидания потомкам о великой трагедии середины XX века, когда решалась на советских просторах судьба человечества.

Не будет уже ни войн, ни разрушений, ни фашистской тьмы,

І на оновленій землі [3]
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.

Кто не преклонится в веках перед красотой наших воинов? Кто не снимет шапки перед их именами? Кто не благословит их, бессмертных, познавших в свое трудное время, что нет более славной смерти, как смерть в бою за други своя?

С каким трепетом и завистью будут вспоминать юноши, мужи и мудрецы и войну, и нас, и все наше необычайное поколение строителей — воинов-гвардейцев, рыцарей, освободивших от позора и гибели не только свою Родину, но и все человечество. С каким волнением будут вспоминать нас, на долю которых выпало столько несчастий и счастья, столько горя и радости, столько крови и пота, столько борьбы и трудов, и побед, что их с лихвой хватило бы на десяток поколений. Сколько книг о нас напишут, и сколько песен о нас пропоют!

Сколько благодарных наших потомков, юношей в своих мечтах будут переносить свою жизнь на машине времени в нашу величественную эпоху, в эпоху, когда все было трудно, когда ничто не давалось даром, когда за каждую пядь своей земли платили кровью и жизнью.

В это величественное, мужественное время, когда наш многонациональный советский народ-богатырь вышел под знаменем Ленина на поле боя с открытым чистым лицом для победы над ворвавшейся из Неметчины смертью, для товарищества, для освобождения человечества от мракобесия фашизма.

И каждый, кто и в будущем не перестанет любить Родину и не только Родину, но и братство людей и человечество, а не вражду и порабощение наций, каждый преклонится перед величием наших пятилеток, когда все, что было честного — одинаково партийного или беспартийного — в нашей стране, не покладая рук, экономя каждый кусок хлеба, каждый кирпич, создавало могучую техническую базу для отражения врага и для победы и само выросло. Выросло на земле самое главное — советские люди! Люди, которых не возьмет никогда ни меч, ни огонь.

1942 г.

Я ВИЖУ ПОБЕДУ

Под ураганным огнем противника, ломая все преграды на пути, крупное подразделение бросилось в речку, разделяющую русскую и украинскую земли.

От ярости бойцов, от страсти броска, казалось, закипела вода в реке, забурлила, забрызгала кровавыми брызгами, расступилась. Подразделение героев выскочило на украинскую землю.

Но что это? Почему не понеслось оно дальше, вперед? Зачем стали бойцы? Почему стало тихо?

— На колени! — раздалась команда на незнакомом языке. Это были казахи, и командир их был казах. Они стали на колени.

— Здравствуй, братская украинская земля! — сказал командир громко и взволнованно, и волнение пробежало по рядам всех молодых казахов. Все, как один, припали они к украинской земле и поцеловали ее.

— Мы пришли,— сказал командир, показывая широким жестом на бойцов,— освобождать тебя от фашистского ига! Пришли пролить за тебя свою кровь, сестра наша... Прими наш боевой привет и привет наших матерей и отцов — казахов. Прими нашу дружбу и...

На мгновение страшный грохот пролетающих машин и рвущихся бомб заглушил голос командира. Забились и застонали высоким стоном раненые кони. Враг пошел в контратаку.

— Мы много можем сказать тебе, сестра наша. Но некогда. Встать! — крикнул командир.— Вперед!!!

— Вперед за Украину! — крикнул боец Умурзаков.

— За Украину, за Родину! — крикнул минометчик Турдан, крикнули все казахи и бросились в бой с невиданной силой. Как бились славные батыри-казахи за сестру свою Украину, об этом пропоют и расскажут народные акыны Казахстана. Как окропили они вражою злою кровью волю Украины,— об этом напишут благодарные поэты Украины. Это — дорогое и незабываемое никогда, никогда.

Долго и страшно бились казахи, и множество врагов уложили они в этот великий день. Один батыр Урсулай Джалгосбаев убил в этом бою двадцать фашистов. А как бился казахский народный учитель Джахсигалиев, как сражался раненый колхозник Джума Галиев, Канесов, Андияев, сколько они положили немецкого трупа!

Долго будут вспоминать подлые фашисты и их дурноголовые, вороватые родичи этот бой. Не одна тысяча бездушных, алчных немок огласит Германию своим хищным воем, не одна проклянет Гитлера ночью в мокрую от слез подушку. И многие солдафоны-гитлеровцы будут всю свою жизнь кричать во сне, хватаясь в ужасе за те места, где были когда-то ноги, глаза, руки, потерянные в этом бою.

Много пропало врагов. Но много и казахских молодых очей закрылось, чтоб не увидеть больше никогда своих безбрежных, как океан, прекрасных казахских степей, своих матерей и молодых казашек и ни быстрых табунов своих, ни беркута в небе.

Полегли в бою казахи-батыри. Освятили дружбу, разлили кровь и сами уснули на украинских ланах. И навсегда осталась неумирающая слава и благодарность, и гордость седых казахских дедов и вдохновение лучших, быстрых юношей и всех казахов, какие будут жить после нас долгие столетия.

Кончится война. Пройдут лета, исчезнут бесследно фашисты, останется только одно слово «фашист» как самое оскорбительное ругательство, вроде «хам» или «палач».

Многие события перепутаются в седых головах героев Отечественной войны от частых воспоминаний и превратятся в рассказы, но одно останется незыблемо верным и незабываемо ясным — высокое благородное чувство товарищества и братства всех бойцов, что разбили и уничтожили фашистское безумие на земле.

Как бы там ни было, какие бы ни были в прошлом, а может быть, и в будущем трудности, как бы ни был внезапен

и коварен вражеский удар, никогда врагу не победить нас, никогда! Братство советских народов, воспитанное великой нашей партией, — это сила, которой нет равной в мире. Это знамя непобедимое.

Великий украинец Гоголь сто лет тому назад так говорил устами бессмертного казака Тараса Бульбы запорожцам перед боем:

«Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство, вот на чем стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя... любит и зверь свое дитя! Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек... Пусть же знают они все, что такое значит в русской земле товарищество. Уж если на то пошло, чтобы умирать, так никому ж из них не доведется так умирать! Никому, никому! Не хватит у них на то мышиной натуры их».

Так говорил атаман Бульба... Самые старейшие стояли неподвижно, и слезы тихо накатывались в старых запорожских очах. Знать, видно, много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего, что бывает у человека, умудренного горем трудом, удалью и всяким невзгодьем жизни.

Прошумели столетия... Грянул гром, и среди грома и грохота переклички веков звенят могучим набатом гордые голоса Тарасовых правнуков.

«Родина моя! Земля русская! — пишет перед смертью в дзоте черноморец Калюжный.— Я сын ленинского комсомола, дрался, как подсказывало мне сердце, бил гадов, пока в груди моей билось сердце. Я умираю, но знаю, что мы победим!»

«Мы победим! Мы видим победу!» — гукнули под Севастополем пятеро бессмертных[1] и с гранатами в руках бросились под танки врага и взорвались с ними на весь человеческий мир.

«Братья, я вижу победу из-за облаков!» — гремит величественный русский истребитель дважды Герой Борис Сафонов, повергая на землю двадцать пятый вражеский самолет.

«Товарищи, победа за нами!» — кричит капитан Криклий, первый герой ордена Отечественной войны, наваливая груды горящих вражеских танков.

Но враг силен. Враг завалил Украину, как обвалом. Враг хочет жить и плодиться у нас. Он уже давит и морит не только наши семьи, честных советских граждан. Он выбросил уже на свалку даже жалкий трезубец украинских своих приспешников-националистов. Долой маску! Никакой Украины! Только

Германия на костях украинского народа! — вот что планируют фашисты сегодня.

И как бы ни был храбр и силен украинский боец-патриот, на какие бы жертвы и подвиги он ни бросался — сам он погиб бы в этом страшном неравном бою, и следа нашего не осталось бы на украинской земле — так жесток и бесчеловечен враг.

Но погибнуть суждено не нам, а Гитлеру...

Ничего, что вертятся немцы на нашей земле. Они и прошлую войну проиграли на чужих землях. Расплатятся фашисты жизнью за все свои преступления.

А Украина жива и будет жить, потому что не одна она в бою. Потому что сильна и неистощимо богата она не только полями своими, не только доблестью своих сынов, но и товариществом.

Воин-украинец! Брат мой! Посмотри, сколько товарищей пришло умирать за тебя, за матерь нашу Украину. — Сколько братьев пришло из России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, Азербайджана.

Люби их! Дай им всегда чувствовать свою любовь и благодарность! Иди впереди их с оружием, указывай дорогу. Дорожи товариществом...

Гитлер бросил на нашу землю полчища ненавидящих нас разъяренных зверей. Против зверей стоим мы — разгневанные люди Великого Советского Союза.

Я вижу победу.

Зверя-грабителя поборет человек-товарищ.

Поднимем же, братья, товарищество на такую высоту, чтоб радовало оно и освещало весь добрый человеческий мир. Вперед, к победе! За советскую Родину! За родную многострадальную нашу Украину-Русь!

1942 г.

В ГРОЗНЫЙ ЧАС

Гонит ветер по небу тяжелые тучи с Запада. Частые дожди, словно народный плач, поливают боевые рубежи. А над Украиной, на западе, носится чудовищный вихрь злодеяний, содеянных отребьем человеческим.

Гитлер и его омерзительная рать.

«Я освобождаю человека от химеры, которая называется совестью...

Я выращу молодежь резкую и жестокую, перед которой содрогнется мир. Я хочу, чтоб она походила на молодых диких зверей...

Нас проклинают, как врагов мысли. Ну что ж, мы ими являемся...

Я пишу историю кровью...

Убивайте все советское, убейте каждый по сто русских, не останавливайтесь, если это старик, женщина, дитя...»

Вот его проповедь. И мир содрогнулся от глубокого отвращения и ужаса. Казалось, мракобесие готово было захлестнуть весь мир.

Но среди хаоса разрушений, среди отчаянных стонов падающих государств, поверженных европейских народов, среди всеобщего смятения, вдруг, как чудо, стала на защиту своих прав и прав человечества великая советская нация. Стала на защиту мира и культуры мужественно, гордо и щедро, не жалея жизни, богатства, не жалея ничего. И мир понял все величие этих жертв и мужества и преклонился. Эта моральная

победа советского народа бездонна и неисчерпаема в своих последствиях.

Борьба света с тьмой достигла кульминационной точки. Страдают Украина, Белоруссия, Прибалтика, страдают русские города и села.

Не теплые июльские ветры веют сегодня с Украины. Веет гнилью погребов, где томятся наши родные без солнца. Веет смрадом и тленом повешенных и павших от голода и преступной пули.

Не соловьиное пение несется из вишневых садов Украины. Несутся душу раздирающие песни и плач несчастных сестер и дочерей наших, увозимых бесчисленными поездами в германскую неволю. Где они? Увидим ли мы их, хоть поседевших? Увидим. Добьемся и вырвем из неволи, и не простим проклятым фашистам ни одной слезы, ни одного седого волоса.

Не сады вишневые, а вывороченные трупы деревьев да черные воронки, не пышнозеленые богатые поля расстилаются на Украине, а поля немецких мин да черные непаханые пустыри, по которым ползают наши братья, запряженные в жалкие плуги и бороны, — правда это все, правда.

Не роскошное звездное украинское небо, а черная смирительная фашистская рубашка над нашей Украиной, да зарево пожаров, да самогонные курени, где в отчаянье гонят самогон упавшие духом, проклиная свою судьбу, и гитлеровцев, и свое рабство.

— Где вы, освободители наши,—стонут в ярмах и шлеях.— Поспешайте, товарищи, поспешайте. Пошли вам боже силы, мужества и стойкости. Поспешайте!.. Вот что поет Украина.

Много потрудились вы, товарищи. Много повоевали. Много труда и пота и тяжести боев понесли вы на полях битв, невиданных битв. Но много еще придется потрудиться, много еще придется пролить крови. Так велика наша жизнь, так присудила нам история, так щедро отпустила она нам трудов и событий. Жалеть не приходится — много отвалила она нам и радости, и горя, и гордости, и страданий, и высоких благородных героических деяний, и нечеловеческих трудностей.

Но как бы ни было трудно, сколько бы ни было лишений и утрат, одно мы знаем незыблемо и точно — мы должны победить. Иначе — гибель, смерть.

Еще ожесточеннее буйствуют бешеные «молодые дикие звери» Гитлера.

Недавно в селе Большая Березка, Сумской области, искали они умершего от ран партизана Гурова. Шестьдесят два чело-

века замучили гитлеровские мерзавцы. Что делалось в этом селе, не помнят ни татарские лихие столетия, ни скифская темная древность. Женщинам и детям они отрезали носы. Они выкалывали им глаза, беззащитным женщинам.

— Ага, не видели Гурова? Коли глаза!

Кололи глаза. Непревзойденные преступники кололи глаза женщинам и детям нашим. Они выбивали глаза, они выколупывали их из орбит окровавленными пальцами. Преступники словно разбивали зеркала, в которых отражалась вся омерзительная гнусность их преступлений. И когда дети наши, захлебываясь от крови, оглашали горящее село своими жалобными криками, они вонзали им в уста окровавленные широкие свои штыки и вздымали их в воздух и бросали в огонь пылавших хат. Бросилась было окровавленная шестилетняя Ганнуся бежать, но двое офицеров обогнали ее... Споткнулась Ганнуся, и застрелили ее в упор, смеясь. А потом сели на колодки и быстро записали в дневнике это важное для фашистской истории событие. Всех уничтожали. И ни одна пара несчастных колхозников не умерла одинаковой смертью, так богаты были гитлеровцы талантами палачей.

А где же Гуров? Где партизан? Как спасся он? Он умер от ран накануне. Мерзавцы вырыли его, откопали, порезали на куски и разбросали. Боялись они мертвого или мстили мертвому?

Что это? На каком языке существует этому название? Это — гитлеризм, скажут ученые. Массовое одичание в Центральной Европе в середине XX века.

Это то, что должно быть с корнем уничтожено, говорим мы сегодня.

Это полугодие будет полугодием величайших событий в истории. Много прольется крови, но мы должны сломать и сломаем фашистский хребет. Это чувствуют фашистские главари и мечутся. Все почистили, что было можно. Калек, немых, рахитиков, воров, наемных люмпенов со всей Европы, громил — все поставили на кон. Игра идет ва-банк. Но не те уже гитлеровские молодцы, что были в прошлом году, нет.

Не те и мы стали. Выросли, закалились, обогатились техникой и опытом борьбы.

Мы должны победить. Но значит ли это, что в предвидении радостного исхода мировой войны уже не важно, отойти ли под натиском врага на несколько километров или не отходить? Страна, дескать, у нас большая, мы все равно победим, наше дело правое, народ бессмертен.

Нет, неправильно так думать, неправильно и преступно. Отечество в опасности. Нужно биться до последней капли крови за каждое село, за каждый холмик, за каждую пядь земли. Нужно помнить, что бессмертный наш народ состоит из смертных наших людей, которые страдают и мучаются, попав к немцам в неволю. Ни на минутку не надо забывать, что каждое село придется отбивать назад, обливая его собственным огнем, потом и кровью.

В это лето каждый воин должен быть сторуким. Каждый защитник нашей Родины, каждый мститель за поруганных и погибших братьев и отцов должен помножить свой гнев на стократ страданий своего народа.

Пусть созерцание страшных разрушений и зверств, учиненных фашистскими варварами, не терзает наши души жалостью и унынием. Не до этого нам теперь. Жалость подтачивает корни ненависти. Сегодня это не наш напиток. Выпьем сегодня ненависть к врагу и презрение к смерти.

Брат мой боец, ненавидь врага! Обрушь на его преступную голову всю свою страсть. Смело ненавидь, будь бездонно щедр в воздаянии за зло, содеянное тебе. Тут перебора не будет.

Помни, ты живешь в грозное время. Будь же грозен и беспощаден к врагу!

Враги не дали тебе насладиться мирным трудом твоим — не дай им увидеть свой дом, не дай им жить!

Враги выгнали тебя из твоего жилища — выгони их из нашей планеты!

Враги объявили тебе презрение и гибель как недочеловеку-славянину. Они, видишь ли, гитлеровцы, сверхчеловеки — веди себя в боях так, чтобы они почувствовали себя сверхзайцами!

Они ненавидят весь мир, и тебя, и твой народ жестоко и бесчеловечно — будь благороден и гневен без конца и грозен без конца! Пусть они будут потрясены твоим гневом и силой твоей ненависти.

Много прекрасных и храбрых товарищей полегло в кровавых боях, много поранено, много попало в неволю и замучено в концентрационных лагерях. Сколько хлеба при жизни напахали они, сколько сена накосили, сколько людей накормили, сколько угля и металла добыли, сколько заводов построили!

Не забудем и не простим врагу никогда, никогда!

В вихрях страданий, лишений и бедствий закалятся души, окрепнут людские характеры, обострятся глаза, вызреют могучие натуры. Прославленные наши герои огня и меча поведут своих бойцов на мирные поля, на строительства.

И вырастет на пожарищах, на руинах, на кладбищах, на политой кровью благородной земле новая наша Украина, еще более прекрасная, еще более дорогая, на радость всему миру. И мир никогда не забудет нас.

Крепче ж натягивай парус ненависти, брат мой. Сейчас разгораются самые величественные, самые жесточайшие бои, какие когда-либо знала человеческая история.

Помни, на какую высоту поставила тебя история! Будь же достоин ее! Чтоб хватило у тебя великости твоей, и гордости, и ненависти к врагу, и презрения к смерти!

Помни — не только весь мир, а целые грядущие столетия скрестили сегодня на тебе свои взоры, полные веры в тебя, надежды и гордости. Стань победителем!

1942 г.

РОДИНА ПРИКАЗЫВАЕТ

Враг на Дону и на Кубани.

Славные казацкие земли попираются гусеницами фашистских танков. Пылают истоптанные врагом богатейшие наши поля, наш хлеб. Ревут наши стада без пристанища и присмотра. Враг ломится к Баку и Грозному.

Враг задыхается без хлеба и без нефти.

Враг в предгорьях Кавказа.

Над великой нашей Родиной нависла грозная опасность. Из подлой фашистской неметчины ползет по казацким степям ничем не прикрытое омерзительное рабство, ползет бандитизм, смерть.

В величайшем напряжении, работая не покладая рук, недоедая и недосыпая, великая Советская страна с волнением и надеждой следит за каждым шагом наших защитников, и каждый отход, каждый отданный врагу километр глубоко и тяжело волнует ее.

Остановись, боец и командир!

Припадите ухом к родной земле, прислушайтесь к гулу. Слышите?

Родина зовет! Ни шагу назад!

В грозное роковое время тягчайших испытаний Родина поставила вас на высокий пост своих защитников. Она вложила в ваши руки все свое оружие.

Родина кличет: остановись, боец, подумай о жизни, не только о своей жизни! Если мы не остановим врага, если мы не потушим пожар на кубанских степях, если мы не похороним фашистскую рать на наших южных просторах, если бандиты прорвутся в глубь Кавказа, плохо нам будет.

Защитник Родины, стой! Вспомни историю свою!

Прислушайся к голосу своей совести. Кто бы ты ни был — боец или командир, русский или украинец, узбек, или казах, или башкир — помни: если в это грозное время не защитишь ты Родину, вверившую тебе свою судьбу, никогда уже больше тебе ее не защитить. Она погибнет. И ты погибнешь с ней, уже не как русский, украинец или узбек, а как презренный жалкий раб на родной растерзанной и не своей земле. Отвернется от тебя твоя история, как злая мачеха. Проклянут твои несчастные потомки все твое поколение за слабодушие, за страх, за недостаток гордости и ненависти к врагу.

Ни шагу назад!

До каких пор наши скорбные матери будут смотреть в уходящие спины глазами, полными укора и слез?

До каких пор будут расстреливаться фашистами оставленные вами престарелые наши отцы? — спрашивает нас Родина.

Чем мы оправдаем свою жизнь перед их трупами?

Как будут сниться нам наши убитые гитлеровцами малые дети?

До каких пор будут содрогаться от гнева благородные кости наших героев, павших на бранных полях?

Где они, могилы товарищей-героев?

Попираются фашистским сапогом!

Где наша Белоруссия, Прибалтика? Где наша родная многострадальная Украина?

Враг завалил Украину, как обвалом. Враг хочет жить и плодиться на ней. Он уже давит, морит и вешает не только наши семьи — всех честных советских граждан.

Он выбросил на свалку даже жалкий трезубец своих приспешников — украинских националистов.

Германия на костях украинского народа — вот что планируют фашисты сегодня.

Кладбища для наших народов и нас и жирные поместья для себя.

Боец, у тебя оружие Родины!

Родина предупреждает тебя — не допусти этого позора. Оглянись вокруг и присмотрись. Прислушайся к голосу своей души.

Вспомни, как любишь ты Родину.

Вспомни, сколько убил ты проклятых врагов!

Миллионы бандитов полегли уже на наших полях, утонули, замерзли, взорвались, подохли, разлетелись в куски от нашей могучей артиллерии.

Миллионы безруко-безногих, рваных и ломаных бандитов завалили все госпитали Европы.

С дикими стонами мечутся они в горячке, хватаясь в ночи за пустые места, где были у них ноги и воровские лапы, и, холодея от ужаса, вспоминают тебя, твой огонь. Вспоминают необозримые свои кладбища, что выросли по всем дорогам.

Вспомни товарищей своих, бессмертных героев великой Отечественной войны, красу и гордость Родины.

Сколько их!

Множество тысяч героев всех народов Союза прославили народы свои, и народы никогда не забудут их.

Честь и слава — живым!

Бессмертие — павшим!.. Встанут они после войны бронзовыми памятниками по всей нашей необъятной стране, как маяки человеческих душ, на славу и гордость и на доброе раздумье благородным потомкам своим.

Вспомни, боец, вспомни, гордый защитник Родины, посмотри вокруг себя и подумай, почему же ты отступаешь?

Кто в горячих боях тянет тебя незримо веревкой назад, в отступление?

Трус.

Кто мешает тебе развернуть свою ненависть и силу в бою?

Трус.

Кто не дает тебе возможности довести бой до победного конца?

Трус.

Кто раздувает перед тобой мнимую силу врага?

Трус.

Ты бьешься, как рыцарь. Ты весь — устремленье вперед. Ты убил уже много врагов.

Но кто же это подточил твою стойкость в бою?

Кто потянул тебя и твоих товарищей дрожащими руками за полы?

Кто прошептал, кто выблевал вам подлые слюнявые слова?

Кто вашу гордую смелость незаметно для вас переключил невидимым рубильником на страх?

Трус.

Помните, как геройски сражалось недавно ваше подразделение? Три дня, как несокрушимая скала. Было трудно. Было страшно всем.

Но страстная ненависть к врагу побеждала страх. Враг это чувствовал.

Враг уже выдыхался. Он бросился в атаку, последним судорожным прыжком, как смертельно пораненный зверь, — очень сильно. Спокойствие! До победы осталось пятнадцать минут.

Но победа не вышла.

Почему?

Почему улетела она, как птица из рук?

Кто вырвал ее, драгоценную красную птицу?

Кто увлек тебя и всю твою часть назад?

Трус. Полдесятка трусов.

Так убейте же труса на месте! Родина требует. Родина благословит вас за это.

Трус — это яд в сердце армии. Это злокачественная опухоль на теле. Это — рак.

Он может быть на вид хороший человек и добряк. Если назвать его изменником, предателем и отщепенцем, он будет плакать, возмущенный, и жаловаться на вас начальнику за оскорбление.

Но он — предатель. Он помогает фашисту забрать наш хлеб, наши поля, наши богатства, наш народ. Он обесценивает наш героизм и рассеивает его, как дым в пустые небеса.

Когда пьяные фашисты кричат: «Рус, сдавайся! Это наша земля! Наш Оскол! Наши Дон и Кубань!» — он не крикнет в ответ: «А болячки вам, сучьи сыны, не треба? Земли захотелось? Получите все по два метра!» Нет. Спинолицый трус сгибается и плавно мчится вспять.

Страх смерти есть в природе человека. Заслуга человека — защитника страны — в умении превозмочь страх боя. В бою надо работать! Опасность трусости в молниеносном чумном действии на окружающих.

Страх смерти у труса не под пятой. Он сверху. Он над всем.

Вот почему один, два, три труса нередко заражают чумой опустошения и бегства сотни хороших бойцов и целые роты.

Защитник Родины! Будь горд и беспощадно строг сегодня. Время беспощадное. Уничтожь труса!

Береги храбрых, береги народ, береги Родину!

Чтобы подвиги твои и твои боевые труды не оказались тщетными из-за трусов.

Чтобы не оскорблялись и не обесценивались никем и никогда заслуженные кровью гордые твои боевые ордена.

Чтобы не стонали в фашистской неволе твои родители, плача — как далеко ты!

Чтобы не думали в тревоге твои друзья в тылу — как близко ты!

Чтобы никто и никогда не думал про тебя, герой наш и защитник дорогой, — а не трус ли ты?

Чтобы никто — с петлей на шее, или перед немецким дулом, или перед ямой, или в колючих лагерях, или в неволе где-то на чужбине — не посылала тебе из холодеющего сердца свой последний горчайший упрек.

Очистим же себя от трусов. В великое грозное время сомкнем свои ряды, скрепим могучей богатырской дружбой и, верные своим народам, своей истории и Родине своей, остановим врага.

Дадим ему не хлеба, а горькой могильной земли.

Не нефти в Баку, а крови горячей в кубанских степях.

Чтоб подавился он кубанскими житами и утонул в своей крови.

Дерзайте же, защитники Родины!

Дерзайте, мстители! Дерзайте, бесстрашные! Вырывайте победу! Она перед нами!

Месть врагу за каждую слезу, месть, от которой содрогнутся немцы на сто ног!

Будьте мужественны!

Родина приказывает.

1942 г.

СЛАВА НАРОДУ-ВОИНУ!

В плену наша маты, наша старая украинская земля в плену. Завалил ее враг, затоптал подлым своим чоботом, залил кровью, закурил пожарами, опозорил виселицами, ограбил.

Вывозится из Украины в неметчину весь металл, все, вплоть до трамвайных рельсов. Вывозятся эшелоны награбленного сахара, пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, хлопка, фруктов.

Нет ничего уже, к чему бы не прикоснулась воровская рука. Увезены в проклятую неметчину кони, коровы, быки.

Ночные степи оглашались зловещим мычанием и ревом, когда поезда проходили на проклятый запад, мимо несчастных сел и деревень.

Увозятся люди. Миллионы сильно побитых, запуганных чоловиков, женщин, дивчат увезены в неволю на шахты, дороги, как бесправные рабы. Увезены дивчата в немецкие публичные дома, в няньки, в прислуги, в быдло. Сколько душераздирающих песен пропето по дороге, сколько слез пролито, сколько похоронено надежд!

Украинскую землю превращают немецкие фашисты в немецкую землю, украинский народ в челядников своих, в своих бесправных, бессловесных слуг, в немых илотов.

Но и этого мало гитлеровским волкам. Немецкие фашисты хотят не только завоевать душу народа. Они хотят ограбить ее и уничтожить. Отняв у народа все, все его богатства, отняв у страны даже ее имя, вычеркнув слово «Украина», немецко-

фашистские мерзавцы совершили уже гнусный акт кражи его истории. Они уничтожили во всех библиотеках Украины всю историческую литературу украинского народа. Они забыли, что история народа это не хлеб его и не одежда. Что историю нельзя украсть, забыли, что история — это святая святых народов, неприкосновенная для воровских рук.

А чтобы в темноте вдруг не загорелся свет, чтоб злодеяния народоубийства прикрыть совсем, убийцы украинского народа ограбили все очаги его культуры. Они разграбили музеи и книгохранилища в Киеве, Харькове, Одессе, Полтаве, Виннице, Львове, Чернигове.

А взамен украденного украинскому народу привезли из гитлеровской Германии одну книгу — полицейский кодекс, одно произведение фашистского искусства — порнографическую открытку, чтоб отравить и опошлить его душу.

Вот что принесли украинскому народу распроненавистные фашистские мерзавцы!

Фашизм обрушился на нашу страну с чудовищной силой и жестокостью, в полной обнаженности своей программы.

Но как бы нам ни было трудно, как бы ни было горько, как бы ни гуляли грабители по нашей земле, долго они не погуляют.

И не во имя гнева, проклятий и ненависти к ним, не ради презрения и осуждения их, осужденных всем миром, стою я на этой трибуне, а во имя веры в торжество добра над злом и во имя славы моего героического народа, народа-сеятеля и воина, — чтобы сказать — никогда!

Никогда им не погасить свет в душе нашего народа!

Никогда и ничто не остановит народ наш в борьбе против фашизма! Мы верим в нашу победу, как в историческую неизбежность, и эта вера никогда не оставит нас.

Вместе с Красной Армией мы, работники искусства Украины, отступили из своей страны, но никогда мы не отступимся от своего народа. Мы поставим на страже народа слово, песню, картину.

Участники величайшей и самой трагической эпохи своего народа, мы запишем в книги, как в судебные приговоры народных судов, все злодеяния, весь обман и ужас и всю невиданную, огромную, потрясающую подлость фашизма в назидание грядущим поколениям о худших временах истории человечества.

Пересчитаем виселицы и пылающие города своей Родины, мы запомним стоны умирающих, раненых, обездоленных, кото-

рых нельзя уже миру ни забыть, ни замолчать, ни стереть из памяти, ибо их слишком много, их миллионы.

Мы наступим на горло мягкой поэтической лиричности своей национальной натуры и, любя свой народ, положим сегодня ненависть к врагу в основу своей жизни, чтоб ничего не забыть и ничего не простить — слишком много страданий упало на наш народ. Мертвые, миллионы замученных кличут к расплате!

Пусть мы будем бедны и ограблены, но есть у нас богатство дороже самых драгоценных камней — верность нашему советскому народу и великому Ленину. И мы несем эту верность, как благо.

Пусть мы будем неодетые и измученные, но мы победим!

Это наша история. История труднейшей и величайшей в мире победы. Мы вернемся на Украину с победой и воздадим славу народу-воину, его лучшим и прекраснейшим сынам, которые бьются сегодня в Красной Армии и в партизанах против фашизма, не жалея ни трудов, ни лишений, ни крови, ни жизни.

Прославим героев, которые украсили своими подвигами весь честный мир и возвеличили свой народ и, отдавши жизнь за него, сами стали бессмертными.

А сегодня в жестокой кровавой борьбе вместе с народом-воином шлем братский призыв всем свободолюбивым народам мира.

Подымайте выше знамя борьбы за свободу народов!

Смерть фашизму!

Да здравствует наша победа!

1942 г.

ПИСЬМО НА УКРАИНУ

Слушайте, родные мои юнаки и дивчата!

Слушай, прибитый бурею цвет пленной украинской земли!

Счастлив тот, кто в грозные дни тяжелых испытаний не сложил оружия перед врагом, не закопал его в землю, не отказался от него, а пронес его через все огни, через все пожары, через все труды и страхи великих исторических сражений и обрушил на голову врага. Долго будут вспоминать враги его оружие, содрогаясь в безнадежных своих снах, стеная и рыча от гнусных своих злодеяний. Передадутся стоны их потомкам в наказание за грех перед человечеством. Ничто не проходит даром, ни одна слеза.

Счастлив тот, кто, оставшись в силу разных причин и обстоятельств на пленной своей земле, чувствует себя непокоренным воином украинской советской земли, как бы тяжело, как горько, как страшно порой ему ни приходилось. Будет и ему чем вспомнить свою молодость, свою отвагу и верность народному мечу.

Но горе тому, кто по малодушию, по лености своего ума или ничтожеству своего сердца, или по обману и неведению не поймет или забудет, как необычайно важен каждый шаг сейчас, каждый поступок для жизни целого народа, и, сделавши неверный шаг, увязнет во вражеской трясине. Засосет она его и втянет с головой. Бесславная и позорная гибель! И напрасны

будут тогда крики о помощи, о спасении, прощении. Есть времена, когда никому ничто не прощается. Это времена народных трагедий, когда над народом повисает угроза смерти. Это тяжелое время сейчас переживает Украина.

Что же должно быть положено в основу жизни в такое время?

Верность народу. Вне верности народу — смерть.

Смерть приползла из неметчины и занесла над Украиной свою черную руку так, как никогда еще за всю нашу трудную историю.

Огромная и неповторимая ответственность перед историей за жизнь нашей нации лежит сейчас и на нас, сражающихся за Украину в рядах многонациональной нашей Красной Армии, и на вас, дорогие юноши на Украине, и на тебе, родная моя украинская дивчина, продолжательница и хранительница нашего рода.

Смотрите — не проспите грозного часа, не убейте брата своего, не продайте матерь. Не распорошитесь, не расползитесь по всему миру.

Враг жесток, как зверь, и хитер, как дьявол. Он расставил уже перед вами и еще расставит тысячи тончайших тенет, чтобы заманить и опутать вас и ослабить. Одурманить и натравить друг на друга и ослабить. Разделить вас и ослабить. Опозорить ваше имя перед соседями, соседское перед вами.

Одних втянуть в «вольное казачество» и в «охрану порядка»[1], других нет и ослабить. Одних сделать полицейскими, других шпионами, третьих сторожами над четвертыми, и всех вас разделить и ослабить и властвовать над вами.

Враг сеет между вами вражду, чтобы, погибая в недоле, вы ненавидели друг друга и проклинали и гинули во множестве от своих же рук, ослепленные, обманутые и ослабленные.

Чтоб каждый или каждая из вас, разделенных, опутанных, учинил бы что-нибудь такое, что навеки запятнало бы ваше имя перед Красной Армией, опустошило вашу душу, разлучило вас с партизанами и сделало каждого из вас раздвоенным, виноватым перед самим собой, перед своим народом, перед всем миром сделал бы вас Марко Проклятым[2], презренным всеми людьми.

Фашистские палачи и растлители ваших душ набирают сейчас в позорные ряды так называемого украинского «вольного казачества» многоплеменный сброд разных проходимцев, воров, разбойников, предавших честь своих народов, или подонков без
 роду, без племени, выдавая их за украинцев, чтобы мир прези-

рал ваше честное имя. Бросают этот мерзкий сброд против лучших сынов украинского народа — партизан. Этих душителей украинского народа и предателей, от которых откажутся матери всех народов, они называют «вольным казачеством».

Юнаки! Помните, кто были наши прадеды, украинские казаки. Пусть вам напомнят старые люди. Казаки были защитниками народа, славными поборниками его свободы, гордость народа и надежда. Казак — это борец за свободу народа, но не его палач, не предатель и не мерзкий слуга завоевателя. Не идите на братоубийство и на самоубийство. А если вас обманом уже втянули, уходите с оружием в партизаны. Не поддавайтесь ни на какие обещания, ни на какую ложь и провокацию.

Не проспите свою судьбу.

А проспите, пропьете — горе вам будет.

Будет тогда вас, как поется в народной песне, по горах, по долинах, «Ой буде ж вас, діти, по чужих по країнах» [3].

Приближается час расплаты с немецкими оккупантами.

Слушайте же, кто живой, кто не хочет «гнилою колодою на світі валятись» [4].

Слушайте, кто при тяжелом нашем отступлении в прошлом году отбился было от родной Красной Армии.

Кто заблудился в лесах и болотах, слыша пальбу со всех сторон.

Кто не умел переплыть через реку, а мосты были взорваны.

Кто ранен был, кто был контужен и ушиблен.

Кого присыпало землей и оглушило.

Кто нес товарища в крови и не покинул раненого брата на дороге.

Кого загнали в камыши по горло на недели.

Кто мимо батька, мимо матери не в силах был пройти.

Кто через плачущих родных детей переступить не смог, на ком жена повисла в слезах.

Кто плакал сам потом в сенях, и в хате, и в коморе, кляня свою несчастную судьбу и слабодушие свое, и утраты боевого товарищества и воинской чести, и все и вся на свете, как окруженец и дезертир.

Кто бился головой о дорогу, слушая страшные фашистские брехни.

Слушайте все, что блуждают сейчас, опутанные ложью, будто Советская власть покарает вас всех за эти ваши несчастья.

Неправда! Красная Армия ждет вашего возвращения в ее ряды. Она ждет от вас подвигов. Не верьте же фашистам. Они хотят и здесь отравить вашу душу, обесчестить вас перед нами, разделить, разложить и уничтожить вас. Они говорят: «Идите к нам на работу, в полицию, в охрану порядка». Они думают — идите к нам в смерть.

Нет ничего на Украине, чего не пытались бы они отравить ядом своего гнусного дыхания.

Они уже женятся на наших девушках.

Они уже плодят пустоглазых байстрят на нашей земле, на горе и вечное поругание несчастным невольницам-матерям. Они насилуют, растлевают тело и душу нашего несчастного народа.

Дивчина-украинка, доню моя!

Я стучусь к тебе в окно, в твои убогие двери, к твоим родителям, что второй уже год гнут свои спины перед подлецами, все думая-гадая: «Что с нами будет, как же на свете жить в такой беде?»

А может быть, у тебя уже нет ни отца, ни матери. Может, расстреляны они, повешены, а хата их спалена. Может, увезли их в неволю на работы в неметчину, и ты блуждаешь, где день, где ночь, одна, сирота моя.

Тогда к тебе, одинокой, я стучусь в этот трудный необычайный час, чтобы сказать тебе верное слово, чтобы подсказать тебе твою затуманенную судьбу. Судьба твоя на востоке — там, где твои братья.

Бедная моя, что ты делаешь? Копаешь фашистам окопы против нас? Плетешь колючие заграды, дороги мостишь, готовишь хлеб для чужеземцев? Или прислуживаешь им, бесправная челядка, славянка-рабыня? Или, может быть, берет тебя в эрзац-жены, если ты красива, какой-нибудь убийца нашего народа.

И стоишь ты, как Украина, в тревоге и печали, и лежишь ты, как мать наша Украина, растленная, разграбленная, с разорванными затуманенными скорбными очами.

Брешут тебе ежедневно, что погибли твои братья в Красной Армии, что скоро весь мир покорит неметчина и ты сама немецкая уже слуга навеки.

Не верь ни одному вражескому слову, помни — ты для них не человек, не женщина, не дивчина. Ты славянка, дочь врага, которого они задались целью уничтожить.

Не выходи за фашиста, как бы они тебе ни угрожали, как бы ни обхаживали. Все обман.

Ты им не жена.

Гитлеровским солдатам приказывают жениться на вас, чтобы и этим разделять, ослаблять, разлагать наш народ, выдавая себя за родичей его.

Они хотят таким образом очернить тебя перед братьями, перед народом, перед Советской властью, малых твоих братьев завербовать в шпиончики.

А при отступлении, убегая с Украины, они бросят тебя, если не пристрелят, как это было уже не раз при их бегстве. Бросят на позор всему народу. И понесешь ты несчастных байстрят своих, свой позор через всю свою жизнь. И будут на тебя показывать люди — смотрите, немецкая повія пошла.

И отвернутся от тебя люди.

Не все прощается на свете, не все.

Береги свою душу, береги свой народ, дочко. Призови на помощь все терпение своего народа, обрати все свои силы, весь разум, все чувства на непримиримую ненависть к оккупантам.

Ненависть к врагу — это наша любовь сегодня. Так послала нам судьба. Так присудила нам история. Верность народу и ненависть к фашистам, вот единственная наша мера жизни сегодня.

Иначе — мы пропали, как народ. Вспомним историю нашего народа.

Долгие столетия лежала в Европе порубленная натрое, начетверо великая украинская земля, населенная нами. Долгие столетия учили нас по-разному думать, молиться, двигаться. Долго грели нас разными огнями, долго просвещали нас — челядников Европы — разным светом и бросали нас столетиями в кровавые бои друг против друга под разными знаменами...

Но жива душа народная. Прошумели столетия, и нашу правду, почти что мертвую от долгого сна, подняли из гроба Ленин и партия. Собрали они наши земли воедино и сказали:

— Живите, братья, спасибо за верность мечу и за дружбу. Не забывайте, что вся ваша сила в единении и дружбе народов. Вы живы и сильны дружбой.

Да не успели мы обняться, не успели приглядеться друг к другу в Буковине, Галичине и на Дунае, как уже снова разорвали наш народ, растерзали Украину, растянули ее немецкие фашисты.

Развозят уже наших людей по всей Европе, как рабов XX века, продают, раскидывают.

Скажите же, юноши Украины, можете ли вы не биться? Нет, не можете. Если бы вы не бились за Украину, вас проклял бы мир и ваши родители, и ваши потомки, ползая на немецких задворках, проклинали бы ваши имена, как предателей своего народа.

Бейтесь же за Украину, как бьются в рядах Красной Армии миллионы лучших сынов Украины, рыцарей, бессмертных героев, прославивших народ свой величайшими и прекраснейшими подвигами на долгие века! Бейтесь за Украину, как бьются славные партизаны и партизанки!

За воссоединенную великую Советскую Украину в семье братских народов!

За скорбную матерь нашу — Украину!

Соединяйтесь, смелые юнаки. Подайте верные руки друг другу.

Помните, нет такой силы, ничего нет в мире, что бы могло спасти поработителя Европы Гитлера и его банду от смерти. Их смерть не за горами. Час расплаты приближается неумолимо, как рок.

Не слушайте гитлеровцев, не слушайте и уничтожайте их, чем попало. Они убийцы украинской нации. Они душители всего славянства. Если же силой или обманом они втянут вас в свою банду, в козацтво ли, в полицию ли, в охрану порядка — бегите с оружием в леса, бейте их, где только можете. Не идите в неметчину на работу. Отговаривайте других. Берегите девушек, детей берегите, прячьте их. Уводите от ошибок, от недоли, не отдавайте их немцам. Не поднимайте руки против народа.

Идите в партизаны!

Идите в партизаны!

Помните и расскажите всем, всему народу, что вся Европа и наша родная Украина будут скоро освобождены от гитлеровского ярма в силу непреложности хода самой истории, что погибнут фашисты и что если даже каждая победа приближала их к неизбежной гибели, то грозное поражение, которое начала наносить им Красная Армия, ускоряет эту гибель.

Будьте достойными помощниками Красной Армии!

Будьте гордыми сынами Украины!

Не забывайте, что есть в жизни народа великие времена, когда никому ничего не прощается по человеческому закону бытия. Трудно вам на Украине, трудно и нам, как трудно всей нашей братской Красной Армии. Много трудов понесли мы и множество жертв. Многие благороднейшие сыны Украины про-

лили свою кровь на полях сражений и положили свою жизнь за свою честную украинскую землю. Близится час победы.

Вернемся мы скоро на свою Украину через невиданное в мире фашистское кладбище, обнимемся и поплачем от разлуки, и от утрат, и от радости победы.

И никто в мире не упрекнет нас, что не были мы щедрыми на труд и кровь в великую историческую пору, что не хватило у нас гнева или мужества в боях.

Пусть воля к борьбе за свободу никогда не покидает вас!

Пусть вам сопутствует счастье!

1942 г.

[СЛАВА НАШЕМУ НАРОДУ!]

Украина!.. Какое сердце сына или брата не трепещет от боли и гнева?

Чьи руки не сжимают сегодня оружия до крови в ногтях?

Чьи уста не посылают проклятий врагу?

В плену наша скорбная матерь, в плену...

Несказанно прекрасной была Украина перед войной. Неописуемые по богатству и красоте безграничные колхозные поля с поражавшим всякое воображение урожаем всех решительно хлебов обещали народу изобилие и радость.

Все, что было с такой любовью и талантом посеяно, посажено, полито, все, что могло расти, цвести, плодоносить и радовать человеческую душу, все пело славу народу — запорожские степи, и Карпатские горы, и Днепр, и Буг, и Днестр, и тихий Дунай.

Объединенный в одну семью, народ украинский вздохнул свободно в первый раз за несколько столетий.

Великое, величественное время!

За годы Советской власти Украина из страны экстенсивного сельского хозяйства превратилась в могущественную страну интенсивного хозяйства хлебных и технических культур и страну передовой индустрии.

Три пятилетки, как три славные исторические победы, выдвинули из народных масс, вырастили многочисленные кадры передовых людей во всех решительно областях народного

хозяйства. Молодая Советская Украина шла к своему празднику двадцатипятилетия как победительница в самом благородном человеческом состоянии — в труде.

Следующая пятилетка подняла бы экономическую и духовную мощь страны до высоты необычайной. Украина была любимой сестрой братских республик. Весь советский народ распевал ее прекрасные песни. Народ называл ее цветущей солнечной Украиной.

О великом трагическом исходе наших армий из Украины будут написаны многие тома исторических книг. Поэты напишут возвышенные красивые стихи, а народ сложит самые грустные думы из всех невольницких дум мрачнейших страниц своей истории.

Как горело жито, куда око глянет, и топталось людьми, машинами и миллионами бездомных коней и коров. Как ревели быки от запахов кровавых и погибали на дорогах во множестве от ящура, сапа и бомб. Как заходило кровавое солнце в дыму, казалось, навеки.

Армия уходила на Восток — молчаливая, скорбная.

Много сот тысяч врагов уложили сыны Украины, но не выдержали и попятились перед стальным валом на Восток — перестраиваться, закаляться, учиться войне на полях сражений и ожесточать свою натуру в смертной ненависти к врагу.

И чем дальше отходила борющаяся Украина, чем ближе казалась Гитлеру победа, тем сильнее и крепче сжимали оружие бойцы, тем крепче становилась неразрывность братьев-народов, тем тверже становилась воля к победе и никогда не покидавшая народа вера в победу.

Никогда не бывать Украине рабой под пятой фашизма, никогда!

Этот неумирающий зов жизни звенит в душе каждого сына Украины, каждого брата Украины, шумит в партизанских лесах, вырывается стоном в лагерях военнопленных невольников, в застенках и тюрьмах.

Этот клич носят в истерзанных своих сердцах многие тысячи бойцов, не успевших отойти с армией при тяжком нашем отступлении из-за ранений, контузий, неумения переплывать реки, или кто не мог покинуть раненого брата на дороге, или мимо отца и матери и плачущих детей пройти не мог, или потерял горизонт, или был опутан и сбит с дороги чудовищными фашистскими брехнями и мучится теперь в немецком рабстве,

готовый перегрызть фашисту горло при малейшей возможности..

Не привезли уже фашисты с собой в обозах на Украину ни гетмана [1], ни Петлюры [2], ни какого-либо другого подставного искусственного лица для создания видимости украинской государственности. Этот неудачный спектакль когда-то с треском провалился и был освистан пулями восставшего народа Украины. Гитлер решил постановки Вильгельма [3] не возобновлять. Никакой Украины! Великая Германия, и больше ничего.

Поставив перед собой задачу уничтожить Украину как государство с целью превращения ее в германскую сельскохозяйственную провинцию и сократить население до нужного минимума, гитлеризм набросился на выполнение этой задачи с невиданной жадной яростью. Начался беспощадный грабеж Украины в невиданных по силе истощения размерах.

Забирается и увозится все, что можно забрать. Увозятся хлеб, металл, кожи, шерсть, рельсы, шпалы, трамвайные вагоны, одежда.

Увозятся люди. По сообщениям фашистских газет, увезено из Украины уже миллион людей и еще один миллион на очереди к весне. На каждой станции разыгрываются потрясающие картины прощаний. Женщины, дети, старики ночуют под открытым небом в ожидании поездов, одетые в лохмотья, в тесноте и вони товарных вагонов.

Нет таких пыток, самых гнусных извращений, которых не применили бы гитлеровские изверги для уничтожения украинского народа.

Но чем ночь темней, тем ярче звезды, тем ярче пылают ненависть к немцам и неповиновение. Уже на виселице нередко болтаются сами вешатели, летят под откосы вражеские военные поезда, пылают склады военного добра, взрываются казармы, автомобили на дорогах, таится ненависть словно за каждым кустом.

Народ не покорился завоевателям.

Для уничтожения украинского народа фашисты расставили тысячи тончайших тенет. Они втягивают одних в так называемое «вільне козацтво», в общество «охраны порядка», других — нет, чтобы разъединить людей. Одних стараются втянуть в полицию, других — в шпионы, третьих — в сторожа над четвертыми. Путем обманов, угроз, пыток и подкупов гитлеровцы пробуют разделить, натравить людей друг на друга, чтобы, даже погибая в неволе, они ненавидели друг друга и гинули от своих же рук. Боясь Красной Армии, они стремятся, чтобы

каждый учинил что-либо, могущее запятнать человека перед его совестью, опустошить его душу, отделить от народа.

В целях разложения народа гитлеровцы женятся по приказу начальства на наших девушках, принуждая их к замужеству обманом, голодом, а чаще всего угрозами расстрела родителей или родственников.

Но и на этом не остановились фашистские изверги. Они пытаются не только завоевать душу украинского народа, названного ими уже в газетах «народом без мужчин». Они хотят, отняв у народа все богатства, уничтожить даже его имя. Они хотят уже вычеркнуть слово «Украина» и пробуют украсть у народа его историю. Стремясь провести полную германизацию Украины, они публично сожгли украинские исторические книги.

Вот в каких условиях протекает беспримерная борьба украинского народа внутри страны. Ограбив дом, отняв одежду, пищу, грабители стучатся уже в его историю, словно история— это хлеб или одежда, а не святая святых народа, неприкосновенная для воровских рук и мстящая за себя грабителям своим. И чтобы злодеяние народоубийства прикрыть совсем, убийцы украинского народа ограбили его музеи и книгохранилища.

Так превратилась цветущая наша Украина в мрачную пустыню, по которой носится фашистское лихо.

«Это поистине мертвая земля, — пишут сами немцы. — Она лежит серая и неподвижная под восточным небом, безлюдная. Везде необработанные поля, и только изредка попадаются встречные. Это босые крестьянки бредут куда глаза глядят».

Да, это разутая гитлеровцами Украина, это наша Украина, растерзанная, ограбленная матерь.

Скорбными очами оглядывается она на свои пожарища, в невыразимых душевных муках протягивает побитые свои рабочие руки к разбросанным детям своим, пострелянным, повешенным на виселицах, осинах и сухих вербах. Много детей породила она на добычу хищным птицам, на растерзание зверям в болотах и оврагах, на поругание врагам своим в далеких немецких шахтах, подземельях, на каторжных рабских работах. А дочки...

«Ой рятуй, рятуй мене, сестро Росіє! Прийшла до мене чорна смерть з німеччини...».

Но не радует немецко-фашистских грабителей украинская земля, не приносит им счастья!

«Жизнь немцев на Украине, — пишут уже сами фашисты,— протекает в мучительном чувстве одиночества, которым охва-

чены все немцы и главным образом руководители сельского хозяйства. Свою работу они вынуждены выполнять одни. Они живут в чужой стране, среди совершенно чужих людей. Очень многие немцы, которые приехали на Украину, гонимые чувством романтизма, испытали глубокое разочарование».

Романтики виселиц, растления и грабежа неспокойны. Ненависть и непримиримость украинского народа пробились уже через проклятые их толстые шкуры.

Множество мерзавцев и палачей погибло от народного гнева, но еще больше смертей ожидает их впереди. Даже главный гитлеровский сатрап Кох уже признает, что превращение Украины в хлебную колонию Германии является делом чрезвычайно трудным, потому что на Украине продолжается партизанская война и украинский народ отказывается сотрудничать с ненавистными захватчиками.

Даже Кох вынужден признать, что лишь ничтожные единицы украинцев стали черными предателями украинского народа, согласились занять административные посты, а подавляющее большинство этих постов занято немцами-фашистами да бывшими немцами-колонистами, которых мы когда-то пригрели, как змей за пазухой, на своей земле.

Зверства и повальные грабежи населения носят характер массовый и исключительно жестокий.

Много сел снесено с лица земли за неуплату налогов.

Бессмысленна и нелепа болтовня о том, что фашисты пригревают украинцев, отделяя их от русских и других жителей страны. Все нации одинаково угнетены и порабощены при фашистах. Все уравнены в страшных эпидемиях, в бесправии и рабстве.

Война идет не на жизнь, а на смерть. Непокоренный украинский народ пошел в партизаны.

Не в неволе, не в рабстве собирался мирный украинский народ праздновать радостное двадцатипятилетие своей советской республики.

Не в братских могилах, не в ямах, не в лагерях и не в партизанских трущобах мечтал он провести этот день.

Работоспособность украинского народа, его щедрость и исключительная трудовая талантливость должны были увенчаться на празднике высоким и славным признанием.

А волнующая программа эпохи великих работ следующего десятилетия раскрывала уже перед глазами народа перспекти-

вы, еще более радостные и необычайные. Сила человеческого коллектива должна была развернуться во всем своем блеске и красоте.

Но история не балует нас. Она и здесь присудила иначе: украинский народ встречает свой праздник с оружием в руках.

На Северном, на Западном, на Южном — на всех фронтах бьются участники величайших событий, как живая грозная история,— ее авторы и кровавые ее выполнители. Дымит история пожарами, курится, как грозный вулкан, и стоят сыны Украины у самого его кратера.

Из седой голубизны веков, из пламени революционных битв выплывают гордые образы славных прадедов великих и отцов, и щедрых товарищей — Хмельницкого, Палия[4], Кармалюка, Зализняка, Боженко и Щорса.

— Есть ли сила? Не перевелись ли рыцари? Не поблек ли род?

— Есть! Не перевелись рыцари! Не поблек наш род! Жива душа народная!

Перекликаются, гремят эпохи. Неувядаемой славой покрыли свои имена многие бессмертные сыны народа — Ридный, Яков Кольчак, Супрун, Перепелица, Затуливитер, Шевченко, Шулидуб, капитан Запорожец, капитан Руденко-Севастопольский, Удовиченко и великое множество других славных товарищей.

Непрерывной вереницей выходят из ворот цехов уральских заводов грозные танки. Это украинские рабочие сражаются за Советскую Украину, как подлинные орденоносные герои.

Рабочие, инженеры, ученые, академики, мастера искусства и мастера выплавок, и забоев, и станков — все ушло с армией для борьбы, все работают не покладая рук. В каждом сердце одна пылающая страсть: «Никогда не быть Украине немецкой, никогда!»

Нет таких трудностей, перед которыми склонил бы голову украинский народ, нет такой цены, которой не заплатил бы он за свою победу. Борьба идет не на жизнь, а на смерть, и немало вылетит, очевидно, из этой жизни недоброго, глупого и пошлого, что мечтало лично поживиться на народном бедствии, дрожа за свою шкуру. Много сметется с лица земли предателей Родины, лакеев, палачей народа, его паразитов и загребателей жара чужими руками.

Но и в этом великом горниле борьбы и лишений родится многое дорогое и прекрасное.

Закалятся в огне и буре характеры, неузнаваемо расширятся габариты человеческих душ, и у многих откроются глаза

на многое, незамечаемое раньше,— вредное, никчемное и ненужное, мимо чего проходили, на что смотрели, но чего не замечали, не видели простодушные очи.

Много трудностей и жесточайших лишений и жертв придется понести еще украинскому народу в борьбе против фашизма. Много отважных лучших сынов Украины сложит еще свои головы на полях битв.

Но из оставшихся в живых война выдвинет в передовые ряды строителей жизни самых честных и щедрых героев — защитников народа, а темное попрячется и потускнеет в ничтожестве своих шкурных страстишек при ослепительном свете завоеванного победного мира.

Какими придут народы-победители к торжественному столу победы, сейчас судить трудно. Но одно можно сказать с уверенностью: украинский народ придет со следами тягчайших потерь и увечий.

Заметит ли мир его жертвы? Сочтет ли шрамы на его иссеченном могучем теле? Сочтут ли народы погибших детей, матерей и воронов на головах повешенных отцов, и скелеты в канавах, и сожженные его города и села?

Да, ничто не должно забыться, ни одна несчастная мать, молившая перед смертью у врага пулю вместо петли, как милостыню.

Как непросто, как трудно достался миру советский человек! Сколько борьбы, сколько усилий благороднейших умов передового человечества выковывали его, очищали его сознание от злобы, паразитизма, национальной ограниченности и всего, что до сих пор еще повергает человечество в пропасть страданий.

Как же много возложила сегодня история на защитника Родины! Сколько гнева и ненависти к оккупантам нужно нести на штыках, и как много добра, ласки, любви и доброго согласия нужно сразу найти в себе и принести с собой в жизнь, чтобы как-то залечить душевные увечья людей в годину великого всенародного бедствия, ибо то, что творится сейчас, есть не только война, превышающая предыдущие войны в столько-то и столько-то раз. Нет. Это великое, беспримерное народное бедствие, обрушившееся на наш народ и на наши законы с невероятной тяжестью.

Множество честных советских работящих рук, крепивших годами оборону и богатство своей Родины, плетут сегодня, как говорится, немецкую колючую проволоку против нас под дулами автоматов.

Бейтесь же, воины великой советской семьи! Уничтожайте, гоните врага! Слава вам, ознаменовавшим двадцатипятилетие вступлением на родную украинскую землю! Пусть крылья победы понесут вас через всю Украину! И не забывайте никогда, с какой тоской и слезами провожал вас при вашем отступлении честный украинский народ, ожидая в немом отчаянии прихода ненавистных гитлеровцев. Сорадуйтесь, сострадайте, вытирайте слезы народу, творите жизнь. Действуйте во имя жизни! Спасайте украинский народ!

Слишком много понес он жертв! Столько отдать, сколько он отдал, не судилось никому.

Счастливый путь! Недалек уже день, когда перед изумленными взорами всего мира среди гари пожарищ и жертвенных своих руин встанет в поте и крови великий Советский Союз народов, благородный и величественный, и поставит впереди себя любимую сестру свою, окровавленную, иссеченную ранами, но прекрасную Украину, воссоединенную и нетленную.

Слава нашему народу!

Слава народу-воину!

1942 г.

ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ ЗНАМЕНА ВЕДУТ НАС К ПОБЕДЕ

В великой мировой войне решается историческая судьба украинского народа. Будет ли он жить и процветать в едином передовом государстве или разорвут его на части на долгие века, разделят границами, будут его онемечивать, румынизировать и снова бросать в бой брата против брата?

Нет, не бывать этому! За свое законное государственное право, за вековую свою культуру в едином своем государстве — в великом Советском Союзе — борется украинский народ. Он определил свою цель вот уже четверть столетия, и никому не позволит ни делить себя, ни командовать собой.

Слушайте, сыны и дочери пылающей в огне Украины! Наступает решающий час освободительной борьбы. Будем же достойными сынами своего великого времени. Выходите все на бой. Кровь за кровь! Смерть за смерть!

Слушайте, братья-украинцы в Америке и Австралии! Настало решающее время расплаты с фашизмом! От Черного моря до Ледовитого океана бьются сыны Советской Украины в рядах Красной Армии, беспощадно мстят врагу за поруганную честь, за руины, за порабощение братьев. Вперед же на бой за освобождение Украины от рабовладельцев-гитлеровцев! Вставайте под знамена армий Объединенных Наций!

Украинские интеллигенты! Наследники революционеров духа — Тараса Шевченко и Ивана Франко! Командиры Красной Армии и партизаны! Поблагодарим судьбу, что возвели-

чила нашу жизнь борьбой за высокую цель. Пусть никакие жертвы не остановят нас в боях — ни пожары, ни руины, ни кровь! Пусть гордые, овеянные славой борьбы за волю дедовские знамена Наливайко, Сагайдачного, Хмельницкого и Зализняка и наше великое красное знамя великого Ленина ведут нас к победе! Тяжел путь к победе, но она не за горами! Залог ее — дружба и совместная борьба вольнолюбивых славян!

1943 г.

СМОТРИТЕ, ЛЮДИ!

Недавно у убитого фашиста обнаружены пять фотографий, которым суждено пережить столетия. Пять фотографий, как пять дактилоскопических автоснимков преступников-любителей, как пять грозных статей приговора над подонками человечества, останутся в истории как трагические шрамы эпохи, как дорогие знаки вечной славы девушки нашей страны.

Смотрите, люди! Это Зоя Космодемьянская[1]. Смотрите, девушки, воины, дети, смотрите, господа международные политики! Вот она идет на смерть, бессмертная среди фашистских мертвецов.

Холодно Зое. Опухшие от мороза и побоев руки ее сжаты в кулаки, как у бойца; босые, в одних лишь чулках, ноги почернели за страшную ночь от мороза. Опухли искусанные в кровь губы; двести ударов немецких ремней всю ночь выбивали признания из нежных девичьих уст и не выбили. Не закричала, не заплакала, не застонала. Все, что могло обрушить на девушку тупое фашистское насилие — аморальность, жестокость и бессильную ненависть к русскому народу,— все перенесла молодая русская душа. Волосы мокрые, смотрите, от величайшего напряжения всех страстей гневного сердца, и кажется,— кровавый пар подымается ввысь от прекрасной головы.

— Да, я ненавижу вас, гитлеровские палачи, всей моей ненавистью, помноженной на ненависть моего народа! — говорит вся ее напряженная девичья фигура.

— Пусть я погибла. Пусть петля, которую вы принесли на мою русскую землю, оборвет мою жизнь, пусть я умру битая, замученная вами, пусть не познала я, не успевшая еще вырасти, жизненных утех и радостей, не родившая народу моему детей, пусть погибну я неосуществленной матерью,— я победила вас. Терпка моя чаша, но несокрушима моя воля. Я русская комсомолка, понимаете ли вы? Не прикасайтесь ко мне, глупые, убогие палачи! Я сама взойду на эшафот с вашим плакатом на груди и с бутылками бензина, которыми я хотела вас сжечь.

Вы били меня перед смертью, вы отморозили мне ноги, вы глумились надо мной. Теперь сфотографируйте меня в своем подлом окружении. Пусть увидит мир, как ничтожны и глупы вы, пусть художники всматриваются в преступные ваши улыбки, в опущенные ваши глаза и тупые ваши обличья, чтоб научиться изображать на картинах палачей и убийц.

Пусть предстану я — повешенная среди вас — перед честным миром, чтоб видели меня вся русская земля, весь родной мой Советский Союз, весь мир, чтоб вздымался он ненавистью к вам, глядя на мою сломанную девичью шею, чтоб священное пламя ненависти к вам пылало в сердцах сестер моих во всем мире!

Когда отделилась она от земли и мертвая застыла на морозе, когда, склонивши набок молодую свою голову, она, наша родная Зоя, притихла, только тогда, очевидно, покинул ее гнев. Он ушел от нее вместе с последним вздохом, чтобы развеяться по всему обездоленному миру, понестись ветрами к сестрам своим на Украину, в Белоруссию, Польшу, на Балканы, в Югославию, в Чехию, по всем славянским землям.

— Посмотрите, что со мной сделали. Нет, вы только посмотрите, люди!

Руки ее повисли вдоль стройного, как у мальчика, тела, и ноги застыли навеки, носочками внутрь. И только тогда, кажется, посмел палач-фотограф подойти к ней поближе и запечатлеть еще на одной фотографии злодеяние своего подлого гитлеровского государства.

Что точно сказала Зоя на эшафоте? Какими словами презрения и гнева заклеймила убийц, погубивших молодую жизнь ее и многих тысяч ее родных сестер? Какие слова пламенной веры в победу, в отмщение, в жизнь и честь великой нашей Отчизны выкрикнула она наспех, когда фашистская петля уже стягивала ее красивую шею, когда ускользали из-под ног подмостки и родное русское село поплыло перед глазами,— мы не

знаем. И может быть, пораженные ужасом, согнанные к месту убийства, невольные свидетели злодеяния не могут поручиться за точность ее слов, но мы, современники грозной эпохи, знаем, что нашедшая в смерти бессмертие Зоя сказала живым и грядущим самые дорогие наши слова:

— Да здравствует Родина, да здравствует верность, бесстрашие и победа!

И ни один — ни поэт, ни историк — не ошибется, когда припишет Зое в высокую вдохновенную минуту творчества самые великие и чистые слова.

Напишутся книги, пропоются возвышенные стихи, родятся картины, и слава Зои перейдет в века из рода в род для вдохновения чистой нашей юности, которой всегда цвела и будет процветать наша земля.

Пусть сгинут гитлеровские палачи!

Пусть сгинет фашистская тьма!

1943 г.

О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Товарищи, я, к большому сожалению, не слышал доклада и не знаю, о чем говорилось в первые три дня. Поэтому я, быть может, буду повторяться, говорить об уже сказанном, согласованном. Прошу меня тогда остановить.

В прошлом году я поехал на фронт и пробыл там шесть с половиной месяцев. Знал я период затишья, период с начала наступления и период отступления. Было больше тяжелого, чем веселого. Работал при штабе Юго-Западного фронта фронтовым писателем, каковым до тех пор никогда не был. Всего написал за истекший год восемнадцать статей [1], десять рассказов [2], пьесу [3] и две трети сценария [4]. Все это я выполнил на двух языках.

Первая статья, которую я написал [5], произвела на меня лично неожиданно огромное впечатление. Я не придавал этой работе особого значения. Я рассматривал ее как служебную деятельность. Я хотел писать сценарий. Но когда я услышал на фронте о резонансе, который она получила, я был потрясен. Особенно на меня подействовало сообщение о том влиянии, какое оказал рассказ «Отступник». Он был отпечатан в количестве трех миллионов и проработан на фронте. Его читали как смертный приговор дезертирам, после чего они расстреливались. Это было самой высокой оценкой моей деятельности. Рассказ приобрел значение, выходящее за обычные пределы нашей литературы.

Теперь я расскажу о некоторых своих впечатлениях, которые я записал вчера ночью.

Недавно я посетил выставку «Ленинградский художник»[6]. Выставка эта странная. Я не увидел на ней трагедии великого города Ленинграда. Все было слабо, безжизненно и в высокой мере бесстрастно. Однако есть люди, мои товарищи-художники, говорящие примерно следующее:

— А вы знаете художника В.? Он так настрадался, что даже кота съел.

Я говорю:

— Вот и пусть напишет, как он съел кота, чтобы через триста лет люди видели, как страдал русский, советский человек, как он нес свое испытание, сколько гордости и терпения заложено было в его душе в великую эпоху Отечественной войны, а не пишите эти мелкие портреты. Наши потомки должны и будут ожидать от нас великого произведения, страстного и волнующего, а мы изображаем пейзажи и прочие вещички о великом городе Ленинграде в эпоху его величайшей трагедии.

Это для меня так и осталось загадкой до сих пор. Это неверно, и не только для живописи, но и для литературы. Я бы хотел, чтобы от литературы, как и от живописи, донеслись в столетия, может быть, недостаточно правильные, с точки зрения анатомической, рисунки, но чтобы эта музыка страстности, яркости и желания победы дошла и победила сердца моих потомков. Нельзя допустить, чтобы проза с течением времени превратилась в описание, в повествовательный очерк. Это неглубокое понятие, неверное понятие. Мы должны слышать гордые, созвучные эпохе, глубоко пережитые идеи, видеть большую, смелую душу. Не совсем верная роль, которую приняли на себя писатели как лишь утвердители мероприятий партии и правительства, а не как рядом идущий с ними человек, как активный разведчик, носитель идей, вдохновитель, привела к неверному пониманию реализма. Мы видим холод, безразличие. Если критикуют — значит, плохо; раз напечатано — значит, хорошо. Это поразительное явление. Я не вижу плохих произведений. Все произведения хорошие — и в литературе и в кино. Во всяком случае, ни одной плохой рецензии не читал. Даже Павел Корчагин, о котором говорил Горбатов[7],— это картина, которая окончилась провалом в кино, но получила хорошую отметку в газете. Это плохой кинофильм, получивший хорошую рецензию. Образовалась какая-то круговая порука. Мы печатаем только бесспорно хорошее. Отсюда

какая-то странная слабость критики. Все это было нетипичным, несинхронным великой обстановке Отечественной войны, не дало возможности поэту, прозаику развернуться на войне. Он не стал ее трибуном, кроме некоторых товарищей, количество которых меньше, чем следовало бы ожидать. Я не нашел у них великих, вдохновенных слов, отражающих пафос истории, гордость и ответственность за нашу великую эпоху.

Вчера лишь у Антокольского[8] я слышал слова об эмоции, когда он говорил о праве на страдание. Я говорю о праве — и обязательном,— праве доведения войны до победного конца. Вот какую задачу ставит эпоха перед нами, и этому должно быть подчинено все, за любую цену и при любых обстоятельствах.

Привычка быть не всегда откровенным в течение ряда лет превратилась во вторую натуру. Даже в отношении врага человечества, проклятого всеми живущими и всем будущим поколением, немецких фашистов, убийц, растлителей, самого лютого во всей истории человечества врага человека,— даже фашист по сей день недостаточно описан и подан. У нас он описывается как вшивый фриц, трусливый немец. Он настолько трус, что боится ослушаться своего унтер-офицера, и его храбрость только в его послушании. Я думаю, что это неверные утверждения, и опасно так ориентировать людей. Неужели мы так немощны, что такого врага, убоявшегося своего унтер-офицера, не могли до сих пор победить, что такой враг сидит на нашей шее, на шее семидесяти миллионов, подвергая их страшным мучениям? Неужели мы, советская нация, есть враги этих ничтожных врагов и будущие их победители? Неужели основная наша задача будет заключаться в победе над боящимися своего унтер-офицера людьми?.. Неверно это. Многие наши командиры завидуют немецким, завидуют их успехам, их уму, налаженности их действий. Мы враги смертельные сильного врага, мы враги гордого врага, и великая честь и великая слава за победу над гордым, могучим врагом, какого еще мир не знал. Вот как надо говорить о немце. Это будет честнее и правильнее. Честь и слава Эренбургу, замечательнейшему советскому писателю, лучшему в рядах наших бойцов. Эренбург не нуждается в подробном описании его качеств. Об этом много уже говорилось и об этом знает вся страна. Нет бойца и командира, который бы иначе относился к его вещам, но и его начинают раздражать эти «бей, бей»... Горбатов прав, когда он говорит, что многое надо пересмот-

реть и двигаться дальше со своим арсеналом изобразительных средств вместе с защитниками Родины.

Писатель Исбах вчера радовался, что наши бойцы пишут стихи, хотя и плохие, с увлечением пишут. Это является результатом их победы на фронте. Меня это не радовало. Я не хочу, чтобы бойцы писали стихи. Не стихи там нужно писать, и, может быть, у немцев нужно поучиться, что писать солдатам. Немецкие солдаты не стихи пишут. Они пишут дневники. Их научили писать дневники. «Пиши дневник, солдат,— говорит ему командование, вся их собачья пропаганда.— Ты автор новой жизни, твой дневник — это твое бессмертие. Ты завоюешь мир. Может быть, тебя убьют, но ты будешь жить в столетиях, и имя твое останется в веках». Так прививают убийце его «историческую миссию», подымают его боевой тон. Я хочу, чтобы наш боец писал дневник, потому что мы победим и наши дневники должны жить в веках. Это — наша историческая миссия, она помогает бойцу крепче держать оружие в руках, чем лирическое пребывание за стихами.

Мы — законные победители грозной силы, равной которой нет в мире, и позвольте требовать от писателя не только бытового реализма войны, требовать показать Добрыню Никитича, Алешу Поповича, а не Акакия Акакиевича[9]. Почему при изображении героя нет героического, сильного образа? Поднимайте дух бойца. Дайте его портрет — великий, сильный и величественный. Дайте бойцу посмотреть на себя, иногда перед смертью полюбоваться собой, чтобы он увидел себя вполне. Дайте гордые движения, красивые действия и слова, каких, может быть, он не говорил в повседневности, но которые есть в его душе. Давайте передадим для всего мира, для грядущего мира, эти необычайные слова и эти чувства, чтобы он вырос на необычайную высоту. Не передразнивайте его язык, а объясните его, пишите языком образа. Вот он стоит перед нами, автор великой новой истории. Жизнь история клубится перед ним, он стоит над кратером вулкана.

Война — это исступление, говорили вчера, война — напряжение неслыханное. Меня эти слова не вполне удовлетворяют. Я за Горбатова. И мне хочется не об исступлении говорить, где эмоции доходят до края, и не о напряжении. Война — это война, не исступление, а всенародное бедствие, сконденсированное до крайней степени, и именно это является равнодействующей всех творческих сил и способностей народа. Война, как ярко сконденсированный этап, есть особенный показатель творческих сил и способностей народа. Нравственная стой-

кость, мужество и мудрость защитников Родины дают им силы стоять твердынями и побеждать.

И еще один вопрос, который не был доведен до конца, потому что товарищи его не поняли. Я говорю о выступлении учительницы [10]. Мне хочется написать рассказ про бойца, который [...] понял все в последнюю роковую минуту, но было уже поздно. Он еле успел подумать о своем учителе, который не научил его самому главному — дисциплине духа, позволял быть неаккуратным, беспечным, ленивым, много разговаривающим, не привил ему уважения и послушания к командиру. Он лишь болтал там, где надо было действовать, и в результате погиб. Рассказ про учителя, который делает ошибки в школе, который иногда ученику неправильно отвечает на вопросы. Про учителя, который говорит, что Волга впадает в Черное море. [...]

Многим мои слова покажутся странными. Но если правда, что в прошлую войну (семидесятых годов) немецкие учителя оказали огромное влияние на победу над французами, писателю следует присмотреться к ошибкам наших учителей, проанализировать, где имеются ошибки воспитания, и дать интересные указания по этому поводу. Неужели писатель и в этой области будет идти в хвосте? Я считаю, что придется государству провести огромную работу не только по перестройке воспитания, но и перестройке учителя, потому что многие учителя являются сами продуктом целого ряда несовершенств воспитания.

И еще один вопрос. Мне кажется, что у нас говорят очень мало или почти не говорят о семидесяти миллионах граждан, пребывающих под ярмом немцев. Ведь почти вся родина моя в немецких руках. Много страданий. Украинский народ несет страшные потери в этой войне. Я горд сегодня как сын украинского народа за то, что украинский народ блестяще выполняет свою роль на всех фронтах, хозяйственных и боевых, я рад и горд сегодня сообщить, что разворачивается сейчас неслыханное в истории народное партизанское движение. Несколько партизанских отрядов обошли почти всю территорию Украины, уже нет уголков, где бы целые области не знали, где Красная Армия, как это было в прошлом году. Огромное количество людей стало на борьбу, не жалея жен, детей, ни разоренных сел, ни разоренных хат. Вот как сегодня отвечает фашизму сам украинский народ, и мне хотелось бы, чтобы мы подумали над рядом вопросов, связанных с освобождением и Украины, и Белоруссии, и части российской территории, рус-

ского народа. Хотелось бы, чтобы мы подумали о душе [людей], о невинных, невольных изменах наших жен и сестер в неволе. [...] Можно требовать абсолютной твердости от очень многих, но, по-видимому, нельзя требовать абсолютной твердости от всех поголовно. Я думаю, что многие бойцы, придя на родную землю, увидят не только сожженную хату (хату мы построим и хлеба напашем), они увидят не только могилы родных, но и тех, кто являлся близкими для них, жен своих, и могут убить их. Они могут сказать: «Как, я кровь проливал, а ты вот как!» Еще уменьшится народу, еще порадуется немец. Субъективно человек, может быть, и прав. Он много отдал государству, он требует. Но есть и другой подход: может быть, надо подняться над всем этим, не увидеть, забыть, понять, смотреть, как на упавший с восьмого этажа камень. Поискать, где больше мудрости. Писателям нужно в своих книгах дать простым, неискушенным душам какие-то примеры, помогающие правильно разобраться в событиях, и как-нибудь поправить, залечить душевные увечья людей.

Эти вопросы, так же как и вопросы педагогические, должны встать перед писателями сегодня, на новом этапе борьбы, и должны быть решены. Писатель сегодня должен быть педагогом в максимальной степени.

Я также думаю, что следует обратить внимание и на такой вопрос, как воспитание в бойцах чувства своей исторической роли, своей исторической гордости и своей миссии, выработавшейся из эпохи, которая по праву, приобретенному кровью, принадлежит в будущем им. Мы недостаточно воспитываем в бойцах чувство национальной гордости. Служение интернационализму должно сочетаться с глубоким уважением к национальному развитию людей, их национальному достоинству, национальной культуре и науке. Я думаю, что советский человек должен представлять собой всесторонне развитую личность. Служа идеям интернационализма, от которых он никогда не откажется, он не должен понимать интернационализм как что-то близкое космополитизму, а должен нести это чувство гордо, как знамя, воздвигнутое на сознании своего национального достоинства.

1943 г.

О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ В ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Я коснусь вопроса, которого не только не касались в диспутах о киноискусстве, но о котором даже вообще позабыли, — вопроса о красоте.

Даже само это слово в течение ряда лет у нас, к сожалению, старательно обходилось, и в конце концов его совсем забыли, оно выпало из нашего лексикона.

Я хочу говорить о красоте, об эстетических требованиях современности применительно к задачам нашей советской кинематографии.

В мировой трагедии, современниками которой мы являемся, наша страна, наш советский народ играет главную, героическую роль. Советский человек — это главный человек земного шара сейчас и в ближайшем будущем. Внимание всего мира приковано к нему, к советскому человеку, и будет приковано долгие годы. Он, советский человек, стоит в центре современности.

С этой позиции мне и хочется рассматривать задачи строительства нашей кинематографии. Речь будет идти, естественно, о нашем герое, о герое Великой Отечественной войны, о советском народе в первую очередь и о его представителе — молодом человеке как выполнителе нашей победы. Основная наша задача — создание образа нашего молодого человека в искусстве кино, самом активном, зримом, динамичном искусстве всего мира. Ни к какому искусству наше государство не предъ-

явит сегодня таких требований, как к искусству кинематографии, потому что это зрительное, массовое искусство. Народ-победитель вправе пожелать, чтобы его героические деяния и образы были представлены человечеству красиво и достойно, соответственно благородству и красоте той роли, которую выполняет он сегодня в мировой истории. Вот почему вопрос о красоте в нашем социалистическом советском искусстве нужно поставить и о нем нужно говорить.

Искусство, в котором нет красоты, — плохое искусство. Когда красота улетает из произведения или совсем не посетила его и автор вдруг почувствует, что «ангелы оставили его душу», — тщетны, тщетны тогда все его ожидания: не утешат его ни благополучные рецензии, ни мимолетные неискренние похвалы. Скоро исчезнет его произведение, словно мертворожденный плод.

Есть волнующая красота в многочисленных непревзойденных подвигах наших защитников Родины и человечества. Есть трогательная красота в наших девушках-воинах, которым история сулила вместо изящной одежды и беззаботной жизни, на что имеет право женственная молодость, солдатские сапоги, лишения и труд походов, нередко кровь и смерть на полях битв.

Есть в этом девичьем образе нашей героини, друга, защитника Родины, красота трогательная, бессмертная. Это — новое в жизни, это наше, и оно не может не быть запечатленным в искусстве. Это должно быть поднято и возвеличено, а не снижено, не обеднено игнорированием красоты в произведениях киноискусства.

Есть красота в мальчике-сеятеле, умилительная красота в подростке, который сражается сегодня на Урале на военных заводах против всех арсеналов Гитлера.

Есть красота торжественная, грозная в жертвенных пожарах, которые нам приходилось во имя победы оставлять после себя, во взрывах наших плотин во имя победы — красота грозная, драматическая.

Есть красота величайшая во всем облике нашего многонационального народа с его авангардом — Коммунистической партией. Есть могучая красота в стремлении советского народа к благородной всеобщности, в его неиссякаемой щедрости и способности к глубочайшей жертвенности во имя победы добра над злом.

И никогда, может быть, у современника (я имею в виду художника-творца) не было столь благодарной почвы для соз-

дания произведений высоких и значительных, как в наше время гигантской борьбы света с тьмой.

Красота нашего государства, наших идеалов, наших людей — в противопоставлении их всей мерзости, подлости и падению человеческой личности в фашизме, в столкновениях, величайших и исключительных по своей драматичности.

Я хочу, чтобы наши герои предстали в киноискусстве перед всем миром не только в своем, так сказать, «программном» превосходстве, но чтобы идейным качествам по праву соответствовали в оформлении фильма и все другие человеческие качества и богатства. Нужно бороться со снижением художественного уровня картин.

Что произошло? Что мешает нам, что вызывает снижение качества нашей продукции? Кроется ли причина этого только в эвакуации, трудностях войны или существуют и другие причины, не совсем еще выявленные и не названные?

Я соглашусь с наличием трудностей войны и эвакуации, но утверждаю, что есть и другие причины. Это игнорирование художником идеи красоты в своем произведении. Почему мы так мало говорим на эту тему? Мало того — зачем изобрели целый арсенал средств борьбы с красотой в своих произведениях?

Главным действующим лицом нашей картины должен быть современный наш молодой человек — выполнитель победы. Он должен пройти по всем экранам планеты и покорить ее не только изображением, игрой эпизодов и ролей в картинах о величайших событиях, но еще и тем, что он, этот молодой человек, внутри себя несет драгоценные, исключительные качества, дорогие всякому прогрессивному человеку.

Поэтому я считаю, что роль выполнителей картины — артистов — вырастает до исключительных высот. К сожалению, мы в очень большой мере игнорировали проблему актера, и это игнорирование начинает сегодня мстить за себя, умаляя красоту наших картин.

Возьмем для примера «Небо Москвы» [1]. Это «Небо Москвы» показалось мне маленьким, невысоким не потому, что там «павильон задавил», не потому, что были трудные производственные условия, а потому, что режиссеры и актеры не поняли до конца, что и кого они изображают, частью какой социальной формы они являются.

Я не ощутил в артистах драматического торжества и величия борьбы. Артисты не донесли этого до зрителя. Наши артисты (пусть на меня не обидятся присутствующие) на сего-

дняшний день зачастую недостаточно интеллектуальны как личности, недостаточно глубоки, чтобы представлять то многомиллионное юношество, которое громит и побеждает Гитлера.

Быть сегодня в искусстве представителем советского юношества — задача великая. Эту роль нужно нести с особой строгой ответственностью, и талант свой нужно блюсти с особой бдительностью. Его так легко прогулять, проразговаривать по пустячкам. Так легко отстать от тех, кого изображаешь, и этим умалить их перед миром, сделать их менее умными и менее дорогими.

Артист П. Алейников пришел в кино с очень привлекательными, светлыми качествами, но впоследствии, благодаря ли тому, что с ним серьезно не работали, не учили его жить, когда надо было учить, а использовали как попало, расхищали его, он (пусть на меня не обижается П. Алейников) постепенно превращается на экране в персонаж сомнительного качества. Какой-то истеричный, с безвольной улыбкой, бесконтрольный. Он уже не работает, я не вижу над ним контроля режиссера. Он «пребывает» на экране, как у себя дома. И поэтому он при внимательном рассмотрении в большой роли перестает меня радовать, «не доносит» образа, упрощает его недостаточной интеллектуальностью.

Хороший, глубокий артист должен быть хорошим гражданином. Артист должен помнить, что он впечатляет зрителя не только планом порученной ему роли, но и личным: внутренним своим планом, который просвечивает через роль. И чем он значительнее, благороднее и глубже, этот личный план, тем он больше обогащает, облагораживает роль. И — наоборот. Вот с этим «наоборот», к сожалению, приходится иметь дело. Горе, когда внутренний план мелок. Поэтому необходима особенная забота о воспитании и образовании актера.

Лежит печать, по-видимому, бытовых каких-то несовершенств и на талантливом актере Б. Андрееве и на Н. Крючкове.

П. Алейников, Б. Андреев, Н. Крючков, М. Бернес — как это мало для нашей страны. Они нравятся публике, но я еще раз повторяю: как это мало. Это уже опасно мало. Иногда я замечаю, что они нравятся публике потаканием ее собственным бытовым несовершенствам.

Я как-то назвал нашу кинематографию «нецелующейся». У нас в картинах не целуются. Наши творцы почему-то условились видеть в этом особый стиль наших отношений.

Во имя чего это делается?

Мало того, что мы умышленно избегаем красивых человеческих движений, я заметил еще, что мы вообще не любим, когда на экране люди близко стоят друг к другу. Я заметил, что у нас актеры почему-то не любят друг другу смотреть в глаза. Они не общаются друг с другом глубоко, до конца. Они действуют преимущественно издалека, говорят громко, чувствуют себя больше докладчиками и сообщают друг другу реплики из сценария, обмениваются репликами. Причем, как правило, обмениваются медленно, потому что реплик не учат, как следует. Чем хуже актер знает реплики, тем медленнее произносит их, и эта затяжка, эта медлительность приобретает ненужную многозначительность и придает многим сценам досадный нюанс фальши.

В картинах много крика, как и много выстрелов.

Я хочу коснуться еще одного «изобразительного» средства борьбы режиссера с красотой. Это плохие костюмы рабочих и колхозников. Наша страна одета в плохие костюмы, ну и что ж? Я, как художник, намерен рассматривать костюм как явление временное, в историческом разрезе кратковременное. В основе его лежит хозяйское законное чувство государственной экономии, которой была подчинена вся наша жизнь в течение ряда лет. Экономия эта во время войны представлялась всем и каждому во всем величии как одно из средств победы. Поэтому я хочу спросить: не следует ли нам с плохим костюмом рабочих и колхозников обращаться на экране как-то по-другому, чем часто до сих пор обращались? Не является ли обилие плохих костюмов, небритости, неряшливости персонажей ненужным в картине?

Я думаю, что является.

Припоминается мне одна фраза А. Франса: «Если бы передо мной стояла дилемма выбора между правдой и красотой, я, пожалуй, взял бы красоту, потому что она ближе к истине, чем голая правда, и она для художника является подлинным учителем жизни». В самом деле, что мы знали бы о Древней Греции и Риме, если бы не их архитекторы, скульпторы, художники, поэты? Хорошая мысль! Я этим не призываю к лакировке действительности. Я апеллирую к чувству меры и понимаю, что обилие «голых правд», вроде небритости, грязи, непричесанности и оборванности, может обратиться против правды искусства.

Кстати, почему первым признаком нашего героя является небритость и любовь к производственным жировым пятнам, к

замазыванию лица, где надо и не надо? Мне непонятно, почему Алейников, который работает в кабине самолета, сделанного по последнему слову техники, выползает оттуда с грязным лицом, как кочегар из трюма. Как будто грязное лицо является признаком сверхдоблести, атрибутом геройства! Ведь в жизни это не так. А если иногда и так, то на экране это нужно не культивировать, а исправлять в меру, чтобы подавать зрителю хороший пример, а не утверждать недостатки и не узаконивать боязнь красивого. Разве не было у нас когда-то разговоров, что наши артисты — исполнители ролей рабочих и крестьян — не должны быть красивыми, что советская артистка, если она не играет буржуазку, должна быть попроще, погрубее. Эта гнилая теория и практика жила, утверждалась. Увлеченные этим «изобретением», творцы словно ослепли, не замечая красоты своих людей. Посмотрите на улице, в армии — как много красивых девушек и юношей, облагороженных мыслью о великих задачах. Сколько хороших физической красотой, гармонией черт и пропорций! Сколько намечается уже богатств во внешнем облике нашего человека. Через два-три поколения мы будем красивейшим народом.

Сочетание физических качеств, заложенных в нашей природе, с расцветом внутреннего облика очень близко к массовому осуществлению.

А актрисы наши сегодня староваты, работают по-домашнему: ни верхом не умеют ездить, ни танцевать, и кожа у них не свежа. Это обидно.

Когда я снимаю эпизод или кадр, я всегда думаю: а будет ли это при всех прочих условиях еще и красиво? Если не будет, ищу другое решение. И когда все снятое в результате одевается в невыдуманный, но отобранный праздничный наряд искусства, дорогой людям, я радуюсь. Неряшливость, плохой костюм, смакование бедности, боязнь красивого лица превращались по инерции (простите за грубое выражение) в подсознательную апологию бедности и грязи. Я не был в Америке, не видел ее, но убежден, что и там есть бедность и грязные костюмы, но американцы не находят нужным это показывать на экране. Они показывают лучшее.

Принцип отбора изобразительных средств, максимально удовлетворяющих эстетическим требованиям нашей советской современности, должен являться главным и обязательным принципом.

Пора положить конец нашему крохоборчеству в смысле актеров. Чем больше мы будем тратить денег на разрешение

проблемы актера — пусть это выражается в миллионах! — тем скорее и больше заработаем на этом миллиардов. Это мое глубочайшее убеждение.

Мне нравится материал Б. Бабочкина[2]. Я хочу верить, что он будет хорошим режиссером. У него есть чувство русского народа, тонкое понимание села, пейзажа. Я сказал бы, что за время войны у нас с этим было не особенно благополучно, недостаточно внимания мы уделяли в этом смысле русскому. Больше всего это удавалось С. Герасимову, И. Пырьеву. Сейчас идет Б. Бабочкин. Остальные настолько увлеклись военным, по старой традиции — урбанистическим, или общим, что русское как-то не было достаточно выражено. Это жаль.

И. Пырьев правильно говорил вчера, что мы часто «театрализованы», особенно в актерской игре и в сценарии. Наши сценарии неэкономны. Они нередко напоминают длинное одноэтажное здание с чередующимися дверями — эпизодами. Тянется этакая повествовательная постройка — неэкономное здание на 2800 метров. А в американских фильмах, например, уже есть попытки на одном фундаменте строить многоэтажное здание сложной архитектурной формы со множеством всевозможных ходов. Они искусно оперируют временем. Они смело уходят во времени назад, вперед, в боковые линии; современность, будущее, прошлое — все дает зрителю много поводов для личных ассоциативных дополнений картины. А это в результате выливается в благодарность автору за творческое доверие к восприятию трудного хода мысли.

Нашу кинодраматургию нужно пересмотреть под знаком углубленного порицания за недоучет природы современности, тех данных, которыми наша современность уже располагает в виде колоссальных скоростей, радио, чрезвычайно уменьшивших земной шар, совершенно конкретизировавших его. В нашей современности уже присутствуют такие координаты бытия, которые позволяют думать, что не только можно, но и следует наметить и утвердить целый ряд новых творческих и технических кинематографических приемов, не вытягивая картину в длинную линию скучного повествования.

Я иногда вижу наши картины, как неполные бокалы вина, и испытываю досаду. Емкость в 2500 метров гораздо больше, чем нам кажется по старой инерции. На вопросах емкости надо остановить особое наше внимание. Чем плотнее картина, чем под большим, так сказать, количеством атмосфер она пронизана мыслью, страстью, чем лаконичнее, спаяннее между собой эпизоды, тем больше молодости, тонуса жизни и ощущения со-

временности в картине, тем приятнее она воспринимается, и за это народ любит кинематографию.

Занимательность — понятие расплывчатое. Я думаю, что вопрос занимательности решится у нас тогда, когда решится вопрос наполнения фильма многообразием творческих приемов.

При создании картины хочется говорить не о занимательности, а о богатстве содержания, о наполненности фильма содержанием, о разнообразии творческой мысли, о неугасимом прометеевом огне искания и проникновения, о том огне, на котором извечно плавится новое на радость человеку.

Вот к этой широте творческой мысли — коллективной, претендующей по законному, завоеванному кровью нашего народа праву на мировое первенство в полном и высоком смысле этого слова, — я и призываю вас, приветствую и благодарю за внимание, с которым вы выслушали мои слова.

1944 г.

Из записных книжек и дневников

1941 ГОД

Оборванные, грязные, обмороженные румынские и итальянские пленные солдаты бросились на таких же жалких немецких пленных и началась потасовка. Их нельзя было разнять. Это было зрелище противное и символичное. Люди смотрели на это с брезгливостью, как на что-то предельно отвратительное.

Горбатые фашистские солдаты — кривые, тонкие, как глисты [1].

Пленных гитлеровцев били женщины, и наши конвоиры ничего не могли поделать. Попытка защитить ни к чему не привела. Женщины были злы и страшны. Это была сама ненависть.

Пленные, которых били женщины и дети на пожарище, молчали. Они знали, что уже давно заслужили любое наказание, не то что побои.

Чем больше гитлеровцы боялись населения, тем больше они его истребляли.

Трагический пафос отступления и жертв. Скот. Хлеб. Истребление. Философия истребления. Самоубийство заводов-гигантов. Днепрогэс. Взрыв. Просьба строителя-директора не рвать.

Мать убила или выдала партизанам своего сына-гетманца, который пришел в село с немцами, так никому и не сказав, что это был ее сын. Стыд превозмог материнское горе [2].

Гитлеровцы прикрывали свое позорное наступление нашим населением. Деды, женщины, дети. Немцы гнали их перед собой. Примолкали наши пулеметы. Тогда в страшной тишине слышны были слова, голоса женщин:

— Стреляйте по нас! Не жалейте, стреляйте, товарищи! Спасайте себя и Украину нашу...

Дед резал ботву, не обращая внимания на бешеный артиллерийский обстрел и бомбардировку:

— А ну их. Много их тут стреляет, а смерть одна. Да и некогда мне. Работы много.

Гитлеровцы приказали открыть церкви. Из-за отсутствия помещений церкви открыли в школах. В школах учат немецкому языку и закону божьему.

— Дети, я должен вам сказать, что бог есть, — сказал учитель и заплакал.

— А ведь раньше вы говорили, что нету.

Крестьяне сразу узнают конспираторов, но притворяются, что не узнают.

Дезертир:

— Да, был против. А вот теперь — хату, жену, детей сожгу и — в лес.

Нечеловеческие условия жизни военнопленных. В яму им бросают дохлую лошадь. Они разрывают ее зубами на куски! [3].

Повешенные падают из петель и разбиваются, как мраморные статуи.

— Что дивизия? Дивизия это на один раз пообедать.

В Чернигове сумасшедшие — на улице, во время обстрела, и хохочут. Один играет на рояле на пожарище. Разлетелся дом. Чудом остался рояль. Сидит сумасшедший и играет что-то веселое — «І шумить, і гуде, дрібен дощик іде» [4] — припевает и хохочет.

Великая и потрясающая тема — украинская женщина и война. Кто вынес и вынесет на своих плечах больше всего бедствий, жестокости, позора, насилия? Украинская мать, сестра, жена, любимая [5].

Возле Запорожья гитлеровцы послали к Днепру за водой голых женщин, чтобы наши не стреляли (можно показать эту потрясающую сцену).

1942 ГОД

6.III

Дед Беличенко — герой — Левко Царь. Умирает героем. Слова о том, как он стал бессмертным [6].

Фашист насиловал женщину. Она отбивалась до последнего. Она была уже почти голой. Она уже была под насильником, и все же он не мог ее взять. Тогда он застрелил ее в лоб из револьвера и изнасиловал ее мертвую...
Так его застигли и убили.

Замученные, поруганные, голодные, несчастные женщины плакали, целовали наших бойцов, целовали все, что было на них, целовали оружие, припадали к холодным танкам на снегу и поливали их горючими слезами. И на все это нельзя было никому смотреть без слез. Радость и горе. То слезы наших матерей, нашей растерзанной, многострадальной Украины.

Допрос командира партизанского отряда. Коммуниста.
— Ничего не скажу.
— Скажешь.
— Нет.
— Мы будем тебя пытать, обрубим руки, выколем глаза... и...
— Не скажу.
Не сказал ни слова.
Остап мой, Остап мой... ты бессмертен.

— Выколите глаза, обрубите руки... Это единственное, что вы можете со мною сделать. Я смеюсь над вами. Вы можете отнять у меня жизнь. Но я уже бессмертен. Я смеюсь над вами. Душа моя свободна от вас. Ее вы не купите и не покорите.

Во всей картине гитлеровцы должны, кроме убийства, обязательно есть. Нашествие крыс и мышей. Это злосчастье. Это вызывает у женщин наших отвращение и презрение.

Возможно, что они назначили Левко Царя старостой. Левко, правда, отказывался, но после сильных побоев согласился.

Основная идея — непобедимая, несокрушимая сила нашего народа, его непреклонный дух, его вера во временность оккупации и его способность к освободительной борьбе. То есть продолжение истории. Разговоры (экскурсы) исторические сделать обязательно.

В режиссерском исполнении предусмотреть и учесть новую, нетрафаретную механику убийства на войне, автоматичность, так сказать, неприцельные выстрелы. Такие же некартинные, неэффектные и падения убитых. Может быть, даже совсем обойти в фильме средние и крупные показы стрельбы и смерти.

Мина Нечитайло после гитлеровских чудовищных истязаний обратился к врагам с такими словами:

— Плохи ваши дела. Вы дело проиграли.

Или:

— Пропали вы все до одного. Разве это война? Это не война. Это бесстыдство и падение вашего народа. Стреляйте, вешайте меня, черт вашу душу возьми, я и глядеть на вас не хочу.

Сделать «очную ставку» Нечитайло, Левко и еще кого-то из партизан или партизанок с кем-то из близких, дорогих, родных, живых или мертвых... — и полное молчание, и непризнание, и неузнавание, что свидетельствовало бы об исполинской духовной силе людей. «Не знаю этого человека, не знаю».

— Твой сын?

— Не знаю этого человека.

— Твой отец?

— Не знаю этого человека.

Экзекуции и казни людей проводились обязательно публично. Людей сгоняли насильно.

Хаты-доты с ходами сообщений обязательно вставить как одно из действенных мест.

Бойцы плакали. Отчего люди плакали? Плач мужчин, плач вьюги, плач в поле, плач в доме. Пришел к семье (дезертир), сел у стола и горько заплакал. Плачь!

Развалины, кровать, бой, отдых. Ночь кошмара. Усталость. Кровать у трубы.

Изнуренные, усталые вошли бойцы (батальон) в село. На четыреста дворов осталось пять хат. Остальные сожжены. Бойцы разместились вокруг труб. Почему-то были целые кровати. Здесь и гармонь и песни. Холод, зажгли костры.

Много костров. Немцы начали обстреливать. Взрывы среди костров. На взрывы не обращали внимания. Позасыпали. Взрыв — рядом спит человек и не слышит.

Повылезали люди из погребов. Вошли наши. Женщина приглашает в хату. Открывает двери — взрыв. Двери были минированы. Или сундук, или окно. Так погибали люди.

Стрельба без прицела. Смерть без позы (упал ничком, икнул).

Таким образом, в картине — убийства и убитые не принимаются во внимание. Поэтому их не нужно укрупнять или останавливаться на них статикой.

Самым страшным во время отступления был плач женщин. Когда я теперь вспоминаю отступление, я вижу длинные-длинные дороги и многочисленные села и околицы, и повсюду женский невыразимый плач. Плакала Украина. Она плакала, горько рыдала, свою долю проклинала. «Ой, сыночки мои, сыночки, на кого ж вы меня покидаете? Куда ведут ваши дороги? Кто накормит вас, кто за вами присмотрит? Где загубите вы свои молодые головы? Кто вернется? Вернитесь! Жита, пшеницы поникли в наших степях. Вернитесь! На кого вы нас покидаете? Ой, деточки наши, куда вас гонят? Покидаете вы нас на горе, на поругание, на глумление врагу. Занесет ли хоть ворон кости ваши домой? Увидите ли, найдете ли вы могилы наши, или втопчут нас в землю фашисты, так что и следа не останется на земле?» [7]

Воют собаки, предвещают недолю. И невиданные птицы летают ночью над селом и предвещают недолю. И скот ревет ночью и предвещает недолю. Бегут степью на восток мыши не-

исчислимые и предвещают недолю. Сыны наши, надежда наша, печаль наша. Ой, побегу я за вами хоть часочек, пока не упаду на землю. Стонет земля подо мною, стонет, плачет-причитает, гудит, чует недолю. Надвигается сила вражья, в железо и сталь закованная, идет смерть наша. Идет наша смерть, наше поругание. Дети наши... Брат мой, муж мой, тато!

Прощайте, мамо. Я не слышу вас. Наша жизнь, и горе и смерть, потонула в океане, растворилась, как капля в море.

Такая наша доля несчастливая, несчастливая земля наша. Плачет девушка, плачет сестра, плачет жена, плачут дети.

Тато наш! Вернитесь. Тато наш молодой, зарежет нас фашист. Выпьет нашу детскую кровь, высосет, выцедит. Уморит нас вшами и голодом.

— Прощайте, мои цветы нежные, прощайте!

Отцы жгли хаты. Девушки плакали. Девушки поили нас холодной водой, и молчали, и всматривались в наши глаза широко раскрытыми глазами, молча вопрошали свою печальную судьбу.

«Что ждет меня? Что ждет красоту мою, мою молодость?»

В глазах девичьих была неизъяснимая скорбь и неуловимое, невыразимое предвидение, предчувствие горькой судьбы. Недоля простерла свою тень на землю нашу, на народ наш. Мы шли на восток...

Девушки — краса земли нашей. С невыразимой печалью смотрели они нам вслед. Их белые лица и белые сухие губы...

Замирали сердца девичьи в немой тоске, и свет плыл в их глазах от предчувствия надругательства, изнасилований, стыда...

Отбивали мы у гитлеровцев наши села. Полусожженные, разрушенные, засоренные, опозоренные, поруганные. Вылезали нам навстречу наши люди. Вылезали те, кого фашисты не успели или не смогли забрать с собой. Люди не радовались своему освобождению. Им нечем было радоваться. Не было силы. Они смотрели на нас, бледные, измученные, и на человеческом челе лежала печать чего-то такого, что нельзя высказать никакими словами...

15. III

Самоубийства немцев.

Повторить несколько раз.

Гитлеровцы в хате или в риге стреляют из пушки. Врывается танк и уничтожает все, что было в риге.

Жалоба фашистского офицера-инвалида на отсутствие уважения к нему со стороны немецкой молодежи.

— А за что уважать скотину и бандита?

Рассказ о бабусе, у которой был госпиталь.

— Я вот каждое утро захожу в овин, переворачиваю мертвых, смотрю, нет ли, мол, знакомого.

— Не страшно?

— Нет. Это когда-то было мертвых страшно. Теперь мертвые люди не страшные. Теперь живые страшные. Какая-то и война не та, что раньше...

Показать, кроме жратвы, еще и разные способы немых разговоров.

1) Немец кудахтает курицей и играет курицу. Баба не знает, что это такое, баба издевается.

2) Немец хочет сала. Он изображает свинью. Долго, на все лады. Баба притворяется, что не знает. Тогда он начинает ее бить и снова хрюкает.

3) Третий хочет меда — гудит пчелой.

Эти сцены было бы очень хорошо разыграть с Аленой Нечитайло [8].

От удара на близкой дистанции фашистский танк взлетел вверх и лопнул, как скорлупа.

Гитлеровцы насиловали девушек.

Девчушки лет по 15—16, бледные, замученные, тихонько плачут.

Написать и не забывать, или ввести в сценарий, характерного, твердого и замкнутого, как орех, четырнадцатилетнего паренька — сына партизана, который был блестящим разведчиком и уничтожил много фашистов.

Он не любит рассказывать, а отец считает его придурковатым. По манерам что-то вроде маленького Мишки Запорожца [9].

Вылезали дети из погребов и землянок, бледные и желтые, они сразу же слепли, смотря на снега. Они долгое время не видели света.

Гитлеровские офицеры — скоты и мерзавцы, как на заказ. Они отвратительнее своих хамских солдат. Они крали, били, грабили и насиловали. Перед ними дрожало наше население и немецкие солдаты тоже.

На меня находит такой восторг, такая сила, что если бы я могла, я сделалась бы невидимой птицей, я полетела бы на фронт и клевала бы врагу глаза, рвала бы его когтями, била бы его крыльями, пугала бы его страшным своим криком.

Как гнали коров на восток. Как умирали драгоценные коровы и как плакали над ними бабы, как плакала и причитала тетка Ульяна, вспоминая, как она холила корову, мыла ее и готовила к выставке [10].

Село. Пятьдесят домов пылает. Две тысячи трупов...
Горит село. Зима. Открываются двери. Из хаты со страшным криком выбегает полуголая босая девушка и бежит улицей в поле. За нею фашисты. Не догнали. Убили.

Дотла сожженное село. Среди руин и пепла — скелеты. Это семья, и лишь одна девочка вылезла живой из погреба. Припадает она к материным костям и произносит: «І шумить і гуде, дрібен дощик іде». Или из Шевченко.

В колхозе во время тяжкой беды, плена, расстрелов, грабежей и всего, что принесла гитлеровщина.

Левко Царь — какие страдания. Какая адская мука... А ведь еще подумать, что придут наши и найдется и у нас не один молодчик, который, не разобравшись ни в чем и никому и ничему не веря, начнет издеваться надо мной,— слугою, мол, Гитлера. Такой-сякой, дескать, не убежал на восток.
А как же убежишь? Не хватило бы чемоданов на всех, на 30 миллионов [11].

Танк врывается прямо в хату, в немецкий штаб (извне и внутри).

Один из героев сценария или пьесы должен быть Героем Советского Союза. Он должен прилететь самолетом. Его ждет мать, всматриваясь в небо: где ты, сокол мой, где ты, орел мой сизокрылый, прилети с неба, да вырви меня из неволи, и

понеси меня, и т. д. А может быть, лучше, чтоб это был Лаврин Нечитайло?

Он прилетает. Ему нужно бомбардировать свое село, так как в нем немецкие отряды.

Гитлеровцы прикрываются нашими людьми. Люди кричат в небо: «Стреляйте, не жалейте нас, не жалейте!» [12]

Зашли переночевать в чуть ли не единственную хату. Хата была полна. Был один раненый. Он лежал на полу возле хозяйки. Она отвернулась от раненого, даже не посмотрела на него, даже слова ему не сказала и заснула. Неужели не рада она своему освобождению, неужели что-то ей не по душе? Да. А уже после мы узнали, что оккупанты расстреляли ее мужа, отца, двух братьев и сестру, а ее насиловали. Нет, нечем ей было радоваться. У нее была полумертвая душа.

— Я не радуюсь уже ничему. У меня душа полумертвая.

— Человеческая душа — это чаша для горя. Если чаша полна, сколько ни лей, больше уже не поместится. У меня, наверно, чаша маленькая. Убили у меня деток и отца, сожгли меня (и т. д. и т. п. что-то страшное), а вот живу, не умер. Раньше я хотел умереть. Я кричал. Я плакал по ночам. Я заливал своим горем весь мир. А горе прибавлялось, прибавлялось, прибывало, как вода весной, и полилось через край.

Теперь уже, что хотите, мне все равно. Я уже полон. Значит — душа у меня опустела.

Действительность стала много страшнее любого, даже лишенного вкуса воображения. И ее так и нужно показать. Душа человеческая меряется полной мерой, да такой, о которой даже и не подозревал мир. Книги и фильмы о нашей правде, о нашем народе должны трещать от ужаса, страданий, гнева и неслыханной силы человеческого духа.

Хата-дот, с подземным ходом к другой хате или к хлеву, с пулеметом и т. п. По сути говоря, все село, все хаты стоят на траншеях.

Партизаны — пареньки лет по шестнадцати и девчушки. Худенькие, поют, выносят раненых.

Один персонаж не может обойтись без острот нигде. После доклада о международном положении, когда докладчик сказал:

— Таким образом, можно сделать вот какие выводы...
Он добавил:
— Что было — видели, что будет — увидим.
Все засмеялись.

Мать смотрит на небо из погреба, из ямы, высматривает сына, летчика Нечитайло. Где ты, сын?
Прилетает летчик. Машину посадил, сам без сознания.

Однажды вел танки в бой, вылез из люка, махнул рукой вперед и опустился мертвый.

— Как начал я их давить танком, то так противно мне стало, да такая злость, что, казалось, подавил бы всех. А после боя посмотрел на гусеницы, так чуть меня не вырвало. Кровь, мясо, мозг[13].

Бойцы так устали, что падали на снег прямо при двадцатиградусном морозе и тут же засыпали. Их сразу же будили, чтобы они не замерзли.

Пришли гитлеровцы в село. Устроили митинг. После митинга-собрания офицер предложил спеть украинские песни. Предложили одной женщине начать. Она хотела было начать песню и вдруг горько, в голос, заплакала: «Усі гори зеленіють».

М. долго размазывал высокопарный, пафосный тост за «любовь к жизни», как самому дорогому, как утверждение жизни, о жизни, про жизнь. Помолчите, пожалуйста. В вашей любви к жизни, вот в этом застольном сытом панегирике, я вижу обыкновенную боязнь смерти. С этой любовью не повоюешь... Там, на позиции, остались умеющие презреть жизнь и забыть о ней. Там бойцы, а не хлюпики.
Интересно изобразить в пьесе или в романе такого выспреннего М., у которого буквально каждый шаг рассчитан на эффект, пафос и глубокомыслие. Все в превосходной степени.

Чернее черной земли несчастные люди.

Разведчик или партизан вошел в хату, взял у немца из рук кувшин молока, медленно выпил его, поставил на стол,

вытер губы и потом перестрелял из автомата всех шестерых фашистов, которые не знали от неожиданности, что делать. После этого он вышел из хаты.

Есть у меня три темы:

1. Продолжение старых персонажей.
2. Тема о судьбе женщины (большая тема).
3. Мир через освобожденное село и сорок разрушенных хат, две тысячи трупов и двух живых женщин.

Надо додумать и объединить их в одно произведение [14].

Борщевские болота. Записать все, что рассказывал К., и обязательно найти в ЦК инструктора Костенко [15].

Война стала большой, как жизнь, как смерть. Воюет все человечество. Словно бы земной шар влетел в какую-то кровавую, безумную туманность. Война стала жизнью человечества. И тема войны, следовательно, на долгие годы будет основной темой искусства. И каждая газета уже несет в себе целые произведения о войне. Каждый более или менее пристойный очерк таит в себе несметное количество содержания. Значит, чтобы не потонуть в пучине необычных фактов, нужно хорошо-хорошо продумать конструкцию и пьесы, и рассказа, и сценария. Украина должна родить сильнейшие произведения о народе в войне, хотя бы одно произведение. Хватит ли силы у писателей? Гей, хто в лузі, озовися!

30.III

Лучше умереть, погибнуть героем, чем жить рабом.

Лучше умру стоя, чем стану жить на коленях — стреляйте, не вертитесь перед глазами [16].

Огромные стаи воронья поднялись из-за поля подсолнечника. Таких, каких никогда не мыслил никто, не то что не видел.

Бездомные лошади в подсолнечниках, в полузапряжках. И расстрелянные крестьяне (описать их). Это немцы не успели вывезти.

И всюду трупный смрад. Профессор Ильченко:

— Иногда был такой смрад, что людей от него рвало, у людей болела голова и терялось сознание.

Трупный смрад, трупный смрад.

— Ну, как поживаете?
— Имеем отсрочку у смерти.

— Товарищ командир, дышать не могу. Наседают. Лупцуют минами сильно.
— А ты, сукин сын, чего хотел? Ты думал, фашисты хлебом-солью будут встречать? Ты куда шел? На войну или на посиделки?

Цимбал, Байда, Неборак, Кучерявый, Барабаш, Крапля, Сарана Василь [17].

Тетка называет свою хату дотом.

...Бедная хатка, чего только ты не видела на свете. Кто тебя не грабил, кто не бил тебя, не обстреливал, какие люди не ночевали в тебе! Иногда странно делается, как ты стоишь еще на земле, как смотришь своими темными оконцами на свет божий, и что в тебе есть, что в тебе думают и каких песен уже давно не поют, и как плачут... Разорвался... Загудело... Ударило хатку тяжелым снарядом, и разлетелась она на кусочки, даже дыма не оставив в воздухе. И осталась среди снегов куча угля, щепок и печь с трубой, и побитые горшки на припечке, а в печурке пучочек сухеньких гвоздик «от сглазу» [18].

Как хорошо воевать нашим соседям. На каждого фронтовика по два писателя и журналиста — и опишут, и прикрасят, и произведут в герои. А убитому даже красивое предсмертное письмо напишут, не говоря уж о посмертном стихотворении.

— Что вы думаете про смерть на войне?
— Мы о ней не думаем. Мы ее видим ежедневно, ежечасно. Вот мы, вот наши трупы. Все так просто и словно бы естественно. Мы думаем об одном — как бы побольше набить фашистов. Иначе и нельзя. Мы со смертью примирились заранее. И поэтому, если мы с вами разговариваем, значит, имеем у нее отсрочку.

Возле разбитой печи, среди руин, лежала бабуся. Она была мертва. Убита или смертельно контужена. Бог ее знает. Она была аккуратненькая в смерти, как и в жизни. Она умерла

около печи, возле которой хлопотала с полстолетия, если не больше. Наверно, и в последнюю смертную минутку еще варила она бойцам поесть. У нее были маленькие руки с красивыми, нежными, длинными пальцами. Она прижала их, пригоршнями, к земляному полу, и грязный пол казался чище и теплее среди снегов. На ее лице было много-много разных морщин. Они покрыли ее черты множеством черточек, невыразимых, неизъяснимых. И лицо ее казалось необычайно, трогательно родным и знакомым. Будто она наша убитая родная мать. Целые тома мыслей, целые партитуры печальнейшей в мире ненаписанной музыки таились между черточками морщин, вокруг ее мертвых глаз. Держась восковой рукой за бабушкину юбку, лежала верхняя половинка ее белокурой внучки, девочки лет пяти.

Кто она?

Она наша мать.

1. IV

Братья-дезертиры играют в карты. Старший брат — на печи. Разговаривает с ними.

— В карты играете?

Написать разговор.

— Пусть потеплеет, в партизаны пойдем.

— Вот придут наши, что тогда будет,— говорит один, пригорюнившись [19].

Гитлеровцы расстреливают за всякую ерунду. Это провести красной нитью через картину.

Они везли стрелять детей. Дети позамерзали, тогда их побросали в канаву.

Под видом весенней посевной забирают у крестьян все зерно в колхозные зернохранилища. Вывозят в Германию.

Абсолютно не считаются с величиной колхозов и накладывают ужасные налоги.

Все — куры, поросята — на учете.

Учителя из офицерских бывших жен, старые шмары и попадьи. Книг нет, тетрадей тоже. Школа, она же и церковь.

Возле села лагерь пленных, лагерь смерти. Бьют баб, которые приносят поесть, и бросают за колючую проволоку.

Так тетку Ульяну догнали и чуть не убили[20]. Из Харькова разбегается народ.

Везет вот так женщина деток в саночках из Харькова в село. К детям — а дети замерзли.

— Ничего. Все равно ни один немец отсюда живым не уйдет.

В Липовецком районе гитлеровцы расстреляли 480 душевнобольных в лечебнице.

В селе никто на собрании не мог быть избранным в президиум. Никто не согласился быть старостой. Назначили полоумного. Гитлеровцы убеждают всех, что они пришли окончательно...

Очень любопытно, что за крещение младенца немцы давали по восемь литров водки. Клички «Иван» для всех.

В Днепродзержинске одна женщина убила из-за угла в переулке четырех гитлеровцев.

Ульяна разгневалась и, схватив кочергу, стала бить фашиста. Фашист из хаты, да в село[21].

Власть: староста села, полиция. Возвращаются кулаки, пришел Жеривол[22].

Категория работающих:
1) из чувства страха,
2) добровольно, враждебный нам элемент.

Часты случаи изнасилования, даже старых женщин.
Девушки ночуют спрятавшись.

Бабка Вывдя: — Говорят, в Иерусалиме открылась дырка в небо, и оттуда голос божий, будто по радио, каждый день говорит: «Молитесь хоть раз в день, и тогда будет счастье и сгинут фашисты».

На конференции учителей в Томашковке было сказано, что учителя, родившиеся после 1917 года, должны все креститься. В Никополе всех учителей поп окропил святой водой.

Зашли фашисты к колхознику Затуливитру и, замкнув хату, сожгли всю семью.

Два раненых бойца, скитаясь в крови и горе, зашли, а может быть, ползком залезли, через леваду и огороды к одной старой женщине укрыться от смерти и воды напиться. Да там и остались. Напоила, накормила, и раны обмыла, и чистыми платками перевязала, и, может, и сорочку порезала, приготовленную на смерть. Приходили иногда соседки. Одна — кувшин молока, другая — яичек десяток, третья — сала или еще чего-нибудь, а четвертая — в управу, к старосте, да и выдала всех.

Явились гитлеровцы.

— Что за люди?

— Сыны мои.

— Врешь!

— Как это вру? Разве же не их двоих провожала в Красную Армию. Не трогайте. Это же мои дети.

— Ваша мать?

— Да. Мать. Правда. Наша родная мама.

— Врешь, комиссар!

И за оружие.

Стала мать перед детьми, обоих заслонила.

— Не дам, разбойники! Люди добрые, ведь это мои дети, мои сыны. Что же вы молчите? Скажите же! Неужели вам жалко их признать, хоть на минуточку! Умоляю...

— Врет она. Ее сыновья на фронте.

И плакали люди. А бойцы тогда:

— Мамаша! Спасибо, прощайте! Нам уже не страшно и не жаль ничего, если есть на Украине вот такая мать... Стреляйте, гады!

Команда, залп. Упали бойцы, а с ними и бессмертная мать своих сынов, которые где-то на фронте бьют фашистов и вспоминают мать [23].

1.IV

Это большая тема, это тема для новеллы, для поэмы, для сценария.

Это факт, а не выдуманная автором композиция о матери нашего великого многострадального, доброго народа.

Найдись, писатель, равный талантом красоте материнской души, и напиши для всех грядущих лет это кристальное проявление материнской души, гения украинской матери.

Из рассказов партизана

— А хату высадили в воздух гранатой.

— Врет она. Ее сыновья убиты еще в девятнадцатом году.

— А едят, если бы вы видели, как черви. Едят и едят, аж смотреть противно.

Гитлеровец разделся в хате, совсем голый. Он передал свою одежду — мыть и выбивать вшей. Здесь же начал мыться. Все это при людях, при всей семье. Зашли наши разведчики, выгнали его на мороз, и побежал он, как сумасшедший, в поле.

— О, проклятая скотина! Стыда у тебя нет.

— Я видел, как из хаты выскочила голая женщина и побежала по снегу с криком: «Спасите! Что они делают со мною?! Ой, горе мое, спасите!» За нею бежали два фашиста.

Девушку пятнадцати лет Христю изнасиловали, и она сошла с ума.

У другой женщины, двадцати шести лет, были седые волосы, и она казалась пожилой.

Расстреливают всех, кто заболел сыпняком.

На крыльцо вышла переводчица и сказала:

— Вы пришли жаловаться? Не забывайте, что вы завоеваны и жаловаться не можете, а наши солдаты знают, что им делать. Здравствуйте. Идите вон!

Можно сделать в фильме интересную сцену такого содержания [24].

Возле села лагерь с колючей проволокой. В лагере военнопленные. Находятся они, конечно, в условиях ужасных. Стерегут их немцы и, предположим, часть из службы порядка, во всяком случае, что-то вроде Гусака — изменника или дезертира. И вот ночью между ними тихая беседа через колючую проволоку. Разговор тихий, чтоб никого не всполошить, и тем

страшнее он своей острой ненавистью. Дальше они не выдержали и сцепились, схватив друг друга за грудь через проволоку. Они стали выкручивать друг другу руки. Потом они обнялись и душили друг друга через проволоку, и пленный не отпускал часового, чтобы тот его не застрелил. А чуть дальше пленные, сбившись в страшную грязную кучу, пели «Ой, закувала та сива зозуля» [25].

О чем говорили они? О власти. О социализме, о колхозе. О Гитлере, об истории, о Богдане, о Мазепе [26], обо всем. Это символическая извечная картина: многосотлетний поединок двух украинцев, ожесточенных долгой, тяжелой тернистой дорогой...

Может быть, часовой — галичанин или гетманец, а может, просто крестьянин из одного и того же села. Разговор может вестись на общих и на крупных планах: голова и проволока, проволока и кровь, и блеск глаз и зубов в темноте, и терновая проволока обвивает голову и впивается шипами в лоб, и кровь каплет со лба, и боль, и ненависть, и страстность.

Может быть, по сюжету, часового подослали для того, чтобы он что-то выведал у пленного после допроса. Абсолютно верно. На допросе партизан назвал себя командиром партизанского отряда, отказавшись давать объяснения. Это он ночует в лагере, завтра его расстреляют, и это последняя попытка Гусака или Персистого выслужиться перед гитлеровским начальством.

Наутро так их и нашли обоих. Они были мертвы — в объятьях, обвитые проволокой.

Написать, что разговаривали и душили они друг друга тихо, шепотом, чтобы не дать никому подойти. Тихо! Они говорили о Тимошенко и, когда провокатор сказал, что Тимошенко перешел на сторону гитлеровцев, партизан ударил его:

— Брешешь ты, так твою мать!

— Не брешу, сам слышал по радио.

— Брешет ваше радио!

Когда часовой слышал где-то шелест или еще что, он стрелял из автомата в небо.

— Стреляете в небо, тени своей боитесь, трусы, воры! — шипел партизан.

— Стреляем, когда вздумаем. Есть чем стрелять.

— Отцу своему дурному скажи, продажная душа.

«І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав» [27].

Люди, как лошади, как тягловая сила,— это характерное явление и его обязательно нужно подать в сценарии.

Левко Царь:

— Я не человек уже. Я лошадь. Дурак, дурак, ругал я когда-то выходной советский день. А теперь, в немецкое воскресенье, мы возим на себе немецкое оружие, и православный украинский батюшка благословляет наш труд. Позор, позор! О, позор! [28]

О чем еще говорили возле проволоки. О жене Левко. О трупе ее горемычном, что лежал вот тут, недалеко, с картошкой в маленьком горшочке, с кусочками хлеба и сала, которые бедняжка несла, чтобы бросить за проволоку голодным пленным...

— Ты убил, гадюка? Подай-ка хлеб. Я есть хочу.

— Пусть не лезет на рожон. Приказа не было. Команда есть — не лезь. Огонь!

Они говорили тихо и медленно, словно нехотя, словно утомившись, слова вырывались у них из уст, как одиночные выстрелы, то вдруг, когда острота антагонизма начинала раздирать их горячие души, они расстреливали друг друга в упор бешеным ураганом непрерывного пулеметного огня. Слова вылетали у них со скоростью необычайной. Одно против другого. Казалось, они на лету таранили друг друга. И брызги, которые иногда вылетали из их губ, казались искрами...

Временами они с высоких вершин своего поединка падали — очевидно, от большой усталости — до обыкновенной ругани. Они ругали друг друга грубейшими ругательствами! Когда минутный ветер сдувал с их губ пламя, они дымили друг на друга самой отвратительной бранью [29].

— Пусти... твоей матери...

— Ага! Просишь? Гад! Вот завтра повытягиваем из тебя жилы, нарежем звезд из твоей спины...

— Режьте. Режьте, людоеды.

— Отрежем и язык твой. Скажешь, гадина!

— А я твоему Гитлеру... в рот.

— Захрустят твои кости! На твоих глазах порежем твоих детей и распорем брюхо твоей жене.

— Слушай, Иуда! Нечистая сила!

— Заговоришь, пес.

— Неужели тебя породила наша земля?

— Всего народила наша земля. Хорошо унавожена она с незапамятных времен кровью и трупом. Хватит ей и теперь.

— Пусти руку. Пусти, не крути. Ты — поганый гной, навоз для немецкой культуры.

— Я — навоз? Я — гной?

— ...Оставь меня. Я хочу перед смертью подумать. Иди, делай свое страшное дело. Я хочу очиститься от твоего прикосновения. Я сын трудового народа, партизан. Не пропадут даром мои страдания. Я не погибну. Уже не забудут меня живые и я буду жить... Тетка Левкова, бедная, спасибо вам за хлеб. Подай хлеб! Я его не буду есть. Я поцелую его.

— А черта хочешь? Ух, как я ненавижу тебя. Говори, где партизаны?

— Ты мертвец.

2.IV

Сегодня, как и вчера, как и завтра, все газеты переполнены описаниями таких жестоких фактов, таких нечеловеческих поступков врагов наших, таким ужасом человеческих страданий, что сверхчеловеческое горе уже давно перелилось через каждую душу и уже не воспринимается чувствами, не вызывает даже гнева, а лишь привычный рефлекс отвращения или возмущения. И если бы мы были такими, как Данте, Микеланджело, ничего бы не изменилось. То, что делается, не вмещается ныне ни в одну душу и вместиться не может.

В газетах поток очерков все об этом же, о крови, о смерти. И их, может быть, не все уже и читают. Они, эти рассказы, похожи друг на друга, как крики человеческой боли, или вопли отчаяния, или стоны невыносимого горя...

Народ не захочет бытово-описательного чтива о войне. Народу нужно показать его изнутри, в его страданиях, в его сомнениях, в его борьбе, обновлении, и показать ему путь и перспективы. Народ надо возвеличить и успокоить, и воспитывать в добре, потому что зла выпало на его долю, на одно поколение, столько, что хватило бы и на десять колен. Чтобы упражнения в жестокости, в зле и горе не ожесточили его душу, не притупили ее и чтоб радость победы не усыпила его бдительности, не убаюкала в самовлюбленности молодцов от пера, и стола, и кабинета, и чтоб не забыл он своих ошибок, и не утратил оптимизма, и не впал в оптимизм самовлюбленных провинциалов и застольных ораторов. А самое главное, чтобы наша трибуна перестала, наконец, быть гоголевским заколдованным местом[30], на котором трава не растет, а растет иногда что-то такое, что и черт не разберет.

— Что это вы пишете, что фотографируете?

— Записываем, увековечиваем все ваши страдания, и трупы сожженных, порубанных и мерзлых детей и сестер ваших.

— Они же противные и страшные...

— Они страшны. Какое отчаяние и ужас пережили они от распроклятых палачей.

Запишем и нарисуем картины.

— Да? Может быть, не нужно? Может быть, забыть? Разве мертвых вернешь? А ведь жить нужно не воспоминаниями об ужасах. Забыть.

— Как?

— Потому что тогда — лучше умереть. Нужно жить чем-то хорошим. Вы нам о хорошем напишите да научите нас хорошему и красивому. Хочется радости, хоть капельку.

— Это лакировка.

— Не знаем. Пожалейте нас.

Беседа партизан о войне и о жизни. О будущем. Будем, вот, биться еще года два, а потом писатели да кино будут показывать это лет тридцать. Тьфу!

— Гитлер мобилизует молодежь для войны с Англией. Пропащая молодежь. Что ждет ее?..

— Как страшно жить. Какая страшная у нас судьба. Нас сорок миллионов. Скажите мне, почему мы такие несчастные и безголовые?

— Не стоит углубляться в старину. А если посмотреть вперед — не время об этом думать. Опоздали лет на сто. Сейчас, сынок, нужно всем вместе ковать единство, а не разъединяться. И гордость наша перед человечеством — в единстве.

— Я не согласен.

— Потому что глуп. Ты, идиот, что-то думаешь о немецких планах. Запомни. Немцы — мертвецы. Мертвецы и те, кто с ними, вольно или невольно.

У меня был дед, похожий на бога. И когда я молился богу, я видел в красном углу как бы портрет деда, а сам дед лежал на печи и кашлял. Он был высокий, с серыми глазами и тонким носом. У него был высокий лоб и волнистые волосы, а борода белая. Был он добрый и искренний. Он безумно любил хорошую беседу и хорошее слово. Мать считала его чер-

нокнижником и прятала его псалтырь. Потом она стала жечь псалтырь по листочку в печи.

Он был добрый дух луга и рыбы. Он собирал грибы и ягоды лучше нас и разговаривал с лошадьми [31].

Написать новеллу или эпизод... о равнодушии к своему прошлому и истории. Вспомнить только наши памятники старины! Они все в оскудении... [32]

Каменец-подольские башни [33], Меджибож [34], Лавра, Выдубель [35], Никольский собор [36], Черниговский «заключенный» музей [37] и Спасская церковь [38]... Прочие примеры. Сабля Богдана [39] и Субботин [40]. Новелла о «заключенном» музее. Разбазаривание лавры. Упадок музеев.

Не хлебом, и не сахаром, и не хлопком, и не углем единым будет жить человек в социализме!

Героя Советского Союза И. Кузина, раненого и изнуренного, бойцы выносят из болот на плечах. Героя т. Руденко, убитого под Севастополем, товарищи-бойцы несут под бешеным артиллерийским обстрелом. Картина потрясающая по своему классическому мужеству.

Сцена в хате.

Разговаривая, женщина глянула в окно.

— О, уже повели вниз.

Разговор продолжается.

— Повели... Кого это? А! Повели стрелять. А меня отпустили на пару дней.

Три ночи обсуждали братья Пивни, куда податься — в дезертиры или пробираться в армию. Пошли в дезертиры и попали в немецкий концентрационный лагерь. Сильно пострадали и проклинали свою судьбу [41].

В селе Прелесном допрашивали парня. Он увидел своего «допрошенного» отца и не выдал партизан. Их вывели на двор. Во дворе верба с двумя петлями. Отец потерял сознание и его бесчувственного повесили немцы. Сын бросился к отцу с криком — защитить. Его ударили прикладом в грудь, и он тоже лишился чувств. Вешал Чайченко.

— Пропали мы. Будет же теперь нам! Прикажут нам бить и стрелять друг друга. Раздвоились мы, и многие из нас теперь погибнут, много нас по обе стороны.

(Чайченко сам повесил Пономаренко. Пономаренко был без сознания, пока приставили к вербе табуреты, подняли его и повесили. Сосед!)

Смотрю я вокруг. Мучаются, бедствуют люди. Кровь и страдания. Смерть и геройство. Отчаяние и надежда. И все в невиданных масштабах. Война, война... И никто, наверно, по сути, не знает, как бесповоротно изменилась жизнь наша. А она изменилась, и никто уже не вернет того, что было.

Умерла Кобылянская[42], старенькая бабуся нашей литературы... Кто-то вынужден писать некролог. С. раздобыл ее последнее письмо в «Огонек», под которым она подписалась, раздобыл как «материал» для некролога. О, С.! О, торгаши...

3.IV

Моя военная одежда мне нравится. Очевидно, это единственная возможность приравнять себя к здоровым людям.

Филон Стародуб, Иван Золотаренко, Мартын Небач, Владыка Тарас, Харитон. Хлеб Данило.

— Где зарыли снаряды?

— Не скажу.

Написать статью об украинской женщине. О женщине, о матери, о сестре[43]. О нашей Ярославне[44], которая рано на заре плачет о нас. О Катерине[45], которая плакала с Ярославной, о нашей гениальной украинской хозяйке, о хозяйке Украины. О великом и тернистом пути ее, от плача Ярославны до выступления с трибуны Верховного Совета СССР. Длинный, тяжкий, но почетный путь прошла ты, сестра, от плача Ярославны до трибуны Верховного Совета СССР, где возвеличили тебя, славную и достойную хозяйку Украины. О красоте Украины и богатстве, о роли женщины в красоте полей, в чистоте сортов растений и скота. Ганна Кошевая[46]. О войне, о ее безумном бремени, тяжкой работе, голоде, обидах, судьбах детей и нашествии врага. Кто измерит твои муки, кто измерит глубину твоих слез и отчаяния! А насилия, а венерические болезни, а боязнь проклятого плода от врага!

Партизанка, хранительница отцовского очага, хранительница нации! Мы скоро вернемся. Мы, очищенные собственными жертвами, окружим тебя уважением и любовью. И весь мир будет смотреть на тебя и преклонится перед тобою, мученица наша и наша краса!

Твои подвиги, все бесчисленные проявления твоей человечности и доброты, и человеческого достоинства, и страшной силы твоего терпения — все мы соберем, как дорогие сокровища, и возвеличим в искусстве новой нашей истории, истории освободителей человечества.

Мы оденем тебя в самую лучшую одежду и будем целовать тебе руки. Мы пошлем тебя в лучшие, в наивысшие школы, чтобы красота твоя сияла разумом и благородством образованности, и все воспитание с малых твоих лет направим на расцвет присущих твоей природе нежности и мягкости.

А сейчас мы клянемся тебе, сестра и дочь, и призываем. Закаляй свое сердце, ненавидь врага, ненавидь изменника, бойся предателя Украины Советской. Это твой злейший враг.

О женщине, о девушке в шинели и сапогах, о сестре милосердия, сестре-печальнице, о партизанке, о связистке[47]. Ты красива в своей неуклюжей шинели, и нам жалко тебя. Ты вызываешь чувство уважения, и потому хочется поклониться тебе, девочка, за то, что вытаскиваешь нас из боя, что несешь нам добрые вести, что кормишь нас.

Не поддавайтесь немцам. Лучше смерть, чем жизнь в рабстве.

Эту статью написать в немного ином плане, чем первая. Начать ее с поля боя, с освобожденного села, с разрушенной хаты возле трупа старой женщины и дальнейшие отступления раза два перебить другими картинами. Возможно, использовать эпизод о тетке Явдохе Пилипенко.

И этот факт вознести до высокого напряжения.

Пересмотреть записную книжку для использования некоторых соображений.

Обращение к женщинам Европы и Америки. Коротенький экскурс в область счастья и красоты.

Пройдет сто, двести, триста лет.

...Вот поле боя. Пролетают десятки аэропланов и рассыпают бомбы. Я падаю на окровавленный земной шар и жду.

Я слышу. Это не война. Смотрю кругом — это не война в обычном понимании этого слова. Это болезнь нашей планеты в стадии острого кризиса. Планета пролетает кровавую туманность, воюет все человечество.

Умрете вы, дамы. Кто вспомнит вас, красоту вашу? Вы, как морской песок. Но кто не преклонится в веках перед красотой наших женщин?

Спите, мама. Вечная слава красоте вашего бессмертного имени [48].

Пройдет тысяча, две, три тысячи лет. С каким трепетом и завистью будут вспоминать нас юноши, мужи и мудрецы, и войну, и все наше необычайное поколение гвардейцев, людей-рыцарей, на долю которых выпало столько несчастья и счастья, столько горя и радости, столько крови, столько пота, столько борьбы и труда, и побед, что их с лихвой хватило бы на десяток поколений. Сколько книг о нас напишут. Сколько песен. Сколько благородных потомков-юношей в мечтах своих будут переносить свою жизнь на машине времени в нашу величественную эпоху. В эпоху, когда все было трудно, когда ничто не давалось даром, когда за каждый клочок своей земли платили кровью и жизнью. В это величественное, мужественное время, в те времена, когда наш советский двадцатипятилетний народ-богатырь вышел сражаться со змеем и победил его. И вошел в мировую историю с чистым лицом и прямой походкой. На наших полях решается судьба человечества.

Каждый хочет раздвоиться, раздесятериться, чтобы убить побольше немцев.

Многому научит нас война, многое изменится. Многое станет иным.

И сейчас каждый, кто любит Родину и не только Родину, а и человечество, и братство людей, равенство, а не рознь наций, а не порабощение жизни, а не смерть,— каждый понял все величие пятилеток, которые спасли человечество от упадка. И каждый наш заводик, каждый станочек, который мы покупали, отрывая иногда кусок хлеба ото рта, каждая наша жертва и т. д.

А самое главное — люди. Люди, отлитые из сплава, люди, которых не берет ни пуля, ни огонь, ни меч.

Вечная слава вам, тетка Явдоха. И вашему имени и красоте вашей. Не было у вас красивых туфель, не душились вы «Коти», а полынью и травами, не было у вас шелка и сезонных шляп. Вы не путешествовали по заграницам. Вам было некогда. Вы, как пчелка, были заняты и все носили мед для советского улья, пока не убили вас враги.

Вы не ездили по заграницам смотреть на разные прекрасные дива. Но заграница придет к вам посмотреть на вашу разрушенную хату и на ваш памятник, и если есть в ней капля совести, если имеет она совесть, то поклонится вашей красоте, дорогая моя мать, славянка-украинка.

Были вы коммунисткой или нет? Был ли у вас партбилет? Наверно, не было. Вы даже не думали о нем. Но зерно, посеянное великим сеятелем Лениным, выросло в душе вашей. Пусть же все человечество знает и пусть знают все Пилипенки, как умерла их далекая-далекая прабабушка в великом 1942 году на поле брани, когда решалась судьба человечества [49].

3.IV. Ночь.

Вернулся из Сибири Жеривол Григорий и стал бесчинствовать в селе. Это он допрашивал. Может быть, Скидана.

Написать статью на тему о любви к Родине и национальной гордости (достоинстве).

Написать статью об украинской культуре. И культуре фашистских прихвостней. Бросились искать гитлеровские слуги, да так никого и не нашли. Все ушли в армию.

Или, может быть, объединить эти статьи в одну?

Показать бойца, который уничтожил — он один — двести фрицев.

Не было у вас и чемоданов, кованых, с чехлами и медными гвоздями, чтобы убежать на восток страха ради...

Трижды раненный защитник Севастополя Руденко отказался идти в госпиталь и возглавил атаку с укрепленного пункта. «Вперед, за Родину!» Семь пуль впились в грудь ге-

роя. Лейтенант упал. Бойцы подняли его тело и под градом минных осколков и пулеметным огнем, ломая окружение, отошли, отбиваясь и оглядываясь на вершину горы, которую они штурмовали и взяли.

4.IV

Боец вернулся в родное село, а села нет. Ни хаты, ни отца, ни матери, никого. Пусто везде, и одинокая печь смотрела на него, и он заплакал.

Будут женщины Украины плакать еще лет тридцать. Закончится война. Кого же прибьет к родному берегу? Кто потонет? Разметает ураган детей моих, как чаек, и долго-долго будут они разносить печаль по всему миру. Будут они всюду. Всюду будут белеть кости этих бесприютных.

5.IV [19]

Читал по радио свою статью[50]. Видел всю несчастную Украину, и мать свою, и отца, прощался с ними и плакал, читаючи.

А вчера, когда писал воспоминания о детстве, о хате, о деде, о сенокосе, был один в маленькой комнатенке, смеялся и плакал. Боже мой, сколько же прекрасного и дорогого было в моей жизни, что никогда-никогда уже не вернется. Сколько красоты на Десне, на сенокосе, везде и всюду, куда только не глянет мое душевное око...[51]

7.IV

Растаял снег. На полях трупов видимо-невидимо. Смрад. Немцы согнали бедных наших женщин убирать трупы. Женщины теряли сознание от смрада.

Церковь божья непогрешима. Грешить могут лишь отдельные священнослужители.

Как равнодушна, по сути говоря, к людям фигурка моего бывшего друга. И какая жалкая, трусливая.

Кобзаря цитировать трудно. Он напоминает мне огненную печь, из которой осторожно выхватывают угольки и, перебрасывая их между пальцами, прикуривают...

Сбили крупного немецкого летчика-полковника. В штабе полковник попросил показать ему великого героя, который сбил его, великого летуна. Позвали молодого лейтенанта. Полковник подошел к лейтенанту и протянул руку:

— Разрешите пожать руку великому асу, который осилил меня, величайшего во всей империи.

— Иди к такой матери! Буду я себе руки гадить,— сказал лейтенант Затуливитер и отвернулся. — Разрешите идти, товарищ генерал?

12.IV

Возвращались из столовой с милым Андреем Малышко, встретили на улице много молодых девочек. Они были в сапогах, в неуклюжих военных шинелях и шапках. Они были военными новичками. Они смотрели на нас внимательно и напряженно и приветливо по-военному. Мы ответили им. У меня на глазах навернулись слезы. Мне почему-то стало жалко их, как своих детей, которые переоделись для тяжелой игры в несчастье. Какая война большая. Она неумолимо втягивает в себя все живое, молодое, здоровое и съедает.

Вчера ночью, при свечке, читал «На терновой проволоке» [52] Г., и Ж. Ж. трудно было меня слушать. Он позевывал, вертелся на стуле, трещал. Наконец, сорвался с места, чтоб не захрапеть, и стал, как слон в столовой, топтаться по комнате. После чтения он обрадовался и сразу же сказал жене и Г. «Ну, пойдемте!» Правда, тот не пошел. Поговорили немного. Хороший, приятный человек Г. и умный. Но как мало он знает, каким скудным было, наверно, его воспитание. Только хороший характер и природный талант поднимают его и держат в нем какой-то славный человеческий огонь...

14.IV

Письмо к авиатору напишу сегодня вечером непременно [53]. Оно необходимо народу и мне, как надежда, как песнопение. Может быть, его напечатают листовкой и разбросают по всей Украине. Призвать не идти в войска, не поддаваться на провокации. Ты, летчик, могуч, у тебя стальные крылья. Полети на Украину ночью — над нею ночь,— развей по ней мои слова. Разбросай их над полями, над селами и городами. Пусть летят они весенними птицами к нашим родным хатам.

Это должна быть своеобразная новелла страниц на шесть-восемь.

Это призыв не поддаваться немецкому обдуриванию. Не радоваться земельным клочкам, потому что интересы наши шире и цели более далекие. О дезертирах.

— Лети, сынок, на Украину. Посмотри на Днепро, на киевские кручи.

В рассказе о дезертирах вспомнить беседу с хирургом.

— Брошу все, возьму оружие и буду крушить все, что попадется под руку.

— Как это — все... и т. д.

Партизаны ловили плаксивых дезертиров, тех, которые утратили веру в победу, тех, кто решил «не тратить силы и опускаться на дно», и расстреливали в Христа и...[54]

Женщины убивали дезертиров. У женщин сыновья и мужья в армии. Они убивали дезертиров кольями[55].

— По голове генерал, а не по штанам.

Потом меня «перекинули». Дальше я был «перекинут». Потом меня «перебросили». Потом я «открепился», «прикрепился», «привязался»...

Перебрасывание — большое наше зло. Оно развило у нас, породило дилетантство и поверхностных, безответственных бездельников. Перебрасывают его, как кусок... и он радуется — вот какой послужной список, есть чем похвастаться. Крылов: «Простите, если вы даже гений,— половину работ на ваших постах вы провалили! Я не перебрасываюсь, я работаю на одной работе всю жизнь. Я вас презираю. Я не хочу сидеть с вами за одним столом... Вы не сердитесь, Вера Павловна, я ушел».

— Дайте сахар, Надежда Федоровна. Дайте, я вам приказываю.

Потом ко мне:

— Знаете, Александр Петрович, настоящий ученый не должен жениться... Его душа должна пребывать в сферах высоких созерцаний. Женщины в силу пошлости своей природы и ничтожества в состоянии погубить все ваши планы. Вы

из орла превратитесь в раздраженного гуся, вроде, извините меня... Что? Милостивая государыня...

«Надежда».

Великий выход из Киева. Трагедия киевлян. Вера в несокрушимость Киева. Вера в свое бессмертие и непобедимость. Прощание. Днепр — мосты — горы. Утро. Борщевские болота. Плотина, остров. Авто. Кладки, потоп. Гнилая вода. Смерть, смерть. По шею в воде три дня. Ночь. Обстрел. Раненые в три этажа. Обстрел. На берегу давят танки. Поход автоколонн широким фронтом, 60 километров в час, под обстрелом, со взрывами бензиновых цистерн и автомобилей с боеприпасами. Во ржи около Борисполя — полно людей. Это была страшная картина. Гибель девчурок в воде. Лошадей, матерей и детей. Прощание. Надежда. Просьба пристрелить. Расстрелы раненых, чтоб не кричали, и засасываемых трясиной [56].

Старуху расстреляли за то, что она в воскресенье собирала колоски в поле.

Заводят в школу (у классной доски с детскими надписями) лошадей.

В клубе, школе, церкви. Сторож — конюх — поп. Молитесь, дядька Левко!

Вчера опять писал «Зачарованную Десну» и опять плакал. Я писал утром и читал хлопцам (Малышко, Самченко [57], Пустовойту [58] и Воскрекасенко [59]), смеялся и плакал и был от взволнованности расслабленным почти весь день.

В новелле «Дезертиры» дать на одной странице не меньше десяти убийств.

Коротко.

— Так они захватили его, да и расстреляли. А потом и их поймали и постреляли всех до одного.

— Вот так и постреляем друг друга, если продержатся немцы с год. И тогда уже не будет виноватых — чисто будет, куда ни глянь.

Как тяжко жить бездетному в жизни и в искусстве...
Такая жалкая судьба киевской киностудии.
Меня уже нет.

— Убегаете, сукины сыны?

Дед перевозил челном через Десну командиров из немецкого окружения.

— Много я уже вас перевез. Если бы всех собрать, можно было бы фашистов побить. Уйма людей бежит.

(Около села Лилиенталь.)

Деды-перевозчики — это образ эпохи. Деды-перевозчики через реки. Хорошие. Их много. Они смелые, не боятся смерти и будто сговорились. Сюда же рассказ Хоменко. Ненависть и презрение деда не имели границ. Бежите? У деда сыновья командиры.

— Не знаю, чего это вы бежите? Чего вы так той смерти боитесь? Уже если война, так нечего ее бояться. Уж если суждена она кому, то не убежишь от нее никуда. Ни в танке не спрячешься, ни в печи не замажешься. Потопил бы я вас...

— Спасибо, дедушка!

— Иди под три черта!

Описать, как деда расстреляли за перевоз.

— Стреляйте, не вертитесь перед глазами. Проиграли вы войну.

— Почему?

— Не скажу [60].

«Заколдованная трибуна» (к рассказу).

Описать трибуну. Делали [ее] какие-то неизвестные мастера из какого-то особенного дерева и, видимо, закляли, заколдовали ее. Она отличалась от всех трибун тем, что на ней никто не мог сказать правды. Уж какие смельчаки всходили на нее иногда! Но что-то отклоняло их язык, и они говорили что-то такое... Сходили с трибуны.

А как только кончишь говорить, сойдешь с трибуны, опять словно бы все становится на свое место. Что и говорить, она была заколдована и говорили на ней, как во сне. Все говорили одним тоном. Некоторые, став на это заколдованное место, менялись так, что их нельзя было узнать. Поэтому, вероятно, и стенограммы нужно было после править — они были похожие на речи, как дрова на дерево... [61].

Прочитал Н. мою статью «Украина в огне». Он сказал мне:

— Одно место нереально. Ты пишешь — был великий плач. Это неправда. Именно никакого плача не было. Смотрели печально, но не плакали. Никто не плакал, понимаешь?

«Брешешь,— подумал я,— брешешь, слепой чиновник. Плакала она вся, обливала слезами твою дорогу, а ты смотрел на нее через свои очки и через стекло закрытой машины и ничего не видел, потому что не хотел видеть, слепец. Плакала, ой, как плакала! Ни одна страна на свете так не плакала. Даже старые деды плакали так, что глаза опухали от слез».

Дед на вокзале.

— Что вы здесь делаете?

— Да потерялся я. Везла меня дочка куда-то, да и потеряла. А сыны на войне. А одного убили. А бабку разнесла бомба. И хату. Так сижу это и думаю — доем вот хлеб, да и умру. А горько умирать на чужбине. А зять — летчик. А дочка потеряла. И куда люди едут...

Остался один на перроне. Седой. Глаза голубые, как у ребенка.

18.IV

Авиацию переоценили. Все-таки она больше способствует утверждению жилищного кризиса, чем победе.

Зло — от человеческой глупости.

Сумасшедший прейскурант смертей уже никого не волнует в своей бытовой реальности. Он повторяется, и все же его воспринимает бытовой психический строй человека.

Так подумал я сегодня, когда мне рассказали, как боец Д. лег на жерло немецкой пушки и залил ее своей кровью, чтобы пропустить свою часть мимо этого дзота без потерь. Об этом когда-нибудь напишу. Запишу имя его и фамилию, и село, откуда он, и после войны поставлю ему в селе памятник.

Он закончил в Киевском институте народного образования два факультета. И хоть наука ведет к познанию истины, он был лжив, как холоп, самоуверен и упрям, как педант, и весьма плохой поэт, чтобы быть удушенным королевской полицией.

— Не хватает крови! Дайте крови!

— Нету.

— Давайте руки.

Хирург здесь же нацедил крови из сестер Лысенко и Татаренко и врача Зубенко и влил раненому.

В хате гомон, свадьба. Возле хаты рвутся два снаряда. Все дрожит и падает. Только люди не обращают внимания. Может быть, показать несколько убитых при взрыве. В хате никто не обращает внимания. Может быть, кто-то произносит милый застольный тост за кого-то. Всем приятно.

Как он рвался в свое село! Вот оно совсем близко. Он был и боец, и разведчик, и всё. Он знал здесь каждую тропочку. Вот он врывается в дзот. Вот село после кровавого боя стало нашим. Он побежал изо всей силы к своей хате. Что это? Развалины. Труба, куча грязи, кости матери, жены, дочки. Стал расспрашивать. А где же отец? Увели немцы. И всюду такое...

Кары фашистам! Кары!

— Товарищи, теперь я уже не боец. Я только мститель. Я хочу умереть, я утоплюсь в фашистской крови. Прощай, село, прощай, мое горе... [62]

Хирург резал раненых пятеро суток. Там же он и ел. На пятый день его вырвало, и он упал на раненого. Его вынесли.

Его ударило о стену, и он потерял сознание, потом он снова продолжал резать [63].

Много собралось. Были сыны Украины, были сыны украинского народа, были и просто сукины сыны.

— Страшно вспомнить. Мы ездили танками по фашистам. Мы давили их нашими гусеницами, как саранчу, как мышей.

Сколько фрицев на нашем счету? Тысячи, а может быть, и десятки тысяч. А сколько немецких пушек переломали мы, сколько мы раздавили пулеметов, минометов, сколько дзотов превратили мы в хлам, со всей их начинкой. Мы знаем одно — мы недаром родились в великий час Октября и недаром жили на свете.

— А врагам народа, тем, кто обдуривает его в газетках и обивает пороги немецких гестапо, живодерам, передай, что лучше было бы им на свет не родиться, лучше было бы, чтобы их вовсе не видела земля наша. Что их не примет земля наша. Они умрут в неметчине, там, где собирается сейчас все человеческое непотребство.

Немцы сентиментальны. Не нужно этого забывать, когда пишешь листовки. Полноценные и неполноценные. Без ноги — неполноценные. Герой потерял руку — заслужил неполноценность. Поговорить о любви человека к своему телу. Об уничтожении своих раненых.

Написать листовку к офицерам о солдатах [64]. Эту листовку нужно сделать главной. Офицер, куда ведешь ты своих солдат? Солдат как бы подслушивает, что о нем говорят, как решается его судьба.

Развлечение ли опрятная листовка?
Нет, это привычка к нормальному качеству.
У немцев высокая полиграфия.

Наши листовки скучны. Они апеллируют к уму, они сухи.

Не нужно делать листовку пристрастно, нужно ее писать правдиво, т. е. эмоционально. Это ведь разговор о жизни над могилой, перед дулами орудий.

Не будем забывать, что мы не немцы. Мы не просто враги немцев, не просто сильнее немцев. Мы люди-братья, в окружении людей...

Мы все должны стремиться, если не к идеалу, так хотя бы к полуидеалу... (оратор).

— Здрасьте, товарищи! Как работаете? — спросило... собачье, птенчик-пискаленок Н., въехав в село при отступлении из Киева. Он вылез из машины весь в новом.

— Да вот, видите, что делается. А вот чего это вы, такие молодые да новенькие, да как будто не туда едете?

Птенчик сразу же приумолк и исчез в машине.

— Вы, знаете, я нарвался на бандитское село,— говорил он вечером где-то в штабе.— Они все ждут немцев. Все остались там, ждут. Ну, ничего. Мы еще вернемся.

Вот так-то [65].

22.IV

Немецкого офицера взяли в плен и повезли в штаб корпуса. Везли их, собственно, целую группу.

— Кто нас будет расстреливать? — спросил один офицер.

Переводчик передал вопрос командиру. Командир посмотрел на офицера.

— А разве вы сделали что-то такое, за что вас, по вашему мнению, надо расстрелять?

Офицер замолк. Он перепугался. Он уже понял, что его не расстреляют. А то, что он делал с людьми, потонуло.

— Спроси его, что он такое сделал?

— Я ничего не сделал.

— Врешь. К сожалению, я, при всем желании, не могу тебя расстрелять. Приказано. Вам жить.

Командир сплюнул, затянулся папиросой и отвернулся. Они проезжали через село, дотла разрушенное немцами.

24.IV

— Вас не расстреляют. Вас поселят вместе с румынами, итальянцами...

Офицеры побледнели.

— Встаньте и снимите шапки. Я расскажу об Алене Нечитайлихе [66].

Нет более великой смерти, чем смерть в правом бою за друга своего.

27. IV

«Умейте красиво чтить погибших наших героев!» — пишет Сталин в приказе. А где они? Как и не жили вовсе. Погиб — и нет следа. Где уж там. Загребают задними ногами, бегом вытесняют в небытие, как на местечковое кладбище. Боязнь, видите ли, траура. А на деле — отсутствие в мелких душах высоких чувств к человеку, к нашему героическому, многострадальному человеку. И убогий, нечеловеческий вид наших кладбищ уже давно говорит мне об этом. Кладбище тоже живое зеркало.

29.IV

Заканчивается апрель. Войдут в берега речки, и выйдет из берегов человеческая кровь. Начнется неслыханная в мире бойня. Кто кого? Май, июнь — вот два месяца, которые войдут в историю человечества, как самые кровавые месяцы. Сколько смертей, сколько ран, сколько страха, и труда, и пота, и проклятий. Помоги мне, боже. Пусть уж мы будем изранены и из-

ломаны, пусть будет в развалинах наш Киев, но пусть он будет наш. Мне хочется поработать еще десяток лет, но если бы для победы нужно было отдать мою жизнь, я бы отдал, не задумываясь, безо всяких колебаний.

Сегодня прочитал ноту...[67]. Это самый страшный исторический документ, написанный человеческой рукой. С этим документом хочется лететь, падать на фашистскую Германию огнем и ядом и истребить ее, проклятую, чтобы и следа от нее не осталось на политой человеческой кровью земле.

30.IV

Как девушка просила бойца взять ее, лишить ее девственности.

— Все равно придут немцы. Чует мое сердце пропала я, погибла красота моя.

— Как же я возьму тебя, девушка, если я отступаю. Не герой я.

— Ты несчастный и я несчастная, я знаю...

Ночь нежнейших ласк и печали. И воспоминания парня, и вся война, и страдания ее в селе, и воспоминания, и война.

Отступление. Встреча. Разговор. Ночь, зарева пожаров. Любовь. Разговор. Печаль и нежность. Высказывания, их и мои. Прощание. Написать рассказ обязательно. Война и его воспоминания о незабываемом, и его нечеловеческая ненависть к немцам, и неслыханная непримиримость и жестокость — у этого тихого, безобидного хлопца, который до войны мухи не убил.

Встретил ли он ее? Дай, боже, чтобы встретил. Какая бы она ни была. Пусть она будет исковеркана, пусть будет больна, в слезах, пусть у нее будут белые волосы — она всегда будет ему дороже всего на свете. Она всегда будет его чистая, непорочная возлюбленная, к которой никогда не перестанет стремиться его сердце и его молодые чистые помыслы, имя которой он прошепчет своими опаленными устами, умирая в бою с лютым врагом. Он был танкист. Использовать описание танковой борьбы из статьи «К летчику» и записок. Танковый поединок. Это должна быть — дорогая моя любовь, новелла всем сердцем, всеми чувствами, всей душой[68].

Описать их постель. Как она раздевалась. Как она пахла любистком.

— А у тебя волосы пахнут огурцами свежими. И дыхание твое пахнет молоком.

— И твое.

Как они изумлялись друг другом. Как у них были широко раскрыты глаза. И как они всматривались друг в друга и за всю ночь ни на минуту не свели друг с друга глаз. Как они находили друг в друге что-то удивительное и чарующее, какие-то волшебные откровения, как прошла у них несмелость и как каждый из них ощущал в себе силу любви и гордость обладания и нежную благодарность. То им казалось, что они знают друг друга уже давно-давно, до конца, то, внезапно, словно бы нежданная новизна встречи начинала волновать их, а надо всем этим стояли действительность и страшная необходимость. Гремели пушки и слышен был плач и вой псов.

— Поцелуй мне груди...

— Слышишь — ревут пушки...

— Возьми меня еще раз на прощанье...

— Не забудешь меня?

— Милый мой!

— Милая моя!

— Мой любимый!

— Моя любимая!

— Мне уже не страшно.

— И мне нет — я чувствую в себе исполинскую силу.

— Если бы мы были мужем и женой, мы никогда не сказали бы друг другу плохого слова. Да?

— Да.

— Ты найдешь меня?

— Да, да.

— Или ты умрешь?

— Я тебя не забуду.

— Иди ко мне, иди!

Будто сошлись столетия чистой, простой народной любви, что сеет детей на нашей земле, и столетия трагических прощаний украинской девушки, воспетой в шевченковских песнях.

— Скажи, что я хорошая.

— А я?

— Милый мой!

— Милая моя, ты плачешь?

— Да... Нет, я не плачу. Это только слезы, а мне так хорошо с тобой, я такая счастливая... Я невеста... Так тебя зовут — Василь?

— Василь.

— Василь?

— Вася.
— Василь, а я Саня.
— Чего ты плачешь?
— Но и ты плачешь. Не надо.
Они плакали и плакали.

Спали они или нет? Иногда они оба впадали во что-то, подобное сну, но это был не сон. Они не переставали ощущать друг друга и как бы летели в объятиях над синим морем и слышали то ли музыку, то ли далекий трезвон и весенние потоки. Они разошлись утром, до восхода солнца, по холодной росе, около перелаза за садом.

После самых страшных боев:
— Где ты, Саня, где ты, голубка моя?
Он пел песни, где поется о милой, о разлуке.
— Саня, я пробьюсь к тебе через дзоты и пожары. Я уничтожу все стены, которые немцы строят твоими руками, и припаду к твоей груди, звезда моя вечерняя. Славянка моя, украинка печальная. С полными глазами слез. С глазами-родниками, полными слез.

1.V

Если же я не приду, если упаду я огнем с неба на врага, если засну я, утомленный запахами крови и трупов, и никто не будет знать, где моя могила, если взорвусь я выше деревьев среди гущи врагов и разлечусь на кусочки, и костей моих не наберется для могилы, я стану, Саня, в твоем селе бронзовым памятником. Принеси же венок на мою могилу. Надень на меня венец из цветов, из васильков и любистка, ты так хорошо ими пахла.

Будут собираться девчата, и [слушать] сказки стариков...

Вернется Василь к Сане. Вернется. Обнимет Саню, сыночка на руках, что будет когда-нибудь большим человеком. Если же взорвется Василь где-то выше деревьев...

— Я памятником стану в твоем селе, из бронзы или из пушечных жерл, которые я сокрушил. Я вернусь!

Почему же не бросила Саня села? Почему не пошла с ним вместе? Почему не села она в грузовик или в поезд?

У нее не было чемоданов. Саня жила на земле, а не в многоэтажном доме, у нее не было квартиры, у нее была хата, хаточка с цветами и земля. Она обрабатывала землю свою и украшала ее. Она была частью народа...

Если же Саня работает на немцев, если роет она против нас вражеские окопы и плетет колючую проволоку, если бьет она немецких вшей и сеет хлеб для немцев в поле — пусть отсохнут руки у всех поэтов, кто мыслит против нее плохо, хотя в минуты страшного отчаяния она иногда и проклинала нас, что бросили ее все и не умерли на Днепре.

Начало Сани. Она раздавала бойцам, стоя на окраине села, около хаты, около ворот или перелаза, все — хлеб, молоко кислое и сладкое, сало, потом воду. Василю она давала воду из ведра. Он напился, поднял голову, и они посмотрели друг на друга. Был вечер.

Прощай. Прощай.

Плачет Саня-Ярославна [69]. Летит кукушкой в воронежские степи. Опустошенная вернулась в хату. Стала она каменной.

— Со мною, мама, можно уже делать, что угодно. Я каменная и останусь каменной на всю войну. Я вычеркну войну из своей жизни, я каменею, у меня сердце закаменело.

— Почему ты не поешь?

— Я каменная. Мой муж на войне. Я не могу петь.

— Она девка.

— Я женщина.

— Брешешь. Разденьте и осмотрите ее.

Раздели ее немцы. Вечером Саня была седой. Она лежала среди разорванной одежды голая, седая и была похожа на мраморную статую на своей могильной плите.

Она была уже давно наполнена горем до краев. Горе давно уже переливалось через край. Она была мокрая, в холодном поту. Ей казалось, что она умерла.

Пятьдесят тысяч несчастных наших дивчат и молодых женщин вывезено в Германию на сельскохозяйственные работы и в бардаки для обслуживания рабочих-рабов, навезенных из Франции, Италии и других оккупированных стран.

Везли их поездами, набитыми до отказа бедными нашими невольницами. Поезда ехали через всю Украину днем и ночью. И ночная темнота, и в ночной темноте терялись девичьи песни и раздирали душу плач и прощания. Горе влюбилось в нашу женщину. И плакали люди, и длинные косяки весенних жу-

равлей курлыкали по ночам и высоко полыхали в заревах пожаров, как разбросанные невидимой рукой или ветром красные знамена. Повезли ли и Саню? Не знаем. Думаю, что нет.

Бесконечными поездами вывозились на Запад руда, чугун, сталь. Вывозились миллионы пудов сахара, пшеницы, ржи, гречихи. Вывозились содранные шкуры, и вырванная шерсть, и вытопленный жир, и спирт, и табак, и мясо. Опустошались военные склады и заводы. Вывозилось оружие, динамит, машины. Нет ничего на свете, что бы не вывозилось с нашей Украины. Вывозились в Германию украинские свиньи, лошади, быки, оглашая немые степи страшным мычанием, ржанием и ревом, когда поезда проходили мимо горящих сел. Вывозились в Германию, в Африку, в Скандинавию сильно истощенные, худые мужчины из колючих лагерей, и плакали люди.

3.V

Вчера вечером был у начальника Политуправления фронта[70]. Отнес ему «Письмо к немецкому офицеру» и долго разговаривал. Сделал ему предложение об увековечивании героев войны, достойном и красивом. Скоро год войны. А у нас, собственно, ни одного имени. Долго говорил я ему на эту тему. Я напомнил ему, что по всей Украине почти нигде в селах и городах не увековечены герои революции, так, будто их не было. А они были в каждом селе. На них можно было воспитывать молодежь.

Сегодня был у Н. Тоже говорил ему о необходимости фиксирования имен героев Отечественной войны, обращал внимание на огорчительно незаботливое отношение к памяти героев революции. Говорил о необходимости приобщения к так часто употребляемому ныне списку исторических имен еще и имен наших, исторических, погибших героев. О женщинах, о необходимости забрасывать листовки к нашим украинским женщинам. Все это было принято радушно и по-хорошему.

Не слишком ли кое-кто из украинцев залез в свои украинские счета? Не забыли ли марксизма и истории? Не забыли ли, что дело сейчас не в украинских проблемах?

Я возразил. Дело главным образом в страдании за судьбу народа и боязни за его уничтожение. Когда я прочитал, что

немцы вывезли в Германию пятьдесят тысяч украинских девушек и женщин, я плакал...

Написать, как Н. во время отступления, уже в окружении, зашел ночевать к дядьке-колхознику. Дядька назвал его дезертиром и сволочью, а потом снял со стены портрет своих сыновей-майоров и сказал:

— Вот эти не изменят, не убегут. А ты иди, чтоб мои глаза тебя не видели. — И дядька вытер рукавом фотографию и спрятал в стол.

4.V

В Киеве взорвана Печерская лавра. Уже никогда над Киевом не будет вздыматься в голубую высь прекрасная золотая глава. Перед смертью попрошу похоронить меня где-то на лаврских древних горах, которые любил я больше всего на свете, которыми любовался, смотря на свою родную черниговскую землю. Эти горы, как вековечный праздник нашей земли, как бы ни были они замусорены и винными складами и еще всяческой мерзостью, какую навезли туда перед войной люди, не помнящие родства, лишенные чувства прекрасного, эти горы были живы вечной торжественной красотой, которая разливалась вокруг, куда только не глянет людское око. Нет Лавры. Долго будут лежать великие руины, до моей смерти.

Бойцы и лейтенанты пашут на фронте, опахивают зенитные пушки. Эту землю можно есть, а умереть за нее — хоть сейчас.

Поют ночью украинские песни. Такая жизнь, такие люди, такие торжественные настроения могут быть только на войне.

5.V

— Ну, как нравится на фронте?

— А мы украинским братьям помогаем, — ответил армянин-боец.

Таджики привезли подарки. «Помогаем украинским братьям».

Там, на фронте, настоящее братство народов-бойцов. Все народы, все нации — все равны, у всех одинаковая любовь к Родине, к детям.

В километре от фронта пашут, мешают друг другу.

— Глубже!

— Что, трудно?

— Почему трудно — эту землю есть можно.

Бойцы и командиры сеют, сеют! Пашут и сеют! Я смотрю на это и плачу от радости.

Написать о мальчиках, у которых во дворах стоят кони. Разговор, у кого лучшие кони. Потом о трофеях — у кого что есть (у каждого собрание вещей, взятых у убитых немцев).

О мальчиках не простых, а хитрющих разведчиках, чрезвычайно наблюдательных и умных.

— А у нас еще есть собака-мина! — поразил напоследок один мальчик другого.

— Какая собака?

— Противотанковая собака.

Тут пошел долгий детский диспут.

У мальчиков должна быть совершенная военно-техническая терминология [71].

6.V

Приказ сдать оружие под страхом расстрела. И вот к командиру подходит женщина и просит обезоружить ее парнишку. У хлопца арсенал трофеев. Он крал оружие.

— Вы знаете, что он один раз натворил? Застрелил офицера.

— Врете.

— Вот чтоб я пропала. Как я перепугалась. И т. д.

— Потом он убил еще двух немцев, только матери не признался, потому как за офицера я ему хо-о-о-рошо побила... подпругой.

Может быть, он убил первого немца за убийство, за то, что повесили его отца, или брата, или дядю.

Как командир послал бойца обезоружить хлопца. Боец был храбрый, и с немцами у него неплохо получалось, но хлопца взять не мог. Пришлось звать помощь и брать хитростью. Когда его схватили, он плакал и кусался. Он боялся, что его расстреляют и решил дорого продать свою жизнь.

Еще лучше: пошла мать и схватила его. Потом уже — бойцы.

— Говори, будешь стрелять?

— Буду.

Или:

— Тарас, иди посмотри, вон во двор коней привели. Посмотри, какие славные кони.

— Бре.

Деталь: мессершмиты, бомбардировка. Тарас — кричит: «Не стойте там, прячьтесь в щель!» и т. д. Словом, Тараса приводят к командиру два бойца, не приводят, а приносят на руках, оба усталые и потные, такая большая сила страсти овладела Тарасом. Он вертелся как вьюн и защищался, как только мог.

— Товарищ командир, я бы вам легче фрица принес, чем этого пацана.

Разговор командира с Тарасом.

Тарас — разведчик.

— Где ты научился стрелять?

— Ночью, за хлевом. Фрицы стреляют, и я пристреливаю. А вот это, когда был бой, так я стрелял по ним из своего дота.

— Сколько ты убил?

— Шесть фрицев.

У Тараса был дот. Найти правдивое место для дота. Кроме дота у Тараса был арсенал оружия.

У Тараса проявлялся какой-то неизвестный, необычайный инстинкт бойца-воина. Его хитрость, выносливость и упорство, и чрезвычайное умение наблюдать за врагом были исключительны. Главной помехой у Тараса была мать. Она с ним не церемонилась, и ему перепадало-таки. Тарас и немцы. Тарас и дети. Тарас и повешенные. Тарас — разведчик. Примеры его наблюдательности.

Тарасов дот был в дядиной землянке, а еще лучше в дядиной печи. Дядина хата и двор начисто разбиты снарядом, осталась только большая старинная печь. Хата была на отлете, и все о ней забыли. Там и устроил свой дот Тарас. Кроме того, у него был погреб с тайным ходом. Он пропадал целыми днями, как проваливался.

В рассказе о матери: немцы дознались, что раненые не ее сыновья, потому что они не умели говорить по-украински.

Тарас был мститель. Когда немцы привезли из леса в село двенадцать трупов партизан и созвали все село для опознания трупов, никто никого не назвал.

— Не наши это люди. Может, из какого другого села. Не знаем мы этих людей.

Долго добивались немцы признания и все-таки ничего не дознались. То же самое повторилось и через неделю, когда привели пятерых живых. Никто их не узнал. Не узнал и Тарас. Среди пятерых был его отец. Тарас молчал. Тарас бросился к отцу, когда его вели к петле, но отец сильно ударил Тараса носком в живот, так что Тарас упал без сознания. Потом он понял, что отец спас от смерти его, и маму, и еще всех его четырех сестер.

Отец Тараса долго висел посреди села, замерзший, весь в инее, как статуя. Тарас каждый день ходил мимо отца и даже привык. Отец его был большой герой. Тарас решил сделаться таким, как отец, только много более хитрым — решил не попадаться немцам в руки.

Тарас убил немца, того, что вешал отца. Жил немец у тетки. Хотя Тарасову тетку за это, правда, и расстреляли. Тарас не горевал. Все-таки на войне, думал он, тетка меньше стоит, чем вот такой немец, который может вешать людей. Кроме того, тетка была слепа на один глаз и очень скупа. Ничего, бывало, не даст, как придешь к ней поиграть. Ни тебе огурца, ни мака, ни яблок, так что Тарасу приходилось все это добывать у тетки другим способом.

Все же немца, застрелившего тетку, Тарас тоже убил. Он заминировал его хату.

Тарасу казалось, что он уже знал немецкий язык — так он их изучил. У Тараса было много разных немецких вещей. Были бутылки из-под водки, гранаты, один автомат, четыре парабеллума, маузер с деревянной колодкой, сигары, были фонарики, было десятка два мин, несколько ящиков патронов. Был бинокль и много зубной пасты, которую он даже попробовал есть мерзлую, так она хорошо пахла. Были немецкие котелки, штук пять касок.

У Тараса еще не было ненависти к гитлеровцам. Он был еще мал. Но он хорошо знал и чувствовал всей своей маленькой воинственной душой, что их нужно убивать, — и чем больше, тем лучше. Нужно уничтожать. Что если их не истребить,

то они уничтожат понемногу всех — и маму и все село. Одного-двух немцев он убил в окно, когда они разделись и голые били вшей.

Тогда он выстрелил в одного и убил его наповал, а другой убежал из хаты — голый на мороз. Тем временем Тарас убежал в дот.

Один раз он помогал немцам спиливать сад на дрова. Он носил дрова в хату. Уже вечерело. Разожгли печь, а Тарас залез под лавку, под нары, а оттуда на печь. Поужинав, немцы вчетвером сели играть в карты. Двое сидели рядом и рассматривали какие-то смешные картинки. Тогда Тарас с печи бросил в них гранату и убил всех.

Тарас еще не ощущал ненависти к немцам, но он чувствовал, что немцы не дадут ему вырасти большим и отомстить за отца. Они боятся его, Тараса, и не сегодня-завтра убьют. И Тарас решил сам убивать их, как можно больше. Тарас знал, что врагов нужно убивать, надо бороться за свою жизнь, за существование.

К странице о дедах...

— Такая небось ваша планида. Сильно мышь бежала на восток. Предвестие такое.

— Ничего, не дрейфьте, дедушка. Мы вернемся.

Дед посмотрел на Н. и плюнул через плечо.

— Да ты-то вернешься. А вот наших людей много не вернется. А ты как полова. Носит тебя всеми ветрами. За тебя другие побьются.

— Этот дед — националист.

Иногда они перевозили двумя челнами. Тогда они тихо и спокойно говорили друг другу о своих клиентах самые оскорбительные вещи, будто тех здесь и не было.

Написать диалог.

У обоих дедов внуки или сыновья военные — на финском, да на Хасане, на Дальнем Востоке или в Монголии. Они гордятся сыновьями.

— Если бы, вот это, мой Лаврин да был здесь, так он эту шушваль перестрелял бы собственной рукой. Куда тебе! Он не отступит, черта с два.

— Эге. Вот такой и мой Семен. Его огнем жги, на куски режь — не отступит и ни за какие деньги не поддастся.

— А это все барахло. Бегут, как мыши. Думают спастись, а оно, наверно, выйдет так, что долго будут харкать кровью. Ведь это же все надо будет забирать назад.

— Эге. И все равно надо проливать кровь. Шутка сказать, сколько земли придется забирать назад!

— Не умеете драться.

— Что сказано в уставе? Стреляешь — возненавидь цель. А где ваша ненависть?

— В радио!

— Эге. Да в газетках. А умирать боитесь. Значит, ненависти нету.

— Еще нету, еще, как говорят, только прорезается. Ох, будет мороки. О, плывет что-то. Наш или немец? Немец. А, мерзость, где ты и взялась на нашу голову? До черта их плывет, как крысы.

Я с наслаждением слушал каждое его слово. Дед верил в нашу победу.

Мы не знали, что сказать.

Послышалась стрельба. Ракеты. Отчаянные крики.

— Ого-гов! Подай лодку. Ой-ов-ов! Лодку!

— О, уже визжат. Подадим, не кричи, черт тебя не возьмет.

Поперевозили деды всех. Сели на берегу и, смотря на другую сторону, горько, по-дедовски, заплакали.

— Сыночки наши, что же вы наделали?

И когда их на другой день немцы вешали посреди села в присутствии всех людей, они поклонились друг другу и не захотели с немцами говорить [72].

Валуйки

— Слушай, зачем ты с ним разговаривал? Этот дед националист, разве не видно? — сказал уже в кустах Тополю другой, в таких же ремнях, журналист Семен Вересай.

— Ничего. Мы вернемся. Я ему этого не забуду.

— Прощайте, деды. Спасибо вам за труд.

— Подождите немного. Так что же прикажете передать врагу. Как встречать его и как в глаза смотреть?

— Скажите им, что мы еще вернемся! — сказал бойкий журналист, весь в новом, во множестве новых ремней, которые пересекали его толстую не по годам фигуру во всех направлениях. Круглые очки с толстым «близоруким» стеклом, новая планшетка, новая сумка, новые хромовые сапоги.

Дед посмотрел как-то немного мимо журналиста — с новой даже фамилией Сеня Тополь — и сказал:

— Да ты-то вернешься, я вижу. Тебя не возьмет самая дальнобойная пушка. А вот людей много не вернется, ой, много. Долго будет плакать наша земля. Ну да ничего.

Дед посмотрел на журналиста.

— Как тебя зовут?

— Семен Тополь.

— Хорошее имя. Тоже, наверное, новое выдали. Значит, я так и скажу: говорил Семен Тополь, что он вернется. Его не возьмет никакая дальнобойная пушка. А за остальных не ручаюсь. Должно быть, скажу, много их погибнет на поле брани, пока не выгонят врагов со своей земли к такой лихой матери.

— Я им не верю. Все они националисты. Ты видишь? «Что передать немцам?» А небось не сказал: «Товарищи, не могли бы вы взять меня с собой и спасти меня от фашистов?» Ай! Кто здесь?

— Стреляю! — закричал вдруг Семен Вересай, услышав в лозняке, недалеко справа, какое-то сопенье.

— Да не стреляй. Пугливый какой, черт вас тут носит,— послышался совсем близко голос еще одного деда, который вытянул свою лодку из лозняка, чтобы заступить на ночное дежурство украинского Харона на этой стороне Днепра.

Я сидел в челне и смотрел на деда, на тихую и волшебную реку и мне казалось, что меня перевозят на тот свет. Я не хотел выходить из лодки. Было стыдно, тоскливо и горестно, так горестно. Было много чувств. Если бы их сложить в одно чувство гнева,— реки расступились бы передо мной.

Я шел тропкой через лозняк. Было тяжело, я говорил деду:

— Мы вернемся, дедусь. Простите нас. Мы вернемся, как бы дорого ни заплатили мы за недостаток ненависти. Простите нас, дедушка, что не доглядели мы вашу старость. Спасибо вам, наши хароны. Не жалейте нас. Жалость увеличивает сокрушение и подтачивает корни ненависти. В этой реке мы утопили жалость и вышли на берег опустошенные. Пусть же наши души наливаются ненавистью к врагу и презрением к смерти.

— А вы думаете, нам не тяжело и не горестно отступать?

— А что мне думать? Думайте вы. Жизнь-то ваша уже, а не моя. А я только так скажу. Не из той бутылки наливаете. Пьете горесть и скорбь. Это, хлопец, не ваши напитки. Это напитки бабьи. А вам бы надо было от крепкой ненависти налить да от презрения к смерти. Вот ваше вино. А горесть — это не ваше занятие. Ваша горесть породит много горести, и слез, и отчаяния людского. Побеждают гордые, а не жалостливые.

— Да что ты с ними, сопляками, говоришь?

 В это время дальнобойный снаряд упал недалеко от нас и

поднял вверх большой водяной столб. Мы примолкли и схватились за борт челна.

— Сидите тихо, если не умеете плавать.

— А что рыбы поглушит в реках!

— Эге. В позапрошлом году подохла от замора, а остальную фашист теперь взорвет пушками. Опустеют, видно, и речки и все на свете.

— Немец ненавидит цель, а вы? А вы все думаете. А надо не думать, а ненавидеть цель.

— Я ненавижу фашистов, дедушка, всей своей душой,— крикнул Семен Тополь и даже схватился за новую кобуру.

— Значит, душа у тебя маленькая. А ты прикуй себя цепью к пулемету, да и клади врага, молча, до смерти. А там уже люди разберутся, какой ты был — нервный или нет. А то выходит, что ненависти в тебе, правда, много, а нервов, а любви к себе еще больше. Вот и «перевезите, дедушка!».

— Ну это не всякий может.

— То-то и оно. А надо, чтоб всякий мог. Есть-то всякий требует. И языком горланить все научились.

Тополь притих.

— Они много учились ненавидеть дома всяких несогласных, так у них для фашистов ненависти не хватило, что ли?

— Да кто их знает.

Когда к берегу подъехали фашисты, возбужденные и горячие, как борзые, они долго и нещадно били деда Савку и деда Платона, потом сели в челн и велели немедленно перевезти их на другой берег. На середине Днепра Савка сказал Платону:

— Платон, прости меня.

— Бог простит.

Во второй раз — бог простит, в третий раз — бог простит.

— Прости ты меня, Савка...

Бросились деды на правый борт и опрокинули челн с немцами и потонули с ними в тихих водах своего Днепра.

— Всякая бывает душа: одна — как Днепр, другая — как лужа, по щиколотки, а иногда бывает так, что и лужицы нет, а будто, извините, вол посцыт.

— А если душа большая, а человек нервный?

— Подайте лодку, ого-го-го! Лодку подайте! Ага-га-го-ооо! Лодку! — распинался кто-то с берега.

— О, нервные души засуетились,— оглянулся Савка...— Так и немцев накличут. А нет того, чтоб тихо посидеть да подумать.

Я Герой Советского Союза. Я не боюсь смерти. Я уничтожил много врагов. Ненависть прорезалась во мне на Днепре, а теперь она вызрела во мне, как цветок. Скажу вам правду. Ничего в жизни так не хочу, как после войны, если буду жив, поехать к тому деду, поклониться ему в ноги за науку.

— И хорошенько отчитать, чтоб не зазнавался на старости лет,— сказал один из тех непоправимых тупиц, которых даже война не выправит. Сказал приехавший на позицию поэт, журналист, жаждущий ордена Славы, или, может, это и был тот самый журналист Сеня Тополь.

— Не поклонитесь, товарищ командир,— сказал молодой, лет восемнадцати, боец.

Все посмотрели на бойца.

— В ту же ночь пришли на берег немцы...

— А ты откуда это знаешь?

— Я был тогда парнишкой, молча сидел на веслах. Я один только и выплыл к берегу. А деды с немцами потонули в Днепре.

— Встать! — прозвучал властный голос полковника.

Мы встали и стояли минуту. Затем мы должны были все выйти.

Нам казалось, что землянка взорвется от наших сердец. Мы вышли. Была ночь.

10.V

Перед самым окном летит немецкий самолет. Стреляют вовсю зенитки — и все мимо.

— Вот это недавно перед вечером одну партию вез. Так один, так его мать, вроде вот этого, что в очках, тоже в новом, еще и револьвер вытащил да кричит. Вези, говорит, скорее, националист, а то застрелю. Ей-богу, правда. А у самого руки дрожат и глаза вытаращенные от страха, поверишь, ну как у красноперки. Вот так человек!

— А! Черт те что!

— Эге. А один шинель давал и новые сапоги. Что ж ты, говорю, казенное имущество раздаешь? Так он рассердился да

начал по матушке. Я, говорит, вас, контрреволюционеров, миллион расстреляю, когда вернусь! Вот такой олух, ну ты подумай. О, здорово бухает. Скоро небось герман появится.

— Да, боятся. А не знают того, шиш их матери, что уж если кому суждено на войне умереть, так не выкрутится. Не догонит пуля — догонит вошь, а война, как говорится, свое возьмет.

Мы шли к реке лозняком. Лозы были высокие, густые. Шли мы тропкой. Деды шли с сетками и боталами очень медленно, будто на обычную ночную рыбную ловлю и, казалось, не обращали внимания ни на пушечную стрельбу, ни на далекую пулеметную, ни на рев ночных немецких самолетов, бросавших бомбы куда попало, ни на осветительные парашюты. Словом, весь немецкий фейерверк, который так замучил нас за последние дни тяжелого отступления, для них словно совсем не существовал.

— Слушай, отец,— обратился к деду Савке один журналист, который считал, что если он благополучно переедет реку, то на всю жизнь будет известен тем, что попал в окружение.— Слушай, отец, ты не можешь идти немного быстрее?

Савка не ответил.

— Слушайте, дедушка, вы не можете идти быстрее?

— Нет, не могу. И чего это вы такие быстрые стали, кто вас знает. Не успели начать войну, где-то там, аж около Карпат, а уже на Днепре. А еще вам не быстро, еще быстрее хотите. Стар я уже — быстро ходить.

— Скажите, а далеко река?

— А вот и река.

Действительно, лозняк, кончился, и мы вышли на прекрасную песчаную отмель. Перед нами была широкая река. А над рекой такое вечернее небо, какого я никогда еще не видел. Солнце давно уже зашло, но его лучи освещали верхушки исполинского нагромождения туч, надвигавшихся с запада, как трагический символ. Тучи были тяжелые, темно-темно-синие, снизу совсем черные, а самый верх, где-то почти над нами, был написан большими извилистыми кричащими мазками желтой и палевой краски. Гигантские молнии воробьиной ночи раздирали шири туч, и грома не было. И все это отражалось в воде, и казалось, что и реки нет, и мы не на земле, а на картине или в межоблачном просторе, затерянные и маленькие, как речные песчинки. Это было небо страшного суда, как представлялось оно когда-то в детстве. Это было необычайное небо. Природа словно бы была в сговоре с событиями.

Рыба боялась такой ночи и металась по отмели на мелководье. Где-то далеко горели под небом ракеты. Почему-то было видно. Светило какими-то желтоватыми отблесками желтой короны туч.

Гремели пушки. Во всем этом было что-то потрясающее, красивое, торжественное и грозное.

— Ну садитесь, повезем,— сказал дед Савка, стоя с веслом возле челна.

— Повезем уже, а там, что бог даст. Не умели соблюсти себя, так уж повезу, убегайте, черт вашу душу бери... Куда ты шагаешь? Челна не видел, воин?

Мы расселись в челне молча.

— У тебя готово, Платон?

— Можно.

— А туч наперло... Ишь, что делается. Страшный суд, что ли, начинается? — посмотрел дед Савка на небо и поплевал на ладони. Потом он взял весло и сильным движением оттолкнулся от берега [73].

Был в госпитале у начпура Юго-Западного фронта. Читал ему «Отступника» и «Перед боем». Видно, ему очень понравилось. Он попросил меня не оставлять мысли о «Незабываемом». Сегодня же начну «Незабываемое». В «Отступнике» выбросил фамилию отступника — Пилишко (реальную). Получилось лучше...

14.V

Вчера, перед оформлением приказа о зачислении меня в армию, Н. спросил меня, не депутат ли я Верховного Совета? Я ответил, конечно, что нет. И подумал, что слышу этот вопрос уже сотый раз.

Все-таки лучше, чтобы люди думали — и почему, бишь, он не депутат Верховного Совета, чем если бы говорили друг другу: и для чего было такое дерьмо выбирать в Верховный Совет?

15.V

Сегодня написал три страницы «Незабываемого», и так легко на душе.

 Сильный самый зверь в лесу не тигр, а хорек. Он воняет.

— Я полковой комиссар! Я вам приказываю! — кричал в штабной редакции один поэт на другого.

— Братья! За Родину, за народ, за культуру — вперед! — кричал полковник бойцам родного полка, и бросились они на врага, падали мертвые и побеждали.

Пришли казахи с боем на украинскую землю. По команде командира стали на колени.

— Здравствуй, братская земля! Мы пришли освободить тебя, пролить за тебя кровь, сестра наша. Прими наш боевой привет и любовь. Встать! Вперед![74]

18.V

Боец Умурзаков.

А тот, что бежал и нес под бешеным огнем — Турдан. Не хватило мин. Перешли с боем через речку, стали на колени и поцеловали землю[75].

Двое смотрят вниз. Один видит лужу, другой звезды. Что кому.

(В пьесу)

— Я не могу блюсти тайну. И не то что партийную. Никакую. Стоит мне узнать о чем-то, что называется тайной, как меня сразу же начинает раздирать на куски. Через полчаса я уже больной, а через час я, чтобы не умереть, ищу человека и шепчу ему тайну на ухо, по секрету, призывая никому не говорить. Потом еще и еще. Пока не удостоверюсь, что тайны нет. Вот какой я...

19.V

Орудийный расчет.

Уничтожил двадцать восемь вражеских танков. На двадцать девятом погиб сам. Остался один командир и боец, тяжело раненные.

Ранены в руки и ноги. Они вдвоем подавали снаряд руками и ногами, загоняли его в ствол и стреляли, пока были

живы. Это было страшное побоище. Люди знали, что они умирают, что им осталось жить пять долгих минут, и действовали до смерти [76].

— Я сегодня впервые за три месяца увидела солнышко. Я не видела, как таял снег. Я не видела большой воды в Днепре, Десне.

Рассказ о семилетнем мальчике, который попросил покатать его в танке. За это он рассказал «что-то». Он погубил свою глупую, плохую, несчастную мать.

Где-то глухо бухали пушки. Несчастный отец горлицей тихо плакал по своему сыну, чтобы не испугать соловья. Соловьи щебечут, заливаются в садочках по всему селу, а села нет.

Утро. Солнце, тишина. Яблони и вишни в цвету. Где-то кудахчут куры и трещит аэроплан. Козленок на выпасе в садочке под моим окном начал жалобно мекать. Я на горе. Из моего окна далеко видно и леса, и речку, и сенокосы за рекой. На далеком горизонте они исчезают в голубом мареве и сливаются с небом... За горизонтом война... смерть.

У меня рождается мысль написать рассказ с названием «Тризна» [77]. Приходят в село настоящие сыны народа, герои, которые отбили село с большими и для врага и для себя потерями. Повылезали из погребов люди. Разговоры. А хат почти нет. И зазывали люди на «обед» бойцов и командиров. Поминали убитых и говорили о них хорошее и иногда смешное. Кто как трусил, как бежал, как стоял на скамье с петлей на шее и что говорил. А началось с сына, убитого при взятии села. Как он сражался, сколько немцев убил. И не было скорби о нем ни у матери, ни у отца, ни у деда. Они вспоминали о нем, как о хорошем косаре, что, скосив большой сенокос, надолго лег отдохнуть. Вспоминали о людях главным образом в плане их рабочих способностей.

Когда немного опьянели, начали кое-что говорить и смешное о покойниках и о себе. Люди много ели. После долгих и больших страданий, изнуряющих душу и тело, организмы просыпаются с особенной силой жизнеспособности, жизнедеятельности. В этой тризне среди развалин, на горе, с которой видны были далекие дымы пожаров и жертвенных костров, было словно бы что-то величественное. Бессмертие народа ощущалось в этой давней смене событий и людей. Были

серьезность в каждом слове и примиренность с историей и ее глубокое, органическое понимание. Это сидела, казалось, сама история. Старые и малые, на долю которых выпало столько событий, что их хватило бы на пять или добрых десять поколений. Гитлеровцев не вспоминали, как что-то недостойное упоминания за столом. «А, черт знает что — не люди!» Говорили: «Ну так что ж, ну дай же, боже, коль останемся живы! Чтоб не порадовался враг! Чтоб сгинула напасть!»

Пили за бойцов, что были на тризне, и благодарили их.

А бойцы благодарили их за сына. Сын был герой. Он был их командиром.

— Он так хотел, мечтал повидаться с вами. Рассказывал много о вас.

— Да что там о нас рассказывать. Мы люди темные. Ничего мы не видели. Нигде и не были.

Бойцы благодарили их за сына.

— Вы не думайте, мамаша, что он умер.

— А, конечно, не умер. Убит он.

— Нет. Будет он жить в памяти людей, как Максим Кривонос, и Байда, и Сагайдачный.

— А что это за люди? Не знаем мы.

— А это небось того Байды, что возле Пилипа живет. Нет его уже, снесло с хатой, с мельницей, и следа не осталось.

— Нет, тетя, это не тот Байда. Байда — это был когда-то такой славный казак...

— Ну бог с ним, с тем казаком. Выпейте же за нас. Чтоб хорошо вам воевалось, чтоб увидели вы своих родных!

— А Кривонос? Это кто?

— Это наш командир танкового подразделения, — сказал командир танка. — Прекрасный, храбрый человек. Только напрасно вы засчитываете его в убитые. Он тяжело ранен, это правда.

Долго тянулась беседа. Женщины носили кушанья из печи, стоявшей среди груды развалин. Бойцы сидели в садочке и позасыпали, заснули все. И соловьи пели в сельском садочке, в сельских садочках, а села нет.

Пошли же, боже, здоровья живым, и согласия, и силы на новое село!

Были на тризне бойцы буряты или казахи. Пили за их здоровье. В связи с этим отец сказал прекрасные слова о товариществе. Говорил он ну просто как Тарас Бульба перед казаками.

— Какие-то вроде бы китайцы. Хорошие вы, я вижу, люди. Не охочие до штабов, а больше до сабли, как и мой покойный Лукьян.

Бойцы окружили мать командира нежным вниманием и уважением. Каждый из них видел в ней свою мать, что где-то втихомолку ждет его, убивается, и плачет, и молится на церковных пустырях за его жизнь.

А начинается рассказ с приказа командира, может, кавалерии, Лукьяна Горлицы. Они в рейде.

Перед ними село, которое нужно взять. В селе крепко засели гитлеровцы. Обстрел. Село пылает. Горлица говорит, что это его родное село. Он как бы просит не подкачать. Увижу или не увижу родителей. Обстрел. Короткий бой. Бой на улицах.

Вот и хата на бугорке над рекой. Не хата, печь одна.

Полетел Лукьян, полетел казак и упал на дороге... Семь пуль впились Лукьяну в сердце и одна коню. Вылезла из погреба Лукьянова семья. Плач матери над сыном. Кладбище над рекою. Похороны.

Через три дня тризна — обед.

Вылезли исполнять обычай.

Худые, землистого цвета, плохо одетые люди. Долго сидели они в погребах, много видели такого запретного, что не забудут и потомки. Долго жили они по ту сторону запрещенного человеческими законами, и печать кручины, что не скоро исчезнет с них, понемногу стиралась в их глазах, когда они вспоминали труд, и любовь, и хорошие времена. Людям хотелось забыть страшное — по великому всемогущему закону жизни и по непреклонной силе их характера, характера хлеборобов, то есть людей, веками привыкших к выращиванию, к жизни.

Около поминальщиков роилась детвора. Одного притянули - еле поймали и принесли к столу.

— Вот это — сиротинка, такого-то сына.

— Ну пусть большой растет!

— Ну скажи, что ты будешь делать, когда вырастешь?

— Буду рубать немцев. Буду вешать немцев.

— Так нельзя говорить. Ты еще маленький. Ах, боже мой, попортили детей и все на свете. Теперь как их на доброе повернешь? Есть им на кого посмотреть.

Над одной могилой сидели тихие изнасилованные девчушки. Об этом не говорили.

— Не слушай, бабки, Михайлик. Расти, да не забудь ничего. Бей их, проклятых, и не прощай никому. А бабы наговорят. Надо. Надо драться. Тебя ударили? Бей десять раз. Хату тебе сожгут — сожги им город. Вот так-то! Будешь жечь?

— Буду, дедушка,— сказал Михайлик и вынул немецкую зажигалку.

— Поцелуй мне руку, что будешь.

— Семен, ну что ты говоришь? И сам как маленький.

— Бей их, Михайлик! Чтоб отца твоего имя не стерлось во времени. На тебе за это чарку!

— Да ты рехнулся, что ли? Маленькому — чарку. Вы посмотрите!

— На поминках и маленькому можно. Иди ко мне, Михась!

Михайлик подошел и стал около деда. Дед обнял его своей большой, сухой, жилистой рукой и сказал:

— Гости мои дорогие. Не знаю, может быть, не долго уже я и поживу после вот этих разорений. Жалею, что мой внук Михайло еще маленький. Пусть же исполнится мое желание, будьте здоровы!

— Детей же нужно на доброе направлять.

— Рано еще. Добро существует не для нас.

— Наше добро это ненависть к врагу, вот наше добро. Да еще смелость, чтобы, как наш Лукьян, умирать не боялись. Признаюсь я тебе и всем вам, люди. Три дня нет Лукьяна. Упал перед самым окном.— Дед показал в сторону печи.— А мне не жалко почему-то... День и ночь я думал про Лукьяна. Как он там? Где он? Стоял с петлей на шее — про Лукьяна думал, и в погребе сидел — разве не правда? И вот три дня нету Лукьяна. Упал перед самым окном,— дед опять показал на ствол печи,— а мне жалко и как будто не жалко. Такое великое время. И так много еще вас. Большое дело — воин в бою. Дай бог каждому доброму человеку так умереть, как умер Лукьян.

— Да что ты говоришь? Чтоб всех поубивали, что ли?

— А! Что там вы, женщины, понимаете?

Обязательно перечислить кушанья, какие когда-то подавались к столу в таких случаях. И те кушанья, что подавались в действительности.

Сошлись на кладбище три поколения...

Стой, Лукьян! Берегись, Лукьян, отец с матерью смотрят на тебя в окно! И окна нет. Стой! Это немцы сбегаются к пулеметам в твоей родной хате-доту. Это пулеметы смотрят на тебя из окна, наведены на тебя из окна. Лукьян, уйми свое сердце! Забирай влево! Влево забирай, через дядин огород! Бери влево, заходи им в тыл. Убьют они тебя...— Вперед, за Советскую Украину! Ах, Лукьян, семь пуль впились в Лукьяново сердце, коню одна.

Так и шарахнулись они оба на молодую траву. Лукьян еще перевернулся раза два, и саблю выпустил и заснул навеки, как после доброго вина на пиру с музыкой, бубнами и безостановочным танцем.

Стой, не слушайся своего глупого сердца! Не поддавайся крику глупого, горячего своего сердца!

Рванулась мина. Хата — в воздух. И только печь с темной трубой осталась нетронутой. Да побитые горшки на припечке, а в печурке пучочек сухеньких гвоздик от сглазу.

20.V

Дед на крыше с ведром и кропилом. Разнесло. Что хохоту было в погребе! И смех и грех, прости господи.

Они вспоминали, кто как косил, жал, кто сколько за жизнь наработал для людей хлеба, сена и т. д. О пасечниках. О том, как такой-то плюнул немцам в глаза и сказал им, что их дела плохи и что он не считает их за людей.

— А большая у вас, тетя, была ненависть к врагу?

— Да нет, ненависти как будто и не было. Ну только такие они были мне отвратительные и гадкие, что, кажется, сама бы я их передушила, как черт знает что.

В неравном бою капитан Гусаров израсходовал все боеприпасы и был тяжело ранен. Сражаться нечем. На подбитом самолете полетел на свою территорию. Два «мессершмита» атаковали Гусарова и еще раз подбили его. Он все же собрал все силы и вел самолет. При посадке «на живот» в районе Белого Колодца он получил смертельный ушиб и умер. От 11 до 17 сбил самолетов. Их была пятерка[78].

Написать две статьи — одну о командире, вторую о коммунисте. Третью о детях. О том, что гитлеровцы уничтожают наших детей.

В Киеве зимой, в большой мороз, вели фашисты на расстрел большую группу моряков. Моряки были без сорочек, с завязанными руками. Некоторые из людей не выдерживали этой картины и, рискуя своей жизнью, бросали матросам одежду. Но никто из них одежды не взял. Лишь один взял папиросу. Потом они начали петь песню «Раскинулось море широко» и пошли умирать. А народ смотрел и плакал.

23. V

Враги уничтожают наших детей. Уничтожают голодом и расстрелами. Уничтожают методически. Здесь и план освобождения Украины от украинцев, и ненависть к народу, и нечеловеческая злоба в неясном ви́дении своего собственного конца.

На передовую линию.

Летит нагруженный боеприпасами грузовик. Рвутся мины вокруг. Пикируют «мессеры». Ад.

— Не дрейфь, ребята! — кричал на грузовике боец своим товарищам. Он ехал в огонь впервые.— Уж если саданет по нас — ни... не останется. Разлетимся вдрызг.

Бойцы воспрянули духом и радостно заволновались, как на большом ветру. От быстрого движения и бешеной опасности страх перешел в восторг. Жизнь держалась на невидимой глазу тонюсенькой ниточке.

Народу отпущено страданий такой мерой, такой новой невиданной мерой, о какой даже и не подозревало человечество...

Не озлобленных, темных, жестоких молодцев нужно посылать в трибуналы вслед за войском, а целителей духовных ран и увечий, чутких и умных, знающих цену крупинке добра в лихую годину...

25. V

— Вот начинается Украина,— сказал командующий Ватутин, который стоял над оврагом с картой в руках.

Я поблагодарил его тихо. Я не упал на родную землю на колени, не заплакал, я молчал. Передо мною была родная моя земля, непаханая, засоренная, с разоренными селами. Земля завоеванная... Всюду женщины. Одни женщины и дети, и изредка мужчина, ветхий, худой, сгорбленный, забитый и как будто больной.

26. V

Немцы выбирают лучших девушек. Лучших, разумнейших, приветливейших. Не горбатых же и не неотесанных. Сотни лучших продолжательниц нашего рода исчезнут с нашей земли и погибнут, осквернённые, забитые, засланные в бесповоротную даль.

Будут звучать украинские песни недоли-злосчастья по всем горам, по долинам, по всем суровым и неприветливым Украинам.

Темы рассказов.

1. Святослав. 2. Арестованный музей. 3. Юбилей. 4. Заколдованная трибуна. 5. Математик. 6. Печать столетий. 7. Переметнувшаяся. 8. На развалинах. 9. Плачь в степи. 10. Смерть девушки. 11. Надежда. 12. В ярме [79].

1943 ГОД

Непаханые поля всюду, куда хватает глаз. Будто приснилось. Осот, донник да дикий подсолнечник с полынью. Невеселая дикая красота. И всюду подбитые танки, на полях возле сел или по дорогам — немецкие и наши. И время от времени — смрад. Гниют по дорогам и в поле человеческие и фашистские трупы и трупы лошадей с задранными ногами.

Вчера видел величественную картину поля битвы. Танки, пушки, авто, боеприпасы, трупы по дороге. Все это была наша авиация. Сожженные и разрушенные хаты, огромные бесчисленные ямы от бомб — дорога смерти.

Лежу около пруда — поломалась машина возле неизвестного местечка.

Описать поле во всей его красоте после жуткой картины сражения. Особенно красивы подсолнечники против солнца. У них темные головки с нежными солнечными ореолами.

Цветы, растения. Долина Ворсклы. Взорванный мост. Купание девушек.

Генерал Н. рассказывал, как два его солдата вернулись домой, к родным хатам. Они побыли дома минут пятнадцать и пошли в наступление, снова попрощавшись с родителями или деточками своими.

Самотаевка.

Самотаевка — разрушенное дотла село. Большое, красивое, над небольшой рекой с сенокосами. Пошли хаты на запруды и в печи. Блиндажи и ходы сообщений источили село будто шашель. То там, то сям человек. Незабываемое село. Описать его так, как и реку.

13. VIII

Переезд на Степной фронт. Ехали по-дурацки, каждая машина отдельно, в результате чего, конечно, разбрелись, и не все приехали. По дороге — поле боя под Тамаровкой, с минами, трупами, выбоинами, смрадом (описать).

Белгород — разрушенный страшный город. Боюсь, что таким будет и Харьков, только в еще большем и ужаснейшем масштабе.

Молодой генерал... Умный и порядочный коммунист, член Военного Совета фронта. Так же как и у всех, не хватает синтетического мышления.

Рядом с ним анекдотично комедийная фигура генерал-майора Н., которого обязательно нужно использовать в пьесе. По внешности, манере двигаться, говорить и особенно смеяться — это дурень, одесский жук. Китель у него тесный, фуражка большая, голова бритая, большие зубы и — смех! Как он смеялся, рассказывая о бомбардировке.

Вчерашний день был самым богатым за всю мою поездку. Мы выехали с Грушецким [80] в Харьков. Вчера я был несколько часов на окраине Харькова, возле ХТЗ, в бою.

Украина. Поездка.

1. Остановка в госпитале, раненые. Жалобы. Горе.

2. Слезы и отчаяние молодой женщины, которая не могла уже ни есть, ни спать от горя и безысходности. «Пропали теперь мы все. Весь наш народ». Лес, трупы лошадей и немцев. Смрад.

Родители везут раненого сына (снарядными осколками).

3. На горизонте Харьков.

4. Дым пожаров. Грохот тяжелых пушек. Воздушные бои.

5. Села. Народ. Бабы на завалинках (воскресенье).

Пожарища, дети.

6. Под скирдой на площади спали двое божественных детей. Жизнь как жизнь. Мысли о народе.

7. Харьков. Ищем на позиции КП дивизии.

8. Разорение. Все разбито, пожжено, разбросано — точно рука смерти коснулась нашей земли. Трупы немцев, бомбы.

9. Мы на КП дивизии, на крыше дома. Знакомство с полковником, до немцев 2,5 километра.

10. Поле боя. Ряды атакующих. Взрывы снарядов среди рядов.

11. В наш дом попадает снаряд. Этажом ниже в комнату.

12. Мы на КП корпуса. Знакомство с генералом Н. на вышке. Немцы бьют по нас из пушек. Мы идем в глубокий блиндаж.

13. Совещание генералов в блиндаже. Свет. Лица, характеры. Мои ощущения.

14. «Товарищ генерал разрешите доложить. Наша авиация бомбила своих. 18 бомбардировщиков».

15. Н. распекает на обоих КП полковников и генералов.

16. Раньше, еще по дороге на Харьков, встретили семью с тележкой. Очень милые. Красивая девушка. Разговор.

— Там, в Салтове, все сожжено.

— Знаем, зато там домашний очаг. (Их еще немец выселил.)

Немного дальше убитые лошади, а еще дальше, подле дороги, незабываемая картина:

17. Убитая женщина. Она лежала возле дороги, вытянувшись, опрятная, лицо ее кто-то покрыл платком. Рука ее в воздухе словно бы прикрывала сердце. Рука была в крови. А кругом ямы, смрад. И красивое незабываемое дикое поле в цветах. Я чуть не плакал.

18. Мы едем в штаб армии.

19. Вечер. Пыль. Пыль на целый свет и дым вдалеке над Харьковом, и в пыли огромный мутно-красный месяц, и гром пушек. А навстречу идут полки на позицию, святая великомученица пехота.

20. Мои чувства в этот незабываемый вечер войны — описать подробно.

21. Мы едем с фарами. Раненые на развилке. Возле дороги.

22. Приехали только под утро. Ночевали в лесу. Легли спать утром. В лесу. Только легли — налет авиации и бешеная канонада зениток. Мы смеялись. Так и позасыпали.

Я наблюдал на передовой позиции, в орудийном громе, во время боя, командиров. Я видел в их глазах скрытое страдание и страх смерти. Это великий труд. Здесь идет такой расход человеческой воли, как нигде и никогда на свете.

Я видел, как лежали ночью раненые на дороге. Как жалобно стонали они от ран, от нестерпимой боли. Они были как покинутые дети.

Я целый день слышал запах смрада. Все просторы, все чудесные поля, дороги, села — всюду смрад гниющих тел.

Записать подробно разговор с генералом Н. об изменницах Родины. Как он расстреливал их, как допрашивал перед расстрелом. Как одна рассказала, что два года живет с офицером, который взял ее, когда ей было 15 лет. Что она любит его.

Сижу в Рогани. Передо мной воздушный бой с бомбардировкой. Немцы сыплют бомбы на наш передний край.

Много разговаривал с полковником Галиевым о трагедии беспомощности наших плохо воспитанных, несчастных девчушек. Мне было приятно, что наши взгляды сходятся. Как жалко, что у нас мало таких людей...

В ночь на 23 августа мы заняли Харьков. Немцы убежали из него в результате нашего кругового наступления. Днем я поехал в город с Н.

Перед Харьковом Н. испугался и повелел своему оруженосцу сделать разведку, а нас заставил ждать. Беседа с женщинами. Город полумертвый. Печальный, больной, приниженный город. Мы были в нем минут пятнадцать. Пролетел над ним немецкий снаряд, и Н. сразу же спас нас, вывезя в Малые Проходы, за тридцать километров.

24. VIII

Малые Проходы.

Самолет лежал посреди дороги. Вокруг него было несколько человек. Он еще дотлевал. После катастрофы прошло не больше получаса. Возле самолета лежал летчик, обожженный, без ног, черный, с белым черепом, без рук. Голые белые кости торчали из плечей. Это была страшная, незабываемая картина. Другой летчик лежал поодаль, его выбросило. У него была разбита голова. Его розовый мозг, обе половинки, лежал отдельно на стерне, и по мозгу ползали большие зеленые мухи.

Я глянул на прикрытое тканью лицо летчика. Лицо в крови и огромная пробоина во лбу. Зияла кровавая темная яма, из который выпал весь целый мозг.

Под Харьковом.

Как артисты «кавказские» и цыганские показывали нам свою программу. Это была пошлость, заслонявшая человеческое страдание. Явление почти нестерпимое по своей остроте.

Как пел цыган. У него был прекрасный голос, и он хорошо им владел, этот некрасивый, злотозубый, рябой цыган Смеренко.

Потом, после концерта, он рассказывал, как убили его брата, как били его. Он плакал, он страдал, этот цыган.

28. VIII

Ввести русских, чтобы не было только одних украинцев, как будто только они освобождают ее. Сделать так, как в жизни.

Читал сценарий Н. до двух часов ночи в с. Померки. После чтения была довольно долгая и приятная беседа.

Н. сценарий «Украина в огне» очень понравился и он высказал мысль о необходимости напечатать его отдельной книжкой. На русском и украинском языках.

— Пусть читают. Пусть знают, что не так оно просто.

Война принижает трудовые навыки человека. Расслаблена дисциплина. Неуважение к жизни, своей и чужой.

Поспал, повоевал. От потери трудовых навыков — бандитизм, воровство и проч.

Надо сделать такой Крещатик, чтобы поколения знали.

Площади, высоты. Нужно вложить в Крещатик все свои знания, все чувства, весь опыт. Нужно воплотить все величие нашей эпохи.

6.X

Сегодня, шестого октября, закончил «Битву за нашу Советскую Украину». Не знаю, что о ней скажут. Может быть, ее запретят или заставят меня ее испортить разными сокращениями показа тяжелого, небравурного. Знаю одно — фильм абсолютно правильный...

Пишу в самолете. Лечу в Киев через Харьков. Полчаса как вылетел из Москвы. Машину ведет подполковник Цыбин, чудесный авиатор. Подо мною леса, реки, озера. Ровно и мощно гудят моторы. На душе у меня хороший покой. Как это ни удивительно, я отплываю от земли и от земного. Ясное небо, морозное солнце. Мне немного хочется спать.

Вообще у меня за последние месяцы очень ухудшилось состояние здоровья. У меня опять стало тяжелое-тяжелое сердце. Боль в груди и в сердце, тупая голова и слабость необычайная. После обеда я проваливаюсь в тяжкий сон. Сплю я ночью очень трудно, переворачиваюсь то и дело от боли в груди.

Чем больше я смотрю на Киев, тем больше вижу, какую страшную трагедию пережил он. Населения в Киеве фактически нет. Есть небольшая кучка убогих, нуждающихся и измученных людей.

Нет детей, нет девушек, нет юношества. Только женщины да калеки. Такого наш мир на протяжении нескольких столетий, многих столетий, не знает. Ведь Киев был миллионным городом. Теперь на развалинах тысяч пятьдесят.

Мы въезжали в Киев днем 6 ноября 1943 года. Это было в день освобождения. Киев был очищен от немцев пятого ноября ночью.

Написать рассказ под названием «Город-подхалим» [81]. На основе беседы с Н. о станции Гришино, которую глупое подхалимство переименовывало в Ежово, Шумилово, Балицкое, Ягодин, Панасград и т. д.

Записать диалог мой и Н. на тему — единство противоположностей.

Я пришел к Н. справиться о судьбе списка сотрудников киностудии, призываемых в армию.

Н.— Я передал вчера К. Вчера ночью.

Я — Ну?

Н. —Не знаю. Поедьте, узнайте.

Я — А где он?

Н.— Поезжайте домой. Он живет на этом, как его... Одним словом, переулочек, а за его домом такие, знаете ли, круглые ворота.

Я.— Это, чтобы вы знали, Покровский монастырь [82].

Н.— Не знаю. Да? Не знаю.

Я.— Не удивительно.

Н.— Почему?

Я.— Потому что вы не интересуетесь ничем, кроме программы и приказов.

Н. (завязывая перед зеркалом галстук). — Ну вот.

Я — Вы не обижайтесь. Ни один наш советский губернатор, ни викарий не знает, когда, кем и как основан его город, чем он славен, чем знаменит. У меня был разговор в Чернигове с М. Он, поверьте, не знал названия речки Стрижень, на которой, возле мостика, он жил.

Н.— Ну да. Он все время думал, как усилить молочное хозяйство, поголовье лошадей...

Я.— Потом его арестовали, как врага народа, по обвинению, что он отравлял скот ящуром. Это, так сказать, единство противоположностей...

Н. —Ха-ха. Ну вот — язык. Ну как вам не стыдно?

Я.— Не тревожьтесь. После его расстрела выяснилось, что никаких лошадей он не отравлял и погиб невинно, но на определенном, данном этапе или, как бишь, отрезке времени — это было правильно.

Н. захохотал диалектическим своим хохотом. На этом я и пошел.

На бульваре Шевченко качались на виселице повешенные немецкие поджигатели и один ободранный, как босяк, в рваном ватнике, староста.

Немцы ограбили нас самым злейшим грабежом: они забрали в Германию наших детей. Множество подростков лет по 12—13 вывезено в Германию для онемечивания и работы. Множество детей оторвано от своих матерей.

Мать живет в моей комнате. Мне стало легче на душе.

Умирая в Киеве от голода, от голодной водянки, несчастный мой отец не верил в нашу победу и в наше возвращение. Он считал, глядя на колоссальную немецкую силу, что Украина погибла навеки вместе с украинским народом. Он уже не надеялся встретиться со своими детьми, которые поневоле бросили его на произвол судьбы. Он думал, что мы всю свою жизнь будем жить где-то в чужих странах. Так, в тяжкой безнадежности, и умер в великих муках...

Жизнь отцовская была несчастлива. Он умер восьмидесяти лет. Он был неграмотный, красивый, похожий внешне на профессора или академика, умный и благородный человек... Прожил он всю свою жизнь неудовлетворенный, неосуществленный ни в чем, хотя и готовый рождением своим ко всему наивысшему и тонкому, что есть в жизни человечества.

Шесть дней лежал он непохороненным, пока мать не сделала ему гроб, продав остатки своей одежды, и не отвезла его, старая, одинокая, брошенная всеми, на кладбище. Мать говорит, что он в гробу был как живой и красивый. У него и в гробу были черные волнистые волосы и белая, как снег, борода. Его выгнали из моей и сестриной квартиры немцы и даже сильно побили, так сильно, что он долгое время ходил весь синий от побоев. Он был ограблен, обокраден и выпихнут на улицу. Отцова жизнь — это целый роман, полный исторической печали и скорби.

28. XI

Запрещение «Украины в огне» сильно удручило меня. Хожу печальный и места себе не нахожу. И все-таки думаю: пусть она запрещается, бог с ними, она все равно написана. Речь произнесена...

Я написал повествование честно, как оно есть и как я вижу жизнь и страдания моего народа. Я знаю: меня будут обвинять в национализме, в христианизме и всепрощенчестве, будут судить за игнорирование классовой борьбы и ревизию воспитания молодежи, которая сейчас героически сражается на всех грозных исторических фронтах,— но не это лежит в основе произведения, не в этом дело... А дело в сокрушении — плохо, что сдали мы Гитлерюге проклятому всю Украину и освобождаем ее людей плохо. Мы, освободители, все до одного, давно уже забыли, что мы немного виноваты перед освобожденными. А мы уже считаем их второразрядными, нечистыми, виноватыми перед нами, дезертиро-окруженцо-приспособленцами. Мы славные воины, но у нас не хватило обыкновенной человеческой доброты к своим родным людям...

...Если я в каких-то формулировках или даже мыслях и ошибся, то ведь ошибаюсь не один я. Ошибаются и в войне, и в политике, и даже в комбайнах. Я не против классовой борьбы и не против жестокой расправы с предателями Отечества. И не я оскорблял Богдана. Я первый обижался за Богдана. Я восемнадцать лет создавал советское коммунистическое искусство, и глупо подозревать меня во враждебных тенденциях, да еще в такое вот чрезвычайное время...

29. XI

Одним из парадоксов нашего времени является наличие у многих людей идеи освобождения Родины от ярма гитлеризма

без сущности самой идеи. Есть командиры и политработники, которые два года проливают свою кровь, переносят гигантские трудности, не жалея своей жизни, воюют за освобождение Родины и, освободив тот или иной окровавленный, разоренный ее кусок, обращаются с освобожденными людьми грубо, нехорошо, а иногда и жестоко, как с чем-то виновным, вражеским, подозрительным, забывая, что Родина — это не только земля, а родные люди, плотью от плоти которых они являются. У них идея голая и мертвая. Что затмевает им душу, что ослепляет глаза? То же самое, что и до войны. Какой-то дефект воспитания и стиля нашей жизни. Холод формализма.

Директор кинохроники Н., молодой толстомордый человек, приехал в освобожденный Киев. Увидев на киностудии группу желтых, ободранных, придавленных ужасом немецкого злосчастья сотрудников студии, которых освободила наша армия, он, после того как кто-то из них в моем присутствии обратился к нему с каким-то вполне практическим вопросом, сказал ему в ответ, грозно нахорохорившись, первые свои освободительские слова:

— Ну, мы еще посмотрим. Надо всех проверить. Я знаю, здесь сидят, ничего не делая для Родины, поотъедали себе толстые морды...

Я не сдержался. Я перебил этого толстомордого и толстокожего товарища... и сказал ему здесь же, что так говорить нетактично и не следует, что они впервые за два с половиной года видят родную толстую морду, смотря на его милость Н. будто в зеркало прошлого. Он примолк. При всем этом он неплохой человек. Он хороший.

Я болен. У меня болит аорта и все тело. Нехорошо болит голова. Запрещение повести и вообще все вокруг этого дела разрушило меня в полном смысле этого слова. Не знаю, как я и переживу это горе. Если бы не мать и Юля, умер бы, чтобы не жить и не мучиться. Художнику надо, очевидно, мучиться всю жизнь.

Сводка сообщает об оставлении нами Коростеня. Значит, Киев, наш многострадальный, израненный мученик, опять под угрозой, опять дрожат его несчастные люди, поглядывая в тревоге на кровавый запад. Опять сидят голодные, без света и воды, без одежды, тепла и покоя.

Как я жалею, что я уже не молодой, что не мне уже носить меч воина и молот или топор рабочего — строителя своей беско-

нечно любимой земли, разоренной, разрушенной, и тем еще лучшей и более милой моему сердцу.

Я работал бы день и ночь хоть сто лет и никогда не знал бы ни усталости, ни уныния, и никогда не надоедала бы мне работа. Если б не сердце, измученное и обессиленное от боли.

3. XII

Заболела мать. По ее словам, отец умер в Киеве в результате голода. На дворе ветер и снег. Москва, Москва...

Есть люди, для которых приказывать — значит ругаться.

За мое время в Киеве исчезли такие памятники культуры, как Михайловский монастырь с церковью двенадцатого века [83], верхушка Ирининской церкви одиннадцатого века [84], Никольский собор, построенный Мазепой,— необычайной красоты церковь в стиле украинского барокко, колокольня этого монастыря.

Киевский Братский монастырь на Подоле [85], знаменитое братство с Академией [86], откуда вышли первые просветители России, где учился Ломоносов, колокольня одиннадцатого века Кирилловского монастыря [87], памятник времен магдебургского права на Подоле [88], Самсон, раздирающий льва [89], Киево-Печерская лавра — Успенский собор [90], гениальная по красоте церковь, равной которой, может быть, нигде нет. Межигорский запорожский Спас — монастырь бывших запорожских казаков [91].

Значительное количество других старинных церквей на Подоле, Десятинная церковь [92], Трехсвятительская старинная красивая церковь [93], Университет св. Владимира [94], Публичная библиотека на улице Кирова [95], Крещатик, Николаевская, Меринговская, Ольгинская, Энгельса, Прорезная и часть Пушкинской улицы [96] — архитектурное XIX столетие, придававшее городу его особый собственный стиль, что приближало его к хорошим, настоящим европейским городам.

Одним словом, двадцатый век отомстил. Погулял по следам и девятнадцатого, и семнадцатого, и одиннадцатого. Оставил битый кирпич, каменные коробочки, на которые противно смотреть, и искалеченную землю...

Примусь я лучше писать новый сценарий про народ [97]. И не буду я его писать ни о дважды героях, ни о трижды предателях. Ни о вождях, что самим своим присутствием уже приукрашивают произведение и возбуждают надежды постановщиков на безапелляционные путеводные сентенции, а напишу я сценарий о людях простых, обыкновенных, тех самых, что называются у нас «широкими массами», что понесли тягчайшие потери на войне, не имея ни чинов, ни орденов. Напишу, как им жить и что делать, и как и что думать, чтобы лучше жилось после войны по закону божескому и человеческому. Действие начинается возвращением семьи на развалины.

5. XII

Война будет показываться в отдельных наплывах: когда нужно будет для драматургической ситуации — вернуться к прошлому.

Война достигла своей наивысшей ступени.

В Киеве рассказывали, что немцы уже не верят в свою победу. И, предельно встревоженные своим положением, спрашивают иногда наших людей:

— Расскажите, объясните нам, как и почему вы воюете? Мы этого абсолютно не понимаем. Если бы мы были так разрушены и ограблены, мы давным-давно уже сложили бы оружие.

Очевидно, немцы провоюют еще год, держась на дисциплине и силе приказа. Мы вступаем в сорок четвертый год, самый тяжкий и жестокий год мировой истории. Моральный упадок определенных слоев человечества достиг своего апогея...

Украина разрушена, как ни одна страна в мире. Разрушены и ограблены все города. У нас нет ни школ, ни институтов, ни музеев, ни библиотек. Погибли наши исторические архивы, погибла живопись, скульптура, архитектура. Разрушены все мосты, дороги. Разорила война народное хозяйство, поуничтожала людей, перебила, повешала, разогнала в неволю. У нас почти нет ученых, маловато художников...

6.XII

Сегодня утром мать рассказывала, как умирал мой брат Андрейка. У него с детства было больное сердце и он знал, что

он не жилец на свете, о чем не один раз говорил и матери. Когда в результате осложнения от гриппа он, с больными сердцем и почками, уже начал пухнуть, отец решил отвезти его в Киев полечиться. Запрягли своего коня, положили больного Андрея и поехали на станцию Мену. Ехать надо было двадцать пять километров. Снег с дождем. На возу тряско. В Бабе Андрей, утомленный и измученный дорогой, перемерзший, попросил отца остановиться.

— Ну, сынок, поедем уже поскорее. Ты больной. Кто здесь нас примет в хату. Давай уж ехать.

Проехали еще полдороги. Прибыли на станцию. Внесли Андрея в вокзал. Положили на скамье.

Отец пошел подбросить коню сена. Возвращается. Андрей повернулся к стене.

— Что, Андрейка, что, сыночек, тебе плохо? Трудно тебе?

— Трудно, тата, трудно. Ой!

Андрейка три раза вздохнул, заплакал и умер. Подошел поезд. Забрал пассажиров и двинулся дальше. А отец положил Андрейку на воз и, тяжко плача, повез его домой.

Приехал, слышу, стучит возле ворот.

— Что ты?

— Принимай, мать, завтракать.

Я глянула. А он лежит, черные волосенки. Красивый-красивый. А на похороны сошлись все концы села. А дивчата укрыли его цветами, так плакали над ним. А он лежал, их жених, в цветах, красивый-красивый, лучше всех, что остались в живых. Я чуть не умерла от плача... Да, когда отец вез его в Мену, конь все время поворачивал сани домой. Отец не знал, что с ним сделалось, думал, что он взбесился. А оно вон что. Это он смерть предвещал [98].

Сегодня навестил меня Л. Арнштам [99], добрый мой друг, с которым в последнее время я, к сожалению, не имел возможности часто встречаться.

Рассказывал о Шостаковиче. Шостакович написал гениальную Восьмую симфонию [100].

Блестящая рецензия на эту гениальную симфонию, написанная после репетиции одним из лучших музыкальных исследователей, не была, однако, напечатана... К Шостаковичу подошел вдруг Н., приветствовал что-то, что-то шептал, а дальше, в общем, со слов Н., выяснилось, что Восьмая симфония — произведение трагедийное и поэтому контрреволю-

ционное и антисоветское. Почему Шостакович в начале войны, когда мы даже отступали, написал вещь боевую, оптимистическую, а сейчас, когда мы наступаем и бьем врага, он пишет трагедию? А раз это так, значит, он на стороне врага...

Умер Емельян Ярославский, вечная и добрая ему память. Был он человеком добрым и кристально чистым. Коммунистом высокого интернационального плана, великой честности.

Любил искусство, художников, землю, цветы. Любил и ценил красоту.

Коммунистическая партия потеряла благородного и содержательного человека... Пухом ему земля и добрая память.

Сегодня посетил Бабий Яр.

Ужас.

На развалинах святой лавры — Юля [101], Шура Копыленко [102], наш Макагон [103].

Ползали по страшной куче кирпича...

1944 ГОД

25. I

Я никогда не был полемистом. И до сих пор в диспутах, которых так много было в моей жизни, я нахожу нужные слова не сразу, а уже после боя, в одиночестве, зарывшись головой в подушку. Вот тут я нахожу для своего противника самые сильные аргументы, я одаряю его острейшим словесным оружием, я терпеливо подставляю под его удары свои самые уязвимые места. И тут же разбиваю его в пух и прах такими точными, яркими и меткими попаданиями, что все вокруг дрожит от восторга, все радуется, но — все это уже запоздало и тщетно. Нет уже ни боя, ни победы. Одна досада и несчастье реальности.

22. II

Дописываю Мичурина [104].

Чем больше пишу и вдумываюсь в написанное, тем больше люблю этого человека.

Может, он был и не таков, наверное, не таков. Я отбросил почти всю сумму маленьких частных, бытовых правд, стремясь к единой, главной правде этого Человека. Это дает мне много раздумья.

Мне приятно писать об этом истинном сподвижнике Ленина, скромном и органически, глубоко преданном коммунизму, трудном и сложном человеке.

Я ощущаю в нем себя, да простится мне сравнение.

1.III

Писатель, когда он пишет, должен чувствовать себя равным самому высокому политическому деятелю, а не ученику или приказчику.

Вчера Н. привез мне из Киева известие о снятии меня с должности художественного руководителя студии.

Нужно взять себя в руки, заковать в железо сердце, волю и нервы, пусть самые последние, и, забыв все на свете, создать сценарий и фильм, достойный великой нашей роли в великую историческую эпоху.

3.V

«Повесть пламенных лет» не должна быть обычным рассказом (повествованием) на экране в смысле бытового, натуралистического по манере реализма. Это должна быть вещь реалистическая в понимании высоком, мастерском. Ее поэтический дух, художественный ход обобщений, выбор прекрасного среди красивого, вечного в повседневном, эпического в обычном — все должно быть подчинено единому стилевому комплексу строгого, высокохудожественного произведения. Не должно быть ни одного пустого, равнодушного метра, ни одного случайного, ничего не значащего слова.

Надо вложить в уста персонажей все лучшее и высокое, все, что способствовало бы высочайшей художественности и высокой жизненной и поэтической правде произведения. Надо соответственно художественному стилевому плану выбрать и персонажей, и одежду, и в особенности пейзаж. Последний должен играть особую, решающую в большой мере роль.

А народ, весь, в целом, надо поставить над войной. Чтобы он в картине был крупнее войны, народ советский, смертью смерть поправший.

1945 ГОД

14.IV

Сегодня пятнадцатая годовщина смерти Владимира Маяковского. Как печально вспоминать, что наибольший поэт нашей эпохи покинул нашу эпоху.

Помню, накануне самоубийства мы сидели с ним в садике дома Герцена, оба в тяжелом душевном состоянии: я — по причине зверствований, совершенных над моей «Землей», он — изнуренный рапповско-спекулянтско-людоедскими бездарями и проходимцами.

— Заходите завтра ко мне днем, давайте посоветуемся, может быть, нам удастся создать хоть небольшую группу творцов для защиты искусства, так как то, что происходит вокруг,— это нестерпимо, невозможно.

Я обещал прийти и пожал в последний раз его огромную руку.

На следующий день, в воскресенье, собираясь к нему с Юлей, я услышал жуткую новость...

Прошло пятнадцать лет. Недавно в кремлевской больнице престарелый Демьян Бедный встретил меня и говорит: «Не знаю, забыл уже, за что я тогда разругал вашу «Землю». Но скажу вам — ни до, ни после я такой картины уже не видел. Какое это было произведение действительно большого искусства».

Я промолчал...

5.VI

Вспоминаю:

Основная черта характера нашей семьи — насмехаться надо всем и в первую очередь друг над другом и над самими собой. Мы любили смеяться, дразнить друг друга, смеялись в добре и горе, смеялись над властью, над богом и над чертом, питали большую любовь и вкус к смешному, остроумному, острому. Дед и отец, мать, братья и сестры.

Слез нам выпало, однако, в жизни много, больше, чем смеха.

И все мы были добры к людям.

Своеобразность юмора была нашей семейной и национальной приметой.

Я патриот Советского Союза и коммунист, хотя и несовершенный.

Народ может быть велик в каждый данный момент только в одной области. Нет поэтов — есть генералы, маршалы. Бывают эпохи художников, бывают и другие эпохи, которые производят людей умных, сильных, чрезвычайно мужественных.

Но все же, чтобы стать художником, надо иметь железное мужество.

30.VI

Сегодня, в субботу, произошло великое событие в жизни моего народа [105]... Объединился он в одну семью.

Исполнилась мечта столетий. Исполнилась и моя мечта, мечта моего красивого Кравчины [106]. Будь благословенна, моя многострадальная земля. Счастливо тебе! Дай разума и совести руководителям твоим! Будь благословен, ласковый, добрый народ мой. Будь сильным, терпеливым...

Трудно было писателю Н. излагать свои мысли. Не было в мыслях ни ясности, ни веса, не то что прозрения.

Писатель начал сбиваться, экать, нукать:

— Ну, ну, ну! Я сказал, что не продумал всех деталей. Я хочу, ну, ну! Показать в своем произведении (где оно?), разрешить такую задачу — ну, ну, ну! Единство противоположностей, показать, что нельзя резать купоны... После войны мы обязаны жить еще лучше и еще лучше трудиться, ну, ну, ну, все наверно...

Директор студии Н.:

— Так, товарищи, ясно? Приступим к обсуждению...

Разговор отца или деда с сыновьями офицерами-летчиками дальних рейдов, вернувшимися с войны.

— Расскажите же, где вы были?

— Были везде. Летали надо всей землей.

— Над чьею?

— Надо всей! Над целой планетой.

— А, планета. Знаю. И комету видел. Громыхала когда-то, с большим хвостом. Предвещала турецкую войну.

— Бросали бомбы на землю.

— Тьфу.

— Уничтожали врагов на всем свете.

— Ну, какой же он, свет?

— Небольшой. Маленький, тата.

— Маленький, говорите. Как мне вас жалко... Раньше и свет великий был. Такой большой. Едешь, бывало, в Кременчуг, а там же еще степи на Бессарабию... Большой был мир, полный загадочного. И полной красоты. Выйдешь, бывало, в степь, а степь широка и т. д... А где погиб Володимир?

— В Мадриде.

— Ага, это уже где-то там, за Одессой [107].

Детство удивляется.

Молодость негодует.

Только годы дают нам примиренное равновесие и невозмутимость.

Июнь

Величайшее сокровище человечества — сам человек. Не так ли?

Почему же человеческое общество держится на жестокости? На зле и насилии?

Народились новые условия существования. Они так же неуклонно принудят народы ко всеобщему миру, как раньше принуждали к обязательной войне.

17.VII

Читал «Повесть пламенных лет» на сценарной студии. Таким образом, у меня сегодня знаменательный день.

«Повесть» произвела большое впечатление...

3.VIII

С великим удовлетворением прочитал меморандум Берлинской конференции [108]. Теперь я уже верю, что омерзительное гнездо европейских бандитов — Германия — оседлана всерьез и обезоружена. Слава богу.

Начинается новая эра жизни в Европе и у нас. Перед нашей молодежью открываются величественные перспективы.

Народ-герой и победитель в такой тотальной войне! Пошли ему, судьба, силы восстановить утраты, народить детей и вырасти до заслуженных высот.

Мы стали мировой державой, наша культура должна стать мировой культурой. В конце концов не должно пропасть понапрасну ни капли поту, ни капли крови нашей.

Сегодня на стадионе смотрел репетицию физкультурного парада. Любовался молодежью, юной пластикой, молодыми мускулами, движением. Много красоты, радости, силы. Много проявлено настоящего вкуса и таланта...

Радуюсь за всех добрых людей Советского Союза.

5.VIII

Я принадлежу человечеству как художник и ему я служу. Искусство мое — искусство всемирное. Буду работать в нем, сколько достанет сил и таланта. Буду, хочу жить добротой и любовью к человечеству, к самому дорогому и великому, что создала жизнь,— к человеку, к Ленину.

14.VIII

Вчера встретил на улице Москвы артиста-эстрадника Аксенова, который уже второй год везде на гастролях читает мой рассказ «На колючей проволоке» с непрекращающимся, как он говорит, громовым успехом, проверенным на разнообразных аудиториях.

16.VIII

Показалось как-то мне, что я мог бы написать комедию. Сегодня, оставив «Повесть пламенных лет», я целехонький душный день просидел за столом над замыслом.

Смех и грех. Пробовал смеяться, а хочется плакать. Придумал название «Молодая кровь», перебирал фамилии действующих лиц, персонажей, типаж знакомых, сюжетную связь, и голова устала до упаду.

Боюсь, не выйдет у меня комедия. Все же не буду падать духом. Постепенно откристаллизуются основа фабулы, сюжетные ходы персонажей, а содержание и детали форм, и острота, и игра найдутся.

Как бы мне хотелось сделать веселую комедию. Ведь в кино, хорошо помню, пошел я девятнадцать лет назад с единственной целью — делать комедийные фильмы.

«Молодая кровь».

— Вы подумайте. Старый хрен — разве же не женился!

— Дед Годун? Дедушка!

— Вы же старые уже. Зачем вам жена?

— Ну что вы скажете!

— А что говорить? Конечно, уже оно не тое. Теперь я уже разве ущипну когда или так поругаемся, а все-таки живой человек требует чего-то... [109].

— Подхалимство — это своего рода наркотик. Оно необходимо, иначе его не было бы.

— Кому оно необходимо?

— В первую очередь всем лицам, занимающим не свои должности. А так как...

— Понимаю.

— Так кто же виновен?

— Наказанный.

Профессор, большой ученый. Бог ассистентов и студентов. Удивительная эрудиция. У него склеротическое недержание фамилий. Он их забывает. Это раздражает его и всегда портит ему настроение. Ближайший ему человек — слабенький, неинтересный ассистент, который умеет подсказывать ему фамилию...

1. Персонаж (женский) визжит.
2. Персонаж мужской — проспал всю пьесу.
3. Тот, что кашляет,— прокашлял, взмахивая рукой.

26.VIII

Заместитель дурака.

(Драма) [110].

Ничто не должно так раздражать важного руководителя, как наличие разных несходств вообще, всяческих различий, разнообразностей человеческих. И хлопот от них много, и беспокойств, и недоразумений, и всяких, одним словом, случайностей, которые всегда, как показывает опыт, водятся в темных закоулках индивидуализма.

Правда, за последнее время передовое общество и особенно его начальники многое сделали для унификации, чтобы обеспечить покой себе и вышестоящему. Некоторые начальники прославились на фронте борьбы с человеческой несхожестью. Впрочем, и сама общественность тоже не дремала, дабы удовлетворить интерес руководства и тем самым свой интерес.

Возьмите, допустим, человеческое имя. Уже теперь, к примеру, что касается молодежи, куда ни глянь — Олег или Игорь, дочка — если не Светлана, то Тамара. Безошибочно и хорошо.

Вот почему, когда директор кукольной артели Кабанец-Благонадежный сказал, что его зовут Торохтий Макогонович (Пустозвон Дубинкович), все даже присели. Никто не ожидал такого имени. Иностранец,— так не иностранец. Больше того, языков не знает, за границей не был, родственников не имел— чистый, девственный человек. Вот имечко — Торохтий. Надо же было уметь читать святцы, чтобы найти такое звучное имя. Это вам не Олег, не Джек, это Торохтий Макогонович. То, что он не иностранец, хотя Торохтий, видно было и по его лицу, и по одежде, и по манере. Все у него было точнехонько такое, как и у нас.

Он любил радио. Оно играло у него неумолчно день и ночь. Он любил соответствующие портреты и развешивал их в большом числе на виднейших точках. Любил также черные гипсовые статуэтки.

Они у него были всюду.

Люди злы и неблагодарны.

И сколько на них ни работай, никогда всем не угодишь. Всегда найдутся умники, которые начнут тебя шпынять так или иначе. Сколько голов, столько вкусов. На все вкусы не угодишь. Поэтому лучше угождать начальнику.

Торохтий Макогонович делал куклы в соответствии с житейской мудростью. И надо сказать, что он не ошибся.

«Мания» [111].

Все жаждут должностей. До смерти не пойму, почему так лезут к должностям. Что может быть лучше конкретной работы, умения создавать конкретную ценность для своего общества!

3.IX

Итак — мир. О какой опасности болтает сегодня американский лавочник. Трумэн, показывая из кармана атомную бомбу, кто его знает. Чего ему бояться? Люди целы. Бомба в кармане, денег много. Не боится ли он случайно, что появится бомба и у нас....

Закончилась мировая война.

Я хочу работать. Я хочу верить до смерти, что уже не нужны будут человечеству... генералы.

Что будет мир. Что не нужны будут герои-мученики. Академия наук стала на страже мира. Ученый. Благородный человеческий интеллект единого общества без вражды. Благородству созидателя, мыслителя, защитнику свободы человека, добра и жизненной независимости, героям сострадания, всем, кто сделает невозможной стопроцентную, безоговорочную, увешанную идиотскими украшениями мерзость войны,— хотел бы я создавать памятник вместе с людьми-братьями.

Комментарии

Комментарии составили:

К. М. ИСАЕВА

Ю. Г. РУБИНШТЕЙН

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

СТОЙ, СМЕРТЬ, ОСТАНОВИСЬ!

Очерк о летчике-герое, капитане В. Гусарове. Впервые опубликован 23 мая 1942 года в газ. Юго-Западного фронта «Красная Армия» под названием «Сильнее смерти». Позже неоднократно публиковался, в частности: в газ. «Правда», 26.V 1942 г.; в литературно-художественных сборниках периода Великой Отечественной войны; включен в однотомник «Избранное», М., «Искусство», 1957, стр. 549—551; Твори, т. II, Київ, Держлітвидав, УРСР, 1958—1960, стор. 423—426 (на укр. яз.); Твори, т. I, «Дніпро», 1964, стор. 89—92.

Публикуется в последней авторской редакции по тексту сборника «Избранное», подготовленной А. Довженко при издании сборника.

В архиве Довженко сохранились варианты очерка на украинском и русском языках (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 307).

Интересно отметить, что очерк был опубликован в газ. «Красная Армия» в одном номере со статьей самого капитана В. Гусарова «Крепко достанется немецким стервятникам!», написанной им за несколько часов до вылета на последнюю операцию.

ОТСТУПНИК

Впервые опубликован 20 мая 1942 года в газ. Юго-Западного фронта «Красная Армия». Широко публиковался в различных газетах и журналах военных лет, а также вышел в серии «Библиотечка красноармейца», в которой был издан 25 раз на 12 языках народов Советского Союза. В изд-ве «Правда» рассказ был напечатан тиражом в 1 000 000 экз. и использовался как листовка.

Рассказ включен в сб. «Избранное», стр. 552—557; Твори, т. II, 1958—1960, стор. 427—433; Твори, т. I, «Дніпро», 1964, стор. 93—98; сб. «Зачарованная Десна». Рассказы. Из записных книжек, М., «Советский писатель», 1964, стр. 115—122.

Публикуется по последней авторской редакции (сб. «Избранное»).

В архиве Довженко сохранились варианты рассказа на украинском и русском языках (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 306).

В дневниках Довженко есть запись (13. V 1942) о подлинном событии, послужившем материалом для этого рассказа. Из этой же записи мы узнаем об окончании работы над первым вариантом рассказа.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Впервые опубликован: Твори, т. II, 1958—1960, стр. 449—458; затем в сб. Твори, т. I, 1964, стор. 113—122; сб. «Зачарованная Десна», стр. 127—138.

Публикуется по авторскому подлиннику на русском языке — машинопись, с авторской правкой,— хранящемуся в ЦГАЛИ (ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 302). В архиве Довженко сохранились и варианты рассказа на украинском языке — машинопись с авторской правкой (там же).

В дневниках А. Довженко, уже в самых первых записях, сделанных в конце 1941 и начале 1942 года, мы встречаем размышления автора о трагической судьбе и величии украинской женщины — матери, жены, сестры, любимой.

Запись от 30 апреля 1942 года содержит наброски будущего рассказа, которые находят дальнейшую разработку в дневниках от 1 и 2 мая 1942 года.

Рассказ почти без изменений использован в сценарии А. Довженко «Украина в огне».

НОЧЬ ПЕРЕД БОЕМ

Новелла. Впервые опубликована 1 августа 1942 года в газ. «Красная звезда», впоследствии публиковалась в целом ряде газет этого периода, а также отдельным изданием в серии «Библиотечка красноармейца» (24 раза на 13 языках народов Советского Союза). Вошла в литературно-художественный сборник военных лет «Гневное слово» (М., Гослитиздат, 1942, стр. 67—79) и сборник статей и рассказов А. Довженко «Великое товарищество» (М., изд-во «Правда», 1942, стр. 3—20; включена в сб. «Избранное», стр. 558—567 Твори, т. II, 1958—1960, стр. 449—458; Твори, т. I, 1964, стор. 123—133; сб. «Зачарованная Десна», стр. 85—97).

Публикуется по последней авторской редакции (сб. «Избранное»). В архиве Довженко сохранились варианты на украинском и русском языках, автограф (в отрывках) и машинопись с авторской правкой (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 303—305).

Первые наброски новеллы встречаются в дневниках Довженко (середина апреля 1942 г.). В записях первой декады мая намечается дальнейшая их разработка, а запись, датированная 13 мая 1942 года, свидетельствует о том, что Довженко читал уже законченную новеллу начальнику Политуправления Юго-Западного фронта С. Ф. Галаджеву.

[1] *«Де проїхав Морозенко — кривавая річка...»* — слова из украинской народной песни «Ой Морозе, Морозенку, ти славний козаче...» (см. сб. «Історичні пісні», Київ, Вид-во АН УРСР, 1961, стор. 245).

Морозенко — герой многих народных песен второй половины XVII — начала XVIII столетия. Прообразом Морозенко, опоэтизированного в народных песнях, послужил сподвижник Богдана Хмельницкого в освободительной войне украинского народа 1648—1654 годов, руководитель крестьянского повстанческого отряда на Подолии наказной корсунский полковник Станислав (Нестор) Морозенко (Мрозовицкий) (год рожд. неизв.— погиб в 1649 г.).

НА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКЕ

Опубликован в газ. «Коммуніст» 2—3 октября 1942 года на украинском языке. На русском языке впервые напечатан в журн. «Новый мир», 1942, № 11—12, стр. 63—70.

Отдельным изданием вышел в Укриздате в 1943 году на украинском языке и в 1943 году на русском языке в Магаданском изд-ве «Советская Колыма». Вошел в альманах Союза писателей Украины «Україна в огні», кн. 2, 1942, стр. 97—111 и в другие литературно-художественные сборники военных лет.

Включен в Твори, т. II, 1958—1960, стр. 427—433; Твори, т. I, 1964, стор. 99—112; сб. «Зачарованная Десна», стр. 99—112.

Публикуется по авторскому подлиннику — машинописи с авторской правкой (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 300). В архиве Довженко сохранились варианты рассказа на украинском и русском языках, датированные 12—27 апреля 1942 года.

Замысел рассказа мы встречаем в записных книжках писателя в марте 1942 года, а в первых числах апреля — уже развернутые наброски к рассказу. В записи от 13 апреля 1942 года сказано: «Вчера ночью, при свечке, читал «На терновой проволоке»...»

Рассказ послужил основой одного из центральных эпизодов сценария «Украина в огне».

Рассказы Довженко часто читали артисты и чтецы, выступавшие перед бойцами и на фронте и в тылу. В частности, об успехе рассказа «На колючей проволоке» в исполнении Всеволода Аксенова с чувством большого удовлетворения Довженко упоминает в своих записных книжках.

[1] *...так высоко, что у него...* — В подлиннике читаем: «...так высоко, что у нее...». Описка, допущенная автором, вошла в последующие публикации. В данном издании в текст внесено изменение.

[2] *«Ой верніть мені чаєнята, я їх рідна мати...»* — слова из украинской народной песни «Ой горе тій чайці...» (см. сб. «Народна лірика», Київ, «Радянський письменник», 1956, стор. 75).

[3] *«Буде ж тепер їх по горах, по долинах, ой буде ж тепер їх по чужих по країнах...»* — перефразированные слова украинской народной песни «Ой, із-за гори та буйний вітер віє» (см. сб. «Українські народні ліричні пісні», Київ, Вид-во АН УРСР, 1958, стор. 439).

Слова и образы этой песни неоднократно используются А. Довженко в произведениях военных лет.

ВОЛЯ К ЖИЗНИ

Впервые рассказ опубликован в газ. «Известия» 13.XI 1942 года. Неоднократно публиковался в годы Великой Отечественной войны: «Советская Украина», 1942, 17.XI; «Октябрь», 1942, № 12, стр. 5—8 отдель-

ным изданием в серии «Боевые эпизоды», Ташкент, 1943 (на узбек. яз.). Включен в сб.: «Зачарованная Десна», стр. 106—114; Твори, т. I, 1964—1965, стор 222—229.

Публикуется по тексту журн. «Октябрь». В архиве Довженко (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 319—320) сохранились варианты рассказа на украинском и русском языках (машинопись с авторской правкой).

Впоследствии рассказ был использован Довженко в «Повести пламенных лет», куда включен почти без изменений как один из эпизодов сценария. В образе героя рассказа, разведчика Ивана Кармалюка, узнаются черты главного героя «Повести пламенных лет» Ивана Орлюка.

ПОБЕДА

Впервые рассказ опубликован на украинском языке в отрывках в газ.: «Комуніст», 14.XI 1942 г. (под названием «Битва») и «Література і мистецтво», 20.XII 1942 г. (под названием «Грізна їх слава». Полностью опубликован в журн. «Дніпро» (1960, № 3, стор. 88—112); включен в Твори, т. I, 1964, стор. 134—174.

На русском языке публикуется впервые.

Публикуется по авторскому подлиннику с датой 18.II 1943 г. (машинопись с авторской и редакторской правкой), хранящемуся в ЦГАЛИ (ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 309—318).

В архиве Довженко сохранились многочисленные варианты рассказа на русском и украинском языках в автографе и машинописи (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. I, ед. хр. 309—318).

Замысел рассказа «Победа» возникает в дневниках Довженко в марте 1942 года.

Центральный эпизод рассказа — отражение танковой атаки врага — включен Довженко в сценарий «Украина в огне».

Имя главного героя рассказа Кравчины проходит через многие замыслы и произведения А. Довженко (см. записные книжки военных лет и послевоенного периода, сценарии «Украина в огне» и «Поэма о море», наброски к народной эпопее «Золотые Ворота»). Можно полагать, что это имя было подсказано Довженко прозвищем Северина Наливайко (по некоторым источникам), которого Довженко неоднократно упоминает в статьях, выступлениях, листовках и рассказах военных лет как одного из доблестных сынов украинского народа.

Наливайко Северин (год рожд. неизв.— ум. 1597) — руководитель крупного крестьянско-казацкого восстания на Украине (1591—1596) против гнета польско-шляхетских и украинских магнатов. В бою с польско-шляхетскими войсками под Лубнами Наливайко был захвачен в плен и после жестоких пыток казнен в Варшаве. О его мужестве сложено множество народных песен. Героический образ Наливайко был любимым образом Т. Шевченко и поэта-декабриста К. Рылеева, который посвятил ему свою неоконченную поэму.

[1] *Богун Иван* (год рожд. неизв.— ум. 1664) — герой национально-освободительной войны украинского народа против польской шляхты, участник народных восстаний 1637—1638 годов на Украине, один из виднейших сподвижников Богдана Хмельницкого. Человек выдающихся военных способностей, большой отваги и физической силы, он неоднократно одерживал победы над врагами в самых трудных усло-

виях. Украинский народ чтит память Богуна. В 1918 году один из полков Н. Щорса был назван Богунским.

[2] *Кривонос Максим* (год рожд. неизв.— ум. 1648) — один из ближайших соратников Богдана Хмельницкого в освободительной войне украинского народа 1648—1654 годов, выдающийся предводитель крестьянских отрядов. Отличился во многих битвах, в том числе под Корсунем, под Константиновом, под Пилявцами, при осаде Львова.

[3] *Сагайдачный (Конашевич-Сагайдачный) Петр Кононович* (год рожд. неизв.— ум. 1622) — украинский гетман. Принимал участие в походах запорожских казаков, отражавших нападения крымских татар и турок.

[4] *Байда-Вишневецкий Дмитрий Иванович* (год рожд. неизв.— ум. 1564) — один из руководителей запорожского казачества, гетман Запорожской Сечи в 1550—1563 годах. Воспет в народных песнях как храбрый защитник Украины от опустошительных татарских набегов.

[5] *Даниил Галицкий* (1201—1264) — князь Галицко-Волынский, выдающийся политический и военный деятель Киевской Руси.

[6] *Святослав Игоревич* (год рожд. неизв.— ум. 972 или 973) — великий князь Киевский (около 945—972), выдающийся полководец Киевской Руси.

[НЕДОЛЯ]

Набросок к рассказу, который не был завершен. К теме — «воспитать в добре» — Довженко обращается часто, разрабатывая ее в различных аспектах. Данная запись, вероятно, сделана по услышанному от кого-то конкретному факту. Публикуется впервые в переводе с украинского языка И. Ф. Карабутенко. В архиве Довженко сохранился автограф на украинском языке, датированный 1942 годом (ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 301).

НЕИЗВЕСТНЫЙ

Новелла. Впервые опубликована в еженедельнике «Литературная Россия» 8.II 1963 года, позже в журн. «Прапор», 1964, № 1 (на укр. яз.). Включен в сб. «Зачарованная Десна», стр. 139; Твори, т. I, 1964, стор. 175.

Автограф новеллы на украинском языке сохранился в архиве Довженко (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 301), датируется 1, II 1943 годом.

Публикуется в переводе А. Островского в сб. «Зачарованная Десна».

ФЕДОРЧЕНКО

Новелла. Впервые опубликована 8 февраля 1963 года в еженедельнике «Литературная Россия», затем в газ.: «Червоний прапор», 30.XI 1963 г. (на укр. яз.) и «Літературна Україна», 30. V 1963 г. (на укр. яз.), а также в журн. «Прапор», 1964, № 3. Включена в сб. «Зачарованная Десна», 1964—1965, стр. 140—141; Твори, т. I, стор. 199.

Автограф на украинском языке, датированный 14. I 1943 г., хранится в ЦГАЛИ (ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 301).

Публикуется в переводе А. Островского по сб. «Зачарованная Десна».

МАТЬ

Очерк о подвиге Марии Стоян впервые опубликован в газ. «Известия» 20.II 1943 года. Публиковался во многих газетах и литературно-художественных сборниках военных лет, на украинском и русском языках, а также в журн. «Октябрь», 1943, № 3, стр. 59—61. Включен в «Избранное», стр. 568—573; Твори, т. II, 1958—1960, стор. 471—477; Твори, т. I, 1964, стор. 176—182; сб. «Зачарованная Десна», стр. 98—105.

Публикуется по последней авторской редакции, подготовленной при издании сб. «Избранное».

В архиве Довженко сохранились варианты рассказа на украинском и русском языках и автограф — машинопись с авторской правкой (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 326—328).

Впервые о подвиге безымянной украинской матери, пытавшейся спасти двух раненых советских бойцов, Довженко упоминает в записных книжках 1. IV 1942 г. Эта запись неоднократно варьируется, обогащается в последующих набросках. Одновременно Довженко ищет имя для своей героини: Явдоха Пилипенко, Алена Нечыпайлиха, Мария Стоян.

ТРИЗНА

Рассказ впервые опубликован на украинском языке в журн. «Україна», 1963, № 3, стр. 6—9; на русском языке в еженедельнике «Литературная Россия» 8. V 1964 года (в переводе Б. Бродовского). Включен в Твори, т. I, 1964, стор. 183—198.

Публикуется по авторскому подлиннику — машинописи с авторской правкой — на русском языке, хранящемуся в ЦГАЛИ (ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 323). В этой последней авторской редакции имеются отдельные рабочие пометки Довженко, которые он предполагал использовать при дальнейшей переработке рассказа. Эти пометки в публикуемый текст не включены.

В архиве Довженко сохранились варианты рассказа на украинском и русском языках, автограф и машинопись с правкой автора (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 321—322).

Первые заметки о замысле «Тризны» появляются в дневниках Довженко 19 мая 1942 года.

Отдельные темы и образы рассказа использованы Довженко в киносценарии «Украина в огне».

НЕ ПРИМИРИТЬ

Стихотворение в прозе. Публикуется на русском языке впервые в переводе с украинского И. Карабутенко. В архиве Довженко сохранился автограф на украинском языке, датированный 1944 годом (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 301).

СЦЕНАРИИ

УКРАИНА В ОГНЕ

Отрывки из киноповести «Украина в огне» были опубликованы в журн. «Смена», 1943, № 18 и в газ. «Литература и искусство», 18.IX 1943 года; в 1962 году в газ. «Літературна Україна» (28.XII), а также в журн. «Мистецтво», 1965, № 3, стр. 42—46; № 4, стр. 25—28.

Полностью «Украина в огне» опубликована на украинском языке в Твори, т. 5, 1966, стор. 385—492; на русском — в сб. «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны» («Литературное наследство», т. 78, кн. 1/М. «Наука», 1966, стр. 163—246).

В архиве Довженко сохранилось три варианта сценария; первоначальный — на украинском языке, два последующих — на русском (ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 136—140). В основу данной публикации положен последний машинописный вариант сценария на русском языке (ед. хр. 139).

Отдельные темы, мотивы, образы, использованные в сценарии, возникают у Довженко уже в первые дни войны. Об этом свидетельствуют его записные книжки. По материалу, интонациям, художественным средствам сценарий вплотную примыкает к рассказам и очеркам Довженко этих лет. Три наиболее значительные рассказа Довженко этого периода — «На колючей проволоке», «Незабываемое», «Победа» — почти без изменения включены в сценарий «Украина в огне». Использованы в сценарии и отдельные мотивы рассказа «Тризна». Образы героев этих рассказов развиваются, взаимно обогащаются и находят свое окончательное завершение в сценарии.

Образ партизана Петра Чабана, главного героя рассказа «На колючей проволоке», находит свое завершение в образе Лаврина Запорожца, а образ его противника, бывшего кулака Максима Заброды, получает свое развитие в образе предателя Заброды из «Украины в огне». Одной из центральных фигур сценария становится героиня рассказа «Незабываемое» Олеся. А в образе Василя Кравчины сливаются воедино черты танкиста Василя Нечая («Незабываемое») и капитана Кравчины («Победа»). Едва намеченная в «Тризне» тема Христи Хуторной получает в сценарии свое развитие. Почти без изменения перенесен из «Тризны» и эпизод смерти пасечника Данилы Годуна (в сценарии казнь старого пасечника Запорожца).

«Украина в огне» — произведение не только литературное. Довженко-художнику хотелось дать прежде всего пластическое выражение величественной картины всенародной войны, зрительно показать «землю в огне», показать тогдашнюю действительность во множестве «тяжелых, противоречивых, трагических столкновений».

По своему жанру будущий фильм должен был стать народной героической трагедией, продолжающей традиции украинского эпоса. Здесь и картины небывалых сеч, изображенных в героических тонах, и сцены великого горя, гнева и ненависти народной, и юмор, придающий многим эпизодам трагикомическое звучание и утверждающий торжество жизненной силы народной.

Известно, что Довженко в процессе съемок не прекращал работы над сценариями. Вот почему сейчас трудно судить о том, какие бы мотивы киноповести при постановке фильма стали доминирующими, как бы разрешил художник имеющиеся в сценарии противоречия.

Сценарий при жизни Довженко не был обнародован. Некоторые темы, мотивы и образы были использованы в ряде других его произведений — «Повесть пламенных лет», «Потомки запорожцев».

ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ

Впервые киносценарий опубликован в журн. «Звезда» (1957, № 7, стр. 3—55). В 1963 году выпущен отдельным изданием (М., «Искусство»). Включен в «Избранное», стр. 161—254; Твори, т. I, 1958—1960, стор. 277—392; Твори, т. III, стор. 7—116.

Публикуется в последней авторской редакции по сб. «Избранное», с уточнением по подлиннику — машинописи с авторской правкой (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 159).

Впервые с замыслом сценария мы сталкиваемся в дневниках Довженко в записи от 4.XII 1943 года: «Примусь я лучше писать новый сценарий про народ... напишу я сценарий о людях простых, обыкновенных, тех самых, что называют у нас «широкими массами», что понесли тягчайшие потери на войне, не имея ни чинов, ни орденов...»

В записи, датированной 3.V 1944 года, уже четко сформулирована эстетическая позиция художника, тема сценария. А 17.VII 1945 года Довженко с удовлетворением заносит в свои записные книжки: «Читал «Повесть пламенных лет» на Сценарной студии. Таким образом, у меня сегодня знаменательный день. «Повесть» произвела большое впечатление».

В архиве Довженко находится восемь вариантов сценария, его первоначальный план, списки и характеристики действующих лиц, черновые наброски. Часть рукописей сохранилась в виде автографов, часть — в виде машинописи с правкой автора на украинском и русском языках. (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 153—174). Этот богатый материал позволяет исследователю проследить процесс создания сценария от первоначального замысла до его окончательного воплощения.

«Повесть пламенных лет» может служить ярким образцом своеобразия литературного и кинематографического стиля Довженко. В описанные с огромной впечатляющей силой события войны вплетается взволнованный авторский голос, комментирующий эти события, дополняющий характеристики персонажей, сближающий прошлое, настоящее и будущее в судьбах людей — своих современников. В этом произведении мы встречаемся и с характерной для Довженко драматургией, где вместо фабульной связи, обусловленной множеством подробных мотивировок, существует свободная связь фактов и событий, объединяемых авторской мыслью. Эта своеобразная драматургия — драматургия мысли — один из признаков той кинематографической формы, которую всю жизнь утверждал в своих творческих поисках Довженко.

Как и «Украина в огне», сценарий «Повесть пламенных лет» вобрал в себя многие другие произведения Довженко этих лет. Основой для одного из эпизодов послужил рассказ «Воля к жизни». Без изменений включена в сценарий новелла «Бронза», которая органически вплетается в сюжет как эпизод возвращения домой полонянки Марии (новелла «Бронза» написана Довженко в марте 1944 года. Во избежание повторов, она не включена составителями во второй том. Как самостоятельное произведение новелла опубликована в сб. «Зачарованная Десна», стр. 143—147; Твори, т. I, 1964—1965, стор. 200—203; в газ.

«Червоний прапор», Харків, 30.XI 1963 г. и «Комсомольское знамя», Киев, 12.XI 1964 г.).

Здесь мы встречаем отдельные мотивы и темы, перекликающиеся с «Украиной в огне».

Некоторые эпизоды «Повести пламенных лет» созданы под влиянием документальных фильмов Довженко. Так, одним из первых Довженко включает в игровой фильм дикторский текст. Эпизоды «Повести пламенных лет» — битва за Днепр и наступление советских войск — сопровождаются дикторским текстом, прямо перекликающимся с текстом аналогичных эпизодов из «Победы на Правобережной Украине». А эпизоды пахоты и сева на освобожденной земле повторяют подобные сцены из фильмов «Битва за нашу Советскую Украину» и «Победа на Правобережной Украине».

О глубокой связи «Повести пламенных лет» с документальными фильмами Довженко свидетельствует и включение в ткань сценария наряду с вымышленными героями имен подлинных участников освобождения Украины, которых мы видим на экране в «Битве за нашу Советскую Украину» и «Победе на Правобережной Украине».

Фильм «Повесть пламенных лет» был поставлен уже после смерти А. П. Довженко, в 1960 году, на киностудии «Мосфильм» кинорежиссером Ю. И. Солнцевой.

[1] *...в числе гетманских недобитков...* — Имеются в виду изменники украинского народа, сторонники «гетмана» Скоропадского.

[2] *...в Вышгороде жила его мать Ольга.*— Речь идет о княгине киевской Ольге (год рожд. неизв.— ум. 969), возглавившей Киевское государство в годы малолетства своего сына Святослава Игоревича после убийства мужа — князя Игоря — древлянами. Летописи сохранили сведения об активной деятельности княгини Ольги по упрочению внутреннего и международного положения Киевской Руси.

[3] *Колядки* — украинские народные календарные обрядовые величальные песни, исполнявшиеся во время рождественских праздников.

[4] *«Молодець Іваночко та вибив ворота...»* и следующий отрывок *«А його матінка випроводжала...»* — Из колядки «Молодець Тараско», записанной А. Довженко со слов его матери Дарьи Ермолаевны. См. рукописный сборник «Песни матери» (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 330), в котором записаны тексты песен на украинском языке, напетых матерью Довженко и сопровождаемых нотами.

[5] *Киево-Печерская лавра* — один из старейших древнерусских монастырей. Основана в 1051 году при великом князе киевском Ярославе Мудром. Киево-Печерская лавра строилась на протяжении столетий и представляет собой ансамбль выдающихся памятников архитектуры и искусства. Древнейшее каменное сооружение лавры Успенский собор был богато украшен мозаикой и фресками. В 1926 году Киево-Печерская лавра была объявлена государственным историко-культурным заповедником. Огромный урон лавре нанесли немецко-фашистские захватчики. Все музеи и фонды лавры были разграблены, архитектурный ансамбль подвергся разрушениям.

[6] *Золотые Ворота* — памятник архитектуры XI—XVII веков. Заложены в Киеве при Ярославе Мудром. Судя по летописным описаниям, город был окружен рвами и обнесен мощным валом. В него вело несколько ворот. Золотые Ворота служили главным, парадным въездом в город и представляли собой громадную прямоугольную башню с надвратной церковью. Остатки Золотых Ворот сохранились до настоящего времени.

[7] *Казак Мамай* — традиционный герой народного изобразительного искусства Украины, воплотивший представления украинского народа о беззаветной храбрости, уме, находчивости. Образ Мамая создан безвестными народными живописцами. Его изображение можно было найти почти в каждой крестьянской и казацкой хате, на дубовых и кленовых полотнах дверей, на домотканых коврах, на изразцах печей, на кувшинах.

[8] *Георгий Победоносец* — мифический христианский святой, покровитель земледелия и скотоводства. Обычно изображался в виде прекрасного юноши-воина на белом коне, поражающего копьем дракона.

[9] *«Забіліли сніги...»* — украинская народная песня (см. сб. «Народна лірика», Київ, «Радянський письменник», 1956, стор. 139).

[10] *Это Белгородская дуга! Понял?* — Речь идет о сражении в районе Белгорода, где советские войска окружили и уничтожили крупную группировку врага (июль—август 1943 г.).

[11] *«Ой піду я не берегом-лугом...»* — украинская народная песня (см. сб. «Песни матери», ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 330).

[12] *«Поставлю свічу проти місяця...»* — веснянка из сб. «Песни матери» (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 330).

[13] *Ярослав Мудрый* (978—1054) — великий князь Киевский с 1019 года.

[14] *Хмельницкий Зиновий-Богдан Михайлович* (1595—1657) — гетман Украины, полководец и дипломат, руководитель национально-освободительной войны украинского народа против польско-шляхетского гнета 1648—1654 годов, инициатор воссоединения Украины с Россией.

ДИКТОРСКИЕ ТЕКСТЫ

БИТВА ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ УКРАИНУ

Дикторский текст фильма публикуется впервые по авторскому подлиннику — машинописи с авторской правкой (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 145), сверенному с монтажной покадровой записью фильма. В архиве Довженко имеется три варианта текста на украинском и русском языках (ед. хр. 142—145).

«Битва за нашу Советскую Украину» — полнометражный документальный фильм. Выпущен Центральной студией документальных фильмов и Украинской студией кинохроники в 1943 году. А. П. Довженко — автор дикторского текста и художественный руководитель съемок. Режиссеры фильма —Ю. Солнцева и Я. Авдеенко. Снимали фильм фронтовые кинооператоры: В. Афанасьев, К. Богдан, Н. Быков, Б. Вакар, М. Глидер, М. Гольбрих, И. Гольдштейн, И. Запорожский, М. Капкин, П. Касаткин, И. Кацман, В. Комаров, Ю. Кун, Г. Могилевский, В. Орлянкин, Б. Рогачевский, С. Семенов, В. Смородин, А. Софьин, С. Шейнин, В. Штатланд, С. Урусевский, В. Фроленко и др.

Два документальных фильма А. Довженко — «Битва за нашу Советскую Украину» и «Победа на Правобережной Украине» — были задуманы автором как единое документальное полотно, отражающее грандиозную эпопею борьбы за освобождение Украины.

В основу фильма положена хроника, снятая советскими кинооператорами в период освобождения Левобережной Украины. Однако Довженко раздвигает хронологические рамки фильма и использует

кадры немецкой хроники, показывающие трагические события первых дней войны, а также кадры советской довоенной хроники, рисующей картины мирной Украины.

«Битва за нашу Советскую Украину» — одна из первых документальных картин военных лет, автор которой, пришедший из художественной кинематографии, развивает традиции образного документального фильма. Контрапунктическое сочетание текста и изображения, дополняющих, оттеняющих или контрастирующих друг с другом, синхронная съемка людей, рассказывающих горестную историю своей жизни при фашистской оккупации, подлинные шумы боев, контрастные монтажные сопоставления того, что было, с тем, что стало теперь на некогда цветущей земле Украины,— все это необычайно усиливает эмоциональное воздействие фильма.

Необычайная цельность этого фильма — результат точности авторского замысла, точности режиссерского ви́дения. Об этом свидетельствуют и сохранившиеся в архиве Довженко рукописные странички с записями заданий операторам (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 967) и рассказы самих операторов. Оператор П. Касаткин вспоминает, что после беседы с Довженко, он не только ясно представлял себе значение и место, которое будет внимать в картине снятый им материал, но и замысел фильма в целом, его дух, стиль, философское содержание. Свидетельством этого являются, в частности, глубоко «довженковские» кадры, привезенные П. Касаткиным из немецкого тыла: снятые с нижней точки согнувшиеся женщины, тянущие борону, сеятель, разбрасывающий зерно из лукошка, снятый на фоне грозного неба череп немца с оскаленным ртом.

25 октября 1943 года состоялась премьера фильма в тринадцати кинотеатрах Москвы, и в первый же день его просмотрело свыше 100 тысяч зрителей. Одновременно началось печатание четырехсот копий картины для демонстрации на фронтах, в освобожденных районах Украины и во всех крупных городах Союза. Фильм был дублирован на 26 иностранных языков.

[1] *«Благословен той день і час...»* — отрывок из поэмы М. Рыльского «Слово про рідну матір», Твори, 1956, т. I, стор. 256.

[2] *Патон Евгений Оскарович* (1870—1953) — крупнейший советский специалист в области сварки и мостостроения.

[3] *Ковпак Сидор Артемьевич* (р. 1887) — советский военный и государственный деятель, дважды Герой Советского Союза, один из организаторов партизанского движения на Украине в период Великой Отечественной войны.

[4] *Партизанский съезд* — состоялся в мае 1943 года. На расширенном заседании членов ЦК КП(б)У и командиров девяти крупнейших партизанских соединений Украины обсуждался план весенне-летних операций партизан. В совещании, проходившем под руководством секретаря ЦК КП(б)У Д. С. Коротченко, принимали участие В. А. Бегма, С. А. Ковпак, С. В. Руднев, А. Н. Сабуров, А. Ф. Федоров и другие командующие партизанскими соединениями.

[5] *Федоров Алексей Федорович* (Орленко-Черниговский) (р. 1901) — один из организаторов партизанского движения на Украине в период Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза.

[6] *Руднев Семен Васильевич* (1899—1943) — комиссар Сумского партизанского соединения на Украине. Погиб во время легендарного Карпатского рейда Ковпака в бою под городом Делятин. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

[7] *Коротченко Демьян Сергеевич* (р. 1894) — советский партийный и государственный деятель. В годы Великой Отечественной войны принимал активное участие в руководстве партизанским движением на Украине.

[8] *Сабуров Александр Николаевич* (р. 1908) — Герой Советского Союза, один из руководителей партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны.

[9] *Яремчук Василий Максимович* (р. 1910) — командир украинского партизанского отряда имени Кармалюка, Герой Советского Союза.

Судя по «Тематическому плану литературной работы», внесенному Довженко в свои записные книжки в 1949 году, им был задуман рассказ о герое-партизане Яремчуке (см. сб. «Зачарованная Десна», стр. 233).

ПОБЕДА НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ И ИЗГНАНИЕ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНСКИХ СОВЕТСКИХ ЗЕМЕЛЬ

Дикторский текст фильма публикуется впервые по авторскому подлиннику — машинопись с авторской правкой (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 150), сверенному с монтажной покадровой записью фильма.

В архиве Довженко сохранилось около 25 рукописных листков из записных книжек с записью заданий операторам, снимавшим фильм (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 967) и заявка на фильм (ед. хр. 147—152), которую мы публикуем ниже.

Фильм снят Центральной студией документальных фильмов и Украинской студией кинохроники в 1944—1945 годах. Авторы фильма А. П. Довженко и Ю. И. Солнцева. Дикторский текст А. П. Довженко.

Фильм снимали фронтовые кинооператоры: К. Богдан, Б. Вакар, Н. Вихирев, В. Войтенко, И. Гольдштейн, В. Доброницкий, Д. Ибрагимов, П. Касаткин, И. Кацман, А. Ковальчук, А. Кричевский, Ю. Кун, П. Русанов, А. Семин, А. Софьин, Н. Топчий, Д. Шоломович и др.

Начальники фронтовой группы: В. Штатланд, С. Гуров, М. Ошурков. В фильме использованы кадры из немецкой кинохроники.

В заявке, публикуемой ниже, Довженко писал, что рассматривает этот фильм как вторую серию «Битвы за нашу советскую Украину».

Свое понимание основных задач второй серии документальной киноэпопеи Довженко четко сформулировал в выступлении на собрании сотрудников Центральной студии документальных фильмов 28.VIII 1944 года: «Совершенно ясно, что эта картина должна быть итоговой, широко и глубоко исчерпывающей те огромные события, которые произошли на Украине. Поэтому, в отличие от первой серии, которая являлась произведением, построенным в своей основе как произведение лирическое и драматическое, мы хотели эту часть сделать как картину военно-стратегическую, с большим количеством карт...» (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 426).

Хотя в этом выступлении Довженко и указывает, что, в отличие от первой серии, вторая должна быть прежде всего картиной военно-стратегической, все его замыслы, отраженные и в заявке, и в заданиях операторам, и в его выступлении о ходе работы, свидетельствуют о стремлении художника поставить в центре фильма советского человека — труженика, воина, героя.

В точных, лаконичных записях Довженко предусмотрено все, вплоть до точки съемки. Приводим несколько отрывков из них.

Вот, к примеру, задание «Досъемка в селе»:

«...Найдите интересных, выразительных людей, не оборванцев, не в старых кепках, но и не разряженных в подчеркнуто съемочные костюмы. Но не избегайте белого, чистого.

...На поле под копною или под скирдою молодая мать кормит ребенка. Снимите тактично и красиво. Вспомните матерь божию.

Пусть она смотрит на дитя и на мир. Ее муж ушел на фронт. (Снимите лучше сидящей на снопе или на бугорке...)

...Обязательно снимите группку (двое-трое) или одно дитя, сидящее на земле, и на хусточке, прямо в поле. Выберите так точку, чтоб в кадре, допустим, были и цветочки и обязательно небо... Что они будут делать? Наблюдайте, ловите. Это планы не общие. Скорее, средние...»

В заданиях по съемке боевых действий артиллерийской батареи Довженко просил:

«...Снять все в быстром темпе на полуобщих средних и панорамных средних планах. Снять это как тяжелый, изнурительный, сверхчеловеческий труд боя. Чтоб на лицах был пот, чтобы были мокрые спины и шеи, и величайшее напряжение мускулов. Снаряды ведь тяжелые и их много. А поблизости рвутся снаряды врага, фонтаны земли, пыль...»

«...Почему у нас никто не снимает женщину на войне? Снимайте санитарок, сестер милосердия. Снимайте милосердие, заботу, ласку, внимание. Выберите хорошие, трогательные лица, сумейте их снять...» (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 967).

Довженко говорил: «...Мы положили в основу картины очень интересное начинание. Мы давали операторам задание — сделать репортаж о человеке. Хотелось бы взять двух русских бойцов из европейской части России, затем казаха, узбека, украинца, белоруса — офицеров и рядовых, чтобы оператор походил за солдатом, поснимал, чтобы уделил внимание его жене, детям, колхозу, чтобы создать целую часть об отдельных участниках событий, о живых людях с их именами и фамилиями...» (Из выступления 28.VIII 1944 г.).

Позже этот замысел был частично реализован и нашел свое воплощение в волнующем эпизоде возвращения домой, на Черниговщину, лейтенанта Ивана Ноги.

Свою картину Довженко назвал «Исторической хроникой великих пламенных лет» (явная перекличка с названием сценария «Повесть пламенных лет», работу над которым кинорежиссер закончил в те же дни). Как и в сценарии «Повесть пламенных лет», перед нами встают величественные образы героев-воинов, перед которыми отступает сама смерть. Только созданы здесь эти образы средствами документального кино, где сцены ратных подвигов, снятые фронтовыми операторами, подняты до большого поэтического обобщения авторским текстом Довженко.

[1] ...*Богдан взметнул высоко булавою...* — Имеется в виду памятник Богдану Хмельницкому в Киеве (1888, скульптор М. Микешин). Богдан Хмельницкий изображен верхом, на вздыбившемся коне, с поднятой вверх булавой.

[2] *«И вражьею злою кровью волю окропите!»* — слова из стихотворения Т. Г. Шевченко «Завещание» (см.: Т. Шевченко, Собр. соч. в 5-ти томах, т. I, М., ГИХЛ, 1948, стр. 434).

[3] *Бабий Яр* — овраг на окраине Киева — место массовых расстрелов немецко-фашистскими оккупантами мирного населения.

[4] *Крещатик* — центральная магистраль Киева. Во время немецко-фашистской оккупации улица была до основания разрушена.

[5] *Филатов Владимир Петрович* (1875—1956) — выдающийся советский офтальмолог, действительный член Академии наук Украины и Академии медицинских наук СССР, Герой Социалистического Труда.

Заявка А. П. Довженко на вторую серию документального фильма «Битва за нашу Советскую Украину» («Победа на Правобережной Украине»)

Если принять во внимание, что документальный фильм «Битва за нашу Советскую Украину» как творчески осмысленная историческая хроника должен состоять из двух серий, то отсюда совершенно ясно отделяется как начало и конец второй серии, так и основное ее идейное содержание, равно как и ее отличие от первой серии.

Начало второй серии — битва за Днепр. Конец — очищенная от фашистских орд вся Советская Украина.

Основными темами второй серии «Битвы за нашу Советскую Украину» должны быть темы торжества победы, разгрома и изгнания немецко-фашистских оккупантов за пределы украинских советских земель и параллельно развивающаяся тема возрождения народного хозяйства и культурной жизни освобожденной страны. Тема возрождения колхозного хозяйства Украины, лишь слегка намеченная в первой серии фильма, здесь должна найти себе более масштабное и яркое выражение, как в самом показе возрождения колхозов, так и в дикторском тексте. В не меньшей, если не в большей мере должна прозвучать в фильме и тема возрождения промышленности. Харьковские заводы, родной Донбасс, восстанавливающий шахты и заводы в исключительном, героическом порыве, шахты в действии, шахтеры, зачастую по пояс в воде, как бойцы на боевых переправах, добывают уголь, не жалея ничего для победы. Днепропетровск и Днепродзержинск и Криворожье с его марганцем, объект особых немецких вожделений, и Никополь и Днепрогэс с его тяжелораненой гигантской плотиной должны проплыть перед современниками, как исторические места побед, военных драм и как могучие живые символы бессмертия нашего народа.

Стук отбойного молотка и врубовой машины, и заводской гудок, и мирный гул трактора-тягача на колхозном поле — все должно, как и в жизни, сочетаться с громом победных орудий и лязгом могучих украинских наших танков. Сверхдраматическая битва Магнитогорска с Круппами, Шкодами и прочими железными молодцами гитлеровской Европы должна быть увенчана победою Магнитогорска: украинские раненые, но непокоренные братья Донбасс и Криворог поднимаются на бой.

Все это должно быть выражено в фильме в должном стилевом единстве как внутри самой картины, так и в сочетании с первой серией «Битвы».

Однако количество индустриально-хозяйственного материала в картине не должно быть особенно великим. Фильм должен оставаться «Битвой» по преимуществу, в прямом военном смысле этого слова.

Несомненно, вопрос правильных пропорций придется решать эмпирически, в монтаже. Особое внимание надо уделить мультипликационным стратегическим картам и работе военных консультантов.

Гигантские битвы на Правобережной Украине, принесшие славу нашему советскому оружию на многие столетия, должны быть четко и ясно выражены графически и объяснены надлежащим достойным образом.

Освобождение Украины от гитлеровских полчищ, достигнутое в результате величайших сверхсражений, в результате невиданного напряжения лучших сил и способностей наших братских народов — это поражение гитлеровской Германии. Так должна быть трактована военная часть фильма. Это должно быть выражено в материале и в мультипликационных схемах и в дикторском тексте.

Тема «Битвы» во второй серии, так же как и в первой, должна рассматриваться не локально, а как часть целой нашей победы над врагом, начиная от Днепра (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 147).

СТАТЬИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

К ОРУЖИЮ!

Статья написана в день нападения немецко-фашистских захватчиков на нашу Родину. Впервые напечатана 23 июня 1941 года в газ. «Большевистское знамя» (Одесса), а 25 июня 1941 года перепечатана в многотиражке Киевской киностудии «За більшовицький фільм». Позже была опубликована в журн. «Дніпро» (Київ, 1961, № 11, стр. 8—9) и в сборнике «Київ-герой». Збірник матеріалів про подвиг киян у Великій Вітчизняній війні (Київ, 1961, стор. 29—30).

Печатается по тексту газ. «Большевистское знамя».

[1] *Бульбенки* — употребляемое в украинском языке производное от фамилии Бульба, то есть сыновья Тараса Бульбы, его потомки и продолжатели его героических традиций.

[2] *Боженко Василий Назарьевич* (1867—1919) — герой гражданской войны, талантливый народный полководец.

ДУША НАРОДНАЯ НЕПОБЕДИМА

Статья написана 10 марта 1942 года, посвящена 81-й годовщине со дня смерти Т. Г. Шевченко. Впервые опубликована: Твори, т. III, 1958—1960, стор. 19—21.

Публикуется в переводе с украинского П. Никитича.

В архиве Довженко хранится машинопись на украинском языке с правкой автора, датированная 10.III 1942 года (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 393).

[1] *Трясило (Федорович) Тарас* — руководитель народного восстания 1630 года на Украине против польско-шляхетского гнета. С 1629 года — гетман запорожский.

[2] *Кармалюк (Кармелюк) Устим Якимович* (1787—1835) — легендарный герой украинского народа, руководитель антикрепостнического крестьянского движения на Правобережной Украине в первой тре-

ти XIX века. Героическая борьба Кармалюка продолжалась почти четверть века. Наибольшего размаха восстание Кармалюка достигло в 1832—1835 годах, когда под его руководством поднялось более 20 тысяч крестьян. 10 октября 1835 года Кармалюк был предательски убит из засады.

[3] «*...на оновленій землі...*» — строки из стихотворения Т. Г. Шевченко «И Архимед и Галилей...» (см.: Т. Шевченко, Собр. соч., т. II, 1948, стр. 353; Т. Шевченко, Твори, т. I, Київ, Держлітвидав УРСР, 1963, стор. 668).

[4] *Кобзарь наш великий!* — Обращение к Т. Г. Шевченко, которого украинский народ любовно называет своим Кобзарем.

Кобзарь — украинский народный певец, аккомпанирующий себе на кобзе или бандуре. В своих произведениях кобзари отражали мысли и чаяния украинского народа. Кобзари принимали участие в казацких военных походах и народных восстаниях, воспевая в своих думах и песнях военные события и героев национально-освободительной борьбы украинского народа.

[5] «*...в сем'ї вольній, новій...*» — строки из стихотворения Т. Шевченко «Завещание» («Заповіт») (см.: Т. Шевченко, Собр. соч., т. I, 1955, стр. 434; Т. Шевченко, Твори, т. I, стор. 333—334).

[6] «*Поховайте та вставайте...*» — строки из «Завещания» Т. Шевченко.

УКРАИНСКАЯ ПЕСНЯ

Статья опубликована на украинском языке; Твори, т. III, стор. 22—23; Твори, т. IV, стор. 21—22. На русском языке публикуется впервые по тексту статьи, хранящейся в архиве А. Довженко (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 394) в переводе П. Н. Никитича.

Статья написана 22 марта 1942 года и посвящена столетию со дня рождения Н. В. Лысенко.

Лысенко Николай Витальевич (1842—1912) — украинский композитор, основоположник украинской классической музыки. Лысенко известен как страстный пропагандист украинского музыкального фольклора, собиратель украинских песен. Он обработал и гармонизировал около 120 народных песен для хора, около 280 для голоса с фортепьяно, пять циклов обрядовых песен. Лысенко также автор нескольких исследований об украинской народной музыке.

Украинская народная песня неразрывно связана со всем творчеством Довженко. Нет почти ни одного произведения писателя, где бы он не обращался к образам той или иной украинской песни. Она помогает ему более эмоционально выразить мысль, становится элементом драматургии, элементом построения образа («Земля», «Щорс», «Украина в огне», «Повесть пламенных лет», «Поэма о море»). Особую роль приобретает песня в творчестве Довженко военных лет. Словами украинской колядки усиливает Довженко в сценарии «Повесть пламенных лет» трагический эпизод смерти стариков-родителей Ивана Орлюка и поднимает до высокого пафоса сцену свидания полонянки Марии с бронзовым памятником ее мужа. Сопоставляя Орлюка с фольклорным героем старинной колядки, Довженко придает символическое обобщение этому образу. В сценарии «Украина в огне» песни девушек-полонянок обостряют до предела тоску по родине и пробуждают гнев к поработителям. Широко используется народная

песня и в рассказах военных лет («На колючей проволоке» — песня о горе чайки-матери; «Ночь перед боем» — песня о Морозенко).

[1] *Дорошенко Михаил* (год рожд. неизв.— погиб в 1628 г.) — гетман реестрового казацкого войска. Прославился в борьбе с крымскими татарами и их турецкими союзниками. Участник крестьянско-казацкого восстания 1625 года против польско-шляхетского гнета.

[2] *Нечай Данило* (год рожд. неизв.— погиб в 1651 г.) — герой национально-освободительной войны украинского народа (1648—1654), сподвижник Богдана Хмельницкого, один из организаторов народного повстанческого движения против польских магнатов на Киевщине, Брацлавщине и Волыни.

[3] *Швачка Микита* (год рожд. неизв.— ум. после 1768 г.) — один из руководителей народного восстания на Правобережной Украине 1768 года, известного под названием «Колиивщина». В конце лета 1768 года был взят в плен царскими войсками и сослан в Сибирь.

[4] *Голота Илья* (год рожд. неизв.— погиб в 1649 г.) — казацкий полковник, сподвижник Богдана Хмельницкого в национально-освободительной войне украинского народа (1648—1654).

[5] *...и Щорс и богунцы* — Героические подвиги в борьбе за свободу украинского народа Байды, Сагайдачного, Дорошенко, Нечая, Богуна, Богдана Хмельницкого, Морозенко, Швачки, Голоты, Щорса и его знаменитого Богунского полка нашли свое отражение в украинском героическом эпосе, в многочисленных народных думах, песнях и сказах (см. сб.: «Старая Украина». Птг., 1916, 280 стр.: «Історичні пісні», Київ, Вид-во АН УРСР, 1961, 1067 стор.; «Українські народні думи та історичні пісні», Київ, Вид-во АН УРСР, 1955, 659 стор.; Лисенко Н. В., Повна збірка творів, вып. 1—14, т. IV, Харків—Київ, «Мистецтво», 1931; и др.).

[6] *«...без золоту, без каменю, без хитрої мови...», «Наша дума, наша пісня...»* — из стихотворения Т. Г. Шевченко «До Основ'яненко» (см. Твори, т. I, Київ, Держлітвидав УРСР, 1963, стор. 58).

УКРАИНА В ОГНЕ

Статья впервые опубликована в газ. «Известия» 31.III 1942 года. Включена в сборник очерков и рассказов А. Довженко «Великое товарищество», М., изд-во «Правда», 1942, стр. 31—40; Твори, т. III, 1958—1960, стор. 24—30.

Публикуется по тексту газ. «Известия».

В архиве хранится машинопись на украинском языке с авторской правкой (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 395), датированная 28 марта 1942 года.

ПИСЬМО ЛЕТЧИКУ

Статья впервые опубликована в газ. «За Радянську Україну» 30.IV 1942 года.

В архиве имеется ранний вариант статьи — черновой автограф на русском языке и вариант статьи на украинском языке (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 397).

Публикуется по тексту этой газеты в переводе с украинского П. Н. Никитича.

ПИСЬМО ОФИЦЕРУ НЕМЕЦКОЙ АРМИИ (ПИСЬМО ВРАГУ)

Листовка. Написана А. П. Довженко 22—24 апреля 1942 года. В дневниках режиссера упоминания о работе над листовкой мы встречаем между 18.IV и 22.IV 1942 года.

Опубликована: Твори, т. III, 1958—1960, стор. 31—34.

Публикуется впервые по машинописному тексту на русском языке, сохранившемуся в архиве Довженко (ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 398). В архиве Довженко находятся и варианты листовки на русском и украинском языках (машинописные копии с правкой автора) и печатная листовка на немецком языке (ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 398).

[1] *...против Наполеона боролись немецкие партизаны.*— Сигналом к началу партизанской борьбы послужило восстание тирольских крестьян в апреле 1809 года, которое нашло отклик в Пруссии, Вестфалии, Брауншвейге и Саксонии. Поражение Франции в войне с Россией привело к стремительному росту национально-освободительного движения немецкого народа и усилению партизанской войны.

[2] *Железный крест* — немецкий орден, основанный королем Пруссии Фридрихом-Вильгельмом III в 1813 году в период освободительной войны немецкого народа против наполеоновской агрессии.

[3] *Пилат Понтий* — наместник римского императора в Иудее. Выражение — «как Понтий Пилат, умывающий гордо руки перед народом...» — навеяно библейской легендой о распятии Христа.

НАРОДНЫЕ РЫЦАРИ

Статья впервые опубликована 1 мая 1942 года в газ. Юго-Западного фронта «Красная Армия»; 5.V 1942 года в газ. «Комуніст», 25.VII 1942 года в газ. «Известия». Включена в Твори, т. III, 1958—1960, стор. 40—43.

Публикуется по тексту газ. «Известия».

В архиве хранятся более ранний вариант статьи на русском языке и текст на украинском языке (ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 399) — машинопись с правкой автора.

[1] *Зализняк (Железняк) Максим* (род. в начале 40-х гг. XVIII в.— год смерти неизв.) — один из руководителей крестьянской войны 1768 года на Правобережной Украине против польско-шляхетского феодального и национально-религиозного гнета, известной под названием «Колиивщина». Участник крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева.

[2] *Пархоменко Александр Яковлевич* (1885—1921) — герой гражданской войны, командир 14-й дивизии 1-й Конной армии.

[3] *«І на оновленій землі...»* — строки из стихотворения Т. Г. Шевченко «И Архимед, и Галилей...» (см. коммент. к статье «Душа народная непобедима»).

Я ВИЖУ ПОБЕДУ

Впервые опубликована в газ. «Коммуніст» 21.VI 1942 года (на укр. яз.); 22.VI в газ. Юго-Западного фронта «Красная Армия» и 4.VIII под названием «Великое товарищество» (в видоизмененном варианте) в газ. «Известия». Включена в Твори, т. III, 1958—1960, стор. 35—39.

Публикуется по тексту газ. «Красная Армия».

[1] *...пятеро бессмертных...* — Речь идет о пяти отважных моряках-черноморцах, бойцах 18-го батальона морской пехоты — матросах Иване Красносельском, Даниле Одинцове, Юрии Паршине, Василии Цыбульке и политруке Николае Фильченкове, которые близ селения Дувankой преградили путь колонне танков, рвавшихся к Севастополю.

В ГРОЗНЫЙ ЧАС

Статья впервые опубликована 20 июня 1942 года в газ. Юго-Западного фронта «Красная Армия», а затем в газ. «Известия» (26.VII 1942 г.). Включена в Твори, т. III, 1958—1960, стор. 44—48.

Печатается по тексту газ. «Известия».

В газ. «Красная Армия» 20.VI 1942 года помещена корреспонденция М. Лапогонова, спецкора ТАСС, о беседе с советскими гражданами, перешедшими линию фронта и рассказывавшими об ужасных событиях, разыгравшихся в селе Большая Березка, Середино-Будского района, Сумской области. Можно предположить, что эта корреспонденция послужила материалом для очерка Довженко.

РОДИНА ПРИКАЗЫВАЕТ

Статья впервые опубликована в августе 1942 года в журн. «Красноармеец» (№ 15, стр. 2—3), затем во фронтовой газете «Советский патриот» (30.IX 1942 г.)

Публикуется по тексту журн. «Красноармеец».

СЛАВА НАРОДУ-ВОИНУ!

Выступление на антифашистском митинге работников литературы и искусства, состоявшемся 29.XI 1942 года в Москве, в Колонном зале Дома союзов. В числе выступавших крупнейшие представители советского искусства и литературы: А. Толстой, Д. Шостакович, М. Бажан, Н. Черкасов, В. Барсова, С. Вургун, И. Москвин, Л. Александровская и другие.

Митинг принял обращение «К художественной интеллигенции всех свободолюбивых стран мира».

Выступление А. Довженко было опубликовано в газ. «Литература и искусство» 30.XI 1942 года, а позже включено в Твори, т. III, 1958—1960, стор. 52—60; Твори, т. IV, 1964, стор. 50—52.

Публикуется по тексту газ. «Литература и искусство».

ПИСЬМО НА УКРАИНУ

Впервые опубликовано 3.XII 1942 года в газ. «Советская Украина». Печатается по тексту газ. «Советская Украина».

В основу статьи легло выступление А. Довженко по радио в апреле 1942 года — «Слово до молодi» («Слово к молодежи») (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 396).

[1] *Вольное казачество. Охрана порядка* — полицейские части, создававшиеся гитлеровцами из предателей и дезертиров на оккупированной территории.

[2] *Марко Проклятый* — персонаж народных преданий периода Запорожской Сечи, убийца собственного ребенка, матери и сестры, проклятый отцом и обреченный вечно скитаться по свету, нигде не находя себе покоя. Устные сказания о Марко Проклятом были собраны и обработаны А. Н. Стороженко (см.: «Марко Проклятый». Поэма на малороссийском языке. Из преданий и поверий Запорожской старины, Одесса, 1879; А. Стороженко, Твори, т. I, Київ, Держлітвидав, 1957, стор. 3331—399).

[3] *«Ой буде ж вас, діти, по чужих по країнах...»* — перефразированные слова из украинской народной песни «Ой, із-за гори та буйний вітер віє» (см. сб. «Українські народні ліричні пісні», стор. 439).

[4] *«...гнилою колодою на світі валятись...»* — фраза из стихотворения Т. Шевченко «Минають дні, минають ночі...» (см.: Т. Шевченко, Твори, т. I, 1963, стор. 329).

[СЛАВА НАШЕМУ НАРОДУ!]

Статья впервые опубликована 25.XII 1942 года одновременно в двух газетах: «Известия» и «Советская Украина» под названием «Слава народу-воину!». Включена в Твори, т. III, 1958—1960, стор. 52—60.

Публикуется по тексту газ. «Известия».

[1] *Не привезли уже фашисты с собой в обозах на Украину ни гетмана...* — имеется в виду гетман Скоропадский (1873—1945) — генерал царской армии, крупный помещик, владелец богатых родовых имений на Украине. В апреле 1918 года на инсценированном австро-немецким оккупационным командованием «съезде хлеборобов» был провозглашен «гетманом Украины». Установил контрреволюционную помещичье-буржуазную диктатуру на Украине. Содействовал разграблению Украины иностранными интервентами, с их помощью жестоко расправлялся с революционным движением украинского народа. 14 декабря 1918 года правительство Скоропадского было свергнуто восставшим украинским народом.

[2] *Петлюра Симон Васильевич* (1877—1926) — один из вожаков контрреволюционного буржуазно-националистического движения на Украине в период иностранной военной интервенции и гражданской войны.

[3] *Вильгельм II* (1859—1941) — император Германии и король Пруссии (1888—1918).

...постановка Вильгельма — контрреволюционная помещичье-буржуазная диктатура гетмана Скоропадского, установленная на Украине в 1918 году при прямом участии немецких оккупационных властей.

[4] *Палий* (подлинное имя — Гурко) *Семен Филиппович* (р. в 40-х годах XVII в.— ум. 1710) — руководитель национально-освободительной борьбы украинского народа на Правобережной Украине в конце XVII— начале XVIII века.

ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ ЗНАМЕНА ВЕДУТ НАС К ПОБЕДЕ

Выступление А. П. Довженко на III Всеславянском митинге, состоявшемся в Москве 9 мая 1943 года. Опубликовано в газетах: «Правда» (10.V 1943 г.), «Известия» (11.V 1943 г.), «Красная звезда» (11.V

1943 г.); в журн. «Славяне» (1943, № 5, стр. 4—7); Твори (т. III, 1948—1960, стор. 61—62); Твори (т. IV, 1964—1965, стор. 58—59).

Публикуется по тексту газ. «Правда».

В архиве Довженко имеются первоначальные варианты выступления на русском и украинском языках — машинопись с авторской правкой (ЦГАЛИ, ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 413).

С речами, обращенными к славянам всего мира, выступили: А. Фадеев, Герой Советского Союза партизан В. Яремчук, Я. Колас, югославский общественный деятель В. Влахович, командир чехословацкого соединения в СССР Л. Свобода, В. Василевская, болгарский общественный деятель В. Томов, командир польского соединения в СССР З. Берлинг и другие. Митинг принял обращение «К угнетенным славянам Европы». В числе подписавших обращение — А. Довженко.

СМОТРИТЕ, ЛЮДИ!

Очерк о подвиге Зои Космодемьянской. Впервые опубликован в газ. «Правда» 24.X 1943 года. 26.X 1943 года статья была опубликована в «Комсомольской правде», а также включена в сб. «Народная героиня» (М., «Молодая гвардия», 1943, стр. 22—25). Вошла в Твори (т. III, 1958—1960, стор. 63—65).

Печатается по тексту газ. «Правда».

[1] *Космодемьянская Зоя Анатольевна* (1923—1941) — комсомолка-партизанка, совершившая подвиг, являющийся примером мужества и высокого советского патриотизма.

В ноябре 1941 года с группой комсомольцев-партизан перешла линию фронта в районе Наро-Фоминска. При выполнении боевого задания была схвачена гитлеровцами. Несмотря на зверские пытки, Зоя не сказала гитлеровцам ни слова и была повешена. Указом Президиума Верховного Совета СССР (от 16.II 1942 г.) Зое Космодемьянской посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Выступление А. Довженко состоялось 31.III 1943 года на пленуме Союза советских писателей, посвященном проблемам советской художественной литературы военных лет.

С основным докладом на пленуме выступил П. Г. Скосырев. В прениях приняли участие: В. О. Перцов, В. М. Кожевников, А. Лейтес, Н. Н. Асеев, В. М. Гусев, К. И. Чуковский, И. Г. Эренбург, Е. В. Шевелева, М. В. Большинцов, И. Розанов, Л. В. Никулин, В. М. Инбер, С. И. Кирсанов, П. Г. Антокольский, А. С. Гурвич, В. Б. Шкловский, С. А. Герасимов, А. А. Исбах, З. С. Кедрина, Б. Л. Горбатов, А. П. Довженко, И. И. Юзовский, А. А. Фадеев.

Выступление публикуется (с незначительными сокращениями) по тексту неправленой стенограммы совещания, хранящейся в фонде Союза писателей СССР (ЦГАЛИ, ф. 661, оп. 15, ед. хр. 619).

Выступление Довженко вызвало большой интерес. Проблемы, в нем поднятые,— о подлинной правдивости в художественном творчестве, о критике, о героическом в искусстве, о практических задачах, стоящих

перед художниками в деле воспитания народа,— не утратили своей значимости и по сей день.

[1] *Всего написал за истекший год восемнадцать статей...* — С первого дня войны и по март 1943 года А. Довженко были написаны и опубликованы следующие статьи: «К оружию!» («Большевистское знамя», Одесса, 23.VI 1941 г.), «Враг будет разгромлен!» («Кино», М., 27.VI 1941 г.), «Украина в огне» («Известия», 31.III 1942 г.), «Лист до льотчика» («За Радянську Україну», 30.IV 1942 г.), «Народные рыцари» («Известия», 25.VII 1942 г.), «Нічим нас не візмеш!» («Комуніст». 4.V 1942 г.), «Я вижу победу» («Комуніст», 21.VI 1942 г.), «В грозный час» («Красная Армия», 20.VI 1942 г.), «Великое товарищество» («Известия», 4.VIII 1942 г.), «Война и сотрудничество кинематографии союзных стран» («Литература и искусство», 29.VIII 1942 г.), «Слава народу-воину!» («Литература и искусство», 30.XI 1942 г.), «Родина приказывает» («Красноармеец», 1942, № 15), «Письмо на Украину» («Советская Украина», 3.XII 1942 г.), «Слава украинскому народу!» («Советская Украина», 25.XII 1942 г.), «Слава народу-воину!» («Известия», 25.XII 1942 г.), «Не хозяйничать немцам на Украине!» («Большевик», 1942, № 23—24).

[2] *...десять рассказов...* — В этот период А. Довженко были написаны следующие рассказы и очерки: «Стой, смерть, остановись!», «Отступник», «Незабываемое», «Воля к жизни», «Ночь перед боем», «На колючей проволоке», «Победа», «Мать», «Тризна» и четыре небольшие новеллы: «Неизвестный», «Федорченко», «Ошибка», «Недоля».

[3] *...пьесу...* — Можно предположить, что речь идет об одном из вариантов пьесы «Потомки запорожцев», над которой Довженко работал с 1935 по 1953 год.

[4] *...две трети сценария...* — Имеется в виду киносценарий «Украина в огне».

[5] *Первая статья, которую я написал...* — Первой статьей Довженко является статья «К оружию!», которая написана им в первый же день войны.

[6] *Недавно я посетил выставку «Ленинградский художник»...* — Речь идет о выставке «Работы ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны», которая экспонировалась в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в октябре — декабре 1942 года. На выставке были представлены работы художников: И. А. Астапова, Е. Д. Белуха, И. Я. Билибина, Г. С. Верейского, В. Д. Дворяковского, Н. И. Дермидонтова, А. Ф. Пахомова, Г. Н. Петрова, Н. А. Протопопова, В. А. Серова и других.

[7] *Даже Павел Корчагин, о котором говорил Горбатов...* — Довженко имеет в виду фильм режиссера М. Донского «Как закалялась сталь».

[8] *...лишь у Антокольского.* — В своем выступлении, говоря о задачах советских писателей в дни войны, поэт П. Антокольский указывал: «...народ ждет от нас слов ярости, громового негодования, больших чувств. Наша обязанность, железная и святая обязанность — прорыдать так, чтобы об этом услышали будущие поколения, прорыдать о страданиях нашего народа...»

[9] *...показать Добрыню Никитича, Алешу Поповича, а не Акакия Акакиевича...* — Добрыня Никитич и Алеша Попович — былинные богатыри, герои русского народного эпоса. Акакий Акакиевич — герой повести Н. В. Гоголя «Шинель».

[10] *Я говорю о выступлении учительницы...* — Довженко имеет в виду выступление участницы пленума писательницы Е. В. Шевелевой,

которая остановилась на воспитательной роли советской литературы и, в частности, на ее задачах в дни войны: «Однако сейчас требования к писателям, как воспитателям, настолько конкретны, настолько ясны, что спорить не о чем. Вот перед тобой человек, которого ты должен сделать бойцом, которого должен научить, заставить ненавидеть врага...» Горячо и заинтересованно поддержал это выступление Довженко, излагая свои мысли в форме нового замысла рассказа о высокой гражданской ответственности учителя за воспитание детей.

О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ В ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Выступление А. Довженко на творческом совещании, посвященном проблемам советской художественной кинематографии периода Великой Отечественной войны.

Совещание проходило в Московском Доме кино с 28.VI по 1.VII 1944 года. С докладом выступил председатель Комитета по делам кинематографии при СНК СССР И. Г. Большаков. В прениях высказались: Г. Д. Мдивани, В. Б. Шкловский, И. Б. Астахов, Г. В. Александров, Н. А. Коварский, В. И. Пудовкин, Н. Д. Оттен, И. А. Пырьев, А. П. Довженко, М. И. Ромм, А. Д. Головня, Н. А. Лебедев, Л. В. Кулешов, О. Л. Леонидов, С. А. Герасимов, И. А. Савченко, М. В. Большинцов.

Стенограмма совещания была издана Госкиноиздатом в 1944 году под названием «Художественная кинематография в дни Великой Отечественной войны». Выступление Довженко публикуется по тексту этого издания с незначительными сокращениями. К мыслям, высказанным в этом выступлении,— о необходимости новой кинодраматургии, отражающей существенные события истории, о принципе «духовного типажа» при подборе актеров — Довженко обращался неоднократно и в послевоенные годы, развивая их в своих статьях, записях, выступлениях.

[1] *«Небо Москвы»* — художественный фильм, поставленный кинорежиссером Ю. Райзманом по сценарию М. Блеймана и М. Большинцова и представляющий собой экранизацию одноименной пьесы Г. Мдивани.

[2] Довженко в своем выступлении имеет в виду фильм народного артиста СССР Б. Бабочкина «Родные поля», показанный на пленуме в виде «материала», еще не смонтированного.

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК И ДНЕВНИКОВ

Частично дневники А. П. Довженко опубликованы в журн. «Дніпро», Київ, 1958, № 3, стор. 125—141; № 4, стор. 123—136; 1962, № 7, стор. 127—135. В отрывках дневника включены в Твори (т. III, 1958—1960, стор. 339—400); на русском языке небольшие отрывки были опубликованы в «Литературной газете» 10.XI 1962 года и в журн. «Искусство кино», 1963, № 1, стр. 44—45, а также в сб. «Зачарованная Десна», стр. 157—200.

Дневники Довженко публикуются на основе автографа, хранящегося в ЦГАЛИ (ф. 2081, оп. 1, ед. хр. 584—595) в переводе с украинского П. Н. Никитича. Редколлегия сочла возможным включить в том

не только литературно оформленные записи (наброски к рассказам, очеркам, сценариям), но и беглые заметки художника, вдруг приходившие мысли, конкретные впечатления от услышанного и увиденного на дорогах войны.

[1] Эпизод использован позже в рассказе «Победа» и киносценарии «Повесть пламенных лет».

[2] Запись разработана в рассказе «Отступник».

[3] Запись использована в рассказе «На колючей проволоке» и в сценарии «Украина в огне».

[4] *«І шумить і гуде, дрібен дощик іде...»* — слова из украинской народной песни (см. сб. «Як за гаєм». Собрание малороссийских дум и песен, М., 1896, стр. 16—17).

[5] *...украинская женщина и война.*— Эта тема стала одной из ведущих во всем творчестве А. П. Довженко периода Великой Отечественной войны. Она так или иначе нашла свое выражение почти в каждой его статье, листовке, в выступлениях писателя тех лет, в его рассказах и сценариях.

[6] Эта, как и последующие записи,— свидетельство творческих поисков, связанных с созданием «Украины в огне». Становится очевидно, что Левко Царь — это прообраз Лаврина Запорожца. Здесь же можно проследить, как созревал замысел будущей киноповести, его основная идея, образ главного героя. Намечаются выразительные детали, характеризующие облик врага, место действия (хаты-дзоты), возникают наметки режиссерского решения отдельных сцен.

[7] Этот и следующие два наброска вошли в статью «Украина в огне», которая была опубликована 31.III 1942 года в газ. «Известия».

[8] Запись связана с работой над киноповестью «Украина в огне».

[9] *...маленького Мишки Запорожца* — образ такого паренька Довженко предполагал сделать героем задуманной им киноповести «Тарас Бульба»; позже мы узнаем его в Тарасе Бовкуне из «Повести пламенных лет».

[10] Один из набросков, позднее использованных в рассказе «Тризна».

[11] Намечается одна из основных тем киноповести «Украина в огне» (образ Лаврина Запорожца, Левко Царя).

[12] Продолжаются записи, связанные с замыслом киноповести «Украина в огне», о чем свидетельствует имя летчика.

[13] Набросок к рассказу «Ночь перед боем».

[14] Можно предположить, что у Довженко уже созревал замысел народной эпопеи «Золотые Ворота». Позже в записных книжках он пишет: «Сегодня точно и полностью ощутил я всем сердцем, что мне суждено, если я не умру скоропостижно и внезапно, написать одну большую книгу, которая жила в моем подсознании уже много лет...» (сб. «Зачарованная Десна», М., «Советский писатель», 1964, стр. 173).

[15] *Костенко Василий Семенович* (р. 1912) — в период Великой Отечественной войны первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины. Входил в группу партийных работников, которой по решению Политбюро ЦК КП(б)У поручена была организация партийного подполья на оккупированных фашистами территориях и партизанских отрядов в тылу врага.

[16] Запись перекликается со сценой казни старого Запорожца в сценарии «Украина в огне».

[17] Набросок диалога и предполагаемых имен действующих лиц, позже использованных в рассказе «Победа» и киноповести «Украина в огне».

[18] Образ разрушенной украинской хаты, от которой осталась только печь с трубой, да в печурке пучочек сухоньких гвоздик «от сглазу», мы встречаем в рассказах «Мать», «Тризна» и сценариях. В документальном фильме «Битва за нашу Советскую Украину» — это образ всей многострадальной, опустошенной гитлеровцами Украины.

[19] Диалог использован в сценарии «Украина в огне».

[20] К этой записи Довженко обращался, работая над рассказом «На колючей проволоке» и сценарием «Украина в огне».

[21] Эпизод использован в киноповести «Украина в огне» (сцена в избе Куприяна Хуторного).

[22] *Возвращаются кулаки, пришел Жеривол* — образ кулака, люто ненавидящего Советскую власть, впервые возникает у Довженко в фильме «Земля» (Архип и Хома Белокони), затем, уже в новом качестве, в «Аэрограде» (Шабанов). Образ Жеривола, «кулацкого вожака», впервые появляется в первом варианте драматической трилогии Довженко «Потомки запорожцев», написанном им в 1935 году. В военных произведениях Довженко Жеривол обретает новые черты и предстает в образе фашистского полицая и предателя родины — Максима Заброды («На колючей проволоке», «Украина в огне»).

Прямая связь между образами героев «Потомков запорожцев» и героев «Украины в огне» прослеживается, если мы обратимся и к образу Скидана. В дневниковых заметках к «Украине в огне» Скидан предстает как прототип Лаврина Запорожца. А в авторской характеристике действующих лиц в послевоенном варианте «Потомков запорожцев» в образе Скидана мы прямо узнаем Запорожца.

[23] Эта и следующая запись связаны с замыслом очерка «Мать».

[24] Набросок одного из центральных эпизодов сценария «Украины в огне» и рассказа «На колючей проволоке».

[25] *«Ой закувала та сива зозуля...»* — слова украинской народной песни (см. сб. «Українські народні пісні, Київ, Держлітвидав УССР, 1963, стор. 215).

[26] *Мазепа Иван Степанович* (1644—1709) — гетман Левобережной Украины (1687—1708), изменивший своему народу, пытавшийся вернуть Левобережную Украину под иго шляхетской Польши. Резко усилил феодально-крепостническую эксплуатацию крестьян и жестоко расправлялся с крестьянскими волнениями. В 1708 году, во время вторжения шведских войск на Украину, открыто перешел на сторону Карла XII. После разгрома шведов под Полтавой бежал вместе с Карлом XII в Турцию, где и умер.

[27] *«І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав...»* — слова из поэмы Т. Шевченко «Порченая» (см.: Т. Шевченко, «Кобзарь», М., Гослитиздат, 1964, стр. 25; Твори, т. I, 1963, стор. 7).

[28] Набросок эпизода пахоты для киноповести «Украина в огне».

[29] Набросок эпизода для «Украины в огне».

[30] Имеется в виду повесть Н. Гоголя «Заколдованное место» (Собр. соч., т. I, М., Изд-во АН СССР, 1940, стр. 316).

[31] Наброски, которые Довженко позже использовал в киноповести «Зачарованная Десна».

[32] Замысел неосуществленного рассказа «Заключенный музей». К мысли о его написании Довженко возвращался неоднократно (см., например, «Тематический план литературной работы» в записных книжках 1949 года, опубликованных в сб. «Зачарованная Десна», М., «Советский писатель», 1964, стр. 233).

Еще в своих довоенных статьях и выступлениях Довженко неоднократно подчеркивал необходимость изучения культурного наследия своего народа, его героических традиций. Мысли о связи героических традиций прошлого и настоящего с особой остротой прозвучали в его военных произведениях. С этой темой связаны и горькие размышления художника о недооценке воспитательной роли истории, о недостаточно бережном отношении к историческим памятникам Украины в довоенные годы. На эту тему Довженко были задуманы также оставшиеся невоплощенными рассказы «Сабля Богдана», «Меджибожский замок» и драма «Святослав» (см. т а м ж е, стр. 232—233).

[33] *Каменец-подольские башни.*— Речь идет о каменец-подольском замке, памятнике архитектуры XIV—XVIII столетий (впервые в документах упоминается в 1374 г.). Крепостные стены замка увенчаны одиннадцатью башнями, сооруженными в разное время. Особенно величественна Кармалюкова башня (названная так по имени украинского героя Кармалюка, томившегося здесь в заключении). В 1941—1944 годах замок был разрушен немецко-фашистскими захватчиками

[34] *Меджибож* — замок украинских феодалов Синявских в Меджибоже. Памятник архитектуры XIV—XVI столетий (в документах впервые упоминается в 1516 г.). Типичный для Украины этого периода средневековый замок-форт, воздвигнутый для защиты от набегов крымских татар. Во время немецко-фашистской оккупации Украины был частично разрушен.

[35] *Выдубель* — Киево-Выдубицкий монастырь, основан в XI веке великим князем киевским Всеволодом Ярославичем.

[36] *Никольский собор* — Военно-Никольский собор в Киеве. Сооружен в 1690—1696 годах по проекту архитектора О. Д. Старцева.

[37] *Черниговский «заключенный» музей.*— Имеется в виду Государственный Исторический музей в Чернигове. В основу фондов музея легла коллекция крупного черниговского землевладельца В. Тарновского. В коллекцию входили портреты, личные вещи гетманов и украинских магнатов («казацкий период» истории Украины — XV — начало XVII в.). Говоря о Черниговском «заключенном» музее, Довженко, очевидно, имеет в виду неправильную оценку роли отдельных украинских исторических деятелей в 20—30-х годах. В предвоенные годы из экспозиции музея были исключены не только экспонаты, связанные с реакционными деятелями, но и реликвии, оставшиеся после выдающихся украинских исторических деятелей, в частности, портреты Богдана Хмельницкого.

[38] *Спасская церковь* — Спасский собор в Чернигове, памятник архитектуры XI столетия.

[39] *Сабля Богдана.*— Речь идет о сабле Богдана Хмельницкого, которая в довоенный период также находилась в фондах Черниговского «заключенного» музея. В настоящее время она хранится в Историческом музее г. Переяславля-Хмельницкого (бывший город Переяславль. переименованный в 1943 г. в честь Богдана Хмельницкого).

[40] *Субботов* (Субботин) — бывший хутор и резиденция Богдана Хмельницкого. Усадьба Богдана Хмельницкого представляла собой замок, окруженный рвом и высокими стенами. Из памятников времен Богдана Хмельницкого в Субботове сохранилась построенная гетманом в 1653 году Ильинская церковь, возле которой он был похоронен.

[41] Набросок использован в сценарии «Украина в огне».

[42] *Кобылянская Ольга Юлиановна* (1863—1942) — выдающаяся украинская писательница демократического направления. Наиболее из-

вестные произведения О. Кобылянской: «Человек», «Царевна», «У св. Ивана», «За готар», «Земля», «В воскресенье рано зелье копала», «Письмо осужденного солдата к жене» и др.

[43] Набросок неосуществленной статьи, отдельные темы и мысли которой нашли свое отражение в других произведениях этих лет.

[44] *Ярославна* — героиня величайшего памятника древнерусского искусства «Слово о полку Игореве» (1185—1188).

[45] *Катерина* — героиня одноименной поэмы Т. Шевченко (1838).

[46] *Кошевая Ганна Денисовна* (1871—1948) — знатный свекловод Советской Украины, Герой Социалистического Труда.

[47] *О женщине, о девушке в шинели и сапогах, о сестре милосердия...* — Довженко не написал специальной статьи на эту тему. Волновавшие его мысли нашли свое выражение в его выступлении на совещании о задачах советской кинодраматургии (июль 1943 г.; см. сб. «О задачах советской кинодраматургии, М., Госкиноиздат, 1943, стр. 56—71); в статье «Тема победы», опубликованной в газ. «Литература и искусство» 7.VIII 1943 г.; в сценарии «Повесть пламенных лет» — речь генерала Глазунова в эпизоде свадьбы Ульяны и Орлюка; в эпизодах документального фильма «Победа на Правобережной Украине».

[48], [49] Отрывки, связанные с замыслом очерка «Мать».

[50] *Читал по радио свою статью...* — Речь идет о статье Довженко «Слово до молоді», позже переработанной и опубликованной под названием «Письмо на Украину».

[51] Запись свидетельствует о том, что уже в дни Великой Отечественной войны Довженко работал над повестью «Зачарованная Десна».

[52] *Вчера ночью, при свечке, читал «На терновой проволоке»...* — имеется в виду рассказ «На колючей проволоке».

[53] *Письмо к авиатору напишу сегодня вечером непременно.* — Речь идет о статье «Письмо летчику», опубликованной в газ. «За Радянську Україну» 30.IV 1942 года.

[54], [55] Наметки, связанные с работой над рассказом «Отступник».

[56] Замысел неосуществленной киноповести «Надежда». Об этом свидетельствует «Тематический план литературной работы» (см. «Зачарованная Десна», М., «Советский писатель», 1964, стр. 232).

[57] *Самченко Петр Антонович* — журналист. В период Великой Отечественной войны — фронтовой корреспондент газеты «За Радянську Україну».

[58] *Пустовойт Гаврило Михайлович* (1900—1947) — советский художник. К его наиболее известным работам относятся иллюстрации к роману И. Гончарова «Обломов», к повести И. Франко «Захар Беркут», серии литографий «Советская Молдавия» и «Гуцульщина», портреты А. Довженко, Ю. Яновского, К. Трофименко и др. В годы Великой Отечественной войны Пустовойт сотрудничал в газ. «Красная звезда» и «За Радянську Україну», в которых сотрудничал и А. Довженко.

[59] *Воскрекасенко Сергей Илларионович* (р. 1905) — советский украинский поэт. В годы Великой Отечественной войны работал фронтовым корреспондентом газ. «За Радянську Україну».

[60] Наброски к новелле «Ночь перед боем».

[61] Набросок неосуществленного фантастического рассказа «Заколдованная трибуна». К этому замыслу Довженко возвращается и позже (см. «Тематический план литературной работы». — Сб. «Зачарованная Десна», стр. 232 и III том данного издания).

[62] Набросок использован в сценарии «Повесть пламенных лет» в эпизоде возвращения Ивана Орлюка.

[63] Запись связана с работой над рассказом «Воля к жизни».

[64] *Написать листовку к офицерам о солдатах.* — Этот замысел воплотился в листовке «Письмо офицеру немецкой армии (Письмо врагу)».

[65] Запись о «птенчике-пискаленке Н.» находит свое развитие в рассказе «Ночь перед боем» и в сценарии «Украина в огне».

[66] Запись связана с работой над рассказом «Мать».

[67] *Сегодня прочитал ноту...* — Речь идет о ноте Советского правительства «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности германского правительства и командования за эти преступления» от 27 апреля 1942 года (см. сб. «Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны», т. I, М., Госполитиздат, 1946, стр. 228—269).

[68] Этот и последующие наброски связаны с работой Довженко над рассказом «Незабываемое», который был им создан в этот период.

[69] *Плачет Саня-Ярославна. Летит кукушкой в воронежские степи.*— Довженко связывает образ своей героини с образом жены князя Игоря — Ярославны, что явно влияет и на стилистику произведения («Плач» Сани перекликаются с «Плачем» Ярославны).

[70] *Вчера вечером был у начальника Политуправления фронта.*— У дивизионного комиссара Галаджева Сергея Федоровича, начальника Политуправления Юго-Западного фронта, имя которого стоит под приказом о назначении Довженко литературным консультантом газеты «Красная Армия».

[71] Этот и последующие наброски связаны с неосуществленным замыслом киноповести «Тарас Бульба». Частично они использованы в сценарии «Повесть пламенных лет» (эпизод с Тарасом Бовкуном).

[72], [73] Наброски к новелле «Ночь перед боем».

[74], [75] Заметки связаны с работой Довженко над статьей о дружбе и великом подвиге многонационального советского народа «Великое товарищество» («Я вижу победу»).

[76] Эпизод «Орудийный расчет» использован в рассказе «Победа» и сценарии «Украина в огне».

[77] *У меня рождается мысль написать рассказ с названием «Тризна».*— Наброски, сделанные Довженко в записной книжке, использованы им в рассказе.

[78] Запись связана с работой над очерком «Стой, смерть, остановись!» о подвиге советского летчика, капитана Гусарова.

[79] К этим замыслам Довженко вновь обращается в 1949 году (см. «Тематический план литературной работы» в сб. «Зачарованная Десна», М., «Советский писатель», 1964, стр. 232—233). Здесь он уже более точно определяет жанр каждого из названий. Так, «Святослав» рассматривается как драма; «Надежда» — как киноповесть; «Заключенный музей» («Арестованный музей»), «Заколдованная трибуна», «Печать столетий» («Тавро столетий»), «Плач в степи» и «Смерть девушки» — как рассказы.

[80] *Грушецкий Иван Самойлович* (р. 1904) — партийный и государственный деятель. В годы Великой Отечественной войны находился в рядах Советской Армии.

[81] *Написать рассказ под названием «Город-подхалим».*— Замысел претворен не был.

[82] *Покровский монастырь* — имеется в виду Покровская церковь в Киеве, построенная в 1766 году по проекту архитектора И. Григоровича-Барского.

[83] *Михайловский монастырь* — Киево-Михайловский златоверхий монастырь — памятник архитектуры XI—XVI столетий. Около 1108—1113 годов здесь была построена каменная Михайловская церковь с высокохудожественными фресками, барельефами и мозаикой древнерусских мастеров, вокруг которой в XI—XVI веках сформировался архитектурный ансамбль Киево-Михайловского монастыря. В 1934 году в связи с реконструкцией Киева монастырь был разобран.

[84] *Ирининская церковь* — памятник архитектуры XI столетия. Заложена в 1037 году при великом князе Киевском Ярославе Мудром. Названа в честь его жены — Ирины.

[85] *Киевский Братский монастырь на Подоле* — памятник архитектуры XVII—XVIII веков. Наиболее интересные архитектурные памятники Киево-Братского монастыря: Богоявленская церковь (сооружена в 1690—1698 гг. по проекту архитектора О. Старцева), здание Киевской Академии (сооружено в 1703—1704 гг.), трехъярусная звонница (сооружена в 1756—1759 гг. по проекту архитектора С. Ковнира). Архитектурный ансамбль сильно пострадал во время фашистской оккупации.

[86] *...знаменитое братство с Академией...* — Речь идет о школе, образованной при Киево-Братском (Богоявленском) монастыре киевским братством (национально-религиозной организацией ремесленников, купцов и прочих представителей мещанского сословия) в 1615 году. В 1662 году Братская школа была объединена с лаврской школой П. Могилы и стала называться Киево-Братской коллегией, а в 1701 году была преобразована в Киевскую Академию.

[87] *Кирилловский монастырь в Киеве* — архитектурный памятник XII—XVIII столетий. Основан в Киеве князем Черниговским Всеволодом Ольговичем.

[88] *Памятник магдебургского права.* — Так называемый памятник Крещения Руси, или Нижний памятник Владимиру. Воздвигнут в 1802—1808 годах, на берегу Днепра по проекту архитектора А. Меленского. Этот монумент высотой в 23 метра был поставлен в честь подтверждения права на самоуправление, дарованного Киеву в 1494—1497 годах, на месте, где, согласно преданиям, происходило крещение первых киевлян. Памятник сохранился до настоящего времени.

[89] *Самсон, раздирающий льва* — произведение скульптора Дэда (начало XVIII в.). В 30-х годах в связи с реконструкцией Киева, статуя была перенесена в Музей украинского искусства, где находится и по настоящее время.

[90] *Успенский собор* — основан в 1075—1078 годах. Наиболее законченный образец древнерусского шестистолпного крестовокупольного храма, богато украшенного фресками и мозаикой. Входил в архитектурный ансамбль Киево-Печерской лавры. До основания разрушен немецко-фашистскими оккупантами.

[91] *Межигорский запорожский Спас-монастырь* — один из старейших древнерусских монастырей. Основан в 988 году. Межигорский Спас — мужской монастырь, куда на старости лет уходили запорожцы. Отсюда его наименование — запорожский. В 30-х годах был разобран в связи с реконструкцией Межигорья.

[92] *Десятинная церковь* — памятник архитектуры X века. Основана князем киевским Владимиром Святославичем в 989—996 годах. Первая каменная церковь в Киеве и самое грандиозное сооружение Верхнего города этого периода. Многоглавый («о 15 верхах»), шестистолпный, крестовокупольный храм, внутри богато украшенный фресковой

живописью и мозаикой. Разрушен в 1240 году во время татаро-монгольского нашествия. Сохранившиеся части древней Десятинной церкви вошли в построенную в XVII веке на этом же месте церковь и были окончательно разобраны при сооружении в 1828 году (по проекту В. П. Стасова) новой Десятинной церкви. В настоящее время территория древней Десятинной церкви, где сохранились остатки фундамента, объявлена государственным заповедником.

[93] *Трехсвятительская церковь* — памятник архитектуры XII—XIII столетий. Разобрана в 30-х годах XX века в связи с реконструкцией Киева.

[94] *Университет св. Владимира* — памятник русского классицизма XIX века. Воздвигнут в Киеве в 1837—1843 годах по проекту архитектора В. Беретти. В настоящее время это главный корпус университета имени Т. Шевченко. Здание сильно пострадало во время немецко-фашистской оккупации.

[95] *Публичная библиотека на улице Кирова* — здание бывшей Городской Публичной библиотеки, построенное по проекту архитектора Е. Клаве в 1911 году. Здание было разрушено в период немецко-фашистской оккупации. В настоящее время реставрировано, здесь помещается Государственная республиканская библиотека имени КПСС.

[96] Перечисляются улицы Киева, которые очень пострадали в период немецко-фашистской оккупации.

[97] *Примусь я лучше писать новый сценарий про народ.*— Запись связана с замыслом «Повести пламенных лет».

[98] Эпизод смерти брата включен Довженко в киноповесть «Зачарованная Десна».

[99] *Арнштам Лео Оскарович* (1905) — советский кинорежиссер и кинодраматург, постановщик фильмов «Встречный», «Подруги», «Зоя», «Глинка», «Урок истории», «Пять дней — пять ночей» и др.

[100] *Шостакович написал гениальную Восьмую симфонию...* — Восьмая симфония c-moll исполнялась впервые 24 ноября 1943 года Государственным оркестром Союза ССР под управлением дирижера Е. Мравинского. Симфония была задумана автором как трагическая эпопея.

[101] *Юля* — Солнцева Юлия Ипполитовна, актриса и кинорежиссер, жена А. П. Довженко.

[102] *Копыленко Александр Иванович* (1900—1958) — украинский писатель. Наиболее значительные произведения Копыленко: «Рождается город», «Очень хорошо», «Лейтенанты», «Земля большая», «Десятиклассники».

[103] *Макагон Иван Васильевич* (р. 1907) — украинский скульптор. В 1944—1945 годах был сотрудником студии военных художников имени М. Б. Грекова.

[104] *Дописываю Мичурина.*— Речь идет о киносценарии «Жизнь в цвету», работу над первым вариантом которого Довженко закончил в 1944 году.

[105] *Сегодня, в субботу, произошло великое событие в жизни моего народа...*— В конце июля 1944 года советские войска освободили от немецко-фашистских оккупантов территорию Западной Украины. 30 июля во Львове состоялся грандиозный митинг, посвященный освобождению и воссоединению всей Украины.

[106] *Исполнилась и моя мечта, мечта моего красивого Кравчины.*— Кравчина — герой рассказа Довженко «Победа», киноповести «Украина в огне» и задуманной им народной эпопеи-романа «Золотые Ворота»

(«Кравчина»), по мысли Довженко, его главного, итогового произведения.

[107] Набросок эпизода для «Повести пламенных лет».

[108] *С великим удовлетворением прочитал меморандум Берлинской конференции.*— Берлинская (Потсдамская) конференция глав правительств СССР, США и Великобритании, принявшая решение о демилитаризации, денацификации и демократическом переустройстве Германии. Происходила в Потсдаме, близ Берлина, с 17 июля по 2 августа 1945 года.

[109] Замысел неосуществленной комедии, первоначально задуманной как пьеса. Позже (см. записные книжки, опубликованные в сб. «Зачарованная Десна», М., «Советский писатель», 1964, стр. 175) Довженко предполагал включить этот материал в «Золотые Ворота».

[110] Набросок к неосуществленной драме — гротеску. К этому замыслу Довженко возвращается и позже (см. записи в дневниках и «Тематический план литературных работ» в III томе нашего издания).

[111] Запись к сатирическому рассказу. Замысел не осуществлен

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Авдеенко Я. П. — 568
Аксенов В. Н.— 553, 561
Алейников П. М. — 472, 474
Александров Г. В. — 581
Александровская Л. П. — 577
Андреев Б. Ф. — 472
Антокольский П. Г.— 465, 579, 580
Арнштам Л. О. — 547, 588
Асеев Н. Н. — 579
Астапов И. А. — 580
Астахов И. Б. — 581
Афанасьев В. И. — 568

Бабочкин Б. А. — 475, 581
Бажан М. — 577
Байда — Вишневецкий Д. И.— 102, 408, 423, 531, 563, 575
Барсова В. В. — 577
Бегма В. А. — 569
Бедный Д. — 550
Белух Е. Д. — 580
Беретти В. — 588
Берлинг З. — 579
Бернес М. Н. — 472
Бетховен Л. Ван — 421
Билибин И. Я. — 580
Блейман М. Ю.— 581
Богдан К. И. — 568, 570
Богун Иван — 5, 24, 102, 373, 404, 405, 408, 423, 562, 575
Боженко В. Н.— 5, 6, 24, 404, 405, 423, 455, 573
Большаков И. Г.— 581
Большинцов М. В. — 579, 581
Бродовский Б. — 142
Быков Н. В. — 568

Вагнер Р. — 421
Вакар Б. В.— 568
Василевская В. Л.— 27, 579
Василевский А. М.— 389
Ватутин Н. Ф.— 329, 372, 381, 385, 386, 387
Верейский Г. С.— 580
Вихирев Н. А.— 570
Владимир Святославович —587
Влахович В.— 579
Войтенко В. Г.— 570
Воскрекасенко С. И.— 507, 585
Всеволод Ольгович — 588
Вургун С.— 577

Галаджев С. Ф.— 586
Галан Я. А.— 29
Гапочка П. Н.— 13
Гегель Г.— 350, 421

Гельмгольц Г.— 421
Герасимов С. А.— 475, 579, 581
Гёте И.-В.— 421
Глидер М. М.— 568
Гоголь Н. В.— 428, 580, 583
Головня А. Д.— 581
Голота Илья — 408, 575
Гольбрих М. (С. М.) — 568
Гольдштейн И. Ц.— 568, 570
Горбатов Б. Л.— 29, 464, 466, 570
Греков М. Б.— 588
Григорович-Барский И. Г.— 586
Грушецкий И. С.— 537, 586
Гурвич А. С.— 579
Гуров С. Н.— 570
Гусаров В.— 8, 12, 17, 32, 39, 41, 534, 559, 586
Гусев В. М. — 579

Даниил Галицкий — 102, 169, 563
Данте А.— 72, 384, 497
Двораковский В. Д.— 580
Дермидонтов Н. И.— 580
Доброницкий В. В.— 570
Довженко Д. Е. (мать) — 498, 542, 543, 544, 545, 547, 550, 567
Довженко П. С. (отец) — 542, 543, 545, 547, 550
Довженко С. Т. (дед) — 498, 550
Дорошенко Михаил — 408, 575
Дюрер А.— 421
Дэд — 587

Зализняк Максим — 24, 423, 455, 459, 576
Запорожский И. А.— 568

Жуков Г. К.— 329, 331, 384, 387

Ибрагимов Д. М.— 570
Инбер В. М.— 579
Исбах А. А.— 466, 579
Кант И.— 421
Капкин М.— 568
Карабутенко И. Ф.— 563, 564
Карл XII — 583
Кармалюк У. Я.— 405, 423, 455, 570, 574, 584
Касаткин П. Д.— 568, 569, 570
Кацман И. С.— 568, 570
Кедрина З. С.— 579
Кирсанов С. И.— 579
Клаве Е.— 588
Кобылянская О. Ю.— 500, 584
Ковальчук А. П.— 570
Коварский Н. А.— 581
Ковнир С. Д.— 587
Ковпак С. А.— 370, 397, 569
Кожевников В. М.— 579
Колас Я.— 579
Комаров В. С.— 568
Конев И. С.— 329, 381, 386, 387, 388
Копыленко А. И.— 548, 588
Корнейчук А. Е.— 27
Коротченко Д. С.— 370, 570
Космодемьянская З. А.— 13, 14, 30, 460, 461, 462, 579
Костенко В. С.— 16, 489, 582
Кошевая Г. Д.— 500, 585
Кранах Л. (Старший) — 421
Кривонос Максим — 24, 102, 405, 423, 531, 563
Кричевский А. Г.— 570
Крючков Н. А.— 472
Кулешов Л. В.— 581
Кун Ю. М.— 570

Лапогонов М.— 577
Лебедев Н. А.— 581
Лейбниц Г.— 421
Лейтес А.— 579
Ленин В. И. — 29, 136, 398, 399, 403, 412, 415, 425, 442, 447, 459, 503, 549, 553
Леонидов О. Л.— 581
Леонов Л. М.— 29
Ломоносов М. В.— 545
Лысенко Н. В.— 24, 409, 574

Мазепа И. С.— 76, 495, 545, 583
Макагон И. В.— 548, 588
Малиновский Р. Я.— 382, 389, 395

Малышко А. С.— 13, 505, 507
Маркс К.— 403
Маяковский В. В.— 550
Мдивани Г. Д.— 581
Меленский А. И.— 587
Микеланджело — 497
Микешин М. О.— 571
Мичурин И. В.— 548
Могила Петр — 587
Могилевский Г. А.— 568
Морозенко Станислав — 64, 408, 561, 575
Москвин И. М.— 577
Мравинский Е. А.— 588

Наливайко Северин — 24, 405, 423, 459, 562
Наполеон Бонапарт — 419, 576
Нечай Данило — 408, 575
Никитич П. Н.— 573, 574, 575
Никулин Л. В.— 579
Ницше Ф.— 350
Нога И.— 398, 571

Одинцов Д.— 577
Ольга (княгиня Киевская)— 272, 567
Орлянкин В. И.— 568
Островский А.— 564
Оттен Н. Д.— 581
Ошурков М. Ф.— 570

Палий С. Ф.— 455, 578
Пархоменко А. Я.— 423, 576
Паршин Ю.— 577
Патон Е. О.— 367, 569
Пахомова А. Ф.—580
Перцов В. О.— 579
Петлюра С.— 76, 452, 578
Петрицкий А. Г.— 16
Петров Г. Н.— 580
Пилат Понтий — 421, 576
Протопопов Н. А.— 580
Пудовкин В. И.— 581
Пустовойт Г. М.— 507, 585
Пырьев И. А.— 581

Райзман Ю. Я.— 581
Рогачевский Б. М.— 568
Розанов И.— 579
Рокоссовский К. К.— 377
Ромм М. И.— 581
Руденко [Я. Н.]— 423, 455, 499, 503
Руднев С. В.— 370, 397, 569
Русанов П. В.— 570
Рыбак Н. С.— 27
Рылеев К. Ф.— 562
Рыльский М. Ф.— 13, 29, 569

Сабуров А. Н.— 371, 570
Савченко И. А.— 581
Сагайдачный П. К.— 24, 102, 408, 423, 459, 531, 563, 575
Самченко П. А.— 507, 585
Свобода Людовик — 579
Святослав Игоревич—102, 125, 272, 273, 325, 354, 536, 563, 567
Семенов С. А.— 568
Семин А. Г.— 570
Серов В. А.— 580
Скоропадский П.— 567
Смородин В. А.— 568
Солнцева Ю. И.— 544, 548, 550, 567, 568, 570, 588
Софьин А. П.— 568, 570
Сталин И. В.— 165, 175
Старцев О. Д.— 584, 587
Старченко В.— 19
Стасов В. П.— 588
Стороженко А. Н.— 578

Тимошенко С. К.— 495
Толбухин Ф. И.— 378, 382, 395
Толстой А. Н.— 29, 577
Томов В.— 579
Топчий Н. П.— 570
Трумэн Г.— 555
Трясило Тарас — 405, 573
Тычина П. Г.— 27

Урусевский С. П.— 568
Усенко П. М.— 27

Фадеев А. А.— 27, 579
Федоров А. Ф.— 370, 569
Филатов В. П.— 395, 572
Фильченков Н.— 577
Фихте И.— 350

Франко И. Я.— 25, 458, 585
Франс А.— 473
Фридрих-Вильгельм III — 576
Фроленко В. А.— 568

Хмельницкий Богдан — 24, 76, 405, 408, 423, 459, 495, 543, 568, 575, 584

Цыбульский В.— 428, 577

Черкасов Н. К.— 577
Черняховский И. Д.— 383
Чуковский К. И.— 579

Швачка Микита — 408, 575
Шевелева Е. В.— 467, 579, 580
Шевченко Т. Г.— 25, 406, 407, 409, 458, 486, 562, 571, 573, 574, 575, 576, 578, 583, 585
Шейнин С. А.— 568
Шиллер Ф.— 421
Шкловский В. Б.— 579, 581
Шоломович Д.— 570
Шолохов М. А.— 29
Шостакович Д. Д.— 547, 577, 588
Штатланд В. А.— 568, 570

Щорс Н. А.—5, 24, 373, 404, 405, 408, 423, 455, 575

Энгельс Ф.— 403
Эренбург И. Г.— 29, 465, 579

Юзовский И. И.— 579

Яновский Ю. И.— 27, 29, 585
Яремчук В. М.— 371, 570, 579
Ярослав Мудрый — 567, 568, 587
Ярославский Е. М.— 548

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Барабаш. В те пламенные годы... . . . 5

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

Стой, смерть, остановись! 39
Отступник 42
Незабываемое 48
Ночь перед боем 57
На колючей проволоке 68
Воля к жизни 81
Победа 88
[Недоля] 126
Неизвестный 128
Федорченко 129
Мать 130
Тризна 137
Не примирить 152

СЦЕНАРИИ

Украина в огне 155
Повесть пламенных лет 259

ДИКТОРСКИЕ ТЕКСТЫ

Битва за нашу Советскую Украину 361
Победа на Правобережной Украине и изгнание немецких захватчиков за пределы украинских советских земель 379

СТАТЬИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

К оружию! 403
Душа народная непобедима! 405
Украинская песня 408
Украина в огне 410
Письмо летчику 416
Письмо офицеру немецкой армии (письмо врагу) 418
Народные рыцари 422
Я вижу победу 426
В грозный час 430
Родина приказывает 435
Слава народу-воину! 440
Письмо на Украину 443
[Слава нашему народу] 450
Овеянные славой знамена ведут нас к победе . 458
Смотрите, люди! 460
О художественной литературе в дни Великой Отечественной войны 463
О художественной кинематографии в дни Великой Отечественной войны 469

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК И ДНЕВНИКОВ . . . 477

Комментарии 557

Указатель имен 590

ДОВЖЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, т. II

Редактор Л. Н. Познанская
Оформление художника Р. Г. Алеева. Художественные редакторы Г. К. Александров и Е. И. Шилина. Корректоры Р. М. Кармазинова и Н. Г. Шаханова.

А05623. Сдано в набор 31/VIII 1966 г. Подписано к печати 6/VI 1967 г. Форм. бум. 70×90¹/₁₆. Бумага типографская № 1, для иллюстраций — мелованная. Условных печ. л. 43,58. Уч.-изд. л. 34,915. Тираж 12 000 экз. Изд. № 15653. «Искусство», Москва К-51, Цветной бульвар, 25. Зак. тип. № 352. Московская типография № 20 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Москва, 1-й Рижский пер., 2
Цена 2 р. 50 к.

2 р. 50 к.

ДОВЖЕНКО

2

ИСКУССТВО

ЧУКОВСКИЙ

2